КОНТИНЕНТ

116

2003

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

№ 116

КОНТИНЕНТ



Либеральной реформы в России не было и в ближайшее время не предвидится. Либо план, либо рынок, либо директива, либо конкуренция. Нельзя быть немножко беременной.

Лариса Пияшева

Умерла Лариса Пияшева...

18 апреля этого года после долгой и тяжелой болезни умерла Лариса Ивановна Пияшева — давний друг, автор и член редколлегии «Континента», выдающийся ученый-экономист, замечательный, яркий человек, память о котором навсегда останется у всех, ее знавших.

Лариса Пияшева была видным представителем того направления, которое принято называть *экономическим либерализмом*. Но, в отличие от очень многих, кто числит себя под этим же знаменем, ее экономический либерализм никогда не приносил себе в жертву обыкновенного человека, превращая всего лишь в объект «макро»- или «микро»-экономического манипулирования его интересы, его жизнь, его достоинство, его, наконец, обеспеченность. Именно поэтому она и была таким непримиримым, яростным противником «экономического либерализма» того извода, который был осуществлен реформами Гайдара и Чубайса. Эта позиция ее была, думается, столь органична для нее и потому, что она была человеком верующим, христианкой, и недаром она и тяжкую свою болезнь, и самое смерть приняла как христианка — с поразительным мужеством и смирением.

Ее взгляды были изложены и в ряде наших публикаций, которые помнит, вероятно, читатель, — в ее большой, острой статье «Особенности «евразийского менталитета», или Кто в России созрел для капитализма» (№ 84), в напечатанном в «Континенте» же (№ 89) выступлении ее на Первых Чтениях памяти Владимира Максимова в Париже в марте 1996 года «Экономическое будущее России», и в обстоятельном интервью ее главному редактору «Континента» И. Виноградову — «Либеральной реформы в России не было и в ближайшее время не предвидится..» (№ 107). Но мы надеемся, что в ближайшее время нам удастся познакомить нашего читателя и с некоторыми фрагментами ее большой книги о современной экономике России — книги, над которой в последние годы она работала, но которую, к сожалению, не успела закончить.

Теперь же, прощаясь с нашей прекрасной, светлой Ларисой, мы печатаем в разделе «Россия и мир на рубеже веков» Слово Памяти о ней давнего ее друга, известного нашего публициста Анатолия Стреляного.



За время, пока готовился этот номер, памятный календарь нашего журнала отметил четыре знаменательных для нас события:

85-летие выдающегося русского философа, культуролога и эссеиста, постоянного автора нашего журнала ГРИГОРИЯ СОЛОМОНОВИЧА ПОМЕРАНЦА, новое эссе которого печатается в этом номере;

Присуждение премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства 2003 года Народному артисту России, члену редколлегии "Континента" СЕРГЕЮ ЮРЬЕВИЧУ ЮРСКОМУ;

Присуждение Государственной премии России в области изобразительного искусства за 2002 год замечательному русскому художнику, давнему другу и автору «Континента» АНАТОЛИЮ СТЕПАНОВИЧУ СЛЕПЫШЕВУ;

Присуждение Литературной премии Александра Солженицына 2003 года прекрасным русским поэтам ОЛЬГЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ СЕДАКОВОЙ и ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ КУБЛАНОВСКОМУ, новые стихи и тексты речей которых при присуждении премии печатаются в этом номере.

Мы сердечно поздравляем
нашего дорогого юбиляра и наших дорогих лауреатов
и от души желаем им всем долгой жизни, крепкого здоровья,
радости и новых творческих озарений,
которыми они не раз еще, надеемся,
порадуют и читателей «Континента».

КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал

Выходит 4 раза в год

116

2003, № 2
апрель — июнь

ПАРИЖ · МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И.И. Виноградов

Издатель:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "КОНТИНЕНТ"»

Адрес редакции: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 22, офис 114-115
E-mail: idugina@mail.ru

Телефон редакции:
(095) 924-91-51
Internet: www.magazines.russ.ru/continent/

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

Материалы, присланные по электронной почте, не рассматриваются

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала "Континент"»
© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АВЕРИНЦЕВ
Марина АДАМОВИЧ
Василий АКСЕНОВ
Юрий АФАНАСЬЕВ
Александр БЛОК
Галина ВЕЛИКОВСКАЯ
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Георгий ВЛАДИМОВ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Евгений ЕРМОЛИН
Николай ЗЛОБИН
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Оливье КЛЕМАН
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Лариса ПИЯШЕВА
Валерий СОЙФЕР
Виктор СПАРРЕ
Юлиу ЭДЛИС
Сергей ЮРСКИЙ

Редакция:

Галина ВЕЛИКОВСКАЯ, Ирина ДУГИНА,
Александр КЫРЛЕЖЕВ, Светлана ОПАРИНА,
Мария РЕМИЗОВА, Владимир СОТНИКОВ

Представители «Континента»

БОЛГАРИЯ
Наталия ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ
Юлия АРОНС
Kaltenhoferstraße 2,
86154 AUGSBURG, BRD
☎ (821) 42-26-58

ИЗРАИЛЬ
Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

ИТАЛИЯ
Джулия ФИЛИППЕЛЛИ
Via Olmetto, 5
20100 MILANO, ITALIA
☎ (02) 29-00-88-87

КАНАДА
Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

ПОЛЬША
Татьяна ХОХЛОВА
U1 Belwederska 25, Rosyiski osrodek nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ
Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ (022) 773-10-93

США
Марина АДАМОВИЧ
217 4th ave.
GARWOOD, N.J. 07027 USA
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ
Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chalgin, 75116 PARIS,
FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Анастасия ВИНОГРАДОВА
26 rue de la Paroisse
78000, VERSAILLES, FRANCE
☎/fax (1) 30-21-64-37

ШВЕЙЦАРИЯ
Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА
15 Ch. de la Rochette
1202 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-14-82

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ
Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

Лауреаты премии Александра Солженицына

Ольга СЕДАКОВА
Из цикла «Начало книги». *Стихи.* Слово после вручения премии . . . 9

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ
Три стихотворения. Слово после вручения премии 17

Сергей БАБАЯН
Вечная весна. *Повесть* 22

Олег ВИГОВСКИЙ
Весь день. Всю ночь. Всечасно. Беспрерывно. *Стихи* 75

Кирилл БЕРЕНДЕЕВ
Бисмилла. *Повесть* 82

Петр ШУШПАНОВ
Юдэ. *Рассказ* 119

Борис ВИКТОРОВ
Ни времени, ни ласки, ни вина... *Стихи* 131

Геннадий АБРАМОВ
Миня и Буня. *Повесть* 135

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Анатолий СТРЕЛЯНЫЙ
Памяти Ларисы Пияшевой 167

Марк РОЗОВСКИЙ
Наша «победа» — на две трети «беда» 170

Илья СМИРНОВ
Добро пожаловать, путешественники в Третье тысячелетие! 193

У книжной полки

Карен СТЕПАНЯН
В ожидании «ускоренного апокалипсиса»?.. 219

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ
Комментарий к событиям российской жизни
/январь — апрель 2003 г./ 231

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Проблемы российской истории и современности *в русской периодике четвертого квартала 2002 г. — первого квартала 2003 г.* 270

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Ольга Александровна ТОЛСТАЯ-ВОЕЙКОВА
Из Ульяновска в Маньчжурию. Письма 1927 года
Публикация Вероники ЖОБЕР 282

РЕЛИГИЯ

Основные события церковной жизни
в зеркале прессы (февраль — май 2003 г.) 319

Томас МЕРТОН
Ночной дозор 328

У книжной полки

Николай ШАБУРОВ
Пора трезветь 342

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Религиозная мысль *в российской периодике
третьего квартала 2002 г. — первого квартала 2003 г.* 348

ГНОЗИС

Григорий ПОМЕРАНЦ
Подступы к Преображению 359

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Философская, социологическая, историософская
и культурологическая мысль России *в русской периодике
четвертого квартала 2002 г. — первого квартала 2003 г.* 364

ПРОЧТЕНИЕ

Александр ВЯЛЬЦЕВ
О Боге, неверии и литературе 375

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Мария РЕМИЗОВА
Первое лицо главного героя 401

К 25-летию со дня смерти Юрия Домбровского

Евгений ЕРМОЛИН
Вкус свободы 413

Полемика

Григорий ШУРМАК
Иосиф Бродский — Наум Коржавин: притяжение и отталкивание... . . 423

У книжной полки

Владимир ЦИВУНИН
Исповедь убывающей любви 434

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Художественная литература и критика. *Первый квартал 2003 г.* . . . 440

ИСКУССТВО

Ирина ДУГИНА
«Здесь нахожу я греческие игры...».
Цирк в художественной литературе 474

Ольга СЕДАКОВА

ИЗ ЦИКЛА «НАЧАЛО КНИГИ»*

Колыбельная

Как горный голубь в расщелине,
как городская ласточка под стрехой —
за день нахлопочутся, налетаются
и спят себе почивают,
крепко,
как будто еще не родились —

так и ты, мое сердце,
в гнезде-обиде
сыто, согрето, утешено,
спи себе, почивай,
никого не слушай:

— говорите, дескать, говорите,
говорите, ничего вы не знаете:
знали бы вы, так молчали,
как я молчу
с самого потопа,
с Ноева винограда.

Портрет художника в среднем возрасте

Кто, когда, зачем,
какой малярной кистью
провел по этим чертам,
бессмысленным, бывало, как небо,

* Продолжение. Начало цикла см. в № 95

Ольга СЕДАКОВА — родилась в 1949 г. в Москве. Окончила филологический факультет МГУ и аспирантуру Института славяноведения. Кандидат филологических наук. Автор многих книг, в том числе поэтических сборников, собрания сочинений в 2-х тт. и тома избранного «Путешествие волхвов».

без цели, конца и названья —
бури трепета, эскадры воздухоплавателя, бирюльки ребенка —
небо, волнующее деревья
без ветра, и сильней, чем ветер:
так, что они встают и уходят
от корней своих
и от земли своей
и от племени своего и рода:
о, туда, где мы себя *совсем* не знаем!
в бессмысленное немерцающее небо.

Какой известкой, какой глиной
каким смыслом,
выгодой, страхом и успехом
наглухо, намертво они забиты —
смотровые щели,
слуховые окна,
бойницы в небеленом камне,
в которые, помнится, гляди не наглядишься?

Ах, мой милый Августин,
все прошло, дорогой Августин,
все прошло, все кончилось.
Кончилось обыкновенно.

В метро. Москва.

Вот они, в нишах,
бухие, кривые,
в разнообразных чирьях, фингалах, гематомах
(— ничего, уже не больно!):
кто на корточках,
кто верхом на урне,
кто возлежит опершись, как грек на луврской вазе.
Надеются, что невидимы,
что обойдется.
Ну,
Братья товарищи!
Как отпраздновали?
Удалось?
Нам тоже.

Ангел Реймса

Франсуа Федье

Ты готов? —
улыбается этот ангел —
я спрашиваю, хотя знаю,
что ты несомненно готов:
ведь я говорю не кому-нибудь,
а тебе,
человеку, чье сердце не переживет измены
земному твоему Королю,
которого здесь всенародно венчали,
и другому Владыке,
Царю Небес, нашему Агнцу,
умирающему в надежде,
что ты меня снова услышишь;
снова и снова,
как каждый вечер
имя мое вызванивают колоколами
здесь, в земле превосходной пшеницы
и светлого винограда,
и колос и гроздь
вбирают мой звук —

но все-таки,
в этом розовом искрошенном камне,
поднимая руку,
отбитую на мировой войне,
все-таки позволь мне напомнить:
ты готов?
к мору, гладу, трусу, пожару,
нашествию иноплеменных, движимому на ны гневу?
Все это, несомненно, важно, но я не об этом.
Нет, я не об этом обязан напомнить.
Не за этим меня посылали.
Я говорю:
ты
готов
к невероятному счастью?

ИЗ ЦИКЛА «ЭЛЕГИИ»

(продолжение)

Начало

В первые времена, когда земледельцы и скотоводы
населяли землю, и по холмам
белые стада рассыпались,
обильные, как воды,
и к вечеру прибивались
к теплым берегам —

перед лицом народа, который еще не видел
ничего подобного Медузиному лицу:
оскорбительной,
уничтожающей обиде,
после которой,
как камень ко дну,
идут к концу, —

перед лицом народа, над размахом пространства,
более свободного, чем вал морской
(ибо твердь вообще свободнее: постоянство
глубже дышит и ровней и не тяготится собой) —

итак, в небосводе, чьи фигуры еще неизвестны,
неименованы, и потому горят, как хотят,
перед лицом народа
по лестнице небесной
над размахом пространства
над вниманьем холмов, которые глядят

на нее,
на первую звезду,
с переполненной чашей ночи
восходящую по лестнице подвесной, —
вдруг он являлся:
свет, произносящий, как голос,
но бесконечно короче
все те же слоги:
Не бойся, маленький!
Нечего бояться:
я с тобой.

Музыка

Александру Вустину

У воздушных ворот, как теперь говорят,
перед небесной степью,
где вот-вот поплывут полубесплотные солончаки,
в одиночку, как обыкновенно, плутая по великолепью
ойкумены,
коверкая разнообразные языки

в ожидании неизвестно чего: не счастья, не муки,
не внезапной прозрачности непрозрачного бытия,
вслушиваясь, как сторожевая собака, я различаю звуки —
звуки не звуки:
прелюдию к музыке, которую никто не назовет: моя.

Ибо она более чем ничья:
музыка, у которой ни лада ни вида,
ни кола ни двора, ни тактовой черты,
ни пяти линеек, изобретенных Гвидо:
только перемещения недоступности и высоты.

Музыка, небо Марса, звезда старинного боя,
где мы сразу же и бесповоротно побеждены
приближеньем вооруженных отрядов дали,
ударами прибоя,
первым прикосновением волны.

О тебе я просила на холме Сиона,
не вспоминая
ни ближних, ни дальних, никого, ничего —
ради незвучащего звука,
ради незвенящего звона,
ради всевластья,
ради всестрастья твоего.

Это город в середине Европы,
его воздушные ворота:
кажется, Будапешт, но великолепный вид
набережных его и башен я не увижу, и ничуть не охота,
и ничуть не жаль. Это транзит.
Музыка, это транзит.

Клекот лавы действующего вулкана,
стрекот деревенского запечного сверчка,
сердце океана, стучащее в груди океана,
пока оно бьется, музыка, мы живы,
пока ни клочка

земли тебе не принадлежит,
ни славы, ни доли, ни успеха,
пока ты лежишь, как Лазарь у чужих ворот,
сердце может еще поглядеться в сердце, как эхо в эхо,
в вещь бессмертную,
в ливень, который, как любовь, не перестает.

Слово после вручения премии

Естественным и совсем не формальным началом моих слов будет выражение глубокой радости и глубочайшей благодарности. Присуждение премии Александра Солженицына — великая честь для меня. Имя Александра Солженицына — не просто имя значительнейшего писателя и мыслителя XX века, это имя самого исторического бытия страны, в которой мы родились: за именем Солженицына стоит океан человеческих судеб, голосом которых он был избран стать, и принял это избрание, эту, вообще говоря, непосильную ношу, и донес ее. В XX веке, богатом образцами подвижничества, трудно назвать другого человека, в одиночку донесшего *такую* тяжесть: говорить за целую страну, лишенную и лишившую себя — слова, то есть в каком-то смысле *быть* за всю эту страну. Ибо замолчанная или фальсифицированная реальность, реальность, у которой нет свидетеля, просто не обладает бытием.

Фонд, удостоивший этой высокой награды Ю.Кублановского и меня, — совершенно особый фонд. Он связан с самой сердцевиной нашей ближайшей истории, с той ее областью, которая одновременно видится и как величайшая общая беда, и как тягчайшее и тоже общее преступление. Ни та, ни другая сторона этих событий до сих пор не обдумана и не принята всерьез, и через 12 лет прощания с идеологией страна так и не ответила себе на вопросы: что с нами было? откуда мы вышли, вырвались или удивительным образом были отпущены? или и не выходили? Ведь принятая всерьез беда и крушение требуют, как ответа себе, попытки врачевания или, словами Пастернака, «усилья воскресенья». А принятое всерьез преступление — раскаяния и усилия хоть чем-то воздать долг перед его жертвами. И, вероятно, единственное место в России, где эти усилия предпринимаются со всей полнотой осознания, — это Русский общественный фонд. На публичной и официальной поверхности мы видим в последнее время нечто противоположное: попытку построить такую траекторию отечественной истории, которая бы шла в обход этого вопиющего, зияющего пространства: видимо, это делается в обычной надежде на то, что «время лечит» (между прочим, Т.С. Элиот заметил по этому поводу: «Нет, время не лечит: пациента уже нет на месте»), что рано или поздно все пройдет и травой порастет. Одна трава

забвения покроет и палачей, и жертв, и тех, кто уверял себя и других, что ни палачей, ни жертв у нас вообще не было. Тем более что в нашем случае, в отличие от германского, распределить участников истории по двум этим сторонам трудно порой до полной невозможности, как разделить сиамских близнецов.

Вероятно, и в самом деле все порастет этой травой и станет для людей, как времена Веспасиана, и уже во многом стало. Но, во-первых, я подозреваю, что трава эта не может не оказаться ядовитой. Не столько гражданская или политическая, а художественная интуиция подсказывает мне, что ничего действительно хорошего таким образом не получится. А, во-вторых, для художника (так принято говорить, но вообще-то — для всякого живого человека) и времена Веспасиана — свои времена. К погибшим при Веспасиане и при других цезарях — а их никак не назовешь жертвами истории — повседневно обращается Церковь; мы надеемся, что они — наши помощники.

Что получается, когда на месте очищения практикуется вытеснение, мы в общем-то знаем: получается, на языке современной психологии, хорошо защищенный невроз, а словами старого Платона — «дырявая» или «худая душа», которую ничем не заполнишь. Дырявая душа цинизма. Совершенно предсказуемым образом, плодом этого ужасного опыта, типичным пост-тоталитарным состоянием оказывается цинизм. При этом он предлагается обществу как единственное лекарство от фанатизма, как последняя трезвость.

Впрочем, с этой трезвостью мы знакомы давно. У нас уже есть опыт жизни с отмененным прошлым и вытесненным настоящим. Я имею в виду поздние 60-е, 70-е и большую часть 80-х годов, все то, что потом обозвали «застоем».

В этой подмене памяти и зрения и состояло мучение и, соответственно, вина людей моего поколения. Я говорю сейчас о «поколении» не в возрастном смысле: я имею в виду не ровесников, а всех тех, кто был достаточно взрослым к 70-м годам и что-то делал. Годы относительно либеральные, когда совсем людоедские ГУЛАГовские времена представлялись уже историей. Историей, которую требовалось не знать. И вот что говорит мне этот опыт: все, кто принимал как будто не слишком трудное условие не знать, где они живут («А мы не знали!» — как обычно говорили в годы «перестройки» по множеству самых удивительных поводов; реплика Аверинцева: «Кто это мы? Мы, например, знали: что же вы так не хотели узнать этого от нас?» — эта реплика благополучно прошла мимо ушей), так вот, те кто «не знал», стали тем, что Бродский в своей нобелевской речи назвал «жертвами истории». И уж во всяком случае художниками в реальном смысле слова они не стали. Настоящие поэты, музыканты, живописцы, режиссеры, мыслители этих лет знали. Интересно, что это знание, больше похожее на чувство, на ориентацию в пространстве (как в строфе Пастернака: «Душа моя печальница О всех в кругу моем, Ты стала усыпальницей Засыпанных живьем»), находило себе неожиданное выражение, обычно довольно далекое от того, что можно назвать гражданскими мотивами (и вовсе не в силу пресловутого эзопова языка). Философская страсть Мераба Мамардашвили, трагикомический блеск Венедикта Ерофеева, визионерские вспышки поэзии Елены Шварц, гимническая живопись Михаила Шварцмана, сновидческая ткань зрительных образов Андрея Тарковского, новая сакральная соборность музыки Александра Вустина, ясная как день мысль С. С. Аверинцева, ускоренная в «род-

ном и вселенском» и проходящая тысячелетия культурной и духовной истории нашей цивилизации — все эти новые формы и новые смыслы (естественно, я называю не все безусловные удачи этой эпохи: но и этот список впечатляет!) были плодами внутренней свободы, «усилья воскресенья». Именно они, с общим для них освещением — я бы сказала, что дело в них происходит при свете почти беспредметной религиозности и необъяснимой надежды — отвечали на замолчанный обществом вопрос этого времени, вопрос об исцелении и отдаче долга, о котором я говорила вначале. Позволю себе вспомнить строчки, которые я сочиняла лет в 16—17: это пейзаж, деревья ранней весной:

Течет воскрешение робко,
И нужно припрятать корой,
Студеною топью: ни тропки
Для взгляда, для речи дурной

— здесь нет стихотворных достижений, но есть уловленный ветер и свет времени. Если позволите, я дочитаю:

Истоки слипаются в жилах.
И если из них отцедить.
Простынувший запах могилы
Там силы еще не хватило
В молочную плоть заключить.

Не всю еще стужу прозябли,
Не всю еще смуту снесли,
Чтоб вызвать прощения каплю
У безмерно виновной земли.

Даже эти далеко не блистательные строки начинающего автора рядом с его же взрослыми прозаическими рассуждениями дают почувствовать — или предчувствовать — что такое возможность поэзии, возможность искусства, возможность смысла и чувства, являющихся вместе с формой, то есть в своей истинной простоте: воплощенных. Я сказала бы: это возможность души в мире, который делает все, чтобы душа была невозможной.

Об этой возможности и говорил опыт внутреннего освобождения, происходивший во многих формах и во многих лицах в конце зловещей эпохи. Мы начинали верить, что нам есть что сказать людям. То, что складывалось в ответ на историю, я назвала бы поэтикой выздоровления, поэтикой целительства.

Годы политического раскрепощения, мутные, суетливые, ерничающие в своем культурном выражении, как будто отменили и завалили то начало, точнее, те начала. Но то, что уже стало, уже явилось, как известно, неотменимо, и я по-прежнему думаю, что нам есть что сказать после всего (точно наоборот повсеместно повторяемым словам о невозможности поэзии после Аушвица и ГУЛАГа: как раз внутри этого и после этого человек как никогда оценит животворящую силу свободного искусства). «Нам есть что сказать миру после нашего опыта», — сказал Владыка Антоний. Мы только начали это говорить. Но конечно, эта возможность покажется достоверной только для того, кто в этом «мы» слышит «я»: лично я, имярек, не жертва истории.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

На малой родине

Уж сыплет поднебесье мглистое
снежок на наши палестины,
но в рощи втерто золотистое
упорно, как раствор в руины.

Еще речная зыбь ребристая
струится между берегами
и палых листьев толщь слоистая
чуть-чуть пружинит под ногами.

Кто прожил жизнь неукоснительно
командующего парадом,
тому, возможно, извинительно
всплакнуть на склоне дней покатом.

А я прощаюсь необученным
и остаюсь, туша окурок,
одним из так и не раскрученных
послевоенных коль и юрок.

Тут прошлым станет настоящее,
как только матерком украсят
его хозяева ледащие,
что курят натощак и квасят.

...Где я когда-то околпаченный
подружку тискал торопливо,
на голых ветках много схвачено
морозом белого налива.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ — родился в 1947 году в г. Рыбинске. Окончил искусствоведческое отделение МГУ. После выхода в американском издательстве «Ардис» сборника «Избранное», составленного Иосифом Бродским, под угрозой ареста был вынужден эмигрировать. Жил в Париже, затем в Мюнхене, работал на радио «Свобода». В 1991 году вернулся в Россию. Автор нескольких поэтических сборников. Живет в Москве.

Рок

Рок отнимает порой отвагу,
выстроив в нерасторжимый ряд
то как совки занимали Прагу,
то как бомбили янки Белград.

Обзаводиться пора регланом.
Время ввело меня в ближний круг
или, вернее, берет тараном
разом на жалость и на испуг.

Пижма пожухла, в отсветах медных
тучки с вихрами своих седин
плюс красноватая аура бедных
и утонченных здешних рябин.

Ношей ли крестной Царь Небесный
землю родную благословил —
только на ней необъятной тесно
от безымянных отчих могил.

Ох, из спрашивающих «что делать»
лохов не уцелел никто.
Нынче хочется отупело
крикнуть мысленное *за что?*

И в тишине, наступившей снова,
той, при которой слышны сердца,
вдруг зачерпнул я из торфяного
и хрустального озерца.

Пью — и чувствую, что на мушке,
сам себе снайпер, шепчу: держись.
Словно в запаснике, в черепушке
ветхой моей сохранилась жись.

Так что, можно сказать, до срока
тоже стал я, ни дать, ни взять,
легендой отечественного рока,
можно сказать.

Болшево

За рябинами в дождевой пыли
еле-еле видно крыльцо, веранду —
дом, из которого увели
Эфрона и Ариадну.

Мотыльки, летевшие на свечу,
обожглись, запутались, напоролись.
Вот и нам сегодня не по плечу
рядовой вопросец «за что боролись?».

Я и сам когда-то бежал — на круг
возвратясь, едва занялась полоска.
Но нашел Россию в руках хапуг
и не просыхавшего отморозка.

А теперь уже пообвыкся, сник,
дни повадился проводить в дремоте
и почти смирился, что всяк кулик
свой гешефт кует на своем болоте.

Но частенько в сумеречном луче
сам себе кажусь допотопной тенью
с неизменной сумкою на плече,
неподъемной, с книгами, дребеденью.

И все слабже помню друзей и весь
солидарный путь свой совместный с ними —
теми, кто, кажись, и сегодня здесь,
но уже другой, о другом, с другими.

Колер осени охра, левкас и йод
за привычно скудным дождем и дымом —
то клубится топь торфяных болот
под каким, не сбиться б со счету, Римом.

Слово после вручения премии

Надо быть не вдумчивым стихотворцем, а обладать завидной беспечностью, чтобы в наши дни вовсе не тревожиться о том, что в будущем ожидает мировую поэзию. Можно сформулировать даже жестче: есть ли у нее вообще будущее или она отмирающий уже род творческой жизнедеятельности?

Прямо скажем, последние полвека не пошли ей на пользу. «Культурная революция» 60-х годов в ее западном варианте оказалась особенно радикальной, использовав протестно-нонконформистский заряд для успешной борьбы с моралью и в быстром темпе коммерционализируя творчество.

В это время там угасали лирические миры Фроста, Одена, Рене Шара, поэтов, сформировавшихся еще до рассвета потребительской цивилизации. И по сей день им на смену не пришли равноценные мастера и таланты. Не пришли не только потому, что поэзия, так сказать, отдыхает. Думается, что причина еще и в том, что в новейшие времена печатное слово все более становится рассчитанным на быстрое поглощение — уже не благородным читателем, но потребителем, пробегающим глазами по тексту. В таких крикливо-аляповатых условиях для поэзии, требующей чистоты сознания, вдумчивости и желания возвращаться к тексту, носящему не развлекательный и информационный, но эстетический и экзистенциальный характер, остается все меньше места. Затратно-потребительская цивилизация перемалывает своими равнодушными челюстями психологическую серьезность и культурную глубину.

Из-за советской стагнации у нас «культурная революция» задержалась на 20 лет. Несмотря на советский пресс, в России жили и творили несколько настоящих поэтов. Одни балансировали в официальной литературе, другие ограничивались узким кругом таких же как они самиздатчиков. Дело было не в количестве читататателей-почитателей, но в правомерной убежденности, что поэзия необходима для души и жизни, что — по определению Баратынского — поэтическое дело есть «поручение, которое должно исполнить, несмотря ни на какие препятствия». Отечественное творческое сознание так до конца и не секуляризировалось, и русский литератор, а поэт тем паче, живет в убеждении, что лирическое слово самодостаточно и высокодейственно разом. В общем и целом можно сказать, что, несмотря на историческую катастрофу прошлого века и невиданные в культурной истории преследования, русская поэзия выжила, а ее востребованность даже и приумножилась.

Но вот преграды, отделявшие западную цивилизацию от советской, рухнули, и новая реальность преподнесла нам много неожиданностей. Уж не говорю о политике и геополитике, о терроризме, о баснословных масштабах мародерства на постсоветском пространстве. Но на глазах в несусветном темпе меняется в России отношение к литературному слову. Думаю, едва ли не любой интеллигент согласится, что читает теперь стихов много меньше, чем раньше, что относится к ним без прежнего жара. И порой ловишь себя на мысли: да существует ли еще читающая Россия как культурное целое? Зайдешь в книжный магазин — чего там только нет, издательский ренессанс — это верно. Но сердце, но интуиция подсказывают поэту другое: вымывается из жизни влияние литературного слова, высокое к нему уважение.

Тут виноваты, конечно, и сами писатели: ведь ежели прав Толстой, утверждавший, что «слово есть поступок», то много за последние годы «некрасивых поступков» совершили они. Но и вся социально-идеологическая среда, пришедшая на смену коммунистической, тоже, увы, оказалась в значительной степени оппозиционна традиционным отечественным культурным ценностям.

Быстро уходит из сознания непоколебимая прежде убежденность в предназначении. А без нее какая ж поэзия? И уж ежели сам поэт недопонимает, зачем, собственно, пишет, то тем более не знает этого теплохладный читатель. Так в лирическом слове гаснет энергетийный заряд и остается один муляж. И сам творческий процесс и его результат уже отдают никчемностью. Творить с таким размагниченным сознанием сложно. Но ведь «сверхзадача» все же имеется! ...Лет десять назад Солженицын написал мне: «Вместо красного колеса по России катится теперь желтое». В связи с этим хочу дать один совет молодым: мы крепчали в противостоянии красной идеологии. Крепчайте в противостоянии желтой, бульварной. Именно крепость духа и чистота языка споспешествуют рождению настоящей поэзии.

Еще Баратынский пророчествовал о «последнем поэте». Ан нет, поэзия сберегласъ и тогда, и в писаревщину, и когда общество предпочитало Надсона Фету, и когда ее гнобили и зарывали большевики. Сохраним исторический оптимизм и понадеемся, что ее хватит еще надолго, что — по слову Клюсва — «Не железом, а красотой спасется русская радость».

Сергей БАБАЯН

ВЕЧНАЯ ВЕСНА

Повесть

I

Он уткнулся пылающим лбом в подушку и прижался щекой к ее прохладной и нежной, как шелк, щеке. Вся кожа у нее была прохладной и нежной, как шелк. Она говорила ему: «Ты горячий, как печка». Когда у него выровнялось дыхание, он приподнялся над нею и как всегда — но для него это не было как всегда — прошептал:

— Я люблю тебя.

В щели между занавесками ярко светилось выбеленное полуденным солнцем небо. Балконная дверь была приоткрыта, и сейчас он слышал другую жизнь: детские голоса во дворе, урчанье машин, хлопки выбиваемого ковра и серебристый шелест деревьев. Он и она были вместе уже давно, два, или три, или четыре часа, он не видел часов, и ему было так хорошо, как никогда в жизни. Так ему казалось каждый раз, когда он был с нею, хотя разумом он понимал, что и позавчера и неделю назад все было то же самое. Самое прекрасное в жизни, невероятное, непредставимое то же самое.

— Я люблю тебя... А ты меня любишь?

Он прикрыл глаза и склонился к ее лицу, зная, что он сейчас услышит.

— Любишь, — лукаво прошептала она.

Он зарычал и осторожно куснул ее в шею.

— Ой, ну что ты делаешь?! Синяк же будет! Всё, пускай меня.

Она всегда очень быстро приходила в себя. Он перевалился на спину, чуть — чуть-чуть — недовольный. У нее была безобидная — ну конечно безобидная — привычка отвечать на вопрос во втором лице: «Хочешь мороженого? — Хочешь. — Пойдешь на последнюю пару? — Пойдешь». Но «хочешь» и «пойдешь» были ничего не значащие слова, так говорило пол-института, а «Любишь»... ее «любишь» было не слово, было вся его жизнь. Ему хотелось слышать «люблю», и в самом начале она говорила «люблю», но очень скоро перешла к привычному «ишь». Это ему не

Сергей БАБАЯН — родился в 1958 г. в Москве. Окончил Московский авиационный институт. Автор нескольких книг, многих повестей и рассказов. Постоянный автор «Континента». За повесть «Без возврата (Негерой нашего времени)» («Континент», № 108) удостоен в 2002 г. премии «Повести Белкина», присуждаемой за лучшую русскую повесть года. Живет в Москве.

понравилось... не очень понравилось, потому что ему в ней нравилось все, даже то, что не нравилось. Потерпев некоторое время, он однажды сказал: «Я-то люблю, — а ты?» — «Любишь...». Если бы он промолчал, глупая привычка ушла бы сама собой, подобно тому, как даже на недолгой памяти его юности ушли десятки жаргонных слов и привычек: «хата» сменилась «флэтом», «чувиха» — «герлой», уже никто не отвечал репликами из «Бриллиантовой руки» или «Белого солнца пустыни» и не отказывался прикуривать третьим... но он, не подумав — а в его словах и поступках, когда он был с ней, больше думало сердце, — обратил на это «любишь» ее внимание, и она из упрямства (она была немного упрямой, чудесно упрямой) или кокетства (хотя она не была кокетливой, ей это не нужно было) стала его поддразнивать. Сначала это даже сердило его, но потом он смирился — как в конце концов, и довольно быстро, смирялся со всем: и с тем, что она никогда не оставалась с ним ночевать — на вечеринках, собиравшихся у кого-нибудь из друзей по случаю отъезда родителей («Мама меня убьет». — «Но ведь ты говоришь, что она все понимает!» — «*Всего* она не понимает»); и с тем, что в жару она часто ходила без лифчика — хотя вот это его просто бесило: он ревновал ее к чужим взглядам, даже когда на ней было пальто; и с тем, что она всегда — всегда! — опаздывала на встречу, самое меньшее на десять минут; и... да он со всем смирялся. Впрочем, все это были пустяки. Они были вместе — вот что было огромно. Он жить не мог без нее.

— Я хочу есть, — капризно-озабоченно (как проголодавшийся деспотичный ребенок, улыбаясь подумал он) сказала она, выскальзывая из-под одеяла. Он посмотрел на нее, и как он ни был измучен, опустошен — блаженно измучен и опустошен, — у него опять зачастило сердце.

— Ну подожди, малыш...

— Нет, всё, — строго сказала она — эта строгость его умилила, — надевая его рубашку. Рубашка доходила ей... лишь чуть прикрывала ее. — Витька, я больше не могу.

Он знал, что это неправда; она была очень чувственна, и иногда он с какой-то смутной тревогой — похожей на ревность (глупость, гадость! К кому?..) — думал об этом. Конечно, ему было безумно с ней хорошо, но... Он не хотел, не мог, запрещал себе додумывать до конца.

— Ну ладно, — сказал он разочарованно — впрочем, для вида: он чувствовал, что сильно устал, но пусть она знает, как он любит ее и какой он у нее... — Дай мне сигарету, пожалуйста.

Она отдернула занавеску — комнату затопило июньское солнце и небо, — взяла с подоконника пачку «Явы», дала ему сигарету и закурила сама. Он любил смотреть, как она курит: сигарету она держала кончиками прямых пальцев, между бледно-розовыми лепестками ногтей, — тонкие длинные пальцы, тонкая длинная сигарета, очень изящно, — и при каждой затяжке лицо ее удлинялось, становилось благородным и

хрупким — и чуть надменным, как у женщин на старых английских портретах, — и ее глаза, огромные сияющие серо-голубые глаза, суживались и приобретали мечтательное, отстраненное выражение... Она и так была очень красивой, а становилась прекрасной. Нет, она и так была прекрасна — она просто на миг становилась по-новому — незнакомо, тревожно — прекрасной. Она заметила, что он на нее смотрит, и приподняла и сломила тонкую бровь; это выражение она называла «коварная!» — и действительно, с изогнутой бровью и пронзительным, вызывающим взглядом она была коварной — обольстительной, уверенной в своей красоте, хладнокровной, непобедимой. Еще была гримаска «наивность» — брови высоко подняты, глаза распахнуты с доверчивым удивлением, ясные, светлые, в пол-лица, — и «обиженный ребенок»: брови домиком, между ними вертикальная складочка, глаза налиты слезами — кстати сказать, она могла нарочно заплакать; это его изумляло и вместе смущало — как можно нарочно плакать? Впрочем, актрисы же плачут... актрисы?..

— Я пошла на кухню. У тебя майонез есть?

— М-м-м... есть.

Она обожала майонез — салаты с майонезом, мясо под майонезом, соусы из майонеза, борщ с майонезом. Это было... удивительно и восхитительно — то, что она так любит майонез.

— А что еще есть?

— Я не знаю... что-нибудь есть, посмотри в холодильнике. Сделай еще «коварную».

Она изломила бровь и искоса ужалила его взглядом. Он рывком отбросил одеяло и ласково рыча бросился к ней. Коварная, независимая, непобедимая?! — сейчас я тебе покажу... Она взвизгнула и боком, звонко постукивая друг о друга босыми ногами, выскочила из комнаты — но за порогом остановилась, вновь изобразила «коварную» и напоследок показала ему язык: она знала, что голый он за ней не погонится. Он ляскнул на нее зубами — она исчезла — и снова лег на кровать. Он слышал, как она упруго пробежала по коридору на кухню и включила магнитофон. Запел счастливый, беззаботный, майский Антонов. «Ах, любовь, ты любовь, золотая лестница...» Он лежал и медленно курил и смотрел на синее небо без облаков, и сейчас ему ничего на свете было не нужно. У него было все.

Они встретились чуть больше трех месяцев назад, на вечеринке у Кузнецова (энглизированно — на сэйшене у Смита) по случаю Дня Советской армии, двадцать третьего февраля. Володькина сестра Света — она училась на одном факультете с ними, но курсом ниже — привела девушку из своей группы. Это была Лена... Ленка, Леночек, малыш — сейчас он не мог представить себе, что когда-то они не знали друг друга, что вот она вошла в комнату — и они не знают друг друга, не целовали друг друга, не любили друг друга, — и страшно было поду-

мать, что они могли вообще не встретиться: ведь он только в последний момент, на последней паре решил идти к Смиту! а не к старым друзьям — поленился ехать на Новокузнецкую...

У нее были огромные серо-голубые глаза, высокие брови с небольшими изломами у висков, короткие светлые — цвета золотистого пепла — волосы и энергично выступающий подбородок. У нее были изумительно красивые ноги — это потом он узнал, что может двумя пальцами обхватить ее щиколотку, — бедра теснили юбку (бугорок, ложбинка, плавный долгий изгиб), и грудь... у нее была высокая, изумительно красивая грудь. Может быть, фигура ее была чуть-чуть... не пышновата, нет — слишком взрослой для двадцатилетней девушки? Не знаю, она была совершенством. У нее был немного наивный, доверчивый взгляд и вместе чуть опущенные уголки губ — это было удивительно и прекрасно. Он все время поглядывал на нее — он не мог не смотреть на нее; она и без улыбки была очень красивая, но когда она рассмеялась — громко, в ее смехе явственно слышалось «ха-ха-ха!», она ничуть не стеснялась в незнакомой компании, — у него перехватило дыхание и он ясно и с каким-то тоскливым отчаянием подумал: «Господи, что бы я ни дал, чтобы она была со мною!..» Это была нелепая, дикая, безумная — и к тому же подлая, постыдная мысль: это было невозможно, у него была Марина, он ей не изменял — потому что она любила его и он любил ее... долго любил ее, но любовь за пять лет перешла в привычку, а привычки в двадцать два года еще недостаточно, чтобы остановить жизнь... Да, так он подумал через десять минут после того, как впервые ее увидел.

Потом, как всегда, очень много пили и танцевали, и Леха Герасимов, Герас — вальяжный, массивный, с намечающимся животом, очень обаятельный (девушки его любили: они чувствовали в нем силу и опытность), — начал откровенно ее обхаживать: приглашал на все танцы подряд, во время медленных склонялся к ее уху, к ее маленькому изящному уху с жемчужной росинкой, своей породистой, увитой блестящими черными кольцами головой — и что-то не спеша говорил, чуть снисходительно, ласково и уверенно улыбаясь аристократически растянутыми чувственными губами, и крупные руки его — расслабленные, с мягко присогнутыми пальцами — лежали на ее лопатке и талии так, как будто она была его, как будто он уже обладал ею... Наконец они сели — загудел бониэмовский «Вавилон», перед этим танец был тоже быстрым — молотящий поршневым двигателем «Распутин», — и тяжелый Герас, наверное, запыхался, — они сели на диван, и Герас закинул руку за ее голову — как будто обнял ее...

Виктор, отбивавший тяжкие негритянские ритмы в общем кругу, исподлобья смотрел на них. В другой раз он, наверное, и отступился бы перед столь откровенным ухаживанием — да и не могло быть другого

раза! он любил и жалел Марину, — но здесь было что-то сильнее его. Увидев *ее* чуть ли не в объятиях Гераса, он почувствовал злую тоску... ему показалось, что в жизни его происходит что-то непоправимое. Он обматерил про себя Гераса и вышел из круга. Он решился — точнее, кто-то внутри него — или вне его? — решил за него. Он дождался, когда умолкнут вулканические басы «Вавилона», подошел к дивану и, волнуясь, сказал:

— Ну, старина, не все коту масленица... Вы разрешите?

Он волновался не из-за того, что она откажет, — она бы не отказала, здесь была студенческая вечеринка, а не ресторан, и никто никому не отказывал, — он волновался из-за того, что будет после этого танца... потом. Она подняла на него свои ослепительные, сияющие даже в полумраке глаза — бабочками вспорхнули ресницы — и встала, — а какое лицо было у Гераса, он не заметил. Кажется, Герас растянул губы. И они пошли танцевать. Бог улыбнулся — танец был медленный, «Здесь все напоминает о тебе...»; и когда он обнял ее — и она легко подалась к нему, — он испытал полное, абсолютное, никогда прежде не испытанное им счастье, и рука его, лежащая у нее на спине, в теплой впадине между лопаток, дрогнула от нежности и наслаждения; еще несколько секунд назад она была незнакомая, бесконечно и безнадежно далекая, чужая; миг — и она близкая, родная, она моя... Они танцевали молча, и он не чувствовал стеснения, он чувствовал, что и не надо ничего говорить; они танцевали не далеко и не очень близко, но так, что ее грудь все время едва ощутимо касалась его груди, а ее бедро — упругое, гладкое, казалось горячее — при каждом такте коротко касалось его бедра — упоительный, пронизывающий все его тело мягкий толчок, у Виктора спотыкалось сердце и перехватывало дыхание. «Время пройдет, и ты забудешь все, что было...» — касание... касание... касание... — «с тобой у нас...» — он очнулся: песня сейчас закончится — что дальше?! Он наклонился к ней — склонился к ее плечу: что он увидел! что перед этим все виденное и не виденное им в мире! — его рука, в неподвижной ласке лежащая у нее на плече, — он наклонился к ней, она была среднего роста и на каблуках, но все равно на полголовы ниже его, и тихо сказал: «Может быть, мы потанцуем и следующий танец?» — и, кажется, он даже не волновался ответом — так им было хорошо. И она ответила: «Может быть», — вот когда он впервые услышал ее голос, нежный, как у ребенка, и очень женский — сколько в нем было оттенков: и ласка, и сдержанность, и лукавство, и обещание, и готовность к мгновенному отступлению, — и впервые услышал ее повторы — все эти будущие «Пойдешь? — Пойдешь», «Любишь? — Любишь»... Следующий танец — черт его подери — был быстрым, кажется, Африк Симон: все вокруг закричало, затопало и запрыгало, кто-то скакнул обезьяной в центр — «Шавела кукарелла!!! шава-лала!..» — и бешено застриг

коленями и руками, — и все равно было замечательно: ее стрельчатые ноги жили под музыку, грудь волновалась — это потом он узнал, что она носила только мягкие лифчики, у нее была прекрасная грудь, — танцевала она изумительно, с легкостью и изяществом, которым нельзя научиться, глядя ему в глаза своими лучистыми, ласково смеющимися глазами, склоняя в такт музыке стриженую светловолосую голову то к одному, то к другому плечу... Африк Симон пролетел буйноцветным мигом; приглашать ее в третий раз показалось ему слишком откровенным, избыточным: хотя он и потерял голову, но еще — из последних сил — понимал: обнаружить это перед девушкой, с которой единственно танцевал десять минут, нельзя. Нельзя! Он взял ее за локоть — мягкий, податливый, с ускользающим бугорком косточки локоть — и повел к столу. Он выпил водки, полную рюмку, она тоже водки — полрюмки, и он волнуясь спросил: «Можно узнать, как вас...» — тут подкатился Герас, настырный м..., и увел ее в круг.

Танец был медленный. Виктор стоял, барабаня пальцами по столу, и смотрел на них. Он хотел поймать ее взгляд, он надеялся, что она на него посмотрит — после всего, что между ними было! — она танцевала к нему спиной, на ее тонкой, легко изгибающейся под музыку талии лежали грубые лапы Гераса; Виктор мучаясь ждал, когда они повернутся, но свинцовый Герас топтался на месте, поворачиваясь со скоростью минутной стрелки часов... «мы с тобой не знали сами... что же было между нами... просто я сказала: я тебя люблю...» — он поймал ее взгляд — брошенный украдкой, из-за Герасова плеча, — и сердце его забилось. Решалась его судьба! Герас ее не отпустит, пригласит и на следующий танец — что она ответит?.. Песня тянулась мучительно долго — он налил себе еще одну рюмку, выпил и не почувствовал вкуса, — тянулась, тянулась... кончилась. Герас, покровительственно улыбаясь, что-то сказал. Она улыбнулась и что-то ответила. Герас, зафиксировав улыбку, наклонил свою гранитную голову. Она повернулась и шагнула к столу. Виктор откровенно пошел ей навстречу.

После этого они танцевали уже все танцы подряд. Во время первого же медленного он спросил: «Как тебя зовут?» — сразу на «ты», уже не надо было на «вы»; «Лена», — отвечала она, и ее поднятое лицо было совсем близко от его губ. «А меня — Виктор...» Потом они вышли покурить в подъезд, и он осторожно ее поцеловал, и она ему ответила. Они ушли часов в десять, много раньше других, им уже ничего и никого, кроме них самих, было не нужно; и он проводил ее до дома — она жила возле «Сокола», на Георгиу Дежа, — и два или три часа они стояли у нее в подъезде и целовались, и она еще немного ему позволила — впрочем, позволила — не то слово: первым чувством у него была нежность, и это он позволил себе такую малость, что она его не удерживала. Он полюбил ее сразу, в первый же день; это было как у Бунина, «Солнечный

удар», только вокруг еще подрагивал басовыми ритмами сумрак подъезда и за окном чернела и искрилась морозная февральская ночь...

...Он докурил сигарету, натянул тренировочные и вышел на кухню. Ленка, в его рубашке и босиком, резала на доске помидоры. В тарелке уже слезились полупрозрачные кольца лука. «Если любовь не сбудется...» — пел Антонов. Он обнял ее и поцеловал в душистый завиток на макушке.

— У тя волосы... дурнопьяном пахнуть...

Они как всегда расхохотались. Он не выдержал, чуть приподнял рубашку и ласково шлепнул ее.

— Ну Витька! Одерни!

— Зачем? — спросил он, хотя знал зачем.

— Я тебе уже сто раз говорила: никто любить не будет.

— Я тебя люблю — кто тебе еще нужен?

— Ну одерни, пожалуйста!

Он одернул. Это тоже ему не нравилось... не очень нравилось — «никто любить не будет», — и с этим он тоже давно смирился. Он сел рядом со столом на табурет и опять закурил. После любви он никак не мог накуриться. Она рассмеялась.

— Хочешь, расскажу анекдот?

— Хочу.

Она любила рассказывать анекдоты. Он любил слушать, как она рассказывает. Она чудесно рассказывала — все равно что.

— В Грузии идет суд. «Па-адсудымый! Ви признаете себя виновным?» — «Нэт!» — «На нэт — и суда нэт!»

Они засмеялись вместе.

— А вот еще. Приводят в милицию мужика — бросался на людей с кулаками. «В чем дело, гражданин?» — Она строго-удивленно подняла брови. — «Да вы понимаете, просыпаюсь я утром, включаю радио, слышу: «Евреи заняли Голанские высоты». Ладно. Бреюсь, сажусь завтракать — слышу: «Евреи ввели войска в сектор Газа». Ладно. Одеваюсь, спускаюсь вниз, иду на работу... а они уже из метро выходят!»

Он расхохотался.

— А вот еще... а, ну это ты знаешь. Знаешь про самолет, у которого отказал двигатель?

— «Что ж мы теперь, всю ночь лететь будем, что ли?»

— Да, — сказала она смеясь.

— Знаю... да — так что там у тебя с аэродинамикой?

Она по-детски надула губы.

— Ну что — Радциг, дрянь такая, поставил тройку. И еще ехидно так говорит: «Я, конечно, понимаю — лето на дворе, но самолеты должны летать в любое время года».

— А у тебя что, не летал?

— Я поляру неправильно нарисовала, оси перепутала... Но два же вопроса — правильно!

— Радциг такой, — сказал он, любуясь ею, наслаждаясь сигаретой, цветущей зеленью за окном, Антоновым... Какие к черту самолеты, поляры, Радциги?! Радциг несчастный — он старый, ему сорок пять, он не знает и уже никогда не узнает, что такое любовь. — Мне он в прошлом году тоже тройку поставил. Ни за что. Его с самого начала Полавский завел. Радциг его спрашивает: «Что такое мю?» — ну, относительное удлинение крыла... Сашка молчал, молчал, а потом тихо так говорит: «Буква...»

Она рассмеялась. Он не отрываясь смотрел, как она смеется.

— А что он поставил Полавскому?

— Выгнал.

— Зануда страшная, — сердито сказала она. — Видит же, что в зачетке пятерка и две четверки, — и ставит тройку!

— Да ладно, черт с ним. Стипендия же будет.

— Если еще и Андриевский влепит тройку, может и не быть.

— Андриевский не влепит... И вообще я уже в следующем году буду зарплату получать. Проживем.

Он сказал это немного волнуясь. О том, чтобы жить вместе, то есть пожениться, он еще ни разу не говорил. Он был готов сказать ей об этом через месяц... да что там — через неделю после знакомства, но не хотел, чтобы она сочла его легкомысленным: кто делает предложение через месяц?

— На зарплату инженера не проживешь, — вдруг очень серьезно (и эта необычная для нее, без тени улыбки серьезность была тревожно-неприятна ему) сказала она.

— Ничего, — настойчиво сказал он. — С милым рай и в шалаше.

— Если милый атташе...

Он покусал губы.

— Так... — Она сбросила в тарелку оранжевую россыпь помидоров, залила все майонезом и стала мешать. Луковые кольца никак не хотели тонуть, вставали торчком. Он вдруг машинально подумал, что за этими бледными парниковыми помидорами мать отстояла вчера огромную очередь... и вечером обязательно скажет ему: «Ты, кажется, забываешь, что живешь не один»... А, ладно. До вечера еще далеко. И вообще это ерунда.

— Витя, я возьму колбасу?

— Ну что ты спрашиваешь.

От вида и запахов майонеза, помидоров и колбасы ему захотелось есть. Он потушил сигарету и вышел в уборную — сплюнуть. Вернувшись, он подошел к ней сзади и поцеловал ее в шею. Бедра ее были совсем холодные. Она изогнулась.

— Ну Витька!..

— Очаровательные глазки... очаровали вы меня...

— Витька, садись!

— Сажусь, сажусь... Ты пойди оденься, ты же замерзла.

— Я не замерзла. Сейчас поедим, тогда оденусь. Мне еще душ надо принять. Тебе тоже, кстати, не мешает.

— Ладно... давай уже есть.

— Не будь рабом своего желудка, — весело повторила она его привычное выражение. — Учись властвовать собой.

Он кряхтя опустился на табурет. Она дорезала колбасу, поставила чайник и села.

— Ешь... обжора.

— Сама обжора, — сказал он с набитым ртом.

Она ела быстро, как проголодавшийся ребенок. Губы у нее были нежно-розовые, отчетливо вырезанные, она почти не красила губ или красила бесцветной помадой. Холодная вареная колбаса с помидорами, луком и майонезом — было изумительно вкусно. Ленка сидела в его рубашке, с открытыми бедрами, положив нога на ногу; солнце золотило точеные лунки ее колен. На плите шумел чайник. За окном шелестел июнь. Антонов пел о любви. Счастье.

Она допила помидорный сок из тарелки и вытерла губы.

— Ну что, сходим в кино?

Ему больше хотелось в парк — погулять с ней по тенистым, тихим аллеям, поговорить ни о чем, посидеть на скамейке под старой сосной, помолчать, глядя на ее легко переменчивый профиль... чем смотреть на чужую жизнь, отнимая два часа у своей любви — своей жизни. Но она хотела в кино.

— Пойдем. В «Ленинграде» «Сталкер» идет...

— Ой, да ну его! Тягомотина.

— Ты смотрела?

— Маслюкова смотрела, говорит — чуть не уснула. Несколько мужиков попадают в какую-то зону — не в тюрьму, а просто место так называется, — три часа философствуют, и все время идет дождь.

— Тарковский...

— Потому и тягомотина, что Тарковский. Я смотрела «Зеркало» и «Рублева». В «Зеркале» вообще ничего не поняла, сидела как дура: где мать, где муж, где дочь... — Она рассмеялась: она чаще смеялась, чем улыбалась, при этом линия ее рта оставалась совершенно прямой. Это было очень красиво. — А ты любишь Тарковского?

Он заколебался.

— Вообще да.

— Ну, это у тебя характер такой, Витька.

— Какой?

— Лирический!

— Ты считаешь... ты считаешь, что у меня лирический характер, потому что я так люблю тебя?

— Ну что ты обижаешься? Не потому, что любишь меня, а потому, что тебе нравится Тарковский. Но я не могу три часа сидеть и смотреть на дождь. Я вообще не люблю дождя.

— Ну ладно... — Он улыбнулся. Он уже видел «Сталкера» и посмотрел бы его еще раз. Он многого не понимал, но Тарковский необъяснимо его завораживал. Он мог часами смотреть на черно-желтый медленный дождь и скользить вслед за камерой по останкам домашних вещей, разбросанным по изъеденным трещинами каменным плитам. Это высший пилотаж — когда непонятно, а завораживает. Маслюкова, конечно, дура, у нее только тряпки и мужики на уме. Но Ленка умная, просто в ней очень много жизни. А в «Сталкере» все устали от жизни, и Тарковский устал.

— Ладно, — сказал он и погладил ее по колену, — Посмотрим афишу, что-нибудь найдем.

Щелкнул магнитофон. Он вытащил кассету и перевернул. Захрипел Челентано.

— У тебя когда научный коммунизм? — спросила она.

— Послезавтра.

— Ты подготовился?

Ему было очень приятно, что она озабоченно, почти строго спрашивает его: «Ты подготовился?».

— Там трудно подготовиться, малыш, одна вода. Но они ставят по принципу: если хорошо учился — пять или четыре, если плохо — трояк. Я думаю, поставят четверку. А вообще — какая разница?

— Последний экзамен в жизни?

— Да. — Его рука с сигаретой остановилась на полпути. Последний — и никогда больше не будет...

— Счастливый, — вздохнула она.

— Ну ничего, потерпи еще год.

Зазвонил телефон. Он поднял трубку и приглушил Челентано.

— Слушаю.

Звонил Вадик.

— Привет... Да ничего... Мы тут с Ленкой обедаем. — Ему нравилось говорить друзьям, что «мы с Ленкой». — Ты-то как?

— Да живой пока... Ты в Пиночет сегодня не собираешься?

Пиночет — была пивная неподалеку от института.

— Нет. Мы сейчас с Ленкой в кино идем. А я тебе нужен?

Вадик помолчал.

— Вообще-то да... но для этого не обязательно идти в Пиночет. Просто я там сегодня буду, часов в шесть.

Виктор посмотрел на часы.

— Я не знаю... — Он не знал, что Лена собирается делать после кино — пойдет домой или останется с ним, а спросить ее об этом при Вадике было ему неудобно. Он нужен Вадику — и ставит встречу с ним в зависимость от настроения Ленки. Впрочем, Вадик сказал, что идти в Пиночет не обязательно... — А я тебе зачем нужен?

— Я потом скажу.

— Что-нибудь серьезное?

Ленка поднялась и сняла с плиты чайник.

— Я не знаю... Витя, я потом скажу.

— Ну хорошо. Может, зайду... Если нет, позвони. Ладно?

— Ладно. Ну пока.

— Пока.

Он повесил трубку и повернулся к столу.

— Кто это? — спросила она.

— Вадик. — Он подумал, что раззява Вадик забыл передать Ленке привет.

— Что там у него?

— Да черт его знает. Звал в Пиночет, зачем-то я ему нужен... Ленка, через край льется!

— Блин, — сказала она и вытерла парящую лужицу.

— Опять этот «блин», малыш?

Она поставила чайник и накрыла стаканы крышками. Она всегда заваривала чай прямо в стакане.

— Я пойду в ванную, путь остынет.

— Иди.

Он услышал щелчок задвижки, и почти сразу влажно зашипел душ. И это тоже было ему приятно — что она у него, в его ванной, принимает душ. Конечно, она мылась у него уже много раз, но он не мог привыкнуть ни к чему, что было связано с нею. Он собрал посуду, уложил ее в раковину и включил воду. Душа не стало слышно. «Что надо Вадику?» — рассеянно думал он, смывая с тарелки жирные завитки майонеза. Вадик был ему друг — не приятель, а друг, и старинный; они вместе учились в школе и в институте, только на разных кафедрах. Вадик был двоечник и выпивоха, если не сказать пьяница, и очень хороший человек. Они часто встречались — чаще на вечеринках и в Пиночете, чем в институте, — и несколько раз в году устоявшейся со школы компанией ездили в лес: Виктор с Мариной, Кузя со Светкой, Тортил с Мариной Маленькой, Вадик один: у него не было девушки. Вадик был очень высокий, сутулый, худой и вообще видом и поведением — повадками, как говорил энтомолог Кузя, — довольно странен. Порядочен он был до безумия: когда они с приятелем выпивали в общаге и того, уже после ухода Вадика, задержали дружинники,

Вадик пришел на заседание персональной комиссии — где приятеля могли выгнать из комсомола и как следствие из института — и сказал, что они выпивали вместе и выпивку принес он. Комиссия дрогнула — и простила обоих. Уезжая с дачи, Вадик неизменно оставлял на шкафу (чтобы не узнали родители) блюдце с вареньем — для залетевших пчел, ос, бабочек и естественно мух, которые были обречены в запертом доме. Ироник Кузя однажды заметил, что насекомым, кроме еды, необходима вода. «Вода есть — на кухне кран подтекает», — серьезно ответил Вадик. Комаров он не убивал, а сдувал... Последние два года Вадик сильно пил и сейчас, обремененный хвостами, с трудом дотягивал институт. Виктор и сам много пил, но для него это было средством — для настроения, танцев, застольного разговора, — а у Вадика похоже уже на цель. Кажется, эта цель была бегство. Он выделялся из этой жизни, и жизнь выталкивала, ломала его. К Лене Вадик отнесся настороженно — Тортил и Кузя по-дружески, несмотря на пятилетнее знакомство с Мариной, а он настороженно, — редко к ней обращался и только что не говорил «вы». Вадик жалел Марину. Он жалел бы любую оставленную девушку, но с Мариной они были очень хороши. От Кузи Виктор узнал, что Марина звонила Вадику и плакала. Лена в его глазах была победителем. Вадик не любил победителей, даже в спорте: когда его спрашивали, за кого он болеет, он отвечал: «За проигрывающего». Простить смеющейся Лене Мариниых слез Вадик не мог. Виктор знал это, потому что знал Вадика, сам Вадик ему ничего об этом не говорил. Он вообще никогда не говорил с ним о Лене. Виктор не только любил в Вадике старого друга, но и уважал его сердце и голову, и в любом другом случае огорчился бы его неприятием чего-то близкого Виктору — в любом другом случае, но не в этом: Лена и Вадик занимали несопоставимые места в его жизни. Лена превыше всего.

Он выключил воду, вытер руки и закурил — и тут Ленка вышла из ванной: розовая, теплая, светлая... Он бросился к ней, распахнул рубашку и стал жадно ее целовать — всю; она сразу часто задышала, так было всегда, и всегда он от этого полностью терял голову, — но потом вывернулась, присев, из его рук и убежала в спальню.

— Ленка, а чай?

— Потом!

Он улыбаясь вернулся на кухню и взял дымящуюся в пепельнице сигарету. За окном гигантской пчелой гудела поливочная машина. Солнце смеялось. Челентано запел: «Чао, бамбино, сорри...».

Послезавтра последний экзамен, потом месяц военных лагерей, потом диплом — и — новая жизнь. После диплома они поженятся. Они поженятся, и это чудо, это счастье видеть ее, говорить с ней, обладать ею будет каждый день — и долгие, долгие годы. «И завтра, и послезавтра, и через месяц, и через год...» Они жили долго и счастливо и умер-

ли в один день. Лучше так: «...и умерли в один миг, не узнав о смерти друг друга». Он знал, что такого — бесконечного — счастья не может быть, но знал это из чужого, пусть всеобщего, опыта, из чужой жизни, и понять, почему им вместе может быть не хорошо, представить себе положение, в котором им вместе может быть плохо, — не мог. Если ты рядом, может быть только хорошо.

Распределят его в институт к отцу, отец уже устроил запрос. Он получит сто тридцать рублей, но вместе с премиями, обычными на оборонке, это будет сто шестьдесят. Сто шестьдесят плюс ее стипендия, пятьдесят пять, — двести пятнадцать. На эти деньги вполне можно прожить, а через год она защитит диплом и тоже будет получать свои сто двадцать — сто тридцать. Почти триста рублей! Ну, на двоих... Ребенка пока не надо, с ребенком нужно подождать (впрочем, ему вообще совершенно не хотелось иметь детей: ему нужна она и только она, зачем ему дети?!), но если она захочет, он будет только рад. Он всему будет рад. На работе он сразу поступит в аспирантуру, через три года защитит диссертацию — он был уверен, что и поступит, и защитит: да он горы свернет, когда они будут вместе! и ему хотелось сворачивать горы, он чувствовал в себе огромную нетерпеливую силу, впереди была вечность — вечная молодость, вечная любовь, вечная весна...

Он потушил сигарету и отхлебнул чаю. Да — через три года он защитит диссертацию; кандидату будут платить уже двести двадцать, а то и двести пятьдесят. Двести пятьдесят! Ленка встретит на улице кого-нибудь из своей группы, ту же наглую разодетую дуру Маслюкову: «А как твой Неженцев?» — «Да ничего. Недавно защитил диссертацию». — «Да-а?.. И сколько он получает?» Ленка просто — не гордясь и не небрежно, а просто: «Двести пятьдесят»...

Он блаженно улыбнулся — поймал себя на этой улыбке и с досадой возвратил себя в жизнь. Он любил помечтать, и это ему не нравилось: мечтательность — признак слабости... а тщеславие — глупости. Всё. Где они будут жить? Жить они будут у него... в конце концов, у него три комнаты, а у нее две, и живут тоже трое: она, мать и бабушка. На самом деле это был не столько аргумент, сколько предлог: независимо от числа комнат ему решительно не хотелось жить с чужими людьми (будущую тещу, к слову сказать, он ни разу не видел: Ленка почему-то не приглашала его к себе — да он и не стремился; но из этого он заключил, что ее мать за глаза не любит его), — жить в чужой, незнакомой квартире, где он будет, как говорили встарь, приймаком, влазнем... Впрочем...

Конечно, лучше всего было бы жить отдельно. Его родители... С его родителями Лена была знакома; месяц назад, на майские праздники, они даже посидели вчетвером за столом, и Лена ничуть не стеснялась и была как всегда очаровательна, — но... Ему это казалось диким, но матери —

отец был скорей равнодушен — Лена не нравилась. Он был даже не так огорчен, как изумлен: он не мог понять, как может не нравиться абсолют? Майское утро, ночной костер, Чехов, Ван Гог... Лена?! Родители знали, что в их отсутствие Лена приходит к нему домой (выражение матери: «приводишь в дом»). Виктор ничего им об этом не говорил — в своей интимной жизни он стеснялся родителей, — но все предусмотреть невозможно, и время от времени оставались следы: запах ее духов, окурки с губной помадой, женские домашние тапочки, которые он забыл положить на место, а совсем недавно — и вот тут он страшно смутился — ее колготки, брошенные в его комнате: утром было прохладно, и она вышла в колготках, а уходя от него, забыла надеть... Мать знала все, но это не могло иметь никакого значения: Марина тоже приходила к нему домой, и вообще ему было не шестнадцать лет, а шел двадцать третий.

Непонятная, необъяснимая неприязнь матери к Лене прорвалась наружу спустя несколько дней после того памятного, почти семейного — он еще, дурак, умилялся — праздничного застолья. На День Победы они привычной компанией — Лена, Вадик, Кузя, Тортил, Марина Маленькая (впрочем, теперь была только одна Марина) и Светка — отправились в лес. На обратном пути, уже вечером, он завез Лену домой, а сам с ребятами поехал к Вадику — продолжать. По приезде выяснилось, что у Вадика не работает телефон; все пошли на улицу к автоматам; телефон Виктора был наглухо занят — мать иногда разговаривала с подругами по часу, — он уже был на хорошем взводе и, побившись минут пятнадцать, махнул рукой и решил остаться у Вадика без звонка.

Почему-то на этот раз мать волновалась особенно сильно, и вечером следующего дня разразился страшный скандал. Как это часто бывает, он затронул события и людей, не имевших к причинам его ни малейшего отношения. Виктор сейчас не помнил, по какой цепочке мать добралась до Лены, — он помнил только, как она спросила — насмешливо, презрительно, зло: «Надеюсь, ты не собираешься на ней жениться?» — «Это почему?!!» — пораженный и оскорбленный, почти ненавидя мать, выкрикнул он. Мать помолчала, видимо борясь с собой — лицо ее напряглось, покрылось красными пятнами, — потом, вдруг ослабев, устало сказала:

— Потому что ты еще глуп. Пойди спроси у отца, он взрослый мужчина, он тебе объяснит.

Виктор бросился к отцу — но отец ничего ему не объяснил: он сидел как обычно над своими бумагами и, когда Виктор ворвался к нему, вздрогнул, схватился за голову и закричал:

— Женитесь на ком хотите, только перестаньте орать!

Тем дело и кончилось — и больше не вспоминалось. Некоторое время слова матери точили его, но потом он махнул рукой: все матери не любят невесток — ревнуют, наверное...

Лена вышла из комнаты, уже подкрашенная и одетая. Какие у нее были глаза! огромные, бездонные, серо-голубые, в оторочке черно-синих ресниц... Он залюбовался ею, с чувством даже какой-то гордости: она — моя!..

— Витя, — немного виновато сказала она, — я не хочу в кино. Я устала. Поеду домой.

— Тьфу ты ч-черт!! Ну... ну ты что?!

— Ну у меня голова болит, Витька! А мне сегодня еще к портнихе.

— Черт бы побрал эту портниху! Ты ведь позавчера у нее была!

— Так ведь не одна же примерка.

— А я что буду делать?!

— Ну, полежи почитай... Я правда устала, Витя.

Он со стоном вздохнул. Она погладила его руку.

— Только в Пиночет не ходи.

— Почему?

— Опять напьешься.

— Я что, часто напиваюсь?!

— Не часто, но бывает.

— Мне с Вадиком надо встретиться.

— Ну да, только в Пиночете. Место встречи изменить нельзя. Пива попить, матом поругаться.

— Не знаю...

— Ну пожалуйста.

— Ну хорошо... не пойду.

— Умница. — Она поднялась на цыпочки и поцеловала его. Она очень редко первой целовала его — обычно отвечала на его поцелуи.

— Когда придешь от своей... белошвейки, позвони.

— Ладно. Только она не белошвейка, белошвейка — это...

— Я знаю, — уже смиряясь с ее уходом, сказал он. — Это кто белье шьет.

— А знаешь песенку?

— Нет... какую?

Она склонила набок голову и с озорной и вместе виноватой улыбкой запела:

Была я белошвейкой
И шила гладью,
Мне это надоело,
Я стала... примой!

Мотив был «Матчиш, веселый танец...» Он улыбнулся и покачал головой. Ему не очень нравилось, что она поет такие песни, но ему безумно нравилось, как она поет.

— А дальше как?

— Дальше совсем неприлично.

— И не стыдно тебе? — ласково сказал он.

— А я тут при чем? — она сделала гримаску «наивная». — Это мне Кора спела. Ладно, я пошла. Не скучай.

— Постараюсь. А ты не будешь скучать?

— Будешь.

Он проводил ее до дверей, и они долго поцеловались.

— До завтра, малыш.

— Пока.

Он закрыл дверь. Дом опустел, жизнь опустела — чем же заняться, черт побери?! Пошел к себе в комнату, взял «Научный коммунизм» и повалился на разобранную постель — которая еще пахла ею... Он сделал над собою усилие и раскрыл учебник. «Преодолеть отчуждение человека от созданных им материальных и духовных ценностей, ликвидировать существенные различия между классами и социальными группами, добиться полного удовлетворения разумных потребностей... Подлинное ядро коммунистической идеологии — понимание коммунизма как «завершенного гуманизма» (Маркс), как совокупности условий для всестороннего свободного и творческого развития личности...» Ну, как это можно запомнить? Своими словами пересказать — так ведь не перескажешь. «Преодолеть отчуждение человека от созданных им материальных и духовных ценностей...» — как это можно сделать в современных условиях? Натуральное хозяйство, что ли? Не понимаю... По-русски, просто нельзя сказать?! И Матвеев читал лекции точно такими же словами. Дураки, любую песню испортят... Ладно, черт с ним, все равно автоматом поставят. Кольнер и Рязанов получат пять, остальные четыре, только Хорошилов, наверное, три. Вадик получил тройку... что делать с Вадиком? Он сказал Ленке, что не пойдет в Пиночет. Вадику что-то от него нужно, а он не пойдет. Ему хорошо, и мятущийся Вадик ему не нужен. А когда он погибал в больнице от перитонита, Вадик ездил к нему каждый день. Нет, с Вадиком надо встретиться. Ленка не обидится, пить он не будет. Он посмотрел на часы. Половина третьего. Еще три часа... Он отбросил учебник и взял с тумбочки «Мастера и Маргариту». О ней столько кричат, что надо прочесть. А то попадешь впросак, как Тортил: «Понтий с Пилатом»...

II

В шесть часов Виктор поехал в Пиночет.

В трамвае было тесно и душно, несмотря на открытые окна: трамвай вела женщина, а женщины всегда ездили медленно — особенно на спуске с моста, где их обгонял пешеход. Виктора занесло толпой на середину вагона; он стоял близко к окну, но из-за высокого роста видел лишь пыльную полоску земли вдоль трамвайных путей и сумрачные подножья кустов с пробивающимися кроплями солнца. До Пиночета было две остановки, до Лены — пять. Он любил ездить в трамвае с

Леной, даже в толпе — особенно в толпе: он обнимал ее и привлекал к себе, и чувствовал ее всю, и вдыхал запах ее волос. Когда трамвай повернул на шоссе, он наклонился к окну. По четырем высоким ступеням пивной густо сновали люди — поднимались быстро, спускались медленно. Был конец рабочего дня, и тех, кто поднимался, было больше идущих вниз. Вадик мрачно шутил: «Оставь надежду всяк сюда входящий». В Пиночете стояли люди из всех слоев общества, от институтских преподавателей до уголовников. Многие здесь спивались.

Виктор сошел с трамвая, и его ослепило солнце. На облупившемся поребрике, в густой тени угрюмого старого восьмиэтажного дома, томились местные пьяницы. У них не было денег, но и не было сил до закрытия Пиночета безнадежно разойтись по домам. У ободранного до арматурных прутьев крыльца Виктор столкнулся с Гуноилом. Они пожали друг другу руки. Гуноилу был лет двадцать пять, он нигде не работал и пил и жил у бабки, которая его кормила. Гуноил привычно и печально попросил двадцать копеек. «Мне надо разменять», — сказал Виктор. Гуноил с посветлевшим лицом поспешил за ним.

Пиночет был набит битком. В нем было два зала, слева и справа от входа: большой метров пять на десять, малый в два раза меньше. В горячее время сюда втискивалось несколько сот человек. Виктор свернул налево — Вадик обычно стоял в большом. После желто-голубого сияния солнца и неба Пиночет казался погруженным в дымные сумерки. Окна были наглухо закрашены белым и расписаны шестиногими раками, которые держали в клешнях вулканически пенящиеся граненые кружки. В Пиночете никогда не продавали не только раков, но и вообще ничего, кроме пива, и с каждым годом становилось все меньше кружек: их били и воровали, и администрация потихоньку заменяла их пол-литровыми банками. На усыпанных объедками и окурками стойках висели дымящиеся гроздья людей. У тускло мигающих, пошипывающих пивными струйками автоматов давились багроволицые очереди; над головами торчали поднятые из-за икряной тесноты кружки и банки. Под невидимым потолком, кромсая сизую пелену, неровными толчками бились два вентилятора. Воздуха не было — была густая, влажная смесь из запахов пива, портвейна, перегара, дешевой копчушки, дыма... Шум стоял как во время футбольного матча.

Виктор боком протискивался через толпу. Только витающий в облаках своих мыслей Вадик мог прийти сюда в шесть часов. В это время не то что кружку, но и пустую банку было трудно найти.

— Привет, Витек!

— Привет, Кактус. Кружки нет?

— Откуда...

... — Категорически вас приветствую.

— И тебя, Питерский. Кружки нет?

— Увы.

... — Здорово, студент»! Ты когда уже институт закончишь?

— Закончу когда-нибудь. У нас в МАИ только первые десять лет трудно учиться, потом привыкаешь... У тебя банки нет?

— Даже две.

Это Кандей так шутил. Виктор протолкался до середины зала — и увидел Вадика. Его голова торчала над брусчаткой толпы, как подсолнух на огороде. Вадик тоже увидел его и помахал рукой. Виктор с трудом продрался к нему. С Вадиком стояли Бокс, Гурам и Кадет; другую половину стойки занимали плотные сорокалетние мужики, которые с оглядкой разливали портвейн. В Пиночете пить спиртное было запрещено и за этим следила временами набегающая милиция, но по крайней мере каждый второй пил не только пиво.

— Ф-фу-у... привет, — сказал Виктор.

— Привет.

— Здорово, коль не шутишь, — сказал Бокс.

Виктор пожал всем руки. Из-за его плеча вывернулся Гуноил и тоже потянулся с рукой.

— Ты руки-то мыл? — спросил Бокс. У него было насмешливое львиное лицо.

— Да ну тебя, — сказал Гуноил.

— Подначка друга слаще меда. Вот Гуноил, скажи: зачем у тебя голова на плечах?

— А я ею ем.

— Правильно.

— Пойду поменяю, — сказал Виктор. — Кружки нет?

— Возьми мою, — сказал маленький большеглазый Кадет.

— Да не надо менять, дам я тебе жетон, — сказал Бокс. — Давай по рублю. Хватит уже лягушек в животе разводить.

— Я не буду, — сказал красавец грузин Гурам.

— Я тоже, — сказал Виктор.

— Вас никто и не заставляет, — сказал Бокс. — Давайте по рублю и можете быть свободны.

Виктор протянул Боксу рубль и взял у него двадцать копеек. Гурам только усмехнулся. Гуноил с отчаянием посмотрел на Виктора.

— А, черт, — сказал Виктор. — Бокс, дай Гуноилу жетон.

— А морда не треснет?

— Дай, дай... Я ему обещал.

— Обещанного три года ждут, — сказал Бокс и протянул Гуноилу двугривенный. — Гуноил, ты колдун, наверное: всегда ни копейки денег — и каждый день пьян.

— Да ну тебя, — сказал Гуноил и скрылся в толпе. Виктор пошел — полез — к автоматам. Когда он вернулся, Кадета не было. Безотказный

тихий Кадет часто ходил в магазин; из-за маленького роста и кротких, как у оленя, глаз он хорошо брал без очереди. Когда-то Бокс и Кадет учились на одном курсе с Виктором; но Бокс, пропивший осенний семестр, ухитрился взять академический отпуск и отстал на год, а бесхитростного Кадета еще с третьего курса выгнали, и сейчас он тихо спивался. Бокс пил не меньше Кадета, но в нем было много силы.

Виктор встал рядом с Вадиком и отхлебнул из кружки. Пиво было как всегда в Пиночете — кисловатым и слабым, почти без пены. Виктор взял его механически, потому что пришел в Пиночет, — ему не хотелось пива. Ему хотелось быть с Леной. Он подумал о ней... то есть не подумал, он думал — или, вернее, помнил — о ней всегда, память о ней была как будто фоном всей его жизни, и жизнь его, чтобы он ни делал и о чем бы ни думал, была немыслима без этой постоянной подсознательной памяти о ней — как немыслим пейзаж без неба; он ясно увидел ее лицо — и ему стало так жалко всех этих несчастных, толпившихся в Пиночете людей, их скудную, тусклую, безнадежную жизнь — у них не было Лены... Все люди были несчастны по сравнению с ним. Несчастен Кадет, несчастен жизнерадостный Бокс — он просто не знает, что такое счастье, — несчастен Вадик... Он посмотрел на Вадика. Тот стоял с кружкой, в которой пива осталось на два глотка, и видимо томился. Наверное, у него не было денег. У него редко бывали деньги: стипендии он не получал, а родители, из-за того что он пил, давали ему в день по рублю. Почувствовав, что Виктор на него смотрит, Вадик повернул голову и, помаргивая, встретил его взгляд. У Вадика были голубые глаза — как у Лены, — только у Лены они были серо-голубые и с искорками, а у Вадика бледно-голубые и без искорок — печальные глаза. Из-за этой печали — когда жизнь так прекрасна: Лена, Лена и весна, Лена и окончание института — всё с Леной! — из-за этой печали Виктор последние месяцы, стыдясь, тяготился Вадиком. И сейчас ему не хотелось торчать в Пиночете и хотелось уйти, и он ожидал, что Вадик скажет ему, зачем он звонил, — но Вадик молчал. Виктор допил свое пиво, и тут же к нему посунулся какой-то мужик.

— Повторять будете?

Виктор замялся.

— И неоднократно, — отрезал Бокс.

Виктор придвинулся к Вадику.

— Вадька... я тебе зачем-то был нужен?

Вадик покивал — и отвел глаза.

— Да... сейчас, Витюш, подожди. Ты ведь не торопишься?

— Нет, но вообще собираюсь уйти.

— Ты понимаешь...

Возвратился Кадет с бутылкой «Кавказа». Бокс повернулся к мужиками, пившим портвейн.

— Мужики, стакан есть?

— Мы отдали, — сказал один, красный и загорелый — цвета красного дерева.

— Кому?

— Да баба тут какая-то ходит.

Бокс чертыхнулся и обогнув стойку вломился в толпу. Стаканы давала уборщица тетя Рая — женщина лет пятидесяти, с опухшим ярко-красным лицом, полная, но на тонких бледных ногах. За это ей оставляли пустые бутылки — «посуду».

— Ладно, — сказал Гурам, — я пошел. Надо коммунизм почитать.

— У тебя когда? — спросил Виктор.

— Послезавтра.

— У меня тоже. Ну и как?

— А у тебя как? — сказал Гурам и засмеялся. Он был необыкновенно красив. На него было приятно смотреть даже мужчине. Если Виктор в присутствии Гурама думал о Лене, он начинал нелепо ревновать ее к нему — хотя Лена Гурама даже не видела. Ему и не хотелось, чтобы она его увидела. Он был очень красив.

— Никак, — сказал Виктор и тоже засмеялся.

— Херня, прорвемся. Ну ладно, до послезавтра. Коммунизм надо отметить.

— Ни пуха, — сказал Кадет.

— К черту.

— Давай, — сказал Виктор и подумал, что не будет ничего отмечать. Он будет с Леной. Потом он подумал, что Вадик, наверное, не хочет говорить при Кадете и Боксе. Значит, придется подождать, пока парни выпьют. В подвыпившей компании двоим проще поговорить.

... — Повторять будешь?

— Буду, — с досадой сказал Виктор и пошел и налил себе пива. Вернувшись, он отпил сразу полкружки и закурил. Кадет и Вадик в нетерпеливом ожидании Бокса даже не разговаривали. Вокруг прибоем шумел Пиночет.

— ... вчера нажрался, через губу переплюнуть не мог...

— Я ему говорю: ты чего мне, ..., закрыл? Я две смены сверхурочно...

— ...вернулся из Афгана с протезом.

— Наливай, трубы горят!

— Если бы не моя дура, я бы...

— Эх!

— ...на Можайку, там лещ хорошо идет.

— «Торпедо» продует, мажем?

— Брежнев уже ни хрена не соображает, это все Соколов...

— ...только из вытрезвителя, голый Вася...

— «Бони М» приехали, билеты по четвертаку...

— Приходит Петька к Василию Ивановичу и говорит...

— Симпатичнейший Игорь Петрович! Одолжите на пиво...

— ...вермута по рупь девяносто две, потом два «Приморского»...

— Ты слушай сюда! Берешь плашку на полдюйма...

— ...очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит...

— Ты мне уже год чирик должен!

— ..стипендия-то накрылась...

— Ты «Альтиста Данилова» читал?

— Миша, пойдем домой, ну хватит уже...

— ...не теща, а золото. Как приеду, сразу...

— Окорок? Да это ж мой лепший кореш!

— Кху! А-а-а...

— Пое-едем красо-отка...

В пахомовском углу уже запевали. Из туалета два мужика выволокли кого-то грузного, мертвопьяного. В голубом дыму роилось бесчисленное множество лиц — красных, радостно возбужденных, азартно спорящих, внушительно что-то рассказывающих, хохочущих до удушья, до слез — верно, от самой невинной шутки... Мат стоял такой, что уже не воспринимался как речь, — фон, несущая частота, сплошная матерная завеса. «Видела бы и слышала все это Ленка», — подумал Виктор — даже с каким-то страхом за нее и жалостью к ней. Другой мир... Возвратился Бокс — со стуком впечатал в стойку стакан.

— Райка, ..., совсем мышей не ловит! Два аршина на Пиночет! — Он пальцами сорвал пробку с бутылки и наполнил стакан до краев. Три стакана всклень — бутылка. — Давай!

— Пей, Вадик, — сказал Кадет и вытащил из кармана сухарь. Вадик выпил, дергая головой. Снова заплескала бутылка. Вадик постоял неподвижно с минуту, уткнувшись носом в сухарь, — потом отгрыз самый кончик и отдал сухарь Кадету.

— Плохо пошла? — участливо спросил Кадет.

— Да, — с облегчением сказал Вадик и закурил. — Не очень.

Чуть ли не из-под стойки вынырнул Гуноил.

— Бокс...

— Всех грёбс! — рявкнул Бокс. — Гуноил, у нас год ящерицы: рубим хвосты. Давай, Шура, не держи инструмент!

Кадет взял стакан, отставил мизинец и выпил портвейн как воду, неторопливыми маленькими глотками. Виктор посмотрел на него, и ему захотелось выпить. Еще недавно он бы, конечно, выпил — сессия позади, последняя сессия, почему нет? — но сейчас у него была Ленка, была и тогда, когда ее рядом не было... Бокс опрокинул стакан как в пустоту и энергично захрустел сухарем.

— Это... слышали анекдот про Брежнева и водку с козырьком? — спросил Кадет и обвел всех своими огромными оленьими глазами. —

Приходит, значит, Косыгин к Брежневу и говорит: Леонид Ильич, народ обижается, что вы у водки козырьки убрали. Брежнев подходит к бару, достает бутылку...

Сзади вдруг дико закричали, затопали, мокро ляскнул удар, другой... Рокочущий гул Пиночета мгновенно стих — как будто нажали кнопку. Виктор рывком оглянулся. В нескольких шагах от него остервенело дрались два парня — в светлых рубашках, с неразличимыми в вихре ударов лицами. Толпа прянула в стороны, выгнулась полукругом; в мертвой тишине удары, топот, матерщина и хрип звучали оглушающе громко, как в усилителе; отовсюду жадно смотрели радостные, зверские, брезгливые, испуганные лица... Блеснула кровь; из глубины толпы раздались неуверенные голоса: «Кончайте!», «Да, разнимите вы их!..» Один из парней рухнул вдруг как подкошенный, с костяным стуком ударилась об пол голова; второй, задыхаясь матерной руганью, с размаху врубился в него ногой. Вадик сделал движение; у Виктора дрогнули руки, ненависть и отвращение захлестнули его — он бросился на играющую широкими лопатками спину, сгреб голубую рубаху, рванул — треск оглушил как выстрел — и, надрываясь, разогнал страшно тяжелое, бьющееся в его намертво стиснутых кулаках рычащее тело и с размаху швырнул его на толпу. Парень вломился в живую стену, кого-то смял — толпа ахнула и подалась, — молнией повернулся и, расставив руки с ярко-красными бугристыми кулаками, пошел на Виктора: ростом ниже его, но шире в плечах, в забрызганной кровью рубахе, с перекошенным, изуродованным злобой лицом — черт его было не разобрать, в нем не было ничего человеческого...

— Чево-о-о-о?!!

Виктор дрогнул, ступил назад. Толпа замолчала.

— Хер через плечо, — громко и насмешливо сказал Бокс с дальней стороны стойки. Парень дернул головой, враз нашел Бокса и белыми глазами уставился на него. Бокс усмехнулся.

— Ну, чего вылупился? Выйти по ореху настучать, что ли?

Виктор опустил подрагивающие руки и перевел дыхание. Бокс неторопливо расставил локти и навалился на стойку. Парень несколько секунд, убивая, смотрел на него... на его растянутый в усмешке, прямой как линейка рот, в его наглые, спокойные, давящие своей силой глаза, — потом ослабел лицом, повернулся и медленно пошел прочь. Перед ним расступались. Виктор с огромным облегчением смотрел ему вслед. У парня были жилистые ширококостные руки и крепкие ноги и спина, но Виктор знал, что Бокс не блефует. Бокс никогда не блефовал, он всегда был готов драться. Вообще говоря, Виктор не любил Бокса. Они были приятелями, но он его не любил. Два раза он видел, как Бокс дерется — он дрался с равнодушной жестокостью. Судя по тому, как эти двое почти вслепую махали кулаками, Боксу хватило бы трех-четырех ударов. Виктор посмотрел туда, где лежал упавший. Его уже не было.

— Здорово ты его, — негромко сказал Боксу мужик из красного дерева.

— Без единого выстрела, — сказал другой и принужденно засмеялся.

— Ур-роды, — брезгливо сказал Бокс, отрываясь от стойки. — Детство в ж... играет.

— Выпить спокойно не дадут, — кротко сказал Кадет.

Вадик стоял, болезненно морщась. Виктор закурил. Конечно, он был благодарен Боксу. Тот парень, что дрался, был здоровый и, главное, бешеный; у Виктора такого бешенства... и такой силы духа, чтобы противостоять этому бешенству, не было. Ему не хотелось в этом себе признаваться, но он знал — там, в глубине, где себя не обманешь, — что это так. Правда, он один — один из толпы — вмешался в драку, но это была вспышка, порыв, это было бессознательное, а не сила духа. В толпе многие не боялись драки, просто им было все равно. Не хотелось пачкаться. А он психанул и полез, а когда... да пошел ты к черту!! Главное, что полез. И все. Начинается... Но ему не хотелось благодарить Бокса.

— Спасибо, Бокс, — сказал он.

— А спасибо некрасиво, надо денюжку платить! — детским обиженным голоском прокричал Бокс и похлопал себя по животу. — Хорошо, да мало. — Он полез в карман и впечатал в стойку железный рубль. — На развод.

— Я пустой, — сказал Вадик.

Виктор тоже положил рубль. Кадет взял деньги и вышагнул из-за стойки. Бокс придержал его за рукав.

— Подожди, Шура, я схожу. А то еще на этого ... нарвешься.

Кадет моргнул.

— Так... а зачем ему я?

— Ты же рядом стоял.

Кадет протянул Боксу два рубля и свою пятерку и застенчиво улыбнулся. Бокс мотнул головой.

— Богатенький Буратино! Так что — бутылку или на все?

— Да конечно на все, чего по десять раз бегать...

— Есть, сэ-эр.

Бокс развалисто пошел к выходу. Виктор посмотрел на Вадика — и вздохнув взял свою кружку.

— Тебе налить?

— Нет, спасибо.

Ему давно уже хотелось уйти, после драки настроение и вовсе упало, но и сейчас поговорить с Вадиком было нельзя: Бокс ушел, их осталось трое, нельзя обижать Кадета... Нежности телячьи. Он вдруг почувствовал раздражение против Вадика. Ну что за идиотизм?! Если у тебя дело, о котором нельзя узнать ни Кадету, ни Боксу — пусть они пьяницы, но это твои друзья, — почему ты не назначил встречу возле

пивной, на остановке, у выхода из метро, наконец? Ах да, как это можно — пятнадцать минут простоять без пива... во рту пересохнет. Тьфу. Балбес.

Час пик уже миновал, народ расходился; все стойки были заняты, но самый зал опустел, и у кассы стояло два человека. Виктор разменял рубль, набрал пива и вернулся за стойку. Он сразу выпил полкружки, пока не ушла торопливая пена. Возвратился Бокс.

— Кто там? Сто грамм! За-ходи!

Бокс отдал одну бутылку Кадету, вторую открыл и воткнул в стакан.

— Давай, Витек, разговляйся.

— Я не буду.

Бокс сначала удивленно, а потом заботливо посмотрел на него.

— Ты не заболел ли? Съел чего-нибудь?

— Да я не хочу, Бокс.

— А зачем рубль давал?

— Ты же сам сказал: а спасибо некрасиво...

— Нет, а серьезно.

— Я же не знал, что у Шуры пятерка.

Бокс полез в карман.

— Да оставь, — сказал Виктор. — На развод.

— Ох, и наразводимся мы сегодня... Пей, Кадетушка.

Кадет выпил и отгрыз уступчик своего вечного сухаря. Бокс налил Вадику и посмотрел на Виктора.

— Пей, дружок, томатный сок, будешь строен и высок... Что, Витюш, лемур заедает?

Кадет и Бокс знали, что у него есть Лена, а Бокс и видел ее один раз, в институте с Виктором. Бокс сказал, что она красивая, но злая: у нее злые глаза. Виктор не принял это даже как шутку, он просто не обратил на слова Бокса внимания. Лену Бокс называл «лемур» — от «лямур», в тех очень редких случаях, когда о ней вспоминали. В Пиночете вообще не говорили о женщинах. Мат здесь стоял столбом, но это был абстрактный, целомудренный мат — «вещь в себе», как сказал бы всезнайка Кузя. Впрочем, нормальные мужики «о бабах» вообще не говорят. Это кто-то придумал.

Виктор сходил в туалет и решил, что пора кончать. Ребята уже выпили две на троих, у Кадета в кармане третья, у Бокса есть на развод, а если у Бокса есть на развод, то бутылка будет, — в конце концов Вадик напьется и вообще ничего не скажет — или скажет так, что ничего не поймешь. Когда он вернулся, Бокс и Кадет, склонясь головами, решали кроссворд. Вадик стоял прямо и даже чуть отступив от стойки — Виктор подумал, нарочно. Он отхлебнул пива, поставил кружку и повернулся к Вадику.

— Что ты хотел мне сказать?

...— Горбатый заяц лесов Южной Америки, — прочел Кадет и засмеялся.

— Агути, — сказал Бокс.

— Ну ты даешь...

Вадик подался к Виктору.

— Ты понимаешь... — Он опустил глаза, и Виктор почувствовал стеснившую сердце тревогу. Да в чем дело?.. Какого черта?! — Я не знал, говорить тебе или нет... но потом решил, что надо сказать.

Виктор вытащил сигарету. Вадик подождал, пока он прикурит. Виктор прикурил и поднял глаза.

— Витек, дай в зубы, чтоб дым пошел, — сказал Бокс.

Виктор не глядя протянул ему сигарету.

— ...Ты понимаешь, я видел Лену с каким-то парнем.

Виктор затянулся, выпустил дым — и понял, *что* Вадик сказал. Все вокруг него и внутри него исчезло и замолчало, и он услышал свое сердце. Сердце не ускорялось, но с каждым ударом било все сильней и сильней, и вот уже тяжко, с колокольным отзвоном, стучало в висках, Он опять затянулся, увидел раскрывшийся веер дыма — и опомнился. «Видел Лену с каким-то парнем. Видел Лену с каким-то парнем... Ну и что?..» Он смотрел на Вадика, в его виноватые голубые глаза, и молчал. Ну и что?! Шла с лекции со студентом из своей группы, или встретила на улице одноклассника, или... Надо было спросить: «Ну и что?» — но он молчал. Ничего не было, и он молчал, и смотрел на Вадика.

— Ч-черт, — сказал Вадик и сморщился, — ч-черт... — Он достал сигарету и закурил. Он курил «Приму», у него было мало денег. Виктор ждал. Ну... и все? Все? Все. Вадик очень много пьет. Вадик вообще ни к черту не годится. Жалко его. Ленка говорила, что однажды встретила Вадика, так он ее не узнал... Вадик несколько раз быстро затянулся. Виктор тоже затянулся. Вадик опустил руку с сигаретой и посмотрел на него. Виктор задрожал.

— Дело в том... ч-черт, да ты не волнуйся, это все ерунда, я не знаю, зачем я... Они стояли на остановке. Он ее обнял. Потом поцеловал, и она уехала. Ты прости.

«Это все, — услышал Виктор внутри себя. — Вот и все. Конец. Конец жизни. Конец...»

— Спасибо, Вадик, — сказал он.

Вадик что-то сказал. Виктор увидел у своих губ сигарету, доеденную до фильтра, уронил ее, глотнул пива и закурил новую. Когда пьешь пиво, можно курить одну за другой. Пиво все смывает. И дождь смывает все следы. Не может этого быть. Тварь. Как я люблю тебя. Иди в ванную, малыш. Тварь!! Я не могу без тебя. Что делать. Проклятые глаза. Проклятые глаза...

— Я пойду, — сказал Виктор и пожал Вадику руку. — Я пошел.

— Ты чего? Поплохело, что ли?

Бокс.

— Нет. — Он пожал руку Кадету и Боксу. Потом сунул руку в карман и выложил на стойку все, что ухватил, бумажку и какую-то мелочь. Что-то покатилось и упало, звеня. Он сделал это не думая, по привычке: если кто-нибудь уходил, он оставлял часть денег компании.

— Я пошел.

Он повернулся и пошел. Встретились лица Гуноила, Кактуса, кого-то еще, что-то сказали ему... он покивал и вышел из Пиночета. Дойдя до остановки, он посмотрел туда, где трамвай. Трамвая не было. Он торопясь закурил, опять посмотрел — не было. Стоять на месте было нельзя, надо было и самому двигаться, и чтобы что-нибудь двигалось перед глазами, и он пошел в свою сторону. Он шел и все время видел Лену, глаза Лены, улыбку Лены, и это была мука. Страшная мука. Отстраненно он подумал — опять кто-то подумал внутри него, — что он никогда не испытывал такой муки... что он не знал, что бывает такая мука! что она только начинается и никогда не кончится — и кто-то внутри него испугался этого. Надо скорей позвонить, все выяснить, надо прекратить все это, надо вернуться туда, где этого не было. Он порылся в кармане, вытащил несколько монет, серебро. Зайти разменять в табачный... нет, невозможно — переходить через дорогу, просить, менять, — он пошел дальше. Мимо потянулась стена трамвая; он машинально побежал вдоль нее, на остановке догнал, вскочил... сел. Трамвай поехал. За окном мелькало желто-зеленое, Виктор не отрываясь смотрел на него. Внизу дул горячий ветер, и ногам было жарко. В марте они обычной компанией ездили в лес; было много огня, смеха, песен, водки, горячего мяса; на обратном пути через голубеющее в сумерках поле Лена провалилась в проталину; когда дошли до автобуса, она так замерзла, что плакала... она так плакала! В автобусе он снял с нее насквозь мокрые сапоги и носки, расстегнул на себе куртку, задрал свитер и прижал ее маленькие ледяные ступни к своему голому животу; ее ноги обжигали его; он наслаждался; она согрелась и больше не плакала; она улыбалась, и глаза ее искрились от еще не высохших слез... Этого больше не будет?! Он не выдержал, встал, прошел в начало вагона. Трамвай поднимался на мост. Дополз до вершины, попробовал тормоза, остановился. Виктор стиснул зубы. Трамвай толчками двинулся вниз. Еще два дома. Первый... Второй... Всё. Виктор спрыгнул и почти побежал через двор.

III

Дома были родители. В это время они всегда были дома. Он подумал о них, когда рылся ключом в замке. Он вспомнил мать: «Может быть, ты еще на ней женишься?». Господи... откуда она знает?! Родители — лишняя тревога, лишняя боль; когда ему было плохо, он хотел

быть один... а когда ему было плохо? Ему никогда не было плохо, о чем ты говоришь. Но сейчас все равно; его боль была бесконечной, он был растерзан, раздавлен ею, ему все равно, дома родители или нет. Вечером они всегда дома. Лучше бы их не было. Человек должен быть один. Чтобы никто не мешал ему мучиться. Не трогайте меня. Он открыл дверь. Мать стояла в конце коридора, в дверях освещенной ванной, с полотенцем в руках. Он что-то сказал и сбросил туфли, носками о каблуки.

— Витя, ну где тебя носит? Послезавтра научный коммунизм, а ты гуляешь!

Ее раздражение не пробилось к нему, он махнул рукой и прошел в свою комнату. Он закрыл дверь и чуть не застонал — везде была Лена: Лена у зеркала, Лена у окна, Лена за столом, Лена в постели... В открытую балконную дверь летел тополиный пух. Лена сказал: «Закрой дверь, вся квартира будет в пуху». Она сказала это утром, и он закрыл. Уходя, он оставил балкон открытым, чтобы выветрился ее запах, запах ее духов. Чтобы не услышала мать и не сказала: «Может быть, ты еще на ней женишься?». Он сел — упал — на кровать и схватил телефон. Рывками он набрал несколько цифр — и опомнился. Впервые опомнился и нажал на рычаг. Застонал гудок. Виктор положил трубку.

Ему стало страшно.

До этого была... ревность?! о ничтожный язык! что твои убогие, вымученные, прилизанные слова!! — но сейчас к тому, что уже было, добавился — подавил, пересилил — страх. Страх! Виктор сидел, стиснув руки, и с ужасом и ненавистью смотрел в квадратное лицо телефона. Сейчас он позвонит, и если... и если... Надо звонить. Звони. Он вытащил сигарету, вышел на балкон, закурил.

Сейчас позвоню. Сейчас покурю и позвоню. Тянется плохо, надо подсушить сигареты. Батареи выключены, а без батареи сигареты сушатся плохо. Лена не любила сухих сигарет, говорила: «Они у тебя пустые». Двор был зеленый, бурый и желтый, с пестрыми столбиками людей. Солнце садилось на крышу. Надо звонить. Звонить и... что? Что он ей скажет? Скажет то, что сказал ему Вадик. Больше он ничего не может сказать.

Он подошел к телефону и поднял трубку — и у него провалом опустело в груди. И от этого ощущения, от того, что, почувствовал он, он все готов отдать и предать, только бы ему не было так нестерпимо плохо, в нем вспыхнула ярость — на кого-то неведомого в себе, кто так жестоко мучает, унижает его, и на себя — допускающего все это... «Не будь тряпкой! — в бешенстве закричал он себе. — Ничтожество, будь мужчиной!» Но от этого «Будь мужчиной!» — а он вдруг понял, что это кричит не он, что это кричит ему злорадно наблюдающий за ним, отщепенцем, мир, толпа, которая не знает любви, которая знает лишь гордыню и похоть, — все существо его, ломая стены, разрывая путы, поднялось на дыбы. «Что-

о-о!! — заревел он, готовый броситься на толпу. — Будь мужчиной?! А зачем?! Зачем мне без нее быть мужчиной?!! Для вас? Да я на вас... хотел!!!» Он не слаб, он силен, он очень силен, просто ему не нужна жизнь без нее, в этой жизни у него нет никаких ценностей без нее — кроме нее! да — кроме нее!: ни людей, ни идей, ни самого себя: выгонят из института — плевать! в казарму — плевать! на дно жизни — плевать!.. Он срывая диск набрал ее телефон. Сзади щелкнула дверь. Он швырнул трубку и оглянулся.

— Я не для того тебя растила, сын, чтобы ты махал на меня рукой, — тихо сказала мать.

Он несколько секунд молча смотрел на нее — возвращаясь в мир, — потом глухо сказал:

— Извини. Я очень устал.

— Что-нибудь случилось?

— Нет.

Мать помолчала. Он опустил глаза. Ну уходи... ну пожалуйста...

— У тебя какие-нибудь неприятности?

— Нет... Да нет у меня никаких неприятностей!

— Что ты кричишь?!

— Я не кричу! Я... я просто хочу, чтобы меня оставили в покое.

— Хорошо, — ледяным тоном сказала мать. — Но в таком случае и ты оставь нас в покое.

— Да я вас не трогаю! Я никого не трогаю! Это ты ко мне все время вязнешь! Что тебе от меня надо?!

Он рывком сел на кровать и обхватил голову руками. О проклятая жизнь! Когда она кончится?!

— Если ты поссорился с Леной, не надо срывать зло на матери.

Вся кровь бросилась ему в голову; он вскочил, опрометью бросился на балкон и захлопнул за собой дверь с такой силой, что зазвенело стекло. Трясущимися руками он вытащил сигареты и закурил. Через несколько затяжек сердце его успокоилось, и он опять подумал с изумлением и тоской: «Господи, откуда она знает? Откуда она *все* знает?..»

Когда он вернулся в комнату, матери не было. И Лены не было — комната была угрюмо, безнадежно пуста. Он набрал номер. Гудок. Гудок. Гудок... Он прикусил губу. Щелчок.

— Алло?

Он перевел занявшееся дыхание. Ее мать.

— Здравствуйте, — быстро сказал он, — Лену попросите пожалуйста.

— Здравствуйте. Ее нет дома.

— Спасибо.

Он положил трубку и посмотрел на часы. Половина девятого. Она у портнихи. Позавчера она возвратилась от портнихи в половине десятого. От портнихи?.. Он швырнул на кровать полупустую пачку, сунул

в карман запечатанную и быстро вышел из комнаты. Он открыл наружную дверь — и услышал за спиной голос отца:

— Виктор, ты далеко?

Он стороною подумал, что у отца усталый и какой-то покорный голос.

— Папа, мне надо, — не оборачиваясь сказал он и закрыл за собою дверь.

Он сел в трамвай и поехал знакомой до каждого метра дорогой — той, что ездил пять лет в институт, три месяца к ней, сегодня в Пиночет и обратно. Трамвай был пуст; Виктор сидел и неподвижно смотрел в окно; от его жизни ничего не осталось, а мир за окном ни на песчинку не изменился. Когда трамвай, певуче набирая скорость, побежал вдоль серебристо-зеленой гряды тополей, Виктор дрогнул и опустил глаза. Три недели назад они до глубокой ночи стояли по этими тополями; был месяц май! — запахи мая, тишина мая, прохлада мая; небо еще едва уловимо теплилось розовым; над мостом сияла переливчато-белая, как перламутр, луна; на фосфористо-зеленой от лунного света траве лежали бархатно-черные тени; воздух был напоен дыханьем черемухи; откуда-то из призрачного далека струилась тихая музыка; он мучил ее и себя поцелуями и не мог оторваться, ее губы были горячими, а грудь прохладной — холодней его губ... Как ты могла?!! Как ты могла забыть все это?! Гадина!! Шлюха... бедная моя девочка, тебя обманули! Никто не будет любить тебя так, как я!..

...Он вышел на Чапаевском, пересек шоссе и подумал, что надо позвонить: за те полчаса, что он был в дороге, она могла возвратиться. Вслед за тем он вспомнил, что у него нет двушки; он подошел к мороженщице и без всякой надежды попросил разменять двадцать копеек. Конечно, она отказала, на мороженом всегда нужна мелочь — о проклятая жизнь! Ждать у подъезда, когда она может быть дома?! Он был настолько отрешен от всего, что не было ею, что не вдруг сообразил позвонить гривенником. Два гривенника мороженщица дала; он позвонил; подошла мать; он страшно нервничая попросил Лену; мать ответила, что ее нет...

Двор был тенистый, глухой, под старыми липами. Виктор сел на скамью, метрах в двадцати от ее подъезда. Было по-вечернему пусто и тихо; в палисаднике голубела сирень; вдалеке между черных стволов бродила старуха с собачкой. Виктор сидел, курил и не отрываясь смотрел в мглистое полукружие арки, из-под которой изредка кто-нибудь выходил. Он даже не осознавал, кто идет — женщина, мужчина, взрослый, ребенок, — он только механически отмечал, что это не Лена. Прошло полчаса, час; спасительное нетерпение спало, вернулась беспросветная изматывающая злая тоска. Он был готов на все: пусть она придет одна или не одна, пусть все объяснит или ничего объяснить не

сможет — а что она может объяснить, если *тот* ее целовал?! — он был готов на все, только бы это кончилось. Но когда из-под арки вдруг вышли парень и девушка, и он не сразу понял, что это не Лена, — это мгновение неизвестности — перед бездной развязки — так его потрясло, что он перестал торопить ненавистное время, и самое время перестало быть ненавистным — стало союзником: пусть она не спешит, пусть придет поздно, в неизвестности есть надежда... надежда?! — надежда есть всегда, еще не безнадежное завтра, еще не вечер...

В четверть одиннадцатого он поднялся, закурил очередную сигарету — пачка уже легко проминалась — и стал ходить взад и вперед. Небо уже чуть потемнело, кое-где в окнах слабо заблестели огни. «Но ведь она не может так лгать, — медленно думал Виктор, доходя до ближайшего дерева и возвращаясь к скамье. — Так невозможно лгать. Ведь нам было так хорошо... мы так любили друг друга!» Вдруг он вспомнил, как на его вопрос: «Ты любишь меня?» — она упрямо всякий раз отвечала: «Любишь»; может быть, то была извращенная честность — предел, дойдя до которого она не хотела лгать?.. Эта мысль его поразила; против воли своей — ему было больно — он стал вспоминать их встречи, с самого первого до сегодняшнего проклятого дня, мельчайшие подробности, которых раньше не замечал: была только Лена и счастье, что она есть, и нерассуждающая уверенность — уверенность сердца, — что так будет всегда; «вечны только твои глаза, вечна только твоя любовь», — пел под гитару Вадик, проклятый Вадик... Но сейчас эти мелочи услужливо вспомнились, и сейчас это были не мелочи, и их было много, и они убивали — добивали — его.

Она никогда не говорила ему — или почти, почти не говорила, — что он много пьет. То есть сам он не считал, что он много пьет, но... но Марина часто упрекала его за выпивку и даже ругалась с ним. На майские праздники они ездили в лес, и он топором сильно поранил руку. Марина была бы в слезах, Лена же... Лена перевязала его, но была спокойна. Он вдруг осознал, что второй раз вспоминает Марину — почему? Да потому что она любила его! — но и Лена любит, любит его! не может не любить, когда он так любит ее! Она никогда не целовала его первой, — вмешалась память, — только отвечала на его поцелуи. Марина называла его Ви́тюшка, с ударением на первом слоге, очень ласково, Лена — Витя, Витька... ну и что? Ну и что?! Когда из-за несданного зачета его не допустили к экзамену, Лена — он даже не помнил, что́ Лена, Лена, наверное, ничего не сказала — да и что говорить?! ведь чепуха, совершенная чепуха! с пятого курса не выгоняют! — но Марина переживала бы... Он был не в силах отказаться от этого мучительного противопоставления, он рылся в памяти, истязая себя, выискивая все новую и новую боль. Она никогда не ревновала его — он только сейчас понял, что она никогда не ревновала его; да, у нее не

было повода, к другим девушкам он был даже до странности равнодушен, они как женщины совершенно не волновали его, — но на вечеринках бывали девушки, пришедшие без парней, и они, случалось, заигрывали с ним, и он из приличия, из своей деликатности в отношениях с женщинами вынужден был уступать: танцевал с ними, ухаживал за столом, разговаривал... Марина устроила бы сцену — то есть не сцену, она просто заплакала бы, поэтому он с ней никуда и не ходил, — Лена же этого как будто не замечала. У них было три месяца полного счастья, ничем не омраченного счастья, — ни одного упрека, вечная весна, три месяца май, только любовь, любовь, любовь...

...а это любовь?..

Из-под арки вышли девушка с парнем. Лена.

Он остановился как вкопанный. Лена! Она держала *другого* под руку. Она нисколько не изменилась — то же голубое тесное платье, те же высоченные каблуки, ноги с изумительно тонкими щиколотками, острая грудь — ее ноги! ее грудь! рядом с кем-то... другим! На другого он не смотрел — что-то высокое, темноволосое, кажется, усы, — он видел только ее с другим, свою Лену с другим, Лену, в один миг уничтожившую счастливый, им одним принадлежавший мир, мир для двоих... боже мой, боже мой, для чего ты меня оставила?! Он глубоко вздохнул — дыхание не поспевало за сердцем — и не чувствуя ног пошел ей наперерез. Когда он перешагнул через низкое заграждение, Лена его увидела. Он подошел и остановился в нескольких шагах от нее. Она сняла руку с руки другого.

— Привет, — сказала она как всегда — глядя на него как всегда — широко раскрытыми ясными голубыми глазами. — Ты давно ждешь?

— Привет, — сказал он. От этого ее обыденного «Привет. Ты давно ждешь?» он растерялся и потерялся так, что ни одной мысли, ни одного слова не осталось в его голове. — Да нет... не очень.

— Это Виктор, — сказала она и посмотрела на другого. Виктор перевел взгляд и тоже смутно посмотрел на него. Черноглазый, с тонкими усиками, очень спокойный... Другой протянул ему руку и сказал:

— Андрей.

Виктор пожал ему руку. Это было нелепо, чудовищно, не жизнь, а сон, или бред: он стоит один, а она с кем-то... другим, их двое — а он один!.. и вместе он чувствовал... облегчение?! оттого что она смотрела на него как ни в чем не бывало — спокойно, ласково, без тени смущения... а может быть, ничего и не было? и жизнь продолжается, и все будет по-прежнему?..

— Ну, я пошла, — сказала она другому.

— Счастливо, — сказал другой. — Я позвоню.

Он кивнул Виктору и пошел к арке. Виктор коротко посмотрел ему вслед.

— Лена... что это значит?

— Что *это*? — легко спросила она.

Вдруг — в нем полыхнуло бешенство.

— Как что?!! Кто это такой?!

Она улыбнулась, не отводя от него своих детских, доверчивых, сияющих глаз.

— Это мой брат.

— У тебя... есть брат?

— Двоюродный брат. Я его сто лет не видела.

Несколько секунд он был счастлив так, как никогда в жизни. Никогда — ни в тот зимний вечер, когда он в первый раз поцеловал ее, ни в тот звенящий апрельский день, когда он в первый раз обладал ею. Он ослабел от счастья. У него дрогнули руки, он сделал движение — обнять ее и прижать к себе и целовать, целовать, целовать... Он уже ни о чем не думал и ничего не вспоминал — это кто-то внутри него вспомнил Вадика.

— Зачем ты мне врешь? — тихо спросил он. Он был раздавлен мгновенным переходом от счастья к отчаянию... и все-таки ему было легче — много легче, чем в последние несколько одиноких часов: сейчас, что бы ни случилось, они были вместе. Вдвоем. Вдвоем.

— Я не вру, — обиженно сказала она и чуть наклонила голову, и стала смотреть на него исподлобья. Уголки ее губ опустились. Обиженный, огорченный ребенок. Он молчал.

— Почему я вру? — сердито спросила она.

Он молчал. Он... он боялся, он давал ей время, он не закрывал ей путь к отступлению. К спасительному для него — для них — отступлению.

— Нет, ну почему я вру?

Ему было горько, противно, стыдно... Наконец он сказал:

— Тебя видели. — И с трудом добавил — у него больше не было сил ждать: — Видели, как он... тебя обнимал. И целовал.

Ее глаза потемнели и построжели. Ее глаза стали... взрослыми, женскими. Такой он ее не знал.

— Кто меня видел?

— Тебя видел Вадик, — медленно, отделяя каждое слово, с мрачным, жестоким, самоубийственным удовлетворением сказал он. — Вадик мне врать не будет.

Они оба знали Вадика и знали, что он врать не будет. И каждый знал, что другой знает это. Она опустила глаза. Он закурил. Вокруг уже разливались бледные сумерки. Воздух был цвета сирени, и пахло сиренью. Он вдруг увидел, как они ходят в этот вечер по парку, говорят ни о чем, сидят на скамейке, целуются, — и чуть не закричал.

— Ну что ты молчишь?!

«Ну скажи что-нибудь, не молчи... неужели тебе нечего сказать? Этого не может быть, ведь мы так любим друг друга. Объясни, скажи, что... прошу тебя... ну подумай...»

Она подняла глаза. Они опять были ясными.

— Витька, — сказала она — и он с восторгом ухватился за это «Витька», — я просто не хотела тебе говорить... я же знаю тебя. Это просто мой старый-старый поклонник. Он когда-то учился у нас, а потом перевелся в МИФИ. Он иногда мне звонит... мне стало жалко его, и я с ним встретилась. Ну и... он меня поцеловал, я не успела увернуться. У меня с ним ничего нет, правда. Ну что ты?

— А сегодня? — с огромным облегчением, мысленно закрывая глаза — запрещая себе сомневаться, обдумывать, сопоставлять, — спросил он.

— Сегодня я с ним встретилась после портнихи. Он узнал, что у меня есть «Убийственное лето», и попросил дать почитать.

Он нахмурился и прикусил сигаретный фильтр. «Убийственное лето» Жапризо было очень откровенно написано, почти порнография, и то, что она дала эту книгу другому мужчине, было неприятно... — не то слово — ему.

— Почему ты мне сразу не сказала?

— Потому что ты бешеный! — с неожиданной горячностью воскликнула она. — Как из девятнадцатого века выскочил... да что там из девятнадцатого — Домострой!

— А что, надо как у Жапризо — сношаться на каждом шагу?!! — взъярился он.

— Я не сношаюсь на каждом шагу, — сухо сказала она.

— Я не про то говорю...

Вдруг в нем проснулась угрюмая, безнадежная старая ревность — к тому, что Лена, когда он ее узнал, не была девушкой. Обычно эта ревность молчала, дремала в нем — он понимал, как это несправедливо и глупо, — но убить ее до конца он не мог. Марина была девушкой... но Марине тогда было семнадцать, а Лене двадцать один.

— Это он был у тебя до меня?

— Нет, — ответила она поджав губы.

— А кто у тебя был?

— Ну какая разница, Витя?! Я же не спрашиваю, кто был у тебя. Про всех этих девиц на твоих фотографиях.

— У меня была одна, — сказал он и опять увидел Марину.

— Ну конечно...

И от этого сухого, почти неприязненного «ну конечно» — а-а, ты ревнуешь?! — он все забыл и простил... он схватил ее за плечи, за изумительно хрупкие, до каждого бугорка знакомые плечи — как он по ним соскучился! — и припал к ее губам. Она ему ответила, сразу ответила... Они стояли обнявшись, и с каждым мгновением, с каждым движением

губ к нему возвращалась прежняя жизнь. «Нашли место», — прошипел кто-то рядом; она мягко отстранилась, он открыл глаза и увидел семенящую мимо старуху, маленькую и сгорбленную, но шуструю как мышь. Он легко рассмеялся. Славная старушонка. Бедная, все забыла.

Она посмотрела на часы.

— Витька, я пойду. Уже одиннадцать.

— Ладно.

Они пошли к подъезду; он обнял ее за талию и с наслаждением погладил ускользающую косточку над бедром. Небо было уже темно-синим, дом светился разноцветной россыпью окон, в неподвижной черно-зеленой листве золотились прогалины от фонарей. Она поднялась на ступеньку, теперь она была одного роста с ним, и он осторожно поцеловал ее в мягкие прохладные полураскрытые губы. Все было по-прежнему. Он спросил:

— Ты меня любишь?

Она лукаво улыбнулась.

— Любишь, — сказала она.

IV

Он ждал ее на остановке шестого троллейбуса, на Ленинградском шоссе. Было уже пятнадцать минут четвертого, она как всегда опаздывала. На мосту Победы — черном холме с разноцветными крапинами машин — появился очередной рогатый кубик троллейбуса. Виктор не стал закуривать и воткнул сигарету обратно в пачку. Через минуту троллейбус, заунывно тормозя двигателем, подплыл к остановке. Шипнули двери; люди тремя потоками хлынули на тротуар. Виктор перебегал глазами от двери к двери, по пути заглядывая в салон; он уже видел, что ее нет, — он всегда замечал ее раньше, чем она выходила, ее лицо ласковой вспышкой выделялось в толпе. Когда салон опустел, он выругался и достал сигарету. Было очень жарко; солнце пылало в полнеба; воздух дрожал над раскаленным выбеленным асфальтом. Июль — макушка лета... лето, лето, лето — лето твоих губ, твоих глаз... Он опять выругался и посмотрел на часы. Двадцать минут! Ты что, издеваешься?!

Урча подошел следующий троллейбус. Так скоро Виктор его не ждал. Он сразу увидел Лену. Она подошла к нему улыбаясь, сияя глазами.

— Привет.

Он привык к этому «привет», но иногда просыпалось: как можно говорить бессмысленное, бесчувственное «привет» человеку, которого любишь, которого целуешь, с которым лежишь в постели?..

— Ты когда-нибудь перестанешь опаздывать?!

— Ну извини... — Она приподняла пальцем кожу над переносицей, гнутые брови ее стали домиком и лицо приняло виноватое, беспомощное выражение. — Я больше не буду.

В который раз он почувствовал, что с каждым днем, с каждой встречей любит ее все сильней и сильней, хотя сильнее, казалось, было любить уже невозможно. Он уже дня, нескольких часов не мог прожить без нее, хотя бы без ее голоса по телефону. Он засыпал, думая о ней, просыпался, думая о ней, и все время думал о ней. Он ясно осознавал, что в его любви было уже что-то болезненное, но ему было все равно. Вечны только твои глаза... Он рывком притянул ее к себе и крепко поцеловал в губы. Он хотел, чтобы люди видели, как он ее целует.

— Ой, ну что ты меня так хватаешь, — жалобно сказала она. — Синяки же останутся.

— Ничего, — сказал он, возбужденный, счастливый. — Кроме меня, их все равно никто не увидит.

— Ну да, а мама?

— Скажешь ей, что это я.

— Ну конечно. Она и так смотрит на меня подозрительно. Вчера вечером, представляешь, сказала: «Елена, не теряй головы».

— Елена?

— Она всегда, когда недовольна, говорит «Елена».

Он засмеялся. Ему было приятно, что ее мать догадывается об их отношениях.

— Ну, а ты что?

— Я сказала «ладно»... А что я еще могла сказать?

Он наклонился и открытыми губами поцеловал ее в шею. Она поежилась.

— Витя...

— Ну что, пошли в парк? — сказал он, страшно довольный.

— Пошли.

Дома был отец — он взял неделю отпуска и сидел не вставая над своей диссертацией. У нее дома была бабушка, которая вообще не выходила на улицу. Последний раз они были близки неделю назад. Он безумно по ней соскучился.

Они спустились в метро и перешли на другую сторону Ленинградки. Когда они поднимались по лестнице, навстречу им попался какой-то мужчина — немолодой, лет сорока пяти. Он шел и не отрываясь смотрел на Лену — пристально, жадно... как будто раздевая ее. Виктор напрягся; в последнее время ревнивая ярость захлестывала его по малейшему поводу. Когда они были на дискотеке и какой-то парень пригласил ее танцевать, Виктор отказал с такой грубостью, что дело чуть не кончилось дракой... Он поднимался, тяжело глядя снизу вверх на мужчину, готовый на все, но тот, хотя Лена шла с Виктором под руку, не обращал на него никакого внимания — он смотрел на нее. Виктор стиснул зубы. «Ты что, старый дурак, не видишь, что она не одна?! Что она — моя?!!» Когда они вышли наверх, он схватил ее руку и сжал с такой силой, что она вскрикнула.

— Ну ты что, совсем уже?!

— Это ты совсем, — прошипел он, с ненавистью глядя в ее рассерженное, болезненно исказившееся лицо. — Какого черта ты ходишь без лифчика?! Тебе что... нравится распалять самцов?!

— Дурак!

Она была в коротком бежевом платье с клиновидным сетчатым вырезом на груди. Он видел, что за сеткой ничего не было. Ходит, как... Он выдернул сигарету и, с треском сломав первую спичку, со второй закурил. Они пошли молча, не касаясь друг друга. Через полминуты он как всегда остыл — до чувства вины.

— Ну Ленка... ну не сердись... — и вдруг снова взъярился: — Ты видела, как этот... — он с трудом подавил ругательство, — на тебя смотрел?!

— Кто?

— По лестнице спускался, придурок какой-то. Не видела?!

— Из-за того, что какой-то придурок на меня смотрел, ты мне ломаешь руку?

— Ну не сердись, ну пожалуйста... Ну прости меня, дурака. Ты же знаешь, что я тебя ужасно люблю.

— Вот именно что ужасно, — не сердясь сказала она. — До ужасов.

Он на ходу обнял ее и поцеловал в пушистый уголок губ. Она споткнулась о его ногу и чуть не упала. Он подхватил ее и жадно прижал к себе.

— Ну Витька, пускай уже!.. Люди же смотрят!

— Пускай смотрят, — сказал он, не сразу разжимая объятия.

— А насчет лифчика — жарко же! Ты бы надел лифчик, я бы на тебя посмотрела.

— Хорошо... ладно.

В парке было пусто и тихо. По пятнистым, забрызганным солнцем аллеям ходили редкие мамы с колясками и старики. Старики с блеклыми сумками шли к роднику за водой или возвращались обратно. Старики были тоже блеклыми, как и их сумки. Старость — это печально, но до старости бесконечно долгая жизнь. Старость не наступит никогда. За пестревшими вдоль аллеи березами сумрачно зеленели дубы и липы. Земля была выстлана лоскутным ландышевым ковром. В раскидистых чутких кронах быстро шуршали белки. Лениво постукивал дятел. Пахло лесом — землей, хвоей, липовым цветом, травой.

— Давай посидим, покурим, — сказала она.

Они сели на скамью под старым орешником. Она закурила «БТ», он свою «Яву».

— Что ты без меня будешь делать? — спросил он и вздохнул. Через неделю он уезжал в Таганрог, в военные лагеря.

— Я буду скучать, — сказала она.

Он поцеловал ее — без чувственности, нежно, немного печально. Он с бессильной тоской думал о предстоящей разлуке... не признава-

ясь себе, боялся ее. Он вообще о многом запрещал себе думать, а мучившие его образы спешил разогнать. А впрочем, о чем было думать?! все было отлично. В последнее время он совсем перестал беречься: он ни разу ясно и твердо себе не сказал: я хочу, чтобы у нее был от меня ребенок, тогда она будет полностью и навсегда моей, — но в глубине сознания, в образно-чувственной дымке он все чаще видел Лену с ребенком на руках. Ребенок, правда, был уже совершенно смутен — какой-то сверток; он даже отдаленно не понимал, что такое ребенок, и не хотел понимать — ему это было не нужно: ребенок был только средством, не существующим вне своей роли в достижении цели — чтобы она была навсегда моей...

— А вот интересно, — сказала она, — почему все великие произведения кончаются плохо?

— М-м-м... все?..

— Ну, почти все. Анна Каренина бросается под поезд. Князь Андрей умирает, Базаров умирает, у Куприна в «Поединке»... не помню его фамилию, убивают на дуэли. Обломов не женится и умирает, у Чехова почти все серьезные рассказы печальные... Сплошные трагедии.

— Да, действительно... Бунин, Достоевский... И у иностранцев тоже — Гюго, Золя... Хемингуэй... «Хижина дяди Тома»... — Он никогда не думал об этом, и сейчас неожиданное открытие неприятно поразило его. Ему не хотелось, чтобы все великие книги — в которых живые люди, в которых отражается жизнь, — кончались печально. Печальна жизнь?.. Он попробовал сопротивляться. — Ну, не все. Диккенс... Марк Твен, Джек Лондон...

Она рассмеялась.

— Ты еще скажи О. Генри, Дюма... Жюль Верн.

— Дюма тоже кончается плохо — д'Артаньяна убивают... Черт его знает почему! Писатели, они все с тараканами в голове. Что, в мире нет счастья?! Я счастлив! — Он крепко обнял ее и несколько раз энергично поцеловал. — Наверное, они делают это для того, чтобы сильнее воздействовать на читателя. Если бы Анна Каренина осталась жива... — он вдруг стороною подумал, что сейчас, в отличие от прежних времен, не симпатизирует ни Анне, ни тем более Вронскому... что ему жалко Каренина, — ...или если бы этот офицер, обманутый муж, в «Поединке» промахнулся, или девушка в «Цветах запоздалых» выздоровела и вышла замуж за доктора, — что бы осталось? А вот ты напиши так, чтобы не было ни смерти, ни крови — и чтобы было интересно читать... — Он запнулся: получалось, что он Толстого, Чехова, Куприна — а он их любил — обвиняет в том, что они спекулировали на чувствах читателей. Но тут к нему пришла новая и, кажется, справедливая мысль. — А вообще, знаешь еще почему? Потому что герои у них — одиночки... не такие, как все. Лишние люди. Поэтому они и погибают. Помнишь, как

у Хемингуэя: мир убивает самых добрых, самых нежных, самых смелых... главное — не таких, как все. «А ты сам, как все?..» — вдруг подумал он.

Она засмеялась.

— Витька, тебе надо было в гуманитарии идти. Все объяснил.

— Тогда бы я не встретил тебя, — серьезно сказал он.

— Ну, встретил бы другую... меня.

— Не говори глупостей.

Он обнял ее и поцеловал. Ее щека была горячей — на ней лежал солнечный зайчик.

— Ну, пошли?

— Пошли.

Она встала и привычно положила руку на сумочку, висевшую у нее на плече, пропустив ремень между пальцами. Она держалась очень прямо, и походка у нее была очень красивой, стройной, летящей — «летящей походкой ты вышла из мая», как пел Антонов, — «нога должна идти от бедра», смеясь говорила она, так учил ее тренер, когда в детстве она недолго занималась художественной гимнастикой, — и действительно, она шла почти не сгибая ног, с необыкновенным, неповторимым изяществом, громко постукивая очень высокими тонкими каблуками и чуть-чуть, еле заметно кивая в такт этому постукиванью головой. Она не была ни высокой, ни хрупкой, но Виктору, когда он смотрел, как она идет, всегда представлялась какая-нибудь грациозная, изумительно красивая птица — венценосный журавль, фламинго... Они шла мимо залитой солнцем лужайки, окруженной корабельными соснами с растрескавшейся толстой, как черепица, корой. В прошлый раз, когда они проходили здесь, лужайку косили, и сейчас она была молодо-, ярко-зеленой, как затянутый ряской пруд.

— А вообще все это выдумки, — вдруг отчего-то недовольно сказала она. — Какие лишние люди? В жизни все проще. Мне Танька Храброва рассказывала... помнишь фильм, «Звезда пленительного счастья»? Там француженка, гувернантка, едет за каким-до декабристом в Сибирь. Так на самом деле, оказывается, мать этого декабриста заплатила этой француженке большие деньги, чтобы та поехала в Сибирь и вышла замуж за ее сына. А эта девица даже не знала его в лицо и, когда приехала, бросилась на шею кому-то другому.

Виктор помолчал.

— Откуда она это взяла?

— Из какой-то дореволюционной книжки. Ее отец старые книги собирает.

Они опять прошли несколько времени молча.

— Не знаю, — сказал Виктор. — До революции тоже писали неправду.

— Ну а кому это надо придумывать?

— Да кому угодно! Ненавидел кто-то этого декабриста, вот и придумал.

— Да ну тебя, ты идеалист.

— Я не идеалист, — резко сказал Виктор. — Я просто не считаю, что миром правит свинство.

— Любовь и голод правят миром — кто это сказал?

— Я не знаю, кто это сказал... но любовь и голод правят свиньями, а не человеком.

— Ну чего ты злишься-то?

— Я не злюсь... поворачиваем?

Они привычно свернули с асфальта на ребристую от выступавших корней тропинку. По обеим сторонам ветвился старый орешник, и после разогретой солнцем аллеи здесь было прохладно и зеленовато-темно. Виктор достал сигарету, размял ее — но не закурил и быстро сказал:

— Когда вернусь из лагерей, подадим заявление.

И чиркнул спичкой.

Она молчала.

— Что ты... молчишь?!

— Витя, — мягко сказала она, — до сентября надо еще дожить.

Его как будто ударило. Мир дрогнул в его глазах. Он шел, не чувствуя ног, и лицу его с каждым шагом становилось все жарче и жарче. Он шел и слушал свое дыхание, и кроме его дыхания не было ничего: вдох — выдох, вдох — выдох, вдох — выдох... Что она говорит?!! Он резко остановился.

— Ты что... не хочешь за меня замуж?..

— Витя...

— Ты что, не хочешь выйти за меня замуж?!

— Хочу, хочу! Но ты же знаешь, что я не люблю загадывать. Ты же знаешь, что я суеверная.

— Ч-черт! Ну что ты надо мной издеваешься?! Так ты хочешь?

Она взглянула на него исподлобья — своими бездонными лучистыми голубыми глазами.

— Хочешь.

— Ф-фу! — выдохнул он — и с огромным облегчением рассмеялся. — Ленка, я тебя когда-нибудь придушу.

— Не надо, — жалобно сказала она.

— Надо, — сказал он, обнимая ее и прижимая к себе. — Отелло рассвирепело и убило Дездемону... Будешь еще меня мучить?

— Ну не буду, не буду... ой!

— Это же надо такое сказать: до сентября надо еще дожить!

— И правильно сказала. Нельзя ничего загадывать, сглазишь.

Она действительно была суеверной. Если кошка перебегала дорогу, она останавливалась и ждала, пока кто-нибудь не пройдет.

— Витя... ну что ты делаешь, перестань! Мы же не дома!

Он с трудом оторвался от нее. Сердце его вылетало.

— Как же я тебя люблю, малыш...

— Все, пошли.

Впереди ярко светился желто-зеленый проем. Они вышли на аллею — и их обдало сухим ослепляющим жаром неистовое послеполуденное июльское солнце. Она глубоко вздохнула, трогательно, по-детски надувая щеки.

— Уф-ф! Пойдем домой, Витя, жарко.

— Ну пойдем.

— Сейчас бы в воду...

— Поехали завтра на канал. Отец выходит на работу, ты утром приходи ко мне... а потом поедем купаться.

Она кивнула.

— Когда ты придешь?

— Я не знаю.

— Ну примерно?

— Ну... часов в одиннадцать.

Он ярко представил себе, что будет с ними завтра в одиннадцать часов, и у него опять застучало сердце. Завтра! Вечер и ночь — и завтра! «Глупое сердце, не бейся», — откуда-то вспомнил он. От счастья ему хотелось прыгать, кричать; он стремительно наклонился, присел — и могучим рывком подхватил ее на руки.

— А-ай!..

Он легко закружил ее, с наслаждением ощущая своей левой рукой ее голые прохладные шелковистые бедра.

— Витя!..

Задохнувшись, он бережно поставил ее на землю и поцеловал в пушистую ямку под игрушечно-маленьким ухом.

— Я тебя обожаю...

— Ты сумасшедший! Я же тяжелая.

— Ты как пушинка. Толстая пушинка.

— Я не толстая.

— Ты же сама скажала тяжелая, — от волнения ему плохо повиновался язык.

— Я тяжелая, но не толстая.

— Ты самая красивая на свете. Красивее тебя никого нет.

Она ласково чмокнула его в щеку.

— Пойдем.

Когда они подошли к остановке, было четверть седьмого. У облитого солнцем столба томилось человек десять: мужчины и женщины, по-

летнему пестро одетые, почти все немолодые, с некрасивыми голыми руками и ногами, невеселые, озабоченные, измученные жарой... Они остановились и закурили.

— Ты не пойдешь в своей Пиночет?

— Нет. — Он уже давно не заходил в Пиночет. Бокс, Вадик, Кадет — все это было теперь бесконечно от него далеко.

— Тогда не надо меня провожать. Езжай домой.

— Нет, я провожу.

— Да не надо, Витя! День же. Что я, сама не доеду?

— Не доедешь.

— Ну как хочешь.

— Конечно, хочу, — сказал он и поцеловал ее между бровей. Переносица ее была чуть колючей: брови ее срастались, и она их выщипывала. Когда он узнал об этом, то удивился и запротестовал. Она засмеялась: «Да ты что, я тогда буду похожа на тридцатилетнюю женщину!»

Подошел трамвай. Виктор высыпал в кассу мелочь и взял билеты. Свободных мест не было, и они прошли в середину вагона. Виктор наклонился и посмотрел в окно. За окном бежали тополя.

— Ленка, ты помнишь, как мы с тобой здесь стояли?

— Помню.

Он зарылся лицом в ее волосы. Они были теплыми и пахли... чудесно пахли.

— Что ты будешь дома делать?

— Не знаю. Разденусь и буду отдыхать.

— Разденусь... с ума сойти можно, — прошептал он.

— Не сходи пожалуйста.

Трамвай поворачивал на шоссе.

— Ты «Мастера и Маргариту» дочитала?

— Нет еще. Сначала было интересно, а как пошел этот бал у сатаны...

— Мне тоже вторая половина не понравилась.

Проехали Пиночет. У входа как всегда стоял Гуноил и печально смотрел на улицу. На крыльцо вышел Кактус, что-то сказал Гуноилу, тот плюнул и шевельнул губами — наверное, выругался.

— В полдесятого «Место встречи изменить нельзя».

— Да, я помню.

— «Сдается мне, что ты, мил человек, стукачок. Дурилка картонная», — вспомнил Виктор и засмеялся. — Молодец Говорухин. Ну и Высоцкий, конечно...

— Да.

— Пошли к выходу, а то затолкают.

На «Соколе» весь вагон выплеснулся наружу и заполнился вновь. Проехали Вальтера Ульбрихта. За окном побежали лоснистые спины

машин. На следующей остановке Виктор сошел и подал ей руку. Она спускалась боком, постукивая каблуками, изящно, как... лань.

— Ну, пока, — сказала она и потянулась его поцеловать.

— Что ты меня гонишь? — рассмеялся он. — Я с тобой вообще не хочу расставаться. Мне изюм нейдет на ум, цукерброд не лезет в рот, пастила не хороша — без тебя, моя душа!

Она улыбнулась.

— Это Пушкин, — смеясь сказал он.

— Да?

Они дождались светофора и перешли шоссе. Он посмотрел на ее дом и опять подумал, что жить они будут у него. Если мать не переменит своего отношения к ней, он разменяет квартиру. Ему достанется однокомнатная — а зачем им больше? Идти домой и знать, что дома она...

— Ты чего не берешь меня под руку?

— Ой, жарко.

Жар однако спадал, солнце уже висело над крышами. Они миновали прохладную, подземно-гулкую арку и ступили во двор. Двор был уже наполовину в тени, справа темная, слева светлая зелень. Они повернули.

У ее подъезда стоял *другой*.

Виктор задрожал.

— Какого... хрена ему здесь надо?

— Я не знаю, — тихо сказала она.

Другой спустился с крыльца и пошел им навстречу. Его смазливое опереточное лицо было хмурым. В нескольких шагах от подъезда они остановились друг против друга.

— Что происходит? — не глядя на Виктора, глядя на нее — на нее! — раздраженно спросил Другой.

— А твое... какое ... собачье дело? — прохрипел Виктор — уже не только не владея собой, но и не осознавая себя. Все затопила тоска и ненависть.

Другой брезгливо сморщился и посмотрел на него.

— Мне есть дело. Мне вот непонятно, что ты тут делаешь.

Что ты тут делаешь. Что я делаю с моей Леной... Раздался взрыв, и ненависть его сорвалась лавиной. Он прыгнул вперед и что есть силы ударил в отвратительное, тайно преследовавшее его весь последний месяц лицо. Попал, кулак саднуло ударом. Другой отлетел, но устоял, прыжком растопырил ноги и принял каратистскую стойку. Каратист, сука... Виктор бросился на него; Другой крутанулся, мелькнула каруселью нога, и что-то тяжко ударило Виктора по уху. Его бросило в сторону; оглушенный, он едва поспел ногами за телом — чуть не упал; остановился, тряхнул головой — все было в каком-то зыбком, искристом тумане — и с рычаньем пошел вперед. Сильно ударило в грудь; задыхаясь, он хлестнул справа прямой рукой, услышал, как у Другого ляскнула челюсть; его снова уда-

рило в голову, в ту же боль, потом справа по ребрам; слабея, он неловко лягнул ногой — она ушла в пустоту, потянула его за собой, он никогда не дрался ногами; удар слева... удар справа... он застонал, отмахиваясь почти вслепую, отступая; еще удар... я больше не могу... ох, какая боль!..

— А ну прекратите! — пронзительно закричало откуда-то сверху. — Я сейчас милицию вызову!

— Прекратите немедленно! — тонко, родным, терзающим душу голосом закричала Лена, загораживая его; при виде Лены в нем опять загорелось бешенство, он выплюнул черный сгусток и шагнул к раскоряченной длинноногой фигуре с выставленным пальцами вверх кулаком; Лена оттолкнула его. — Прекратите!! Виктор! Андрей, уходи! Виктор!..

Другой медленно выпрямился и опустил руки. Виктор остановился. Сильно болела голова. Он с ненавистью и страхом смотрел на Другого. Ненависть была сильнее страха. Хорошо, каратист... Я приду с ножом... С ножом!!!

— Всё? — спокойно спросил Другой.

— Уходи, я прошу тебя!

— Я позвоню.

Другой поправил выбившуюся рубашку и пошел к арке. Виктор плюнул кровью. Лена повернулась к нему.

— Ну зачем ты полез драться?!

Виктор медленно приходил в себя. На душе было мерзко.

— Какого черта ему здесь надо?

— Я не знаю, что ему надо, -- устало сказала она.

— И часто он тебя так встречает?

— Нет. В первый раз. Он иногда звонит.

— Иногда?

— Да. Раз в неделю.

— А поджидал тебя в первый раз.

— Да.

— Так что ему надо?

— Не знаю, — с досадой сказала она. — Влюбился в меня. Я тебе еще месяц назад говорила.

— А ты?

— Что я?

Виктор стиснул зубы. Левую челюсть пронзила боль, он приоткрыл рот и выругался.

— Ты тоже в него влюбилась?

— Не говори ерунды.

— Тогда почему ты ему не скажешь, чтобы он не звонил?

— Да потому что... потому что почему я должна ему говорить, чтобы он не звонил?! Я не могу сказать человеку: я не хочу с вами разговаривать, перестаньте мне звонить. По-моему, это хамство.

Он закурил.

— По-моему, это просто откровенность.

— Я не могу быть такой откровенной, как ты. Тебе человек не понравился, и ты бросаешься на него с кулаками. Минуту назад ты выматерился. Очень откровенно. Может быть, ты и меня будешь бить?

Он опустил голову. Опять он не прав. Он все время не прав. Он затянулся. Когда он затягивался, у него кололо под левым ухом. Да, он действительно не прав. Он первым полез в драку... и его избили. Все правильно. Ах ты черт.

— Ладно, — сказал он, — извини. Я был не прав. Просто я очень тебя люблю. Извини. Все будет хорошо. Да?..

Она молчала. Он поднял глаза.

— Да, — сказала она.

— Ну иди. Завтра в одиннадцать, да? Я тебе утром позвоню.

Она кивнула. Он наклонился к ней, и они поцеловали друг друга. Он выпрямился. Она поднялась на цыпочки и осторожно, ласково, едва прикоснувшись губами еще раз поцеловала его.

— Ты что, малыш?

— Нет, ничего. Ну иди.

— До завтра. Я люблю тебя. Извини меня.

Она кивнула глазами.

— Я пошел.

— Да свиданья, Витя, — мягко сказала она.

V

Виктор проснулся и посмотрел на часы. Было двадцать минут десятого. Он перевел взгляд на голубое окно и медленно, с неприятным — недобрым, тревожным — чувством вспомнил вчерашний день. Когда поначалу смутные, нестойкие образы — зародившиеся против воли его, вспоминать мучительно не хотелось — проявились болезенно-яркой, живой картиной, он быстро поднялся, натянул тренировочные, взял сигареты и спички и вышел на балкон. Отец, который курил тридцать лет и только недавно из-за сильной одышки бросил, учил его «правилу трех «не»»: не курить больше пачки в день, не докуривать последнюю треть сигареты и не курить натощак. Сигареты Виктор никогда не считал, докуривал как придется, но третьему пункту следовал. Месяц назад он ослаб и сдался — и стал курить натощак.

Часть двора и балкон были еще в тени, но даже невидимое солнце дышало жаром. Виктор курил, рассеянно глядя на двор. После завтрака он ей позвонит... нет, не после завтрака, прямо сейчас — услышать ее голос, услышать, что в одиннадцать она приедет к нему, а потом они пойдут на канал купаться, — вернуть счастливое позавчера, вырвать вчера... даже вырвать всё и начать с начала, счастливого начала — се-

годня, завтра, всегда... Вдруг высветилось вспышкой лицо Другого — маслинные глаза, тонкие усики, — он с отвращением плеснул в него черным, потом торопливо, срывающимися ударами кисти записал черноту голубым, желтым, зеленым — красками Лены, лета, леса, любви... Через неделю ему в лагеря!! Всё. Нет лагерей. Люблю. Любимая. Любишь. Любили.

Он вернулся в комнату и набрал ее телефон. Долго никто не подходил. Может быть, она уже едет ко мне?..

— Алло?

Виктор чуть не повесил трубку — голос был старческий, скрипучий, сухой, — но потом сообразил: это бабушка. Он только однажды слышал ее голос, обычно к телефону подходила Лена или ее мать. К бабушке Виктор заочно относился с симпатией — он любил стариков.

— Здравствуйте. Лену попросите, пожалуйста.

— Здравствуйте. А ее нет дома, — аккуратно ответила бабушка. — Она уже уехала.

— А давно? — улыбаясь спросил Виктор.

— Да уже часа три назад. У нее поезд в половине девятого.

— Поезд?

— Ну да. Она ведь уехала отдыхать, в Алушту.

...Виктор понял.

Потом положил трубку на стол.

.....

CLXXII

Виктор Михайлович проснулся до будильника, от солнечного луча, пронизавшего гардинную щель. Он посмотрел на часы — было четверть восьмого, прихлопнул податливый клавиш звонка и, помаргивая и позевывая, сел на кровати. В открытой фрамуге уже роился бодрящий утренний шум: верещал надсаживаясь стартер, басовито урчали двигатели, зудели кодовые замки, дворник шуршал метлой — неторопливо и методично, как маятник... Виктор Михайлович поднялся, надел пижамные брюки и шлепанцы и вышел из спальни.

В открытую кухонную дверь он увидел Антошку, сидевшего с ногами на стуле — одна подвернутая, другая торчком, как у кузнечика, коленка у подбородка. Антошка повернул голову — со скоростью выстрела, у взрослого потемнело бы в глазах, — и бросил облепленную геркулесовой кашей ложку.

— Папка проснулся!

Виктор Михайлович вошел на кухню.

— Папа проснулся, — сказала рассудительная Вера.

— Доброе утро, — сказал Виктор Михайлович и потрепал детей по макушкам — гладкой у дочери, вихрастой у сына.

— Доброе утро, — сказала Марина, поворачиваясь от плиты. — Что ты так рано вскочил?

— Папа *вскочил*!! — закричал Антошка, спрыгивая со стула. — А-а-а-ха-ха-ха-ха! — Снова взлетел на стул, опять соскочил — слезясь от восторга. — У-у-у-ю-ю-ю-ю!..

Виктор Михайлович засмеялся. Привлеченный шумом, на кухню вбежал эрдельтерьер Адька — по паспорту Ардалион — и залаял так, что у Виктора Михайловича после тишины заложило уши.

— А-а-ха-ха-ха-ха!.. Папа вскочил!

— Гав! Гав! Гав! Гав!..

— Адька, на место! — воскликнула Марина, страдальчески сморщив лицо. — Антон, прекрати бесноваться! Ешь!

— Антон бесноватый, — сказала Вера и отодвинула пустую тарелку.

— Ты сама бесноватая!

— Я не бесноватая.

— Бесноватая!

— Сумасшедший дом, — сказала Марина. — Антон, ешь! Тебе еще надо стихотворение повторить, ты помнишь?

— Гожяет жеш бахжяный швой убош, — сказал Антон, запихавшись кашей. Вера аккуратненько засмеялась.

— Швоюбош.

— Ладно, ешьте... малолетние Витушишниковы, — сказал Виктор Михайлович, поворачиваясь, чтобы идти в ванную, — но на пороге не удержался и, искоса взглянув на Антошку, скакнул козлом. Антошка хрюкнул и забился на стуле. Вера покачала головой. Марина подняла брови и выразительно посмотрела на мужа.

— Старый, что малый. — Ее лицо было еще припухшим от сна — милым, очень домашним. — Так, папа, иди умывайся. Ты нам мешаешь. Антон, ешь.

Виктор Михайлович вошел в ванную комнату, включил воду и привычно посмотрел в зеркало — чуть наклонив голову и прищурив глаза. Крепкое энергичное сухое лицо. Мужественное лицо. После этого он как всегда усмехнулся и дружески сказал себе дурака. Фыркая и сморкаясь, он умылся холодной водой, и им овладело такое радостное, деятельное нетерпение — работать, чувствовать, жить! — что ему пришлось сделать над собою усилие, чтобы побриться. Еще недавно он бы бриться не стал — тем более что в моде последних лет была умеренная щетина, — но месяц назад его назначили заведующим лабораторией и ходить «трехдневным» — особенно когда начальник отдела брился до синевы — казалось ему неудобным.

Когда Виктор Михайлович вернулся на кухню, детей уже не было. Марина сняла с плиты сковородку с пошипывающей четырехглазой яичницей. Он любил яичницу на сковороде.

— Витя, подожди немножко, пускай остынет.

— Ладно, — сказал он и вилкой перечеркнул крест-накрест еще подрагивающий всхолмленный белок. Марина разлила из дымящейся турки кофе и села напротив. Она завтракала отрубяным хлебцем — толщиной с игральную карту (как он шутил) и покрытым даже не блестящей масляной пленкой. Он улыбнулся и покачал головой.

— Ты ничего не ешь. Как ты вообще живешь, Маришка?

Он говорил так часто — и по привычке, и с неистребимым привычкой чувством: сам он ел много, а за обедом и ужином жадно, и потому удивлялся Марине и жалел ее. Правда, она уже давно не говорила ему «я худею» или «я боюсь потолстеть» — теперь было «я не хочу», — но он, всегда плохо переносивший голод, не верил этому... Он взглянул на часы и принялся за яичницу. Ему сразу прижгло язык; он крякнул, приоткрыл рот и со свистом потянул воздух.

— Ну вот, обжегся, — жалея сказала Марина.

В коридоре затопали дети... то есть затопал Антон и застучал лапами Ардалион, Веры не было слышно.

— Мы пошли, — сказала Вера, появляясь в дверях. За ней, стараясь проскочить вперед, маячил Антон. — Мама, скажи Антону, чтобы он от меня не убегал. Я не могу за ним следить, когда он убегает.

— За мной не надо следить! — взъярился Антон.

— Еще как надо, — сказала Марина.

— Идите вместе до поворота, а там можете разделиться, — сказал Виктор Михайлович.

Вера пожала плечами... плечиками.

— Я вообще могу с ним не ходить.

— Сделайте одолжение! — крикнул Антон и стал шаркать ногами, разводить руками и кланяться. Все это происходило у него асинхронно.

— Антон, ты мужчина, — сказал Виктор Михайлович, жуя яичницу. — А Вера девочка, ты должен ее проводить.

— Мужчина, — сказала Вера с невыразимой улыбкой. — Вороны вчера испугался.

Антон налился кровью, открыл рот и вытаращил глаза.

— Я... я... испугался?!

— На него ворона вчера напала. Хи-хи... У нее рядом было гнездо. Антон закрылся ранцем и убежал.

— Ты врешь!!! Ты...

— Я никогда не вру.

— ...врешь! Ранец сзаду! Как я мог им закрыться!

— Очень просто. Согнулся крючком и...

— Так, всё, хватит, — сказала Марина. — И правильно сделал, что испугался. У нас на работе Ольгу Ивановну ворона клюнула в голову. Так пришлось выстригать волосы, чтобы обработать рану.

— Я не испугался, — прошептал Антон, глядя в землю. Виктор Михайлович чуть нахмурился.

— Испугался, не испугался... это не важно: мы не вольны в своих чувствах, только в поступках... да и то неизвестно... кхм... да. — Он, конечно, не мог поставить себя на место Антона, но разумом понимал: то, что взрослым кажется шуткой, для Антона вовсе не шутка. Он собрался с мыслями. — Ворона, которая защищает своих птенцов, — это опасно. А напала она на тебя, а не на Веру потому, что ты мужчина. Она тебя испугалась.

Вера улыбнулась — очень снисходительно, — но ничего не сказала. Виктор Михайлович подозревал, что эта снисходительная улыбка относится не так к Антону, как к нему самому. «Верун меня иногда пугает, — радуясь говорил он Марине. — Для одиннадцати лет она слишком мудрая».

— Всё, идите, — сказала Марина. — Уже восемь. Вера, когда будете есть щи, не забудь сметану.

— Хорошо. До свиданья. Пошли, Антон.

— Пока, — сказал Антон.

— Пока, — сказал Виктор Михайлович.

Щелкнула дверь. Виктор Михайлович взялся за кофе.

— А у тебя действительно кого-то клюнула ворона?

Марина улыбнулась, и он увидел ее морщинки. Жизнь идет... но впереди еще много жизни.

— Да, только это не Ольга, она мне просто об этом рассказывала. Я сказала Ольга Ивановна, чтобы было убедительнее. А ты действительно думаешь, что ворона напала на Антошку потому, что он, — она улыбнулась, — мужчина?

— Да нет конечно. Я это придумал. Надо было как-то ему помочь. — Он допил кофе, и ему сразу рефлексом захотелось курить. Он поднялся из-за стола. — Спасибо.

— Ви́тюшка, — осторожно сказала она, — ты все-таки, я думаю... не конфликтуй с Коровиным.

Он посмотрел на нее немного виноватое, смущающееся лицо — и ему стало жалко ее. Он редко говорил с ней о делах, и она — наверное, чувствуя, что ему не хочется говорить с ней о работе, — если и спрашивала его, то довольствовалась самыми простыми ответами. Она была очень домашней женой. Ему было с ней хорошо. Она была очень хорошей женой, и он знал — глядя на семьи приятелей и друзей, — что никогда не нашел бы себе лучшей жены.

— Маришка, — ласково сказал он, — ты не волнуйся, этот Коровин — пустое место. То есть он негодяй — когда мы сидели без зарплаты, он

строил себе коттедж, — но сейчас он — пустое место. Дело в том, что этот контракт с «Боингом», по которому нам сейчас идут деньги, заключал другой зам, Шевченко, а они с Коровиным на ножах. Так что у меня и совесть чиста, и никаких неприятностей не может быть. И вообще, я думаю...

Зазвонил телефон. Марина подняла трубку.

— Алё? Да. Здравствуй, Вадик... нет еще, сейчас позову.

Она вздохнула и подала ему трубку. Прежде чем ответить, он закурил.

— Слушаю.

— Привет, Витька.

— Привет. — Уже по голосу Вадика он знал, о чем тот будет просить.

— Слушай, ты... не выручишь меня? Выручи, помираю.

— Ну... сколько тебе?

— Лучше бы полтинник, а так сколько сможешь. Я отдам.

— Ладно. Ох, Вадик, Вадик... Давай через двадцать минут у остановки.

— Спасибо тебе.

— Не за что. Пока.

Он выключил трубку.

— Ты бы не давал ему денег, — печально сказала Марина. — Хуже ведь будет.

— Хуже не будет, — с досадой сказал он. — Если он решится бросить, то бросит, а так... Лишняя мука.

— Но ведь ты ему дашь денег, и он напьется.

— А так он все равно напьется, только или продаст что-нибудь, или пойдет по дворам, или... или помрет с похмелья! — Он сердито махнул рукой. — Ему ведь уже не двадцать, а тридцать шесть. Все, я пошел собираться.

Через десять минут, в костюме и галстуке, с дипломатом, он заглянул на кухню. Марина, расставив веером пальцы, красила ногти.

— Я пошел, Маришка.

Она подняла лицо, и он поцеловал ее в губы.

— Пока.

Выйдя из подъезда, он механически бросил взгляд на баклажанный лоск своих «жигулей», закурил и неторопливо пошел через двор.

Был месяц май. Золотое солнце плавилось в синем небе. Двор был затоплен блестящей ярко-зеленой листвой. У расклеванной голубоватыми стрелками клумбы зацветал красными огоньками шиповник. То шелестел, то опадал ветерок; ворковали, брачуясь, голуби; по кустам взахлеб чирикала пернатая мелюзга; на солнцепеках жужжали мухи... Виктор Михайлович шел, курил и улыбался в душе. Май! Он повернул за угол дома — и на остановке увидел Вадика.

За последние годы Вадик быстро и сильно сдал. Он стоял ссутулясь, в мятой рубашке и вытертых до блеклой голубизны джинсах, опух-

ший, худой, небритый — ему можно было дать пятьдесят... Виктор Михайлович подошел.

— Здравствуй, Вадик.

— Привет.

Вадик смотрел больной, уставшей от боли собакой. Под глазом разливался застарелый синяк. У Виктора Михайловича тоской потянуло сердце. Он пожал Вадику руку — рука была влажной и слабой — и потрепал его по острому костяному плечу. Краем глаза он уловил, что какая-то женщина — широкая, пестрая как луг, — повернула голову... кажется, смотрит на них. Виктор Михайлович был прекрасно одет, Вадик похож на бродягу. Вдруг он подумал: «А если это кто-нибудь с работы? Увидит...». Он посмотрел в глаза своему старому, верному, далекому другу — и жестоко, с ненавистью к себе обругал себя матом. На повороте застучал и задребезжал трамвай. Виктор Михайлович достал пятьдесят рублей и протянул их Вадику.

— Держи, старина.

— Спасибо, Витя. Я отдам.

— Отдашь, не спеши.

Подошел трамвай. Посыпались люди.

— Ну ладно... Ты как, ничего?

— Ничего, — сказал Вадик и улыбнулся. — Голенький ох, да за голеньким бог.

— Что с глазом-то?

— Бандитская пуля...

Получив деньги, он заметно приободрился. Виктору Михайловичу это было приятно. Он понимал, что это недобросовестное, ложное чувство, но не гнал его от себя. Так ему было легче.

— Ну, я поехал.

— Давай. Как Маринка?

— Маринка хорошо. Ты... не увлекайся, Вадька.

— Ладно.

Виктор Михайлович сел в трамвай. Людей было много, и он больше не видел Вадика. Трамвай загудел дверями и тронулся. «Как он живет? — подумал Виктор Михайлович — уже расставаясь с другом, возвращаясь в прежнюю, привычную и безопасную, жизнь. — Как можно так жить?..»

Трамвай запел, набирая скорость — перед подъемом на мост. За окном побежала бетонная лесенка заграждения, прошитая перистыми побегами яворовых дичков. Виктор Михайлович вспомнил забор, поставленный им в прошлом году на даче, — хороший деревянный забор из двадцатимиллиметровых штакетин, через который за несколько дней пробился малиново-зелеными стрелами придорожный ивняк, — и ему захотелось за город. В субботу поедут: Верун, как всегда, будет помогать Марине на огороде, Антошка балбесничать с Адькой, а сам он — копать, что попро-

сит Марина, и делать скамейку: Виктор Михайлович любил и немного умел работать руками. Но и два дня, оставшиеся до субботы, его нимало не тяготили: ему нравилась конструкторская работа, он с детства был увлечен авиацией, а сейчас, когда его назначили заведующим лабораторией и в КБ появились деньги (благодаря договору с американцами — «вероятным противником», как шутили у них до сих пор), ему еще и неплохо платили. Конечно, банковский клерк получал больше его, но все эти клерки, дилеры, брокеры, дистрибьюторы в конечном итоге все лишь ростовщичествовали и спекулировали, а он — производил. Они работали из-за денег, а он — из-за денег и того не зависимого от вознаграждения чувства, которое знакомо каждому человеку труда — пахарю, ученому, каменщику: удовлетворения от того, что ты это сделал — и сделал хорошо. *И увидел, что это хорошо.* Человек производящий выше человека торгующего; он горд не тем, что он получил, а тем, что он сделал. Fecit имярек, писали на картинах старые мастера.

Впрочем, подобные — «глобальные» — мысли уже редко занимали Виктора Михайловича. Когда-то он, как и большинство образованных людей, горячо поддерживал буржуазно-демократические (не так буржуазные, как демократические) реформы; потом, после приватизации, октябрьского переворота и чеченской войны жестоко в них разочаровался; сейчас ему было все равно. Он расстался с мыслями о стране и мире, об их светлом или печальном будущем, и чувствами, которые эти мысли в нем пробуждали, — в отличие, например, от Вадика, который однажды ему сказал: «А все-таки хотелось бы еще протянуть лет сорок — посмотреть, как этот шарик рванет». Виктор Михайлович рассмеялся: «Интересная у тебя мизантропия какая-то — ведь ты рванешь вместе с ним». — «Конечно, — серьезно ответил Вадик, — я для себя ничего не прошу, не заслужил. Вот пчел и бабочек жалко». Впрочем, это он говорил несколько лет назад, сейчас Вадику было уже все равно... Виктор Михайлович перегорел — но не сгорел, а просто успокоился, стал, думалось ему, мудрее, взрослее. У него есть семья, работа, работа, семья — это главное в его жизни; есть двое старых друзей — бедный Вадик не в счет, — с десяток приятелей, есть дача, машина, в которой он любит по мелочам покопаться, — есть напряженная, увлекательная на службе и уютная, тихая домашняя жизнь: телевизор, книги, Ардалион, да что там — даже предвкушаемый еще на работе ужин, который готовит Маринка... Человеку, может быть, и мало трех метров земли, но весь мир человеку точно не нужен.

CLXXIII

Трамвай спустился с моста и побежал вдоль запруженной машинами улицы. Виктор Михайлович всегда ездил на работу в трамвае — это занимало двадцать минут, а за рулем пришлось бы толкаться в проб-

ках около часа, — но почти все завлабы, не говоря уже о начальниках отделов, ездили на машинах, и он порою подумывал: может быть, и ему пересесть на машину? Положение обязывает... При этих словах он неизменно посмеивался: великая птица — завлаб! Впрочем, про себя он считал, что завлаб — основа всего: начальник отдела уже более администратор, чем инженер, не говоря уже о самой верхушке.

Трамвай окунулся в густую тень — справа поднимались большие деревья. Виктор Михайлович видел эти клены, ясени, тополя уже более двадцати лет, но не заметил, как они выросли, — для этого ему надо было уехать на двадцать лет назад и сейчас возвратиться. Уехать и возвратиться. «К счастью или же к несчастью, истина проста: никогда не возвращайся в прежние места...» Еще не окрепшие листья мягко похлестывали по окнам. Так было каждый день, каждый год, только с конца октября по окнам зло, упруго хлестали голые ветки. Но до осени еще несуществующе далеко — и что ему осень? И осенью звучит музыка, осенняя музыка. А сейчас — май! Музыка мая.

— Пробейте, пожалуйста, билетик.

Виктор Михайлович вздрогнул, взял из появившейся слева руки билет, пробил его — и обернулся.

Перед ним была Лена.

— Привет, — сказала она.

Она не изменилась. С тех пор он не видел ее ни разу. Четырнадцать лет. Четырнадцать лет... Вчера.

— Привет, — сказал он.

В окна плеснуло солнцем. Трамвай поворачивал на шоссе, и Виктор сделал движение — наверное, мысленное — ее поддержать... обнять: здесь, на крутом повороте, он всегда ее обнимал. Обнимал и в тот день, когда они возвращались из парка, и пальцы его подрагивали от нежности, оберегая ее беззащитную спину. Нежность. Она смотрела на него своими сияющими глазами. За окном пела весна. У водителя пел Антонов.

— Как ты живешь?

— Я... я живу в многоэтажном доме, — вдруг сразу — и впервые за много лет — вспомнил он.

Она рассмеялась — откинув как всегда голову, блестя белыми ровными маленькими зубами. Он улыбнулся. Это была его привычная присказка, ее привычный в ответ на эту присказку смех. В восьмидесятом, олимпийском, году он после операции аппендицита лежал в одной палате с молодым немцем. Когда во время обхода хирург, огромный громогласный кавказец, спросил того: «Как ты себя чувствуешь?», — немец покраснел, застенчиво улыбнулся и развел руками. «Не понимает... Как ты себя чувствуешь? Как живешь?» — «Я — живу — в многоэтажном доме», — старательно ответил немец.

— Нет, а серьезно? Чем ты занимаешься?

— Я работаю на «Стреле», — не сразу ответил он. Зачем это?..

— У нас из группы там Привалов работает, толстый такой. Ты его знаешь?

— Знаю. Он у прочнистов.

Они помолчали, глядя друг на друга. Она как всегда смотрела на него снизу вверх, и в лице ее как всегда было немного детское, доверчивое выражение. Губы ее были как всегда подкрашены розовым. Их уголки были чуть опущены и очерчены двумя неглубокими складками. От уголков ее глаз тоже опускались морщинки. Она не изменилась.

— У тебя, конечно, семья, дети?

— Да, — сказал он и привычно посмотрел в окно. Пиночет. Он даже машинально не подумал о том, что Пиночета давно уже нет и на его месте кафе под названием «Невка».

— А у тебя?

— Я разведена. У меня дочка двенадцати лет... но она больше живет с мамой.

— А... ты где живешь?

— Там же, где жила. Бабушка как ветеран войны получила квартиру в Строгино. Мама и Светка сейчас там живут.

— А бабушка? — спросил он и услышал голос ее бабушки.

— Бабушка давно умерла.

Трамвай задумавшись резко затормозил у Гидропроекта. Ее качнуло, и он поддержал ее за податливый, теплый, скользящий под блузкой локоть. Его бросило в жар. Он стоял и держал ее под локоть, она была совсем близко от него, и он слышал запах ее волос. «Что ты делаешь?! — кричал кто-то внутри него. — Что ты делаешь?! Что ты делаешь?!!»

— Месяц май, — сказал он срывающимся голосом.

— Да, — тихо сказала она, не глядя на него. Они стояли слишком близко, чтобы она могла смотреть на него. Ее золотистая челка чуть-чуть не касалась его губ. Он замер. Чуть-чуть.

...— Мне выходить, — сказала она.

Виктор вздрогнул и посмотрел в окно. Песчаная. Трамвай летел как молния. Виктор опустил глаза. Все было кончено.

— Тебя проводить? — пробормотал он.

Она помолчала.

— Как хочешь.

Он помолчал.

— А ты... хочешь?

— Хочешь, — сказала она.

2002

ВЕСЬ ДЕНЬ. ВСЮ НОЧЬ. ВСЕЧАСНО. БЕСПРЕРЫВНО

* * *

«В святых мечтах земли...» — но велико сомненье:
Способен ли мечтать бесчувственный гранит?
Труха времен — песок? И магма, чье кипенье —
Лишь волю дай! — всю жизнь бесследно истребит?

Народы? Их мечты порой бывают святы:
О хлебе, например. Но в несчастливый год
Такой они тоской и яростью чреваты,
Которую и ад едва ли превзойдет.

И все же эта мысль правдива без изъятий,
Сияет в ней живой, неотраженный свет.
И каждый слог стиха исполнен благодати,
Когда творит святой и молится поэт.

* * *

Порой я вспоминаю о собаках,
Что на любых вокзалах обитают —
Покрытых коркой грязи и блохастых,
Чудной породы, непонятной масти
Некормленных усталых бедолагах.
Бывает так: вбежит продрогший пес
Под сводчатую крышу, где томленье
И суета транзитных пассажиров,
Где всё пропахло сигаретным дымом
И мокрой тканью, и пролитым пивом,
И жареными курами, и потом;
Так вот, вбежит и ляжет где-нибудь

Олег ВИГОВСКИЙ — родился в 1967 году в Краснодаре. Учился в Краснодарском институте культуры, Ленинградской консерватории. В 2002 году закончил Литературный институт им. А.М.Горького. Стихи печатались в периодических изданиях России, в 2000 году в Московском издательстве «Лабиринт» вышел поэтический сборник «Диаспора духа». Живет Москве.

В углу, среди обслюненных окурков,
Плевков, клочков промасленной бумаги —
На тощий бок. Глаза полузакроет,
Слезящиеся, красные, и, лапы
Доверчиво к проходу протянув,
Забудется в больной и чуткой дреме,
Лишь иногда всем вздрагивая телом
От криков резких, скрежета тележек,
Что перевозят сумки, чемоданы
И ящики — багаж разнообразный —
Весь день. Всю ночь. Всечасно. Беспрерывно.
Там, под открытым небом — темень, ветер
И хлесткий дождь, а может — дождь со снегом,
И холод, даже для людей — собачий.
А здесь — почти тепло. Почти не сыро...
Толпа снует по залам и проходам
От расписанья поездов к перронам,
От баров и киосков к туалетам,
Лоткам газетным и билетным кассам,
Переходным мосткам, дверям вокзальным,
Фанерным креслам, столикам — и снова
К киоскам, кассам, барам, туалетам...
А пес всё в забытьи. Всё так же дремлет.
Почти согревшийся. Почти счастливый.
Как хорошо: никто не наступает
Ему на лапы! Пусть пока, и всё же...
Худые лапы с коркой черной грязи
И бурой крови, меж когтей присохшей.
Никто не наступает. Ни носильщик,
Ни пьяный, ни патрульный, ни калека,
Ни тетенька в оранжевом жилете
(Поверх лохмотьев сальной телогрейки),
Которая поодаль мерно машет
Метлой истертой — тупо и привычно,
И тучи пыли к потолку вздымает.
Пес дремлет. Ночь идет.

Офелия

Реквием не пропели. Выловленного на мели
тела кончина темна. Церкви святой угодно
соблюсти обряд в чистоте: «Довольно ей и земли
в ограде кладбищенской!» — «Когда б не из благородных...» —

реплика из народа. В траур одета знать.
Недожених и брат друг друга душат в могиле.
Песен больше не петь. Цветов на лугу не рвать.
Венков не плести. «Офелия?.. Намедни похоронили.»
Пираты делят добычу. Заносчивый Фортинбрас,
еще не зная свой жребий, грабит польские села.
В тронном зале смятенье — в зале кровь пролилась.
Запачкала ножки лавок, засохла в трещинах пола.
Смена династий. Слухи. Теперь дозор на стене
каждую полночь от страха начинает зубами клацать
в ожидании привидений: «О Господи!.. Только б не...»
«Офелия?.. Ах, Офелия! Да уж в гробу — лет двадцать».
Постаревший сильно Горацио, жизнь проводящий меж
Эльсинором и Виттенбергом, защищает, слюною брызжа,
честь друга и господина от сонма глупцов, невеж,
любителей грязных сплетен. В кабаках придорожных слыша
также речи о той, что когда-то ушла узнать:
белей ли одежд невестиных залетейские асфодели?
«Офелия?.. О какой, земляк, ты мне всё твердишь Офелии?»
— Да о той, что когда утопла, поп не стал отпевать.
«А!.. При Гамлете-Сумасшедшем! Когда еще образин
мы здесь не знали норвежских и правда была на свете!»
— Глянь! Вон, в углу!.. По платью — вроде бы дворянин...
Потише, земляк, потише! Вдруг он тоже из *этих*?!.
«Да шут с ним; он уже пьян... Так что — ее, говоришь,
всё же — в церковной ограде?..» — Ну да! Обмыли, одели...
Не то, что нашего брата... Дворян бесчестить? Шалишь!
«Но реквием не пропели?..» — Нет. Реквием не пропели.
.....

Парсекам теряя счет,
Рассекая кольца орбит,
О случившемся дать отчет
Ангел-хранитель мчит.

На Земле попавший впросак,
Все запасы слез изрыдав,
Сквозь холодный, бескрайний мрак,
Где, от луча отстав,

Одинокий шальной фотон
Испуганно верещит, —
Пред Господний явиться трон
Ангел-хранитель мчит.

Безответную пустоту
Хлещет взмахами крыл;
В перекошенном скорбью рту
Крик бессилья застыл;

На ресницах белеет соль,
Не вернуть румянца ланит.
Покаяньем утишить боль
Ангел-хранитель мчит.
.....
«Так значит, она мертва?..»
— Мертва, Всемогущий Господь...
«Что же ты не уберег?..»
— Не смог, Всемогущий Господь!..
«Что ж крылом не прикрыл,
дал греху побороть?!»
— Не хватило размаха крыл,
Всемогущий Господь...
.....

Бежавшая от счастья недотрога,
Свою любовь предавшая сама;
Офелия, прогневавшая Бога,
Ушедшая — сошедшая с ума;
При первом в жизни повороте резком
Схватившаяся в ужасе за грудь,
Закончившая жизнь трусливым всплеском,
Офелия, пустышка! В добрый путь!
Да, в добрый путь! Давай, плыви, плутовка, —
Без лоций, без фарватеров, без вех;
Безумьем уравнявшая так ловко
Свой первый и последний смертный грех;
За трусость не понесшая расплату,
За муки не снискавшая наград,
Ни к Раю не приставшая, ни к Аду,
В себе самой неся и Рай и Ад;
Как сена клок, изорванная тряпка —
Офелия, бежавшая любви! —
Давай, плыви! В воде темно и зябко,
Но ты плыви, Офелия! Плыви!
Близ берега — в кустах, в траве зеленой —
Плыви, плыви! Еще не вышел срок!
На каждой ветке, до воды склоненной,
Девичьей плоти оставляя клок;

Плыви вперед, усталости не зная,
Подъеденный мальком, раздутый труп;
Лилеи и кувшинки раздвигая,
Не раздвигая почерневших губ;
В безоблачные дни, в дожди, в туманы
Уставя в небо мертвый свой оскал,
Минуя рощи, пастбища, курганы,
Водовороты и теснины скал —
Плыви, плыви, пугая всех на свете:
Бродяг, что близ реки нашли жилье,
И рыбаков, что расставляют сети,
Их жен, пришедших полоскать белье,
На берегу играющих детишек
И девушек, пускающих венки;
Плыви неспешно — времени излишек! —
Всё дальше по течению реки,
Бегущей сквозь столетия и страны
(И по пути в движение свое
Вбирающей поэмы и романы,
Легенд и мифов пыльное старье,
Рассказы, были, драмы, анекдоты,
Полотна красок и актеров грим,
Рассыпанные в партитурах ноты) —
На самый край Вселенной! Чтоб за ним —
Где нет уже ни хаоса, ни лада,
Где кончены пространства и года, —
Восторженно ревущим водопадом
Обрушиться в Ничто и в Никуда.
...И — тишина. Нет больше страстных, нежных.
Лишь памяти ошметки, клочья снов.
Прощай. Быть может, я в молитвах грешных
И о тебе замолвлю пару слов.

Строфы

1

Эпатаж безудержный, стиль кричащий
В прожитое отходят, звучат всё тише.
С каждым годом о смерти пишем чаще,
О любви с каждым годом всё меньше пишем.
И в предчувствии жизненного уклона
За еще доступные наслажденья
Мы хватаемся жадно, бесцеремонно —
Но уже доносится свыше пенье

И уже доносятся снизу плачи;
Ждет награды душа, страшась расправы:
Словно кот, что зимой у трубы чердачной
Левый бок согревая — морозит правый.

2

Ночь. Мерцают экраны. Скрипят кровати.
На прокуренных кухнях стихи читают.
Строгих ангелов белоснежные рати
Опускаются сверху и вопрошают —
Что мы выберем? — то, что сиюминутно,
Или то, что вечно, но: либо — либо?..
Их и в тихой кухне расслышать трудно,
Но еще трудней — за пружинным скрипом.
На конфорке чайник исходит паром.
Верх окна мутнеет, потея густо.
Жизнь не часто рисуется Божьим даром.
Чаще — ложем в дому шутника-Прокруста.

3

Круг наш тесен, но каждый полон амбиций
И нападки взаимные очень колки.
Нам со злейшим врагом порой примириться
Много легче, чем с другом после размолвки.
И плетутся дни, и ползут недели
В непонятном, бессмысленном отчужденье.
Раз мы друга участием не согрели,
Отлетает от нас наш добрый гений;
Наполняя сердце, злость и обида
С сожаленьем и грустью до крови бьются.
Мы же ходим с напыщенно-гордым видом...
А враги ликуют, враги смеются.

4

Что мы помним? Войну в чужом государстве?
Первомаи; ристания на лафетах,
Первомаи; кремлевскую ложь и барство,
Первомаи; отдушины злых куплетов;
Первомаи; субботники, помпу съездов,
Первомаи; вербовку в ряды сексотов,
Первомаи — и красных полотнищ мездру,
Транспаранты о счастье в руках илотов,
Череду космических достижений —
И провинций обшарпанные сараи,

Лапидарность матерных выражений,
Поголовное пьянство — и Первомаи!

5

Что мы знаем? Возможно, не так уж много
По сравненью с мерзавцем иным речистым;
Но наш путь — от рождения и до Бога —
Остается честным, прямым и чистым.
Может, где и случилась какая шалость,
Но когда нам скажут: «Пора, ребятки!»,
Мы не будем просить: «Ну еще хоть малость!..»
Мы не будем играть с Провиденьем в прятки.
Мы услышим: «На совести много пятен?!»
И ответим: «Ты знаешь, Господь, едва ли...
Мы, конечно, грешили по сто раз на день,
Но не лгали, не крали, не предавали».

6

Нас учили считать: до врага — полшага;
Проходить под марши, работать даром,
Замирать на плацу при подъеме флага,
Прикрываясь локтем, как от удара;
Доносить на родителей и на друга,
Изгаляться над верой, страну взрастившей;
Утверждать превосходство над лирой — плуга,
Поклоняться мумии полусгнившей.
И теперь — раз нам юность такая досталась —
Подсчитаем и мысленно подытожим:
Что мы можем забыть? Разве самую малость!
Что мы можем простить? Ничего не можем.

7

Дни хиреют. То осень лапой паучьей
Обрывает минуты — наследство лета.
Но от неба — пусть даже все небо в тучах —
Сколько света, Господи! Сколько света...
Даже если в доме зажечь все люстры —
Не осмеяны будут его потоки.
В это время года он бледный, грустный —
Но какой спокойный, какой высокий!..
Раскрывается город ему навстречу
И желтеющих листьев бесценный бисер
Торопливым прохожим под ноги мечет
Щедрой платой за счастье приникнуть к высям.

БИСМИЛЛА

повесть

> Задача поэта говорить не о действительно случившемся, но о том, что могло бы случиться, следовательно, о возможном по вероятности или по необходимости.
>
> *Аристотель*

Мелкий изнурительный дождик вперемешку со снегом. Сыплет уже второй день. Дорога раскисла, покрылась свинцово-серыми лужами, разъехалась. Теперь по ней проедешь разве что на тракторе. Или, скорее, на БМП, их на дорогах встречается больше. Рядом граница. Административная, но все же граница. Блокпосты, колючая проволока, рвы, полоса отчуждения, минные поля с выцветшими, покосившимися указателями. И закопанные в землю БТРы с навечно устремленными на «ту сторону» стволами. Так здесь называют территорию, старательно отгороженную — и отгородившуюся — от остальной страны. Дождь со снегом превращает боевые машины в нелепых, вылезших из земли уродцев, жуткий урожай минувшего лета, который никто не удосужится убрать с полей.

С «той стороны» то же, что и с этой, — безлесные степи: чахлый голый кустарник, жмущийся по овражкам, по колкам, пожухший ковыль, поломанный непогодой. Но сейчас ветра уже нет, тучи не хотят расходиться, и нудный осенний не то дождь, не то снег продолжается и продолжается бесконечно.

В начале ноября всегда так. То ненастье, то морозы, то оттепель. Каждая новая смена погоды кажется долгосрочной, но не продерживается и нескольких дней. На днях было плюс пятнадцать. Сейчас столбик термометра застыл около нуля. Никакая температура. И сыпет и сыпет неизменный дождь со снегом, бьется потихоньку в окно, пробирается в щели трухлявого домика. Время выходит, пора трогаться. Тем более, рядом «та сторона». И те люди. Ждущие.

Домик не виден «той стороне», от него до КПП километров пять по разболтанной колее старой дороги. Она ведет из ближайшего от границы

Кирилл БЕРЕНДЕЕВ — родился в 1974 году в Москве. Закончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Проза публикуется в журналах с 1998 года. Живет в Москве.

селения, станицы, и уходит, петляя, на «ту сторону» до безымянного аула. Десяток домишек, слепленных словно из грязи, два телеграфных столба с перебитыми проводами и несколько землянок. За аулом — пепелище. Еще со времен войны. Небольшая плановая операция. Не то по освобождению, не то по выкуриванию из аула бородатых вооруженных людей в камуфляже и с зелеными головными повязками. Это было, помнится, в последние месяцы войны, когда войска уже уходили с «той стороны». Колонна тяжелой техники подошла по такой же, как и сейчас, раскисшей дороге — была середина марта — к аулу, федеральные войска оцепили село и заставили жителей покинуть жилища. Затем несколько залпов из башенных орудий, автоматные и пулеметные очереди в ответ, лениво поползшие к небу языки пламени. Затем чей-то надрывный крик... Через час колонна ушла на свою территорию. Жители вернулись в аул. Вечером, до захода солнца, как велит обычай, хоронили погибших.

Аул был последним его прибежищем на «той стороне». Вчера он покинул его, сопровождаемый бородатыми людьми в камуфляже. Его довели до маленького домика, оставили еды и питья на несколько дней и, не прощаясь, ушли. Они молчали всю дорогу, не было желания поддерживать разговор. Инструкции даны, вытвержены, время отведено, и стрелки часов неумолимо двинулись с места.

Всю дорогу до этого дощатого домика ему казалось, что одного его на «этой стороне» не оставят. Не решатся. Но потом он понял, что сомнения были напрасны. Просто они знали его лучше, чем он сам. И полевой командир, дававший последние указания с глазу на глаз, что он посчитал для себя особым знаком расположения; да и те люди, с которыми он перешел укрепленную границу между республикой и краем. Его оставили и ушли. Не оглянувшись, так же незаметно, как появились за хорошо укрепленным кордоном.

Несколько часов после их ухода он просто ждал. Сидел на куче прелой соломы и смотрел в крохотное оконце на «ту сторону», которую покинул впервые. Не осознавая, ни куда смотрит, ни что ощущает при этом. Недвижно сидел и смотрел в окно, последний раз увидев, как мелькнули и исчезли тени знакомых ему бородатых людей в камуфляже. Ожидание давно стало для него больше чем привычкой к пустой трате времени — частью жизни, в некотором роде определенным ее смыслом. Чем-то вроде вех, расставленных судьбой между событиями, изредка настигавшими его: ожидание перемен, ожидание конца «незаметной» войны, «официальной» войны, заточения, доверия, излечения, вестей от родных, первой вылазки... Между ними случались и другие ожидания, но совсем незаметные, такие, что не оставили следа в памяти.

Новое ожидание подходило к концу. Отмеряло последние свои часы. Вчерашним вечером, перед тем как заснуть, он еще раз напомнил себе план действий, рассчитанный буквально по минутам, до последнего

движения, и расписание автобуса, уходившего от станицы к поселку — столице административного района края. Вспомнил все, о чем говорил полевой командир в те недолгие минуты, когда они остались с глазу на глаз, все незаметные, но важные мелочи.

Перед рассветом резко похолодало, чтобы согреться, он натянул на себя верхнюю одежду, зарылся поглубже в сваленную в углу скирду соломы. К ночным морозам он так и не привык. Изъязвленное тело мучительно ныло, каждой косточкой напоминая о прошлом. Он старался, как мог, не обращать внимания на боль, утешаясь, что скоро все зарубцуется вновь. Как рубцевалось уже не раз. Болезнь уйдет ненадолго, оставит на месяц-другой в покое. Он немного отдохнет от пленившей его болезни во время этой короткой передышки. Вот лицо уже начинало подживать, на него совсем не будут обращать внимания.

Все, взятое с собой, он проверил и перепроверил не один раз. Что-то ему не понравилось, он перетряхнул рюкзак заново, по-новому переложил вещи. Да, так заметно лучше.

Наутро стало заметно лучше и ему самому. Момент наступил. Собраться, уничтожив все следы своего пребывания в тонкостенном дощатом домике, было делом получаса. Сюда до весны вряд ли кто заглянет, но, тем не менее, лучше не полагаться на случай.

Вещей у него было немного, большая часть взята просто для отвода глаз. В рюкзаке, что он перетряхивал перед уходом, лежала пара полотенец, разношенные донельзя ботинки, завернутые в грубую холщовую ткань, рубашка, приемник без батареек, старый костюм, шарф, двухлитровый «баллон» из-под газированной воды темной пластмассы, жестяная фляжка с минеральной водой и полупустая пачка папирос. Он не курил, но по опыту знал, может пригодиться.

Последний раз оглянувшись на сарай, он невольно сгорбился под изнурительным дождем и побрел по краю раскисшей дороги к станице. Автобус, единственный на сегодня дневной рейс, должен уйти в поселок через два часа. За это время ему надо успеть зайти в киоск и купить поселковую газету. Необходимое для выполнения всего плана условие; хотя читать он уже давно отвык. Затем прийти на автобусную станцию и снова ждать.

Сапог увяз в грязи. Он с трудом вытянул его и продолжил путь. Примерно так же, но только с сопровождением, он уходил первый раз. Тогда — из Грозного, куда-то в неизвестность. Переговариваться и задавать вопросы запрещено было сразу, и он более всего боялся неосторожным жестом, движением обеспокоить своих стражей. Тогда тоже был ноябрь, первые его числа. Девяносто первый год. Страна еще не знала, отмечать ли ей бывший великий праздник или уже нет. И он сам, оставленный в одиночестве, в окружении безмолвных бородатых людей с автоматами, ведших его и еще нескольких человек, взятых вместе с ним, не знал.

Дорога шла по балке, затем резко поднималась вверх. Добравшись до вершины, он оглянулся. Нет, не увидят его ни те, ни другие. Пелена дождя надежно укрыла его ото всех.

Сделав еще два шага, он остановился. Бутылка легла неровно, при каждом движении ударяла в спину. Он сбросил рюкзак, поправил ее, положив между ботинками, и продолжил путь. В этот момент он напрягся, вместе с воспоминанием пришло и ожидание тычка автоматного ствола в спину и окрик «пошевеливайся!» на чеченском. В девяносто первом он его еще очень плохо знал. Его и еще несколько человек, захваченных на автобусной остановке в центре Грозного, недалеко от вокзала — а он направлялся именно туда — вывели из фургона и погнали по раскисшей степной дороге в ту самую неизвестность, которой он боялся более всего. В фургоне он лежал на полу. Рядом с другими горожанами, с завязанными глазами и стянутыми «браслетами» за спиной запястьями. Трудно было сказать, сколько времени он провел в этом положении. Над ними на скамье сидели двое в масках, один из них немного знал русский и не давал шевелиться и разговаривать, тыкая всякий раз тяжелым сапогом в живот.

Когда он выбрался на возвышенность, идти стало заметно легче. Но от непогоды разнылось плечо. Сколько тряпок он ни подкладывал под ремень, язвы все равно начали вновь гноиться, липкая влага пропитала рубашку. Ничего, идти недалеко, еще один спуск и подъем — и будет видна станица. Он хотел что-то произнести вслух, что-то сопутствующее своим мыслям, но не решился, точно рядом все еще кто-то был. Точно его все еще вели по голой степи в неизвестность бородатые люди в камуфляже. Они шли молча и так же молча подталкивали тех, кто отставал, и всё брели и брели по раскисшей проселочной дороге.

Плечо неожиданно отдалось резкой болью натруженной мышцы, когда он оступился и едва не упал. Подниматься надо было самому и как можно скорее, стражи вставать не помогали, напротив, упавшие торопились подняться на одеревеневшие от долгой изматывающей ходьбы ноги и, опасливо оглядываясь, брели дальше, ожидая короткого замаха и удара прикладом в спину.

Снова он невольно оглянулся. По-прежнему непривычна свобода. В долгом пути первый раз без сопровождения. Скорее всего, ему до конца не доверяли. Слишком много проверок было за эти годы. Сперва шла война, и они не были обязаны ему поверить с первого же согласного слова. Он вздохнул. Да, тогда было куда хуже. Постоянный надзор: ни шагу из Атагов. Потом из Хал-Килой, когда в то село все же вошли федеральные войска.

Его перевозили в одном и том же фургоне, так же завязав глаза. Все дальше на юг. До тех пор, пока федеральные войска не перестали наступать — неожиданно для всех, когда даже истово верующие переста-

ли возносить молитвы о спасении. Они лишь угрюмо сдерживали свои позиции, а потом так же неожиданно стали сдавать и тихо, незаметно уходить. Изредка возвращаться с шумом и грохотом, снова пытаясь вернуть взятое некогда, а захватив, исчезать, сдавая захваченное без боя.

По нему стреляли из дальнобойных орудий, танков, минометов и систем «Град» те, которых он долгое время продолжал считать «своими». До начала войны он все мечтал, видел во снах, что они входят в село, тихо, незаметно берут дом за домом, добираются до его местопребывания и... сон обрывался, выбрасывая его в иной мир. В котором понятие «свои» постепенно истерлось, потускнело. Затем и переменилось вовсе. А после войны осталась лишь «та сторона» и «эта». Для тех, кто жил здесь, в крае, он был с «той стороны», для себя и своего командира — с «этой».

Иногда он и его неизменные стражи действовали вместе, иногда воины просто сопровождали его через границу, и он делал свое, ставшее привычным, дело под прикрытием их автоматов, а после вместе уходили обратно. «К себе», говорили те. Назад, соглашаясь, отвечал он.

Ныне же неизвестно точно, когда состоится его возвращение обратно. Срок, конечно, есть, но не все зависит от сроков. Хотя на первых порах ему сильно повезло. И с переходом границы и с погодой, под прикрытием которой он собирался уйти как можно дальше. И с болезнью, что, наконец, оставила его ненадолго в покое. Только ненадолго, на месяц, может, немного более. Лучше в такое время не смотреть на собственное тело, лучше совсем не смотреть, тогда разложение будет почти незаметно. И не чувствуется, пока не поднимешь изъязвленные руки к лицу. Оно есть, оно продолжается, каждый день и час, отдаваясь то мучительной болью, то тошнотой и температурой, то новыми язвами, возникающими все в большем и большем количестве где угодно и когда угодно. Сейчас болезнь вновь затаилась, точно набираясь новых сил. А он вышел, обретя временную свободу, почувствовав, как его зверь ушел на краткий отдых в берлогу.

Снег постепенно прекратился, мелкий дождичек усилился и хлестал все время в лицо. Он шел уже долго, но станицы еще не было видно. Огни терялись в туманной степной дали. Мир вокруг сузился до десятка метров. Дождь полил косой плотной стеной, сбивая с дороги, заставляя спотыкаться и падать. С дорожной колеи он сошел, медленно бредя рядом с раскисшим трактом. Земля вокруг казалась грязно-белой от пелены дождя и не желающего таять снега.

Когда-то он был здесь. Еще до болезни, до войны, до независимости. Кажется, с тех пор прошло бесконечно много времени, целая эпоха, затерявшаяся в тумане забвения.

Он брел по дороге, пытаясь вспомнить свое, тогда еще вместе с супругой, пребывание в этом степном крае. Что-то, кажущееся ныне просто невероятным: путешествие на экскурсионном автобусе из

Грозного в составе маленькой группы, неделя блаженного ничегонеделанья в комфортабельной гостинице, поездки за город, в бесконечные степи. Тогда они считались молодоженами, и потому всюду их встречали по-особому. Как... Странно, он не мог вспомнить. Картинка эта никак не хотела пробуждаться из глубин памяти. Как и многие другие из того давнопрошедшего времени, просто память констатировала факты: были перебои с сахаром, табаком и водкой, выдаваемыми по талонам; он «выбил» — странное слово из тех времен — в своем институте эту поездку на двоих, и они с женой были счастливы. Странная констатация наподобие летописной: «того лета бысть нибоше»[1]. Что ж, в последующие года действительно «бысть нибоше». Все они слились в череду лет без воспоминаний, без памяти, различающиеся лишь все той же отстраненной летописной констатацией.

Да и события самого последнего времени, прошедших дней ли, месяцев, не отличались иным восприятием. Дни просто проходили мимо него: наполненные ли событиями, совершенно пустые ли, как серое безветренное небо в плотной пелене туч, — он не запоминал их, старался не запомнить каждое утро, ожидая наступления вечера, а вечером уж тревожился о новом дне. Он давно старался проживать. Не жить, именно проживать.

Нет, положение его заметно изменилось в лучшую сторону. Взять для примера эту «экскурсию», как назвал доверенное ему одному путешествие командир отряда. В тот день, когда он уходил и командир давал последние наставления с глазу на глаз. Невысокий, крепко сбитый мужчина средних лет с незапоминающимся лицом и вечно скрытыми за темными стеклами очков глазами. Глаза эти, серые, бесконечно уставшие, довелось ему увидеть лишь раз, когда командир одиноко творил подле землянки вечерний намаз. Он тогда был совсем рядом с командиром, так близко, что протяни руку — коснешься его колен. Но командир не видел его, сняв очки и осторожно положив их в нагрудный кармашек камуфляжной куртки, он встал на коврик и стал молиться, словом смывая с себя грязь дорог. Тогда они впервые оказались наедине. И он, не осмелившись обеспокоить командира или просто не решившись выдать свое присутствие во время намаза, все это время, пока слова текли с губ, неотрывно смотрел в лишенные обычного своего укрытия, обнаженные глаза. В те минуты он чувствовал нечто странное, доселе неизвестное; впервые ощущал удивительное единение, почти слияние с тем человеком, что подле него, не замечая ничего вокруг, творил обычный намаз, и с теми словами, что медленно, плавно, без усилий стекали с его губ, спокойные величавые слова, содержащие в себе всю мудрость мира.

Командир один из всего отряда был тем, кем называл себя — ваххабитом. Молился, постился, жил то в землянках, то в грязных зачухан-

[1] В тот год ничего не было (*ст.-слав.*)

ных домишках, покинутых жителями селений на «этой стороне» или в соседней республике, что зовется Страной гор, свято исполняя заветы Всевышнего: не укради, не убей, не возлюби... в равной степени правоверных и гяуров. Газават как одну из ступеней джихада за него исполняли другие, он же ограничивался усердием, направляемым на духовное самосозерцание, на искупление грехов своего воинства и на разработку планов маленьких «священных войн» по освобождению братьев по исламу, притесняемых неверными на берегах священного Каспия. Прожив всю жизнь в горах, он прекрасно ориентировался на местности и ориентировал других, посылая свои отряды — группки в дюжину человек, лучших его людей, — в те или иные села, проповедовать чистый ислам, салафийю, словом и делом. Хотя им, в отличие от командира, проповеди только мешали исполнять конкретные задания, джихад был для них лишь «священной войной» без соблюдения когда-то в незапамятные времена установленных правил, проповедуемых пророками: о женщинах и детях, о неверных, уверовавших во время битвы в истинного Бога и воскликнувших об этом.... Командир принимал их грехи на себя, они знали это и с этой верой уходили в свои «священные войны». С ней же и возвращались.

Он не знал, где его командир брал деньги, оружие, литературу — словом, все необходимое для проведения операций. Он ни с кем не сотрудничал, презрительно относясь к полевым командирам, чьи эмиссары приезжали к нему порой с тем или иным заманчивым предложением на роскошных внедорожниках, всеми доступными способами избегал навязываемых услуг и отказывал в просьбах о помощи людьми.

Командир был носителем истинной веры. И потому только он сам обучал новичков Корану. Плохое прилежание наказывалось палками, бегом вокруг лагеря либо иными физическими упражнениями, — ведь воины ислама должны быть сильными и ловкими, знающими, что борются они лишь ради единого Аллаха и только во славу Его. Когда он говорил, казалось, глаза, спрятанные за темными стеклами очков, пылают ненавистью к нечестивцам или горят жаждою благодати, точно он там, за стеклами очков, явленно зрел пред собою ангелов.

И потому еще, быть может, он никогда не снимал очки, чтобы слушавшие его не могли заглянуть ему в этот момент в глаза, а следовательно, и в душу.

Лишь только он был случайно удостоен этого. Лишь он один увидел пепельную пустоту глаз своего командира, творящего намаз в одиночестве пред столь же пустыми беззвездными небесами. И успокоился, ощутив это удивительное единение, родство, о котором он никогда прежде не смел задумываться. И успокоение это, а вместе с ним и уверенность в человеке, чьи глаза напоминали ему небо, не покидало его уже никогда.

Как и сейчас. Дождь, непролазная грязь дороги успокаивали его, но тело все еще болело, а вместе с телом болело и то, что обыкновенно именуют загадочным словом душа. Иной раз одиночество невыносимо. Особенно сейчас. Быть может, потому и его командир страшился оставаться надолго наедине с собою, старясь всегда быть на виду, в центре, в кругу знакомых лиц, привычных разговоров, обыденных дел.

Дорога свернула, стала подниматься на новый холм. Дождь не переставал, но сапоги уже не вязли в грязи. Когда он поднялся на вершину, вдали, в туманной мгле появились едва заметные огни, размытые стекавшей с небес влагой. Станица.

Год назад он появлялся здесь с двумя сопровождающими. Тогда, в сентябре, в самом начале осени, зрелище, открывшееся с этого холма, показалось им удивительным. Один из сопровождавших, остановившись на секунду и махнув рукой вперед, произнес тихо на чеченском: «красивое место, ничего не скажешь». Его спутник кивнул, мгновение полюбовавшись на вырисовывающуюся в легкой утренней дымке станицу — островок зелени среди пожухшей степи, едва заметные домишки под высоченными деревами, спускающиеся с холма в балку огородики, на которых возятся селяне — среди грядок мелькнет то чье-то платье, то необъятные шаровары. Дорога входила в станицу с края, как бы врезалась в нее, телеграфные столбы, связывающие ее с аулом на «той стороне», сразу же терялись среди необъятных тополей, отсюда, с вершины, казавшиеся венчиками цветной капусты.

Сейчас он видел лишь несколько фонарей у околицы да отблески света из окон крайних домов. Теперь ему оставалось только спуститься в лощину да преодолеть долгий подъем. Несколько сот метров непролазной грязи, последнее препятствие к намеченной цели. Намеченной его командиром.

Странно, наверное, но его уже очень давно не беспокоила мысль о побеге. Только изредка — сны, оставлявшие с некоторых пор ощущение чего-то неприятного — чего именно, он не мог сказать точно. И потому, должно быть, боялся этих беспокоящих его снов. Хорошо, что те, как правило, заканчивались ничем. Разум его давно не доверял ненадежным ощущениям и бесполезным надеждам. И особенно главной и самой безумной фантазии из всех — надежде на возвращение в минувшую жизнь.

Потому что минувшего не осталось. Возвращаться в родной город, откуда его вывезли когда-то, не имело смысла. Более того, могло закончиться печально. Город давно уже находился под контролем другой, многочисленной и уверенной в себе группы, относящейся с явной прохладцей к его командиру. По меньшей мере, с прохладцей. Пусть новые ваххабитские паспорта у всех были едины, но маленькая республика, лишившаяся последних признаков светской власти и обрет-

шая им на смену признаки власти религиозной, давно была незримо разделена на множество мелких и крупных зон. Границы пролегали между родовыми группировками, тейпами, во главе которых стояли военные или духовные, но чаще и те и другие в одном лице. Человеку с юга непросто было попасть на север, разве что по особой договоренности. Без нужды он не продвинулся бы дальше одной из автономий. Был бы непременно схвачен и, скорее всего, оставлен там в интересах нового командования в качестве живого товара.

Да и куда и зачем идти в неизвестность? Главное, к кому? Он сжился с теми, кто давал ему возможность существовать, привык к нынешнему окружению, как привыкают к чему-то неизбежному, к чему проще приспособиться, нежели сопротивляться. Привык и усвоил уроки, полученные за годы пребывания на юге еще у прежнего полевого командира. Спустя несколько месяцев — сколько именно, его мало интересовало, — когда выяснилось его положение заложника без надежды на выкуп, он был передан нынешнему своему хозяину в качестве предмета взаимовыгодной сделки. В детали которой его, конечно, не посвящали. Он принял относительность своего нынешнего существования, принял как должное и не решился бы поменять его. Даже раньше, будучи простым заложником, не имея нынешнего статуса почти свободного человека, он не осмелился переступить незримую на карте черту административной границы и уйти к тем, кого прежде считал «своими».

До войны, расставивший все по своим местам. До того, как оказался у полевого командира, которого считал своим и который стал считать своим и его — поставив простое условие, проверив его на лояльность. Невыполнение которого... впрочем, об этом речь даже не заходила.

Меся глинистую почву лощины и поглядывая вверх на приближающиеся огни домов, он думал о том, что его похищение с автобусной остановки не было столь уж случайным. Те, кто его взял, были осведомлены о месте его работы, о должности и о многом другом. Он артачился и спорил с собой поначалу, как спорил бы на его месте всякий, попавший в такую ситуацию, строил несбыточные планы и надеялся. Потом решил спасать себя сам. Кроме него едва ли кто озаботился бы его судьбой. Разве что жена... но по прошествии стольких месяцев в этом он не был столь уж уверен. Ведь когда его голова была оценена, он, скрепя сердце, дал номер телефона, по которому его похитители могли бы связаться с супругой.

Она уехала к родным, потому что они поссорились. Конечно, из-за какого-то пустяка, забытого спустя день после ссоры. Еще она решила отдохнуть от него — в их жизни в то время не все ладилось. Переждав некоторое время, по его мнению достаточное, чтобы утихнуть страстям, он решил отправиться за женой вслед, заранее зная, что будет прощен, как бывало не раз и не два.

Его и еще нескольких человек, малознакомых и незнакомых вовсе сотрудников одного грозненского НИИ, связанного с проблемами нефтепереработки, сорвали с остановки, забросили в фургон и отправили на юг. Бесконечно давно, вечность, восемь лет назад.

Может быть, она искала его. Искала деньги на освобождение. Не нашла — не смогла, не сумела — и сейчас уже успокоилась и забыла. Столько лет прошло. Может быть, живет еще где-то здесь, может, по тому же адресу, что и ее родители. Или снова вышла замуж и стала совсем не такой, как прежде, не такой, какой он ее знал. Как и он сам.

Ему только сейчас пришла в голову мысль: как она там, на «той стороне»? Вернее, уже тут. Где-то тут, он никак не мог вспомнить название поселка, в котором проживали родители его жены. Если она по-прежнему у них.

Подъем закончился, он остановился немного передохнуть, поправил в рюкзаке бутылку — она вновь стучала по спине. Язвы на плече снова загноились: он начал натирать плечи лямками. Лучше, чем неделю назад, поступи приказ тогда, едва ли бы он смог нести хоть что-то в рюкзаке. Да и вообще в эти дни он чувствовал себя не в пример лучше. В любом смысле. Может, потому, что позабыл обо всем, когда получил это задание, большую часть которого должен был исполнять в одиночестве. И тогда стало уже не важно, что на дворе такая скверная погода.

Сколько с ним эта болезнь? — наверное, все *это* время. Он даже мог сказать наверное, откуда она, ведь, кажется, иного пути подхватить ее просто не было.

Тогда еще, восемь лет назад, у прежнего полевого командира, отдавшего приказ на похищение — ведь это почти всегда приносило прибыль. Спустя месяцы пребывания в положении ниже уровня земли, в подвале. После того, как он дал телефон, по которому им, должно быть, не смогли ответить. В его подвал — все же человек может назвать своим даже то место, где его жизнь не зависит от него самого, — была спущена женщина, наверное, лет тридцати. Может, меньше, ведь ничто так не старит женщин, как услужение. Этим способом и раньше его навещали «гости», всегда на малый срок, чаще всего люди, за которых могли заплатить родственники или те, кто нуждался в бесплатной рабочей силе. Их забирали через несколько дней, максимум — неделя, он же оставался долгожителем этого подвала. И вот, неожиданная гостья. Он узнал женщину, прежде она была кухаркой в их лагере, сперва приходящей, потом оставшейся насовсем. Что ж, слухи о происходящем там, наверху, по крупицам доходят и сквозь кирпичные своды подвала. Видимо, что-то случилось, в ее услугах перестали нуждаться: тех услугах, что она могла предоставить, помимо стряпни. И она стала не нужна. И была отправлена к нему, снова к нему, в подвал. Тоже всего на несколько дней, хотя он надеялся, что этот срок будет столь же долгим, как его.

Они не разговаривали: ни разу, ни о чем. Лишь во сне она шептала что-то, на языке, незнакомом ему. И вскоре исчезла.

А через недолгое время после ее исчезновения его продали нынешнему полевому командиру. И тогда, все время до своей продажи, он предавался мучительным размышлениям о посетившей его женщине. В его воспаленном от разбившихся крупиц надежд мозгу мучительной болью горел единственный вопрос: не было ли появление этой женщины неслучайным. Испытанием, устроенным ему его хозяевами. И прошел ли он это испытание? И как прошел?

Потом его выдернули из подвала, снова посадили в фургон, снова повязали глаза — все это время он ждал неизбежного завершения, — но его снова отправили в неизвестность.

В то время он не обращал внимания на свои болячки. Главное было — протянуть нынешний день и дождаться завтрашнего. Насколько это возможно в душном подвале прикованному натиравшими руку «браслетами» денно и нощно к неработающей батарее отопления. Два раза в день — скудная пища, доставляемая вечно молчащим стражником с редкой, точно выщипанной бородой и худым птичьим лицом. Миску он ставил на пол, у самой лестницы, затем медленно поднимался на семь ступенек; хлопала тяжелая дверь, лязгал замок. И снова одиночество.

Новый полевой командир, которому он был продан, вспомнил неожиданно о его прежней работе. Как он узнал, в то время новая власть изгоняла федеральные войска из ставшей независимой республики, заставляя солдат покидать казармы, уходить не оглядываясь. И оставлять все, что находилось за двойным забором, поверх которого была натянута в несколько рядов колючая проволока.

Ему осталось идти всего ничего. Остановка автобуса находится от въезда в станицу метрах в двухстах, рядом с продмагом, напротив сельсовета — единственных двухэтажных каменных знаний в поселке. Он взглянул на часы. До приезда «пазика» оставалось еще с полчаса. Есть время обсушиться под навесом остановки да купить положенную планом газету.

Едва он вошел в станицу, сапоги перестали чавкать. Дорога была покрыта щебенкой, сочно хрустевшей под подошвами кирзы. Насыпали ее очень давно, проезжающие через поселок машины уже разбрызгали большую часть по краям дороги, но идти было не в пример удобнее. Ему вспомнилось, что кое-где и в Грозном, все больше на окраинах, конечно, в закоулках Заводского района, встречались такие же, покрытые щебнем, дороги. Когда-то он хорошо знал свой город. Часто бывал по разным надобностям в самых разных его уголках, и лишь длинный рукав Старопромысловского района города, аппендиксом цивилизации уходивший далеко в степь, был ему мало знаком.

Грозный, Грозный... Он остановился, снова взглянул на часы. Теперь он называется по-иному, ныне имя ему Джохар, в честь первого президента независимой республики.

Джохар обрел власть лет восемь назад... да, как раз перед тем, как его захватили на остановке. А весной девяносто второго стал полновластным — иного слова и подобрать нельзя — хозяином республики. Месяц тот ныне ему невозможно вспомнить, к тому же известие дошло до него с большим опозданием. Помнится, он вначале и предположить не мог, чему так радуются полонившие его люди. Тогда, кажется, или чуть позже, — ему попалась в руки газета, которую, видно, хотели использовать по иному назначению, как обычно используют газеты в глуши, — был разогнан парламент республики, расстрелян горсовет, возглавляемый недавним ставленником первого президента, а в возмущенные новыми порядками северные казачьи станицы с юга республики стянуты верные генералу Джохару войска. Это оказалось началом: кровь, пролившись, стала расползаться по республике алым пятном, марая города и села. И в столице, и в Аргуне, и в Урус-Мартане....

Странное все же название у поселка, снова подумалось ему. Для себя он вольно переводил его как «русскому — секир башка». Это уже потом оказалось, что не только русскому, потом, когда он не просто находил интересным название, увидев его на карте, а реально оказался в нем, когда был «отфильтрован» от прочих пленных, взятых в тот день, неделю, декаду, и поступил в распоряжение к своему первому полевому командиру.

Кровь, это известно всем, не высыхает. Люди Книги говорят, к примеру, что она вопиет к небесам. Люди его веры утверждают, что она взывает к оставшимся в живых.

Тогда уже, в те далекие времена, в город начал вкрадываться страх. Нет, раньше, еще за год до явления легендарного генерала. Тоже осенью — мерзкой, дождливой, слякотной — госсовет республики принял свою знаменитую декларацию о суверенитете. Кажется, маленькая, не разделившаяся еще тогда на «своих» и «не своих» вайнахов, республика тогда была первой, кто осмелился. Ему помнилось, отлично помнилось, как народ был счастлив, собираясь на улицах и площадях, как ликовал, отмечая столь знаменательное событие: незнакомые люди поздравляли друг друга, как с великим праздником, казалось, еще немного и, освободившись от прогнившего, отжившего свое имперского центра, они заживут так, как не жили еще никогда. Сколько же искренности было в тех поздравлениях...

Вот только стало опасно выходить вечерами из дома. Появились люди в униформе со странными нашивками, изображавшими прилегшего на минуту белого волка, люди с оружием в руках. Люди, ставшие противовесом официальным органам правопорядка и вершившие свой, тайный

и оттого куда более страшный суд. Поначалу на них не обращали внимания: народ собирался на ставшие привычными митинги и требовал выхода из состава, новых выборов, всего того, что по обыкновению требуют на митингах. На один из таких они с женой отправились как на гуляние.

Когда подобные выступления приелись и самим митингующим, они, осмелев, отправились на радио, где долго требовали выступления деятелей вайнашского движения, пришедших с ними. Народ не был услышан, и кто-то из знаменитых деятелей разрешил, нет, настоял на разгроме непокорного радио. Люди в униформе с волчьими нашивками сопровождали демонстрантов, но не вмешивались ни в погром ни в мародерство, ждали, когда все разойдутся по домам. Так же терпеливо ждала и милиция.

А после ночи стали безлюдны и пусты, и в их пугающей тиши порой слышна была торопливая, захлебывающаяся стрельба на улицах. Он тогда согласился с женой, что — на время, конечно, — надо переехать к ее родителям в станицу, пока все не утрясется, но все чего-то ждал, ждал. Кажется, даже с прежней надеждою.... Так и не собрался: то одно, то другое, сначала неотложные дела в институте, потом командировка, а под конец эти ссоры....

Осенью был низложен Верховный Совет. Из уст в уста, шепотком передавали, будто сопротивлявшегося низложению председателя люди в камуфляже попросту выбросили из окна. Кто-то слышал, что власть перешла в руки мафии, кто-то, напротив, утверждал, будто это позорная месть центра, за которую еще надо поквитаться. Но затем появился сам генерал. Выступил с обращением к вайнашскому народу, убеждая, что все под контролем, волноваться нечего, скоро мы освободимся ото всех, кто стоит над нами и мешает нам жить — генерал говорил по-чеченски с заметным акцентом, как человек, плохо знающий родной язык, — а пока не митингуйте, подождите и все сами увидите. Митинговать, в самом деле, после этого предупреждения не посмел никто. В столице наступила мертвящая тишина, не прерывавшаяся и днем. И в ней стали пропадать люди. Его соседи, знакомые, знакомые знакомых, персонажи случайно подслушанных в транспорте разговоров. Уходили — на работу, в магазин, просто погулять. И не возвращались.

Много месяцев спустя — уже у нынешнего полевого командира, — получив возможность безбоязненно покинуть подвал, он узнал о том, что происходило после его пленения. В девяносто втором состоялись всенародные выборы первого президента независимой республики. Однако сразу же после подсчета результатов голосования к зданию избиркома подкатило несколько БТРов со все теми же людьми в камуфляже с белым волком на рукаве. Прямой наводкой здание было расстреляно, а результаты всенародного волеизъявления исчезли. Од-

нако президент, как считалось, все же был переизбран — уже не разогнанным Советом, а всенародным волеизъявлением. В тронной речи он поблагодарил вайнахов за доверие. И первым делом сообщил о своих счетах с государством, в состав которого некогда входила республика, которую противоправно провозгласили его неотъемлемой частью. А в заключение добавил уже как бы между прочим, что ежели Москва не пожелает выплатить замученному ею вайнашскому народу контрибуцию за все века неволи, то он объявит ей священную войну.

Участником дальнейших событий был и он сам. Пленившие его впервые решили испытать заложника в деле, а после выполнения части работы, что была отведена ему, он даже услышал похвалы в свой адрес. Смысл слов был ему тогда не очень понятен, но по выражению лиц говоривших можно было определить их явное расположение к нему. Его дружески похлопывали по плечу, затем усадили за общий стол, где обходились с ним, как с равным. Наверное, так загнанный в угол зверь получает первую, непривычную ему порцию ласки, все еще чувствуя под горлом лезвие остро отточенного ножа.

Дело, что было поручено полевым командиром, оказалось совсем простое, и он справился с ним легко. Ведь это входило в его компетенцию, в прежний круг обязанностей, хотя и чисто теоретических. В определенном смысле он должен был это сделать, к тому его обязывала квалификация, и вначале даже не понял, за что его благодарят, одобрительно цокая языками и поднимая большой палец вверх.

Обратно в свой полевой лагерь они возвращались «с подарками», как пошутил представитель самого президента, прибывший для проведения совместной операции и подготовки общего плана с их командиром. Все проблемы разрешились быстро и к обоюдному согласию, и так же быстро была проведена операция.

Представитель прибыл тогда в «мерседесе», вспоминал он, чувствуя, что одежда его начинает подсыхать и становится волглой. Он подошел к грязному окошечку кассы и получил билет на автобус, возвращаясь на лавку и размышляя попутно, прибудет ли «пазик» к намеченному сроку или все же непогода сорвет расписание. Так, как задержала тогда представителя президента — короткий летний ливень отложил его прибытие где-то на полчаса. В поездке представителя сопровождал фургон с верными людьми, вооруженными до зубов; за ними следом шло с десяток пожарных машин. Последние более всего удивили самого полевого командира, тот высказал несколько недоуменных слов в адрес представителя, но, через минуту, вначале пожав плечами, а затем раза два резко хохотнув, уже охотно соглашался с необходимостью этого эскорта.

Машина, в которой он ехал, шла предпоследней, колонну замыкал присоединившийся позднее, по пути, пустой трейлер. Когда до ворот части, к которой они направлялись, оставалось несколько сот метров,

асфальтовое полотно закончилось, дорога захрустела гравием. Пожарные машины, разделившись по дороге, узкими улочками проехали в обход и практически одномоментно подошли со всех четырех сторон к высокому забору. Машина, в которой ехал он, подошла к главным воротам. Подле них уже стояли две пожарные машины. Стволы их были направлены в глубь территории военного городка, на казармы. За каждым сидел вооруженный человек. Он успел мимолетно заприметить это, слезая с борта фургона. Представитель президента, единственный, кто был одет в официальный костюм-тройку, по виду, изрядной цены, брезгливо выбрался из неопрятно грязного «мерседеса» и потребовал командира. Тот не замедлил появиться: дверь в воротах открылась, и командир вышел, стараясь не ускорять шага, сопровождаемый тремя бойцами с автоматами наизготовку.

Теперь ему вспомнилась и картинка того события. Дождь почти перестал, превращаясь постепенно в морось. Падающие с неба капли оставляли в лужах едва заметные круги, каждый раз падая точно в их центр.

Выйдя из-под навеса билетной кассы, он подошел к газетному киоску и приобрел свежий выпуск районной ежедневки. Вернувшись к кассе, присел на лавочку рядом с только что подошедшей пожилой четой, вкруг себя поставившей несколько узлов с вещами. Старик бросил на него косой взгляд и снова отвернулся к супруге. Они принялись о чем-то тихо совещаться.

Он развернул газету, но читать совершенно не хотелось. То ли отвык, то ли просто не мог сосредоточиться на мелких строчках, напечатанных на желтой от света тусклой электрической лампочки, одиноко висящей под сводом крохотного зала ожидания, газетной бумаге. На улице было темно, но не по времени, а от низкой облачности, плотной пеленой закрывшей солнце. Точно солнечное затмение наступило, и луна, вопреки ожиданиям, не торопится открывать светоносный диск.

Он прочел одну коротенькую заметку — сводку из Страны гор — и свернул газету. Пожилая чета продолжала о чем-то спорить: мужчина разводил руками, женщина рылась в сумочке. Некоторое время он продолжал разглядывать пару, но вскоре отвернулся, изучая тонущую в дымке мороси станицу: аккуратный рядок домишек, стоящих вдоль расхристанной дороги, обсаженной кучерявыми кряжистыми тополями.

Тополя, точно такие же, росли у ворот части. Тогда они только начали покрываться зеленым пушком, и терпкий после прошедшего ливня запах распускающихся листьев висел в неподвижном воздухе. Представитель прошел несколько шагов вперед — теперь его и командира части разделяли три-четыре метра — и холодно зачитал приказ президента о немедленной эвакуации всех частей федеральных войск с территории независимой республики. Срок исполнения — один час с момента ознакомления с приказом. В случае невыполнения в ход всту-

пят пожарные машины, в цистерны которых под завязку налит бензин. Командир в ответ усмехнулся, но как-то неуверенно, представитель кивнул, и в ту же секунду мощная струя из ствола ближайшей пожарной машины облила его и сопровождающих командира автоматчиков, отбросив к воротам. Он поднялся, медленно оглядел собравшихся пред воротами людей и молча скрылся на территории военного городка. Жалко хлопнула железная дверь в воротах.

Через полчаса фургон с безоружными солдатами выехал с территории части. Им разрешили взять с собой только личные вещи и деньги, в чем-в чем, а в этом недостатка власть новой республики не испытывала. Ее интересовало оружие. И она его получила.

Ему на равных со всеми разрешили участвовать в разграблении магазина на территории части. Спустя несколько часов колонна, в составе которой появились штук десять БТРов, с дюжину БМП и без счета стрелкового оружия, уходила на юг. Вслед им слышались далекие уж хлопки взрывов и чувствовался запах гари: военный городок горел.

Тогда он оглядывался чаще других, неприятно ежась от их довольных похлопываний по плечу и коротких, исполненных торжества, возгласов, среди которых он слышал и здравицы в свою честь. Пожарные машины, которые так и не понадобились, некоторое время следовали за колонной, потом резко свернули на одну из улочек и отправились на восток. Видимо, получив новое задание.

Тут только он расслышал, что старики, сидящие рядом с ним на лавке, спорят из-за денег, вероятно, где-то оброненных. Невеликая потеря: пятьдесят рублей, банкнота, бывшая то ли в сумочке у жены, то ли в портмоне мужа. Спорящие настолько увлеклись выяснением, чья же в том непоправимая вина, что не заметили, как он нагнулся, поднимая извлеченную из кармана полусотню и, поперхнувшись и закашлявшись от прилившей к голове крови, протянул банкноту им. Женщина отреагировала первой. Любезно улыбнувшись, она тут же приняла подарок, он так и не понял, догадалась ли она, или приняла его спектакль за чистую монету, мужчина же принялся недоумевать и возмущенно заметил, что надо было первым делом посмотреть под ноги, пока супруга ковырялась в сумке, бумажка и выпорхнула. Лишь после этого он спохватился и пробормотал слова благодарности.

Ему было как-то неловко, импульс этот — дань укоренившимся в подсознании с раннего детства нормам, остов которых, к его собственному удивлению, продолжал еще сохраняться в нетронутой глубине — заставил его действовать помимо его воли. Хотя не в деньгах дело, в кармане лежало еще пять синих банкнот на всякий случай, выданных лично командиром — все в тех же непроницаемых очках, несмотря на непогоду. Деньги были шальные, их количество не имело значения. Под контроль его группы перешла одна из небольших химических лабораторий, произ-

водящих синтетические наркотики. Плата, скрепя сердце принятая командиром в качестве компенсации за гибель его воинов в Стране гор.

И опять же он смел отнести большую часть похвал за совершенное в той стране к себе... и к тем, кто был с ним, в самом конце августа отправившись к благословенному Каспию. То ли командир решил прервать на время свое затворничество, то ли некие моральные или, не исключено, материальные стимулы оказали влияние, этого он не знал, да и не хотел знать. Ему сообщили, когда и куда он должен был отправляться, он кивнул, молча, как полагается, в ответ. В придачу ему, именно ему, а не наоборот, дали четырех воинов, зарекомендовавших себя с лучшей стороны еще во время последней войны.

Вернуться же из Страны гор довелось только ему одному. Так уж получилось, случай, слепая насмешка судьбы, под которой все ходят, — опьяненные удачей, воины ошиблись едва заметной в темноте уходящего вечера горной тропкой и взяли много левее. Их мобильную группу заметили еще до подхода к границе, войска уже были извещены о случившемся в самом центре портового городка — да и как же иначе, ведь тот взрыв грузовика у дома непосредственно касался их, их семей, родных и близких, что жили в доме, — и были немедленно подняты по тревоге.

Болячки у него большею частью уже прошли, но начали заметно дрожать руки, и покалывало сердце даже после небольших нагрузок. Непонятно, почему именно его, самого физически слабого из группы, пощадила судьба. Стечение обстоятельств, иначе объяснить случившееся, наверное, просто невозможно.

Когда до границы, обозначенной пунктиром на карте, оставалось с полкилометра, лес кончился, лишь редкие кусты вели тропу к перевалу. Где-то за ним, он не знал точно, где, лежит земля суверенной республики. Воины продолжали упорно карабкаться вверх по каменистому, осыпающемуся склону сопки, изредка останавливаясь, — он замыкал шествие, задерживая всех частыми остановками, ожидая, прижав руку к груди, когда восстановится дыхание и перестанут мельтешить огненные колесницы в глазах. Он не оглядывался больше, пытаясь в неверном свете ущербной луны увидеть то, что произошло за несколько десятков километров от этого места. Да и не думал о сделанном. Привык? — возможно, и так. Скорее, попросту перестал тревожить себя мыслями о свершаемом. Тем более, не в первый и не последний раз.

Старший неожиданно выпрямился и поднял автомат наизготовку, следующий за ним тотчас же замер, настороженно вслушиваясь. В неверном свете они казались каменными изваяниями, появившимися здесь в незапамятные времена, источенные пронизывающими ветрами и холодными дождями со снегом. «Вертолет», — произнес старший, давая группе знак рассыпаться; через несколько томительных секунд и до него донесся далекий стрекот боевой машины.

Мгновение спустя стрекот стал оглушительным. «Ми-8» вылетел из-за сопки, на которую они торопливо карабкались. Сноп лучей прожектора враз ослепил всех, истерично мечась по склону; затем остановился, подрагивая, распознав среди мертвых скал живых людей, и машина пошла на снижение. Ударила очередь, громогласный стрекот винтов потонул в диком грохоте тяжелого пулемета; пули пропарывали воздух, со звоном вгрызались в камни, искря и разбрызгиваясь в разные стороны. От поднятой «бортом» пыли стало нечем дышать, он мучительно кашлял, хватая ртом воздух, катался по земле, уже не обращая внимания на грохот очередей, бивших то ближе, то дальше, на визг пролетавших рядом с его скорченным телом пуль, на стоны и крики терзаемых ревущим свинцом воинов. Избиение продолжалось всего несколько секунд, половина жизни, по его представлению; затем наступила насыщенная неслышным стрекотом тишина. Луч сверкнул рядом с кустом, за которым лежал он, уподобившись младенцу в утробе матери, поджав колени к груди, давясь кашлем и пытаясь сдержать дыхание, со свистом вырывавшееся из легких.

Машина развернулась и умчалась ввысь, мгновенно исчезнув из виду; только и остались в воспоминание о ней — испоротая земля да тела четырех погибших.

Сейчас он уже не мог вспомнить, слышал ли ответные выстрелы; кажется, нет. «Борт» для автоматного огня был неуязвим, попав под вертолетный обстрел, группа пыталась скрыться, рассыпаться в разные стороны, но сделать это не успела — слишком неожиданным было нападение.

Оставшись один, он подобрал автомат — своего оружия у него никогда не было — и медленно, волоча вывихнутую от неудачного падения ногу, вышел на суверенную территорию. По прошествии полусуток на него наткнулась свои, мобильная группа из семи человек его полевого командира, вызвавшаяся найти и предать земле тела погибших.

Положение его, безусловно, упрочилось, результат не замедлил сказаться: следующее задание, вот это, холодным ноябрьским днем он выполнял в одиночку. По завершении операции его должны были подобрать там, в райцентре, и на машине перебросить на «ту сторону», где и передать командиру. Из рук в руки.

Старик о чем-то спросил его, погрузившись в воспоминания, он прослушал и был вынужден переспросить. Куда направляется? — в райцентр, в общем-то, денька на два-три, как получится. Нет, не на заработки, просто повидать сестру, давно не виделись. Недавно переехала на новую квартиру, подобрала приличную однокомнатную. Да, с мужем... Он отвечал медленно, не очень охотно, его подводил голос, давно уже хриплый, точно прокуренный, хотя такой привычки у него никогда не было. А сейчас слова давались ему просто с трудом. Да еще и этот кашель. Долгий, бронхиальный, с мерзким металлическим при-

вкусом во рту, с клокóтанием в горле. Супруга спросила, что с ним такое, он сослался на перенесенную недавно простуду; да так оно, собственно, и было. Последнее время он стал куда чаще болеть. Чаще и дольше, весной вот слег на три недели. Хорошо за ним был какой-никакой уход. В горном селе, затерянном в снегах перевала у самой границы, где они зимовали, одна вайнашка присматривала за ним, вызвавшись по собственной воле. После выздоровления он ее не видел. Возможно, заразилась от него и прихворнула сама. Скорее простудой, нежели, не дай Бог, конечно, его другой, старой болезнью. Той, что он подхватил уже очень давно.

От этой болезни его лечили и прежде: давали какие-то сборы, настойки, вот, не так давно — таблетки даже, когда ему было совсем худо, и он по три-четыре дня кряду не мог встать с постели, а тело вновь покрылось мерзкими гноящимися язвами, очень долго не заживающими. Что ему давали и помогло ли лекарство — он не мог сказать. Командир утверждал, имея на то основания — до провозглашения независимости он работал в морге, — что у него иммунодефицит. Как после рожи. А может, и собственно рожа, вспоминая учебник медицины, читанный в бесконечно давние времена, командир уверенно сказал, что рожа практически не заразна.

Последнее утверждал каждый. И, кажется, был неправ.

Довольно часто он видел крупную сыпь, то появлявшуюся, то исчезавшую на груди, плечах, лице у некоторых воинов, крестьян, таких же пленников, как он сам; папулы эти возникали на несколько дней, порой — неделю, и проходили безо всякого лечения. Изредка появлялись язвочки на губах, пальцах рук и ног, шее, подмышках, все так же со временем исчезавшие.

Ему порой казалось странным, что на это никто не обращает внимания. Но только вначале, потом, отвыкнув от необходимой гигиены, он так же перестал удивляться, считая, как и все, что «поел что-то не то» и «само пройдет». Так жило большинство, а после ранения под Шали и сам командир, который неожиданно стал отказываться выезжать за границу — в Турцию, Крым, на Балканы — для прохождения в куда более комфортных условиях курса лечения и реабилитации.

Исчерпав набор обыденных вопросов, старик замолчал, не зная, то ли отступиться, то ли пытаться продолжить этот односторонний диалог. На выручку пришла жена. Неудовлетворенная темой беседы, она принялась рассказывать о целях их путешествия. Из райцентра они собирались попасть поездом в столицу края — к дочке на свадьбу, она намечена на послезавтра. Если ничего не случиться, тьфу-тьфу, конечно, они как раз успевают.

Он слушал, не перебивая, и не слышал ее слов. Речь женщины както странно успокаивала, убаюкивала его. «Проснулся» он только од-

нажды, словно кольнуло что-то, и, незаметно взглянув на часы, обнаружил, что автобус запаздывает на десять минут. Женщина все говорила, изредка поправляя прядь волос, выбивавшуюся из-под черного платка. Ее муж сидел молча, поглядывая то на супругу, то на компанию молодых людей — трое юношей лет двадцати, не больше — рассказывали друг другу не то анекдоты, не то просто смешные случаи из жизни. У одного была на удивление светлая шевелюра, собранные на затылке в хвост волосы резко выделялись пшенично-белым мазком на фоне темно-синей джинсовой куртки. Когда юноша поворачивал голову, мазок метался по плечам, растекаясь и вновь собираясь, становясь то пепельно-серым, то вновь светлея.

Автобуса по-прежнему не было. Восемь лет назад он тоже запаздывал, но на остановке, кроме тех четверых и еще одной женщины, которую оставили там... навсегда... никого не было. Наверное, приди автобус вовремя, он сейчас жил бы в этом крае. Может быть....

С Грозным его связывали не столько воспоминания босоногого детства, но более всего знакомство с той женщиной, которую, как ему когда-то казалось, он любил и любил бы вечно, и которая, согласившись разделить с ним его годы, вышла за него. Ныне же столица республики стала чужой, как и любой другой город этой планеты, и та, что он водил когда-то поздними знойными вечерами под звездчатым южным небом по тенистым бульварам, паркам и ореховым рощам, легко, почти незаметно выскользнула из памяти, оставив после себя лишь флер ностальгии, фотографический образ в глубинах памяти, да слабый запах духов «Инфини».

Тех, кто восемь лет назад вместе с ним стоял на остановке, он встретил неожиданно, тогда, когда менее всего предполагал. И почему-то именно запах духов «Инфини» возник в памяти, едва он увидел, а через мгновение и узнал тех троих, что работали ныне в героиновой лаборатории, подаренной его командиру. Его узнали столь же скоро; спустя несколько минут, когда охрана вышла и они остались наедине, те трое немедленно подошли к нему, а он двинулся им навстречу, каждый с намерением начать давно проговоренный в душе разговор. Они сошлись вместе, странно и страшно изменившиеся за последние восемь лет люди, когда-то поддерживавшие меж собой шапочное знакомство и испытавшие близость товарищей по несчастью на дощатом полу фургона, увозившего их куда-то на юг. С близости этой они и подошли друг к другу, произнесли первые давно заготовленные фразы приветствия, обменялись ими, как паролем, позволяющим определить степень доверия к стоявшему рядом человеку. И неожиданно замолчали.

Разговор умер сам собой, прежняя общность внезапно исчезла после первых же слов, точно они оказались людьми, ошибшимися в приветствии. Они долго молчали, пристально разглядывая друг друга, веря

и не веря своим глазам да и всему происшедшему с времен остановки, фургона, путешествия на юг....

Через пять минут те трое снова вернулись к работе, а он извинился за тех, кто ожидал его за дверью. И тихо покинул лабораторию, прикрыв с превеликой осторожностью за собой дверь. После чего сел в изгвазданный внедорожник рядом с водителем; на заднем сиденьи уже находилось двое воинов. «Газик» проворно взял с места, выезжая на разболтанную колею. Сыны ислама торопились окончить свой ежедневный обход за податью, газу, как они называли свой сбор, оставалось лишь ближайшее селение, и так уже донельзя нищее и обескровленное: те, кого не увели на войну под зеленое знамя, зимой голодали.

Воинов Аллаха, конечно, тоже надлежало кормить. Много раньше, до войны еще, когда через республику шли грузовые и пассажирские поезда, а в аэропорту Грозного «Северном» приземлялись лайнеры, прожить за счет газу было проще. Теперь же все пути были перекрыты, и нынешним властителям независимой республики все больше и больше приходилось считаться с зачастившими эмиссарами исламского мира. Выданный под великое дело освобождения соседних народов от ига большого брата и основания халифата от моря до моря большой кредит — оружием, медикаментами, обмундированием и, конечно, валютой, — к коему воины быстро привыкли, — к их же неприятному удивлению, необходимо было с усердием отрабатывать, отчитываясь буквально за каждый сделанный шаг. С требованиями, непривычно жесткими, все же приходилось считаться, ибо для многих командиров это была единственная возможность доказать свою состоятельность и жить свободно и вволю, то есть так, как они успели привыкнуть за годы независимости. Ни от кого.

Так, незаметно, но неумолимо приблизилась новая война, расползшаяся по всем прилегающим к республике территориям, постепенно взявшая в заложники своей неуемной жажды боли и крови весь регион. Подобно болезни, она сначала распространила свои метастазы где-то на дальних окраинах некогда могущественной империи, не на окраинах даже, а за ними, у самых границ, безразлично далеко, о ней вспоминали лишь, когда слышали новостные сводки с полей затяжных, невыразительных и бессмысленных боев. Когда империя рухнула, растрескавшись по швам республик, она пробралась в эти осколки. А не так давно, несколько лет назад, началась и в этой беспокойной, разом взорвавшейся и втянувшейся в бессмысленную и беспощадную бойню независимой республике. От нее заразившейся и ныне гниющей заживо и гниением своим продолжавшей распространять дурную болезнь вокруг, разгоняющей ее дальше и дальше и этим надеющейся хоть как-то, хотя бы на время избавиться от нее.

Подошел замызганный «пазик». Дверь скрипнула, с шипением отворившись. Он зашел последним, подыскав себе местечко в конце са-

лона, подальше и от пожилой четы и от глаз прочих пассажиров. При входе в станицу он успел переодеться в изрядно поношенный костюм, куртку и старые ботинки — ту одежду, что нес с собой. Газету положил в карман брезентовой ветровки, дабы она сразу бросалась в глаза.

Он был частицей той болезни, ее разносчиком. Он болен ею давно, кто знает, скольким людям передал медленно убивавший организм вирус, сколько их, вот так же, как он, носит его в себе, передавая от одного к другому, дальше и дальше разнося по новоосваиваемым территориям, не зная, не понимая, что за миссия возложена на них.

В автобусе сидели человек десять, на него никто не обратил внимания, конечно, видели и хуже. «Пазик» дернулся с места, он устало закрыл глаза, привалясь к мокрому стеклу автобуса. Осталось совсем недолго, еще час, чуть меньше, и он доберется до райцентра.

Дальнейшее не представляло сложности. Адрес он помнил хорошо, как добраться ему подробно объяснили за несколько дней до того, как он с сопровождением прибыл на «эту сторону». С тех пор он не раз повторял последовательность действий. Идти недалеко, минут двадцать, можно сесть на местный транспорт, «пятерку», но лучше не ждать, не засвечиваться среди пассажиров. Перейти площадь, свернуть налево, затем прямо до первого светофора, снова налево... Конечный пункт настолько заметен, что мимо невозможно проскочить. В это время в двухэтажное кирпичное здание белого цвета с двускатной крышей заходит довольно много народа, в отличие от соседних с ним нежилых домов, занимаемых муниципальными и государственными учреждениями. И точно напротив, как ориентир, — жилая панельная девятиэтажка, возвышающаяся над зданиями окрест.

Дальше — удостовериться, что все в порядке, войти-выйти и уехать. Уже другой дорогой, в другое селение. Оттуда, как и было обещано, его отправят назад к полевому командиру. Не исключено, впрочем, что на некоторое время — для выполнения схожих миссий — могут оставить у сопредельного военачальника; назвать его *полевым* командиром просто язык не поворачивается — не может человек, носящий это звание, иметь роскошную дачу в три этажа под Урус-Мартаном и полдюжину внедорожников известных марок для передвижения по пересеченной местности. Тем более командир, прилюдно именующий себя ваххабитом.

Похоже, ваххабизм в республике скорее стал модным, нежели насущно необходимым. Вайнашская история свидетельствовала об отсутствии тяги к ортодоксальному исламу; стоит вспомнить, что приснопамятный имам Шамиль[2] пытался в свое время объединить Кавказ именно под зеленым знаменем чистого ислама. Но ему удалось лишь

[2] (1799–1871) — 3-й имам Дагестана и Чечни, основатель имамата, руководитель Кавказской войны 1817 — 64 гг. В 1856 г. сдался в плен генералу Ермолову и был выслан в Калугу.

поднять его на борьбу с неверными, не более; первыми, кто воспротивился новым нормам морали и права, а затем и предал его, были, увы, его соплеменники.

Ныне, во исполнение заветов Мухаммеда аль-Ваххаба, призывавшего к очищению и возврату в «истинный ислам», в республике введены нормы шариата. Новые суды наказывают провинившихся палочными ударами, в один или несколько приемов, в особо тяжелых случаях — публичный расстрел, благо с боеприпасами в республике проблем нет и не предвидится на ближайшие десятилетия. Впрочем, кажется, это единственное, что наличествует в избытке. И иные заветы аль-Ваххаба соблюдаются с неукоснительной точностью, особенно запрет, наложенный основателем на чрезмерное почитание умерших. Так, во исполнение его, власти предержащие уже несколько лет не открывают место захоронения невинно убиенного ракетой воздух-земля первого президента независимой республики. Боязнь ли это нежелательного, неуместного в нынешнее время паломничества на могилу народного героя или страх перед именем покойного генерала из Прибалтики, чье нежданное, негаданное появление перед вайнахами — уже само по себе легенда, достойная упоминания в истории. Как, вообще, многое в республике.

Об истории сотворения этого мифа слышал в самой республике, да и за ее пределами тоже, едва ли не каждый, но верят ведь не истории, а самому мифу. Так проще и легче. Ему порой хотелось бы узнать, что об этом мифе думают люди здесь, на «этой стороне», несколькими минутами ранее, в разговоре с пожилой четой ему показалось даже, что именно сейчас представился уникальный случай узнать об этом поподробнее. Но, конечно же, он не решился заводить подобный разговор ни с пассажирами автобуса, ни со стариками, коим он пожертвовал из мгновенного побуждения полсотни рублей.

Он взглянул на часы. «Пазик» трясся по узкой выщербленной трассе «бетонки», окна автобуса по-прежнему заливал дождь. Водитель не спешил, опасаясь газовать на скользкой ухабистой дороге. С приездом в райцентр он сильно запоздает. Но это все равно. Ему дали большой резерв, он успеет даже в том случае, если автобус, не дай Бог, конечно, сломается по дороге и невесть сколько придется ждать помощи. А возможно, идти пешком. Ведь времени у него — до восьми вечера, четыре с половиной часа.

«Пазик» в очередной раз тряхнуло, так сильно, что рюкзак с бутылкой свалился с соседнего сиденья. Полная тяжелая бутылка глухо бухнула об пол. Он торопливо поднял свою котомку, заглянул внутрь. Нет, все в порядке, пластиковый корпус «баллона» даже не помялся от удара. Так что за содержимое можно не волноваться.

Миф обыкновенно начинался так, как и любой другой миф о человеке, положившем начало великому делу освобождения, но не дожив-

шем до нынешнего светлого часа. Он подумал, что в этих словах, произнесенных сейчас, заключена своеобразная шутка: больше недели в небе нет ни единого просвета.

Генерал, безусловно, был выдающимся стратегом и тактиком. Воюя за империю на ее далеких южных рубежах с одними жителями бедной горной страны за свободу и независимость других ее жителей, генерал мужественно выполнял свой гражданский и воинский долг. А за его спиной, как и следовало ожидать, поминутно плелись коварные интриги имперских прихлебателей, жаждавших получить славу и награды от блестяще проведенных генералом операций. В итоге же зло, как и положено на раннем этапе истории, восторжествовало: генерала отправили в Прибалтику, на другую, сытую и покойную окраину империи, и о его существовании забыли. Все, кроме одного человека.

Второе действующее лицо мифа — фигура весьма и весьма противоречивая. Трудно сказать наверняка, какими помыслами руководствовалась она, какие цели преследовала, когда отправилась в путь за прославленным генералом, дабы позвать его с собой на родину. Миф не отвечает на подобные вопросы.

Рюкзак снова норовил съехать на пол, он положил его на колени, чувствуя под измятой тканью упругий цилиндр бутылки. Автобус резко повернул влево, на мгновение ему показалось, что тучи начали расходиться и сквозь их плотную пелену проглянуло солнце. Но нет, то был всего лишь фонарь на потрескавшемся столбе подле заброшенного в глухой степи домика. Ветхое строение вынырнуло из полутьмы, как призрак, освещенное бледным светом фар автобуса и снова исчезло, потонуло в зыбком холоде ноябрьского вечера.

Ему отчего-то вспомнилась весна этого года, столь же зыбкая и холодная. В расположение отряда его полевого командира прибыл представитель из Урус-Мартана, оба долго о чем-то спорили, порывисто показывая руками то на восток, то на запад. Командир казался жалким оборванцем в сравнении с одетым в дорогой костюм с искрой представителем, прибывшим на тюнингованном «джипе», стоящем, должно быть, как пара зенитных орудий. Особенно запомнился конец их разговора. Последний вопрос, который они обсуждали, касался религии. Представитель был, кажется, неприятно удивлен тем, что командир предложил ему совершить намаз, и решительно, с некоторым вызовом в голосе, ответил отказом. Но более всего его поразило обращенное к востоку лицо собеседника, творившего молитву. Когда тот поднялся с колен, представитель не без доли презрения в голосе заметил, что истинный моджахед молится в сторону Мекки, а не куда попало. В ответ командир, не повышая голоса, заметил, что Мекка и Медина расположены слишком близко друг к другу и, чтобы ненароком не нарушить заповедь об излишнем почитании могил, он молится в сторону благословенного

Каспия; не о том ли говорят мудрецы, что к воину, умершему за истинную веру на берегу великого моря, спустится сам Всевышний, чтобы проводить его в рай. И не за правоверный ли Кавказ от моря до моря воюют они, предавая свои жизни в руки Всемилостивейшего? На это представитель из Урус-Мартана ни ответил ничего, лишь покачал головой, хмыкнул и, не попрощавшись, уехал. А их командир вернулся к своему пополнению — пятнадцатилетним юношам, коих он обучал стрельбе из автомата с бедра на пленных кафирах[3]. Когда выстрелы и стоны стихли, он бродил меж трупов, подзывая по одному к себе, указывая на ошибки и особо отмечая приобретенные в последние дни молодыми воинами навыки.

За окном стало светло. «Пазик» въехал в город, стали появляться редкие огни фонарей. Бревенчатые домишки частной застройки быстро сменились панельными зданиями, мелькнуло несколько новостроек, появились ярко освещенные рекламные щиты на полупустых грязных улицах. Автобус сбавил ход, притормозил у первого на его пути светофора. Мотор неожиданно заглох, но водитель, несколько раз повернув ключ в замке зажигания, справился и с этой проблемой. «Пазик», зашелестев покрышками по залитым дождем улочкам, стал выруливать к автостоянке.

Всё, он прибыл. Автобус остановился подле навеса у здания диспетчерской, — дождь почти перестал, — и дверь с шипением растворилась.

Он вышел, как и вошел, последним. Поправил рюкзак на плече, чтобы не задевал подживавшие язвы. Сердце торопливо застучало, стоило ему пройти первый десяток метров круто вверх по узкой улочке, ведущей от площади в центр города. Не забывай, напомнил он себе, сбавляя шаг, что спешить уже нельзя. Поднявшись на вершину, он остановился передохнуть, а затем снова, так же решительно, но уже много медленнее, зашагал вниз по склону застроенного разновысокими зданиями холма.

У самых его ног светились оконца полуподвальных помещений. Обыкновенно они были закрыты от глаз любопытных плотными занавесями, но в одном, открытом внешнему миру, ему довелось увидеть молодую семью: она готовила обед, он нянчился с ребенком, подбрасывая его на коленях, в свободной руке держа какую-то книгу, толщиной в добрый вершок. На столе рядом с шипящей сковородкой — обезглавленная пластмассовая бутылка, подобная той, что лежала в его рюкзаке, с засушенными стеблями декоративного физалиса и лунариями. Более он ничего не успел рассмотреть, ноги пронесли его мимо.

В некоторых домах окна бельэтажа находились на уровне его макушки, и тогда он видел ажурные тюлевые занавесочки и непременные герань и «тещин язык» на подоконнике. И еще зеленоватый или желтоватый свет двух-трехрожковой люстры.

---

[3] Иноверцах (*араб.*).

Заглядевшись, он чуть было не прошел мимо поворота. Привлекла внимание цветная фотография в окне. Узкое спокойное лицо человека с Кавказа, на вид лет сорок, в пилотке и полевом мундире; в первый момент ему показалось, что он узнал этого человека: те же короткие усики, впалые щеки, яркие черные глаза, от которых невозможно увернуться. Нет, конечно, нет, спустя мгновение он понял, что ошибся. Здесь не может быть такой фотографии, это не «та сторона», он позволил своим мыслям течь не в том направлении, вот и все.

Не останавливаясь, он повернул на нужную улочку, переходя перекресток наискосок, и зашагал теперь уже вниз, с холма.

Впрочем, не обознаться он и не мог. Слишком часто видел похожие портреты на площадях городов и селений, в окнах домов, на лобовых стеклах автомобилей там, на «той стороне». Человека, того самого бравого генерала и первого президента независимой республики, за которого он принял военного на фотографии, вспоминали при каждом удобном случае, в каждой, достаточно длинной беседе, так или иначе затронувшей судьбу отчизны на одном из виражей разговора. И очень часто в тех беседах поминалось имя другого человека, неразрывно связанного с генералом. Имя человека, ставшего вторым президентом после смерти Джохара, человека, сделавшего многое, если не все, для того, чтобы воин с тех бесчисленных фотографий стал первым избранником вайнашского народа.

Об их отношениях, первого и второго президентов, можно лишь строить догадки. Он как-то никогда и не задумывался об этом. Второй президент (вообще-то всего лишь исполняющий обязанности президента, так и не выигравший выборы, которые последовали вскоре за смертью генерала) был писателем, членом Союза писателей империи. В стране его имя популярности не имело, но на родине его знали. Он считался знатоком — тогда еще единого — вайнашского народа, писал не только на государственном, но и на родном, чеченском, чем и заслужил приязнь жителей республики, тех, кто удосужился прочесть его творения. Но громкого успеха ни в начале, ни на исходе карьеры добиться так и не удалось, он сам менее всего считал это следствием отсутствия таланта, скорее, объяснял внешними препонами, коими всегда был и будет богат наш мир.

Литературная карьера исполняющего обязанности второго президента была резко остановлена, а затем и вовсе свернута, когда ветер перемен, проникший из-за «железного занавеса», загулял по империи с удесятеренной силой и вайнашская республика заволновалась. Безвестный, безымянный, трибун из ниоткуда, поднимавшийся на помост вслед за умолкшим оратором, говорил на площадях о новой свободе, о грядущих переменах, которые не придут сами и не будут заслужены — которых надо добиться самим. Люди слушали и внимали с упоением.

Он сам слушал и внимал... с тем же упоением, что и все, с праздником, жившим краткий миг в его уставшей душе. Выслушав, собравшиеся требовали перемен, обещанных и быстрых... и еще больших, чем обещанных. Декларированный Советом суверенитет от империи было воспринят с радостью, с искренним восторгом, с песнями и плясками на площадях, но уже через неделю после провозглашения о нем рассуждали как о должном. К нему привыкли столь скоро, что быстрота эта удивила самих жителей республики. Впрочем, было понятно, что вайнахи жаждали чего-то иного, но чего именно — пока еще и сами не понимали. В то время понял только один он, писатель, даже не понял — почувствовал, наверное. Интуиция, присущая людям творческим, сработала в нем. И писатель отправился в далекое путешествие за народным кумиром, за обожаемым героем, за златым всемогущим идолом, по которому истосковалась мятежная республика.

В те беспокойные дни к вайнашскому народу и прибыл генерал из Прибалтики. Усилиями уговорившего его писателя согласный взять на себя роль кумира и для скорейшего достижения этой цели спешно выучивающий родной язык и знакомящейся с родной культурой. Тотто наверняка рассчитывал на определенное влияние на своего ставленника, влияние, к его несчастью, так и оставшееся мечтою... а иначе, если рассуждать рационально, какой был прок ему в этой поездке?

Меж тем, народный герой, неутомимый боец с огромной империей, Давид, победивший Голиафа на глиняных ногах, с успехом справлялся с новой, непривычной для себя публичной ролью. Это видели все, это чувствовали, и за это генерала любили особенно. Воистину, он прославил себя сам. И не одним деянием, а многими. Он вскоре понял, что вайнахи не умеют жить друг с другом в мире в обретшей суверенитет республике, более того, они не могут жить в мире с ним, народным любимцем одних и проклятием других вайнахов. И тогда территория бывшей автономии была поделена на две неравные части, и меньшая утихла, едва только крупнейшее в ней село стали именовать столицей. Большая, оставшаяся за генералом, осталась по-прежнему беспокойной. Как и сам генерал.

Он искренне жалел, что видеть генерала живьем ему так и не довелось. Прежде — лишь на экране телевизора, в новостных выпусках, после похищения с автобусной остановки — и вовсе лишь благодаря просачивающимся в подвал слухам, он узнавал о деяниях вайнашского президента. Во времена эти были и низложение Верховного Совета за очевидное соглашательство с империей, и штурм здания избирательной комиссии, и подавление путча, в котором оказалась замешана злыми своими кознями империя, помогавшая оружием и людьми предателям вайнашского народа. А после подавления генерал убедительно, с фактами, против которых не попрешь, доказал — и он, уже освобож-

денный из подвала, получивший помилование нового полевого командира, исполнивший не одну его волю, видел это своими глазами — как сильно оказалась замешана империя в кровавых событиях того времени. И не мог не поверить истине. И не мог не уверовать в правое дело, данное генералу свыше. И был согласен с ним душой, уверовав в то, что дела его, как и дела его командира, столь же правые. Ибо впереди была война, которую выиграл его народ. Правда, уже без своего убиенного президента. Где-то в перерыве между всеми этими событиями было знаменитое объявление генералом большого газу на весь проходящий через республику транспорт как контрибуцию, наложенную на империю за все: и за многовековой гнет вайнахов, и за поддержку недавнего путча, и депортацию народа перед Великой войной далеко-далеко за море, в казахстанские степи.

Перед самой войной жители республики, с легкой руки генерала и его муфтиев, и к собственному, кажется, удивлению, враз стали правоверными вайнахами, носителями великой культуры и древнейших традиций, идущих от времен старика Ноя. Новые учебники истории запестрели славными датами. Новые учителя стали по новым заветам учить мальчишек. Светская власть окончилась вместе с имперским правлением в республике. Народ, истосковавшийся по истинной культуре, по традициям прошлого, склонился пред нормами шариата, о коих многие старики знали лишь понаслышке, и принял заповеди аль-Ваххаба. Заповеди распространялись бесплатно новыми учителями — и он не был исключен из общего числа, получив двуязычную зеленую книжицу в подарок: на чеченском и арабском.

Перед лицом всегдашней недреманной внешней угрозы со стороны империи, неизменной из века в век, вайнахи приняли новую веру и новые ее символы и новыми заветами оградили себя от греха. Став долгожданно провозглашенным единым народом, а не сообществом тейпов, как в прежние века, в душе вайнахи почувствовали себя настоящими борзами[4] — а иным и не место в суверенном государстве, борющемся с имперским гнетом, международным сионизмом и растленной культурой, насаждаемой Западом. Иные тут и не остались. А тем же, кто остался, то есть правоверным мусульманам, хранителям истинных знаний, было позволено многое в награду за верность зеленому знамени;

---

[4] Волками (*чечен.*). Обыкновенно этому зверю вайнахи приписывают, и небезосновательно, многие достоинства, отмечая его незаурядную хитрость, силу, выносливость и ум; сравнение с борзом крайне почетно для всякого человека, недаром же его изображение вынесено на национальный флаг республики. И вместе с тем кажется странным, что, отмечая все эти качества борза в себе, вайнахи совершенно забывают о знаменитой волчьей верности — раз и навсегда выбранной супруге. Впрочем, о дозволении иметь до четырех жен, данном Всевышним Магомету, волки, разумеется, не слышали.

и позволение это обязывало всех замкнуть уста и склонить спину. Каждый вкусил позволения, каждый, кто мог, получил то, что хотел... или того, кого хотел, в полное владение. Рабство стало модным в республике, рабство стало насущно необходимым ей. Всякий, имевший дом, должен был иметь раба: из пленных ли, из бедняков соседнего тейпа ли, заложника ли, как он сам, не имеет значения. Это было новой и, одновременно, старой традицией суверенной республики. Как когда-то прежде, в далекие годы свободной жизни, до прихода генерала Ермолова и солдат империи, вайнахи славились среди прочих народов набегами, разбоем и грабежами, похищением невест — тем, что ныне именовалось вольным вайнашским духом. А ведь за заложника, томящегося в зиндане или прислуживающего женщинам на кухне, можно, в случае нужды, потребовать и получать выкуп...

И это связывало всех посильнее стальных цепей. И тех, кто владел, и тех, как он, вынужден был с удивлением признаться самому себе, кем владели. Связывало, чтобы защищать с оружием в руках или без оного саму основу, сам принцип позволения...

А ныне еще и воспоминание о прошедшей войне. У каждого оно было своим, надежда в нем перемешивалась с горем, порой с отчаянием, ожидание со страхом, муки боли с муками радости. Для каждого, отождествляясь с этим словом, возникала картинка из памяти двадцатимесячного противостояния. Он не был исключением, ему виделась своя. И эта картинка была его символом, его болью, из-за которой он все терпел, служил и творил то, что требовал его полевой командир.

Где-то на востоке республики. Год девяносто шестой, самое начало. Еще холодно, по утрам лужицы талой воды сковывает узорами мороз. При ходьбе, разговоре изо рта вырываются клубы пара. Почки на деревьях набухли, при ясном солнечном небе они источают терпкий аромат, но до появления первых листков пока еще далеко.

Их командир с группой человек в двадцать пять-тридцать — его и еще нескольких пленников из числа федеральных солдат взяли в качестве живого щита — совершал рейды по тылам вторгшихся в республику войск, то неожиданно обрушиваясь на склады, то отстреливая проходящий транспорт с боеприпасами, продовольствием, появляясь и исчезая, как тать в нощи. Неуловимый, несмотря на все старания федеральных войск, и отчаянно дерзкий.

Федералы тогда уже отступали, но сражались отчаянно, захватывали сквозь зубы села, чтобы наутро без боя по приказу свыше уйти на исходные позиции. Командование не понимало сбивчивых, противоречивых приказов, поступавших из Генштаба, но знало, понимало, чувствовало, что кампания уже обречена, что вести войну против всего народа невозможно, придется либо истребить республику, либо захватывать каждый населенный пункт бесчисленное число раз, наводя в нем свой,

конституционный порядок, бесконечно разоружая жителей, а на ночь прячась от них в крепких блиндажах и дотах. К тому же вторгшаяся армия смертельно устала, не выдерживая бессмысленного противостояния и бездумных приказов, скалилась на своих, имперских политиков за их слова о никчемности войны и неизбежном ее проигрыше. Устала и проигрывала уже на полях сражений, с каждым разом все крупнее и с большими жертвами. И потому надежда на скорую победу над бывшей империей крепла с каждым днем, с каждым новым боем.

В одно село, из которого накануне вышли федеральные войска, и попала его небольшая группа. Просочились незаметно, избегая дорог и хоженых троп. Жидкий лесок быстро закончился, отступил, показался тракт, исполосованный гусеницами танков и бронетранспортеров. Тишина стояла оглушительная: ни птичьих криков, ни человеческих голосов. Точно вымерло все.

Они вышли на тракт и остановились разом, будто кто великий воздвиг пред ними незримую стену.

Села не было. Три полуразрушенных дома на окраине да одинокий крытый колодец у самого въезда. Все остальное превратилось в мешанину из битого кирпича, дерева, почвы да человеческих останков: от взрезанного плугом ковровой бомбардировки пространства в сотни квадратных метров доносился тошный сладковатый запах. Истерзанная земля походила на разгулявшееся перед штормом неспокойное море.

Перед въездом в село стоял одинокий телеграфный столб с оборванными проводами. На одном из этих проводов, захлестнутым в виде петли, висела молодая, не старше тридцати, женщина, вайнашка. Одета она была в строгое черное платье без единой складки, растрепавшиеся от ветра волосы покрывал сбившийся на затылок платок. В судорожно сжатых руках покоился годовалый ребенок, одетый лишь в маечку и подгузник; также мертвый. Склоненное к нему лицо матери было покойно, только в широко раскрытых глазах читался страх, мучительный, непередаваемый страх разжать руки. До земли от ее босых ступней было метра полтора.

По-прежнему не произнеся ни слова, стараясь не оглядываться, они так же быстро вернулись в лагерь. В тот же день, ближе к вечеру, они ушли на юг. А мертвая мать с младенцем на сведенных судорогой руках еще несколько дней висела на одиноком столбе с оборванными проводами; никто не осмеливался ее снять. Мимо проходили части армии независимой республики, воины замедляли шаг и долго разглядывали худенькое тело женщины, и после смерти крепко прижимающей к груди младенца, и старались только ненароком не взглянуть в ее широко открытые глаза.

Впереди показалась девятиэтажка, издалека заметная даже в наступающей темноте. На фасаде одного из зданий были электронные часы,

он взглянул на светящийся циферблат. Поправив газету, небрежно торчащую из кармана куртки, он медленно зашагал по улице.

Из темноты мигнули фары припаркованной метрах в десяти выше по улице легковушки. Фары мигнули еще раз, машина — потертый «жигуленок» — выехала на проезжую часть. Проезжая мимо, она слегка замедлила ход. Он успел заметить в салоне, кроме водителя, еще одного человека на заднем сиденье.

Машина свернула налево, исчезла за поворотом, он вздохнул и двинулся дальше.

У входа толпился народ. Какой-то мужчина, подъехавший к самому крылечку двухэтажного строения, ругался с пожилой дежурной, тихо просившей убрать машину подальше, чтобы освободить дорогу спецтранспорту. Он же тем временем подошел к дверям. Дернул на себя, потом толкнул, и оказался внутри.

Он едва не столкнулся с молоденькой девушкой, выходившей на улицу, та прошептала «извините», испуганно отскочив в сторону, а он еще долго смотрел, как зачарованный, ей вслед, точно боясь оторвать взгляд от густых русых волос, разметавшихся по плечам.

Интересно, каким показался он ей? Наверняка, никаким, девушка просто не обратила на него ни малейшего внимания. Он невесело усмехнулся, вспоминая вопрос старика еще на автобусной остановке в станице — о возможной прибавке к пенсии, не слышал ли он чего? Тогда он подумал, что попутчик прибавил лет двадцать к его возрасту не нарочно, просто не разобравшись в темноте. Теперь он пожал плечами: все правильно. Болезнь не шутила. Удивительно было другое — как его организм вообще смог продержаться так долго.

Он заметил зеркало и подошел к нему, огибая игравших на полу детей. На него со дна стекла взглянуло ссохшееся морщинистое лицо с проваленным боксерским носом и розовыми пятнышками на месте отсохших недавно язв. Некогда черные, волосы ныне стали тускло-серыми, пепельными, расчесанные кое-как, они придавали ему мученический вид. На левом ухе сохранилась одна язвочка, он торопливо прикрыл ее прядью.

Когда-то лет шесть назад, может, больше, в одном горном ауле его осмотрел врач. Внимательно изучив «звездное небо» папул, избороздивших его грудь и спину, появившихся в паху и под мышками, он тяжело вздохнул и предложил довольно странное лекарство; он сам признал, что хотел бы отправить своего пациента на полгодика в больницу, где болезнь может быть вылечена, но едва ли такая возможность представится. А потому, введя полный шприц пенициллина под лопатку, дал несколько пакетиков с черным порошком, объяснив, что это ртутная мазь, дедовское, конечно, но, в целом, неплохое средство. Только надо помнить, что один день мазь втирают в руку, другой в ногу,

затем снова в руку, уже другую. Сопровождавший его воин пристально и несколько странно смотрел на врача, никак не разумея, к чему такое удивительное лечение. Да он и сам с не меньшим изумлением слушал торопливое объяснение доктора, уверявшего, что иначе он всех перезаразит, ведь какая гигиена может быть в полевом лагере. Последние слова подействовали, дорогу обратно воин шел много позади него, но наутро о возможности заражения было забыто напрочь. Да и через неделю-другую, как раз когда пакетики кончились, язвы надолго исчезли.

Потом они появлялись, исчезали, с каждым разом их было все больше, они дольше не проходили, появилось колотье в сердце, долгий астматический кашель, стали крошиться и выпадать зубы, поредели волосы, задрожали руки, провалился нос, тело стало куда менее послушным: дольше болело, с каждым разом медленнее приходило в себя. Некогда он соглашался с мнением полевого командира, считая происходящее аллергическими реакциями на некачественную пищу и отсутствием ухода, но болезнь его была иного рода. Иным способом получена и при иных обстоятельствах; сейчас, по истечении долгих лет с момента заражения, он уже постиг, как получил ее. И вовсе не страх был ее началом. Всего лишь продолжением, внешним, сопутствующим, фоном ее развития и распространения.

А он... он уже сжился со своим положением, с тем местом, которое занимал в отряде полевого командира. И теперь более всего боялся не болей и язв, боялся не угодить и, тем самым, вернуться к началу, к тому, с чего началась его жизнь в горах. Он сознавал, он видел, что необходим пленившим его людям, и эту необходимость старательно отрабатывал: он сам сеял тот Великий страх, истоки которого лежали еще в первой его операции, а закончились пока — если не считать нынешнего дела — в Стране гор, в августе сего года.

Тактика была проста и понятна. Человек, испытавший на себе действие Великого страха, никогда прежде и в мыслях не допускавший ничего подобного, не осмеливающийся заглянуть на дно своей темной стороны, откуда и произрос в нем этот страх, впадал в шоковое состояние. Он чувствовал, сколь беззащитен и ничтожен — всего лишь жалкая пешка в руках людей, неуловимых и неуязвимых для служителей правопорядка, но действующих уверенно и нагло, не скрывающихся, смеющихся над беспомощностью государства, оказавшегося неспособным решить проблему безопасности собственных граждан, открыто, в прямом эфире издевающихся над поминутным оглядыванием через плечо всех жителей, начавших заместо правоохранительных органов нести нелегкое бремя дежурства в холодные ночи подле своих домов, над заигрыванием первых лиц государства с теми, для кого сесть за стол переговоров — один из способов наступить противнику на горло и равномерно, неторопливо душить. Великий страх столь глубок и бес-

пощаден, что всякий человек, испытавший его, помимо ощущения собственной, раздавленной умелой рукой, воли вскоре начинает чувствовать к мучителям своим непомерное, истерически-рабское уважение, некую гордость даже за их смелость, за их безумную жажду крови ни в чем не повинных сограждан, детей их, жен и стариков. И Великий страх вдавливает его в землю перед новыми властителями бесконечно долгих осенних ночей, лишает способности и желания сопротивляться, поглощает все мысли и чувства, кроме одного, единственного. И тогда, одинокий и беспомощный, беззащитный и жалкий, кричит человек: пусть берут все, что требуют, и уходят, уходят, уходят! Пусть заберут у нас все, но только уйдут!

Но Великий страх, что сеял он и воины его командира, и бойцы других командиров, неожиданно вернулся к ним. Упруго ударившись, рикошетом вернулся обратно в виде круглосуточных артобстрелов и бомбардировок. Вернулся от измученных страхом людей, теперь вымещающих его на тех, от кого он исходил прежде, — в виде предупредительных захватов приграничных сел и поселков, заставляющих полевых командиров конфликтовать друг с другом, а население — бежать на юг, в соседнее государство, бывшее прежде частью империи, или же на некогда дружественную территорию братьев-вайнахов, прорывая кордоны обложивших республику федеральных войск.

Или возвращаться назад, с полпути, робко, с утраченной надеждой посматривая назад, с блокпостов и застав в подвалы, землянки, — что еще осталось вместо домов? — и ждать, молить Всевышнего, чтобы ад, ниспосланный Им на землю, обошел стороной.

А тем, кто отчаялся, кто обезумел, кто оказался загнанным в угол, — вновь вернуться к привычной тактике, к ответам ударом на удар, где и как возможно, едва только возможность эта проявит себя.

В вестибюле поликлиники он просмотрел расписание работы врачей, выбрал наугад одного из терапевтов и, отдав куртку в гардероб, стал подниматься на второй этаж. Рюкзак остался при нем, бутылка тяжело плюхалась о спину на каждой новой ступеньке.

Поликлиника была небольшая, здание, построенное в начале века, явно не учитывало возросших с той поры требований. А потому в каждом коридоре ютилось, сидя на металлических, покрытых дерматином, стульчиках или стоя у стен, множество людей, каждый со своею собственной, на его взгляд, ни на кого не похожей бедой. Он постоял в коридоре и прошел в небольшую рекреацию в центре здания — там находился кабинет выбранного им врача. Он спросил, кто последний, минуту очередь бурно обсуждала порядок следования, наконец, быть таковой согласилась немолодая женщина, одетая в неброское серое платье, голову ее прикрывал ситцевый платок. Молодой человек уступил ему свое место, он сел рядом с этой женщиной.

Спросил ее, много ли перед ней народу, та в ответ кивнула на стоявшую у дверей с обеих сторон цепочку: практически все. Он поблагодарил ее кивком, расстегнул воротник рубашки — в коридоре было душно — и принялся читать газету. Примерно через полчаса очередь продвинулась на три человека; он успел подсчитать, сколько ему осталось. Сложив газету и убрав ее в рюкзак, он шепотом сказал женщине, что ему необходимо отлучиться на пару минут, не будет ли она так любезна посторожить место и рюкзак с вещами заодно? Та, ни секунды не колеблясь, кивнула, сообщив то, что он знал и так: народу перед ним много, человек семь. Он поблагодарил и пошел к лестнице, поминутно прося разрешения пройти у множества посетителей поликлиники.

На лестнице он столкнулся со знакомой ему по ожиданью автобуса пожилой четой — они так же направлялись на второй этаж: получить электрокардиограмму, как пояснила супруга; в ответ он снова кивнул и стал спускаться дальше. В вестибюле, перед тем как получить по номерку куртку, он медленно обернулся на зеркало, снова увидев себя, свои подживавшие язвы, горько усмехнулся выпавшей на его долю невеселой шутке судьбы. Запоздалой, как он посчитал, выходя на улицу и останавливаясь подле девятиэтажки, чтобы вновь посмотреть на покинутое им здание. Он мог бы получить в нем помощь куда более квалифицированную, чем та, что предлагал сельский врач в горном ауле. Мог бы, будь он жителем «этой стороны» и имей доказательства в виде полиса бесплатного медицинского обслуживания, без которого врачи не имели право принимать больных — большой плакат на входе предупреждал всех посетителей.

Он прошел еще немного, оглянулся на поликлинику — та уже скрывалась за соседними домами, пропадая в изгибе улочки. Остановился.

К нему подошли двое солдат, он заметил их в последний момент и обернулся, когда те поравнялись с ним. Один с презрением попросил закурить, он только руками развел, объяснив, что не курит, и непроизвольно поморщился: от обоих сильно разило спиртным. Видимо, оба паренька только вернулись с передовой, получив краткосрочный отпуск, и пытались забыться хоть ненадолго от беспросветного ожидания любой неожиданности с «той стороны».

Его отказ, его объяснения и его гримаса тут же сдетонировали: один из солдатиков схватил его за грудки и, обдавая тяжелым запахом перегара, поинтересовался, не правоверный ли он мусульманин. Люди в крае в подавляющем большинстве не были мусульманами, неудивительно, пришло ему в голову, что подобная мимика сразу же вызвала подозрение у людей, чьей прямой обязанностью было отбивать атаки и в свою очередь атаковать жителей «той стороны» в подавляющем большинстве своем приверженцев веры, коя настрого запрещает употребление спиртного.

Он отрицательно замотал головой, не зная, как выбраться из этой истории, солдат яростно выкрикнул: «Врешь, паскуда!» — и добавил, как бы в подтверждение, поток нецензурных ругательств. Уже невесть сколько лет он не слышал подобных слов, лицо снова выдало его, он покраснел и дернулся, как от удара. И тут же получил его.

Еще во время разговора солдаты оттеснили его с тротуара к углу бойлерной, заросшей раскидистыми липами. Остальное происходило молча. Солдатик ударил его кулаком в живот, он согнулся, следующий удар повалил его наземь. На улице народу было немного, да и те, кто проходил мимо, по разным причинам старались не обращать на происходящее внимания, прибавляли шаг.

К первому солдату присоединился и его товарищ. Поднимать его они не стали, били ногами, не особо разбираясь, куда приходятся удары. Кто-то из них дважды промахнулся, лишь задев его ногу, пожалуй, это раззадорило солдата еще больше.

Он старался расслабить ставшее непослушным тело, чтобы таким хотя бы образом заглушить боль, но организм немел, не подчиняясь командам. Удары следовали один за другим, методично, целенаправленно, видимо, солдатики приноровились. Его же больше беспокоило иное: он старался прикрыть, насколько позволяла поза, скрытый в кармане радиопередатчик: удар кирзового сапога мог с легкостью вывести из строя хрупкую электронику.

Солдаты продолжали методично работать ногами, один удар пришелся ему в плечо, еще немного, и послать сигнал он не сможет. Не зная, пройдет ли отсюда команда, он извернулся, вытащив передатчик, и за мгновение до того, как на спину ему обрушился новый удар, нажал на кнопку, произнося про себя затверженное «бисмилла»[5].

Земля вздрогнула.

Ударов более не последовало; но в тот момент он бы их и не почувствовал — нажимая на кнопку, он попытался вызвать в памяти ту повешенную вайнашку с ребенком на руках, скорбный лик которой несколько дней не смело тронуть даже тление; он вспоминал о ней всякий раз, когда завершал дело и произносил заветное слово. Попытался и в этот раз, но не смог. Взамен нее из ниоткуда возникла мысль, странная, безумная мысль посетила его отупевший от ударов мозг. Будто

---

[5] «Во имя Аллаха, Всемилостивейшего и Милосердного» (*араб.*). Всякий правоверный должен все свои помыслы устремлять ко Всевышнему и все свои деяния устремлять лишь во славу Его. В доказательство праведности деяния и высокой его цели и дабы не запамятовать ненароком об истинном Творце всего Сущего, надлежит всякому правоверному употреблять слово «бисмилла», предуведомляя всякое благое дело и приготовляясь к его совершению, дабы таким образом очистить себя от скверны ложной гордыни за результаты, дарованные Свыше.

видел он тогда не простую женщину с ребенком на руках, нет, взору его предстала сама Богородица с Сыном. Та, которой оказался достоин его народ.

Три окна второго этажа поликлиники озарились ослепительным светом; ярко-оранжевый столп огня вырвался на улицу, в порыве своем достигнув стены противоположного дома. Чудовищный грохот взрыва семипудовым молотом ударил по барабанным перепонкам, за ним вослед послышался треск обрушивающихся перекрытий, новый грохот и мучительно долгий, не обрывающийся несколько секунд звон разбивающегося об асфальт стекла.

Взрывная волна прошла над его головой, отбросив солдат от его неподвижного тела будто котят. Они не сумели устоять на ногах и с колен смотрели, не отрываясь, до рези в глазах, так же, как и их поверженный противник, на медленно оседающие, цепляющиеся за стену жилого дома кряжистые тополя, вывороченные взрывом, на страшный многометровый проем в здании поликлиники на уровне второго этажа, как раз там, где секундами раньше находилась рекреация, заполненная ожидающими своей очереди людьми, на опаленный адским пламенем фасад девятиэтажки, лишившийся разом всех окон....

Здание поликлиники съежилось, лишившись части стены, теперь оно выглядело неправдоподобно уродливым; немыслимо представить, что минуту назад в него входили и выходили люди, получавшие там медицинскую помощь.

Улица разом замолкла, почувствовав пришедшую беду. Замерли людские голоса, шаги прохожих, шумы проезжающих автомобилей. Перестал сыпать и мелкий дождь.

И в наступившей тишине, сквозь редкое потрескивание и тяжелый стук падающих из проема кирпичей, послышался странный, тихий, но забивающий все прочие, звук. Звук, от которого перехватывало дыхание и волосы становились дыбом. Стон, стоны десятков и десятков человеческих существ, оставшихся в живых, но погребенных заживо, замурованных под обрушившимся перекрытием второго этажа. Голоса, умолявшие, зовущие, плачущие, надеющиеся, то умолкали, то вновь призывали на помощь, и общий хор их, державшийся на одной-единственной ноте, не стихая, не усиливаясь, был воистину страшен, ибо проникал в каждую клетку человека, слышащего этот стон, и слышавший его не в силах был не слушать его.

Несколько долгих секунд тишины, заполненной нечеловеческим страданием — точно маленькая вечность, — и новый треск, перерастающий в оглушительно бурный шум; то начала медленно оседать крыша, увлекая за собой стены чердака и разрушенного второго этажа: здание нехотя, как-то неуверенно складывалось в себя, заваливая всех выживших новым многотонным слоем обломков.

Стон разом стих, прервался, будто закрылась дверь. А спустя секунду ее снова отворили, но не настежь, а лишь оставили щелочку — стон был едва различим. Сквозь него доносились кажущиеся оглушительными испуганные, растерянные, вопрошающие, взывающие крики разом очнувшихся людей, не в силах слышать более этот стон, пытающихся не слушать его, и оттого бегущих к развалинам поликлиники, собираясь в толпу, и не знающих, что делать, за что взяться, как помочь.

Вихрем пролетел по улице автомобиль дорожно-патрульной службы, взвизгнули тормоза, захлопали двери. Где-то, он не видел, где, подъезжали и останавливались другие автомобили. Далеко-далеко, казалось, с другого конца мира, завыла в предсмертной тоске сирена, завыла на одной бесконечно тоскливой ноте, заглушив все прочие звуки, медленно приближаясь.

А по улице, в сторону кошмарных руин, не замечая его, мимо него, совсем рядом с ним, кто быстрее, кто медленнее, — бежали и бежали люди.

Нач. авг. — нач. сент. 99

ЮДЭ

I

Маленьким я не похож был на русского. Что поделаешь — как говорится, нерусский тип лица. Нос сомнительной работы, черно-угольные глаза, оливковая кожа и густые жесткие волосы с вороньим отливом. В Абхазии меня принимали за местного парнишку «бичо», в Осетии — за осетинчика, в Одессе — за цыганенка или «мамалыжника»-молдаванина. Но в средней полосе России — только за еврея.

«Сколько время? — Два еврея, третий жид по веревочке бежит!» — кричали тогда у нас во дворе. Кричал и я, потому что очень уж смешно представить себе, как третий жид бежит по веревочке, потешно семеня ножками, взмахивая ручонками и выкатив со страху глаза. Кричал и я, а потом перестал, сообразив, что этот «третий» скорее всего похож на меня, или я — на него. Короче, я почувствовал жестокую оскорбительность этой дразнилки. Ребята это заметили и стали дразнить меня «жидом» уже нарочно. Им было смешно. Они развлекались тем, что доводили меня до белого каления, а когда я, зажмурив глаза от ярости, бросался на обидчиков, не разбирая их числа, пола и возраста, они с хохотом разбегались, либо, подставив мне ножку, наваливались на меня всей кодлой и мучили: щипали, дергали за волосы, таскали за нос... Их было много — вместе с девчонками человек пять. Я был один и потому бессилен.

Взрослые разумно советовали: «Пусть их, дразнят, а ты не дразнись». Легко сказать! Сколько раз я изо всех сил старался, крепился, но под конец не выдерживал и начинал орать, что я — русский, русский, русский и родители у меня русские, и бабушка, и старший брат.

Они серьезно соглашались: «Да-да, конечно, русские — и папа с мамой, и брат, и бабушка. А вот ты еврей. Два еврея, третий жид по веревочке бежит!».

Не понимаю, почему я тогда так болезненно переживал, что меня дразнят «жидом». Была же у нас во дворе еврейская девочка Инга, подружка моя шестипалая. Иногда и ее обзывали «жидовкой», а она только грустно улыбалась и не психовала, а я так прямо на стенку лез и за нее, и за себя.

Петр ШУШПАНОВ — родился в 1941 году в Москве. Окончил исторический факультет МГУ. Писать начал в 60-е годы, печатался редко — в провинциальной периодике. В «Континенте» № 106 опубликована подборка его стихов. Живет в Москве.

А позднее мне пришлось отстаивать свое национальное достоинство с оружием в руках...

Году в 46 — 47-м снимали мы дачу под Москвой в деревне Глебово. Деревенька эта, по обычаю русских деревень, торчала на голом бугре, окруженная глухими хвойными лесами, простиравшимися, как говорили, до самого Архангельска. Под бугром в зарослях ольхи и черемухи бежал ручей с чудесным именем Яснушка. Вода в Яснушке была ключевая, пронзительно-холодная и какая-то впрямь ясная: от нее яснело в голове, стыли зубы и уши начинали пылать.

Я дружил с соседским мальчиком. Не помню, как его настоящее имя, но прозывали его Огурец, потому что у него была удлиненная, как огурец, голова. Он был настоящий русак, с прямыми русыми волосами. Брови у него выгорали добела, а блеклые глаза глядели на окружающий мир равнодушно и невозмутимо. Он не любил леса, грибов, не бегал на Яснушку ловить «огольцов» и вообще был какой-то квелый, как переваренный овощ, зато целыми днями не расставался с книгой и читал, читал. Словом, был очень начитанный и интеллигентный мальчик, как отзывалась о нем моя бабушка, одобряя нашу дружбу.

...Однажды на закате дня Татка, наша дачная принцесса, сидела на верхней слеге забора, смеялась и болтала ногами, а перед нею на зеленой лужайке выкаблучивались мальчишки. Они состязались в силе и ловкости, ходили на руках и колесом, боролись и катались по траве, возбужденные вниманием повелительницы. А я только что вышел из дома с тоской в брюхе и мерзкой отрыжкой после кружки парного козьего молока, которую насильно влила в меня бабушка. Понуро тащился я вдоль забора и вдруг остановился, ослепленный: волосы принцессы отливали червонным золотом, искрились, как солнечные лучи, хоть солнце уже скрылось за лесом и наступали сумерки. Высоко над головой у нее в золотисто-голубом небе парило облачко, розоватое, легкое; и мне, оттого что я глядел на нее снизу вверх, показалось, что и она парит над землей и оттого так весело смеется и, если ей только захочется, она взмахнет руками и полетит.

— Ну ты, жид пархатый, чего вылупился?! — насмешливо крикнула она сверху. — Отвернись, зенки сломаешь!

Меня обожгло, точно меня с размаху пихнули в костер. Со всех ног я помчался домой, а сзади гоготали ребята — и громче всех Огурец.

Жажда мести сжигала меня. Я решил отомстить. Брат одобрил решение и подсказал, что оскорбления смываются кровью. Он посоветовал вызвать Огурца на дуэль.

Почему Огурца? — спросите вы, — ведь там были и другие.

Господи, экие вы непонятливые! Это разумеется само собой: до других мне дела не было, с ними я не дружил, они мне были только приятели. А Татка... да по одному ее слову я по уши изгваздался бы в коровьем

навозе и был бы счастлив. Я не смел, мне и в голову не приходило обидеться на Татку. Она была принцесса, а принцессам позволено все...

На другое утро, лишь только я сбежал с террасы, Огурец прокричал мне с той стороны забора:

— Уж солнышко не греет и ветры не шумят, кругом одни евреи на жердочках сидят. Гы-гы-гы!

Жуть как смешно! Я вызвал его на улицу. Он вышел, ухмыляясь, и снисходительно спросил:

— Ну чего, жидовская морда? Глаз на анализ или так тебе рожу тырснуть?

Я достал из-за спины два заряженных пистолета и один протянул ему. Он остолбенел, медленно бледнея и медленно вытаращивая глаза.

Пистонный пистолет, который в ту пору был на вооружении у мальчишек, выглядел так: медная гильза от охотничьего ружья 16-го калибра крепилась проволокой на деревянной рукоятке; внутрь гильзы вставлялась деревяшка с бойком — обломком гвоздя или швейной иголки. Как в обычной рогатке, деревяшка оттягивала полоску резины; затем ее отпускали, она скользила внутри гильзы, боек ударял по капсюлю, капсюль взрывался и летел куда-то. Куда — никому неизвестно. Вот эта непредсказуемость и спасла Огурца от неминуемого увечья, а заодно и меня — от угрызений совести.

Итак, я честно предложил ему второй пистолет. Он придушенно пискнул, попятился, наткнулся спиной на забор и замер. Я шагнул вперед и выстрелил ему в лицо. Раздался грохот, завоняло гремучей ртутью, взвился сизый дымок. Огурец взвыл и бросился к себе на участок, распахнув головой калитку. Мозгов у него уже не хватало со страху; он не мог догадаться, что для того, чтоб взобраться на крыльцо, надо убрать ладони с лица, и каждый раз скатывался по ступенькам вниз. Наконец взобрался. Из глубины дома донесся его приглушенный вой, который сменился всхлипыванием и жалобным поскуливанием.

Я тоже малость перепугался, но тем не менее сохранил полное достоинство: не спеша и вразвалочку отправился к Яснушке, нашел там брата и вернул ему оба пистолета.

— Ну что, отомстил? — полюбопытствовал брат, и глаза его блеснули.

— Ага

— Ты хоть попал в него?

— Ага.

— Ну, молоток, — одобрил брат и похлопал меня по плечу.

Я был страшно горд этим знаком внимания и как-то сразу возвысился в собственных глазах, точно стал им ровней, брату и его дружкам.

— Огурец подыхать побежал, — сказал я надменно. — Я ему в морду пальнул вот с такого вот расстояния. — И я показал, с какого. Брат сильно побледнел, а кто-то воскликнул: «Во дает!».

— Ты что, спятил? — заорал брат. — Идиот! Дубина! Ты ж его глаза лишил!

Такое предположение меня оскорбило: я был совершенно уверен, что Огурец смертельно ранен и лежит подыхает...

К счастью, Огурец остался цел и невредим, а вечером нас обоих выдрали. Меня — за покушение на убийство, Огурца — за антисемитизм. Брат присутствовал при порке и всецело ее одобрял — как он потом объяснил, одобрял затем, чтобы его не заподозрили в соучастии.

Огурец визжал, как поросенок. У его отца, художника и скульптора, рука была тяжелая. Но Огурцу еще повезло. В двадцатые годы, когда после страшных еврейских погромов на Украине был принят закон о расстреле за антисемитизм, Огурца запросто могли бы пустить в расход.

II

Впрочем, время было другое. Только что отгремела Отечественная война, и за Яснушкой в запретной зоне, обнесенной колючей проволокой, пленные немцы строили поселок академиков. Они собирали дома, гаражи и служебные постройки из щитов, полученных из Финляндии по репарациям, огораживали участки аккуратными заборами, рубили просеки, ровняли и бетонировали дороги. Песок для бетонных работ брали в карьере на Яснушке, и мы часто сидели на краю обрыва, глядя вниз на пленных и на румяного охранника с карабином. По воскресеньям пленные приходили в Глебово и играли в футбол с большими ребятами.

Никто не оскорблял пленных, не обзывал их и не ругал. Их как-то не воспринимали как бывших солдат гитлеровской армии, убийц и насильников, причинивших столько горя нашему народу и малой деревеньке Глебово. Это были тощие, обветренные и загорелые люди в серых френчах без погон, всегда подтянутые, дисциплинированные и какие-то тихие, пришибленные. Они приходили и уходили строем, без всякого конвоя, под командой одного из своих, который шел сбоку и покрикивал на остальных. Удивительно, но они ничего не крали. В Глебово не пропало за все лето ни простыни, ни курицы. Иногда они просили напиться — им выносили воды, изредка молока, а дачники, те не скупились и на хлеб. Однако между пленными и Глебовым стояла глухая стена отчуждения, и я хорошо помню угрюмые взгляды, которыми их встречали и провожали.

«Все бы хорошо, все бы замечательно», как говаривала моя бабушка, да только в ихней запретной зоне жил ястреб, настоящий бандит. На высоченной сухой елке у него было гнездо, в гнезде — семейство, и ястреб периодически совершал бандитские налеты на мирное Глебово. Он был так силен, что однажды спер нашу рыжую кошку. Но она

трепыхалась и орала, и тогда, разочаровавшись в добыче, ястреб выпустил ее из когтей. Кошка грянулась в густую липу, ничего не повредила, но, перенеся душевное потрясение, свихнулась — одичала, стала охотиться на цыплят. Ее поймали и утопили в пруду. Баба Маня, наша хозяйка, не плакала, но ходила угрюмая и дня два отвешивала подзатыльники сыну Альке, козе, мне и даже любимой корове Яснушке.

Тогда Алька швырнул картуз под ноги и торжественно пообещал:

— Гад буду, я его уделаю!

Но ястреб был осторожен, умен и никогда не спускался так низко, чтобы его можно было достать из старенькой берданки. Он парил над овсяным полем, и сверху, из-под пухлых облаков, доносилось его печальное, его унылое «пиу-пиу», а с елки ему отзывалась супруга и пищали птенцы. Алька пошел к начальнику охраны и попросил разрешения забраться на елку и разорить гнездо. Старший лейтенант посмеялся и не разрешил: как-никак запретная зона и посторонним вход воспрещен.

— Какой же я посторонний?! — возмутился Алька. — Это вы тут все посторонние вместе с вашими фрицами, а мы тут живем спокон веку.

Начальник осердился и прогнал его в шею.

И все-таки Алька достал ястреба. Рано утром у нас под окнами грохнул выстрел, стекла верандочки жалобно задребезжали. Перепуганные, мы выскочили наружу. Истошно лаяли собаки, хлопали калитки, отовсюду сбегался народ, а на краю оврага под старой березой стоял Алька. Он опирался на ружье, а у его ног барахтался в пыли темный комок. Мы обступили их, подыхающего ястреба и Альку. Ястреб приподнялся на перебитых крыльях, обвел нас невидящим взглядом круглых янтарных глаз, захрипел и ткнулся головой в пыль. Белая пленка задернула его глаза, когти судорожно сжались и разжались, из клюва хлынула темная кровь.

Алька, взмахивая руками, возбужденно рассказывал, как привязал за лапку цыпленка, а сам спрятался за поленицу. Цыпленок пищал, Алька дергал бечевку и цыпленок барахтался в траве. Ястреб вылетел на бреющем из-за липы и описал круг над домами, осматриваясь. Затем он стал забирать выше, еще выше и зашел со стороны солнца. Слепило глаза, и Алька боялся промазать. Чувство ненависти подсказало ему момент, и, почти ничего не различая сквозь лучи, Алька спустил курок. И влупил ему, засранцу!..

Развесив уши мы слушали Альку и глядели на ястреба, и никто не заметил немца. Немец поднялся по тропинке от Яснушки и остановился в нескольких шагах. Смущенно улыбаясь, он не решался заговорить и робко ждал, пока его удостоят вниманием. Кто-то, наконец, увидел его, шепнул соседу и постепенно все замолчали и воззрились на немца. Тот совсем потерялся, покраснел, снял круглые очки в никели-

рованной оправе и стал их протирать серым грязным платком. Без очков его лицо стало вовсе беззащитным, он часто моргал телячьими ресницами.

— Ну, фриц, чего тебе? — крикнул ему Алька, недовольный тем, что немец отвлек внимание от его победного рассказа. Добавлю, что у Альки фриц или фрицы убили батю — где-то там на войне, и Алька имел с них получить.

Немец надел очки и попросил отдать ему птичку. Он сносно лепетал по-нашему.

Зачем ему птица? — Сварит ее в жестянке и съест. — Неужто ястребов едят? — Конечно, у них такое же вкусное мясо, как у всякой дичи. Съедобна любая птица — грач, галка, даже ворона.

— Вороны не сильно вкусные, но тоже съедобны, — сказал он, тускло улыбаясь и обводя нас взглядом.

И тут он увидел меня.

Синюшная бледность залила ему щеки. Он качнулся, как от сильного толчка в спину, дернулся и упал на колени.

— Юдэ! — вскрикнул он, и голос его звенел и оборвался, точно лопнула струна.

— Юдэ, — прохрипел он и пополз на коленях ко мне, глядя с той тоской и отчаянием, какие бывают у собак от невозможности высказаться. Он что-то лепетал по-немецки, будто оправдывался или молил о милости, а в глазах у него темнел смертный ужас.

Он простер руки — еще мгновение и дотронулся бы до моей голой коленки. Я заорал и кинулся бечь. Бабушка долго не могла меня успокоить, а я толком ничего не мог ей рассказать, потому что видел перед собой стеклянные глаза, обведенные воспаленными красными веками и дрожащую бледную руку с остро остриженными ногтями.

Бабушка мне объяснила, что «юдэ» значит по-немецки «еврей» и что фашисты хотели истребить всех евреев и мучили, и жгли, и вешали, и грабили, и насиловали их всех подряд. И я, наверное, напомнил пленному какого-нибудь еврейского мальчика, которого он видел там, на войне.

— И мальчики кровавые в глазах! — торжественно произнесла бабушка, воздев палец к потолку веранды и глядя на меня поверх очков. — Совесть, совесть его доконала. От совести никуда не спрячешься, — добавила она. — Нет, этот немец — определенно незаурядный человек! Решительно незаурядный! В очках? Наверное, интеллигент!

Слово «незаурядный» служило у бабушки высшей оценкой человеческих качеств, «интеллигент» тоже. «Незаурядными» она считала своего мужа, моего деда Николая, — личность полумифическую, Ленина, Сталина, Шаляпина и Щепкину-Куперник. Даже мой папа не входил в их число, и вдруг — какой-то пленный фриц...

III

Я подрастал, но не становился больше похож на русского. Скорее наоборот. В дополнение к уже имеющимся внешним данным у меня начал расти нос. Не так быстро, как у Буратино, но достаточно заметно. Так что зимой в пальтишке с поднятым воротником, выглядывая из беличьего капора, я смотрелся как типичный мальчик-еврейчик. И мне понятно возмущение одной старой еврейки, которая поймала нас с мамой возле Клементовского переулка, потащила за собой в подворотню и там заговорила на идиш. Дело было в начале 50-х, когда спецы по нацвопросам объявили войну космополитизму. Кто-то из близких этой еврейки угодил, должно быть, под колесницу Джагернаута, как Михоэлс, Перец Маркиш и многие другие. И ей надо было выговориться, выплакаться соплеменникам.

Она напоминала птицу, гнездо которой разорили; седые патлы перьями торчали из-под траурного платка, слезы блестели в глазах, и дрожала она всем телом, как галка на ветру.

— Простите, — сказала мама, тронув ее руку. — Простите, но вы, очевидно, ошиблись. Мы не евреи и не знаем этого языка.

Женщина опешила; потом лицо ее изуродовала гримаса злобы, а на щеках и на лбу выступили красные пятна. И она закричала, что мы отступники, мы — изменники и предатели, раз отрекаемся от собственного народа в тяжкие для него времена, и это не пройдет нам даром, это нам отыграется, да будем мы прокляты...

— Уверяю вас, вы ошиблись. Мы — русские, понимаете? — терпеливо, но уже начиная сердиться, сказала мама. Прохожие оглядывались на нас, привлеченные криком еврейки; некоторые замедляли шаги, намереваясь остановиться и развлечься чужим скандалом.

Мама дернула меня за руку, и мы быстро пошли прочь, а вслед нам неслось:

— Ты, может, и не жидовка, а сын твой? Скажи, кто твой сын? Глянь на своего сына! Люди, гляньте на этого мальчика, это же ж типичный жид!

Нас догоняли и обгоняли — единственно затем, чтоб заглянуть мне под капор и расхохотаться. Смеялся даже постовой милиционер. «Жид, жид, жид по веревочке бежит!» — звучало у меня в ушах, а из глаз катились слезы.

IV

А в марте 53-го года разыгрался последний акт этой трагикомедии. С тех пор мне все равно, кем меня считают — русским, нанайцем, евреем или гражданином Вселенной...

Как известно, в первых числах марта радио регулярно передавало сводки о состоянии здоровья Вождя; в паузах между сводками играла

полупохоронная музыка. Все ходили как пришибленные. Если Он умрет, как будем жить дальше? что станет со страной, со всем советским народом без Него? что будет с миром? — и на ум тотчас приходило одно: война, вероломное нападение, происки империалистов, мечтающих поработить СССР и свободолюбивый советский народ. Пока Он жив, они не решатся напасть. Под Его чутким руководством вот уже тридцать лет страна и народ шагают от победы к победе. Неужто Он умрет? Это будет катастрофа не только в общесоюзном — в общемировом, во вселенском масштабе!

Черные тарелки репродукторов вселяли кой-какую надежду. Отчаяние притуплялось, но не исчезало вовсе. В магазинах сначала пропали мыло-спички-соль, потом — крупы и сахар. Наученные горьким опытом, люди запасались на случай войны.

В 529-й школе было тихо, сумрачно и почему-то очень холодно. На переменках никто не бегал и не шумел, хоть никаких специальных указаний не было. На площадке второго этажа стояли в почетном карауле у белого бюста пионер с пионеркой. Пол кругом них был уставлен горшками с цветущей гортензией и бальзамином. Но голоруких пионеров было зябко смотреть. Снизу от входных дверей тянуло холодом, Иосиф Виссарионыч сверкал, как лед на катке, и бедняжки, держа руки в положении «Всегда готов!», шмыгали носами и не могли утереть сопли.

Среди урока молоденькая училка по географии вдруг разрыдалась. Опустив головы и стиснув челюсти, мы терпеливо ждали, когда истерика кончится. А дежурный, который подал географичке стакан воды, сам разревелся, и вода пролилась на классный журнал.

Раз в час музыка обрывалась и раздавался зловещий стук метронома. Мы выбегали в коридор и, задрав головы вверх, ждали, что скажет Левитан.

И надо же такому случиться: посреди общенародного горя сцепились на третьем этаже два пятиклассника, и один другому чуть не перегрыз глотку. «Другой» был шпаной с Мытной улицы, «один» был я

Теперь уж не вспомнить, как звали моего врага. А может, у него и не было имени — только кличка Конопатый. Пацан был трусоват и нагл, как все приблатненные. Как все они, он силен был кодлой, к которой принадлежал. Стоило ему после уроков ткнуть кого-нибудь, и парубки, детины в кожаных шапках и с охнариками в зубах, метелили предмет долго и больно, заставляли есть грязный снег, просить прощения за себя, папу, маму и двоюродную бабушку и удалялись победителями, в качестве трофея прихватив с собой меховую шапку побежденного...

Дрожа от холода и нетерпения, я спешил в уборную: вот-вот должен заговорить Левитан, а надо еще успеть посикать. И тут я наткнулся

на Конопатого, он выходил, застегивая ширинку. Он наподдал меня плечом и насмешливо сказал:

— А ну извинись, два еврея!..

Это были его последние слова. Я сшиб его с ног, и мы покатились по полу. В горячем кровавом тумане, затмившем мне голову, я бил и бил, попадая кулаками мимо, мимо — по локтям, по плечам, по костям. Больно было, но я боли не чувствовал и ничего не видел, кроме конопатой рожи, которая гримасничала, укрываясь от ударов. Наконец, я разбил ему нос — мой он расквасил еще раньше. Мы были квиты и по правилам могли разойтись, ибо в те времена дрались до первой кровянки.

Мы были квиты, встали, поддергивая штаны. Но тут вмешались старшеклассники и все испортили: в тот миг, когда чьи-то руки оторвали меня от врага, он изловчился и пнул меня ногой в живот. Этого было нельзя. Это подло, это по-предательски.

Я рванулся изо всех сил, упал на него и притиснул к полу, дорываясь зубами до горла и, кажется, по-звериному урчал. До «яблочка» я не добрался, но жесткую цыплячью шею успел прокусить. Как он взвыл, как заверещал! Нас тотчас разняли, и он сразу спрятался за спины старшеклассников.

Тут защелкал метроном, и Левитан механическим голосом сообщил, что Вождь всех народов скончался от инсульта во столько-то часов столько-то минут. И обвалилась гробовая тишина, и всё померкло, и потом уж из разрозненных всхлипов возникли рыдания, плач и всеобщий рев. Зареванных учеников развели по классам, чтобы затем распустить по домам, а нас с Конопатым поволокли к директору.

Конопатого тут же отпустили с миром, взяв с него торжественное обещание, что «этого» больше не повторится. А что они могли с ним сделать? Почти сирота — отец убит на войне, мать пьет и вообще, бабка торгует на Зацепе чем придется, дома смрад, нищета, пьяные мужики, скандалы, драки. Выгнать из школы? И куда он пойдет? Воровать?

Выходя из кабинета, Конопатый исподтишка показал мне кулак: «Только выйди!». Дверь за ним мягко закрылась, и я остался один-одинешенек перед «тройкой» — директором, завучем, классной руководительницей.

Вопрос со мной стоял круто. Дело имело явную политическую окраску, следовало поставить в известность РОНО и, в ожидании дальнейших распоряжений, на всякий случай исключить меня из пионеров. Чтоб потом не обвинили в утрате бдительности.

Сам себе удивляюсь, до чего спокойно я отнесся к предполагаемому исключению. Ведь как я гордился пионерским галстуком! «Как повяжешь галстук, береги его, он ведь с красным знаменем цвета одного»... И в пионеры меня принимали на Павелецком вокзале перед

черным блестящим паровозом. И, произнося слова пионерской клятвы, я обращался к нему, к траурному паровозу, а он глядел на меня круглыми стеклянными глазами и слушал.

Но в тот момент я не думал ни о красном галстуке, ни о паровозе, а думал только о том, что меня ждет, когда я выйду из школы.

Я думал о своем. Они совещались, решая мою судьбу; наконец, решили и директор спросил меня:

— Как же ты это, а? И тебе не стыдно? В такой день...

Он смотрел на меня в упор с осуждением и с некоторым даже любопытством, как на биологическое чудо, которое нарушило все их законы и установления. Зачем нарушило? Почему? По незнанию, по глупости или с преступным умыслом?

Не выдержав испытующих взглядов, я отвел глаза и наткнулся на Его портрет, перечеркнутый траурной лентой. Он глядел на меня сверху, чуть усмехаясь из-под знакомых усов. И у меня перехватило дыхание. До меня дошло, что Его нет и уже больше никогда не будет — не будет парадного мундира, добрых морщинок у глаз, заботы о подрастающем поколении...

Я разревелся. Они меня успокаивали, отпаивали водой — я ревел и не мог остановиться. От моего рева им стало не по себе, у всех в тот день глаза были на мокром месте. Директор как-то напрягся, выпрямился в кресле, как за столом президиума, и бодро заговорил, что Сталин не умер, раз осталась большевистская партия, созданная Лениным и воспитанная, взлелеянная, закаленная в боях под водительством Сталина. Сталин не умер, он слился с партией навечно, растворился в ней, и его революционный дух, и его знамя реют над железными шеренгами ВКП(б), и никакой войны не будет, так как империалисты не посмеют на нас напасть, опасаясь нашей сплоченности, твердости и единства, и мы двинемся дальше к полной и окончательной победе коммунизма под руководством сталинского ЦК и в ярком свете сталинских указаний.

А классная руководительница, наша «русалка», то есть училка русского и литературы, говорила тем временем, что «жид» — слово нелитературное и отвратительное, занесенное в наше социалистическое время из дореволюционных времен, как бацилла. Но чего же требовать от необразованных грубых уличных мальчишек?! Что же касается евреев, говорила она, то среди них оказалось много порядочных людей, даже великих писателей и ученых: Барух Спиноза, Лион Фейхтвангер, Альберт Эйнштейн...

Сквозь слезы я сумел выдавить из себя, что не хочу быть никаким «штейном» и вообще не хочу, чтобы меня обзывали жидом, потому что я не еврей.

— А как у него с «пятым пунктом»? — спросил директор, внимательно рассматривая мою физиономию.

— Он, правда, русский, — не очень уверенно сказала «русалка».

— Странно, — сказал директор и задумчиво поскреб подбородок. — Неужели нигде ничего? М-даа. Значит, наследственность. Что-то в каком-то колене было, это определенно.

— Уж не знаю, — сказала завуч, глядя на меня поверх очков. — Да, кстати, вы должны помнить его старшего брата, он кончил нашу школу в том году, и вы вели у них физику, в десятом «бэ»...

— Ну я всех помнить не обязан! Хотя постойте! Кажется, припоминаю... Но они же совершенно разные! Абсолютно не похожи — лица разные, масть разная!

Завуч развела руками, как бы говоря: «Вы уж извините, но я здесь ни при чем!».

— Да, — сказал директор, — нелегко ему в жизни придется.

— Что вы имеете в виду? — спросила «русалка».

— Что я имею в виду? — задумчиво переспросил директор. — Я имею в виду «пятый пункт», уважаемая Александра Алексеевна. Даже не «пятый пункт», а внешность, ибо известно, что бьют не по паспорту, а...

— Но это недостойно, то, что вы говорите! — вскричала она. — От вас я этого не ожидала!

Директор пожал плечами и недоуменно пробормотал, что он здесь совершенно ни при чем, он просто констатирует факт.

— Этого не может быть! Таким фактам нет места! В нашем многонациональном социалистическом государстве, где все люди равны вне зависимости от цвета кожи и вероисповедания, где нет почвы для национальной розни и шовинистических предрассудков, где...

Властным движением руки директор остановил расходившуюся «русалку», и я так и не узнал, для чего еще нет почвы в нашем социалистическом обществе... Мне велели отправляться домой и привести родителей. Я вышел в сумрачный холодный коридор, а они остались в теплом и светлом кабинете обсуждать за стеганой дверью чудеса наследственности и роль «пятого пункта» в искоренении национальных предрассудков.

...Школьный двор был пуст — никто не выглядывал из-за угла, не маячил за сугробами. Я воспрянул духом и чуть было не смалодушничал: была такая возможность — пойти домой окольным путем через Садовое кольцо — Серпуховку, а там свернуть на Пятницкую. На людях они б не осмелились меня измутузить.

Однако я взял себя в руки и назло им и себе пошел обычным путем. Они ждали меня напротив «Рот-Фронта». Я увидел их издалека — троих здоровенных парней и щуплого Конопатого. Было поползновение развернуться и пуститься бежать. Они б поленились гнаться — только б свистели вслед и улюлюкали, как собачонке с жестянкой на хвосте.

Надвинув шапку и стиснув зубы, я шел и шел вперед, и мне хотелось уж поскорей дойти до них, да ноги разъезжались в размятом снегу и портфель казался неимоверно тяжелым. Пока я тащился, преодолевая страх, снег и свинцовую тяжесть портфеля, они лениво вышли на проезжую часть и преградили мне дорогу.

— Ну щожь ты, пацан? — лениво растягивая слова, сказал мне прыщавый дылда в солдатском бушлате, подпоясанном матросским ремнем.

Не удостоив его ответом, я крикнул Конопатому:

— А тебя, хмырь болотный, я убью! В школе поймаю и глотку перегрызу!

Меня опять трясло от ненависти, и та же горячая кровавая волна хлынула у голову.

— «Хмырь болотный»! Га-га-га! — загоготали они. — Щюрик! Гля, пацан молоток какой! Не сдрейфил! Грозится! Ну, що мы с его делать будем, отбивную или рубленый шницель?

Я ждал решения своей участи. Мне уже было все равно. В кабинете директора я успел представить и пережить избиение во всех видах — руками, ногами, велосипедной цепью, палками, досками с гвоздями, солдатскими бляхами со свинчаткой... Словом, я все это уже перечувствовал и внутренне пережил и потому был спокоен.

Видать, они вовсе не ждали от меня этого остолбенелого спокойствия, а ждали трусливых уговоров и слез, и соплей. Они удивились и, может, подумали, что тут что-то не так. Такое спокойствие подозрительно: может, у меня тут поблизости своя «кодла» — и только ждет момента, чтоб выпрыгнуть из засады?

Они удивились, переглянулись и отпустили меня в полной сохранности, если не считать того, что дылда сбил с меня шапку и пихнул в сугроб. На прощанье меня предупредили, что если я только еще раз, то тогда... Я выплюнул грязный снег и крикнул им вслед, что хмыря всё равно убью.

— Вот упрямый гад! — почти с восхищением сказал один из них. — Может, удавить его? Ладно, пацан, так и быть, живи! Мы тебе разрешаем.

Я сидел в сугробе и глядел им вслед. Радость переполняла меня. Я уже понимал, что помимо чудесного избавления со мной произошло другое, куда более важное чудо — я не сдался! Меня не победили!

Раньше я терпеть не мог этой сумрачной улицы и фабричного навевающего тоску унылого здания «Рот-Фронта», и грязных окон, и закопченных стен, даже запах карамели и шоколада был мне противен. Теперь мне здесь было хорошо. Улица не стала светлей или чище — она стала родней. И мне показалось, что ветер упруг и влажен по-весеннему. И уже закапало с крыш.

НИ ВРЕМЕНИ, НИ ЛАСКИ, НИ ВИНА...

Рыбный ряд

Избавиться от рыбы поскорей
мечтает ряд — от пахнущей соляркой
смерзающейся глыбы пескарей;
глядят на покупателей с оглядкой.

Выпрыгивают жабы изо рта
ершистых перекупщиц и торговок,
и склеивает жабры духота,
и не найти попутчиков толковых

в ту сторону, где орды судаков,
горбуш, сомов — людьми уже наелись,
и вновь лоснятся морды едоков,
трещат прилавки, прет кета на нерест.

2001

Пепел

Далеко, за Вьюлкой, близко-близко,
в двух шагах, уже не обойти,
кружит вихрь подобьем василиска,
пепел шевелится на пути.
Грозное чешуйчатое пламя,
огненные гривы ковыля,
выжженная таволга и прямо
в небо уходящая земля.
Не спастись от тварей чернохвостых,
а вокруг ни дома, ни родни,
только хриплый грай, прогорклый воздух,
край небес да во поле огни...

1996

Борис ВИКТОРОВ — родился в 1947 г. в Уфе. Окончил Высшие литературные курсы. Стихи печатались в журналах «Дружба народов», «Юность», «Арин», «Новый мир», «Континент»; в альманахах «День поэзии», «Поэзия», «Студия» (Берлин). Автор семи поэтических сборников. Живет в Москве.

* * *

На бывшей даче палача
темны стропила, тень горбата,
красны обломки кирпича,
к стене приставлена лопата,
крошатся слитки сургуча.

Спеша в завьюженные дали,
велосипед под потолком
повис, и крутятся педали,
клубится пыль за седоком.

Как обесценились заначки!..
И режут сердце, хоть кричи,
купюр слежавшиеся пачки
в корзинах из-под алычи.

В золе и путах паутины
в печной рассохшейся трубе
истлели письма балерины
и фото: «Родненький, тебе!».

Остались банки из-под крема,
коробки из-под папирос
с названьем выгоревшим, в клеймах
мумифицированных ос.

Сквозняк гуляет. Занавески
трепещут, аки Чаушески
перед погибелью своей,
и два мешка календарей —

солидный прикуп в ловких лапах!
Играют в «тысячу» сычи,
щекочет ноздри алчный запах
неистребимый — алычи.

2001

Стоп-кран (ода)

В легендах без прикрас
немеркнущей страны
наколотой (анфас)
за пазухой шпаны —
прощал! и хоть бы хны

да, гений всех времен
всех наций (и озноб
поверженных знамен
всех азий и европ)
держал! боялись чтоб

у века на горбу
в снегах за Кулундой
в окованном гробу
в слезах одной шестой —
взывал! и вот отбой

и вот — уже ничей
уже не превозмочь
ни верных палачей
ни мартовскую ночь —
и отвернулась дочь

и вот — последний сон
и отроком босым
себя увидел он
под дождиком косым —
и встрепенулся сын

(«Не верить бы вовек
бредущим по стопам,
а пить среди калек
законные сто грамм!»)
и на себя стоп кран...

А там — последний гул
последних похорон
почетный караул
и тысячи колонн —
и оборвался сон...

Хана отбой уход
разомкнутый капкан
и урки у ворот
(«Иди сюда, пахан!»)
и вдребезги стакан...

Отбой, последний путь,
и встречный стук колес,
постой, еще чуть-чуть,
и смерть уже всерьез...
И эшелоны слез.

1984

* * *

Рог поднесенный выпили до дна!
Всходила ярко-красная луна
и радовала душу плесневелость
добротного домашнего вина!
Куражился великий песнопевец.

Но поздно. И слетает голова
(спасибовам спасибовам това...)
и славит наше будущее или
селение, где всё еще жива
традиция и слово гостя в силе.

Но поздно, поздно. Пауза длинна.
Ни времени, ни ласки, ни вина
для пасынка-певца не остается.
Журчи, не привередничай, зурна,
и не завидуй тем, кому поется.

2000

Геннадий АБРАМОВ

МИНЯ И БУНЯ

повесть

> Глаза животных полны тоски, и мы никогда не знаем, связана ли эта тоска с душой животного, или это какое-то горькое, мучительное сообщение, обращенное к нам из глубин его бессознательного существования.
>
> *Карл Густав Юнг*

1

Крест свой пес нес со смирением. По швейцарской методике счисления у Миньки на круг, со всеми надбавками и коэффициентами, выходило сто лет. Шутка сказать, целый век ушами прохлопал — даже для малого пуделя случай достаточно редкий. Приятели его и подружки мир сей покинули, а наш аксакал, вспоминая ушедших товарищей, временами тоскливо поскуливал:

— Сукины дети. Теперь отдувайся за них.

Относительно прелестей преклонного возраста он нисколько не заблуждался. Прекрасно сознавал, что дряхл и малоподвижен. Не стеснялся и не скрывал, что пошаливает вестибулярный аппарат, предательски подводит некогда отменная память. Глазки поблекли. На правое ухо вовсе оглох. Утратил процентов на восемьдесят нюх и чутье. Не меньше, чем нас, его самого беспокоил и изумлял откуда-то взявшийся переливчатый клокочущий храп. Однако с естественными немощами — из тех, что поддавались волевому воздействию — справлялся самостоятельно с исконно собачьим мужеством. Более того, как бы ни было ему муторно или тяжко, его еще хватало на то, чтобы подумать о нас и, если получится, поддержать. Понимая, как мы неопытны и наивны и насчет увядания — старости — смерти удручающе мало осведомлены, он оставшиеся жалкие усилия старался употребить на то, чтобы мы не очень расстраивались. Характерным жестом укладывал седую голову кому-нибудь из нас на колени и с животной настырностью пытался внушить, что в сложившейся ситуации нуждающаяся сторона как раз мы, а не он, сочувствие сейчас важнее не ему, а нам, и единственное, о чем

Геннадий АБРАМОВ — родился в 1940 году в Москве. Окончил Московский химико-технологический институт им. Д.И.Менделеева. Прозаик, автор пяти книг. Живет в Москве.

ему следует попросить Высшие Силы, это чтобы старость его не оказалась для нас слишком обременительной.

Случались минуты простые и ясные, когда он смотрел на меня наполовину зашторенными, помутневшими глазками с нескрываемой грустью, уходя и прощаясь, откровенно жалея, и, мне казалось, упрашивал, чтобы в час расставания я вел себя все-таки как мужчина, достойно, и ему не пришлось бы краснеть за хозяина. Спорить с ним было бесполезно. Укорять — глупо, перечить — крайне неуважительно, если помнить, что собачьих ему шестнадцать годочков, а по швейцарской методике исчисления он вдвое мудрее и опытнее нас. На прогулках он мог теперь стукнуться лбом о бампер стоящей машины или забрести по пузо в глубокую лужу, не сообразив, что лучше бы ее обойти. Я не вникал, чем он занят, когда задумчиво стоит, переминаясь на дрожащих лапах — забыв, зачем вышел, вдруг надолго замрет, уткнувшись в пень или столб. Озябнув от неопределенности, я в конце концов вежливо подталкивал его под заднее место и слышал в ответ:

— Извини. С памятью что-то паршиво.

Без печали на него нельзя уже было смотреть. Сердце щемило ввиду неизбежной скорой разлуки, воображение рисовало драматические картины, и защиты от навязчивых переживаний не было никакой. Всякий раз, когда он останавливался и выпадал, я изнывал в догадках: интересно, над чем мой дружок столь усердно ломает голову? Неужели memento mori? За всю нашу совместную жизнь серьезной вины за ним я не мог вспомнить ни одной. У него не было ни малейшего повода, чтобы замаливать грехи или просить о прощении. К удовольствиям загробной жизни, насколько мне известно, относился он наплевательски, о переселении душ и слышать не хотел.

Однажды прямо так и сказал, когда случайно, не помню уж по какому поводу, зашла об этом речь:

— Все эти игры в судьбу, предопределения, роковые совпадения и отпущенный срок — чушь собачья.

В отличие от хозяина, чувство юмора у Миньки от возраста не пострадало. Если он видел, что я его советам не внял, что меня по-прежнему заботит не жизнь, а разлука, пытался какой-нибудь шуткой, веселой глупостью или дерзким насмешливым словом хотя бы немного поднять хозяину настроение:

— Сбрось скорбь с лица к чертовой бабушке, — тявкал он с хрипотцой.

Между тем, времена изменились.

За штурвал встали рыночники, европейски образованные моложавые монетаристы. После анекдотических генеральных секретарей это было что-то новенькое, и мы поначалу приветствовали их всей душой.

Однако вскоре обнаружилось, что детки в некотором смысле позубастее будут. Прагматики, аморальны, как и их родители, разве что поязыкастее, с блестящей выучкой. Кастовым заветам учителей следуют неукоснительно. Не прошло и полгода, без обиняков объявили — как было, как встарь: *вы* потерпите, а *мы* вам сделаем. И, в самом деле, лихо, в два счета, с истинно большевистским размахом поменяли среду обитания. Так что теперь *им* предстояло ухаживать за дамой, которую они ласково величали Инфляция, а *нам* — выживать.

Умный наш сын в новый быт вписался охотно и сразу. Миньке, по совести говоря, любые общественные перемены до лампочки, а мы с Леной с большим опозданием начали понимать, что угодили прямехонько в другую эпоху. К счастью или несчастью, но вынесло нас в самый центр исторического разлома, и жизнь наша неестественным образом переломилась. Та, прежняя наша жизнь как-то подозрительно резко кончилась, тогда как другая, которой пора бы начаться, отчего-то медлила с приходом. Должно быть, модный пиджак не пришелся мне впору, многое было не по душе. Худо-бедно, но в прошлой жизни я особенной нелюбви к себе не испытывал. Стыдно сказать, но при утеснениях было как-то уютнее. К лагерьку я притерпелся, обвык, и, кажется, не просил высоколобую вохру навязывать мне прогрессивный способ существования. Слава Богу, у Лены с выживаемостью обстояло благополучнее. Благодаря устойчивому характеру, чисто женской цепкости и определенной закалке, она и в новых условиях не утратила того, что принято называть прельстительностью жизни, существовала по-прежнему энергично, по-хорошему жадно, безоглядно и прямодушно и, в отличие от меня, практически бескризисно. В какой-то момент я обнаружил, что она превосходит меня по силе желаний, что наш семейный корабль движется исключительно благодаря ей и, последовав совету четвероногого старца, старался изо всех сил не мешать ей управлять с капитанского мостика.

Главным образом, ее стараниями мы приобрели землю в чудесном месте. В возрождающейся деревне Владимирской области с ненавязчивым и вполне подходящим названием Любки. И поплыли навстречу потоку. Пока пыль и мутные воды, пока самые дальновидные занимались первоначальным накоплением капитала, мы на скудные средства стали строить дом. Руководствуясь принципом, на котором настаивал Минька:

— Жить в обществе и быть свободным от общества — можно.

Любкам отроду шесть веков. Тихо здесь, безлюдно, красиво. Местность пересеченная, балки, овраги, распадки, уютные рощицы, перелески, а холм, на котором заново поднималась деревня, столь совершенной формы, что Минька немедленно окрестил его Девичья Грудь. В огиб

холма текли два пронырливых ручейка, подпитываемые родничками. За околицей, на луговине они дугообразно соединялись, сливаясь в один, и дальше, отведя часть своих вод в древний барский рукотворный пруд — разумеется, брошенный и никому не нужный, ручей уже скатывался под уклон, по естественным уступам-ступеням, шумя водопадиками, обретя стойкий журчащий голос, разговаривая неумолчно с плывущими берегами. Дорогу себе он пробивал среди сырого валежника, вязких заболоченных низин. Пополнялся дождями, талыми водами, по весне лавинно сбегавшими из бокастых лощин, в конце концов, безымянный, заканчивал бег в речке Малый Киржач.

Предки наши давно заприметили это место, словно приготовленное в подарок тому, кто предпочитает блестяще упакованной скуке содержательное уединение и близость к природе. Однако осесть здесь надолго везунчикам не удавалось. Если Девичья Грудь, несмотря на повторяющиеся, как времена года, разбой и разбой, прелестные формы свои каким-то образом сохраняла, то уклад и все прочее всякий раз менялись до основания. При беглом осмотре культурного слоя мы с Минькой обнаружили на пятачке, где надлежало теперь закрепиться, следы нескольких поколений насельников. Кости, горшки, сковородки, спицы для колес ручной выделки, кованые замки, серпы и молоты, детали лошадиной упряжи, скобы, крепежные болты и, совершенно недоступные пониманию современного человека, какие-то изворотливые, насквозь проржавевшие дужки, кольца, цепочки и шпинделечки — все ясно указывало на то, что наши предшественники устраивались здесь прочно, в надежде закрепиться надолго, но затем их что-то пугало и они, побросав пожитки, в панике, от кого-то спасаясь, опрометью уносили ноги.

Не иначе, разбойники на государевой службе. Радетели за всеобщее благо. Это они тут бузили. Постреливали и выкуривали. Им трудолюбивые вечно поперек горла.

От чудом уцелевших старожилов нам стало известно, что последние бедолаги покинули приобретенную нами землю в победном 1945 году. Мы застали разруху, упадок. Приметы окаянства и бед.

Полвека простояв в запустении, участок, предложенный нам под постройку, одичал и зарос. Непролазная таежная чаща, если с дороги смотреть. Чуть в глубине, подпирая небо, солидно поигрывала листвой четырехствольная ракита — главная наша достопримечательность. Обступив, ее плотно сжимали недоразвитые тонконогие черемухи, выродившиеся долговязые вишни, нахальный и плодовитый, беспорядочно сплетенный ветвями терн. Глядя на всю эту коммунальную толкотню, в мудрости наших растений можно было и усомниться, так как они просто-напросто мешали друг другу дышать. А внутри — лягушачье царство: густая застойная сырость, волглая сутемь, гниющая падалица,

непролазный хворост, прелый лист ослизлым толстым ковром. О былых застройках напоминал битый кирпич, по макушку въевшийся в чернильный грунт. Так что весь первый сезон у нас ушел на расчистку. Я вырубал неестественно вытянувшиеся деревья, оттаскивал ближе к ручью, сваливал в кучу и жег. Щадил только крепкие вишни, если вовремя распознавал. Дым от костров еще долго бы стекал по оврагу, устилая долину, если бы Минька однажды не попридержал. Осуждающе гавкнул и весьма неучтиво дернул меня за штанину.

— Разуй глаза-то.

Бог ты мой, прямо на уровне моего лица, в ветках терновника, из гнезда выглядывали два встревоженных лупоглазых совенка.

— Не ровен час, погубим, — волновался Минька, жалея птенцов. — Вон уже и родители в предынфарктном состоянии. Растяпы. Пускай теперь перетаскивают.

Он вынудил нас сделать перерыв, а спустя две недели, когда вернулись, гнездо уже было пустым. Мы разбили палатку, и Лена распорядилась устроить на склоне летнюю кухню. Я снова валил деревья и жег. Минька отлеживался в тенечке, лениво гавкая на лягушек, которые прыгали без конца перед самым носом, мешая сосредоточиться. Лена строила планы и руководила. Я разузнал, что неподалеку от нас в деревеньке, притулившейся к Лукьянцевой Пустыни, обитают мужики, которые недавно здесь колодец сложили, и мы их позвали, и они за три дня, так и не выйдя из крутого похмелья, соорудили нам туалет и времяночку три на четыре, естественно, косорылую, словно тоже в подпитии, но мы и такому роскошеству несказанно обрадовались. Новое наше жилище Лена немедленно обустроила местным на загляденье, и вплоть до заморозков, под непротекаемой крышей, мы уже горя не знали.

Следующей весной мы с Леной что-то сажали, с Минькой разбивали и закладывали сад, а с помощью местных плотников, которые, к сожалению, долго не задерживались, ибо запой — дело святое, ставили сруб. Дом получался складненьким и солидным, неожиданно для нас самих, с верандой и балконом под одной крышей, и в ту осень, когда Бунька взял нас измором, мы с Минькой, рассчитав очередных пропойц, самостоятельно, на свой страх и риск, зашивали веранду, стараясь законсервировать недостроенное жилище до метелей и холодов.

Появился кот неожиданно, как с неба слетел. Скорее всего, его кто-то подкинул. Гладкошерстный, в черном атласном фраке с белым галстуком-бабочкой, белой манишкой и белыми же оторочками-подпалинами на славной мордашке и лапах. Вылитый метрдотель. Кустистые локаторы-усы — тоже белые. И похожие брови — торчком. Тщедушный, щупленький. Душа еле в теле — как и полагается подкидышу. Однако хитрый, быстрый, ловкий. И невероятно настырный.

Гоняли его все, кому не лень. И мальчишки-дачники, и овчарка Бяка, и эрдель Шериф; вороны, сороки, свирепый местный рыжий кот, и даже я, грешник, потому что Лена строго-настрого приказала: ни в коем случае и ни под каким видом. При такой сумасшедшей пляске рубля и доллара только кота нам еще не хватало. Его бы и Минька гонял, когда бы чуял и слышал и лапы не подгибались.

Несчастливцу выпала тяжкая доля — бездомье, беспризорное детство, голод, постылая борьба за существование. Верхолазом он сделался поневоле — иначе как на деревьях спастись от угроз не мог. При первых же признаках опасности стремглав взбирался по стволу ракиты или терна и усаживался высоко на ветке, настороженно покачивая хвостом, а Шериф или Бяка внизу исходили злобой, надрывая глотки. Приставучих ворон, тучных и наглых, он просто бил по лицу растопыренной лапой, а завидев главного недруга, матерого рыжего кота, выбирал дерево хрупкое и потоньше — с таким расчетом, что прогнувшаяся под ним ветка двоих наверняка не выдержит, и с риском для жизни избегал бандитской разборки. В те редкие минуты, когда ему ничто не угрожало, он сидел на куче хвороста за нашей компостной ямой и умывался. Чистил себя, холил — с завидным тщанием. Меня он совершенно не интересовал. Я и знать не хотел, чей он, откуда, как добывает пищу и где восстанавливает силы, спасается от дождя, спит. Нам с Минькой было все равно, что с ним станет — пожалеет ли, пригреет ли его кто-нибудь, своей ли волей покинет наши края в поисках лучшей доли или останется зимовать в опустелых деревенских домах и на бескормице с Божьей помощью одолеет невзгоды. Как любят выражаться прагматики, это его подробности. Мы его к себе не звали.

Правда, однажды, когда я поднимался от ручья к дому с ведерком грибов и увидел, как он греется на солнышке, спит, свернувшись калачиком на сухой теплой кочке, — что-то во мне екнуло, я впервые его пожалел. Он не слышал меня, не видел, хотя я прошел неподалеку от него. Измученный погонями, он крепко и мирно спал. Такой одинокий, крохотный. Такой славный и незащищенный.

И тем же вечером, когда приехала Лена и мы сидели после ужина у костра, я признался:

— Жалко кота.

— Очень, — сказала Лена.

— Прилип, как банный лист.

Минька прислушался. И сказал:

— Учтите, он сирота.

— Мне кажется, — Лена сказала, — надо его кому-нибудь предложить.

— Некому, я уже всех опросил.

— Отнеси в Гребино и подбрось.

Минька поморщился:

— Верная гибель.

— Ну тогда придумай что-нибудь получше, — выговорил я ему. — Ишь какой. Критиковать я тоже могу.

— Поздно мне брать на себя ответственность, — сказал пес.

И отправился спать в сарайчик.

Кот, между тем, усиливал натиск. Стал подворовывать. Стоило на секунду замешкаться, как он внаглую опорожнял бесхозную миску. У Лены во время готовки прямо из кастрюли целую сардельку стянул. Тащил все, что можно съесть, не брезгуя даже недожаренными кабачками, нашпигованными чесноком и перцем. И хотя мы душой понимали, что он изголодался и его просто жизнь вынуждает так поступать, новых теплых чувств к нему это не добавляло — все-таки вековечный запрет существует, заповедь *не укради* приличных животных тоже касается. Наш всепрощенец Минька и то грозно лаял и долго бурчал, когда кот без приглашения являлся к ужину или обеду и, из вредности желая испортить всем настроение, закатывал фирменные истерики.

Я диву давался, с каким неземным упорством добивался он своего. Насколько искусно обращал себе же на пользу крайнюю неопределенность своего положения. В конце концов, заставил-таки думать и говорить о нем постоянно — во всяком случае, много чаще, чем нам бы хотелось. А кое-кому даже внушил, что мы совершаем нравственное преступление и безусловно будем наказаны. Ибо с сиротой и найденышем грех так бессовестно поступать.

— Гневите Всевышнего, — шамкал Минька беззубой пастью.

Избавиться от кота, освободиться, прогнать с участка не удавалось. Не хватало ни мужества, ни крупицы необходимой в таких случаях подлости, ни силы воли, ни уверенности в том, что так будет лучше всем и, прежде всего, ему самому. На что он рассчитывал? Лена твердо решила: в связи с общей невнятицей и неразберихой, пока неясно, как выжить самим, брать на себя новую обузу нельзя. На носу холод, зима. Пропадет чертенок — если не перестанет упрямиться и не снимет осаду. Несколько раз я пытался побеседовать с ним по душам. Швырял в него палки, умолял, убеждал. Просил Миньку вмешаться:

— Шугани его, а? Цапни как следует — для его же блага. Чтоб навек дорогу сюда забыл.

Бесполезно. Пес темных моих замыслов не одобрял. А кот, убедившись, что Минька соблюдает нейтралитет, лишь туже закусил удила. Откровенно брал нас измором.

Как-то вечером, когда мы по обыкновению семейно сидели у костра и мирно разговаривали под звездным небом, Лена вдруг посветлела лицом и показала на сучья терновника, которые я бросил внавал,

приготовив жечь. Я посмотрел. Из-под колючих веток наблюдали за нами два партизанских желтых глаза.

— По-моему, — сказала Лена, — нежданчик просится к нам.

— Перетопчется, — сказал я.

— Ему скучно и одиноко. Он замерз.

— Принести ему ватное одеяло?

— Иди ко мне, миленький. Не бойся. Сюда. Никто тебя здесь не обидит, иди, погрейся.

Кот благодарно мяукнул и немедленно вспрыгнул к ней на колени.

Я расстроился.

— Ну, и привет. Куда мы его теперь денем?

— Посмотри, какой он красивый. Носочки, грудка. Запорожские усы. И гладенький. Попробуй, возьми. Ты не представляешь, как приятно его трогать.

— Прости. Я не ослышался? Мы же точно решили — не брать.

— А худющий, мама дорогая. Кожа да кости. Мне нравится, что он такой чистый. Ну, не упрямься. Погладь его. Ты только попробуй.

— Нюха! — позвал я на выручку пса. — А ты что молчишь? Как будто это не семейное дело и тебя не касается.

— Я воздержался, — сказал Минька. — Когда у вас разногласия, ты же знаешь, самое время вздремнуть.

— Дела.

— А как ты думаешь, — улыбалась Лена, разглядывая брюшко кота, — мальчик пришел посидеть у костра или девочка? Не вижу. Найти не могу. Нет ничего.

— Ну, Лен. Бесполых котов не бывает.

— В смутные времена все бывает. Какое-то пятнышко. Сам посмотри.

— Стало быть, девочка.

— Барышня. А как мы ее назовем?

— Франсуаза.

— Отлично. Мне нравится. Чужестранка ты наша. Франсуаза, — попробовала Лена имя на звук. — Азочка. Ма-а-аленькая. Продрогла.

На следующий день, привадив кошку и сильно осложнив нам жизнь, Лена умчалась в Москву.

Я пропадал на стройке, с самого утра и пока не свечереет, трудился с воодушевлением, под интерес. Минька, как и водится, лежал поодаль, издали помогая советами, а Франсуаза, обеспечив себе тыл, где-то охотилась или прохлаждалась. Стук молотка и прочие зудящие звуки, похоже, действовали ей на нервы, так что она не баловала работников чрезмерным вниманием. Но когда наступал перерыв, время скромного застолья, тотчас являлась, откуда ни возьмись, и начинала безостановочно клянчить, канючить, криком кричать, требуя, как она считала теперь, законно положенного.

Я выделил ей запасную Минькину миску. Есть давал строго в одно время, разведя по участку — псу на крыльце, а не умеющей вести себя нахалке-новобранке под трухлявой сваленной черемухой у рукомойника. Уминали оба жадно, наперегонки. Франсуаза аж дрожала, так боялась не успеть. По-моему, ей было наплевать, что у нее в тарелке. Частила безбожно, шлепая язычком с такой скоростью, как будто цель была не насытиться, а примчаться к финишу первой. Минька же чмокал солидно, с прихлебом и, хотя здоровых зубов у него практически не осталось, все равно заканчивал раньше, а потом подстраивался к ней сзади и стоял над душой до тех пор, пока у нее не сдадут нервы.

— Обжора несчастный, — фыркала Франсуаза.

Дрыгая передними лапами, оправляясь после еды, она отступала в сторонку, а старый скупердяй, дабы показать, кто здесь главнее, через силу вылизывал ее миску дочиста.

Как она ни просилась, в пьяный наш домик я ее не пускал. Честно говоря, сам не понимая почему. Не велено, и всё. Так приказала Лена. Крайнее, взрывное неудовольствие Франсуаза выплескивала на нас тогда, когда мы запирали дверь и укладывались на ночь. Разумеется, спать с двумя нескладными мужиками в планы ее не входило. При луне и под звездами ночная дева бодрствует, во всю наслаждается жизнью, а не тратит драгоценное времечко на тупой сон. Спесивая гулена просто требовала, чтобы ей предоставили возможность — как полноценному члену семьи — свободно, то есть когда вздумается, шляться туда-сюда, войти, если продрогла, и выйти, если вдруг приспичило. Пищала снаружи и обзывалась. Обвиняла нас в черствости, эгоизме, грозилась пожаловаться Лене. В конце концов, охрипнув от площадной брани, вскарабкивалась по отвесной стене на чердачок, расположенный аккурат над спящими, и в отместку, как можно громче, шуршала там сеном, скреблась когтями о потолочные балки и за кем-то гонялась, как наскипидаренная.

Я не в силах был ее полюбить. В отличие от Миньки, с которым вполне приемлемый договор — он нас обожает, хранит нам верность, а мы в свою очередь помогаем ему забыть про древний инстинкт, избавиться от вредной привычки добывать себе пищу, умерщвляя слабого, — с Франсуазой подобное исключалось. Любовью сыт не будешь. Она рождена для другого. Есть и пить в награду за преданность, верность и самопожертвование для нее неприемлемо. Пресно, скучно, чересчур приземленно. Страсть и радость ее — охота, прежде всего она хищник. Остальное, как Бог даст. Можно скормить ей все Минькины суповые наборы, все жаренные антрекоты, всю рыбу на свете — все равно она будет жонглировать пойманными мышами и ловить глупых птичек. Спору нет, она не виновата в том, что такой уродилась. Но и я не виноват, что убийц по природе своей не жалую.

Вместе с тем кое-что мне в ней все-таки нравилось. Я рассыпался в благодарностях, когда хмурым стылым вечером она приходила незваной к костру и без спросу устраивалась у меня на коленях. Минька умиротворенно посапывал на крыльце, а мы с Франсуазой довольно урчали, посматривая не завораживающий огонь, отрешенно погружались в покой, в зябкую тишину, в самих себя, под треск поленьев внимали говору ночных птиц или просто слушали радио, дабы не одичать окончательно и быть в курсе того, чем живет просвещенная общественность. Весьма мило с ее стороны. И хотя я и прежде не тяготился одиночеством, вот так, к обоюдной пользе, скоротать вечерок в обществе мурлыкающей подружки мне теперь казалось гораздо привлекательнее и приятнее.

В самом конце сентября, много раньше, чем мы ожидали, внезапно ударил холод. Небо укрылось за бегущими толстыми тучами, налетел с северо-запада студеный ветер и нещадно, с воем, содрал с захваченных врасплох ветвей приморожденный ломкий лист, оставив деревья голыми, без последней одежки. Снег повалил — хижа́. Запуржило, завьюжило.

Мы стали мерзнуть. До планового отъезда, до четверга, когда Лена должна была за нами приехать, оставалось три дня и три ночи, и я смутно представлял себе, как мы сможем выстоять. Не было теплой одежды, соответствующей обуви. Деревья больше не защищали, сарайчик оказался на семи ветрах, а так скверно обшит, что его продувало насквозь. К утру вода в ведрах и умывальнике превращалась в лед. Днем минус шесть, ночью мороз покруче. Снегу намело по щиколотку. Просто настоящая зима и никакой надежды, что со дня на день отпустит.

Животные мигом сообразили, что в такую стынь от меня мало проку и им следует побеспокоиться о себе самим. Минька резко прекратил помогать мне по хозяйству, из-под одеяла и носа не казал, дремал дни напролет на кушетке. Вставал разве что по нужде или наскоро перекусить. И Франсуаза недолго храбрилась. Когда осознала, что холод не тетка, оккупировала чердачок, обложилась сеном и раздраженно мяукала оттуда, требуя чтобы еду ей доставлял туда же, по лесенке и в кровать. Раскапризничалась. Стала проситься внутрь, в сарайчик. Умоляла, чтобы мы разрешили ей войти ненадолго.

— Хоть у двери погреюсь. Пустите. Что вам, жалко, что ли?

Я не смог устоять. Она неостановимо бранилась, уличая нас в бессердечности, и я не выдержал.

— Разоралась. Ну, пожалуйста, заходи. Минька все равно тебя съест.

— У пенсионера здоровья не хватит.

И на цыпочках вошла. Пес к законной своей лежанке ее не подпустил. Рыкнул.

— Да ладно тебе, — отмахнулась Франсуаза. — Подумаешь, барин выискался. Одному что ли тебе полагается?

С толком-расстановкой обошла углы, все разведала. По вагонной стойке ловко вскарабкалась на подвесную кухонную полку, подстелила лапки себе под живот и успокоилась, присмирела. Хитрунья добилась своего. Наверху, под потолком, было как на печи, ее ласкал и кутал горячий воздух, поднимавшийся от газовой плиты — две конфорки я ни на секунду не выключал, и на каждой грел пирамиду из кирпичей, иначе к утру мы бы закоченели.

— Ну что? Сильно я вас стеснила?

— Отстань.

— Лежебока. Эгоист беззубый.

— Ну вот, — вздохнул Минька. — Пустили скандалистку на свою голову.

Ночью я проснулся от умопомрачительного грохота. В потемках, спросонья, почудилось: крыша рухнула. Включил свет. Франсуаза с невинным видом стояла возле кровати, в пасти ее попискивала мышь.

— Уйди с глаз долой! — замахал я на нее. — Поди прочь, живодерка несчастная!

— А дед? Могу ему половинку отдать.

— Он нормальный. И по ночам спит, а не ест.

— Ну, извините, — картинно пожала плечами Франсуаза. — Я хотела как лучше.

На рассвете, когда я открыл глаза, обнаружил, что справа меня согревает Минька, а слева, в пазухе, между двумя ватными одеялами, предовольная лукавая Франсуаза.

Наконец наступил долгожданный четверг. Перемен с погодой не предвиделось. Мы с Леной загодя договорились, если дорога непроезжая, сами как-нибудь дотопаем от деревни до шоссе, а она будет ждать нас у поворота на Горбуниху в полдень.

С утра я наспех закончил с обшивкой веранды. Прибрался. Припрятал дорогие инструменты, вещи, книги, все, что можно — по принципу: плохо не клади, вора во грех не вводи.

До шоссе, если напрямик, примерно полтора километра, в нормальных условиях сущие пустяки. При нашей отменной физической форме и бездорожье не велика помеха.

Если бы не взбрык зимы.

Колючий, пробирающий ветер, метель. Снег с округлых макушек сдувало в низины. Сугробы намело по колено. А у меня, между прочим, ручной клади порядочно, рюкзак и неподъемная сумка, пес, хотя и отваги недюжинной, но которому все-таки по западным меркам перевалило за сто лет, и юная лишенная такелажного опыта Франсуаза со склоч-

ным нравом, к тому же, не подозревающая, что ее ждет. Гадкая непредсказуемость ее характера нервировала больше всего. Я вынужден был собираться тайком. Совершал неподобающие моему возрасту отвлекающие маневры, чтобы она раньше времени не заподозрила, что мы без ее позволения, под нашу с Минькой общую безответственность, меняем ей среду обитания, в сущности, ломаем жизнь. Прежде всего, я тщательно приготовил в дорогу себя. В галоши натолкал пакли, ею же обмотал ноги до икр, перевязал тесьмой, две шапки на голову натянул — вя́занку, а сверху ушанку — шарф на шею, куртку на плечи и поверх нее Ленкин махровый халат. Остатки еды скормил животным. Медлить было нельзя, а я все решить не мог, как бы попроще, без ссор, нытья и грубой перепалки справиться с Франсуазой. Пробовал сунуть ее в сумку на молнии, упрятать, как куклу в чемодан, — она меня чуть не загрызла. Царапалась и дралась с такой страстью, словно я ее злейший враг и пытаюсь ее погубить. Минька, наблюдая эту недостойную сцену, жестоко критиковал подругу за столь дикие предположения. Убеждал, что она темная, глупая провинциалка и просто счастья своего не понимает.

Лишь с помощью пса удалось ее успокоить и приманить. Я сунул ее, затолкал за пазуху, застегнул куртку. Чтобы она ненароком не вывалилась по дороге, в качестве дополнительной страховки перетянул халат крест накрест автомобильным фалом. Под горлом оставил дырочку небольшую, пусть дышит.

— Видок у вас тот еще — хихикал Минька. — Полоумная толстуха на сносях.

С превеликой осторожностью, опустившись на корточки, я нацепил рюкзак и связал с ним сумку. В эту минуту я готов был на любые лишения, лишь бы Франсуаза чувствовала себя комфортно.

Повесили на сарайчик замок, окинули прощальным взором занесенную снегом обитель. Я закурил, и мы тронулись в путь.

Мела поземка. Мглою заволокло дали, и где твердь кончается и начинается небо — не различишь. В овраг я спускался ощупкой, выверяя каждый шаг. Минька топал за мной след в след, частенько проваливался по самую холку, шел мужественно, не роптал. А Франсуаза вскоре запсиховала.

— Надоело. Куда вы меня несете. Пустите. Не хочу. Не желаю. Я здесь останусь.

— Вертихвостка. Все вы, кошки, плебейки, — подтрунивал над ней Минька.

— Пудель драный! Дурак!

Я был начеку. Разругавшись, всполошная Франсуаза под курткой с силой упиралась лапками мне в грудь. В поисках свободы глупое животное пыталось ослабить путы и в дым разорвать ненавистные оковы. Волей-неволей приходилось останавливаться и принимать меры. Ина-

че погибнет. Все насмарку. Я теснее прижимал ее. Призвав на помощь все свое красноречие, льстил ей, врал и ласкал до тех пор, пока она снова не затихла. Минька использовал вынужденные паузы с толком — для сбережения и без того скудных ресурсов. Расслаблялся по своей системе. Ему было труднее всех. Борода в сосульках и инее, из пасти валил морозный пар. Когда же я с сочувствием посматривал на него, он жмурился и всем своим видом показывал, что для жалости я выбрал неподходящее время.

— Ветер проклятый.

— Держись, дедуля. Вот там, за рощицей, дорога тверже.

— Я в порядке.

Овраг мы прошли без потерь. Пакля моя уцелела, не разболталась. Минька прополз на брюхе самое топкое место и не выглядел сломленным или выбившимся из сил. Скорее слегка перевозбужденным, сам себе удивляясь, что такое ему по плечу. Слава Богу, Франсуаза вела себя в низинке так, будто с новой участью примирилась.

Я надеялся, что трудоемкий участок мы уже миновали, что в поле нам будет легче, однако здесь, на голом взлобке, дул яростный ветер, колкий косой снег забирался мне под очки, на бугристых кочках чуни мои и Минькины лапы с хрустом давили льдистую корку, в ловушках-впадинках вязли. У пса развевались уши, их раздувало как паруса и казалось, он вот-вот взлетит. Но стихия его, похоже, даже веселила — сказывался бойцовский характер.

— Вот это, я понимаю, круиз, — гавкал старик ветру наперекор. — Рассказать кому-нибудь, не поверят.

В самом деле, со стороны было на что посмотреть. Замотанный дядька в женском халате. Ноги обернуты паклей. На горбу здоровенный рюкзак, болтается и подстегивает на ходу увесистая сумка. Очки залеплены снегом. На груди что-то шевелится и вспухает, жалобно стонет. И след в след, выстреливая паром, ползет какое то обсыпанное снегом четвероногое, переваливается из ямки в ямку, взмахивая ушами, как диковинная птица.

Мыском выступал в поле осиновый перелесок, и когда мы с боем взяли и его тоже, я услышал странный отдаленный зов. Поднял голову, протер рукавицей очки, и... не поверил глазам.

До шоссе еще топать и топать, метров шестьсот, а Лена стояла посреди снежного поля перед застрявшей машиной и махала, и кричала нам:

— Вы живые?

Бог ты мой, зачем она съехала в снег?

— Вы живые?

Я знаками показывал ей — да, да, успокойся, живые. Хорошо бы ей молча дождаться, пока мы подойдем, потому что Франсуаза, услышав знакомый голос, на радостях потеряла голову Вся искрутилась, шипела

и ерзала, отчаянно царапала мне грудь, норовя вырваться и лететь по сугробам хозяйке навстречу.

— Как вы? Замерзли? Окоченели? Я села! — ликуя кричала Лена. — Нам отсюда не выбраться!

Я был сам не свой от волнения. Пройти осталось пустяк, и если твердокаменная Франсуаза меня одолеет, страшно подумать, что может произойти. Лови ее потом в чистом поле.

— Боже мой, на кого ты похож. Халат мой. Что у тебя на ногах?

— Бурки. Пакля. Отличная вещь.

Минька лез целоваться. Лена его обняла.

— Здравствуй, Минечка. Здравствуй, мой дорогой. Сусанин. Хорошо сохранившаяся пожилая собака. Ой!....А мурлыкает кто? ...И Франсуазу с собой прихватили?

— Она меня доконает. Пожалуйста, освободи.

Лена извлекла вздорную девчонку, потискала и заперла в салоне машины.

— Ни звука у меня, путешественница.

Я снял рюкзак, сумку, уложил вещи в багажник.

— Зачем ты в сугроб-то въехала?

— Соскучилась. Думала проскочу.

— Придется толкать.

Минька вылез:

— Мужское дело. Я подсоблю.

— Куда тебе, — я усадил упрямца в машину.

— Ты теперь наставник молодежи. Посторожи ее, приголубь.

Лена легко завела неостывший двигатель. Я поднапрягся. Не сразу, с трудом, но машину мы все-таки развернули носом к шоссе. С Леной мы поменялись местами, я сел за руль, и, прежде чем тронуться, погладил старушку по приборному щитку.

— Ну, милая, выручай.

2

Город Франсуазу до смерти напугал. Ее вытянутая мордашка выражала смущение, растерянность, крайнее изумление. Она совершенно не представляла, что на свете столько излишеств. Каменные мешки, толчея. А машин! А загазованность! Ужас.

Минька был прав, когда говорил, что она безнадежная провинциалка. Пристрастилась к деревьям, земле, простору, вольнице, тишине — не думала, не гадала, что когда-нибудь окажется в столь кошмарных условиях. Особенно ее возмутил лифт.

— Гроб с музыкой. Пиликает, скрежещет, дергается. А запах такой, что с ног валит. Сама, по доброй воле, ни за что бы не поехала.

И в квартире ей было не по себе. Тесно. Тюрьма.

— Что за чудак придумал жилье на небе? В какой-то корзине? Можно подумать, на земле места мало. Никогда не страдала высотобоязнью, но тут, на вашем окаянном этаже, нечаянно глянешь вниз, с непривычки оторопь берет.

Минька с дороги залег — выдохся, сил не осталось, вырубился, захрапел. Лена немедленно затеяла стирку. Я распихивал по антресолям вещи и инструменты. Франсуаза с присущей ей вкрадчивостью занималась разведкой. Дотошно обнюхивала углы, заползала под мебель, щупала носом воздух, приподнимаясь на цыпочки, пытаясь понять, что там у нас за клад наверху. За примерное поведение Лена на ужин обещала ей рыбку. Я понес на площадку мусорное ведро, дверь по привычке не затворил, и вдруг слышу:

— Ой! Она удрала.

— Кто?

— Франсуаза.

Я не заметил, как она проскользнула. Обежать меня по ступенькам вниз она вряд ли могла, стало быть, по кошачьей привычке, дунула вверх.

Я бросил ведро, и за ней.

— Не валяй дурака, Франсуаза!

Седьмой этаж, восьмой. На площадке пусто. Странно, куда ее черти понесли?

Над двенадцатым — необъятных размеров технический. Вход, конечно, свободный. Дверь размозжена в щепки. Внутри, на прострел, что на восток, что на запад, долгое загаженное пространство. Запах хлева, собачей и кошачьей мочи, мусор, объедки, приметы человеческой низости.

-Франсуаза, здесь же нечем дышать!

Волглые сумерки. Пугливая тишина. По всем приметам — незаконный кошачий публичный дом.

— Совесть у тебя есть? Даже вещи не успели распаковать.

Ни шороха в ответ, ни возмущенного писка. Обшарив и это неприглядное помещение, я по металлической лестнице поднялся на крышу.

Небо рядом, рукой можно потрогать. Лучшего места для любовных свиданий нельзя и вообразить. И для мазуриков, кстати, тоже. Люки выломаны чьей-то недрожащей рукой — спускайся отсюда в любой подъезд, на выбор, грабь, и смывайся через соседей. Я исследовал все закоулки, обошел, как памятники, вентиляционные шахты — Франсуаза, глупенькая, не откликалась. Вот что делать? Исчезла. Нет нигде.

— Кыс-кыс.

Тем же путем сбежал в низ, на первый этаж, и стал прочесывать подъезды один за другим, взывая к человеколюбию, жалости, до обморока пугая жильцов. В лучшем случае, меня принимали за аферист, придумавшего примитивный обман, но только не за убитого горем хозяина, разыскивающего пропавшую кошку.

Вернулся с тяжелым сердцем.

— Не появилась?

— Нет.

Лена расстроилась необычайно.

— Явится, — успокаивал я не только ее, но и себя. — Тут ей не деревня. Городские цацкаться с ней не будут, быстренько холку надерут. Сама примчится, как миленькая.

— Ты думаешь?

— Уверен.

Тем не менее, вечер получился траурным. Какими бы делами ни занимались, о чем бы ни говорили, с неизбежностью выруливали на побег Франсуазы.

— Чем не угодили, убей не пойму.

Ночь Лена практически не сомкнула глаз. Ей чудился знакомый голос, она вздрагивала, перелезала через меня, переступала через спящего Миньку и распахивала настежь дверь:

— Франсуаза, ты?

— Нет, не я, — всякий раз бесстрастно отвечала ей, помедлив, промороженная лестничная клетка.

На следующий день мы поехали проведать красавца нашего, годовалого внука. Соскучились, давненько не виделись. Потрясающий парень растет, любимец наш, будущий Ломоносов, полководец Суворов, Майкл Джордан — задатки в наличии, воспитывай, не ленись, твори, кого пожелаешь. О Франсуазе мы ему, конечно, ни-ни. Вернулись к вечеру, потемну, как всегда обогащенные после общения с человеком, еще не умеющим притворяться. И у подъезда, возле дома, разом вздрогнули, услышав кошачий плач. Лена сказала:

— Это она.

— У нашей меццо-сопрано, а тут мужской бас.

— Просто охрипла.

Я переступил через ограду замусоренного палисадничка и попробовал посмотреть.

— Франсуаза — ты что ли?

Освещение было неважным, только от окон первого этажа. Какая-то черная кошка, съежившись сидела и ныла, жалуясь на судьбу. Однообразно, горько и неостановимо. Шикарных белых усов я не обнаружил, не было и теннисных носочков на лапах.

— Нет, — говорю, — я такую не знаю.

— Это она.

— Ничего общего.

— Франсуаза.

— Ну, Лен. Мало ли вокруг ненормальных кошек?

— Иди ко мне. Франсуазочка. Милая ты моя. Иди к мамочке. Ну, не бойся.

Кошка простужено кашлянула и примолкла. Что-то ее напугало. Она прошмыгнула мимо нас и проворно юркнула под машину.

— Видел?

— Что?

— Она под нашей машиной.

— Ну, Лен. Причем здесь машина?

— Притом.

— Не понимаю. У Франсуазы манишка. И фрак. Голос нежный. С нею можно договориться. А эта? Ну, давай ее поужинать пригласим? А, киска? Если ты действительно Франсуаза. Пойдем с нами? Миньку разбудишь. Лена тебе рыбку пожарит, как обещала.

В ответ — нервный басовитый мявк.

— Плевать ей на нас.

— Она.

— Франсуаза! Последний раз спрашиваю: ты там или не ты? Ответь. Не строй из себя обиженную. Идешь с нами ужинать? А то я твою порцию Миньке отдам?

— Ррр, брырр, мырр.

— Убедилась?

А утром, когда мы с Минькой еще нежились в постели, рассказывая друг другу сны, Лена с улицы взлетела в квартиру, растрепанная и перевозбужденная, реваншистски настроенная, и вбросила кошку в коридор.

— Говорю же, это она! Сидит под машиной и орет. Она мне двинуться не давала.

— Да ну?

— Ложится под колеса, как камикадзе. Только через ее труп. Всю ночь под машиной просидела. Она заблудилась, я поняла, Запуталась в этажах и подъездах. Знакомый запах — только в машине. ...Ну, всё. Опаздываю. Я побежала. Она, не спорь. А мы поступили ужасно. Бедненькая. Натерпелась. Вы с ней, пожалуйста, поласковее. Не забудьте рыбку. Пока!

Я растолкал Миньку.

— Ну-ка, чекист, глянь.

Он нехотя сполз на пол.

— И что? — заворчал. — Что я должен проверить?

— Она или нет. Франсуаза?

Важно было, как они встретятся. Поздороваются как. Минька, вялый еще, сонный, не сбросив дрему, посматривал на нее вполне дружелюбно. Кошка спокойно к нему приблизилась и кокетливо обошла вокруг, вычерчивая хвостом под седой его мордой игривый вензель.

Спинка у нее не выгнулась, как в минуту опасности, она не рыкнула басом, не зашипела — похоже, знакомы. Во всяком случае, не враги.

А я ее категорически не узнавал. Надорванные связки, простуженный голос. Лапы чумазые. Усы то ли отгрызаны в драке, то ли потемнели, перепачкались, сливаются с цветом шерсти. Между ушей, на темечке, чего не было раньше, — проплешина размером с обесцененный рубль, свежая рана.

— Кто ты, красавица? Неужели и впрямь Франсуаза?

Она игривого моего тона не приняла, иронию сочла в высшей степени неуместной. Настрадалась. Накипело в душе. Посмотрела на меня, как на изверга, и осипшим голосом огрызнулась:

— Тупица. Балбес.

Вскоре отмылась, отоспалась.

Шерсть снова сделалась шелковистой. Появились носочки, восстановились усы. Затягивалась ранка на темени. Вернулось ее естественное меццо-сопрано. Тогда как пугливость усилилась, возросла. Теперь мы могли без опасений держать дверь нараспашку — хваленый открытый мир ее больше не привлекал. Как только Франсуаза чувствовала, что с лестничной клетки упруго потягивает ветерок, тотчас прыскала прочь, пряталась, и, дрожа, выглядывала из-за угла, опасаясь, не примчатся ли сюда чердачные хулиганы, насильники, драчливая городская шпана, от которых ей так досталось в ту злополучную памятную ночь.

Нас беспокоила ее не женская худоба. Чмокали они с Минькой по-прежнему наперегонки, и Франсуаза даже научилась не отставать, но была все так же изящна и пышнее почему-то не становилась. Мы расценивали это как вызов. «Не в коня корм», — дразнился Минька. Тем не менее, Лена добилась того, что Франсуаза практически излечилась от клептомании — по крайней мере съестное воровать перестала.

С Минькой у нее складывались отношения неожиданные — почти человеческие, противоестественные — как у безотказного деда с любимой внучкой. Я не вмешивался. Но порой мне было его искренне жаль. Она оказалась молоденькой эгоисткой и просто измывалась над стариком. Помыкала им, как хотела. Он сделался ее любимой игрушкой. Будила его, когда вздумается, щекотала, легонько дергала когтями за шерсть и, если ей удавалось вывести лежебоку из себя, ликовала, рада была без памяти. Носилась по квартире, опрокидывая пепельницы и стулья, предлагая деду сыграть с нею в салочки. Выскакивала из-за угла и грудью толкала Миньку в бок, сшибая с ног — чтобы не смел похрапывать в ее присутствии, не смел дремать, когда девочка бодрствует и жаждет развлечений. Иногда она даже запрыгивала ему на спину, совершенно не задумываясь о последствиях, и выделывала у него на шее или под брюхом разные смертельные трюки, как заправская цирковая наездница.

Мне казалось, что Минька не прав. Потакать тоже надо с умом, а он слишком многое ей позволяет.

— Разбаловал негодяйку.

Лена со мной не соглашалась.

— Он знает, что делает. Настоящий мужик.

Частенько они вместе возлежали на ковре или диване, спина к спине, и о чем-то мило перешептывались. Франсуаза повадилась класть голову ему на бедро, но Миньке эта ее вольность была все-таки в тягость, он дрыгал лапой, и она, обозвав его «жадиной», уступала и покорно укладывалась рядом.

Они приживались, привязывались друг к другу. Придумывали себе всякие забавные развлечения. Коронный номер — подвывание дуэтом. Старый дуралей обучил ее навыкам вокального искусства — мы с Леной покатывались со смеху, когда они вместе, сидя друг против друга, затягивали на два голоса свою заунывную протяжную песню. Бывало, тешили нас и частушками — когда совсем разбалуются.

Всякий раз, когда мы с Минькой уходили на улицу, чтобы совершить променад, Франсуаза провожала нас с душераздирающей печалью на мордочке, поникшая, тихая. Неотлучно ждала у порога, и если считала, что мы чересчур загулялись, что нас не было слишком долго, какое-то время обиженно дулась.

— Сколько можно шляться, бесстыдники. Как будто вам неизвестно, что я здесь одна и мне скучно.

Нас радовали их причудливые отношения. Скорее всего Лена права: именно податливость Миньки, его чрезмерная уступчивость, всепрощенчество за гранью здравого смысла — столь впечатляющее, столь благотворно действовали на впечатлительную Франсуазу. Она менялась прямо на глазах. Убывала мелкая мстительность, исчезала неуемная спесь, строптивость. Характер делался покладистее, женственнее, мягче. От природной наглости и следа не осталось. Она прекратила занудливо клянчить, когда ей что-нибудь нужно, а вежливо и спокойно излагала свою просьбу:

— Будь так любезен, достань мне шарик, я его нечаянно за батарею затолкала.

И Минька в ее присутствии приосанился. Избавился от лишнего веса, явно постройнел, словно сбросил пару десятков лет. Старался держать себя в руках, быть в приличной физической форме, чтобы при девочке не ударить в грязь лицом. И хотя его постоянно подводили подгибающиеся колени, он даже в сомнительных ситуациях старался вести себя с юной подругой по возможности благородно, соответственно происхождению.

— Смотри-ка, — хохотала Лена. — Наш дедушка вздумал на внучке жениться.

Это было действительно необъяснимо.

— Я думаю, склеротические бляшки. Или, черт чудной, насмотрелся «Плейбоя» по телевизору.

Старый проказник вполне узнаваемо преследовал Франсуазу. Гонял по квартире, недвусмысленно намекая, что дружба любви не помеха. Как и мы, Франсуаза не могла в толк взять, что ему надо. Наконец, когда уворачиваться и убегать ей порядком надоело, она щелкнула похотливого деда по носу, дабы опомнился и остыл. Но его это только раззадорило.

— Позорище.

— Минечка, — хохотала Лена. — Какой стыд.

Спасаясь от настырных домогательств, Франсуаза вспрыгнула к Лене на колени. Я дедулю попридержал. Вздернул за холку, чтобы прекратил безобразничать и не смешил народ.

— Ой!— воскликнула Лена. — Ты видишь?

Франсуаза стояла у нее на коленях брюшком ко мне, в рост, и откровенно демонстрировала то, что мы прежде преступно не замечали.

— Что сие означает?

— А то, — хохотала Лена. — Олухи мы с тобой.

— Мальчик?

— Вне всяких сомнений.

— Красиво.

— А ты еще восхищался: грация. Какая у Франсуазы изумительная, чисто женская пластика.

— Было, не отрекаюсь. Но тогда вообще непонятно, зачем Минька к ней... к нему пристает.

— Извращенец он у нас. Бисексуал.

— И всю жизнь успешно это скрывал, ты хочешь сказать?

— Я хочу сказать: хороши мы с тобой. Мальчика зовем Франсуазой. Ждем котят, я уже на работе пообещала.

— Ты же определила. Там, у костра.

— О, да. Эксперт из меня выдающийся. Особенно в безлунную ночь. Если помнишь, я действительно ничего не нашла.

— У дистрофика — сложно.

— Я придумала мальчику имя: Бунак. Рядом с Недюревкой есть деревня, она называется Бунаково. Оттуда его и подбросили. Он — Бунак.

— Не уверен. Бунак — храбрый воин. При Иване Грозном, если не ошибаюсь, в столице безобразничили опричники, а в провинции — бунаки. Братки в масках и на конях.

— Уже тогда? В столице — КГБ, а в деревнях — ОМОН?

— Примерно.

— Значит, я угадала. Он у нас — трусливый храбрец.

— Замечательно. Миня и Буня.

— Как-как?
Лена заразительно рассмеялась.
— Буня. Бунечка. Вот ты теперь кто.

3

По весне Лена придумала округлые грядки под зелень — одну в виде подковы, а остальные — как популярный секс-символ, слияние двух лун. Сажали мы увлеченно, бездумно, без плана, но для нас это было неважно. После садо-мазохистской изматывающей зимы я чувствовал себя в Любках превосходно. Небо — рядом, постоянно перед глазами, Мир Божий, все просто, как чудо. Ошеломляюще интересно — готовить землю, сажать, поливать, косить траву, носить из колодца воду, ухаживать за юными деревьями и кустами, устраивать над теплолюбивыми растениями парнички и между делом пасти сдружившихся четвероногих, пса и кота.

Бунька, как и я, лоснился от счастья. Он удивительно возмужал. Вытянулся и окреп. Пережил первую в своей практике зиму — в заточении, в бетонной башне, оторванным от земли, в давно не пригодном для естественных радостей городе, и не чаял, что когда-нибудь вернется в родные края. Немедленно все вспомнил — деревья, на которых спасался от облав, сухую теплую кочку, чердачок над сараем с прошлогодним сеном. Встретил старых знакомых — Бяку, Шерифа, вороватых сорок, отощавших ворон, еще не забывших его оплеух и пощечин, юрких мышей-полевок, улизнувших от него в прошлую осень. На месте ему не сиделось. Он непрерывно демонстрировал свою безудержную веселость, шквальную радость, переполненность жизнью, с характерным кошачьим покрякиванием проносясь мимо. Ловко взбирался по стволу, устраивался на качающейся ветке и пискляво умолял, чтобы мы с Леной, побросав дела, ну хоть чуть-чуть, ну минуточку полюбовались его искусством.

Минька, напротив, был сдержан, вял, и не очень-то доволен нашим райским существованием. Он вообще не поклонник деревни и никогда не скучал по здоровому образу жизни. Родился и вырос в городе, там же состарился, одряхлел и по убеждениям не мог не быть урбанистом. Конечно, и возраст свое брал. При его немощах грезить наяву приятнее все-таки в привычной обстановке, на обжитом проваленном диване, но уж никак не под голым небом, на этой дурацкой земле. И стройка ему обрыдла.

— А чего тут хорошего? Где ни приляжешь, бока вечно в стружке. О том, чтобы выспаться или подумать о чем-нибудь возвышенном, речи нет. Гам-тарарам. Безвылазно. Скукотища.

Оживал он только тогда, когда я приглашал его пройти по деревне — заглянуть с просьбой к соседу, проведать кого-нибудь или помочь. В

лес за грибами теперь я ходил один, потому что старость — не радость, таких нагрузок Минька уже не выдерживал. Но прошвырнуться налегке по Бродвею — это он с превеликой охотой. И Буньку с нами гулять по-собачьи приучил, старая бестия. Сельским жителям на потеху. Таких паранормальных явлений односельчане еще не видели: посреди дороги вышагивает хозяин, а пес и кот чуть поодаль, сзади и по краям. Минька по одной продавленной колее, Бунька строго по другой. Идут, перемигиваются. Уморительная картина, вся деревня хохотала над нами.

Помимо сада огорода, я с упоением занимался стройкой. Как одержимый, дня не хватало. Не читал, не сидел за столом, без ущерба расстался с въедливым телевидением. Что-то со мной неясное происходило, я себя с трудом узнавал. Прежде я, разумеется, слышал, что построить дом великое дело. Но я и близко не представлял себе, насколько могут быть ошеломляющими ощущения, когда наперекор обстоятельствам возводишь Свой Дом. Резко обновляется мировоззрение. Переполняется высокой страстью душа. Зримо меняется облик в сторону чудоподобного омоложения.

С местными мы сдружились — во многом благодаря Буньке и Миньке. В помощи нам никто не отказывал. Сам я годился пока только в подсобники, они же мужики мастеровые, опытные, и я то с одним, то с другим набирался ума-разума, постепенно осваивал неведомые мне раньше профессии плотника, электрика, лесоруба, столяра, землекопа. Надо сказать, Лене очень нравилось, что в перспективе я смогу теперь гвоздь забить. А может быть, даже кран починить. В предвкушении грядущей выгоды, она не уставала подбадривать меня, льстить и нахваливать, по опыту зная, что лесть — лучший погонщик. И я вцепился в наживку, распухая от гордости, как тщеславный отрок.

Апрель и май выдались жаркими. Календарное лето — промозглое, с обильными дождями.

Грибов заготовили — уйму.

Клубнику заморозок побил. Цукини выстояли, удались. Смородины — горстка. Теплолюбивые растения почернели до срока, влаголюбивые — переросли. Ближе к концу лета сгибла веселенькая фасоль. Полудикой вишни мы насобирали с Бунькой корзину с верхом, и видимо-невидимо осталось под зиму терна.

Кот матерел. Дом обживался. Пес угасал.

Может быть, до поры до времени, по молодости лет, но на чужие владения Бунька не посягал. Ему за глаза хватало территории, отведенной чиновниками местной администрации. А вот угрюмый рыжий кот, местный князек, вдруг ни с того ни с сего вбил себе в голову, что двоим

им в деревне, как баранам на узкой тропе, не разойтись. По ночам регулярно стал наведываться к нам на участок, сварливо давая понять, что если Бунька отсюда не уберется, добром это не кончится. Я просыпался, заслышав, как они заливисто спорят, ругаются, обмениваются угрозами, непередаваемыми утробными воплями устрашают друг друга.

Я счел, что в данной ситуации мой естественный долг Буньке помочь.

— Не дергайся, — сказал он. — Сам как-нибудь разберусь.

— Ты уверен?

— Этот рыжий придурок думает, что я еще маленький. И трусливый, как в прошлом году.

— А ты?

— А я уже сильный и никого не боюсь.

— Он здесь царь и король.

— Посмотрим. Самозванец он. Царь — дутый. Нагляк. Его время прошло. Так что кончай волноваться, иди спать, я вполне способен за себя постоять.

Мне казалось, в силу подростковой заносчивости, Бунька достоинства свои все-таки переоценивает. А выяснилось — ни чуточки. Нельзя было заранее предположить, что наш домашний тихоня, коли жизнь позовет, может превратиться в маленького тигра, свирепую рысь, в настоящего дикого зверя, никому не дающего спуску и не ведающего, что такое пощада. И то сказать, дело зашло слишком далеко. Сам князь поставил его перед выбором: либо с позором ретироваться, потеряв как личность всякое уважение, либо, собрав волю в кулак, в одночасье стать сильным непреклонным воином, бесстрашным и могучим бойцом.

И Бунька принял вызов.

Всю трудовую неделю, с понедельника по пятницу, не зная роздыха, не отвлекаясь ни на что другое, даже не заикнувшись о какой-либо помощи, он дрался с многоопытным противником не на живот, а насмерть. Собственно визгливый бой длился несколько секунд. Все остальное время они сидели друг перед другом на некотором расстоянии, взвывая от пьяно до крещендо, обмениваясь не поддающимися расшифровке угрозами. С криком «Банзай!» Бунька, как правило, набрасывался первым. Клацали челюсти, летала по воздуху выдранная клоками шерсть, рев, писк, визгливый стон — в кошачьей яростной сплотке скорострельность была такая, что даже многоопытные судьи были бы бессильны определить, кто кому наподдал. Но всякий раз рыжий кот, пусть не намного, но отступал. Бунька его теснил. Первые десять раундов проходил у нас, за компостной кучей, в терновнике, в вишневом саду. Все последующие — за кордоном. Шаг за шагом Бунька целенаправленно вытеснял захватчика за околицу, а потом погнал вдоль оврага, отвоевывая пограничные земли. К среде их крики доносились уже с

противоположного конца деревни. Но Бунька не успокаивался. Он все так же преследовал супостата, теперь на чужой территории — дальше и дальше, по крохам отжимая с охотничьих угодий, гнал через погост, к брошенному бревенчатому строению, где обитал доселе непобедимый противник, где находилось его неприкосновенное, казалось, пожизненное логово. Сраженье завязалось на последнем рубеже. Весь израненный, по существу уже поверженный рыжий сатрап, надо отдать ему должное, продержался в своем бункере еще два дня — пока Бунька не справился с ним окончательно. Глаза нашего тигра сверкали в победном раже, он вкусил геройской отравы, был бешено упоен силой и не мог остановиться. Он брал реванш за прошлогоднее унижение. Наказывал наглеца за хамство, за дурость, за неумеренные аппетиты, за несправедливые посягательства, ни на чем не основанные претензии, за обиды, раны, боль — и выжил-таки, выбил, смял, раздавил, прогнал. Чтоб духу его в деревне не было. Чтоб навсегда дорогу сюда забыл.

— Капец его светлости, — с небрежцой сказал он, когда вернулся легко раненым, с клочьями свалявшейся рыжей шерсти, застрявшей в разгоряченной пасти. — А ты не верил.

— Сомневался. Ты должен меня понять.

— А вот Минька знал.

— То Минька. Куда мне до него. Как насчет творожка со сметаной?

— Спрашиваешь. Неделю крошки не было во рту. Тащи все подряд.

В победе, добытой с помощью силы, все-таки есть что-то разлагающее. Какой-то яд. Едва кот отлежался и зализал раны, как немедленно объявил, что теперь все пойдет по-иному. Отныне ни одна душа не имеет права сомневаться, кто здесь владыка. Теперь только он диктует условия и устанавливает правила общежития. Без его ведома никому не позволено переступать границы нашей усадьбы — наказание последует незамедлительно. И действительно, Шериф и Бяка и все остальные у калитки вытягивались в струнку, коль скоро Бунька, издав властный грудной звук, оповещал, что не расположен их видеть. Прождав попусту какое-то время и не получив разрешения, собаки, униженно поджав хвосты, покорно убирались восвояси. Сороки с воровством немедленно завязали, ласки как вымерли, про зайцев и говорить нечего, а некогда самоуверенные вороны облетали наш участок за километр.

Однако власть, как известно, неминуемо разлагает. Кот, к сожалению, не догадывался об этом. Не учитывал главного: восхищаться собой следует в меру. Минька не раз ему повторял:

— Зазнайство до добра не доводит. С тем же успехом можно самого себя высечь.

Возомнив себя Бог знает кем, Бунька непозволительно распушил гордыню — и немедленно поплатился. Многие в деревне откровенно

стали его сторониться. В лучшем случае, относиться с прохладицей. Самая верная и стойкая его поклонница, соседская девочка Алина, заметив, что небожитель вот-вот лопнет от собственного величия, тотчас изменила любимому с сонным оскопленным Грешей на другом краю деревни. Убедившись в который раз, что пес слов на ветер не бросает, Бунька — надо отдать ему должное, его природной смекалке — быстренько скорректировал линию поведения. Себялюбие уже не выпячивал. Приноровился. Стал вести себя поскромнее. Хотя и не оставил дурную привычку всех поучать. Хитро, по-кошачьи, исподволь, изнывая днем от безделья, даже мне пытался привить чуждые взгляды на жизнь. Пока я кромил доски, он, свесив шаловливую лапку с крыши навеса, с обманчивой ленцой философствовал. Ключевое слово в его рассуждениях — скорость. Он пытался доказать, что жить надо рывками, на скорую руку. В рваном ритме, а вовсе не размеренно-плавно, как некоторые недалекие полагают.

— У вас девиз — больше жизни. У нас — больше жизней. Быстро живешь — больше жизней, медленнее — меньше.

Минька осуждал Бунькины вредные путаные теории. Мне казалось, в них что-то есть. Временами я даже принимал его сторону, невольно поддавшись очарованию мурлыкающей сладкоголосой речи.

— В деревне, например, если она настоящая, как Любки, — резонерствовал он, — мир, сотворенный не нами. Тут на всех нисходит любовь. Как акт дарения. Сама. Никого ни о чем и просить не надо. Ею все движется. Здесь чистота первозданная. Покой и воля. Непроходящее, сам говорил, ощущение полноты бытия. Иное дело Минькин любимый город. Там мир рукотворный, сотворенный вашим братом, маленьким человеком, возомнившим себя черт знает кем. Сверху в городе ничего не нисходит. Там, чтобы спастись, надо любовь генерировать.

— Брехня, — ворчливо не соглашался Минька. — Молод еще. Верхогляд. Поживи с мое, тогда, может быть, перестанешь болтать всякие глупости.

Лето кончилось, и в сентябре заневестилась Бяка, овчарка. Бунька по-прежнему не допускал никаких животных к нашему дому, и Минька, в общем— то, недовольный твердолобой принципиальностью друга, каждое утро, без провожатых, на свой страх и риск сам отправлялся к ней на свидание. Усердствовал с рвением, на которое был способен. Благо жила она через участок, недалеко.

Овчарку, во избежании непредвиденного, выпускали теперь из дома строго по расписанию, и наш Казанова, дожидаясь встречи, шатался и топал по лакомым грядкам, разыскивая приманчивые запахи, и если вдруг находил, подолгу стоял, уткнувшись, пока лапки не подгибались.

В который раз я дивился его старческой силе воли. За прошедший сезон он настолько ослаб, что казалось: дунь на него слабенький вете-

рок, он упадет. Осилить дорогу вдоль всей деревни мы уже были не в состоянии и сворачивали домой у погоста, примерно на середине дистанции. Однажды Минька у нас провалился в яму, выкопанную беспечным соседом под заборный столб, и выбраться самому у него ни сноровки, ни сил не хватило. В ловушке его обнаружил Бунька. И когда мы выручили его из беды и под белы рученьки повели домой, Минька выглядел растерянным, чтобы не сказать, обалдевшим, — решительно не понимая, на каком он свете.

Да, это правда. Любовь творит чудеса. Поздняя — тем паче.

У дедуни изменилась осанка. Спинку он выпрямил, грудь колесом и голову, которая еще вчера предательски никла, разыскивая попышнее подушку, теперь держал высоко и нес гордо. Когда невеста появлялась на горизонте, он испытывал известное воодушевление, шустро семенил ножками, всеми правдами и неправдами стараясь от нее не отставать. И никто не догадывался, каких усилий стоит ему его жениховство.

Разумеется Бяка всерьез его смешные ухаживания не принимала. Однако за неимением более подходящих вздыхателей (Шерифа к тому времени увезли) откровенно радовалась, когда обнаруживала, что верный поклонник снова на боевом посту. Носилась по участку взад-вперед, пока паром не изойдет. Умерив пыл, замирала, милостиво разрешая себя обнюхать. Кокетливо посматривала через плечо и удовлетворенно хмыкала, поощряя ухажера. Или визгливо, тоненьким тенорком взлаивала, как будто сильно удивлена.

После каждого такого свидания Минька возвращался на полусогнутых. Буквально приползал. Сходу, захлебываясь, с громким причмоком выпивал ведерко воды, тут же валился с ног и на час-другой выключался. Так мощно храпел, что заглушал мою самодельную пилораму.

Последняя любовь.

Я был слеп. По-настоящему не разглядел, что это было такое. Мне и в голову не приходило, что отношения их не смешны и нам следует чего-то опасаться.

Молодая овчарка, сильная, явно не глупая, себе на уме, и любвеобильный кавалер, доходяга, старая перечница, росточком ей до колен. Коверная парочка. Умилительно, трогательно — пусть потешатся. Кому от этого вред? Она разомнется. Развеет скуку. Слегка развлечется. А он, перебрав в памяти былые утехи, намучается и крепче уснет.

Ничего особенного, общежитейское.

И меня нисколько не насторожило, когда Бунька однажды сказал, сидя на дереве и наблюдая за их забавами, — явно не собираясь шутить:

— Между прочим, не всякому жизнь к лицу.

И седьмого сентября — ровно за месяц до Минькиного восемнадцатилетия, которое, кстати, мы готовились пышно отпраздновать, — Бяка нашего юбиляра увела.

Послушно, безропотно, как подслеповатый детеныш, он утóпал за ней, и никто не заметил, куда. Хозяйка овчарки, Серафима Ивановна, встревожилась, когда обнаружила, что ее любимицы нет более трех часов.

— Вы случайно не видели кралю мою?

— Нет, а что?

— Вздыхатель ваш спит?

— Что-то не слышно. Вроде никто не храпит.

Бунька крикнул с крыши:

— Смылись они!

— Я так и думала.

— Придут. Куда они денутся?

— Я все-таки поищу.

Побродив по околице, вернулась ни с чем. Теперь заволновался и я. Побежал по деревне, спрашивая всех подряд, не видел ли кто-нибудь нашу влюбленную парочку.

Оказалось, видели. Кто-то обратил внимание, как Бяка переводила его через овраг, кто-то — как они любезничали в лесочке на той стороне, а один шутник всерьез уверял, что слышал в их исполнении «Шумел камыш, деревья гнулись».

Адреса совпадали, и я помчался в осинник.

Едва спустился в распадок, как Петр Сергеич, сбивавший стожок, рассказал, что только что видел, как овчарка плелась домой. Чумазая, брюхо в болотной жиже. Усталая, но удоволенная, как ему показалось.

— А мой Дон Жуан?

— Одна.

— Поматросила — и привет?

— Это вы у нее спросите.

Бяка отлеживалась в теньке. Длинный влажный язык, словно розовое полотенце, вывесила на просушку.

— Бессовестная, — затормошил я ее. — А где твой любовник? Где ты его бросила?

Она смотрела на меня бесстрастными карими глазами — святая невинность, — как будто не понимала, что я от нее хочу.

— Дуреха, — серчал я. — Что ты натворила, соображаешь? Как ты могла? Он же еле лапы передвигает. Где ему за тобой угнаться? Сама сигаешь через болото, как олениха! А он? Говори немедленно, куда ты его заманила?

Решительно это сонное чучело не желало со мной объясняться.

Крикнул Буньке, чтобы сторожил дом и чтоб свистнул мне, если Минька вернется. И побежал. По склону вниз, через ручей и болотце. По тем местам, где их видели, где голубки ворковали. Прочесал березовый перелесок, очевидцы его тоже упоминали. От волнения взмок. Где бегом, где быстрым шагом отмахал вкруговую километра четыре.

— Ну? — у Буньки спросил, когда возвратился. — Не приходил?

— Я бы свистнул, — перебрал он бесшумными лапками.

Я снова бросился к Бяке.

— Все лежишь? Эротоманка безмозглая. Мы тут с ума сходим, а тебе хоть бы что!

Тимофеич, сожитель Серафимы Ивановны, заметив, что творится со мной, вызвался помочь. Весьма благородно с его стороны. Предложил взять Бяку, «закоперщицу», как он сказал, и еще раз, уже вместе с ней, осмотреть места любовных утех.

— Вдруг покажет?

Я немедленно согласился — как ухватился бы за что угодно, лишь бы сохранилась надежда его найти.

— Старый простофиля ножку мог подвернуть. Лежит сейчас в какой-нибудь ямке и дрожит от страха.

Эта лошадь Бяка небось в курсе.

— Или в бурелом угодил. Застрял, не знает, как выбраться.

— Бяка смекнет.

— Видите? Отава косматая, аж по пояс. Ваша ищейка проскакала играючи, а для Миньки — лес густой. Побежал вокруг, вот и заблудился.

— Бяка, паразитка, вперед! — скомандовал Тимофеич. — Ищи соседа, а то уши оборву!

Овчарка к этому времени отлежалась. Обрадовалась, что берут на прогулку — усталость как рукой сняло. Есть перед кем удаль свою молодецкую показать. Я отказывался ее понимать. Она носилась по склонам явно в свое удовольствие, холодная ко всему, что прямо не касалось простых мышечных радостей, не пыталась даже вникнуть в суть дела. Плевать ей на пропащего товарища. В высшей степени безразличны страдания хозяина. Гадкий эгоизм. Панические настроения спутников ее ничуть не волновали.

Мягко говоря, я ее осуждал.

— Ну конина, — выговаривал ей Тимофеич. — Расскакалась. Одурела совсем? Миньку ищи, поняла?

— Поняла, — сияя отвечала Бяка.

И снова на холм — взапуски.

Во второй раз мы обшарили осиновую рощицу и березнячок. Внимательно осмотрели поле на взлобке. Исходили вдоль и поперек оба склона.

— Пропал.

— Найдется, Михалыч. Там, где пехота не пройдет, твой пес на пузе проползет.

— Темнеет.

— Терпимо еще.

— Замерзнет. Ночь будет холодная. Он же старик.

— Ну — неизвестно. Какой старик, а то и покрепче молодежи будет. Она нынче трухлявая.

— Боже мой, что же мне делать?

Тимофеич руками развел.

— А что тут сделаешь? Ждать.

Я был благодарен ему за участие и поддержку. За жалость к нам. Не случись его рядом, честное слово, лег бы в отаву и заголосил.

Ночь мы с Бунькой скоротали у костра.

Если не обманывать себя, не уповать на чудо, то надежды, что Минька сам приползет, не было никакой. Ни слуха, ни зрения, ни нормального обоняния — с таким букетом даже при его упорстве и несгибаемом характере дорогу в темноте не сыскать.

Но к ночной тишине, к случайным шорохам и звукам мы прислушивались жадно. Если он заплутал где-то неподалеку, то уж голос-то у него остался, непременно завоет, даст о себе знать, и тогда мы с Бунькой отыщем его, спасем.

Это была самая длинная, самая неспокойная ночь за все время нашей здешней бестревожной жизни. Костер не грел, огонь раздражал. Мы с Бунькой испуганно вздрагивали и теснее прижимались друг к другу, услышав невинный крик птицы.

— Минечка. Родненький. Что случилось с тобой? Где ты?

На тусклом рассвете, лишь чуть забрезжило, я отправился на поиски вновь. В который раз осмотрел овраг и злополучный осинник. Через поле, длинной ветвистой дорогой, прошел в Фофанку, крупный нескладный поселок, самый ближний от взгорка, где предположительно Минька пропал.

— Вдруг его сослепу туда утянуло? К жилью?

— Нет, и там обыскался, пусто.

На обратном пути проверил искусственные посадки, затемненную глубокую балку, вырубки, мелкий ивняк, разросшийся ельник у Горбунихи. До смерти напугал нелюдимого грибника, когда настиг его в безлюдной лощине. Он так вскинулся на меня, будто я шныряющий по оврагам американский шпион или опустившийся бомж, который сейчас у него грибы отнимет.

— Какая, в езду, собачка? Ты чего?

— Курчавый. Маленький. Вот такусенький. Пудель.

— Что за пудель, сроду не слыхал.

— Ну, как барашек.

— Отвали по-хорошему, отец. Твою мать, еще барашек какой-то.

В открытом поле переговорил с пастухами. Коровы были заняты делом, звучно стригли жесткую пожухлую траву, а у мужиков время роздыха, перекур, они вальяжно возлежали в осыпавшемся стожке.

— Ребятки, если вдруг... Любое вознаграждение.

— И водки не жаль?

— Сколько душа примет.

— Разоришься. Мы тебе целый выводок приведем.

— Мне бы своего дедулю.

— Сдох небось. А то и наши дуры замяли.

— Прошу вас. Я вас очень прошу. Не сочтите за труд.

— Ну ты, борода, потек. Подумаешь горе большое, пес. Пропал и пропал, баба с возу, кобыле легче.

— Прошу вас. Мой дом у колодца.

— Знаем. Не дрейфь, пригоним, коли живой попадется.

— Будьте добры.

В лесу за деревьями, когда меня никто, кроме птиц не видел, я позволил себе скупую слезу.

— Минечка. Милый ты мой. Отзовись. Умоляю. Если ты еще где-то живой, гавкни как-нибудь, взвой, хоть словечко скажи. Что с тобой? Где ты? Ну, не может так быть, чтобы от тебя и следа не осталось. Чтобы вообще ничего.

Деревенские, односельчане, прослышав о нашем несчастье, пытались утешить на свой лад.

— Не ищите, Михалыч, не мучайте вы себя безобразно, — уговаривал Батариков, присев со мной на приступочке возле дома. —Дураку понятно, он своей волей ушел. Взял и на нашу безработицу начхал. Гори оно все синим пламенем. Толковый он у вас. Уважаю. У него от жизни томление наступило. Среди людей бывает, не только что у собак.

— И нам ничего не сказал?

— Расстраивать вас не хотел. Я так тоже считаю: надежнее втихаря.

— Нет, скрытным он не был.

— Ну, это когда жить. А когда умирать?

— Штучное дело, вы хотите сказать?

— Ага. Одинокое.

Еще, помню, у родника заговорила со мной Нина Захаровна. Примечательная старушка, сухая, жилистая, она в восемьдесят лет держит козу и самостоятельно обрабатывает грядки.

— Ты, милок, молод пока по сравнению со мной. Не знаешь, поди. А у них, у собак, вроде как заведёно. Старая, ну, хоть возьми, как я, ужотко попросит, а сильная да молодая уважит. Старухе мочи нет дальше землю топтать, притомилась и жить надоело, а молодайка пристукнет ее лапой по голове и отправит на тот свет. Красота. Ни тебе страданий, ни болей. Легкая смерть, желанная. Ну, а потом уж как водится — землицей присыплет то смертное место. Разровняет, будто нет ничего. И могилки не сыскать. Вот почему, милок, ты и следочка найти не можешь.

— Выдумки. Извините, не верю. Сказки все это.

— Врать не стану, сама не видела. А уж за что купила, за то и продаю. Ты уж прости, на старуху не гневайся. Башковитые люди сказывали, как не поверить, — и добавила, подхватив ведро с водой, не ко мне обращаясь: — Хоть бы мне какую молодую псину найти. Я бы не прочь.

За дни бесплодных поисков я высох и постарел. Бунька уже сомневался, тот ли перед ним хозяин: осторожно, робко, как бы желая удостовериться, щупал лапой мою куржавую щетину на скулах. Суетливый запышливый бег по долинам и взгорьям, бестолковая пустая ходьба, ночные ожидания, участливые разговоры, лишь бередящие раны, — все это измотало, истерзало меня вконец. Когда ненадолго забывался и засыпал, видел Миньку, гибельный час его — картины, одну ужаснее и страшнее другой. То он исклеванный, раненый, в западне. Беспомощный, обреченный. Отчаявшийся и уже одичалый. Сильные черные птицы вонзают в него горбатые ненасытные клювы. Изголодавшиеся ласки свирепо разрывают его на части. А то вдруг привидится тонущим. Намыкался, заплутал, захотелось водички испить, осклизнулся и съехал по обрывному склону в пруд, выкопанный для поливки. Бока в пруду глинистые, лапы не держат. Побарахтался и сдался, закоченел в воде, утонул.

Просыпался взмокшим и убегал. Заново, теперь гораздо злее, ревнивее, тщательнее осматривал запруды, болота, заводи, топкие луговины и, конечно, ручей на просвет до впадения в Малый Киржач. Ни деревца не пропускал, ни подозрительной кочки.

У неба подсказки просил.

— Миня, милый ты мой. Восемнадцать лет душа в душу. Откликнись, родненький. Где ты? Мы и проститься с тобой не успели.

Четыре дня и три ночи я все еще на что-то надеялся. Искал. Не мог поверить, что он навсегда нас покинул. Так не бывает. Чтобы вознесся. Растворился в воздухе. Чтобы нигде и ничего. Никаких следов.

Спасибо Буньке. Когда я возвращался к костру, он тотчас оставлял свои дела, слезал с дерева или с крыши и уже до утра находился неотлучно со мной. Ночами мы плакали вместе. Мои острые приступы боли он снимал как опытный и умелый врач — уверенно, точно, быстро, под легкий отвлекающий профессиональный треп. Вне всяких сомнений, про Минькин уход он знал много больше, чем я, однако молчал, обсуждать не хотел, поделиться со мной страшной тайной отказывался наотрез. И вообще избегал скорбных тем.

— Скажи, Бунь. А тебе без Миньки не одиноко?

— Еще как.

— Я чувствую пустоту.

— В пустом сердце поселяются духи.

Мой вопрошающий взгляд всякий раз упирался в бездонные желтые глаза, и я чувствовал, что улетаю, проваливаюсь куда-то далеко-далеко, в глубь веков, сквозь толщу времен и народов.

Отчаялся на пятые сутки.

Это был день условленный, когда Лена должна приехать.

К обговоренному часу мы отправились с Бунькой встречать ее на шоссе.

— Смотри, не бухни про Миньку, — советовал кот. — У нее истерика будет.

— А как? Смолчать?

— Ты не сразу. Сначала приготовь.

Лена приехала вовремя, как обещала. Бунька тотчас юркнул в машину. Вспрыгнул к ней на колени и заурчал. Стал расспрашивать, как дела, как доехала, что новенького у нее за неделю, что в подарок нам привезла. Он все делал правильно — как будто знал, что я бы сейчас так не смог. Лена растаяла, повеселела. Не умолкая, угощала нас смешными историями про своих недотеп студентов, и когда подъехали к деревне, Бунька махнул мне: давай.

Я сказал ей, что Минька пропал.

— Ка-а-ак?

Лена испуганно ударила по тормозам. Машину юзом поволокло вбок и развернуло поперек дороги — мы едва не брякнулись в кювет.

— Не может быть. Как это случилось?

Я рассказал.

Лена обхватила руками лицо, наотмашь отворила дверь и выскочила из машины.

— Всё, за руль я не сяду. Езжай сам.

Бунька выпрыгнул следом. Поднялся в рост, на дыбки и, жалобно замяукав, стал легонько подергивать ее за брючину.

— Боже мой, — заплакала Лена. — Минечка, родненький.

Я взял Буньку на руки. Он по-сыновьи тянулся к Лене и, когда я поднес его, бережно положил ей лапу на грудь.

— Осиротели, — мурлыкал кот. — Он был классный. Просто классный старик.

Мы стояли на склоне, возле распахнутой настежь машины, обнявшись, голова к голове. И ревели ревмя. В три ручья.

Анатолий СТРЕЛЯНЫЙ

ПАМЯТИ ЛАРИСЫ ПИЯШЕВОЙ

Лариса Ивановна Пияшева стала знаменитой в один день — когда в 1987 г. вышел 5-й номер журнала «Новый мир» с ее крошечной, по журнальным меркам, статьей, набранной мелким шрифтом: «Где пышнее пироги?» Под псевдонимом Л.Попкова она писала о том, что социализм, будь он с каким угодно «человеческим лицом», не может быть достаточно продуктивным строем, что он неизбежно уступит, как всегда и везде уступал до сих пор, свободному рыночному хозяйству, странам с обыкновенной капиталистической экономикой. Бесперспективна и смешанная экономика — то есть такая, в которой значительным собственником средств производства выступает государство.

Попкова-Пияшева не говорила ничего нового, все это было давно сказано и доказано величайшими экономистами двадцатого века, но для абсолютного большинства тогдашних советских мыслящих людей это было откровением. Великой смелостью было и само по себе такое выступление.

С тех пор статьи и интервью Пияшевой стали часто появляться в журналах и газетах. Она была критиком экономических воззрений и особенно — реформаторской практики сначала Горбачева, потом — Ельцина-Гайдара-Чубайса. Критиковала она этих людей с позиций, противоположных коммунистическим, да, в общем, и всем иным. Коммунисты ругали их за то, что они отказываются от социализма, «центристы» — за «шоковую терапию», за то, что слишком круто поворачивают в сторону капитализма. Пияшева же настаивала, что действуют они как раз слишком осторожно, непоследовательно, половинчато, что пропасть нельзя перепрыгнуть в два прыжка, что реформы нужно проводить исключительно быстро — опасно и вредно рубить кошке хвост по частям, приватизация должна быть не какая-нибудь, а в полном смысле слова «обвальная», и только тогда это будет наименее болезненно для страны, для широких слое ее населения..

Через много лет, уже в наши дни, один из ее оппонентов, степенный «гайдаровец», который раньше только то и делал, что оправдывал да объяснял и характер, и темпы послесоветских преобразований, вдруг заявил, что главной ошибкой ельцинских реформаторов было как раз отсутствие «шоковой терапии» и «обвальной приватизации», что действовали они слишком робко, мелко, медленно. Пияшеву он, естественно, не упомянул, но те, кто был в курсе дела, все поняли. С точки зрения творческих, авторских амбиций, она была вполне удовлетворена, испытав от такого признания даже, по ее словам, как бы некое авторское наслаждение теоретическим реваншем. Другое дело, что для практического реванша время было уже упущено, а реальная экономическая и социальная ситуация в стране отнюдь не располагала к радости.

Впрочем, дело было не только в упущенном времени. Пияшева долгое время считала причиной неудачи Гайдара-Чубайса прежде всего научную ошиб-

ку. Но в последние год-два, углубившись в хозяйственные документы, подвергнув их скрупулезному анализу, она увидела, как неуклонно «научная ошибка» служила совершенно определенным корыстным интересам структур, называемых сегодня олигархическими.

Итак, по Пияшевой, было две причины ущербности российских реформ.

Одна — объективная: состояние страны, вся история России, не знавшей за тысячу лет своего существования свободного рыночного хозяйства.

Вторая причина — субъективная: реформаторы были не тверды в своих знаниях и убеждениях, к чему потом прибавилась и определенная заинтересованность. Один из них, думая, что критикует Пияшеву, даже иронизирует над нею, написал однажды примерно так: нам бы, мол, пияшевскую уверенность в первые дни и недели наших действий!.. Он рассказал, как они колебались, отпускать ли все цены сразу, и как решили все же погодить: отпускать не все и не сразу. Пияшева считала, что именно в колебаниях такого рода и проявлялись как слабость теоретической подготовки вчерашних специалистов по «политэкономии социализма», так и несвобода, ангажированность их практической хватки.

В 1991 году Гавриил Попов, тогдашний мэр Москвы, взял Пияшеву в свой штат на скромную должность, но для грандиозного дела — для проведения приватизации в Москве. Он оказался одним из очень немногих видных деятелей новой России, кто разглядел все преимущества пияшевской схемы приватизации. Речь шла о быстром, в течение первого же года, превращении практически всей государственной собственности в частную долевую собственность работников предприятий, которые могли бы свободно распоряжаться ею — продавать, дарить, закладывать. В этой схеме почти не оставалось места для злоупотреблений, для чиновничьей и бандитской наживы. Пияшева даже успела начать это дело, в считанные дни собрала 10 тысяч заявок на приватизацию, но Верховный Совет принял закон, который предусматривал другую схему — ту самую, которая дала простор для «прихватизации».

Чубайс и его соратники до сих пор высмеивают схему Пияшевой, утверждая, что она отстаивала идею своеобразного колхоза, хотя предлагалось нечто прямо противоположное. Недаром Пияшева оказалась единственной из заметных фигур в мэрии, изгнанной оттуда после ухода Попова. На первых порах, пока не обозначилась победа того, что Попов назвал победой бюрократического пути развития России, ее там нескрываемо боялись: «Что тебе надо? Квартиру? Машину? Дачу?..»

Единомышленники и друзья называли ее пророчицей, и она действительно обладала даром предвидения. Но это было предвидение исследователя, а не гадалки, хотя однажды в телевизионном «конкурсе предсказателей» она победила даже Глобу — впрочем, это было, по ее словам, не так уж трудно.

Последнее ее предвидение — это ожидание «путинизма», режима, который она обозначила как «неототалитаризм», мягкий тоталитаризм — то есть как попытку опять пронизать государством всё. Пияшева выводила это будущее из экономики, из закономерностей смешанной экономики— ни капиталистической, ни социалистической, но больше все-таки социалистической. Смешанная экономика не только малопродуктивна — она по своей природе не может

быть устойчивой, она обязательно должна «сваливаться» или к «чистому» социализму, и тогда опять воцарится тоталитаризм, или к «чистому» капитализму, и тогда победит демократия.

Лариса Пияшева предвидела, что в ходе «тоталитаризации» России во главе правительства станет Примаков. Она думала, правда, что он отберет власть даже у Ельцина, чего, как известно, не случилось. Но то, что случилось, хотя и не подтвердило личностную форму ее прогноза, зато, как мы знаем, вполне подтвердило его существо.

Л.И.Пияшева не успела закончить книгу, над которой много работала в последние годы. Задумано было огромное исследование, фундаментальный труд, чисто научный, без всякой публицистики: «Смешанная экономика. Российский вариант». Начинается книга — эти главы почти готовы — с анализа экономических и общетеоретических воззрений людей, которым выпало осуществлять «перестройку» и реформировать послесоветскую Россию.

Пияшева умела доступно и ярко излагать самые сложные вещи, с нею охотно соглашались далекие от экономики и политики люди. Но она раздражала своей спокойной и непоколебимой убежденностью многих людей своей профессии, отчасти и единомышленников.

Она, как уже было сказано, всегда подчеркивала огромную, а на первых порах реформирования страны — и просто решающую роль субъективного фактора. По ее мнению, в 1991-м году дело было не в том, что Россия не была готова к свободному предпринимательству (к этому люди, мол, всегда готовы, такова их природа), а в том, что был не готов «комсостав».

Ей говорили в порядке возражения, что это ведь тоже можно считать объективным обстоятельством — откуда было взяться твердым «капиталистическим» знаниям и убеждениям у того же Гайдара, который за год до того, как возглавить капиталистический эксперимент в России, доказывал в «научном» труде преимущества социализма (с человеческим, подразумевалось, лицом) и подтверждал свою верность народному «выбору семнадцатого года»?

«Ну, разве что в этом смысле, — отвечала она. — Но тогда все — объективно! Однако же мы почему-то делим, пусть хотя бы для удобства, факторы на объективные и субъективные!»

Субъективный фактор, именуемый Ларисой Пияшевой, не был, к сожалению, реально востребован в ходе российских экономических реформ. Но зато без него никак не обойтись, если мы хотим более или менее объективно в них разобраться и их оценить.

НАША «ПОБЕДА» — НА ДВЕ ТРЕТИ «БЕДА»

23 октября 2002 года. В Театре «У Никитских ворот» только что закончился спектакль «История лошади». Не успел я дойти до кабинета, кто-то подбежал ко мне со словами:

— Марк Григорьевич, включите телевизор!

Через минуту мы с Таней, моей женой, надевали пальто.

Захват заложников в Театральном Центре на Дубровке, о котором известило весь мир телевидение, означал для меня самое страшное — возможную потерю дочери. В течение года она играла в «Норд-Осте» и, значит, сейчас могла находиться *там*...

Из машины я набрал сотовый своей бывшей жены Ланы:

— Где Саша?!

В ответ жуткий шепот:

— В зале.

— А ты?.. Где ты сейчас?

— Не могу говорить.

И — отключение.

Так начался круглосуточный кошмар этих дней.

* * *

Снова и снова пытаюсь дозвониться до Ланы. Никакого результата. Наконец, нахожу Сашкин сотовый, набираю ее номер раз тридцать — все бесполезно, связь отрублена. Нет, не только я набираю, Таня тоже постоянно набирает, я за рулем.

Подъезжаем к повороту на Дубровку — первый кордон милиции, и ГАИ отсылает нас к улице Мельникова, но и там дальше — нельзя, оцепление.

Ставлю машину, пытаюсь пройти, автоматчики в бронежилетах и касках стоят живой стеной.

— У меня там дочь. Разрешите пройти.

— Нужен пропуск.

— Кто дает пропуск?

— Штаб.

— Как пройти в штаб.

Марк РОЗОВСКИЙ — родился в 1937 г. в Петропавловске на Камчатке. Закончил факультет журналистики МГУ и Высшие Сценарные курсы. Драматург, режиссер, художественный руководитель театра «У Никитских ворот», Заслуженный деятель искусств РФ. Автор книг «Превращение», «Саоотдача», «Режиссер зрелища», «К Чехову» и др., пьес «История лошади», «Красный уголок», «Триумфальная площадь» и др. Живет в Москве.

— Нужен пропуск.

Нормальная ситуация. Абсурд. И самое интересное — всем понятно, что абсурд. Но против него в России — не попрешь. К нему, к абсурду, мы давно уж привыкли. Но одно дело, когда ты *наблюдаешь* абсурд со стороны, и совсем иное, — когда ты *внутри*, когда абсурд давит на тебя со всех сторон и ты чувствуешь свое бессилие, свое ничтожество перед глобальным житейским идиотизмом. И все же я пытаюсь воздействовать логикой:

— Как же я могу получить пропуск в штаб, если вы не пускаете меня в штаб, который дает пропуск?

— А это вопрос не к нам, — следует не менее логичный ответ. — Нам сказано: только по пропускам — мы и выполняем.

Итак, проникнуть нахрапом не удалось. Надо искать обходные пути...

Моросит мерзкий дождь. Темень. Толпа около оцепления растет — прибывают родственники заложников. Каждый делает бесполезную попытку пробраться поближе к зданию, где терпят бедствие их родные.

Никто из официальных лиц к нам не выходит. Информации о происходящем — ноль. Отсюда истерики, паника и... слухи, слухи. Кто-то говорит, что там сто чеченцев, из них — сорок женщин, все — смертники. Начинили здание взрывчаткой и ждут только приказа Бен Ладена.

Звучит не слишком правдоподобно, но после 11 сентября можно поверить в любую жуть.

Кто-то пускает «мульку»: на крышах близстоящих домов — чеченские снайперы...

— Зачем?

— Чтобы расстреливать нас одновременно с заложниками.

Другая версия в толпе:

— Сейчас сюда приедет Путин. Тогда и начнут стрелять.

— Как же, как же!.. Приедет тебе сюда Путин!.. Он из Кремля будет всем руководить.

— Не руководить, а на переговоры.

— Какие переговоры?.. С бандитами?.. Он на это не пойдет.

— Тогда все наши погибнут.

— Вместе с не нашими!

— Значит, будет штурм.

— Тогда тем более все погибнут.

— Значит, не будет штурма.

Началось. Всенародное обсуждение вопроса «будет — не будет штурм» началось в первые часы террористического акта. И сразу обозначился тупик. Оба варианта чреваты трагедией. Следовательно, из двух зол будут выбирать наименьшее.

Но где гарантии того, что...

Нет никаких гарантий!

Это мне стало ясно уже около оцепления — в первую же ночь.

Дождь продолжает сыпать из черноты небесной. Под ногами лужи, рассекаемые колесами бронетранспортеров и машин «скорой помощи», которые то и дело подъезжают к зданию. Доченька моя, где ты, что с тобой сейчас?!

Я затерян в толпе. Но какая-то девушка узнает меня:

— Я из «Эха Москвы»... Марк Григорьевич, поговорите, пожалуйста, в прямом эфире с Сергеем Бунтманом.

— А что я ему скажу?.. Я же ничего не знаю.

— Скажите, что считаете нужным. Я вас соединяю. — И протягивает мне телефон.

Я говорю Сергею лишь одно: что моя дочь там. И что я в шоке. Боюсь, как и все, взрыва. Боюсь гибели всех заложников, сидящих на пороховой бочке...

— Что, по-вашему, нужно делать? — спрашивает меня ведущий «Эха Москвы».

— Не знаю, — растерянно говорю я. — Главное, надо спасти людей.

Что другое я мог сказать?..

* * *

Война в Чечне?..

Нет, война в Москве. Теперь она приблизилась к каждому из нас и дышит нам в нос мерзким дыханием смерти.

Мы все, стоящие здесь, только что были разъединены и не знакомы и вдруг в общей беде оказались абсолютно близкими и отныне зовемся общим именем. Мы теперь не толпа, не случайная компания очень нервных людей, мы — «родственники заложников».

— У террористов одно требование: остановить войну в Чечне.

— И ничего больше?

— Ничего.

Странно, я не террорист, но мне хотелось бы точно того же: чтобы война в Чечне закончилась.

Однако я не собираюсь ради этого кого-то взрывать.

— Сволочи!.. они играют жизнями невинных людей!

Да, но и в Чечне гибнут отнюдь не только боевики. Самашки, Старые Атаги, Первомайск и Буденновск, Басаев, Буданов, отрезанные уши и головы, беженцы и слезы матерей с обеих сторон... Сразу и не скажешь, кто тут — в каждой смерти — больше прав, а кто больше виноват.

Война — зло. Террор — злодеяние. Нет оправдания ни тому, ни другому.

В моей голове сумбур — от дикого волнения и самого неприятного чувства, которое только и может быть у мужика в момент беды, от чувства бессилия.

Что бы ты сейчас ни сказал, тебя не услышат.

Что бы ты ни сделал, это сейчас никого не спасет.

Меня охватывает бешенство от невозможности повлиять, *лично* повлиять на ситуацию.

* * *

Предпринимаю еще одну попытку проникнуть в штаб. Нахожу офицера, которому вроде бы подчинено оцепление. Стараюсь говорить спокойно. Мол, я отец девочки и могу предложить себя в заложники вместо дочери. Чеченцы на это пойдут, я для них стою дороже, чем жизнь ребенка. При этом я могу выполнить любое тайное задание штаба.

Офицер смотрит на меня, как на идиота, потом чуть насмешливо (а может, мне показалось, что насмешливо) говорит:

— Отойдите в сторонку, гражданин.

Мысленно выругавшись, отхожу в сторонку.

Все правильно. Так и есть. Нас всех отсылают «в сторонку» от этой чеченской войны. До нас она «доходит» лишь, когда наши дети оказываются в гробах — цинковых или обыкновенных.

И при этом нас бесстыдно называют «гражданами».

Кто мы?..

«Граждане России!»...

— Отойдите в сторонку, граждане России!..

Снова решительно подхожу к офицеру.

— Может быть, пустите?.. Может быть, доложите начальству?.. Поймите, я должен... извините, я Марк Розовский, я должен во всем этом участвовать...

И снова офицер с той же тихой твердостью объясняет:

— Ничего не надо, господин Розовский. Там «профи», там специалисты... Они знают, как действовать. Они знают, что и как. Без вас обойдутся и примут правильное решение. Вы не волнуйтесь.

Эти последние слова я запомнил, и они мне тоже показались символичными. Но — потом, уже после штурма.

* * *

Дождь настучал по асфальту целые моря. Мы с Таней продрогли, забежали на заправку, где я купил бутылку коньяка «для сугреву» и вместе со стайкой молодых журналистов заковыляли «огородами-огородами» поближе к зданию с другой стороны, но и там наткнулись на не менее жесткое оцепление и... на помощника президента Ястржембского, подскочив к которому, услышал:

— Все дети освобождены и находятся в автобусе. Ваша жена освобождена (имелась в виду моя бывшая жена Лана) и находится в штабе с Нечаевым (имелся в виду её нынешний муж, бывший министр экономики России, ныне — президент финансовой корпорации, так что у него, к счастью, имелось больше возможностей проникнуть в штаб).

Я возликовал, но ненадолго. Набрал телефон Андрея Нечаева и, наконец, услышал сообщения, так сказать, из первых уст: да, Лана освобождена спецназом (больше никаких подробностей), а Сашка ни в каком автобусе, а продолжает быть «там».

Захлебываясь в словах, я прошу:

— Лана, я в ста метрах от вас, попроси Андрея, чтоб он вышел и провел меня в штаб. Я могу быть полезным, скажи, кому нужно... от кого зависит...

— Не надо, нет. Ничего этого не надо.

И — гудки. Связь прервана.

Конечно, Лана не в себе: она на свободе, а дочь под угрозой смерти. Но она физически — географически — ближе сейчас к Сашке, чем я!

Моя же отдаленность, бездарное и бессмысленное стояние у оцепления, мое все возраставшее чувство бессилия перед надвигающейся и каждую секунду могущей произойти бедой — все это топтало мне душу, все приводило в состояние тяжеловесной депрессии. Где выход? Нет выхода.

Наверное, эти подонки и стремились вызвать в нас ощущение полнейшей раздавленности.

...Неожиданно со стороны захваченного здания послышались автоматные очереди, что-то ухнуло... Господи, помилуй!.. Господи, помилуй!..

Затем все смолкло. Снова тишина — зловещая, невыносимая.

Значит, штурм, слава Богу, не начался. Значит, гибель людей *пока* не неотвратима.

Остаток бессонной ночи мы с Таней провели дома у телевизора — вместе со всей страной, прыгающей с канала на канал в поисках *другой* картинки и *другой* информации о произошедшем. Этот психоз только начинался — одно и то же бесчисленное количество раз. Но — не оторваться... А закрою глаза — и передо мной Сашка, Сашенька, Сашулька — ее глаза, ее улыбка и — слышу явственно, до умопомрачения — ее голос:

— Па-аа-апа, когда у тебя следующий «Пир во время чумы»? Мы всем классом решили пойти...

* * *

... В Чечне я никогда не был. И, наверное, не буду. Как-то не тянет.

Но если все же приеду, обязательно вскину голову и постараюсь разглядеть тамошнее небо поподробней. Неужели оно другое?.. Неужели не такое, как наше, — вместо облаков камни, вместо голубизны — чернота, вместо круглого солнца — квадратное?

Не верится.

И люди там вроде бы такие же, как мы: двуногие, двурукие, голова на плечах, сердце слева...

Это внешне. Внутри не сходимся. То, что в их головах, нам не подходит. То, что в сердцах, нам не понятно.

Сколько христианину не объясняй слово «джихад», он, неверный, будет твердить свое: «не убий» да «не убий».

Сколько иудею не доказывай, что все пути ведут в Мекку, он все равно будет целовать Стену Плача в Иерусалиме.

Мы — разные. И потому нелепо требовать, чтобы весь мир жил «по законам шариата». Я, например, не хочу и не буду.

Хоть убейте.

И не я один.

* * *

Семьсот с лишним человек пришли на мюзикл «Норд-Ост». Плюс шестьдесят актеров. Плюс обслуживающий персонал. Плюс полсотни террористов. Итого — восемьсот с гаком. Человек двести будут штурмовать. Значит, тысяча...

И все должны в один миг погибнуть в результате взрыва: дети и взрослые, женщины и старики, вооруженные и безоружные, единственные и неповторимые...

Читаю в послании Бен Ладена телекомпании «Аль-Джазира»:

«Задачей первоочередной важности на данном этапе этой войны должна быть борьба с неверными, американцами и евреями».

Саддам Хусейн туда же: осуждаю, мол, террористическую акцию против России, но главные наши враги — это сионизм и американский образ жизни.

Раньше были на карте мира так называемые «горячие точки» — Ближний Восток, Афган, Чечня... Теперь «горячей точкой» становится весь земной шар. Уже и в Австралию, тихую и далекую, поступают цинковые гробы...

В чем же причина?.. Или причины?.. Нет, *первопричина* террора как главного бедствия человечества, шагнувшего в третье тысячелетие?..

Нам надо понять, распознать и предъявить миру эту жуткую тайну, эту, если хотите, философию террора как явления. Иначе не спасти нам ни мою дочку, ни тысячу других жизней в «Норд-Осте», ни миллионов заложников, которые хоть и не находятся в зале, а все равно сегодня таковыми являются, несмотря на то, что им кажется, будто они на свободе.

* * *

... Вторые сутки пошли и прошли. Добавили бессонницы, но не убавили тревоги.

Телевизор перегрелся, а телефон раскалился от нескончаемых звонков. Друзья и незнакомые люди... Сочувствие, поддержка, проникновенная теплота... Слова, слова, слова...

А изменений в лучшую сторону — кот наплакал. Освобождены считанные единицы. Но все вокруг пылают оптимизмом: штурма не будет; говорят, и ясновидящая какая-то пообещала, что все будет хорошо.

А может, действительно?..

Время от времени, наугад набираю Сашкин мобильный — вдруг отзовется?.. Мало ли что там может быть?.. Вдруг произойдет чудо, и дочка ответит?..

Чуда нет. Есть реальность — восемнадцать смертниц, которых уже кто-то назвал «ходячими бомбами». В любой миг взрывные устройства на их поясах — по 2 кг пластида, начиненного гвоздями и шариками, — сработают, и тогда... Сорок детей, сидящих на балконе, и взрослые, что находятся вместе с ними, взлетят на воздух первыми жертвами и рухнут на головы тех, кто внизу. В братской могиле будет месиво рук, ног, голов и окровавленных камней...

* * *

...В пять утра раздался звонок...

Трубку схватила Таня.

Звонок был *оттуда*:

— Таня, это Саша. Ты, наверное, знаешь, что мы в заложниках. Передай папе, чтобы он собрал друзей и знакомых сегодня утром на Красной площади на митинг против войны в Чечне, иначе нас перебьют. А если митинг будет, нас после 2-х часов отпустят... может быть... Нас — это детей из «Норд-Оста».

И гудки. Таня не успела ни о чем спросить. Но было ясно — по тону девочки, по скороговорке, — Саша говорит по *их* указке, не своим голосом и не своими словами... Представился автомат над головой моей дочки...

Впоследствии Саша расскажет:

— Все дети были на балконе. Спали на полу, между креслами... Со свободных кресел сняли сиденья, — они служили нам подушками... И вот мы спим, вдруг выстрел... Это он нас так разбудил сразу всех...

— Кто «он»?

— Ну, один... У них один такой красивый был... На Рикки Мартина похож.

— На кого?!?

— На Рикки Мартина... Певец такой есть, папа, Рикки Мартин!..

— И зачем он вас разбудил посреди ночи?

— Там еще... тетя была. Их.

Я заметил: Саша после освобождения не называла «их» террористами, как мы. «Один», «тетя»... Нет, это не «стокгольмский синдром»... Это чисто детское избегание «недетских» слов, интуитивное отторжение от политики, от жути жизни.

— И что эта «тетя»?

— Она сказала: вы сейчас должны позвонить домой и сказать то, что я вам сейчас скажу. И раздала несколько мобильников.

...«Ты, наверное, знаешь, что мы в заложниках» прозвучало совершенно неестественно, а вот «иначе нас перебьют» — слишком убедительно.

Что я должен был сделать? Не идти на митинг?.. Пренебречь ночным звонком *оттуда*, лечь спать и дожидаться, когда «профи» всех освободят, а «переговорщики» до чего-нибудь допереговорятся?..

Еле дождавшись утра, я бросился на Красную площадь. Я летел туда по зову дочери, находившейся на балконе, под которым была взрывчатка, и мне было глубоко наплевать, санкционирован этот митинг или не санкционирован. Мне казалось: раз есть хотя бы один шанс помочь детям, надо использовать этот шанс. «Главное — спасти заложников»? Так давайте спасать не словами, а делом! Митинг — так митинг. Да хоть бы что — лишь бы что-то. Тут любое действие — в помощь «главному».

Поэтому я очень удивился, увидев «ментов», перегородивших проход на Красную площадь со стороны Васильевского спуска.

— Будет санкция — пропустим. Не будет — останетесь здесь.

Вместе со мной у подножия Василия Блаженного оказались верные друзья и коллеги — Саша Гельман, Юра Ряшенцев, Миша Козаков, Володя Долинский, множество знакомых и незнакомых продолжали стекаться сюда, но было видно — народу недостаточно, чтобы акция выглядела весомой.

Масса журналистов, несколько телевизионных камер... Все крайне возбуждены...

Через живой эфир «Эха Москвы» я позвал москвичей прийти на этот митинг.

— Сейчас... сейчас прибудет автобус с Дубровки — там родственники заложников...

— В настоящий момент Ястржембский решает с московскими властями вопрос о санкционировании митинга. Подождите начинать. Минут через 15 будет известно решение.

Ждем. Хотя чего ждать-то... Народу уже собралось достаточно. Кто-то из молодых людей расстелил на асфальте ватманы, на которых оказались начертаны фломастерами импровизированные лозунги.

Наконец новость:

— Ястржембский сказал: для того чтобы получить официальную санкцию на митинг, необходимо собрать не меньше тысячи человек.

Кому сказал? И сказал ли именно так — за это не ручаюсь, но выяснять нет времени.

Плакаты подняты. Начинаю говорить первым:

— Проклятие войне!.. Проклятие террору!.. Не хочу, чтобы моя дочь умерла в 14 лет!..

Срываюсь на крик, а как, простите, тут не сорваться...

Мудрый Александр Гельман выступает не по-митинговому рассудительно: его речь обращена не столько к присутствующим, сколько к телезрителям — и это очень хорошо, если его послушают, если его услышат...

Следует еще несколько замечательных выступлений — и вдруг, откуда ни возьмись, какой-то провокатор вылезает с заявлением:

— Кавказ — Кавказу!.. Долой русских из Чечни!.. Это ваш Ельцин начал войну... Всех демократов к суду!

— Ты кто? — спрашиваю я. — Ну-ка, назови себя.

— Я азербайджанский журналист.

Врет. Я много раз бывал в Баку, знаю азербайджанский акцент.

— Вали отсюда!.. Мы здесь не за тем, чтобы ты тешил свою ксенофобию.

Похоже, именно этого господина я видел со спины во время штурма, когда обнаружили «связного» — информатора террористов.

Запомнился также улыбчивый милиционер, ходивший в толпе с блокнотиком, в который аккуратно переписывал с плакатов все тексты и лозунги.

Несанкционированный митинг (если это можно назвать митингом) закончился.

Теперь будем ждать: освободят детей после 2-х, или не освободят...

* * *

Не освободили.

Радуйтесь, те, кто считал, что не нужно «потакать» террористам. Радуйтесь, «патриотисты», чьи дети сейчас и всегда вне опасности: война в Чечне — чужими руками, чужими жизнями — будет продолжаться до бесконечности, и до бесконечности можно будет трепаться о том, как «черные» не дают нам житья, заполонили всю Россию... Прав был товарищ Сталин, учинивший геноцид чеченскому народу! Бей их! Дави!

Будем «чечнить» Чечню и дальше. А они будут «чечнить» нас. Кавказ для Кавказа! Бей русских!.. Бей сионистов!.. Бей! Бей! Бей!

... Не освободили. Как, однако же, кое-кому хорошо!.. Как, однако, это выгодно всем — и тем, кто организовал теракт, и тем, кто должен теперь применить силу для освобождения заложников. Руки развязаны, ибо есть веский аргумент в пользу кровопролития: с бандитами нельзя договориться.

К вечеру 25 октября я пришел к самому неутешительному выводу: штурм будет, вокруг врут.

Подтверждения тому прямо-таки посыпались на мою голову.

Во-первых, само «несанкционирование» антивоенного митинга есть не что иное, как нежелание «профи», чтобы им кто-то мешал. Общество следует готовить к применению силы и все, что этому противоречит, должно этой «силой» быть отменено. Необходимо совсем иное: внушить обществу в канун штурма, что все «мирные» инициативы провалены, иного средства, нежели «удар по террористам», не осталось.

Вот и Жириновский (а в критические минуты к нему полезно прислушиваться, ведь он *специально* «проговаривается» в таких случаях, *готовит* нас к самым безумным действиям) в интервью по радио из Ирана накричал в своем обычном стиле: надо пустить газ, затем атаковать. Кто выживет, — тот выживет, а кто не выживет... Таких будет меньшинство!.. Значит, по этому сценарию, Сашке моей уготовано или — или: оказаться либо в большинстве, либо в меньшинстве... Других вариантов нет!.. Это в *лучшем* случае. В худшем погибнут все.

И этот худший вариант наиболее реален.

Второй признак надвигающегося штурма — отмена прямой телетрансляции с места события. Было объявлено, что с утра 26 октября репортажи будут иметь лишь выборочный информационный характер.

Третий признак сродни второму: нам сообщили, что террористы намерены начать расстрел заложников с 6-ти утра. Но кто сообщил?.. Столь важное, я бы сказал, самое важное в ходе террористического акта сообщение по логике злодеев должны были взять на себя сами злодеи — тот же Бараев был просто *обязан* лично сказать об этом по телевидению, — дабы еще больше устрашить нас и весь мир, не так ли?.. Но он почему-то этого не сделал. *Самую страшную* информацию мы получили из косвенного источника, без каких-либо подтверждений со стороны террористов. Значит, можно предположить, что искомый повод для штурма готовился вместе со штурмом.

Оцепление отодвигали от здания «Норд-Оста» все дальше и дальше. На 50 м. Еще на 50... Еще на 100...

Значит, бой, взрыв, осколки.

Чем ближе к утру 26-го, тем громче нам твердили: штурма не будет. А приметы близкой беды множились. То, что штурма не избежать, я ощущал уже просто физически. Освободили помещения для госпиталя, где можно разместить раненых... Где-то промелькнуло сообщение, что спецназ тренируется на точно таком же здании (я знал, что это дворец культуры «Меридиан», где мы не раз выступали). Последним пришло здравое, если не циничное, осознание, что штурм «выгоден», он станет «звеном в общей мировой справедливой борьбе с международным терроризмом».

Все складывается чудесно, за исключением того, что в «Норд-Осте» Саша и еще восемьсот потенциальных жертв...

* * *

Днем 25-го октября позвонили от Савика Шустера:

— Приглашаем вас принять участие в сегодняшнем прямом эфире «Свободы слова».

Я понял, что это выступление — мой долг.

В «предбаннике» студии мы встретили Анпилова с группой товарищей. Они рвались в живой эфир, но встретили отказ: «Мы вас не приглашали». К моему удивлению, анпиловцы не стали возражать и исчезли так же тихо, как появились. Остались приглашенные.

Я подошел к Шустеру и попросил:

— Нельзя ли не акцентировать, что я отец Саши Розовской?.. Ведь если они *там* смотрят вашу передачу, это может отразиться на судьбе моей дочери...

— Да, может, — сказал Савик, внимательно посмотрев мне в глаза.

— Извините. Я хотел бы быть предельно осторожным сегодня.

— Понимаю, — сказал Савик.

Конечно, мы дули на воду. Я в тот момент и не знал, что в «Известиях» уже опубликован полный список заложников, и Саша, конечно, была в том списке...

За десять минут до эфира всех участников передачи предупредили: выбирайте выражения — вас смотрят не только телезрители, но и террористы. Так что «не навреди», «не вспугни», «не раззадорь зверя»... Я воспринял этот совет как чрезвычайно ответственное поручение. Слава Богу, нарастающую опасность штурма в тот вечер чувствовал не я один. Все выступавшие были единодушны: нельзя допустить бессмысленных жертв, войну в Чечне следует прекращать — и вовсе не потому, что того требуют террористы, а потому, что любому народу любая война — поперек горла.

Мое выступление в «Свободе слова» 25 октября было и сумбурным и косноязычным, но я страшно волновался, к тому же не спал уже двое суток.

Пришла пора, говорил я, не на словах, а на деле заканчивать то, чего не следовало и начинать. Те, кто держит в заложниках наших детей, совершают насилие. Они сильно заблуждаются, полагая, что насилие можно победить только насилием. Но и мы, к сожалению, разделяем то же самое заблуждение и тем самым загоняем ситуацию в тупик. Одно насилие рождает другое насилие, другое насилие — третье, потом будет четвертое, пятое, сотое... И эта цепочка бесконечна, конец чувствуют только мертвые. Я говорил, что Родина ответственна перед своими детьми. И если она посылала их на бессмысленную смерть в Афганистан и Чечню, то это должно, наконец, прекратиться.

«Сегодня, — говорил я,— единственный, мне кажется, способ — прямо, честно, без лишних слов, без демагогии, без разговоров о том, что «главное для нас — человек» (а при этом ничего не делать), — руководству страны принять ответственное политическое решение и вывести «избыточные войска». Я не специалист, я не понимаю, что такое «избыточные войска». Может быть, вывести все войска... Но Президент должен выйти к людям, — мне так кажется как просто обыкновенному рядовому гражданину, — и сказать:

— Дорогие мои! Сегодня во имя людских жизней, во имя освобождения заложников — детей, женщин и мужчин, я вынужден... подчеркиваю, **вынужден**!.. сделать то, что требуют от меня эти люди»...

Я говорил, что, как это ни тяжело, но сегодня другого пути к спасению всех и каждого лично я, к сожалению, не вижу. Мне скажут, говорил я, ну, что же ты такой «не патриот», как ты можешь такое советовать? Но когда сегодня еврей Рошаль и еврей Кобзон выводят оттуда русских людей — почему-то я не вижу

русских «патриотистов» там! Почему я не вижу их?! Да, говорил я, у бандитов, у преступников нет национальности. Но нет национальности и у горя...

Последних моих слов никто не услышал — Савик Шустер начал читать душераздирающий список детей-заложников. Но последние свои слова я считаю наиважнейшими. Я сказал, что вся русская культура, вся русская история свидетельствуют о том, что насилием нельзя отвечать на насилие, и если бы за одним столом с нами сидел Федор Михайлович Достоевский, он бы рассказал нам, что такое терроризм и каковы его истоки. Я говорил, что жертвы никогда не приведут нас к главной цели — к концу войны*.

...Нельзя одной рукой держать свечку в церкви, а другой голосовать за смертную казнь, как нельзя считать себя христианином и одновременно кровавить себя невинными жертвами.

* * *

И вот то, чего все боялись больше всего, началось.

Сердце застучало чаще, дыхание сбилось: замирая от ужаса, мы ждали взрыва.

К счастью, этого не произошло. И это была победа. Понеслись — строго дозировано, малыми порциями — информативные сводки, которым жадно внимал весь мир.

А между ними — хроника апокалипсиса: солдаты спецназа, выносящие отравленных людей. Их руки болтаются, многие без сознания... Их «складируют» прямо у входа. Мертвые?.. Да, несомненно, есть и мертвые.

Вглядываемся в ужасающие кадры: перед нами — ад. Нельзя смотреть на эту правду без содрогания. Правду жизни и смерти.

А глаза мои ищут в этой кишащей движением толпе Сашу — вдруг увижу?! Вдруг узнаю?!

Утро и вся первая половина дня — в психозе: где она? Обзвон больниц бесполезен — оба объявленных телефона заняты напрочь.

— Позвони Рошалю, — говорит Таня. — Вы же с ним знакомы.

Да, знакомы. Но...

— Неудобно, — говорю я.

— Удобно. Твоя дочь была в заложницах. Очень даже удобно.

Через полчаса выясняется, что Саша в Русаковской больнице.

Прилетаем туда. На часах — час дня.

Входим в палату.

---

* Много позже в интервью «Комсомольской правде» Савик Шустер удивил меня заявлением: мол, он жалеет,что не прервал Марка Розовского на том выпуске «Свободы слова» в живом эфире в канун штурма, ибо его, Розовского, выступление было ... «шовинистическим» (!). Вот-те на!.. С точностью до «наоборот» я говорил о так называемых «ПАТРИОТИСТАХ» (то есть не о подлинных патриотах!), чьи воззрения как раз совпадают с бредом шовинистов всех мастей. Именно против этих фашиствующих падл был направлен мой пыл: люди, запомните этот момент, когда евреи спасают русских людей!.. Советую, Савик, прокрутить разок-другой видеозапись той передачи, чтобы убедиться: переворачивание смысла не к лицу серьезной и честной журналистике.

Сашка под капелъницей, лицо бледное, опухшее, но глаза — смеются... Жива моя дочка!.. Осталась жива!

* * *

... 129 погибших... Много это или мало?

Сама постановка подобного вопроса — неприемлема.

Попробуйте объяснить актрисе нашего театра Виктории Заславской, которая сутки после штурма моталась по моргам Москвы и, наконец, обнаружила своего Арсения мертвым, что ее тринадцатилетний сын входит в это «мало» или «много» — как она это воспримет?

К матерям и близким погибших невозможно подступиться с утешительными речами — не только потому, что им тяжелее всех, но потому, прежде всего, что они знают — жертв можно было избежать, штурма могло не быть. Могло бы, если иметь в душе незыблемый постулат: жизнь *каждого* человека на земле единственна и неповторима. И потому бесценна...

А я сегодня — счастливый отец, счастливый безмерно. И безмерно благодарный тому неизвестному солдату, который вынес мою Сашу из здания.

Я поинтересовался у Пал Палыча, главврача Русаковской детской больницы, когда точно мою дочь привезли к ним.

— «Скорая помощь» с восемью детьми прибыла к нам в 7.15 утра. Троих сразу поместили в реанимацию. Ваша дочь шла сама и даже назвала себя — Саша Розовская. Мы ее спросили, где она прописана — на этот вопрос она не сумела ответить, сознание у нее в тот момент было мутное, рассеянное...

Значит, подвергшись отравлению «как все», Саша выжила потому, что ей страшно повезло — спецназовец вынес ее одной из первых. Задержись она там на полчаса — час, исход мог бы быть столь же трагическим, как у Арсения и Кристины. Ведь они там были и сидели рядом!

— Кристина много плакала! — рассказывала мне Саша потом. — Она вообще была очень возбуждена.

— А ты?..

— А я ее держала за руку. Крепко так держала и шептала: «Перестань».

Через несколько дней, стоя у могил Арсения и Кристины на Ваганьково, я с горечью и болью представлял себе этих детей на балконе «Норд-Оста». Почему такое выпало на их долю? Почему именно они, наши дети, должны были рассчитываться жизнью за войну в Чечне? За эту проклятую войну, в миг террористического акта сделавшуюся из виртуальной абсолютно реальной... Как же нам должно быть стыдно, неловко жить *после* них! Всем, всем — и русским, и чеченцам...

Арсения я знал с пеленок.

Он в нашем театре был такой же, можно сказать, «сын полка», что и Сашка... Вместе все «новогодья», вместе летом на даче, вместе пошли и в «Норд-Ост»... 5-го октября Арсений сыграл главную роль — Саню Григорьева в детстве, а жить ему оставалось ровным счетом 20 дней...

И вот они лежат в своих гробах в церкви Ваганьково — Арсений Куриленко и Кристина Курбатова. Ранняя смерть сделала их похожими друг на друга, почти близнецами... Их не вернуть уже ни на сцену, ни в жизнь...

Слезы льются из глаз людей. И в то же самое время из глаз нелюдей проливаются «крокодиловы слезы».

Почему я, счастливейший из счастливейших, говорю сейчас так резко?.. Потому, что до гибели людской, до гибели детской говорил «осторожно», боясь «навредить». Однако нынче следует быть честным и высказаться до конца.

Давайте все же попытаемся проанализировать, что все-таки произошло на Дубровке, и сделаем кое-какие выводы.

* * *

Никто так и не доказал необходимость штурма как единственного способа сохранения жизни заложников. А факты говорят: план ответить насилием на насилие был принят с самого начала. Убийственный план, в основе которого всевечная позиция безбожников «цель оправдывает средства».

«Вечером в пятницу около Дубровки началась передислокация сил, — пишут "Известия" 26 октября. — Наш источник в ФСБ, дежуривший возле захваченного здания, подтвердил эту информацию. — Смотрите ночью телевизор. Через несколько часов все это закончится, — пообещал он». Как совместить все это с объяснением, что штурм начали *из-за* расстрела (гибели) двух заложников? Или эта «гибель» *планировалась?* — спецслужбам необходим был повод для начала штурма: если такого повода нет, его надо было выдумать.

«Штурм был вынужденной мерой», поскольку террористы пообещали расстреливать заложников. Это не так. Правда состоит в том, что никакого расстрела не было. А если он был, почему мы не узнали имена расстрелянных? Их надо было бы хоронить со всеми почестями, как героев, павших в борьбе с проклятым терроризмом. Всего этого не произошло. Ибо был не расстрел, а информация о расстреле, имитация расстрела, после которой можно было начинать пускать газ. Нужно было показать злодеев в виде злодеев — вот и показали. Для пользы дела.

Той же цели послужила смерть Ольги Романовой — той самой девушки, которая ринулась лично «освобождать заложников». Святая простота!.. Однако каким-то чудом она прорвалась в здание, где ее, пьяненькую, и кокнули... Однако вопрос: кто все-таки виновен в ее смерти?.. Террористы, несомненно. И все же у этого убийства не расследованная тайна: кто *из наших* пропустил девушку к зданию?.. Я был на Дубровке в первую ночь и свидетельствую: через стоявшие там оцепления муха бы не пролетела. Значит, *подстава*?.. Значит, решили: пусть дурочка пойдет, пусть... — нам это на руку, для нас это очень кстати. В подготовку штурма должна входить не только боевая часть работы, но и пропагандистская. Так в угоду главной цели можно принести в жертву чью-то жизнь. Для пользы дела.

Хорошо, если эта версия не имеет оснований. Но тогда почему никто и пальцем не пошевелил, чтобы найти и привлечь к ответственности то оцепление, через которое прошла невидимкой Ольга Романова?.. Молчок. Всплеснули ручками и — забыли!

В цивилизованном государстве, где власть ответственна перед своим народом, следовало бы провести не *общее* расследование, а расследование *по каждому* погибшему — и не в результате собственно террористического акта, а в

результате нашей борьбы с террористическим актом. Но Дума недаром отказалась создать парламентскую комиссию, способную честно выявить обстоятельства трагедии на Дубровке. И это покрывает ее, Думу, несмываемым позором.

Селезнев что-то такое успел произнести: мол, Савик Шустер в канун штурма устроил «истерику» на канале НТВ. И невдомек Селезневу, что это все мы, участники передачи «Свободы слова», делали в тот вечер все возможное, чтобы *спасти* людей, а он, Селезнев, сидя у телевизора, дулся от собственного «патриотизма» и «железной воли». Об «истеричных пораженцах» патриотически заявил в «Известиях» от 30 октября Олег Осетинский.

Куда всякий раз ведут нас эти самые «патриотизм» и «железная воля», мы знаем. Проходили: «Мы за ценой не постоим»... И верно: вот только цену назначают одни, а расплачиваются другие.

Неясно вот только почему после победы на Дубровке, где свои перебили столько своих, в Чечне опять новые трупы да трупы? Чего добились те, кто «без истерики» провозгласили себя победителями?

Хороша победа!.. Их сорок, наших 129!..

— Но ведь могло же быть больше! Если бы не газы, погибли бы все.

Нет, дорогие. Никто бы не погиб, — если бы не газы.

А ну как вообще *никто* бы не погиб — вот куда надо, и ни на миллиметр в сторону! Одно обещание переговоров, даже не сами переговоры, могло бы спасти людей. Одно только *обещание* переговоров спасло бы *всех* до единого. Может, стоило бы вспомнить Кутузова, которого отдельные дураки так же упрекали в свое время и в пораженчестве, и в антипатриотизме...

Но мы-то «Москвы не отдали». Мы решились на штурм. И что же?

* * *

«Нас не поставить на колени», — сказал президент... Сказано хорошо. А еще сказано: «Мы не смогли спасти всех»...

Да ведь и не пытались!

Как теперь жить-то будем — с чувством вины или без?.. Со стыдом или без стыда?..

Да, ситуация была трудная — из сложнейших. Но именно в таких ситуациях проверяется «наше всё»— дух, культура, патриотизм, совесть, ответственность...

Хаос, возникший после штурма, — не выдумка «истеричных пораженцев», а классический пример преступной халатности и безответственности лиц, готовивших контртеррористичекую операцию. По точному выражению Жванецкого: у нас «силовики», а нужны «мозговики». В самом деле, чем можно объяснить, почему спасательные работы не были просчитаны нашими «профи». Конечно, они ожидали, что будут жертвы, но не ожидали их в таком количестве.

Вслед за «Альфой», успевшей на входе надеть противогазы, должен был идти санитарный батальон со шприцами в руках. Укол антидота должны были получить все до единого, кто находился в здании. Но даже носилок не было — считанные единицы. Работало всего 80 карет «скорой помощи» — маловато на восемьсот отравленных газом. В 5 «автобусов» загрузили 100 человек, многие из которых живыми до больницы не доехали. Эти автобусы сразу же прозвали «автобусами смерти». Что творилось в них по дороге — известно одному дьяволу, ранее побывавшему в душегубках Освенцима.

Теперь можно все валить на террористов. Все, мол, из-за них.

Но террористы-убийцы не идут ни в какое сравнение с убийцами, действовавшими с *нашей*, так сказать, стороны. Все боятся назвать вещи своими именами!. Но, повторяю, массового убийства своих своими же — можно было попытаться избежать. Попытаться избежать штурма.

Впрочем, собственно штурма и не было. Была стремительная газовая атака, сделавшая бой ненужным. Газа, конечно, подпустили больше, чем надо было. Тому оправдание — вдруг кто-то из «смертников» успеет рвануть взрывчатку. Не рванули.

Почему?

Это очень серьезный вопрос. Ведь многие заложники, даже большинство из них, заверяли, что слышали выстрелы поначалу, а отключились — потом. У террористов, несомненно, было 15-20— 30 секунд, чтобы понять, что наступают их последние минуты. К тому же, находящиеся в разных концах зала, они не могли заснуть все одновременно, секунда в секунду. Ждали команды, которая не поступила?.. Вряд ли, скорее в кульминационный момент смертникам предписывалось самим «проявить инициативу»: каждому фанатику-шахиду предлагалось идти в рай счастливым героем-мстителем. За этим они сюда и ехали!.. И миг смерти для них был бы мигом счастья...

Так почему же они не взорвали зал? В конце концов, за эти 15-20-30 секунд они могли уничтожить ползала, поливая по нему из автоматов Калашникова или бросив пяток гранат. Они не сделали этого. Почему? Потому, что предпочли смерть, по их понятиям, мученическую, то есть *за идею*. Простой суицид им был не нужен, о чем они, между прочим, сразу заявили заложникам: «Мы не хотим вас убивать. Мы хотим, чтобы вы не убивали нас». Странные какие-то террористы!.. С одной стороны, негодяи, подонки, бандиты, захватившие семь сотен ни в чем неповинных людей. С другой — кроме «подсунутой» Ольги Романовой, они, правду говоря, убили — кого?.. Ну, назовите еще имена!..

Была ли у них настоящая взрывчатка? Это вопрос вопросов. Если была, террористы, сознательно отказавшиеся ее применить, заслуживают и получают право именоваться скорее смертниками. Если же взрывчатка была фальшивая, знали ли об этом спецслужбы?

Знали? Значит, штурм — преступление.

Но ведь если не знали, если думали, что взрыв здания возможен, штурм делался начисто неприемлемым.

Неужели газ давал такую твердую уверенность в успехе операции?

* * *

Газообразное вещество, которым через вентиляционные трубы дурманили *всех подряд* — и заложников и террористов, — назвали фентанилом и сразу стали доказывать, что это не боевое отравляющее вещество, относимое к химическому оружию, а некое наркотическое усыпляющее средство, применяемое в медицине (кстати, почему-то никому из медиков неизвестное). Фентанил, пущенный в зал, сделал свое дело — террористы разделили смертную участь с теми заложниками, кто задохнулся отравой. Первыми ушли из жизни люди, чья сердечно-сосудистая система оказалась не готова к испытанию на проч-

ность. Фентанил выполнил боевую задачу на «отлично» — теперь за дело могли взяться «отличники» стрельбы по спящим.

Да здравствует фентанил!

Он опробован на людях и показал себя с самой лучшей стороны. Результаты — налицо. Никто не ожидал такого блеска, иначе кто-то должен был подумать, что за несколько минут надо будет вытащить из этого ада восемь сотен человек. Никто не подумал. Опыта подобного не было.

Теперь есть. В следующий раз после применения фентанила на штурм пойдет дивизия со шприцами и носилками.

А тринадцатилетнего Арсения уже нет и не будет с нами...

* * *

Представляется диким праздничек в арабских кварталах после 11 сентября. Однако было бы большой глупостью считать, что эти песни, пляски и вздымание рук чем-то отличаются от нашего «чувства удовлетворения» при виде заснувших вечным сном в картинных позах девушек—шахидок. Смерть — любая, даже смерть врага — не может радовать. А если радует, — значит, мы такие же, как и наши убийцы.

Наступает эпоха контртеррористических операций, опасных для человеческой жизни ничуть не меньше, чем операции террористические. События на Дубровке учат нас: не дай Бог, случись дальше что-то подобное, заложники будут опасаться своих спасателей не меньше, чем террористов.

Возмездие злу — необходимо, спорить тут нечего. Но наше зло должно при этом убывать, а не увеличиваться. Иначе чем мы лучше Бен Ладана?! И как бы в борьбе с терроризмом нам самим не вступить — вольно или невольно — на сомнительную дорожку «кровавой мести». Наказывая терроризм, мы хотим утверждать братство людей, а не человеконенавистничество. В том есть и будет главное отличие людей от нелюдей. Но если нами правит асимметричный «ответ», если «акция возмездия» — на уровне Буданова и ему подобных, — лично мне становится стыдно за христиан, за Россию, за себя как гражданина своей страны. Чувство *сострадания* сегодня во многом растеряно в нашем народе. Жажда крови поразительно легко *побеждает* души опустошенных людей. И это толкает нас на фронт — в мирное, по существу, время.

Отечество в опасности... Да, в опасности — потому что злобе и злобствованию не ставятся пределы. К примеру, закрытие Комиссии по помилованию — это маленькая частность, но очень уж показательная. Мораль не подключается к исполнению закона, потому—то на законы можно плевать, можно «договариваться» с властью, как законы обходить.

Приведу одну цитату:

«Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный могучим семейством, созданный трудами многих и многих поколений, освященный богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурой. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы... Планетарный же злодей, осененный знаменем с изде-

вательским призывом к свободе, братству, равенству, высоко сидел на шее русского "дикаря" и призывал в грязь топтать совесть, стыд, любовь, милосердие... Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил миллионы людей, а среди бела дня спорят: благодетель он человечества или нет?»

Это слова, сказанные Иваном Буниным аж в 1924-м году и адресованные товарищу Ленину. Тому самому, кто, пытаясь сохранить себя у власти, первым делом после октябрьского переворота уничтожил оппозицию во всех видах, утопил в крови Родину — от Крыма до Владивостока, санкционировал концлагеря для политических противников (в том числе для детей-заложников) и — внимание! — применение удушливых газов против тамбовских крестьян, восставших и не склонившихся перед советской властью.

Так что газы — это нам не впервой вдыхать. Фентанил — не фентанил, но... Вся наша история, можно сказать, это вдыхание миазмов полной грудью. Мы просто десятилетиями наслаждались трупными запахами — «лес рубят — щепки летят!», «убить человека — трагедия, убить миллион — статистика».

Террор всегда был удобен властям — в ответ развязывалось насилие гораздо большего масштаба, государство чуяло «полезность» террора для себя лично и всегда радовалось возможности учинить новое насилие в борьбе со старым. Режим укреплял себя постоянным кровопролитием, и народ — куда ему деться? — шел на заклание.

* * *

В середине ноября в «Известиях» появилась статья диакона Андрея Кураева, главная мысль которой: есть люди «равнинные» — это мирные землепашцы, трудяги и нравственно чистые (читай: русские), а есть «горцы» — это те, кто кочуют, воруют скот и людей, совершают набеги на «равнинных». Простое разделение, ничего не скажешь. И главное, удобно: «мы» — хорошие, «они» — плохие. Вся Чечня — разбойники и убийцы. Вся Чечня — негодяи и воры. Вся Чечня — криминал и рабовладельческое «племя». Народ-подлец. Народ-боевик. Народ-враг. Ну, как тут не сделать вывод о неизбежной, объективно оправданной войне с «разбойниками». Оказывается, не ваххабизм, не терроризм исламских радикалов, не денежно-нефтяные интересы — первопричина войны и террора, а родовой строй Чечни, психология и менталитет «горцев». И читатели в большинстве своем (что и ужасает) немедленно поддержали ретивого церковника. Вот так диакон провозглашает право на насилие «без спецназа», вручает своим «овцам-прихожанам» оружие обороны от чеченцев. Проповедь на проповедь. Фанатизм на фанатизм.

Можно ли с таких позиций хотя бы помечтать о конце войны?

Да никогда!... Да и если Чечня нам столь чужая, что ж мы так упорно боремся за объединение с нею, за целостность России?

* * *

Мы живем в мире, который не живет в мире. Выражение ненависти сделалось повсеместным. Противостояние — стандартная поза. Все имеют своего

любимого врага, которого готовы изничтожать круглосуточно и любыми средствами. Каждый борется с кем-нибудь. И каждому от кого-нибудь есть своя угроза.

Современный мир погряз в терроре. Человек звереет. Гуманизм сделался посмешищем. Слыть добрым — значит слыть слабым. Даже в Израиле сегодня многие не понимают тех евреев, которые, видите ли, «дали себя сжечь в печах Освенцима». Слабость не взывает к жалости, как прежде. Теперь слабых бьют — и это нормально. Жестокость — это нормально. Но мало убить врага. Его еще надо испепелить, превратить в ничто. А перед этим хорошо бы унизить, хорошенько оскорбить.

Враг тоже хорош. Зная, что я его не пожалею, он в долгу не останется, ответит тем же, но втридорога.

Ужас схватки перестал ужасать. Бьются друг с другом группы, кланы, каналы, команды, партии, фирмы, классы, альянсы, мафии, армии, администрации, демонстрации и др.

Бьются друг с другом одиночки. И — что, может быть, самое страшное — бьются друг с другом семьи. Дом на дом, улица на улицу, поселок на поселок. Очень хорошо натравливают нацию на нацию. Ксенофобия — на любой вкус. «Наши» враждуют с «не нашими», и попробуй не присоединиться к тем или другим.

Кастет, нож — это вчера. Сегодня — танк, автомат Калашникова, пистолет Макарова.

Число так называемых немотивированных убийств в нашей стране возросло до такой степени, что общество даже радо этой немотивированности: уж лучше так, чем сознательный кровавый разбой. Между тем, это число — показатель нравственной деградации.

Даже верующие способны пустить кровь: «Наша вера — лучше вашей, а ваша — хуже нашей. Бей неверных». Бывает: Церковь вовсе не проклинает кровопролитие, а наоборот: кропит оружие святой водой, освещает идущих в атаку. Именем Бога устраивают резню. Именем Бога превращают человека в волка. Именем Бога учат убийству — науке влеплять пулю с любого расстояния или подплывать с миной с любой глубины. Очень любят цитировать Христа: «Я принес вам не мир, но меч» и пытаются нам внушить при этом, что заповедь любви к ближнему отменена.

Пора осознать, что у народа цель — жить, а у тех, кто хочет воевать, — наживаться.

Около чеченской трубы, игорного бизнеса, московских гостиниц — ни для кого не секрет — круговерть «зеленых», каждодневно подпитывающих войну: покупка оружия, покупка тех, кто готов убивать за деньги. Многократно приходилось слышать от авторитетнейших людей: «Если б мы действительно хотели кончить войну, мы б ее давно уже закончили». Удивительный цинизм. Но никого он не удивляет. Вроде бы всем все ясно. Однако все остается по-прежнему: риторика риторикой, война войной.

* * *

Терроризму нет оправданий. Но нет оправданий и неумелой непрофессиональной борьбе с терроризмом. Наш «антитеррор» обернулся гибелью 129 живых душ. Их решено списать, вывести из списков недавней переписи населения по причине «смерть от удушья».

То гексоген, то фентанил... Что за напасти нового типа?! То своя же торпеда на «Курске»... Не много ли этих «своих», приносящих беду?.. Как что-то жуткое случается, тотчас находятся молодцы, рьяно желающие прикрыть правду — о Чернобыле, о «Курске» ли, теперь вот — о «Норд-Осте»... Для начала путают карты, выпускают множество версий, — какая из них «липовая», а какая правда, поди, разберись!..

Обыватель и не разбирается.

Разбирается *гражданин*.

«Отойдите в сторонку, граждане России»!..

Многие погибшие на Дубровке получили фальшивый диагноз: «Умерла от воспаления легких», «Скончался от стресса»... А через год, через три, через десять лет, отравленные заложники, сейчас выглядящие здоровыми, не дай Бог, получат осложнения в организме — будут ли они считаться *жертвами* теракта? Или всё забудется и останется шито-крыто?

У национальной безопасности есть всё — доктрина, деньги, люди, здания, оружие, свой президент... Не хватает маленько морали для осуществления своей деятельности, да ведь этой мелочи и раньше не всегда было в избытке.

Ох, уж эта «мораль»... Надоело слушать.

То им не так, это им не так. Прослушивание телефонных разговоров, говорят, надо запретить. Тыкать ядовитым зонтиком в нужного прохожего, считают, нехорошо. Доносительство в массах осуждают. Секретность рассекретили. Как работать в таких условиях?.. Как обеспечивать?

Жаль, в теракте на Дубровке участие мировой террористической мафии не доказано — Мовсар Бараев очень бы нам услужил, если бы немного потрепался по телефону не с каким-то чеченцем в Турции, а с этими Усамой или Омаром, — это был бы от него большой подарок и ФСБ, и ЦРУ.

Спецслужбы нашей страны... Здесь главное слово «нашей». Чьей — нашей?.. Той, которая *была* или той, какой *надлежит быть*? Если мы так и будем делать жизнь «с товарища Дзержинского» — значит, вседозволенность по-прежнему окажется подлейшей реальностью нашей истории. Нам всегда будут предлагать безопасность, от которой в недавнее время гибли миллионы.

Наши спецслужбы *справляются*!.. Ждите!.. Сохраняйте спокойствие!

Между тем, главная деятельность спецслужб состоит в рутинном внедрении в ряды бесчеловечного врага. Много ли среди чеченских боевиков наших тайных офицеров?.. Возможно ли *постоянное* предупреждение о готовящихся терактах? Насколько серьезны те или иные планы бандитов?.. Если разведка в силах отвечать на эти вопросы, наша безопасность обеспечена.

У нас же безо всякой разведки всем известно, что военные в Чечне продают оружие противнику. И это абсурд. Но это и правда, от которой наши слепоглухонемые спецслужбы отмахнулись. Абсурд в том, что этот «бизнес» на крови своих же солдат по сути то же явление позорного аморализма, что газовая атака с не просчитанными последствиями. Пройдет немного времени — кто-то получит ордена, кто-то понесет ответственность за «ошибки». Однако важно другое: для борьбы против терроризма необходима система, не имеющая ничего общего со старой Лубянкой.

Признаемся честно, на протяжении десятков лет мы более чем плодотворно сотрудничали с международным экстремизмом — многие лидеры и известные

своей агрессивностью организации пухли от наших тайных и открытых вкладов в их сомнительные режимы и дела. Сегодня на щечках Арафата следы поцелуев множества советских коллег, а в его слабеющих руках бухгалтерские отчеты с росписями, свидетельствующими о нашем давнишнем «присутствии» — зримом и незримом — в партии «ФАТХ», боевом ядре фанатиков ислама. Такие террористические организации, как «Хамас» и «Хезбалла», провозглашающие и реализующие «джихад», от нас не получили до сих пор не то что отпора, но даже формального официального осуждения.

Мы по-прежнему политиканствуем, играя «во все лузы». Мы или выжидаем, когда ждать не стоит, или молчим, когда надо бы иметь мужество сказать правду...

Все это вдохновляет террористов на новые подвиги. Когда же дело касается нас, мы, забыв о своих «друзьях», найденных среди волков, начинаем ахать и охать...

Тут-то и бывает поздно.

Ибо нельзя одним местом сидеть на двух стульях, нельзя целоваться с кем ни попадя. Нельзя врать себе и своему народу.

* * *

Последствия отравлений непредсказуемы. Но можно было предсказать, что у отравлений будут последствия.

Да кто ж их считает, эти «последствия»?

Те, у кого сила и кому, по поговорке, «ума не надо», о них и не задумываются. К счастью, объявлено, что пересмотра военной доктрины для допуска применения ядерного оружия в ответ на террористическую угрозу не будет. Уже хорошо.

Из двухсот спецназовцев, атаковавших театральный центр, никто не пострадал. Это большое достижение тех, кто выполнял свой долг и приказ. К «Альфе» и «Вымпелу» нет никаких претензий. Есть одна благодарность, и преогромная: они сделали все, что смогли.

Вот только...

«Тридцать процентов потерь — *хороший показатель*».

Ну, да. А если бы пообещали переговоры? Если бы не погиб *никто*?

Но тогда «показатель» не был бы таким «хорошим». Тогда «показателем» было бы «унижение России». Таково главное заблуждение, от которого веет смертью, и только смертью.

«Честь государства российского спасена» — это как смотреть и что считать «честью». Если в честном бою наших полегло в три раза больше, чем противника, извините, кто тогда из нас «пораженец»?..

Доводы, что сколько-то там процентов погибших с нашей стороны — «это нормально», совершенно неприемлемы. Вот это и есть «пораженчество». Профессионализм — в том, чтобы попытаться полностью избежать потерь. Это не идеализм. Так и только так следует практиковать.

«Государство не должно поддаваться терроризму». Конечно, не должно. Но если Вас шантажируют, ответьте тем же — сумейте обмануть террористов. Пообещайте им все, чего они требуют. Взамен *в первую очередь* освободите сво-

их граждан. Мстить можно потом. Сначала — освободите. Спасти своих — главная задача государства и военных. Дело чести.

И как может идти речь о *цене*: допустим или не допустим какой-то процент погибших?! Никакой процент недопустим. Ни один *наш* человек не должен погибнуть. Только так. Все остальное — или плохая работа, или безнравственность.

Потери могут быть лишь в том случае, когда *все другие* способы и методы провалились.

Отравление всех подряд *предполагало* неминуемые жертвы — значит, его надо было отвергнуть.

Но другой «сценарий» на Дубровке всерьез не играл.

Повторюсь: предупредить опасность взрыва можно было, *пообещав* сесть за стол переговоров, даже пообещав вывести войска. Да, это было бы компромиссом, но никак не «унижением России», ибо главная ценность для страны — жизнь ее граждан.

Штурма могло бы не быть — так я считал тогда.

Теперь, по прошествии времени, убедился: штурма не должно было быть!

* * *

...Не прошло и сорока дней с момента гибели первых заложников, а некоторые родственники при поддержке и наущению знающих законы адвокатов потребовали от московских властей сколько-то миллионов долларов (по миллиону за каждого погибшего). Московскую мэрию попытались объявить ответчиком за случившееся. Вроде бы мы можем следовать цивилизованным нормам — во Франции, говорят, именно по миллиону платят за каждый труп, давайте, мол, и у нас это дело провернем... Вдруг «халява» отвалится?...

Началась большая шумиха в прессе — имеют ли право они что-то требовать, или такого права у них нет.

Власти, конечно, испугались — кому захочется отдавать в перспективе 129 миллионов долларов. С другой стороны, дело щепетильное: не захочешь отдавать — прослывешь черствым, равнодушным к горю людскому чиновничеством.

Сразу сделалось как-то противно на душе. Конечно, можно понять нуждающихся. Но на «Норд-Ост» ходили не нищие, не «бомжи». Да и московская мэрия — тоже пострадавшая сторона.

Что-то тут в этой затее есть аморальное. Желание погреть руки на холодном трупе?..

* * *

Жизнь человеческая не может быть картой в игре.

Нельзя бороться с террором лоб в лоб. Надо быть хитрым и изворотливым, надо находить в себе силы и для притворства, и для кажущегося отступления.

Война — подлость. И на войне как на войне — побеждает тот, кто бьет по чужим. А не по своим. А у нас те же прекрасно знакомые подходы: неважно, сколько мы положили наших, важно, что мы положили «не наших» Только относительно «не наших» приходится сомневаться: ну в самом деле, по столь «ответственному» за этот теракт Масхадову что-то никто так до сих пор и не

ударил! А сколько было разговоров!.. Сколько праведного гнева! Сколько пропаганды!..

И ничего. Как была война, так войной и осталась. Трупы множатся, несмотря на то, что «восстановление Чечни идет полным ходом».

Значит, выгодна война тем, кто не хочет ее кончать, кто хочет ее бесконечного (от выборов до выборов!) продолжения.

По трубе течет кровавая нефть. И пусть себе течет — в чьи-то карманы война спускает денежки, и большие, между прочим.

А в заложниках у этой войны кто?.. Не мы ли все?

Чечня есть прорва. Но за наш счет. Федеральное финансирование устроено таким образом, что *половина* денег на так называемое восстановление остается в Москве: заказчики и подрядчики производят дележку и лишь затем другую половину отдают по месту назначения, а здесь начинается новый раздел. Выгода от этого процесса очевидна как боевикам, так и центру. Бюджетные деньги для того и планируются в бюджет, чтобы их разворовывать. Вы взрывайте, а мы будем чинить. Ремонт — одно из самых сверхприбыльных, а потому и сверхдлительных ассигнований — тут каждая волна имеет «откат», и этот прилив — отлив бесконечен. Одни «бандиты» кормят других «бандитов», и всем от этого только хорошо.

Так что надеяться на окончание этого чудесного со всех точек зрения процесса под названием «война» просто глупо. Все предусмотрено. Гробы заложены в бюджет. Трупы инвестированы...

* * *

... Каждый день знакомые и незнакомые люди спрашивают:

— Как дочка?.. Как Саша?

И ждут, что я отвечу: «Все хорошо. Она вполне здорова».

И я примерно так и говорю. Иногда добавляю:

— Всё в прошлом.

Но это не так. Ибо правда в том, что результаты анализов крови скачут — то норма, то плохо... И так может продолжаться еще долго... Последствия сильного отравления непредсказуемы. Они могут проявиться и через год, и через три... И даже позже. Конечно, вся надежда на силу молодого организма...

— Это как Чернобыль, — сказал мне один знающий врач. — Никто не знает, как оно может обернуться.

Конечно, для Саши самыми тяжелыми — может быть, еще тяжелее, чем дни и ночи на Дубровке, — оказались те три больничные дня, когда, лежа под капельницей, она узнала о смерти Арсения и Кристины.

Саша проявила волю, удивившую даже врача-психолога, сказавшего буквально так:

— У вашей дочери огромный психофизический ресурс.

Не знаю, действительно ли это так, но Саша нашла в себе силы, можно сказать, прямо из больницы поехать в канун похорон в храм Ваганьково на отпевание. Я думаю, четырнадцатилетняя девочка пережила в это время столько, сколько иным взрослым хватило бы на всю жизнь.

Сегодня Саша вполне адекватна, ее раненая душа взрослеет и крепнет.

Мы не расспрашиваем дочь о том, «что там произошло», — довольствуемся тем, что она сама рассказывает... А она больше молчит. Рассказывать подробно ее не тянет. По крайней мере сейчас...

Но, конечно, и забыть она явно не может... Это проявляется в каких-то мелочах, деталях.

Вот, к примеру, мы стоим у лифта. А из него — открываются двери — выходит сосед, чудный парень по имени Игнат, студент юридического факультета МГУ. Он отрастил короткую черную бородку и, надо ж такому случиться — надел камуфляжную куртку... Саша сталкивается с Игнатом нос к носу...

Отпрянула, будто обожглась!

Другой случай. Вместе с новой подругой своей Алисой Саша смотрит в Театре «У Никитских ворот» премьерный спектакль. По ходу представления в один прекрасный момент на сцене появляется женщина-милиционер, которая при встрече с хулиганом стреляет холостым в воздух.

Зрители в этот миг смеются, как по команде. Саша же в момент выстрела — нагнулась и спрятала голову за спинку впереди стоящего кресла. Единственная!.. Никто *так* больше не прореагировал.

Значит, Страх сидит в ребенке-подростке где-то в подкорке и долго, вероятно, еще будет сидеть.

И еще:

— Саша, а не хочешь, — спрашиваю я ее недавно, — сыграть девушку в моем мюзикле «Парфюмер»?..

— Нет, папа, — твердый ответ.

— Почему?

— Не хочу играть жертву!

Я ахнул. Но спорить не стал. Пройдет какое-то время, и я, конечно, попытаюсь ей объяснить, что при *таком* решении нельзя быть актрисой. Что это значит заранее отказаться от множества ролей мирового репертуара, потому что героини самых великих пьес сплошь и рядом именно «жертвы»...

Но сейчас...

Да, время лечит. Жизнь продолжается. Новые чувства, новые переживания неизбежны, и на них вся надежда...

Однако, можно понять мою Сашку: «жертвами» быть невыносимо. И в театре, и в жизни...

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ПУТЕШЕСТВЕННИКИ В ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ!

(О нашей образовательной системе)

Изданная при Н.С. Хрущеве многотомная *«Детская энциклопедия»* открывалась обращением академика Владимира Афанасьевича Обручева: *«Счастливого пути вам, путешественники в третье тысячелетие!»* Классик советской — и мировой — науки перечислил задачи, к решению которых должны готовиться (в школьных классах и университетских аудиториях) его юные современники:

продлить жизнь человека до 150-200 лет, победить все инфекционные болезни, *«поставить на службу человеку энергию Солнца, ветра, подземное тепло»*; создать вещества *«тверже алмаза, более тугоплавкие, чем вольфрам и осмий, более гибкие, чем шелк»*; *«предсказывать и обезвредить окончательно стихийные бедствия: наводнения, ураганы, вулканические извержения, землетрясения»*; *«вывести новые породы животных и растений»*; приспособить для жизни не только пустыню и тундру, но и морское дно; *«научиться управлять погодой»*

«Трудно это? Необычайно трудно. Но это необходимо() Значит, все это будет сделано. И все это будете выполнять вы, сегодняшние школьники (...), и не только те из вас, кто станет великим ученым, но и все остальные: токари и шоферы, трактористы и каменщики, медицинские сестры, ткачи, шахтеры... Великие задачи не решают одиночки — Волго-Донской канал строили не только авторы проекта

Только на новых фактах, на новых наблюдениях можно строить новые достижения. Факты — это кирпичи, из которых слагается человеческий опыт, это ваше оружие в творчестве. Неустанно ищите факты, собирайте их в природе и в книгах, читайте хорошие учебники от доски до доски и, кроме того, книги, не входящие в программу. Изучайте свою специальность досконально, но не жалейте времени и на чужую. Геолог, прекрасно знающий геологию, — ценный человек, а знающий, кроме того, географию, химию или ботанику, — возможный изобретатель Счастливого пути вам, путешественники в третье тысячелетие!» (1)

Путешествие окончено. Добро пожаловать в Третье тысячелетие, постаревшие путешественники!

Илья СМИРНОВ — родился в 1958 г. в Москве. Историк, закончил МГПИ им. Ленина. В 80-х гг. принимал участие в работе самиздатских журналов «Зеркало», «Ухо», «Урлайт». Автор книг «Время колокольчиков: жизнь и смерть русского рока», «Прекрасный дилетант», «Либерастия». Статьи публиковались в журналах «Знание-сила», «Театр», «Интеллектуальный форум», «Русский журнал» и др. Живет в Москве.

Конечно, футурология — жанр уязвимый. Сегодня любой газетный тусовщик может посмеяться над наивностью великого ученого. Но дело-то не в точности каждого конкретного прогноза. Нас отделяют от академика Обручева (и от его читателей, даже если это были мы сами) не технология, не политика, а *«состоянье ума»*.

Сравните с современными напутственными речами. *«Сегодня школа получила социальный заказ структурировать общество. Нужна школа, которая стимулировала бы формирование различных социальных групп, сословий, общин, местных элит, их стабилизацию и воспроизведение... С 1991 года в нашей стране проводится либеральная доктрина вариативного образования. Главный ее итог — выборы прошлого года, когда СПС и другие движения либерального типа получили невероятно много голосов* ***Образование — это набор услуг и не более того»*** (2).

1. Набор услуг: земноводные крокодилы, эсеры — пацифисты и В. Бондаренко в роли Белинского.

Автор этих строк впервые соприкоснулся с *«образовательной реформой»* именно как историк. В 1996 г. газета *«Первое сентября»* предложила мне рецензировать новинки учебного книгоиздания по истории и смежным общественным дисциплинам. Памятуя о том, что на волне горбачевской гласности вышел целый ряд талантливых учебников, которые раньше не могли пробиться сквозь бюрократические рогатки, я уже предвкушал занимательное чтение и общение (хотя бы заочное) с умными людьми.

Действительность превзошла все мои ожидания. Чтение становилось все занимательней и занимательней год от года. Из учебников, предложенных на рецензию, я узнал, что город Старая Русса основан при фараонах, что мусульмане — язычники, эсеры — пацифисты, зато лютеране — тоталитарная секта; что Древняя Греция была единым государством со столицей в Афинах; что варяги происходят не из Скандинавии, а прямо от Трипольской культуры, само же их название — от слова *«веревка»*; что в неолитической керамике зашифрована структура то ли белка, то ли ДНК, а в египетских пирамидах — расстояние от Земли до Солнца; что крокодил — земноводное, трутнем может быть любая пчела, а медведь ни за что не станет наедаться впрок (биологические открытия — из *«интегральных»* пособий по предметам, заменившим старое советское обществоведение). Юным гражданам РФ предлагают для изучения то памятник древнерусской литературы под названием *«Велесова книга»* (на самом деле это хрестоматийный пример фальшивки *«под древность»*), то творчески переработанный текст Десяти Заповедей, то коммерческую рекламу, включенную прямо в текст учебного параграфа. А в качестве *«внеклассного чтения»* — творчество В. Бондаренко из газеты *«Завтра»* и сборник Вик. Ерофеева *«Русские цветы зла»* (3).

Как известно, учебники — это не просто литература, которую каждый пишет, как он дышит. Они должны получать официальный гриф *«рекомендовано»* (или *«допущено»*) от Министерства образования или его региональных структур. И они его получают. Министерство образования охотно утвердило новый статус крокодилов, викингов и неизвестных жуликов, изготовивших из старой паркетной доски тоже очень старую *«Велесову книгу»*, а также еще одного гражда-

нина, немногим более известного, который в учебнике для педагогических ВУЗов провозглашен главным специалистом по Древней Руси. Оказывается, его фамилия Лесной-Парамонов (4).

В течение по крайней мере 6 лет (именно столько, сколько продолжаются мои наблюдения) жалобы на негодную продукцию от Министерства образования оставались не то что без внятного — без какого бы то ни было ответа. Продукцию не изымают, ответственных за нее чиновников не наказывают даже символически, для отписки. Да и о каком наказании может идти речь? За что? За невежество? За обман школьников? Но в методической литературе для учителей давно уже провозглашено равноправие *«научного знания»* с *«иными системообразующими началами»*. Например, работы Новгородской археологической экспедиции и фантазии *«Лесного— Парамонова»*, теория эволюции и мифы о сотворении человека из глины (или из навоза дикого осла) — всё это равноправно и равноценно. На уроке знанис и невежество должны достичь *«позитивного синтеза»* (5). Чтобы облегчить этот синтез, Министерство *«рекомендует обязательно»* заменять нормальные предметы *«интегративными курсами»*, т.е. склеенными на скорую руку *«инсталляциями»* из обрывков разных наук и пустопорожнего трепа (6): *«Граждановедение»*, *«Семейная экономика»*, *«Мир человека»* и пр., — имя им легион, а качество запредельное.Но именно ради них подвергается секвестру настоящее гуманитарное образование, история и литература.

Производителям *«ахинеады»* (7) заказывают новые и новые пособия. На официальных конкурсах, проводимых Министерством, они занимают первые места. В 2002 г. ***«победителем конкурса по созданию учебников по новейшей отечественной истории»*** объявлено произведение Н.В. Загладина с соавторами, в котором эсеры как раз и стали *«пацифистами»*, черносотенные погромщики — *«консерваторами»*, а Алла Пугачева, согласно тому же учебнику **истории** — это, оказывается, человек, при поддержке которого ***«широкой публике стали известны имена многих молодых талантов»*** (8). Хотелось бы знать *«многие таланты»* по именам...

Но заказчиков подобной продукции мы по именам (и по должностям) знаем. Версия случайных ошибок со стороны этих *«талантов»* исключена ими самими — их последовательностью, настойчивостью и убежденностью в своей правоте. Сегодня у нас есть все основания полагать, что в отношении содержания учебных программ ими проводится определенная **политика**. Если в некоторых дисциплинах (естественнонаучных и математических) она не столь радикальна, то это связано не с особым почтением министерских *«Лесных — Парамоновых»* к физике или биологии, а с тем, что на этих фронтах профессиональные сообщества оказывают сильное сопротивление. До сих пор не набралось кворума авторитетных биологов, которые признали бы *«креационизм»* («учение» о единовременном сотворении всего живого) равноправным и равноценным *«системообразующим началом»* своей науки. Поэтому преподавание непослушных дисциплин стараются, елико возможно, сокращать (9), а т.н. *«предметники»*, т.е. специалисты, знающие и любящие свой предмет, стали для министра В.М. Филиппова чуть ли не личными врагами (10). О *«гуманитаризации»* образования мы еще поговорим. А пока отметим главное.

Те же самые люди, которые упорно и настойчиво насаждают невежество и мракобесие вместо знаний, — они же являются и главными организаторами структурных *«образовательных реформ»*, всевозможных *«ЕГЭ»*, *«ГИФО»* и пр. бюрократических конструкций, поглощающих бюджетные миллионы в то самое время, когда на повышение зарплаты учителям у государства *«денег нет»*. Разобраться в сути этих *«модернизационных проектов»* трудно даже специалисту. А простой налогоплательщик может поверить на слово, что с внедрением в образование финансовых схем, аналогичных т.н. *«страховой медицине»* (пресловутые «ГИФО»), материальное положение школ как-то улучшится. Конечно, опыт больниц и поликлиник не даст ни малейшего основания для этих надежд. Но если за ГИФО выступают ученые-экономисты, и не откуда-нибудь, а из Высшей школы экономики — может быть, они понимают в финансировании что-то такое, чего среднему уму не постичь?..

Но вот тот же налогоплательщик, получивший образование в приличной советской школе (а не в церковно-приходской), берет в руки *«лучший учебник нового поколения»*: на 1 странице написано *«рекомендовано Министерством образования»*, а потом — про земноводных крокодилов и про первобытных биохимиков. Тут даже самый доверчивый волей-неволей задумается: а что это вообще за министерство? Кто им руководит? И какие у нас основания доверить именно этим господам будущее страны? Может быть, их проекты — такие же научные, как и их учебники?

2. Урок канцелярской герменевтики.

Примерно так же рассуждал и автор этих строк.

Я ознакомился с официальным обоснованием т.н. *«образовательных реформ»* и пришел к определенным выводам. Они были изложены в статье *«Зачем крепостному фехтование?»*, которую в прошлом году опубликовал альманах *«Россия — XXI»* (11): предлагаемые Министерством меры никак не обоснованы, в лучшем случае бесполезны, как правило — вредны, и скрывается за ними не забота о молодых поколениях, а программа ползучего пересмотра основных завоеваний европейской демократии XIX — XX вв. в сфере народного образования. С тех пор не было обнародовано никаких возражений, опровержений или новых аргументов в поддержку министерских инициатив: тестов, *«концентров»*, единых экзаменов и пр. В полном соответствии с принципами демократии, как они изложены в новых пособиях по обществоведению (12), указания начальства претворяются в жизнь вне зависимости от того, насколько они обоснованы и как к ним относится большинство податного *«населения»*.

Соответственно и мне не очень интересно продолжать по кругу содержательную дискуссию о том, хватает ли денег на учительскую зарплату и ремонт школ в стране, где по многим столичным улицам нельзя не только проехать, но даже пройти из-за припаркованных под разными углами «мерседесов». Или о том, является ли угадайка а ля *«Поле чудес»* лучшим средством победить коррупцию в ВУЗах. Может, и является. Если в МГУ и МФТИ начнут принимать по результатам этой угадайки, их *«образовательные услуги»* так сильно упадут в цене, что и деньги брать будет не за что.

Но сегодня хотелось бы поговорить о другом.

О тех реальных проблемах, с которыми столкнулось тогда еще советское образование к началу *«реформ»* (ни одна из них ни на миллиметр не приблизилась к решению!), и о тех настоящих (без кавычек) реформах, которые следовало бы проводить, если бы высокие слова про демократию, гуманизм и общечеловеческую цивилизацию были не просто сотрясением воздуха, но руководством к действию...

Стоп. Люди, хоть сколько-нибудь знакомые со специальной образовательной литературой, могут и не захотеть читать дальше. Ведь подобные темы принято обсуждать на *«методическом»* наречии, которое настолько же внятно, насколько вата питательна. Примерно так:

«Курс на радикальное обновление содержания образования в российской школе диктуется прежде всего необходимостью привести его в соответствие с новыми образовательными потребностями России, а также с мировыми образовательными стандартами, особенно — в гуманитарной составляющей содержания образования. Глубокие цивилизационные сдвиги в развитии человечества на исходе XX века, переосмысление многих фундаментальных представлений о человеке, обществе, природе предопределяют интенсивный поиск новой образовательной политики во всех развитых странах. Отказ от технократического начала, стремление к гуманизации и гуманитаризации образования, к раскрытию целостной картины мира заставляет делать выбор в пользу принципиально новых, интегративных курсов с глубоким интеллектуально-культурным потенциалом» (13).

Это наш первый министр-*«реформатор»* Э.Д. Днепров. Издали выглядит очень научно, но если читать внимательно, содержание сводится к тому, что масло масляное. В лучшем случае. А в худшем — к тому, что масло перепончатокрылое. Откуда, например, взялась уверенность в том, что новый предмет, второпях сочиненный господином Днепровым и Ко, будет интеллектуально богаче традиционной физики или истории, над которыми вообще-то работали многие поколения не самых глупых специалистов?

Между тем, образовательные проблемы могут быть изложены нормальным языком, понятным если не любому налогоплательщику, то человеку с высшим образованием — наверняка. Если, конечно, человек не купил свой диплом в *«негосударственном ВУЗе»*

Это не значит, что **решения** простые. Иногда, действительно, для того, чтобы стало лучше, достаточно перестать нарочно делать хуже. Хотя и этого добиться нелегко. Если из того, чтобы становилось хуже, заинтересованные лица и организации извлекают выгоду, никакие аргументы их не переубедят. Но, как правило, за организационными проблемами образовательной отрасли — кого принимать? сколько лет учить? как проверять знания? и т.п. — скрываются фундаментальные противоречия современного общества, которые требуют междисциплинарных исследований, причем от успеха этих исследований может зависеть будущее цивилизации.

Вне зависимости от того, насколько долгим и сложным окажется поиск правильного ответа, первым шагом на этом пути должен стать внятно сформулированный вопрос.

3. Задачник для Министерства образования. Уровень А.

Самый низкий и примитивный уровень: обеспечить элементарную социализацию. Чтобы молодой человек мог существовать среди себе подобных, сам себя обслуживать и как-то зарабатывать на хлеб.

В любом обществе рождаются такие дети, для которых все это не само собой разумеется. Разработанные советскими учеными программы воспитания и образования детей-инвалидов по зрению, слуху, даже слепоглухонемых прославили нашу науку (15).

Гораздо сложнее оказалась проблема детей, искусственно загоняемых в отсталость и неполноценность собственными же родителями. Производство олигофренов и потомственных алкоголиков в соответствующих семьях год от года росло, и государство, которое пополняло бюджет сверхдоходами от винно-водочной монополии, не успевало левой рукой (милицейской и педагогической) восстанавливать то, что натворила правая. Советская власть, как персонаж из песни Майка, билась сама с собой. Попытка разрубить узел, предпринятая М.С. Горбачевым в 1985 г., закончилась известным результатом. А *«реформаторы»* 90-х предоставили детей, которым не повезло с родителями... Вы скажете: «их собственной судьбе». Нет, не совсем так. Их подарили бурно растущему криминальному *«бизнесу»* в качестве рабов. Рабов в классическом, античном значении этого слова. Милиционеров не просто освободили от заботы о детях — им запретили вмешиваться в *«privacy»* малолетних воришек, попрошаек и проституток.

Беспризорность, пополняемая старым добрым алкоголизмом и новыми завоеваниями — наркоманией и этническими чистками — выплеснулась на улицы. Статистика ее очень приблизительна, как и всякая социальная статистика, особенно связанная с криминалом, хватает и терминологической путаницы. Кого считать «бездомным», кого «беспризорным»? И в какую графу заносить детей, у которых формально имеются родители, но такие, что лучше бы их не было вовсе? Ясно, что счет идет на сотни тысяч и первые миллионы. Для страны, которая не вела полномасштабной войны на собственной территории, это уникальное достижение. Такое же невероятное, как сталинские репрессии против заведомо невиновных людей.

Показательно, что господ, рассуждавших все 90-е годы напролет о *«гуманизации»*, *«духовном Возрождении»* и *«Болонских процессах»*, малолетние *«лишенцы»* совсем не интересовали. Как будто бы они умирали от холода, токсикомании и гепатита где-нибудь в Руанде, а не в *«Москве златоглавой»*, у всех на глазах. Про миллион-другой детей, не получающих **вообще никакого** образования, наши *«модернизаторы образования»* вспомнили только тогда, когда в Европе заволновалась тамошняя общественность (то есть люди, от которых зависели гранты и займы на дальнейшую болтовню о *«гуманизации»*), а президент В.В. Путин персонально *«распорядился, чтобы этим вопросом занялось правительство»* (16).

Казалось бы, первая и неотложная мера очевидна любому нормальному человеку. Дети, находящиеся на улице, должны быть спасены от физической гибели и от власти взрослых преступников, то есть собраны в специальные государственные учреждения. Естественно, мера эта не может не подкреплять-

ся государственным насилием, ведь уголовное болото свои жертвы добровольно не отдаст, а рассчитывать на сознательность несчастных зверенышей тоже не приходится. Именно так рассуждал Ф.Э. Дзержинский, когда создавал Детскомиссию ВЦИК: *«Одному Наркомпросу справиться не под силу Я хочу реально включить в работу аппарат ВЧК»*. Слава богу, у нас есть опыт удачной борьбы с беспризорностью в 20-е годы, когда и сирот было побольше (до 4 миллионов), и денег у государства поменьше (17).

Что помешало этим опытом воспользоваться?

Ответ был дан в персональном теле-шоу одного из членов того самого правительства, которое Путин призывал заняться несчастными детьми. Вот впечатления потрясенного телезрителя, историка Александра Ципко: *«Ребенок имеет право на беспризорность, имеет право выбирать между семьей и улицей Так как беспризорность — это частное дело, следствие свободы выбора, то она не имеет никакого отношения к государству. Михаил Швыдкой даже нашел какого-то очень странного детского писателя, похожего на хиппи, который благостно рассказывал, как его знакомый, десятилетний беспризорник, не нарадуется радостям своей босяцкой жизни. И в это время на лице нашего министра культуры сияла благостная улыбка»* (18).

Это позиция. Она продиктована не душевными качествами конкретного представителя элиты (может быть, в частной жизни он очень любит детей, и даже котят), а социально-экономическими интересами.

Кристально ясную мысль: ребенок не может и не должен находиться ночью на улице без присмотра, — очень милые люди топят в либеральной болтовне. *«По словам координатора исследований, руководителя центра мониторинга социальных процессов факультета социологии СпбГУ Светланы Сноповой, работу беспризорники находят в основном сами. Даже треть малолетних проституток утверждают, что вышли на панель сами Поэтому помещением их в интернаты проблемы не решишь — они вернутся на улицу. А значит, надо идти по пути организации «ночлежек», организовывать специальную социальную работу прямо на улицах* (19).

То есть *«малолетняя проститутка»* — это такая *«работа»* (как токарь, медсестра или, например, преподаватель социологии), для ее успешного выполнения взрослые дяди и тети не могут не отпустить девочку из *«ночлежки»* обратно на улицу.

Другие заботливые взрослые торопятся *«создать базу данных на всех бездомных детей России, которых насчитывается приблизительно 1,2 миллиона»*. Для чего? Чтобы каждый получил *«именную карточку на одноразовое ежедневное питание в специальных столовых»* (20).

Столичный комитет по делам семьи и молодежи предлагает направить на вокзалы... студентов:

*«задача студентов — **убедить** беспризорников вернуться в семью или поступить в социальный приют. Разработано уже 17 маршрутов следования патрулей. Пока у комитета нет возможности оплачивать труд добровольцев, но зато они получат бесплатные путевки в летние студенческие лагеря»* (21; выделено мною — И.С.)

Пока студенты будут *«патрулировать»* блатхаты и притоны педофилов, в московском метро по призыву широкой либеральной общественности воздвиг-

нут памятник бездомной собаке (22). На него деньги есть. Жаль, что инициативная группа (Аркадий Арканов, Белла Ахмадулина, Элина Быстрицкая, Валентин Гафт, Евгений Колобов, Михаил Левитин, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Генрих Падва, Генри Резник и многие другие) не догадалась дополнить композицию бездомным ребенком. Под новым памятником живые дети реформ могли бы гораздо успешнее собирать с прохожих деньги (на клей для себя и на героин для своих взрослых хозяев).

К несчастью для этих детей, уличная «педагогика» неотделима от экономики: во-первых, от криминального «бизнеса», во-вторых, от вполне легальной торговли спиртным и от тех *«макроэкономических»* мер, с помощью которых в 90-е годы целенаправленно понижалась стоимость рабочей силы. Если на московских стройках и оптовых рынках будут платить по справедливости, у владельцев сильно сократится доход. Однако, чем дешевле рабочая сила, тем легче ее потомству оказаться на улице. Что важнее для *«политического класса»*?

Но даже если нам удастся преодолеть сопротивление *«гуманизаторского»* лобби и собрать современных гаврошей из притонов в приюты (более-менее обустроенные), для многих из них это еще не решит проблему социализации. Просто в решении проблемы мы выходим на новый, более сложный уровень.

«Значительной части нынешних беспризорных, — пишет педагог Михаил Кордонский, — *возрожденный Дзержинский путевку в жизнь выписать не в состоянии. Потому что фактически (но не юридически) они инвалиды детства»* (23). Из тех беспризорников, с которыми имела дело Деткомиссия ВЦИК, большинство получило первоначальный, пусть даже очень короткий, опыт социализации в нормальных семьях, а сиротами они оказались во время войны, после того, как родители погибли или пропали без вести. Нынешний контингент — в основном *«сироты при живых родителях»*.

«Некоторые нейропсихологи считают, что создание функции произвольной регуляции начинается еще в пренатальном периоде и связано с поведением матери. Но уж во всяком случае оно зависит от регулярности кормления, от смены мокрых пеленок, от приучения ходить на горшок и кушать кашку. От тысячи будничных мелочей, из которых складывается ***стабильность уклада жизни*** *нормальной семьи. Это если нормальной... Если мать пьянствует хотя бы не каждый день. Ну, хотя бы раз в неделю. Если орущее дитя не воспринимают как досадную помеху. Если хотя бы слышат, как оно орет, и отзываются, а не лежат в углу под кайфом. Если его кормят хотя бы раз в сутки. Если пеленки меняют хоть пару раз в неделю. Если бьют шлепком по попе за то, что не пошел на горшок. А не любым домашним предметом по голове за то, что усугубляет ломку ором. При этом родители говорят вполне нормальным русским, иногда даже колоритным языком, и речь ребенок усваивает.* ***Но после первых трех лет такой жизни восстановить структуру мышления уже невозможно****...»* (М. Кордонский, выделено им же — 24).

Михаил Кордонский и коллеги-психологи, на которых он ссылается в статье *«Беспризорная страна»*, приходят к неутешительному выводу: расстройство произвольной регуляции (*«синдром полевого поведения»*), приобретенное в раннем детстве, неизлечимо. Во всяком случае, на нынешнем уровне развития медицинской (и педагогической) науки. А человек, который не способен плани-

ровать свои действия — даже элементарные, даже на очень короткий срок — практически нетрудоспособен. Вернее, он трудоспособен (и социализован) только в стенах специального учреждения, где постоянная забота других людей компенсирует дефекты его собственной психики.

О том, насколько обоснован этот неутешительный прогноз, должны судить специалисты, психиатры и психологи. Нужны исследования и свободные дискуссии, не стесненные рамками пресловутой *«политкорректности»*. Но в любом случае очевидно, что вкладывать огромные средства в детские дома и приюты **параллельно** тому, как в миллионах *«трудных»* (или, как теперь говорят, *«проблемных»*) семей для этих заведений воспроизводится миллионы новых обитателей — занятие довольно нелепое. Слишком похоже на таскание воды решетом.

Современная либеральная идеология рассматривает алкоголизм, наркоманию и сумасшествие как сугубо личное дело. Дети при этом выносятся за скобки. Общественное вмешательство допускается только в случае явного нарушения закона (хрестоматийный ответ постсоветского участкового: «вот когда убьет — тогда и звоните») — можно подумать, что героинист или тяжелый шизофреник, не нарушая закон, способны воспитать нормального человека.

Неограниченное воспроизводство контингента для специальных учреждений (приютов, потом тюрем или интернатов для психохроников) резко снижает интеллектуальный и экономический потенциал соответствующего социального организма (общества, государства) и его конкурентоспособность. Страна, которая найдет конструктивное решение этой проблемы, получит мощный стимул для своего развития. Однако сегодня табуировано даже ее обсуждение, и не исключено, что абзац, который вы сейчас читаете, навлечет на автора обвинения в безнравственности, цинизме, а то и фашизме.

Мы должны быть готовы рассмотреть по существу любые принципы: невмешательства в частную жизнь семьи (даже если это не семья, а затянувшийся триллер), репродуктивных прав женщины (в частности, права рожать по собственному усмотрению, независимо от того, **что** потом появится на свет) и т.д. Может быть, принципы настолько святы, что в жертву им позволительно приносить некоторое количество *«человеческих детенышей»* — подобно тому, как в старину дети приносились в жертву племенным идолам? Но чтобы установить, насколько святы принципы, стоит ли идол приносимых жертв, и нет ли решения более разумного и гуманного, наука должна назвать вещи своими именами, а практическая политика — отделить «не можем» (из-за отсутствия ресурсов, методик, законов) от «не хотим» (искать и разрабатывать ресурсы, методики, законы).

Как писал известный генетик, Нобелевский лауреат Герман Мёллер Сталину, *«человеческая природа не неизменна и не неспособна к улучшению, и это так же справедливо в генетическом, как и в социальном плане»* (25). Со времен этого злополучного письма, оставшегося без ответа и сыгравшего в судьбе советской биологии самую печальную роль, любая евгеника оказалась вне закона, как *«негативная»*, так и *«позитивная»*. Между тем, общество **все равно вмешивается** в биологическую природу человека, и по мере развития новых биотехнологий это вмешательство только усилится. Важно, чтобы оно было не хаотичным и корыстным, а сознательным и открытым для общего обсуждения.

В завершение этой темы хотелось бы поставить перед возможными оппонентами — либералами и примкнувшими к ним некоторыми клерикалами — простой житейский вопрос.

Должна ли рожать и «воспитывать» третьего ребенка алкоголичка, уже подарившая обществу двух олигофренов?

Здесь позвольте поставить не точку, а вопросительный знак (как приглашение к дискуссии) и перейти к другим, более возвышенным сюжетам.

4. Уровень В.

Интеллект и культура — т.е., как сказано в фундаментальном учебнике, по которому учились антропологии поколения наших студентов, *«совершенно новый, не имеющий места в животном мире способ фиксирования, передачи и накопления опыта деятельности, новый способ совершенствования...»* (26) — важнейшие эволюционные завоевания homo sapiens. Соответственно, право на разум, то есть право каждого человека на ценности, накопленные цивилизацией к моменту его «выхода в свет», — одно из фундаментальных гражданских прав. Именно оно лежит в основе всеобщего и бесплатного обязательного образования.

Но в историческом плане эта идея — новая и нетрадиционная. До недавнего времени во всех классовых обществах образование считалось привилегией элиты, наряду с другими, экономическими и политическими привилегиями. Чтобы оправдать неравенство, создавались теории, по которым *«лишнее»* образование (равно как *«господские»* одежда и еда, досуг, бытовой комфорт, избирательное право и пр.) — все это низшим категориям населения не только не полезно, но и чрезвычайно вредно.

*«Кто готовится быть кандидатом или магистром, тому необходимо начинать учение в известный срок и проходить последовательно известный ряд наук; но масса детей готовится к труду ручному и ремесленному Моряк воспитывается для морского дела, с детства вырастая на воде; **рудокоп привыкает к своему делу и приучает к нему свои легкие — не иначе, как опускаясь с юных лет в подземные мины**. Земледелец привыкает к своему труду и получает любовь к нему, когда с детства живет, не отрываясь от природы, возле домашней скотины, возле сохи и плуга, возле поля и луга Иной настаивает на необходимости поселянину знать физику, химию, сельское хозяйство, медицину; иной требует энциклопедию политических наук и правоведение... Но мало кто думает, что отрывая детей от домашнего очага на школьную скамью с такими мудреными целями, мы лишаем родителей и семью рабочей силы, которая необходима для поддержания домашнего хозяйства, а детей развращаем, наводя на них мираж мнимого или фальшивого и отрешенного от жизни знания, подвергая их соблазну мелькающих перед глазами образов суеты и тщеславия»* (К.П. Победоносцев — 27; выделено мною — И.С.)

Общедоступная школа, в которой детям всех сословий преподается *«последовательно известный ряд наук»* и после которой они имеют равные (по крайней мере, формально равные) возможности для дальнейшей специализации в избранной области (и, соответственно, для повышения своего социального статуса) неотделима от демократии. Сегодня отношение к просвещению — превосходный индикатор, с помощью которого можно отличить настоящего де-

мократа от диктатора или олигарха, задрапированного лозунгами про «народную власть».

Хотелось бы подчеркнуть то, что обычно игнорируют политологи. Ключевой механизм демократической системы — свободный выбор гражданином *«того, что слева, и того, что справа»* — возможен только в пределах **компетентности**. Бессмысленно задавать вопросы об опасности ядерной энергетики человеку, который никогда не учил физики. Его ответ будет в действительности **не его**, а тех лиц или организаций, которые вовремя воспользуются его невежеством в собственных интересах.

И еще одно принципиально важное уточнение. Научно-технический и социальный прогресс поднимает планку наших представлений о бытовом комфорте — в результате современная рабочая семья живет, в общем, лучше дворянской семьи XVI века. Точно таким же образом меняется и представление о том, что есть «культурный человек». Современное образование — это образование **научное**. Поэтому гражданин, даже весьма начитанный, но верящий в *«сглазы»*, гороскопы, в «высшие» и «низшие» нации и т.п., сегодня не может считаться образованным. Культура нескольких столетий прошла мимо него.

Сочинения Иоанна Санкт-Петербурского и Ладожского в XVI веке сошли бы за вполне нормальную историческую литературу. Написанные в конце века XX-го, они могут пригодиться только в качестве источника, характеризующего обстановку в РПЦ (28). Хотя эти сочинения и содержат множество фактов и «фактов» разной степени достоверности о прошлом нашей страны, историю по ним изучать нельзя.

Наука — это не куча информации, а **система** знаний и определенное мировоззрение: *«сознание сложности Вселенной в сочетании с уверенностью в единстве ее законов и в плодотворности научного подхода к их постепенному познанию»* (А.М. Шкроб — 29).

Подчеркиваю слово «система», потому что именно здесь современная школа подвергается планомерным атакам со стороны *«реформаторов»*. Излюбленный демагогический прием:

— А часто ли вам пригождалось в жизни то, что вы изучали на уроках?

На конференции в Горбачев-фонде *«представитель министерства образования (мне сказали — далеко не худший!) публично допытывался у математика — академика РАН Д.В. Аносова — на кой ляд знать и помнить, чему равен sin(2x), и помнит ли это сам академик»* (30). Чиновник обознался. Но даже если бы на месте математика оказался, например, филолог? Что с того? Разве мы слушаем музыку для того, чтобы спустя много лет воспроизводить услышанные мелодии? И как может практически пригодиться спектакль А.В. Эфроса молодому человеку, который не собирается в театральный институт? Понятно, что речь идет о приобщении к культуре, будь то культура художественная или культура мышления, которая воспитывается как раз математикой...

Но вернемся к судьбе общедоступной школы. С ней демократия попала в историческую ловушку. Чем более массовой становилась эта школа, тем слабее были социальные стимулы к сидению за партой и выполнению домашних заданий. Согласитесь: древнеегипетскому или шумерскому учителю легко было объяснить своим питомцам, почему ученье — свет, а неученье — тьма. Если не

самим питомцам, то их отцам. Слишком уж отличалось положение грамотного жреца или чиновника — и неграмотного *«поденщика, раба нужды»*. То же и в *«России, которую мы потеряли»*: не только учитель, но и простой студент автоматически становился *«господином»* для темных крестьян. Разницу между ученьем и неученьем люди каждодневно ощущали на собственной шкуре, для этого не нужно было ни интеллектуальных усилий, ни прогностических способностей, ни жизненного опыта (каковым подросток, естественно, еще не обладает). Но если выучить обязаны всех — или почти всех — аттестаты и дипломы уже не воспринимаются как награды.

Советская школа в начале 70-х годов вырывается вперед в международной гонке к демократическому идеалу. Тогдашний министр просвещения подвел итог культурной революции, которую начали еще в 20-е большевики: страна, *«где большинство населения было неграмотным, первой в мире перешла на полное среднее образование подрастающей молодежи»* (М.А. Прокофьев (31). Обязательная десятилетка открывала путь непосредственно к вступительным экзаменам в ВУЗ, минуя какие-либо промежуточные ступени. Побочный эффект благородного жеста заключался в том, что старшие классы стали подготовительными курсами к вступительным экзаменам в институт (напоминаю младшему поколению читателей, что в советское время «университетов» было очень мало, по одному на город, а ВУЗы назывались, как правило, «институтами»; о скрытых смыслах переименования см. чуть ниже). И не только старшие классы. В техникумах, где, вместе с профессиональным, обязаны были давать и полное среднее образование, выше всего стали цениться даже не отличные оценки как таковые, и не успехи на практике, а попадание в *«процент»* счастливцев, которые освобождались от работы по распределению (то есть от того, ради чего их учили) и могли сразу же после техникума на льготных основаниях поступать... куда? Правильно...

Но как быть с теми, кто в ВУЗ и не собирался? Они оказались чужими на празднике знаний. А когда оглядывались вокруг, видели, что *«молодой специалист»* с вожделенным ВУЗовским дипломом получает 110 рублей — намного меньше, чем квалифицированный рабочий с 8 классами, не говоря уже о «шабашниках» (вольнонаемные строители, труд которых оплачивался очень щедро). Зачем же учить синусы и косинусы? — спрашивали митрофанушки с последней парты (аккурат как нынешние чиновники Минобраза), и что мог учитель ответить, если его собственная специальность год от года теряла престиж?

Выгнать лоботряса с урока? Но куда, если среднее образование обязательно?

Между тем, достаточно присутствия в классе небольшой группы убежденных бездельников, чтобы уроки превратились из того, чем они должны быть, в бесконечную и безнадежную (ввиду отсутствия реальной санкции) борьбу учителя за дисциплину, то есть потеряли смысл и для тех, кто хотел учиться. А благополучная отчетность, как и положено статистике, суммировала божий дар с яичницей, то есть настоящее (и очень хорошее) образование в столичных школах с языковым или математическим уклоном и фиктивные аттестаты зрелости, выданные в строительном ПТУ или медицинском техникуме.

Схожие процессы отмечаются в конце минувшего столетия во всех странах, где среднее образование становится по-настоящему общедоступным. На-

верное, можно было отыскать социально — экономические противоядия. Но история распорядилась по-иному. Сложностями демократического развития воспользовались господа из недавнего прошлого, — те, кто считал, что учить *«кухаркиных детей»* наукам — только портить. Они-то и позаимствовали у мечтателей— анархистов идею т.н. *«свободной школы»*, от жизни такую же далекую, как, например, «свободный магазин», «свободная армия» или «свободный театр» (без режиссера и репетиций). И начали эту радужную абстракцию очень конкретно и планомерно внедрять во всех западных странах, начиная с Соединенных Штатов, а при Ельцине — еще и у нас.

«Все больше детей сегодня не хотят ходить в школу. Они прогуливают? Нет, они голосуют за свободную школу! Исследование показало, что ученики убегают из школ, построенных по классно-урочному принципу: класс — общие программы — уроки — отметки. Такая образовательная система стала особенно мощной после Второй мировой войны, когда требовалось быстрое восстановление экономического потенциала и большое количество рабочих-исполнителей. В так называемых свободных школах существует индивидуальная работа с детьми, выбор учебных предметов, демократическое соуправление, совместная детско-взрослая деятельность. Туда приходят дети, чья жизнь стала невыносимой в обычных учебных заведениях, но кто имеет достаточно сил регулярно посещать занятия. А для тех ребят, которые имеют более серьезные психологические травмы и категорически отказываются ходить в любую школу каждый день, открыты «свободные пространства». Там работают взрослые в основном как волонтеры, и ребята просто имеют право присутствовать там, когда нужные и важные для них люди могут с ними заниматься» (32).

Вот такие установки, снабженные — для лишней убедительности — ссылкой на Макаренко и Сухомлинского (!), можно извлечь из современной педагогической периодики.

«Мне рассказывали коллеги из Нью-Йорка, — с умилением вспоминает видный *«реформатор»* А.П. Логунов, — *как в одной школе ввели курс катания на пони и все дети побежали записываться, хотя зачем им в Нью-Йорке кататься на пони. Они не выбрали, может быть, какой-то более важный курс — например, искусство переходить улицу, правила дорожного движения. Но это была их ошибка, их решение. Не хватило им какого-то курса, они возьмут больше в следующем году»* (33).

Вопрос о том, что *«важными курсами»* могут быть еще и науки (физика, математика) даже не ставится. Ребенок должен сделать *«сознательный выбор»* между практическими навыками и развлечениями, руководствуясь капризом (а чем еще он может руководствоваться?), а потом нести личную ответственность за взрослых, которые почему-то переложили на него собственные обязанности. Вдумайтесь в то, что написал профессор Логунов. Если ребенка не научили *«искусству переходить улицу»*, то это *«решение»* и *«ошибка»* самого ребенка.

Спорить с этим по существу бессмысленно. Важно определить социальный заказ — кому и для чего понадобилось.

Если тезис о реванше реакции покажется полемическим преувеличением — что общего может быть у радикальных либералов конца XX столетия с мракобесами века XIX? — я предлагаю сопоставить источники.

Оказывается, К.П. Победоносцев тоже боролся за свободу от *«общих программ»*, которые заранее определены профессионалами. Он призывал *«не насиловать ту самую свободу, о которой столько твердят и которую так решительно нарушают наши законодатели Мы разводим по казенному лекалу школу и школьного учителя, пригибая под него потребности быта детейувлекшись мечтательной задачей всеобщего просвещения, мы назвали просвещением известную сумму знаний, предположив, что она приобретается прохождением школьной программы, искусственно скомпанованной кабинетными педагогами. Устроив таким образом школу, мы отрезали ее от жизни и задумали насильственно загонять в нее детей для того, чтобы подвергать их процессу умственного развития, по нашей программе»(34)*

Он тоже считал, что *«массе детей»* надо преподавать не науки, а практические навыки: *«не сумма голых знаний, коими программы наши напичканы, а умение делать известное дело»*. И отстаивал сословную школу точь-в-точь как *«реформатор»* М.В. Арапов в современном *«Курьере образования»*: *«Нужна школа, которая стимулировала бы формирование различных социальных групп, сословий, общин...»* Сравните: *«Кто готовится быть кандидатом или магистром, тому необходимо начинать учение в известный срок и проходить последовательно известный ряд наук; но масса детей готовится к труду ручному и ремесленному»*.

Впечатляющее совпадение взглядов по всем ключевым пунктам образовательной политики.

Кризис общедоступной школы в *«первом»* (капиталистическом) и *«втором»* (коммунистическом) мире развивался по-разному.

Если в СССР фальсификация среднего образования укоренялась стыдливо, из-под полы и не от хорошей жизни — ну, не было у строительного ПТУ ресурсов, чтобы как следует преподавать биологию или литературу, а закон требовал выдать каждому аттестат! — то в рамках *«свободной школы»* такую фальсификацию узаконили. Демонстративно посадили больных олигофренией в школьные классы рядом с нормальными детьми (35). Это не гуманизм, как подумали доверчивые американские родители. Это новый образовательный стандарт.

5. Уровень С.

«Когда уйдем со школьного двора», попадем в сферу специального образования. Кроме училищ и техникумов (о которых разговор особый), к ней относится образование высшее. Оно и в ельцинской России показывало неуклонный прирост статистических показателей. Всего, за что ни возьмись, стало производиться меньше, а ВУЗов и студентов — больше, на 75 и 50% соответственно (36).

Кто нарушил законы сохранения?

Разберемся. По логике вещей, ВУЗ готовит специалистов определенного профиля и самой высокой (по сравнению с училищем и техникумом) квалификации. От количества и качества высококвалифицированных специалистов зависит то место, которое страна занимает в общечеловеческой цивилизации.

Именно таким образом рассуждали в СССР. Обучению в ВУЗе предшествовали экзамены, ориентированные на будущую профессию. Способен ли к ней абитуриент? Естественно, определить это могли только специалисты. Будущего

биолога — биологи, летчика — авиаторы, актера — люди театра. Емкость аудиторий старались связать с потребностями отрасли, а каждого выпускника — распределить к месту будущей работы. Это не всегда удавалось, порою не удавалось совсем (самый печальный пример — педагогические ВУЗы), но в системе прослеживалась определенная логика, в основе своей все-таки здоровая.

Но в стороне от этой логики возникло принципиально иное понимание высшего образование. Именно как *«образовательной услуги»*. В изложении уже знакомого нам А.П. Логунова (большого патриота Америки) она выглядит следующим образом: *«В Америке другая система, там человек не боится в сорок лет начинать новую жизнь — успешный бухгалтер прочитал по недоразумению роман Достоевского и решил, что пойдет изучать русскую культуру. Это нормальный процесс. Общество настолько богато, что оно может позволить людям это делать»* (37). Действительно, ничего предосудительного в изучении Достоевского нет, — ни в 40 лет, ни в 70. Из всех видов досуга самообразование — едва ли не полезнейший, и уж, во всяком случае, ходить на умные лекции лучше, чем водку пить.

Ошибка заключалась в том, что *«услугу»* не отделили от профессиональной подготовки, и два совершенно разных вида деятельности зарегистрировали под одной вывеской и посчитали в одной и той же статистической графе.

«Мудрый правитель первым делом должен называть вещи правильными именами — предостерегал один из величайших учителей древности Конфуций. — *Если вещи будут именоваться неправильно, слова потеряют силу, и не одно дело нельзя будет довести до конца»* (38).

У нас в *«возрожденной России»* неправильные именования вещей выразились в том, что, во-первых, 387 новых *«коммерческих ВУЗов»* начали за 200 — 300 долларов в год готовить *«международных юристов»* и *«менеджеров»* (39), во-вторых, все старые институты, как по команде, переименовались в *«университеты»* и *«академии»*...

Кстати, почему? И не все ли равно, что написано на вывеске? Оказалось, не все равно, ведь в СССР наименование *«институт»* предполагало конкретную специализацию: железнодорожную, автомобильную или, например, библиотечную. Именно за нее ректорат мог худо-бедно отвечать, под нее формировались программы и преподавательский состав. Университет же по определению универсален. В результате новоявленные конкуренты Сорбонны и МГУ занялись обучением все тех же *«международных менеджеров»*.

То есть торговлей дипломами. Как с чувством глубочайшего удовлетворения отмечал в *«Известиях»* обозреватель А. Колесников, *«логика рынка сама подталкивает реформирование любой отрасли. И образование не является исключением»* (40).

Самое неприятное в этом *«смешении ремесел»* (высшее образование + торговля филькиными грамотами) — даже не то, что жуликов приравняли к специалистам, а то, что *«коммерческий прием»* развращал и разлагал изнутри те ВУЗы и факультеты, которые могли давать полноценное образование не только по российским, но и по высшим мировым стандартам. Мы ни в коей мере не утверждаем, что *«блат»* и взяточничество начались при Ельцине. Многие институты были поражены этими недугами и в советские времена. Многие — но не все.

«Логика рынка» узаконила **худшее** из советского наследия в качестве нормы. Сегодня *«реформаторы»* рассуждают о коррупции, о *«позорном институте репетиторства»* (зам. министра В. Болотов) как о главной причине, подтолкнувшей Министерство к введению вместо нормальных вступительных экзаменов пресловутого «ЕГЭ» — Единого Государственного Экзамена (41). Это трудно принимать всерьез. Ведь т.н. *«обучение на коммерческой основе»* — не *«позорная»*, а вполне легальная практика, которой министерство отчитывается об успехах *«реформ»*. В чем ее суть? Если изъясняться по-человечески (а не на *«методическом»* жаргоне) — в том, что абитуриент (студент), которому не хватило знаний и способностей, может возместить недостачу деньгами. И получить за деньги такой же диплом, как у однокурсника — настоящего специалиста. Что это, как не коррупция?

Стратегия если не развития (не до жиру), то хотя бы выживания отечественного высшего образования была (и остается) совершенно очевидной для любого нормального человека. Прежде всего, отделить котлеты от мух. ВУЗы, которые обучают общественно необходимым специальностям, — то есть **настоящие** ВУЗы, — от разнообразных инициатив по организации досуга, торговле сувенирами (с гербовой печатью) и пр. И только первым оказывать поддержку и предоставлять права. Но и спрашивать с них соответственно, за фиктивный диплом — как за фальшивые деньги. Что касается вторых, то их предоставить собственной судьбе в условиях вожделенного рынка, где они могут свободно конкурировать с дискотеками.

Сделано было — и продолжает делаться — нечто прямо противоположное.

Внимательно читаем источник — рекламную статью о Высшей школе экономики. Если кто не знает — это не просто учебное заведение, но еще и главный интеллектуальный штаб *«образовательных реформ»*.

«Вышка» была открыта в 1992 году постановлением правительства Егора Гайдара и в рекордные сроки выбилась в лидеры. Одна из причин успеха — грамотное соотношение теоретических знаний и практических занятий. Здесь преподают руководители «профильных» министерств и бизнесмены, недавно профессорами стали промышленник Каха Бендукидзе и зампредседателя Конституционного суда Тамара Морщакова» (42).

Сейчас то, что осталось от высшего образования, добивают пресловутыми *«ЕГЭ»*.

И *«Болонским процессом»*.

«Министр образования РФ Владимир Филиппов заявил, что у российской высшей школы нет иного выхода, как интеграция в общеевропейскую зону высшего образования. Идея создания единого образовательного пространства была документально зафиксирована Болонской декларацией 1999 года, согласно которой к 2010 году вся Европа должна иметь единую систему высшей школы. Болонское соглашение подписали 33 из 45 стран Европы. Россия тогда оказалась за бортом единого европейского вуза. Однако, по заявлению Владимира Филиппова, РФ рассчитывает подписать декларацию в 2003 году» (43).

Об этой *«образовательной реформе»* широкой публике известно мало, хотя по поражающей силе она не уступает *«единой»* угадайке для филфака и мехмата. Чтобы читатель имел строго объективное представление о том, что привез нам гонец из Болоньи, обратимся опять-таки не к противникам нововведения, а к его сторонникам.

«Болонская модель, кроме двухуровневой структуры высшего образования (бакалавриат — магистратура — И.С.) *предполагает две базовые вещи:* ***модульный*** *подход и* ***кредиты»****.*

Главная *«революция»* будет состоять в том, что *«меняется традиционная предметная система образования. От предмета мы переходим к образовательному модулю. И вот это уже революция не только для нас, но и для самих европейцев. Для них модульная система — это тоже новация. До этого у них тоже доминировала предметная система.*

Что такое модуль? Это совокупность образовательных задач, решаемая либо через несколько видов работы, либо через несколько близких, но разных предметов».

Не поняли? Для непонятливых — конкретный пример:

«вы, желая быть специалистом по античности, выбираете курс по истории античных причесок» (44).

Выбираете не спецкурсом или факультативом, не темой дипломной работы, не дополнением к обязательным лекциям по истории... Нет, все это — пережитки советского *«тоталитаризма»*. Вы будете изучать прически (или гвозди, или 3-ю книгу *«Анналов»*) **вместо** истории античности. Это ваш личный подход к получению специальности «историк» — ведь *«каждый человек имеет право распоряжаться собой, своим временем и нести за это ответственность».*

Сквозь демагогию о *«свободе»* можно разглядеть, «кому выгодно». Правящие элиты постоянно сталкиваются с противоречием: для поддержания режима в конкурентоспособном состоянии нужны квалифицированные кадры, но чем «кадр» образованнее, тем более он склонен к вольнодумству за пределами своей специальности. Хрестоматийные примеры — Оппенгеймер и Сахаров. Идеальным для начальства был бы такой специалист, который знает все про 15-ю хромосому, смутно догадывается про 16-ю и убежден, что Белоруссия — это мусульманская страна по соседству с Ираком. Может быть, не Белоруссия, а Белосирия, но бомбить все равно нужно, потому что так сказали по телевизору.

«Сказано, что студенты должны учиться в разных странах и Европа должна помогать их передвижению. Но это будет возможно (и уже реализуется по этой схеме) с помощью системы ***«кредитов»*** *или «очков». Например, ты занимаешься правом полгода в Париже, набираешь столько-то очков, потом продолжаешь в Вене и там занимаешься историей искусства или чем угодно. В конце концов набираешь достаточно очков, чтобы получить черт знает какой диплом. Но самое интересное, что поддерживают этот проект предприятия и все их лобби. Почему? Нам кажется, что причина кроется в том, что работник, получивший такой диплом, вряд ли сможет требовать определенную зарплату, ссылаясь на уровень образования Надо отметить, что европейские элитарные вузы (Кембридж, Парижский институт политических наук и т.д.) отказались участвовать в этом процессе. Это означает, что Европейский союз строит дерегламентированную сферу образования для «обычных» людей, но остается нормальная сфера образования для элиты»* (Кароль Сигман – 45).

Обратите внимание на то, как настойчиво повторяется по разным поводам и из разных стран один и тот же мотив — социальной сегрегации. На тебе, боже, что нам не гоже. Ведь на Западе и средняя школа для элиты, судя по

отзывам счастливцев, туда допущенных, совсем не похожа на «тусовку» в подворотне, скорее на военное училище (46).

Понятно и то, почему клочная, т.е., простите, *«модульная система»* не получила повсеместного распространения: *«для европейцев это тоже новация»*. Ведь на самом деле изучать отдельно взятую 15-ю хромосому невозможно (так же, как и 3-ю книгу *«Анналов»* отдельно от всех остальных, и от страны, где происходили описанные в *«Анналах»* события). Нельзя изучать наследственность, т.е. нуклеиновые кислоты, без базовых знаний по органической химии. Поэтому там, где от квалификации выпускника реально зависят кошельки и жизни, преподавание остается *«тоталитарным»* и *«предметным»*. Представьте себе хирурга, который разрезать умеет, а зашить — нет, потому что на 4 году обучения выбрал вместо курса *«Наложение швов»* курс *«Борьба с sexual harassment в условиях хирургического стационара»*. Сколько заплатит стационар за эту болонку родственникам незашитого покойника? А вот гуманитарные факультеты (исторический, филологический, философский) — самое место для преподавания клочьев от наук.

Но если *«Болонский процесс»* пошел, его уже трудно остановить. *«Каждый человек имеет право распоряжаться собой»*. Имеет право выбора между тем, работать ли ему больше и лучше или — за те же деньги — меньше и хуже. Видимо, поэтому на Западе отмечается устойчивый спрос на специалистов из Китая и *«отсталой»* России, причем именно в тех областях, где учиться по-настоящему тяжело. *«В физтехе ребята очень сильные, и получить даже самое престижное предложение из Америки для них не составляет труда»* (академик В. А. Рубаков). Каждому, кто послал о себе данные, приходит по 2 — 3 приглашения (47).

Хотелось бы остановить внимание на этой немаловажной подробности. В *«болонской»* рекламе все время фигурируют двери на Запад, которые *«реформа»* якобы откроет для наших выпускников. Но ведь двери никогда и не закрывались — ни для биохимиков из Пущина, ни для физиков из МФТИ. То есть для тех, кто получил нормальное научное образование. Что же касается специалистов по таким «наукам», как *«маркетинг»* и *«менеджмент»* — боюсь, что западным странам нет никакого рыночного резона импортировать их из России. Да они и на родине не пропадут.

6. Еж с молоком.

Что же такое *«модернизация образования»*? Какими должны быть школа и ВУЗ в третьем тысячелетии?

Если взять размышления на эту тему крупнейших наших ученых, например, физика Валерия Рубакова или математика Дмитрия Аносова (48), бросается в глаза, что с программами официальных *«реформаторов»* они вообще не пересекаются, как будто люди живут и работают на разных планетах. Академик Аносов — про *«сохранение фундаментальности в образовании»*, а ему — про то, что гражданам *«постиндустриального общества»* ни к чему синусы и косинусы, эти пережитки коммунизма. Отсюда и вывод В.А. Рубакова, по-своему жизнеутверждающий: *«Настоящий ученый — штучный товар, его реформами не убьешь»*.

Все, что делается под вывеской *«образовательных реформ»*, в лучшем случае бессмысленно, не имеет отношения к объективным проблемам отрасли и попусту поглощает ее и без того скромное финансирование. Кому и зачем понадобилась, например, *«12 — летка»*? Говорят, отстали от Европы, где сидят за партой аж по 13 лет. Кто больше? Но надо же понимать, что в странах, где не было обязательного полного среднего образования, не было и таких, как у нас, вступительных экзаменов в ВУЗы, — там именно школа занимается отсеиванием тех, кто не пригоден для высшего образования (или не достоин оного). И сортировка производится в несколько этапов, — например, в Швейцарии дважды: после 6 класса и после 9-го. До конца 13-го гимназического класса, то есть до аттестата зрелости и до порога университетской аудитории, дотягивает всего лишь четверть постаревших учеников. Кроме того, говоря о Европе, нельзя не учитывать воздействия т.н. *«свободной школы»*, которая в любом классе резко снижает эффективность обучения. Зачем же копировать чужие ошибки? Зачем воспитывать инфантилизм, маринуя за партами 20-летних дяденек и тетенек, и бессмысленно оттягивать настоящую специализацию талантливой молодежи в избранном деле, например, в науке?

То же самое и с *«ЕГЭ»*. **Настоящему** высшему образованию он нужен, как удавка на шее. Не случайно анти-министерскую оппозицию сразу же возглавили ректоры тех ВУЗов, где еще продолжают учить — *«высшая номенклатура учебных заведений»*, по определению *«реформатора»* А. Адамского (49). А по какому принципу будет подбираться контингент для «Рогов и копыт» — в общем, безразлично. Лотерея, аукцион, единый экзамен. Хуже не станет, лучше тоже.

Мы только вскользь затронули такое важное направление реформ, как *«гуманитаризация»* (не путать с *«гуманизацией»*, которую пропагандировал по телевизору М.Е. Швыдкой). Провозглашенный еще в самом начале реформ *«отказ от технократического»* или, как они еще выражаются, *«сциентистского»* начала, на практике выражается в упорном стремлении уменьшить, сократить, свалить в кучу под *«интегративной»* вывеской, выпихнуть в *«профильные»* старшие классы все, что связано с математикой и естественными науками. С этими *«профилями»* отдельный анекдот, как с *«модулями»*. Казалось бы, что плохого в старших классах, которые специализируются на углубленном изучении какого-то предмета? Ничего плохого. И в советской школе прекрасно работали 9-10-е классы с математическим, медико-биологическим, физическим и т.д. *«уклоном»*. Но как только специалисты рассмотрели внимательно то, что предлагает нынешний Минобраз, они увидели радикальный разрыв с *«тоталитарным прошлым»*:

«стоит открыть «Объемные показатели» — и нельзя не понять, что в 1998 году на математику отводилось 875 часов, а теперь — 770, если раньше на базовом уровне в старших классах учили 350 часов, то теперь хватит и 210, а вот на профильном уровне будут учить аж те же самые 350. Нужно ли говорить, что эта борьба с загрузкой (или борьба за разгрузку) означает низведение уровня преподавания математики в профильной «школе будущего» до уровня обычной современной школы?» (А. Абрамов — 50).

Точно то же самое с физикой: *«профилизация выражена в основном в количестве часов, которое отводится на изучение физики в профильных классах (245*

согласно «объемным показателям»), что почти равно числу часов (210), отведенных на эти цели базисным учебным планом общеобразовательной школы. Так что уровень подготовки в профильной школе практически низведен до уровня обычной» (М. Грабиленков (51). А в обычной низводится до уровня церковно-приходской. Или той американской, где нормальные дети учатся наравне с детьми, страдающими синдромом Дауна, и показывают точно такие же успехи. Не понимают, что половина больше трети.

Это не шутка. Вот личные впечатления всемирно известного ученого, академика В.И. Арнольда от бесед с господами *«реформаторами»*:

«Мне сообщили, что слабость нашего сегодняшнего школьного обучения якобы «выявлена международной комиссией», а в ответ на мой вопрос, как проводилось исследование, меня уведомили, что наши школьники слабо справляются со «стандартными вопросами», вроде: «что общего у ежа с молоком?». Я тоже не знал, что у них общего, и тогда меня обучили правильному ответу: «оба сворачиваются».

А знакомство наших школьников со, скажем, названиями столиц основных европейских государств и с таблицей умножения — не в счет: все это устарело.

При моей попытке сослаться на то, что у нас в школах повсеместно сохраняется даже более высокий уровень, чем был в церковно-приходских школах при царе, выяснилось, что мои собеседники-реформаторы не знают, что это была за школа, да и не ценят отличие наших школьников от, скажем, американских студентов: умение делить 111 на 3 без компьютера и отличать сумму дробей 1/2 + 1/3 от двух пятых, да и четкое понимание того, что половина больше трети.

К «недостаткам» нашей школы реформаторы отнесли также «требование читать много книг» (и Пушкина, и Толстого в том числе), а также требование понимать логарифмы (якобы, сделавшиеся ненужными с приходом компьютеров)» (52).

В том-то и суть, что физику и химию изводят под корень не от фанатичного пристрастия к истории или литературе. *«В нынешней реформе школы уничтожается все базовое образование В таком же положении и литература, и русский язык»* (академик Д.В. Аносов — 53). Трудно заподозрить в большой «гуманитарности» людей, поставивших официальный штамп *«рекомендовано министерством»* на учебник литературы, из которого ошеломленные школьники узнают про главный недостаток Ильфа и Петрова — оказывается, в романе *«12 стульев»* не выведен светлый образ патриарха Тихона, героически боровшегося с большевиками (54).

Так в чем же дело?

Математика, как известно, *«ум в порядок приводит»*, то есть воспитывает привычку мыслить логически даже у тех, кто в своей профессиональной деятельности никогда не столкнется с логарифмами или интегралами. А *«научное мировоззрение было и остается внутренней основой и движущей силой всех разделов естествознания»* (А.М. Шкроб — 55). Химия, физика, биология приучают к тому, что источник знания — **факты**. Помните напутствие В.А. Обручева: *«Только на новых фактах, на новых наблюдениях можно строить новые достижения. Факты — это кирпичи, из которых слагается человеческий опыт, это ваше оружие в творчестве. Неустанно ищите факты, собирайте их в природе и в книгах»* Задача ученого — обобщать и систематизировать эти факты, устанавливать связывающие их **объективные** закономерности, и не как бог на душу поло-

жит, а в соответствии с определенными правилами, с методологией, которая в науке неотделима от этики. Вы можете сказать, что и исследование общества (история, социология) строится на основе тех же принципов, только историку факты сообщает источник, а физику — наблюдение и эксперимент. Правильно. Но у того предмета, которым занимаются гуманитарии и обществоведы, есть опасная особенность. Наше знание о самих себе гораздо легче оторвать от его объективной, материальной первоосновы — от конкретных фактов. Тогда наука растворяется в потоках «ученого» пустословия, текущих взад-вперед в отрыве от какой-либо реальности.

«Вместо последовательного, линейного изложения истории литературы или самой истории, школе целесообразнее обратится к некоторому насыщенному освещению какого-то количества узловых пунктов. А именно тех, которые апеллируют не столько к реальным эмпирическим знаниям, сколько к непосредственному переживанию определенных исторических ситуаций. Перед учащимися ставится задача освоить их на уровне человеческих смыслов, а не только на уровне фактов, образующих общие тенденции» (56).

«Человеческий смысл» — это прекрасно, но какие могут быть *«смыслы»* без *«эмпирических знаний»*, без *«последовательного изложения»* предмета? Что может *«непосредственно переживать»* Митрофанушка? По отношению к химии или физике такая постановка вопроса — даешь *«переживания»* вместо знаний! — сразу же заставит собеседника покрутить пальцем у виска. Для гуманитарных дисциплин она уже стала привычной.

Ведь то, что не имеет опоры и структуры — «взгляд и нечто», — гораздо легче приспособить к обслуживанию идеологии. Заставить извиваться вместе с *«линией партии»*. Ленин? Да здравствует Ленин! Тихон? Аллилуйя, Тихон! Сёко Асахара? Банзай Синрикё! Лишь бы деньги вовремя переводили.

Что и составляет для нашей *«гуманитаризации»* уровень ее *«человеческих смыслов»*.

А вот конкретные результаты. Как менялась ВАКовская статистика: до 1990 г. на 40 % диссертаций, защищенных по техническим специальностям, приходилось 20% гуманитарных, а сейчас ровно наоборот. *«Раньше дело делали, а теперь все в основном болтают»*, — комментирует вице-президент РАН Г.А. Месяц (57). Я — историк — вынужден с ним согласиться.

7. Эпилог: *«мозги стоят недорого»*.

Занимаясь *«образовательными реформами»*, все время испытываешь некоторое неудобство от того, что вынужден объяснять взрослым людям элементарные вещи. Ведь ни одна из предлагаемых, то есть навязываемых школам и ВУЗам глупостей не составляет ни малейшего предмета для научной дискуссии, ценность их очевидна с самого начала, и все аргументы *«за»* сводятся к демагогии не просто примитивной, но какой-то ясельной: *«Смотри, вот птичка полетела!»* — и разговор переводится на совершенно посторонний предмет.

Разве высшее образование не должно быть систематическим и научным?... Пустите Дуньку в Европу!

Почему дети погибают на улице?... Свободный выбор!

При чем тут свобода и выбор?

Полагаю, что люди, которые этим занимаются, ничуть не глупее и не невежественнее нас с вами. Просто они реализуют определенный соцзаказ. А суть этого заказа (и, соответственно, разработанной под него образовательной политики) не совсем удобно обнародовать. Поэтому и приходится городить турусы на колесах, ставя в глупое положение себя и других.

Я тоже не стану формулировать за Министерство образования его общественно-политическую позицию. Лучше предоставим слово источникам, то есть самим заказчикам, которые иногда проговариваются.

«Надо по-новому взглянуть на тот факт, что эффективность современной экономики определяют 2—3% населения К 2010 году при сохранении нынешних тенденций в формировании законодательной базы наше население может создать около 500 млрд долларов ВВП, а эти 2,5—4 млн человек «социально адаптированных оптимистов» вполне могут создать 850 млрд — 1,4 трлн долларов ВВП. Это очень легко посчитать. В расчет берутся те люди, которые в настоящий момент зарабатывают у нас (или за границей) 100 тыс. долларов в год Просто «мозги» в современном мире стоят недорого. Инженер в США получает 30—40 тыс. долларов, что при тамошнем уровне цен это совсем небольшие деньги. Тот же инженер, имеющий предприимчивость, стоит совершенно других денег. И именно люди с предпринимательской жилкой в области бизнеса, в области науки, культуры, других областях жизни — инициативные люди — создают основной объем ценностей современного мира» (Михаил Ходорковский — 58).

Комментировать тут нечего, отметим только, что довольно точно воспроизведен смысл диалога, вынесенного Н.А. Некрасовым в эпиграф стихотворения, которое мы все учили в школе: *«Папаша! Кто строил эту дорогу? — Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!»* (59). Во избежание нелестных для господина Ходорковского ассоциаций и вообще лишних размышлений на эту тему — долой Некрасова из школьной программы.

Вот еще характерная цитата на ту же тему:

«По-видимому, для профлидеров было проще сказать врачам, учителям и ученым, что если те выйдут на всероссийский митинг протеста, то власть испугается и вместо 3 тысяч рублей в месяц (средняя по стране бюджетная зарплата в непроизводственной сфере) им будут платить 4,5 тыс Многие ученые, медработники и учителя восприняли люмпеновский лозунг «Отдай деньги!» как родной и вчера действительно вышли на улицы» (60).

И здесь комментировать нечего, и спорить не о чем. Позиции так же ясны, как разница в оплате между *«бюджетным»* учителем и сотрудником газеты *«Коммерсант»*.

Если 98 % населения — *«люмпены»*, люди второго сорта, не представляющие особой ценности для *«современного мира»*, то заботиться о качестве образования для их потомства нет никакого резона.

И пока идеи средневекового *«регрессанса»*, откровенно и воинственно антипросветительские, определяют образовательную политику, ни о каких *«реформах»*, ни о какой *«модернизации»* не может быть речи. Первая и главная **реформа без кавычек**, которую мы должны будем провести в интересах будущих поколений, — вымести из учебных заведений *«модули»*, *«концентры»*, учебники

непонятно чего и прочий мусор. Вымести вон вместе с бесчеловечной идеологией, которая все это породила, и вместе с *«инициативными»* чиновниками, птенцами гнезда Борисова, сделавшими карьеру на гниении и деградации.

А после этого **настоящие специалисты**, тот же академик В.И. Арнольд и другие замечательные *«предметники»*, на которых мы неоднократно ссылались в этой статье, — они уж как-нибудь разберутся, в каких объемах нужно преподавать арифметику или геометрию в школах разных типов и специализаций.

И начнется нормальная жизнь, нормальная повседневная работа над теми задачами, которые поставил перед соотечественниками В.А. Обручев, а мы — двоечники! — так мало выполнили, поминутно отвлекаясь на всякую ерунду.

Добро пожаловать в Третье тысячелетие.

Примечания

(1) Детская энциклопедия. Издательство Академии Педагогических наук. Том 1. М, 1958. http://books.myweb.ru/cgi-bin/new/library.cgi?PageType=READBOOK&BookID=523 &PageNo=1

(2) Арапов М.В. (http://www.infomag.ru:8080/dbase/N003R/971104-005/0arap.html; http://vivovoco.rsl.ru/VV/1000/ARCH_12.HTM); Асмолов А.Г. http://vivovoco.rsl.ru/VV/NO_COMM/VV_NOC_W.HTM; http://archive.kultura-portal.ru/archive/2000/44/rub3/3.asp); Куркин Е.Б. http://vivovoco.rsl.ru/VV/NO_COMM/VV_NC1_W.HTM (из Независимой газеты от 18.9.1996).

(3) Рецензии см.: Первое сентября, вкладка *«Учебники»* 20.02.1997; 30.10.1997; 10.06.2000; 15.08.2000; 6.03.2001; 18.09.2001; 20.11.2001; 9.04.2002; 18.06.2002; 18.03.2003; 04.2003 и др., а также: электронная образовательная библиотека VIVOS VOCO http://vivovoco.rsl.ru/OUTSIDE/AVE/AVE.HTM; Россия-XXI век, 2003, № 3; обзор: Смирнов И. Наука в сослагательном наклонении // Русский журнал, 21.10.2001 — http://www.russ.ru/ist_sovr/sumerki/20011024_smir.html

(4) Культурология в вопросах и ответах. Учебное пособие под ред. Г.В. Драча, изд. 2, Ростов-на-Дону, Феникс, 2001, с. 354—356. На самом деле «Лесной» — псевдоним С. Парамонова, «русского патриота», бежавшего из Киева в 1943 году. К исторической науке этот человек (биолог по образованию) не имел ни малейшего отношения, но принял активное участие в афере с «Велесовой книгой». См.: Творогов О. В. Что же такое «Влесова книга»? http://www.russiancity.ru/books/b32.htm

(5) Историческое образование в современной России. Справочно-методическое пособие для учителей. Авторы Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю., Ионов И.Н., Короткова М.В. М, Русское слово, 2002, с. 112 — 113. Справочник преподавателя общественных дисциплин. Министерство общего и профессионального образования РФ. Центр гуманитарного образования. М, 2000, с. 10 — 11.

(6) Письмо МО № 84-М, см. Справочник преподавателя общественных дисциплин..., с. 49.

(7) Так профессор Ю.И. Семенов определил стиль, в котором работает один из самых популярных в Минобразе авторов, некто П.С. Гуревич, специалист во всех науках, от теологии до биологии (особенно по пчелам и медведям). См.: Семе-

нов Ю.И. Ахинеада в роли учебника мировой мудрости. // Первое сентября, 1998, № 17.

(8) Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко С.И., Петров Ю.А. История Отечества. XX век. Учебник для 9 класса основной школы. М. Русское слово, 2002, с. 67, 39, 369.

(9) Как именно это делается — см., например: Абрамов А. М. Куда направлен вектор личностной арифметики // Русский журнал, 11.10.2002 http://www.russ.ru/ist_sovr/sumerki/20021011_abr.html;

(10) Владимир Филиппов: «*Образование зависит от богатства региона*» // Известия, 12.03.2002.

(11) Смирнов И. Зачем крепостному фехтование? // Россия — XXI, 2002, № 2. http://www.hse.ru/pressa/ros_XXI/20020527.htm

(12) Клименко А., Румынина В. Экзамен по обществознанию. М, Айрис, 2002, с. 170.

(13) Развитие образования в России. Национальный доклад. Под редакцией министра образования Э.Д. Днепрова. Министерство образования РФ, М, 2002, с. 48.

(14) Формирование будущего. Саламанка, 29-30 марта 2001 года. http://www.spbu.ru/News/edusem/salam.htm

(15) См.: Суворов А.В. Ильенков Эвальд Васильевич. http://www.trizminsk.org/e/25020.htm

(16) Николе Л. Миллион бездомных детей. // Le temps, 21.01. 2003. Перевод: Inopressa.ru.

(17) Досье. История и современность. № 3 (16). Феликс Дзержинский. М, 2002.

(18) Цинко А. Шоумен не может быть министром культуры. // Литературная газета, 2002, № 23.

(19) Белашова И. Без квартиры, но с деньгами. // Время новостей. 4.02.2002. См. также: Митрофанов А. Дети могут спать спокойно — комендантского часа в Москве не будет.// Известия, 21.11.2002; Железнова М. Лужков спас детей от Балашова. // Газета, 21.11.2002.

(20) База данных беспризорников. // Метро, 18.12.2001.

(21) Сергеев И. Наследники Дзержинского. // Московский комсомолец, 20.09.2002.

(22) Куликов В. Мальчик вернется. // Российская газета, 16.03.2003. http://rg.ru/Anons/arc_2003/0316/7.shtm; Озерная И. «*Ну, подумаешь, собачку ножом пырнула*» — http://www.izvestia.ru/pulp/article30239

(23) Кордонский М. Беспризорная страна. // Русский журнал, 17.03.2003. http://www.russ.ru/ist_sovr/20030317_mk.html (я только позволил бы себе маленькое уточнение: по поводу «*нормального русского языка*» уважаемый Михаил Кордонский своим подопечным все-таки польстил).

(24) Там же.

(25) Письмо Германа Мёллера И.В. Сталину. // Вестник истории естествознания и техники, 1997, № 1. http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/ECCE/VV_EH6_W.HTM

(26) Семенов Ю.И. Как возникло человечество. М., ГПИБ, 2002, с. 216.

(27) Победоносцев К.П. Московский сборник. Народное просвещение. 1. http://borzoi.dvo.ru/elib/pobed000/00000024.htm — a42; http://libword.by.ru/Nauchnaya/Kultura/html/pobedonoscev.htm

(28) Это не антирелигиозный выпад. Например, к книгам о. Александра Меня у автора этих строк иное, куда более позитивное отношение. Впрочем, религиоз-

ное образование в современной России — тема отдельного разговора. См., например: Смирнов И. Регрессанс. // Скепсис, 2003, № 2.

(29) Шкроб А.М. Великое объединение. // Школьное обозрение, 2002, № 6, с. 33.

(30) Шкроб А. М. Отучение. http://www.ibmh.msk.su/vivovoco/VV/ARCH1000.HTM

(31) Прокофьев М.А. Послевоенная школа России. М, МИРОС, 1997, с. 4.

(32) Леонтьева О. Подростки готовы учиться. Но без уроков и программ. // Первое сентября, 2002, № 24.

(33) Логунов А. Нам придется менять отношение к сфере образования. // Русский журнал, 7.04.2003.http://www.russ.ru/ist_sovr/sumerki/20030407_log.html А.П. Логунов — декан факультета политологии и права РГГУ, примером научной продукции может служить 600-страничный том *«Советская историография»* (М.: РГГУ, 1996), выпущенный под его редакцией на грант фонда Форда. Из этого фундаментального труда можно узнать, что главные фигуры нашей исторической науки — непосредственный начальник Логунова, ректор РГГУ Ю.Н. Афанасьев, а также Резун — *«Суворов»*, которому посвящены целые разделы. Крупнейшие ученые упомянуты по одному разу, в перечислениях через запятую. В.Л. Янин — в связи с тем, что как-то на круглом столе он разошелся во взглядах с Афанасьевым. Видимо, это единственный след, оставленный академиком Яниным в науке. Рецензию см.: Авесхан Македонский. Новости историографической мелиорации или Сам себя не польёшь -- завянешь. // Первое сентября, 25.09.1997.

(34) Победоносцев К.П. Цит. соч.

(35) Умственно отсталые в социально передовых// Время новостей, 18.04.2000.

(36) Общество обсуждает стратегию образования. ЗАО «Журнал *«Эксперт»*, М, 2000, с. 10.

(37) Логунов А.П. Цит. соч.

(38) Цит. по: Малявин В.В. Конфуций. М, Молодая гвардия, 2001, с. 265.

(39) Нарышкина А. Для *«корочки»*. // Известия, 28.03.2003. Колоритный образ одного такого «храма науки» — расположившейся в Реутове Международной академии маркетинга и менеджмента — см.: Феклюнин С. Великая образовательная война. // Московский комсомолец, 7.04.2003. Лицензию академикам выдавал, между прочим, министр В.М. Филиппов. *«В качестве необходимых учебных площадей академией были показаны помещения реутовских магазинов, красных уголков, ЖЭКов»*

(40) Колесников А. Реформа на автопилоте. // Известия, 10.12.2002.

(41) Цит. по: Качуровская А. Единый госэкзамен принят на *«неуд»*. // Коммерсант, 4.02. 2002.

(42) Б.С. *«Молодой тигр»* вырос в полтора раза. // Еженедельный журнал, 19.03.2002.

(43) Болонский аршин. // Русский журнал, 7.04.2003. http://www.russ.ru/ist_sovr/sumerki/20030407_afan.html

(44) Афанасьев Ю.Н. Интервью *«Русскому журналу»*. Там же. Логунов А.П. Цит. соч.

(45) Цит. по: Митрофанов С. *Плюсы и минусы «болонского процесса»* // Русский журнал, 7.04.2003. http://www.russ.ru/ist_sovr/sumerki/20030407_mitr.html

(46) См., например, об английской школе Хэрроу: Сергазиева Р. Мальчики в цилиндрах. // Аргументы и факты, 2003, № 16.

(47) *«Наблюдение за галактикой продолжается»* Академик Валерий Рыбаков. Беседа с Вл. Губаревым. // Литературная газета, 2002, № 38.

(48) Там же. Академик Дмитрий Аносов: учителя компьютер не заменит. // Литературная газета, 2001, № 44 —45.

(49) Адамский А. Цена соглашения. // Первое сентября, 2002, № 86.

(50) Абрамов А. Куда направлен вектор личностной арифметики? // Русский журнал, 11.10.2002.

(51) Грабиленков М. Кому нужны законы Ньютона? // Русский журнал, 24.09.2002. http://www.russ.ru/ist_sovr/sumerki/20020924_mg.html

(52) Арнольд В. И. Подготовка новой культурной революции. http://www.mccme.ru/edu/index.php?ikey=viarn_k_rev

(53) Академик Дмитрий Аносов: учителя компьютер не заменит. // Литературная газета, 2001, № 44 —45.

(54) Русская литература XX века. 11 класс, часть 2. Под редакцией В.П. Журавлева. М, Просвещение, 2002, с. 8.

(55) Шкроб А.М. Великое объединение. // Школьное обозрение, 2002, № 6, с. 33.

(56) Образование на распутье. Беседа Г.С. Кнабе с А. Яковлевой. // Литературная газета, 2002, № 40.

(57) Цит. по: Петухов С. Россия станет страной доцентов. // Коммерсант, 18.01.2002.

(58) Ходорковский М. Из выступления на Первой всероссийской конференции «Общественные ресурсы образования», прошедшей в апреле в Федерации интернет-образования. // Первое сентября, 2002, № 34.

(59) Некрасов Н.А. Железная дорога. В кн.: Сочинения в трех томах. Том 2. М, Гос. издательство худ. литературы. 1953, с. 8.

(60) Трудящиеся ищут деньги на улице. // Коммерсант, 27.02.2003.

Карен СТЕПАНЯН

В ОЖИДАНИИ «УСКОРЕННОГО АПОКАЛИПСИСА»?..

Борис Тарасов. Куда движется история? Метаморфозы людей и идей в свете христианской традиции.

Санкт-Петербург. Издательство «Алетейя», 2002. 352 стр.

Книга известного литературоведа Б.Н. Тарасова — одно из немногих (пока) проявлений тенденции, которую можно считать обнадеживающей и многообещающей. Заканчивается период отчаяния и растерянности, когда многим казалось: Россия, после семидесятилетнего «перебаливания» своим изводом коммунизма, будет уже окончательно сбита с исторического пути неожиданно навалившимся капитализмом (в самой дикой его форме) и всеми геополитическими событиями конца минувшего века.

Ныне происходит постепенное опамятование.

Становится ясно, во-первых, что не все так страшно, как кажется: пусть шумящие на поверхности люди, радостно отказывающиеся от духовных и культурных основ, и создают порой впечатление, что они представляют подавляющее большинство, — это далеко не так. Во всех слоях общества и во всех «возрастных группах» осталось (или появилось) немало людей, помнящих, к какому могучему духовному организму они принадлежат, наследниками *чего* являются и какие задачи предстоит решить России в будущем. Во-вторых, понемногу становится понятно, что испытания нынешних лет — может быть, не самые тяжелые в отечественной истории. Во всяком случае, они необходимы для того, чтобы отчетливее представить свое положение в мире, свои силы и слабости, свою способность противостоять искушениям и возможные пути своего исторического выбора.

Благодаря рухнувшим барьерам нам сейчас доступны труды виднейших философов, богословов, политиков Европы, Азии и Америки. Но для верного понимания происходящего с нами и нашего будущего первейшее значение имеют все-таки труды отечественных мыслителей прошлого, ибо у России

Карен СТЕПАНЯН — родился в 1952 году в Ереване. Окончил филологический факультет Ереванского государственного университета. Кандидат филологических наук, заведующий отделом критики журнала «Знамя», вице-президент российского Общества Достоевского, главный редактор альманаха «Достоевский и мировая культура». Автор книги «Достоевский и язычество» (1992) и многих статей по проблемам классической и современной русской литературы. Живет в Москве

действительно свой особый путь в истории (как, впрочем, и у любого другого национально-государственного организма); как писал Пушкин, она требует «другой мысли, другой формулы». Недаром некоторые проницательные теоретики Запада специально оговаривали неприменимость их теорий в России, — а если эти теории в Россию все же проникали, то принимали здесь нередко совершенно неожиданное осуществление. Что же до наших предшественников, духовное, культурное, интеллектуальное наследие которых мы с по-настоящему стали осваивать лишь с началом перемен в жизни России, то оно особенно для нас сегодня важно еще и потому, что многие из них имели дело, как ни странно это может показаться, с теми же проблемами, с которыми сталкиваемся сейчас и мы — потрясение привычных устоев жизни под влиянием резкой смены экономического уклада, необходимость осмысленного ответа на масштабную и ускоренную экспансию иностранных идей и ценностей, нахождение приемлемого синтеза своего и «чужого», выработка нового курса России в меняющемся мире и т.п. Попытки наших предшественников найти какие-то пути разрешения этих проблем не были, к сожалению, приняты во внимание теми, кто реально «делал» историю России, и оттого-то проблемы и стали столь катастрофичными. Но, следовательно, сегодня, когда мы получили, наконец, нормальный доступ к русской мысли XIX-XX вв. во всей ее полноте, а не в искажающих изложениях, нам тем более важно с предельной внимательностью отнестись к ее поисках и разобраться в них. Может быть, это поможет нам, наконец, понять сущность той страны, в которой мы живем.

Заметный и крайне нужный сейчас шаг на этом пути — книга Б.Тарасова. Она и построена, в основном, как своего рода диалог с художниками, философами и политиками русского «золотого века» — от Александра I до Льва Толстого. Внимательно слушая их, порой вмешиваясь в их споры между собой, автор ни на минуту не забывает о нашем времени, постоянно проецируя на него мысли и суждения своих великих собеседников и именно это и считая своей главной задачей.

Во вступительной главе «Новый Ренессанс или ускоренный Апокалипсис?», полемизируя с философами, склонными и ныне видеть в историческом Ренессансе позитивное торжество человеческого духа и начало подлинной самореализации человечества, Б.Н. Тарасов справедливо указывает на то, что когда такая самореализация и такое самоутверждение замкнуты исключительно в земных границах, основой и целью своей имеют лишь земное, отрезанное от горнего первоисточника бытие, — тогда «мудрое вчувствование в мир естественно перетекает в стремление господствовать над ним, любовное понимание — в изобретательское освоение, интенсивное переживание — в экстенсивное реформаторство, философия — в науку, поэзия — в прозу, прекрасное — в безобразное, добродетель — в порок, подвиг — в преступление, титанизм — в тиранию и т.д.». Конечно, некоторые формулировки автору стоило бы и уточнить, но и без этого, думается, никто не заподозрит его в плохом отношении к науке или к прозе как к таковым. «Красиво мыслящий неоплатонический философ Ренессанса, бесконечно человечный и бесконечно гуманистический, — продолжает автор, — мало отдавал себе отчет в том, что какой-нибудь кровавый преступник и бесстыдный насильник вроде Цезаря Борджиа тоже чувствовал за

собою право своего поведения, тоже находил в нем свое самодовлеюще наслаждение и тоже был представителем своего рода платонической эстетики, которая отличалась от Платонической академии только своим содержанием, но структурно вполне ей соответствовала». «И путь от оптимистически мажорного лозунга «Человек — это звучит гордо» до деструкции человеческого облика в пессимистически минорной формуле «Человек человеку волк» (или, как сейчас еще добавляют, — свинья) /.../ хотя и пестр и извилист на поверхности истории, но неуклонен и последователен в ее глубинных метаморфозах». Следуя этой логике, считает автор, ренессансные идеалы, продолжая эволюционировать в современном мире, могут привести человечество к «*ускоренному Апокалипсису*»...

Эта — выделенная мною — формулировка требует, конечно, некоторого разъяснения, и я позволю себе остановиться на ней подробнее. Дело в том, что основное содержание этой вступительной главы книги — набрасываемая в общих чертах и энергично утверждаемая автором христианская социальная программа, суть которой — в «антивозрожденческом повороте к Богу» и коренном преображении «темной основы нашей природы». А быстрейшая реализация этой программы применительно *ко всему миру* именно потому, считает Б.Тарасов, и необходима, что только на этом пути можно избежать «ускоренного Апокалипсиса».

Мысль понятная, но кого-то способная, вероятно, и озадачить. Действительно, — не звучит ли словосочетание «*ускоренный Апокалипсис*» — да еще как нечто, чему следует противостоять — в контексте защищаемой автором *христианской* традиции слишком неточно, если и не просто-таки кощунственно? Во всяком случае, именно так и показалось, видимо, А. Мановцеву, автору статьи «Христианство без церкви и проблема будущего» — («Москва», 2002, №11). Ведь Апокалипсис — это, строго говоря, Откровение о грядущем Втором Пришествии Христа в мир и только *тогда уже* — преображении человечества и мироздания в новых людей и новую землю. Так что же в этом плохого, рассуждает А.Мановцев, даже если произойдет это хоть завтра?

Ничего — для тех, кто уверен в собственной святости и равнодушен ко всем, кроме себя. Ведь за Вторым Пришествием Евангелие обещает Страшный Суд, после которого делавшие зло пойдут «в воскресение осуждения», «в муку вечную» (Иоан. 5:29, Матф. 25:46). Не потому ли земная жизнь большинства из нас и длится до тех пор, пока мы что-то важное, наконец, не поймем и внутренне не переменимся — или пока не иссякнет в небесах последняя надежда на это? То же, дерзаю думать, относится и к человечеству. И если конец завтра, то — как опять-таки по человеческим меркам можно предполагать, — очень и очень многих (исходя из нынешнего состояния мира) ожидает страшная участь. Тут можно вспомнить слова апостола Петра: «Не медлит Господь *исполнением* обетования, как некоторые понимают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2-е Петр. 3:9). А потому те, кто верит Евангелию, должны не торопить приход «конца света», а по мере сил стремиться к религиозному преображению мира.

Как бы предвидя это возражение, А.Мановцев утверждает, что «Священное Писание **не говорит ничего** о "преображении жизни" здесь, на "прежней земле"». И далее: «Что нам думать о всем человечестве? Нам бы выправиться самим».

Но приведу суждение такого авторитетного богослова, как протоиерей В.Зеньковский: «Необходимость **освящения** «мира Кесаря» есть творческое начало в принципе симфонии. Церковь должна идти в мир, жить его страданиями и трудностями, но в то же время она должна стоять на страже правды в мире, во власти, в культуре, должна быть «детоводителем» мира ко Христу, вести его по пути покаяния в грехах и преображения мирской стихии в творческой жизни мира. Это есть задача «в о - ц е р к о в л е н и я» м и р а; в е с ь с м ы с л христианского участия в истории **только в этом и заключается»** («Наша эпоха» — см. журнал «Русское возрождение», Нью-Йорк — Москва — Париж, 1990, №52, с.30, выделено все В.Зеньковским).

Конечно, спор этот не с Б. Тарасова и А. Мановцева начался. Чтобы не углубляться очень далеко в историю, напомню, что в свое время К. Леонтьев, возражая на Пушкинскую речь Достоевского, писал: «от человечества ничего благотворного в будущем Церковь не ждет», человечеству «должен настать *когда-нибудь конец*. А если будет *конец*, то какая нужда нам так заботиться о благе будущих, далеких, вовсе даже *непонятных* нам поколений? /.../ Верно только *одно* /.../ — *это то, что все должно погибнуть!* /.../ И потому — *терпите* и заботьтесь практически лишь о ближайших делах, а сердечно лишь о ближних людях: *именно — о ближних, а не о всем человечестве»* (курсив всюду К.Леонтьева).

Развернутое возражение Леонтьеву Достоевский написать не успел (это было за несколько месяцев до смерти писателя), ограничившись лишь парой несколько грубоватых (в не предназначенных для публики записных тетрадях) абзацев: «*Леонтьеву (не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет)*. В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое.

Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коль все обречены, так чего же стараться, чего любить, добро делать? Живи в свое пузо. (Живи впредь спокойно, но в одно свое пузо.)» (ПСС, т.27, с.51).

Как известно, за Достоевского возражения Леонтьеву сформулировал Вл. Соловьев — в «Трех речах в память Достоевского» и в «Приложении» к ним. Вл.Соловьев напомнил, что «безусловной границы между «здесь» и «там» в Церкви не полагается. И самая земля, по Священному Писанию, и по учению Церкви, есть термин *изменяющийся*. /.../ Дело в том, что нравственное состояние человечества и всех духовных существ вообще вовсе не зависит от того, живут они здесь на земле или нет, а напротив, самое состояние земли и ее отношение к невидимому миру определяется нравственным состоянием духовных существ. И та всемирная гармония, о которой пророчествовал Достоевский, означает вовсе не утилитарное благоденствие людей на теперешней земле, а именно начало той новой земли, на которой правда живет».

Но я бы обратил внимание еще на одну, еще более важную, на мой взгляд, для данной темы работу Вл. Соловьева — и не на «эсхатологические» «Три разговора», (которые привлекает в поддержку свой позиции А. Мановцев, но которые А. Лосев, на мой взгляд, справедливо оценивает как трагедию философа, побежденного в конце жизни пессимизмом), а на более раннюю — «Духовные основы жизни» (1882 — 1884 гг.; здесь работа цитируется по отдельному изданию — Санкт-Петербург, 1995 г.). Во второй части трактата, в главе «О христианстве», Вл.Соловьев пишет: «Христианство явилось как добрая весть спасе-

ния всему миру. /.../ *Мір* или *мир* (космос) значит именно согласие и лад. /.../ Каждое существо /.../ только в связи со «всем» находит свой смысл /.../ и свою истину. /.../ Безусловное первоначало и источник всякого бытия есть *абсолютная целость* всего сущего, т.е. Бог. Это целость всего, пребывающая сама по себе в неизменном покое вечности, открывается и проявляется во всеединяющем смысле мира /.../ Древнему миру было довольно созерцать Божество как идею; новый мир, уже видевший Божество как действительное явление, не может ограничиться созерцанием /.../ Человечество обязано не созерцать Божество, а само делаться божественным. Согласно этому новая религия не может быть только пассивным богопочитанием или богопоклонением, а должна стать активным *богодействием*, т.е. совместным действием Божества и человечества для пересоздания сего последнего из плотского или природного в духовное и божественное. /.../ Полное воссоединение исцеленного мира с Богом или совершенное воплощение абсолютного смысла в мире как в живом организме Божества, где Бог будет все во всех, составляет конец того дела, начало которому положено воплощением того же Божественного смысла в индивидуальном существе Иисуса, Первенца из мертвых и краеугольного камня в создании живого всемирного храма. В этом деле человечество должно *содействовать* Богу, ибо без такого содействия не будет взаимности или полного внутреннего соединения, *сочетания* Бога с творением; ибо этот смысл есть не просто единство, а согласие всех или всеединство. Содействие же человечества Богу в этом деле всемирного исцеления должно состоять в постепенном, свободном и сознательном превращении плотской жизни в себе и вне себя в жизнь духовную, — материализацию духа и одухотворение материи, воссоединение материи, воссоединение этих двух начал, на разделении которых основана плотская жизнь».

Именно о *содействии, соработничестве* человечества Богу, о продолжающемся *творении* мировой истории забывают те, у кого и прежде, и в наши дни «Апокалипсис» парализует всякую волю к социально-исторической активности. Но вспомним, как в пророчестве о бедствиях, которые должны предварить Его Второе Пришествие, Христос говорит: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни» (Матф. 24:22). Значит, даже продолжительность бедствий может быть сокращена благим выбором человека, людей, ибо наличие избранных и их число — не есть ли результат свободного ответа человека на Божий призыв? И в этом *продолжении творения* (которое зависит от наших ответов — или *неответов* Богу) — основа для исторического творчества, исторической надежды (что так не нравится Мановцеву у Тарасова и не нравилось Леонтьеву у Достоевского).

Последним (по времени) примером и подтверждением тому, что божественное творение истории продолжается и направлено к преображению мира, стал для меня потрясающий рассказ о явлениях Богородицы хорватским подросткам в Междугорье («Континент», №115). Сразу скажу, что меня рассказ этот убедил полностью — именно *реальностью* всего происходившего (кто читал, поймет, о чем идет речь, причем меня вовсе не смущает, что чудо это происходило и продолжает происходить в пределах католического мира. Сто с лишним лет назад, уже в конце своей жизни, тот же Достоевский писал: «Вы скажете, что на Западе померк облик Спасителя? Нет, я этой глупости не скажу» (ПСС, т.27, с.56); слова

эти безусловно верны и теперь.) Сами явления Богородицы, Ее многолетнее призывание к людям — молиться, каяться, искать мира, останавливать войны — разве не свидетельствует о том, что та часть человеческой истории, которую осталось пройти до Второго Пришествия, не предопределена фатально, что Господь и Богородица *надеются* на нас, на нашу свободную добрую волю? Она и Сама говорит об этом («Я пришла, потому что здесь много преданных верующих душ»; «предстоящее наказание» уже было смягчено Господом по Ее молитвам, а также молитвами и постами верующих, и еще может быть смягчено).

Кстати, удивительное дело: в заключение своей статьи А. Мановцев, в противоречии со своим тезисом («Евангелие не дает никакого повода к оптимизму в отношении земной истории человечества»), пишет: «в определенном смысле» «надежда на преображение жизни, выраженная в книге Бориса Тарасова /.../ оправдана!» В каком же? А вот: «Нашими святыми предсказано, что Россию ждет возрождение. Но это не безусловно, и действительно многое зависит от нас».

Полностью согласен с этой верой и этими словами, однако если в России все зависит от нас, то почему в отношении остального мира такой пессимизм? Нет ли здесь разделения на *достойных* и прочих? Рискну утверждать, что в подобном отношении проявляется соблазн неверия в человека (именно в этом было основное различие между видевшим в *каждом* человеке образ Божий Достоевским и его идейными оппонентами, от Градовского и Леонтьева до Страхова). Кто достоин спасения — ведомо лишь Господу. И само слово *исцеление* (Христом и основанной им Церковью падшего человека и падшего человечества) не есть ли в корне своем — восстановление *целостности*?

Во время одного из Своих появлений в Междугорье Богородица сказала: «Если бы вы знали, как Я вас люблю, то вы бы плакали от радости». О любви Бога ко *всем* людям, не разделяемых Им на «худших и лучших», Богородица говорит постоянно. Но для тех, кто еще не прочел об этом (или прочел и не верит, такое тоже, конечно, может быть), напомню слова из молитвы св. Василия Великого, которая читается по крайней мере несколько раз в году, перед причащением: «Ты бо рекл еси, Человеколюбче, пророком Твоим: яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему. Не хощеши бо, Владыко, создания Твоего руку погубити, ниже благоволиши к погибели человечестей, но хощеши всем спастися, и в разум истины приити». Напомню, наконец, слова Евангелия: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16). И если Сам Господь желает спасения *всем*, то какое право мы имеем производить любое разделение или отбор? Памятуя о *своей* греховности, не забывая о *ближних*, мы должны, думается, делать и все возможное для спасения всего человечества.

И последнее, о чем хотелось бы сказать по поводу этой главы. Весь пафос ее в том, что материальные блага и комфорт парализуют духовное развитие и усыпляют духовные силы. Можно спросить: не грешно ли писать об этом в стране, где миллионы людей живут, буквально считая каждый рубль? Думаю, нет, ибо речь идет о сохранении основ русской культуры: духовные ценности всегда преобладали у нас над материальными (даже в бунтах и революциях: не столько идея овладения материальными благами вдохновляла шедших в бой, сколько стремление к установлению царства справедливости на земле). И

если вдруг это соотношение в сознании решающего числа людей изменится, произойдет просто исчезновение России. Сначала в духовном, а потом и в государственно-политическом смысле. И чем такое развитие событий, в свою очередь, чревато для мира, трудно даже предположить. Скорее всего, тем самым «концом истории» (то есть окончательным торжеством буржуазных ценностей), который автор этого термина, профессор Ф. Фукуяма, ныне предполагает «пролонгированным», но который, пожалуй, состоится в этом случае действительно достаточно быстро — тем самым «ускоренным Апокалипсисом»...

Оценка деятельности людей, возглавлявших большие империи и государства, редко бывает свободна от субъективности — в том числе и потому, что сложно в точности определить, совершалось ли все хорошее в стране благодаря им, а все нехорошее — вопреки (или наоборот). В открывающих книгу «персоналиях» — очерках об императорах Александре I и Николае I. — Б.Тарасов вполне отдает себе отчет в этой сложности. Так, он не скрывает своих симпатий к Николаю I — за то, что этот «рыцарь самодержавия» в своей деятельности исходил «из идеальных представлений о синтезе православия, самодержавия и народности» и был полон решимости постоянно укреплять «связи государства с народом в свете христианского самосознания». Он признает, что при Николае I укреплялась мощь государства, увеличивалось благосостояние народа, развивались науки и искусства, да и то, наконец, что в самые критические моменты государю не изменяло личное мужество, тоже автору нравится. Но при этом Б. Тарасов понимает: полагаясь в своей деятельности только на себя, а других ценя как покорных исполнителей, стремясь постоянно проявлять непреклонную волю, Николай шел ложным путем, ибо забывал о том, что каждого из его подданых Бог создал свободной (по крайне мере, внутренне) личностью. Ставит в прямую вину ему Б. Тарасов и то, что Николай не проявил милости к вождям декабристов, не отменил казнь — тем самым, помимо нарушения Божьего закона, была заложена, считает автор, основа «героической» революционной мифологии, успешно действовавшей еще почти полтора столетия. И потому очерк завершается довольно жестким выводом: «Сила и дисциплина, лишенные существенного нравственного содержания, лишь по видимости давали действенные результаты, а на деле естественно и незаметно ослабляли государство и подготавливали его будущий развал». Именно в николаевскую эпоху, отмечает Б. Тарасов, началось настоящее противоборство между патриотизмом казенным, корыстным, замешанным на злости, глупости и ксенофобии, и патриотизмом просвещенным, видящим главную ценность в духовных основах народной жизни, в живых традициях православия и в нравственной высоте лучших представителей нации. Добавлю, что разрушительней этого противоборства для русской мысли с тех пор, на мой взгляд, ничего не было.

Что же касается Александра I, то главную слабость его Б. Тарасов полагает в неукорененности и раздвоенности его внутреннего мира, в отсутствии четкой линии государственного строительства. Исследователь не склонен преуменьшить личный вклад Александра в победу России над Наполеоном — в ту эпоху, когда одно имя французского императора, как писали современники, «заключало в себе какое-то безотчетное понятие о силе без границ». Но то был

взлет деятельности русского государя, в остальное же время чрезмерное внимание к собственным духовным проблемам (да еще при отсутствии твердой религиозной основы) способствовало увлечению и самого царя, и «высшего света», и значительной части просвещенного общества мистическими учениями и оккультизмом, подмене истинного благочестия притворным мистицизмом или карьерным ханжеством. Задачи же внутренней и внешней политики к концу жизни Александра I находились во все большем небрежении.

Очень разными в человеческом плане были эти два брата, два императора, но оба — каждый по-своему — продемонстрировали своей деятельностью, что благие намерения, «преломляясь сквозь несовершенный человеческий материал», приводят совсем не к тем результатам, что ожидались, а подчас — и к прямо противоположным. Тем более, когда несовершенство это начинается с самих верховных властителей. Несмотря на всю непохожесть, и Александр I, и Николай I были — правда, этого вывода Тарасов не делает — *мечтателями* во власти, а мечта обычно замыкает человека в замкнутой оболочке своего «я». Как сказал один мудрый человек, с Богом можно встретиться везде, но только не в мечтах. И в два этих царствования трагедия власти в России обрела новое измерение: власть (и ее окружение) и страна начали жить разной жизнью, объединяясь лишь в годину смертельных бедствий.

Однако главный интерес в книге представляют, с моей точки зрения, главы, посвященные анализу историософских взглядов П. Чаадаева, их потрясающей эволюции (от крайнего западничества к славянофильству, что потом повторилось в судьбе многих русских мыслителей) и глубочайшей по содержанию, хотя порою и скрытой, полемике между ним и Пушкиным. Две проблемы стояли в центре этой полемики — проблемы, значимость которых только возрастает с течением времени и к разрешению которых мы сейчас не ближе — если не дальше, — чем наши великие предки.

Первую вкратце можно изложить так. И тот, и другой хорошо видели, что есть в народе и пережитки язычества, и страшные саморазрушительные силы, но были согласны в том, что именно лучшие черты его религиозно-психологического уклада — такие, как бескорыстие и совестливость, скромность и самоотречение, терпение и самоотверженность — не раз и спасали страну от неминуемой гибели, становились залогом выживания в самых страшных испытаниях. Однако, по мнению Чаадаева эпохи первого «философического письма», одухотворенность «высоких евангельских учений», воспринятых Русью через Византию, при неразвитости задатков социального характера, чрезвычайно усилила в русской нации аскетический элемент в ущерб началам общественно-культурного строительства западного типа. Православие, стремясь сохранить чистоту евангельского учения, сосредоточилось в храме, оставляя в стороне все многообразие социально-исторического творчества.. Отсюда — разобщенность территорий, сословий и самих граждан, небрежение практическими делами, «правильной» философией и наукой, «синкретизм в литературе и искусстве (то самое, о чем сейчас кто с гордостью, кто с неприятием говорит как о стремлении русской литературы «быть всем», заменяя и философию, и социологию, и публицистику. — *К.С.*), неразвитость деятельного внимания к экономике, хозяйству, технике как подчиненным и второстепенным элементам жизни».

Пушкин видел, однако, в этих суждениях Чаадаева налет определенного схематизма, избыточный рационализм. В историософских построениях Чаадаева не было места главному — проблеме личного спасения человека, борьбе добра и зла в нем, помощи Господа в этой борьбе. Да и «единство христианства, станет возражать ему (Чаадаеву. — *К.С.*) позднее поэт, заключается не в католичестве, а во Иисусе Христе», отмечает Б. Тарасов. Кому, как не Пушкину, с его изумительной способностью видеть глубины человеческой души, было не знать, напоминает автор, о темных и греховных сторонах русского народного характера (вспомним «Бориса Годунова», «Капитанскую дочку»). Но одновременно он понимал, что именно личный выбор *каждого* человека (к Богу или от Него) определяет ход мировой истории, от малых событий до самых значимых (тот же «Борис Годунов»). Поэтому взгляд его в споре с Чаадаевым был обращен именно к сущности исторических процессов: материальные успехи европейской цивилизации вовсе не являются залогом будущей социальной гармонии, наука, отворачивающаяся, в погоне за новизной взглядов, от основ бытия, порождает лишь «жалкий *дух сомнения и отрицания* в умах незрелых и слабых», прогресс сам по себе лишь заключает сознание человека в границы сиюминутных эгоистических интересов. Демократия вовсе не является панацеей от несправедливостей — «разве народ английский участвует в законодательстве? Разве власть не в руках малого числа?»; а в США демократия и вовсе предстала в «ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве» (нужна была действительно пушкинская зоркость, чтобы разглядеть то, что стало ясно многим лишь десятилетия спустя). Роль духовенства в России была совсем иной, чем на Западе: мы обязаны ему «нашею Историей, следовательно и просвещением», «оно всегда было посредником между Народом и Государем как между человеком и Божеством». Сформированные православием лучшие качества народа составляют своеобразие русского государства, они помогали России сохранять национальное единство; в русской культуре именно эти качества, основанные на незыблемой духовной иерархии, определили ее внутреннюю красоту, предохраняющую бытие от распада.

И вторая проблема — тесно связанная с первой — «усвоение плодов европейского просвещения на русской почве». В последние три века эта проблема для нашей страны — одна из важнейших. Как пишет в главе об Александре I Б.Тарасов, «в конечном итоге Европа стала для России, как ни для какой другой нации, источником не только приемов и методов внешнего прогресса, но и жизненных целей и задач. На таком фоне отсутствие внимания к главным конфессиональным, духовным и культурным различиям между Россией и Европой, к принципиальным особенностям их исторического формирования и развития было чревато непредсказуемыми последствиями, химерическим сочетанием разнокоренных традиций, болезненным раздвоением народной личности, взаимным отчуждением различных сословий, забвением духовной сущности родной земли и ее истории». В наши дни очевидность этих последствий особенно отчетлива, а ведь ситуация осложняется еще и тем, что на состав современных российских жизненных и культурных приоритетов все больше начинает влиять и Америка — третий и принципиально отличный, даже от Европы, участник процесса И дело даже не в сверкающей смертоносной лаве масскультуры,

неудержимо накатывающейся через телевидение, музыку, журналы и т.п. (от чего, кстати, тоже нельзя отделаться стандартным: «возмущает тебя — не смотри», ибо этот рецепт подходит только духовно зрелым людям). Вопрос сложнее.

Да, можно сказать, что есть две России — и два Запада. Есть Россия великих святых, гениальных писателей и музыкантов, самоотверженной и бескорыстной интеллигенции (от Лихачева до сельских учительниц), мудрых и светлых мужчин и женщин во всех возрастах и сословиях. И есть в России люмпены и хамы, пьяницы и грабители, дикий и неустроенный быт, произвол, воровство и невежество власти. Есть и Запад пошлого масскульта, лжедемократии и гедонизма — и есть Запад высочайших взлетов человеческого духа (то, что Достоевский называл «страной святых чудес», которая для русских всегда будет «второй родиной»), подвижников духа и деятелей потрясающего практического милосердия, мудрых философов, блестящих художников и глубоко эрудированных ученых. Идеальным было бы, если бы лучшее *там* влияло на лучшее *здесь* и наоборот. Но, к сожалению, происходит иначе (и сейчас особенно — дурное оттуда усиливает и распространяет зло здесь, а носители наших социальных недугов все шире разворачивают свою деятельность там). Отсюда и вопрос вопросов — возможен ли хотя бы в будущем искомый синтез — лучшего на Западе с лучшим в России?

Боюсь, что для особого оптимизма оснований нет. И дело здесь, мне представляется, в самососредоточенности, во все еще очень малой готовности к плодотворному взаимопроникновению традиционных духовно-психологических установок западного мира и мира российского. Это, с одной стороны, установка на повседневное обустройство земной жизни (от высших научных открытий и помощи голодающим в Африке до индустрии развлечений), а с другой — привычная нацеленность только на высшее и всеобщее счастье (в идеале — Царство Божие, в земном варианте — коммунистическое «царство справедливости»; а нет его — так и пропадай все остальное пропадом). «Интеллектуальные» похохатывания над *глупыми* народными пословицами типа «Трудом праведным не наживешь палат каменных», над тем, что у нас нищий всегда был более прав перед Богом и людьми, чем преуспевающий и состоятельный гражданин, которому для *оправдания богатства* нужно было совершить какие-то душеспасительные деяния (даже если богатство его добыто абсолютно законным путем) — пониманию и, главное, решению проблемы никак не помогут. Станет ли Россия — даже если все внешние условия будут исключительно благоприятны для нас — через несколько десятков лет преуспевающим государством с живущим в спокойном достатке народом, или это в принципе невозможно и через какое-то время народ опять рванет, как в 1917-ом, за каким-нибудь химерическим градом Китежем, сжигая и круша все вокруг? Конечно, сейчас на это ответа нет ни у кого.

Нет и у Тарасова. Но в предыдущих и последующих главах (об истории полемики западников, почвенников и славянофилов, об историософских взглядах Тютчева, о концепциях К. Ясперса и парадоксах идейно-эстетической позиции Леонтьева, о Льве Толстом как читателе Б. Паскаля) он под разными углами зрения все-таки пытается разобраться в этой проблеме и понять, в чем русская мысль и мысль западная противоречат друг другу, а в чем близки и какое их сочетание, *сопряжение* способно исправить пути человечества. Особенно

интересен в этом отношении анализ книги К. Ясперса «Смысл и познание истории». Немецкий мыслитель, как показывает Б. Тарасов, замечательно умеет видеть сущность явлений за их мистифицированными названиями — «революционный» и «реакционный», «капитализм» и «социализм». Человек, по мнению философа, призван вернуть изначальный смысл и многим коренным понятиям — таким, как истина, свобода, любовь. Ясперса принято считать одним из «столпов» экзистенциализма. Но — и это что самое интересное — подлинная глубина переживания человеком своей экзистенциальной самобытности ведет, по мнению философа, к метафизическому Абсолюту, к пониманию иерархической структуры бытия. А настоящая *коммуникация* (важное понятие его учения) между людьми и народами возможна только как бытийное и цельное общение в полноте истины. Вот, наверно, один из примеров возможного синтеза западной и восточной мысли, которого мы все — пусть и в некотором противоречии со сказанным выше — продолжаем желать.

Что же касается споров славянофилов и западников, то широта и спокойствие исследовательского подхода позволяют Б. Тарасову *услышать* и тех, и других — благо, по словам Герцена, тогда противоборствующие партии хотя и «смотрели в разные стороны» (т.е. на Восток и Запад. — *К.С.*), однако «*сердце билось одно*». Нынешнему же времени, увы, больше соответствуют слова Гоголя о тех, кто стремится «под маской славяниста или европиста, смотря по тому, что хочется начальнику, получить выгодное место и производить на нем плутни в качестве поборника как старины, так и поборника новизны». Но не это, конечно, главное. Главное в том, что в позапрошлом столетии полемическая заостренность мыслей Чаадаева о призвании России и Европы, о их месте в перспективе мирового религиозно-исторического развития давала толчок к внимательному и многостороннему исследованию этих проблем и в определенной степени, как показывает Б. Тарасов, способствовала формированию взглядов А. Хомякова и И. Киреевского. В то же время наиболее глубокие из славянофилов, высоко ценившие демократию, науку, право — основы христианской западной цивилизации — умели видеть в них и идущий еще из античности, из Римской империи антропоцентризм, подменявший христианскую истину прежними языческими формами (юридическими, политическими, государственными); господство же рационализма над «внутренним духовным разумом» грозило подменой живой веры Западной церкви схоластической силлогистикой. Однако оправданная в целом забота о «преемстве» исторической жизни народа нередко приводила все-таки славянофилов к недооценке подлинно ценного в западной современности, а этическая тенденциозность — к недопониманию таких явлений национальной культуры, как творчество Пушкина.

Б. Тарасов старается быть объективным и к тем, и к другим, и это радует. Но порой излишнее спокойствие Б. Тарасова начинает вызывать и несогласие — например, когда он рассуждает о религиозно-философских взглядах Льва Толстого. Здесь, правда, мне бы хотелось сначала сказать еще несколько слов о статье А. Мановцева. Он упрекает Тарасова в излишне некритическом отношении к Толстому, настаивая, например, на том, что в романе «Воскресение» много фальши и даже кощунства. Но я не могу не вспомнить, что впервые мои смутные подростковые ощущения оказались сформированы в твердую уверенность — Бог

есть! — именно после первого прочтения этого романа. Конечно, впоследствии мое отношение к Толстому претерпевало различные изменения, конечно, я знаю о его трагических отношениях с православием, но то свое юношеское переживание (вероятно, определившее жизнь) буду помнить всегда. Не позволил бы себе такого личного отступления, если бы не был уверен, что в этом своем опыте чтения Толстого не одинок. Что же до самого Б. Тарасова, то его в публицистических выступлениях Толстого интересует более всего то, что прямо относится к нашему времени: «Как только человек теряет нравственные силы, так он делается особенно чувствителен к эстетическому»; «люди, не выработавшие в себе ясного миросозерцания, разделяющего добро и зло ... думая, что они по ту сторону добра и зла, остаются по сю сторону, то есть почти животные». И такие акценты возражений не вызывают. Но когда цитируются многочисленные обличительные по отношению к человеку и человечеству суждения Толстого (с позиции «сверху вниз»), — суждения, выдающие скорее его гордыню (которую великий человек так и не смог одолеть), или такие, например, мысли: «Говорят: жизнь наша — тайна. Нет никакой тайны для разумных вопросов» — хочется более эмоциональной и более решительной реакции автора книги.

Впрочем, это субъективный взгляд. А вот что действительно важно, это — кому адресована книга?

Будем надеяться, что прежде всего тем молодым, которых становится сегодня все больше — тем, кто не хочет быть Иваном, не помнящим родства. И будем надеяться, что прочитав книгу Б.Н. Тарасова, они смогут лучше понять, почему Пушкин писал: «Но, клянусь честью, что ни за что на свете ни хотел бы я переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». Будем надеяться, что они воспримут эти слова вовсе не как всего лишь громкую патриотическую фразу, а сумеют уловить главное в ней — не безоглядное восхваление своего отечества и его истории, а утверждение той неразрывной, кровной связи, которая должна соединять всякого человека с отечеством и историей его предков, — связи, которая соединяла с Россией и его, Пушкина, и без которой он не был бы тем, кем он был. Это исповедание Пушкиным своей национальной веры помогает и нашему сегодняшнему национальному и историческому самосознанию и самоопределению: ведь если *мировой гений* Пушкина констатирует свое неотменимое происхождение именно из России, то это значит, что ее историческая судьба заключает в себе действительно некий *общемировой смысл*, движима важнейшими для всего мира проблемами *общечеловеческого масштаба*. А это — обязывает и нас, потомков не только Пушкина, но и Толстого, и Достоевского, и Чехова, и Блока — всей великой русской культуры, рожденной Россией, — трудиться и дальше в этом направлении — сообразно смыслу и масштабу самобытной исторической роли России в общемировом бытии. Поэтому и закончить мне хотелось бы следующими словами автора этой примечательной книги: «благое сотворение будущего неразрывно связано с подлинным истолкованием прошлого, с действительно свободным, заинтересованным лишь поиском истины, диалогом между Россией и Западом, в котором за тяжелым занавесом страданий, ужасов, лжи, насилия, превратностей и подмен в русской истории раскрылась бы, говоря словами Тютчева, тайно светящаяся духовная красота».

КОММЕНТАРИЙ К СОБЫТИЯМ РОССИЙСКОЙ ЖИЗНИ*

/январь — апрель 2003 г./

18.01.2003

Здравствуйте! Я — Виктор Шендерович, это программа «Бесплатный сыр» — программа о России и тех, кого она себе выбирает. После новогоднего перерыва приступаем к новой трапезе. Оголодали, чай.

Конец минувшего года не предвещал России ничего ужасного, кроме чеченской войны и новогодних огоньков. Но нормальное течение жизни было прервано коварной природой. Ближе к январю по всей стране опять настала зима. В прошлый раз по такому случаю вымерз по самое Хоккайдо Дальний Восток. Тогда исполнительная власть послала на этот край земли Шойгу с товарищами, они дождались лета, всё из-под земли вынули, заварили, починили — и теперь во Владивостоке чистый Лас-Пальмас, а вымерзает вся остальная страна. Под Старый Новый год давали дубака двадцать восемь тысяч человек. По официальным данным. То есть — те, которые еще смогли крикнуть «караул!» — и это донеслось до ближайшего органа власти.

Квартирные холода пришли на Валдай, в Карелию, на Алтай, в Нижний Новгород... Приятная прохлада охватила школы, больницы и поликлиники. Местные власти боролись со стихией как могли. Во Владимирской области, например, закупили мазут, но уже в котельных оказалось, что он не той марки. А что присылают, здесь отродясь не проверяли, потому что кругом же не немцы, свои...

Сергей Шпилин, глава администрации Судогодского района: «...у нас нет специальной лаборатории какой-то, чтобы они проконтролировали качество мазута. Просто мы привыкли друг другу верить».

---

* Мы продолжаем публиковать регулярный, надеемся (во всяком случае, — пока на 6-м телеканале существует программа «Бесплатный сыр»), «Комментарий» В.Шендеровича, о жанре и нашем отношении к которому см. редакционное предисловие к предыдущему выпуску в № 115.

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ — родился в 1958 г. в Москве. Окончил Институт культуры — по специальности «театральный педагог». Работал и работает на ТВ /программы «Куклы», «Итого» (НТВ) и «Бесплатный сыр» (ТВ-6)/. Автор книг «Московский пейзаж» (1999), «Избранное» (в серии «Антология сатиры и юмора» в издательстве ЭКСМО, 2000) и «"Здесь было НТВ" и другие истории» (2002). Живет в Москве.

Высшие эшелоны власти, будучи не в состоянии пустить до весны пожить у себя, на Рублево-Успенском шоссе, все двадцать восемь тысяч вымерзающих, ночей не спали, думали, чем помочь, и, наконец, нашли способ борьбы с нерадивыми коммунальщиками.

Любовь Слиска: «...и, наверное, надо для примера вот таких вот несколько человек посадить лет на пять. И тогда почувствуют и другие...»

Правильно! Посадить. Оно и традиционнее будет, и дешевле, чем отменить пару фуршетов с чеченской войной впридачу и оборонный заказ не увеличивать на треть, как решено в минувший четверг, и чуть меньше своровать в виде сезонного исключения. А сэкономленные средства перевести, скажем, в город Валдай, где живет и трудится неизвестный г-же Слиске коммунальщик, воюющий с зимой с горбачевских времен...

Валдайский мужик: «...потому что последние двенадцать лет не выделяют на жилищно-коммунальное хозяйство ни копейки денег! Все отвечают: нет денег, учитесь зарабатывать. (Кивает в сторону развороченных труб) ***Вот — зарабатываем».***

Пока цельсий шел навстречу фаренгейту, на Алтае забастовали учителя.

Это, я вам скажу, совсем неприятные люди. У них в классах даже тепло бывает время от времени, а они туда же, мучить начальство... Учебные пособия, видите ли, старые. А новые приходится покупать на свои зарплаты. А зарплаты, сами понимаете... В итоге на карте мира вместо россыпи свободных республик до сих пор один СССР розового цвета до Кушки включительно.

Я скажу так: насчет карты СССР — уже и не надо ее менять, детям (в смысле патриотического воспитания) даже полезнее будет. А насчет учителей-саботажников я ничего не скажу — там уже принимаются меры...

Геннадий Катин, глава администрации Смоленского района Алтайского края: «Суд определится о правомерности проведения этой забастовки, но у меня нет никаких сомнений, что она — незаконнорождённая».

Забастовка, рожденная в грехе, будет жить в позоре, это ясно. И вообще учителя эти — мелкие, противные люди безо всякого размаха, даже неприятно рассказывать. Гадость просто! То ли дело партийное руководство страны. На минувшей неделе генсовет «Единой России» принял решение о недопустимости совмещения полномочий руководителя Центрального исполнительного комитета и главы Генсовета партии. Пока что оба этих поста занимает некто Беспалов, а с марта главой ЦИК станет, скорее всего, некто Грызлов. Тут вопрос серьезный — не в смысле идеологических расхождений, упаси боже, идеологических расхождений у них никаких нет: и тот и другой поклялись любить Путина до тех пор, пока тот сидит в Кремле. Но скоро выборы, и в «Единую Россию» по этому случаю пойдут бабки. Такие бабки, что Центризбирком устанет зажмуриваться, чтобы этого не заметить. И через какие руки они пойдут — грызловские или беспаловские — главный вопрос современности. Это я так грубо, в общих чертах, объяснил. А глава думской фракции ОВР Володин, человек тонкий и деликатный, назвал происходящее «оптимизацией системы управления». О!

Теперь несколько слов о диверсантах. На минувшей неделе исполнилось ровно полвека «делу врачей-вредителей». Врачи эти хотели, по заданию американских спецслужб, отравить товарища Сталина и все руководство Советского Союза. Но не успели, потому что товарищ Сталин умер сам, а руководство начало расстрелы внутри себя. Это я к чему рассказываю? К тому, что кругом заговор! И прошедшие полвека в этом смысле ничего не изменили. В начале января министр обороны Иванов объяснил нам, наконец, подоплеку многочисленных побегов военнослужащих в комитеты солдатских матерей. Тут всё, оказывается, совсем не так просто...

Сергей Иванов: «...Еще один момент, который меня лично настораживает, — это побеги, иногда за многие сотни километров, в так называемые комитеты солдатских матерей. Кто их содержит? На что они живут? Это еще большой вопрос. В последнее время вызывает вопрос: а почему именно бегут в конкретные организации, с конкретными сайтами, с конкретным финансированием?»

М-да... Когда двадцать пять лет проработаешь в ГБ, так потом с холодной головой по жизни и поползешь. Конечно! Солдатские матери — завербованные сплошь, как никто до Иванова не догадался, ума не приложу...

Новости региональной политики. Недавно улицы Владивостока украсили новые растяжки. Их нехитрый текст ничего нового в политическую картину мира не добавил, но происхождением растяжек заинтересовался федеральный инспектор Шерстюк, и мэр Владивостока Копылов немедленно во всем признался. Чтобы, не дай бог, никто не подумал, что это сделал не он.

Юрий Копылов: «...у нас их — шесть, шесть перетяжек, они все висят. И я думаю, что скоро вы увидите по нашему президенту еще дополнительно. И я...и этим занимаюсь я. И если говорят «А кто?» — я лично занимаюсь».

Тут я обязан сказать вот что. Мэр Копылов не холуй какой-нибудь, желающий на всякий случай поглубже лизнуть президента, чтобы не трогал. Нет, Копылов не таков! Этот человек давно, всей своей практикой подтверждает верность президентскому курсу. Вот пара его программных заявлений. Первое — о народном благе.

Юрий Копылов (май 2000): «Администрация города Владивостока, которую я сегодня возглавляю, будет жестко очень стоять против любого повышения жизненного уровня в городе Владивостоке, любого!»

Помимо заботы о жизненном уровне трудящихся, Копылов еще два года назад, одним из первых в стране, начал реализовывать новую кремлевскую политику в отношении независимых СМИ.

Юрий Копылов (июнь 2001): (охраннику) «Толя, забери камеру у него или кассету! И всё, нет проблем! Да забери кассету ты у этого бородатого! Это я тебе разрешал, что ли, меня снимать?! Пшел вон отсюда! Толя, уйди его! Или дай в нюх ему, бля, в пятак! »

Вот. Так что союзник у президента на Дальнем Востоке надежный. Только совсем простой.

Лет сорок назад выбрала Россия себе в Поволжье место будущей автомобильной славы, назвала его в честь итальянского коммуниста Тольятти — и

построила завод. Но даже с итальянским именем — «Фиат» в городе почему-то не получился, а получился «жигуль». Поначалу все шло замечательно. Конкуренцию с «запорожцем» «жигуль» выдержал блестяще, а потом границы открылись, народ ломанулся в сторону подержанного «фольксвагена», и в прошлом году завод стал. Но не сдался. И в Тольятти в торжественной обстановке поют гимн АвтоВАЗа:

То, что прожито — нам не забыть,
Этот крест нам с тобою носить.
Будем жить!
Честь и славу твою не убить,
Неразрывна судьбы нашей нить.
Жить в Тольятти и вазовцем быть...
Будем жить!

Этот крест нам с тобою носить... Христос, конечно, с вами, автостроители, но зачем столько жертв? Впрочем, местное руководство сильно уповает на новую модель — «Калина». О ней и перспективах ее продажи рассказал миру вице-губернатор Самарской области Казаков.

Виктор Казаков, вице-губернатор Самарской области:

«...машина эта похожа на «гольф» чем-то, и она будет любимой машиной для женского населения нашей страны и за рубежом».

В этом последнем даже неловко сомневаться...

А в минувший вторник вице-спикер Владимир Жириновский получил диплом профессора Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.

Владимир Жириновский: «Это символично, что комитет по обороне в Государственной думе на десятом этаже и фракция ЛДПР десятый год находится здесь — на десятом этаже. И мы всех отсюда зачистим! Это будет этаж обороны России!»

Это были перспективы обороноспособности. А прошлые речи Жириновского, посвященные безопасности России, давно стали классикой.

Владимир Жириновский (декабрь 2000): «Они уже придумали этническое оружие, то, которое направлено только против русских, и дают его через специальные продукты питания, через специальные лекарства, через специальные виды демократии, специальные отключения тепла на Севере и Дальнем Востоке, где живут в основном русские! Когда русская эскадра готовилась выйти в Адриатическое море, чтобы встать против натовских кораблей и помешать свержению режима Милошевича, они нанесли несколько страшных ударов по нам, подбив нашу лучшую атомную подлодку «Курск», и подожгли Останкинскую телебашню!»

Вот... Теперь это — профессор... Кстати, еще о безопасности и правопорядке. В прошлое воскресенье страна праздновала День прокурорского работника. По такому случаю перед лицом своих товарищей со всей искренностью выступил генпрокурор России Устинов.

Владимир Устинов: «Я желаю вам счастья, здоровья, удачи, благополучия. Поздравьте от моего имени свои семьи, надежный и крепкий тыл всегда нам помогал исполнять служебный долг».

Поздравив сотрудников и родственников, генпрокурор поздравил и ветеранов прокуратуры. Но как!

Владимир Устинов: «Добрые слова и пожелания хочу еще раз произнести в адрес наших ветеранов. Без их вклада в общее дело прокуратура не заняла бы подавляющее место в обществе...»

Устинов — он чем хорош? Он правду говорит, когда заговаривается. «Подавляющее» место прокуратуры в обществе — не «подобающее», как в бумажке, небось, было написано, а именно «подавляющее»... Умница. А что касается этого праздничка вообще ...

Праздничек это давний. Прокуратуру на Руси, как и многие другие западные излишества, завел Петр Первый. Лично создал ее и назвал «оком государевым». Все вопросы одним названием и снял. Сказано же: «государево»! Государь раскрыл, он и пластырем залепит, ежели что. Око все это понимало, было то зорким сверх меры, то подслеповатым по надобности — и всегда косило одним глазом в закон, а другим — в сторону царя-батюшки или какого-нибудь близлежащего секретаря обкома: не подмигнет ли часом, не даст ли знать, как тот закон применять на данном историческом отрезке, будь он неладен! От вечного этого косоглазия прокурорское лицо в России приобрело выражение большого усердия и некоторой туповатости. Со зрением, в общем, всегда было плохо, зато с нюхом хорошо. Из европ, бывало, коллеги приедут и удивляются: как здесь служивый люд направление ветра чувствует! А поди не почувствуй, когда руководство такой запах времени издает — только успевай вдыхать и радоваться... Так что не удивляйтесь. Он — око государево, заранее поврежденное, чтобы много о себе не понимало.

И последнее. Под самый Новый год газета «Комсомольская правда» опубликовала гороскоп. Автор прогноза — академик академии Мировой астрологии и метаинформации Каринэ Диланян. Вот что, в частности, рассказали ей звезды: в 2003 году «еще более укрепится власть президента Путина», «проблема Чечни не разрешится», а «существенного повышения благосостояния граждан ждать не приходится». Что значит Академия метаинформации — глубина анализа немыслимая. Ну, прям, видят сквозь толщу времен. И, ведь все сбудется. Счастья вам!

25.01.2003

Вторую неделю подряд на первое в нашей программе — зима. А что делать? Вот в Южно-Сахалинске, в придачу к квартирным холодам, случилось уличное обледенение. Тамошние жители регулярно бьются о тротуары и над вопросом: «что происходит?» Но головы сжимает холод, и ответ в извилины не поступает.

Вот такими радостями живет Россия в настоящий момент. Но, с учетом качества руководства, можно смело прогнозировать резкие изменения к лучшему в самое ближайшее время... Объясняю. Недавно прошел семинар руководителей региональных отделений партии «Единая Россия». Этот семинар предложил Генеральному совету партии — Проект Манифеста «Единой России». Цитирую — и сразу предупреждаю, что это не шутка. То есть, по крайней мере, не моя. Итак:

«После победы партии на выборах 2003 года» (это, как вы понимаете, дело само собой разумеющееся) начнется «быстрый рост доходов граждан». Через год «каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас»; к 2008 году «Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной «Меккой» России», а к 2017 — «Россия будет лидером мировой экономики».

Во как. «Скажете, что этого не может быть?» (Это не я спрашиваю, это они, в Манифесте). «Это будет! Мы, партия «Единая Россия», сделаем это!», «Мы разбудим русского Медведя!» Ах, только не говорите мне, что это предвыборный трендёж кучки мелких жуликов, не расстраивайте меня. Я намерен дожить до семнадцатого года и своими глазами увидеть этого бурого лидера мировой экономики с лапой во рту и Грызловым во главе. Правда, боюсь, что, как и в случае с коммунизмом к 80-му и отдельными квартирами к 2000-му, спросить в ту пору будет не с кого.

Теперь дела союзные. На минувшей неделе президент Путин съездил в Минск — и замирился с батькой Лукашенко. Как сказано по другому поводу, это не любовь, это — судьба!

Александр Лукашенко: «Россияне для нас — люди...»

Приятно, что россияне для Лукашенко — люди. В отличие, видимо, от белорусов, которые время от времени пропадают без вести. Впрочем, это, конечно, не повод для того, чтобы не дружить с человеком, который готов делиться собственностью, если ему что-нибудь прищемить и в прищемленном состоянии подержать. По собственности Владимир Владимирович с Батькой договорились — так что теперь у нас опять мир-дружба. И уже утвержден бюджет Союзного государства: почти два с половиной миллиарда рублей. Эти деньги, из которых полтора миллиарда — наши с вами, в ближайшее время перейдут в честные руки Госсекретаря Союза России и Белоруссии Пал Палыча Бородина и будут употреблены на разные полезные вещи: модернизацию самолета ТУ-134 (хорошо, не ТУ-104), создание Союзного телевизора-2... Есть куда девать наши деньги, есть! Впрочем, если, по недосмотру Пал Палыча, судьба этих средств совпадет с тем, что записано в смете, я сильно удивлюсь.

Если с судьбой союзного бюджета более или менее ясно, поговорим о торжестве законности в Чечне. На минувшей неделе в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Генеральный прокурор России Устинов рассказал о результатах работы военной прокуратуры: за три года прокуратура обнаружила 162 преступления, совершенные федералами в отношении местного населения — из них 18 хищений, 14 убийств и два изнасилования ... Ну, это, я так понимаю, только во вменяемом состоянии... Потому что, 14 убийств — это месячная норма для спального района Москвы, а в Чечне, слава богу, собраны лучшие по профессии...

И вот еще новость оттуда же: начато восстановление Дома правительства в Грозном. Его, если помните, взорвали под Новый год. Восемьдесят человек погибли, но страна по этому поводу отвлеклась от застолья не сильно: Чечня — она на то и Чечня, чтобы там гибли люди, правда? Так вот, этот Дом правитель-

ства уже восстанавливают. Семнадцать видных чеченских бизнесменов высказали готовность оплатить строительство, но потребовали гарантий, что деньги не уйдут налево. Представляете, заявочки? Ну, их попросили отойти в сторонку вместе со своими мечтаниями — и начали восстанавливать Дом правительства на казенные, на наши с вами то есть... Мы же ничего такого нереального не просим, чтобы, мол, не воровали... И немедленно нашлось на это дело 127 миллионов рублей в федеральном резервном фонде. Новостроечка будет что надо: вышки для наблюдения, система видеокамер, бронеколпаки по периметру... Короче, Чечня возвращается к мирной жизни.

Теперь — новости правосудия.

Всего неделю продолжались в Тверском межмуниципальном суде в Москве слушания по искам к московскому правительству родственников людей, погибших на Дубровке. И все это время судья Горбачева изо всех сил старалась совместить судейский долг с платежной ведомостью от московского правительства, но у нее не получилось. Иски были частично отклонены, частично отфутболены.

Странно было ждать чего-то другого. Судейский харч от Лужкова — это, знаете ли, реальность, а чужие погибшие мужья и дети — полная эфемерность. И страдания их — воздух, на хлеб не намажешь. Да и как не стыдно требовать деньги! Хорошо выступил на этот счет зампредседателя Комиссии по правам человека при президенте РФ, некто Вильям Смирнов. «Подобного рода ситуации, — сказал он про историю с «Норд-Остом», — не должны превращаться в способ зарабатывания денег». Хорош защитничек прав человека, да? И не он один. Десятки самых известных голосов уже два месяца, со дня подачи первых исков, на разные лады повторяли с благородным упреком: нехорошо судиться с Родиной...

Да... С Родиной судиться нехорошо. Запомните это и передайте детям и внукам: нельзя с ней судиться, стыдно и неловко! Вот Родине обращаться с нами, как с детьми из романов Диккенса не обращались в работном доме, вполне не стыдно и очень даже ловко. Она показывает нам свою государственную козью морду, раздевает, унижает и убивает, но едва наберешь воздух, чтобы крикнуть проклятие и призвать к ответу, как тут же выясняется, что перед тобою — не государство, не чиновник, хамло и ворюга, не мародер с корочкой и спецсигналом, а — Родина. А ты, значит, против Родины? И вот глотаешь проклятие, и самому перед людьми неловко... И на эти вокзальные наперстки нас разводят который век. Кто Родина? Лужков с Шанцевым — Родина? Генштаб с прокуратурой? А заплатило бы государство полной мерой за оброненную человеческую жизнь, глядишь, в следующий раз репу свою двуглавую пять раз бы почесало, прежде чем газ пускать или живых с мертвыми в автобусы грузить, не разбирая. Не из человеколюбия — откуда ему там взяться? — а из холодного расчета спасло бы десяток-другой людей... Но Тверской межмуниципальный признал за властью право убивать нас на халяву, и можете не сомневаться — власть этим правом еще воспользуется. Спасибо вам, судья Горбачева, за то, что дали взглянуть вам в лицо — лицо Родины без макияжа...

Ну, бесплатная Дубровка — это наше настоящее, если только, не дай бог, не будущее. А теперь — несколько слов о прошлом. Оно такое славное... Ровно 12 лет назад, в январе 1991-го, в СССР случилась напоследок Павловская денежная реформа. Пятидесятирублевки у нас тогда изымали, помнится. Всю страну на уши поставили — в целях, как объяснялось, борьбы с теневой экономикой. С тех пор они там, наверху, так успешно изводили теневую экономику — можно сказать, на свет практически почти не появлялись...

И ведь не зря. На минувшей неделе глава финансовой разведки России нас обрадовал: в настоящий момент, сказал, оборот грязных денег составляет до половины всего оборота финансовых средств. То есть каждый второй рубль в стране — преступный. При этом, по данным журнала «Евробизнес», в России сейчас — девять миллиардеров. Один из них — Виктор Степанович Черномырдин — миллиардером стал как раз в ходе борьбы с теневой экономикой. Он сам рассказывал...

Виктор Черномырдин: «Такие люди в таком государстве, как Россия, да не имеют права плохо жить?!»

У каждого свои радости. Виктор Степанович под своим газом, народ — под своим. По данным Госкомстата, в прошлом году россияне выпили 138 миллионов декалитров водки и ликероводочных изделий, установив абсолютный рекорд десятилетия.

Теперь — новости масс-медиа. Продолжается начавшееся в апреле 2001-го года массовое улучшение менеджмента на федеральных телеканалах страны. Про наш скромный телеканальчик промолчим, а с НТВ на минувшей неделе был уволен Борис Йордан, зашедший туда по случаю однажды ночью. Ну, киллеров вообще часто убирают заказчики. Это профессиональный риск. На смену специалисту по приватизации пришел пульмонолог Сенкевич, автор программы «Жизнь с астмой». Это большая удача для журналистского коллектива, потому что могли прислать патологоанатома... Сенкевич пришел — и сразу успокоил общественность.

Николай Сенкевич: «...Лично гарантирую, что никаких ограничений свободы слова на канале не будет».

Я нас всех поздравляю, коллеги. Кажется, мы поимели еще одного гаранта свободы слова. Уж если сам Николай Сенкевич — лично! — гарантирует, то Путину ловить нечего.

И напоследок — об одной маленькой проблеме из области авторских прав. По сообщению «Новой газеты», несколько ведущих российских адвокатов готовят иски против создателей последнего фильма о Гарри Поттере. Речь идет о персонаже по имени Добби — точнее говоря, о том, какое право имели авторы фильма наделить его именно этой внешностью, такой родной для всех россиян. Многим кажется, что речь идет о злом умысле.

Ну, не знаю. Лично мне этот Добби давно нравится — еще с конца девяностых. Как только вышла книжка про Гарри Поттера. Ну, конечно, характер довольно мерзкий, внешность противная и всё время делает гадости хорошим мальчикам... А так вполне... терпимо. То есть, я говорю... всё могло быть гораздо хуже. Счастья вам!

01.02.2003

В Верхней палате Парламента в минувшую среду выбирали спикера. В бескомпромиссную борьбу с самим собой вступил нынешний глава палаты Сергей Миронов — и победил! Рядовые сенаторы, люди храбрые до самозабвения, не упустили случая сказать начальству всю правду в лицо.

Валерий Кадохов, представитель в СФ РФ от парламента республики Северная Осетия — Алания: «...вместе с палатой сам Сергей Михалыч за год сформировался в абсолютной безупречности. Никто, никогда еще за столь короткий период не достиг. Поэтому за период его работы наша палата за год под его руководством подвинулась в системе политических институтов власти к своей конституционной природе...»

Результаты голосования «за» поначалу вселили тревогу: обнаружилось двое воздержавшихся! Но эти двое отчаянных тут же бросились оправдываться, что нажимали как все.

Ну, и, слава богу! А то давно не было ничего единогласного, я уж соскучился... Глубокая принципиальность прорезается помаленьку и в Нижней палате. На ближайшую среду намечено рассмотрение законопроекта, дающего право парламентариям заниматься предпринимательской деятельностью. Сейчас-то они ею не занимаются... Это все знают. Даже налоги не с чего заплатить любимой стране.

И еще о жизни Нижней палаты. На минувшей неделе издание «Газета» рассказало о грядущей реформе аппарата Госдумы. Делается это «для борьбы с бюрократизацией и формализмом». Все комитеты планируется подчинить центральному аппарату, чтоб меньше рыпались без команды сверху. Это дело политическое, но не главное. А главная забота — простая, человеческая, ежику понятная. Срок-то думский кончается, а попадешь ли сюда еще раз — вилами на воде писано, самое время подумать о будущем. Сегодня в местном думском начальстве (комитетах, подкомитетах) сидит почти половина избранников, а это — кабинет попросторнее, и авто с «мигалкой», и другие радости бытия... Плюс на каждого депутата приходится по паре работников аппарата. И у всех дети, жены, племянники, и всем хочется продолжить жизнь в центре Москвы и желательно с «мигалкой». В этом смысле впридачу к Госдуме — с аппаратом две тысячи человек — очень удачно подвалило создание Союзного Парламента России и Белоруссии. Там аппаратик будет — две с половиной тысячи душ. В крайнем случае, можно свалить туда и руководить оттуда. Эти всю Москву обсидят.

И — в некотором смысле в продолжение темы. На минувшей неделе «Независимая газета» опубликовала список деятелей культуры и шоу-бизнеса — членов политических партий. И оказалось, ничто человеческое деятелям культуры не чуждо: служителей муз, вслед за номенклатурой, потянуло преимущественно в партию власти — ну, и затянуло. Корочкой «Единой России» уже обзавелись Калягин и Безруков, Бабкина, Буйнов и Розенбаум, космонавт Леонов и гимнастка Кабаева (до или после допинга случилось с девочкой это несчастье, не сообщается). В прошлый раз, помнится, эдаким косяком наша культурная элита шла в партию «Наш Дом — Россия». Один, особо элитарный, под это дело получил от Черномырдина, прямо из бюджета, тринадцать миллионов долларов на свое патриотическое кино а-ля рюс...На такой патриотизм

бабок в стране больше нет, но и теперешние пришельцы, я думаю, тоже не прогадают.

Кстати, о всенародной поддержке: рейтинг президента Путина опять начал расти. Мне, признаться, даже тревожно немного за главу государства. В среду, по данным Интерфакса, его деятельность одобряли 75% россиян, а не одобряли — 22. А уже в четверг, по данным ИТАР-ТАСС, количество недовольных сократилось с 22% до 10, а количество одобряющих выросло с 75 до 85%. Если что-нибудь срочно не предпринять, завтра Владимир Владимирович упрется в Туркменбаши, а потом преодолеет гравитацию и уйдет в открытый космос. А мы останемся тут. Причем некоторые — без света и воды.

Эти радости цивилизации на днях покинули поселок Языково Ульяновской области — их отрубили за неуплату. Причем не платили — одни, а отрубили всем, до кучи. Теперь языковцы ходят по воду за три километра, а их дети коротают компьютерный век при лучине, как Ванька Жуков. Что же касается перспектив — местное население, видать, часто слышало от начальства про свет в конце тоннеля, но в конструкцию тоннеля въехали только сейчас...

Ульяновский мужик: «Что это за тоннель, в конце концов? Мы ни света, ни просвета не видим!»

Ну, Языково далеко, пускай живут как могут! Давайте лучше поговорим о приятном. Например, про государственное мышление... Государственный мозг — он чем от обычного отличается? Он аналитически устроен. Внутрь информацию всасывает, а наружу выводы делает! В минувший четверг в Москве провел пресс-конференцию Геннадий Зюганов. Он вдруг узнал цифру потерь за годы войны в Чечне — и решил ею поделиться со страной. Погибли, сказал Зюганов, 12 тысяч военнослужащих и около 100 тысяч человек местного населения. Но мало знать цифры: я ж говорю, главное — аналитика! Надо правильный вывод сделать! И Геннадий Андреевич — сделал. И посоветовал лорду Джаду «меньше вмешиваться в наши внутренние дела»...

Лорду Джаду на минувшей неделе вообще не повезло: огребал от наших на каждом шагу. Вслед за Зюгановым получил лорд по шее и от спикера Верхней палаты.

Сергей Миронов: «Такое ощущение, что коллега-парламентарий из Европейского Совета, из Европейского Парламента приезжал и многое не увидел там, как минимум...»

Слава богу, что лорд Джад многого не увидел. Да и... — мы ж не звери, всё ему показывать... Впрочем, если в Чечне и были отдельные недочеты, скоро там настанет полный ажур: на прошлой неделе при штабе объединенной группировки федеральных войск на Северном Кавказе был создан штаб по организации и проведению чеченского референдума. И уже есть первые успехи: в Чечне начал действовать «телефон горячей линии», по которому, как заверили представители администрации, «любой житель республики может получить консультацию по вопросам предстоящего референдума». Это опять лорд Джад всех достал. Пройдясь недавно по республиканским развалинам, он выразил, видите ли, сомнение в том, что все чеченцы смогут получить достаточную

информацию о референдуме до его начала! И черт бы с ним и его сомнениями, но лорд планировался докладчиком на Парламентской Ассамблее Совета Европы. Делать нечего, придумали «горячую телефонную линию». Между нами говоря, большого вреда от этого не будет: телефонов на всю республику дай бог штук триста — и как раз в администрациях разных они и стоят, так что промеж собой и будут созваниваться... А лорд Джад пускай умоется!

Теперь несколько слов о странностях российской жизни.

Неизвестно, который именно из клонов Владимира Жириновского посещал осенью прошлого года Ирак, но это генетическое чудо выступило там по полной программе и даже немножко сверх нее. То, что это был не Жириновский, а его клон, фактически подтвердила пресс-служба ЛДПР, выразившая сомнение, что на пленке запечатлен их руководитель: «лексика была совсем не его, — сообщил работник пресс-службы, — он выражается по-другому...»

Ну, значит, клон. Зато, какой славный! И ведь похож, гад! А как говорит! Покуривши кальян посреди багдадской природы, генетическое чудо обняло братков и начало высказываться насчет Америки.

Владимир Жириновский: «...Там никто не хочет жить, в Америке, никто! У тебя барахолка, б.... Доллар, доллар, доллар... Эта грязная зеленая бумажка! Ни души, ни музыки нету, б..., нет писателей у тебя. Весь мир слушает Чайковского, Достоевского, б.... Фестивали, спорт только в России, б... И здесь, в Ираке...»

Разобравшись с культурой и спортом, чудо генетики изложило программу Мира.

Владимир Жириновский: «...Все арабы мира, все мусульмане мира, вся восточная Европа, Москва — против тебя. Москва, Москва не хочет этой войны, и тебе наш президент это ясно, по-русски сказал: «Не сметь стрелять по Багдаду». Лучше вместе еб... по Тбилиси. Баку, другие города. Мы найдем цели на этой земле. Столько земли, б... Хочешь, Австралию, на х..., опустим, б..., на дно океана. Показать тебе нашу ракету, б...? Хочешь, б...? У нас тут оружия, б...! Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, б..., — и вся страна твоя будет под водой Атлантического, Тихого океана. Ты с кем шутишь, б...?»

08.02.2003

Вслед за январем наступил февраль, и оказалось, что зимние российские развлечения весьма многообразны. Где-то кукуют без отопления, где-то по случаю внезапной оттепели бродят по колено в жиже, а где-то в честь новых заморозков кувыркаются на гололеде. Ну, и сосулькой по голове получить — святое дело. Причем совершенно безопасное. Я имею в виду — для местного коммунального начальства. И особенно приятно, что начальство это понимает. На минувшей неделе заместитель главы управы Таганского района г. Москвы г-н Гречишников обрадовал москвичей так:

Гречишников: «Это не так-то просто доказать. Почему? Потому что в наших структурах работают достаточно компетентные люди, мы практически в 90% из 100 доказываем, что это не сосулька, это совершенно другой

предмет, за который наши службы не несут ответственности, либо это надуманная травма».

Ошибочно, впрочем, было бы полагать, что коммунальщики не понимают своей ответственности перед гражданами. Понимают, еще как! Перед московской мэрией, например, недавно были сделаны тротуары с подогревом против наледи, чтобы некий чиновник, не дай бог, не кувыркнулся напротив своего долгорукого тезки... Потому что, если кувыркнется этот, никакие юристы не помогут.

И вообще, московская реальность продолжает удивлять. Например: все мы знали московского мэра как пчеловода, строителя, моржа, футболиста, покровителя монументального искусства и борца за Севастополь. Казалось бы, хватит для хобби. Но, нет! В минувшую среду в Москве состоялась презентация книги Юрия Лужкова «Возобновление истории. Человечество в XXI веке и будущее России». На это мероприятие, отложив важнейшие государственные дела, пришли практически все московские книголюбы. Наверное, боялись, что не хватит тиража. По лицам пришедших было ясно, что книга Лужкова перевернула их жизнь, и они решили это не скрывать. Приложился к московскому мэру и глава Счетной палаты Сергей Степашин.

Степашин: «Нравственность, порядочность, романтизм, почти юношеская открытость и умение работать. Это все о Лужкове Юрии Михайловиче... Очень молодой человек, на самом деле, очень ранимый человек, очень открытый человек и очень честный человек. Почему его и пчелы любят. Пчелы — очень тонкие существа, в отличие от людей...»

Насчет пчел — это лирика, а главное (если я правильно понял) вот что: вокруг Лужкова глава Счетной палаты ничего считать не собирается. А это, уверяю вас, лучший подарок писателю... Что же касается характеристики Лужкова — думаю, сам Юрий Михайлович подо всем сказанным подпишется.

Но книжечки — это развлечение. А главное дело Лужкова, я бы даже сказал, его главный бизнес — это забота о москвичах. Накануне презентации Юрий Михайлович публично поссорился со своим первым замом по строительству, Ресиным. Оказывается, по вине этого самого Ресина новостройки в Москве сдаются с вопиющими недоделками. Представляете? Лужков даже фотографии припас к заседанию — с матерьяльцем, говорят, помог фотолюбитель Шанцев... Ну, интриги — вещь привычная; удивительно вот что: раньше новостройки сдавались без недоделок — по крайней мере, Лужкова это совершенно не волновало, а тут, ближе к выборам, он своему многолетнему соратнику прилюдно говорит: «ваша, говорит, философия — это зарабатывание денег с пренебрежением к москвичам...» Вот какой Ресин ужасный! А у Лужкова философия совсем другая: он делает деньги с уважением к москвичам. Он нам — отец родной... А жена отца родного, Елена Батурина, по сведениям газеты «Коммерсантъ», является собственником нескольких строительных компаний, конкурирующих с этим ужасным Ресиным, у которого неправильная философия... В общем, они там за благо народа друг другу пасть порвут!

В Москве заботятся о москвичах, а в Петербурге? Правильно. Месяц назад Управлению делами президента были переданы четыре здания в центре горо-

да, на Исаакиевской площади. В одном из этих зданий находится Вавиловский институт растениеводства — и хранится там не имеющий мировых аналогов генный банк растений ценой восемь триллионов долларов. Так вот, по сведениям издания «Газета», в ближайшее время ученых-вавиловцев могут оттуда попросить, а в здании на Исаакиевской площади расположится личная резиденция президента Путина. Да и правильно: это теперь наш главный генофонд. Вся эта история удачно совпала с 60-летием расстрела самого Вавилова старшими товарищами нынешнего президента демократической России.

Кстати! Еще немного, как говорится, про перекличку времен. 65 лет назад, в феврале 1938 года, Политбюро ЦК ВКП (б) приняло секретное постановление «О дачах ответственных работников». Речь там шла о том, что многие руководители страны — можете себе представить? — «понастроили себе грандиозные дачи-дворцы, где роскошествовали и тратили народные деньги, демонстрируя свое полное бытовое разложение»... Во как. Еще на Рублево-Успенском шоссе и застройки-то настоящей не было, а всех расстреляли. Ну, да чур нас! — вернемся в наши дни. Сегодняшнее руководство, слава те господи, научилось беречь народную копейку. Вот свежий пример: в Костромской области на минувшей неделе урезали смету на образование на 40 миллионов рублей. Сократили в школах все предметы эстетического цикла. Не фиг, в самом деле, танцевать-рисовать, когда не хватает денег на самое насущное! У нас еще не все питерские накормлены... Вот, на минувшей неделе спикер Верхней палаты Миронов предложил начать федеральное финансирование программы «Великий Устюг — родина Деда Мороза». Ну, Деду Морозу федеральное финансирование нужно как рыбке зонтик, а вот кому-то неподалеку от спикера Миронова лишняя смета никогда не помешает. Номенклатурная битва за дедулю идет в коридорах Белого дома нешуточная, и не первый год. До Миронова по тому же сказочному поводу в правительство обращались и фракция «Единство», и представитель президента по Северо-Западному Округу Виктор Черкесов — этот боец попросил на раскрутку Деда Мороза полтора миллиарда рублей, но тут подоспел спикер Миронов... Так что, кто поимеет дедушку — вопрос еще открытый. А на политиков главный мешок с подарками упадет незадолго до следующего Нового года: в декабре в России пройдут парламентские выборы. Их дыхание и, я бы даже сказал, запах... — уже близко. На минувшей неделе семь левоцентристских партий подписали Хартию «За честные выборы». По заявлению организаторов, адептов честности первоначально планировалось 15 штук, но восемь из них на подписание не приехали — как было сказано, «по техническим причинам». Машины поломались, наверное. А вообще, как выяснилось, за честные выборы оказались исключительно те, кому в декабре ничего не светит — тоже, впрочем, большой честности люди... А кому в декабре светит, и светит определенно, те ничего про честные выборы не говорили — им про это, видать, совсем неловко... Да и не до того. На минувшей неделе рухнул рейтинг «Единой России». Причем, по данным ВЦИОМ, хорошо так рухнул, впополам практически — с 27% до четырнадцати. Ну, тут понятно. Когда четыре года назад добрый дядя Березовский дал Кремлю денег на то, чтобы там не было Примакова, они поскребли по кадровым сусекам, нашли промеж себя пару незамаранных: Шойгу

с Карелиным... Но Карелин — вещь одноразовая, а кто будет осуществлять ежедневную работу? Вот и дожили «единороссы» до Пехтина и Беспалова с Грызловым, а тут уж какой рейтинг? Тоска одна.

В конце 1994 года Россия выбрала себе войну в Чечне — и потихоньку подгребает к десятилетию этой славной даты. Очень выгодное оказалось мероприятие (для тех, кто понимает). На минувшей неделе один знающий человек из правительства поделился с корреспондентом газеты «Московские новости» финансовыми схемами, практикуемыми в Чечне. Прелесть что такое, очень рекомендую почитать, для общего развития... Про то, как Москва, лучше всякой «Аль-Каиды», финансирует Шамиля Басаева; про футбольную команду «Терек», которую в Чечне никто в глаза не видел — вместе с десятками миллионов рублей, на этот футбол выделенными. Про министра чеченской печати Бислана Гантамирова (помните такого?) — он свое отсидел, а теперь озабочен тем, чтобы получить из федерального бюджета 265 миллионов рублей на повышение газетных тиражей. Вы представляете себе эти тиражи, этих подписчиков?..

Но Чечня не резиновая, и на всех не хватает... Отказался возвращаться из отпуска премьер-министр республики Михаил Бабич. У Михаила горе: его недавно оттерли от бюджетных бабок, и с тех пор должность чеченского премьера потеряла для него всякий смысл. Впрочем, Кадыров и не очень настаивал на возвращении Бабича в Чечню — там, считай, уже есть новый премьер-министр финансов, вполне адекватный, если вы правильно меня понимаете.

Теперь плавно перетечем к преступности. То есть — к борьбе с нею. В минувший четверг в Москве состоялась расширенная коллегия Министерства внутренних дел. О главном успехе МВД народу доложил министр Грызлов.

Грызлов: «В целом, по количественным показателям, преступность взяла крен в сторону уменьшения».

Иллюстрируя этот крен, приехал на совещание глава государства и сказал там то, что главы нашего государства говорили на таких совещаниях со времен царя Гороха по Андропова включительно, и потом еще несколько раз. И про доверие граждан, и про растущую отчетность, и про кадровую чистоту... Правда, было и новенькое.

Путин: «Особенно опасны — хочу подчеркнуть это — опасны факты вовлечения сотрудников МВД в корпоративные войны и хозяйственные споры. Прошу вас держаться от этого подальше».

Полприработка срезал Владимир Владимирович стражам нашего порядка... Конечно, когда-нибудь российский милиционер будет нам защитником и заступником. Когда-нибудь, а пока...

А пока — дядя Степа и Володя Шарапов растворяются без следа в темноватой массе сослуживцев. Если давно не уволены из рядов. И самое большее, о чем может мечтать российский обыватель при встрече с милиционером — это проскользнуть мимо незамеченным. Тихонечко эдак — без проверки документов по случаю собственной чернявости, без отдачи сотенной бумажки голодному гибэдэдэшнику в честь дня милиции, без ежемесячного намаза в

сторону начальника паспортного стола, без общения с братками, которые из ментов выходят и в менты уходят, не меняя выражения лица. Без ихнего «крышевания», от которого так строго предостерег милиционеров наш президент, «крышующий» вокруг себя вообще всё подряд. Но будемте оптимистами: когда-нибудь — когда рак на горе свистнет или чуть позже — нынешний позорный мент проснется в слезах и устыдится себя, и вспомнит, на чьи деньги он отращивает себе живот и кобуру, и еще через пару лет его уже можно будет визуально отличить от того, кого он ловит все это время...

И напоследок — одна история из новейших времен. Накануне Рождества ивановские энергетики обесточили за долги обитель Свято-Николо-Тихоновского монастыря. Но на поворот рубильника у настоятеля нашелся, как говорил Михаил Сергеич, асимметричный ответ — и он попросту отлучил энергетиков от Церкви. Не знаю, что по этому поводу думает Алексий II, но Чубайсу есть смысл почесать голову. Представляете? — веерное отлучение энергетиков... Счастья вам!

15.02.2003

Для начала — в порядке гуманитарного аспекта — давайте-ка отметим вдогонку День святого Валентина. Во-первых, как говорил один нехристианский гуманист, «лубов пабеждает смерт», а во-вторых — просто приятно. Нас (в рабочее время) изо всех любовей интересует, как вы понимаете, исключительно любовь к отечеству — или, на худой конец, межгосударственная. Так что государственный визит президента России во Францию случился очень кстати.

В знак этой самой межгосударственной любви президент Франции Жак Ширак, поперек протокола, приехал встречать своего московского гостя непосредственно к трапу. Вместе с российским президентом вышла его супруга — видимо, с ядерным чемоданчиком... И любовь началась.

Главная рифма к слову «любовь», сами знаете — «кровь», и поводом для нынешнего свидания стала близкая война в Ираке. Еще до прилета Путина стало ясно, что намечается классический треугольник. Потому что Америке мы поклялись совместно, по гроб жизни, мочить террористов, а с Европой щебечем про ненасилие. Не дай бог, дойдет до голосования в Совете Безопасности, тут-то наша личная жизнь на два фронта и накроется медным тазом. Короче говоря, всем было бы лучше, если б Америка вдарила по Хусейну, никого не спрашивая... Тогда нам и Чечню утюжить разрешат (по бартеру), и престиж миротворческий в порядке, и цена на нефть подрастет... В общем, с Францией у нас вышло полное бланманже — и глубокое уважение прав человека и гражданина. Напоследок Путин даже извинился перед парижанами за перекрытые по случаю его приезда улицы. Я, успокоил он парижан, скоро от вас уеду... А от нас? Не хочется о грустном, но — в московских пробках, в получасовом ожидании президентского кортежа, рейтинг растет медленнее обычного... Впрочем, не извиняться же перед россиянами!

Теперь давайте встанем на цыпочки и заглянем на законодательные высоты. На минувшей неделе Совет Федерации завернул пришедший из Нижней

палаты «Закон о языке». Депутаты так сильно боролись за чистоту русского языка, что в самом тексте закона обнаружилось три сотни грубых нарушений. Впрочем, за слова «текст», «депутаты» и «федерация» я тоже должен перед вами извиниться — это слова иностранные, нехорошие, это меня леший попутал, вслед за Пушкиным, у которого «надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар»... По-русски-то как надо было написать? — «надев головной убор, Онегин едет в зеленые насаждения»... О был бы роман в стихах!

Помимо улучшения родного языка, Нижняя палата опять занималась этикой. Слово тоже нерусское — наверное, поэтому на Охотном ряду никак не возьмут в толк, с чем его едят. В прошлую пятницу главный хранитель парламентской этики Галина Стрельченко выразила сомнения в достоверности скандальной пленки с матерящимся вице-спикером.

Галина Стрельченко:«Если эта пленка, к чему сходится наша комиссия и объяснения Владимира Вольфовича, которые он нам представил, считают фальсифицированной, то о каком наказании может идти речь о Жириновском? Владимир Вольфович категорически отрицает под стенограмму и на совете Госдумы, он отрицает, что эта пленка — действительно, где он выступал. А так — не видно. Так — не видно! Вы знаете, у нас, кстати, наши СМИ обладают таким высоким профессионализмом, что никто не застрахован от того, что это может быть сфальсифицировано... »

Журналисты, конечно, люди бесстыжие, но, похоже, им есть у кого учиться — взять хоть вот эту самую мадам, с божьей росой в глазах... Кстати! — чуть не забыл. На минувшей неделе, помимо прочего, депутаты всерьез озаботились проституцией — и предложили ужесточить борьбу с этим приятным злом, введя штраф до восьмисот минимальных окладов, переходящий в исправительные работы и арест до одного месяца. На местности это будет означать, что милиция, крышевавшая девочек за пять штук, будет крышевать их за десять, а цены поднимутся и ударят по малообеспеченным слоям населения. Но, я думаю, уж ежели бороться с проституцией, то для начала надо как минимум штрафануть Государственную думу...

Теперь — радостные новости из налоговой полиции. По сообщениям СМИ, ее глава, Михаил Фрадков подписал недавно инструкцию №525, позволяющую полицейским «выявлять лиц, склонных к совершению налоговых преступлений» и оказывать на них «профилактическое воздействие», создавая вокруг таких лиц «обстановку нетерпимости», включая работу с членами семьи потенциального преступника... То есть, опять-таки, на местности это будет выглядеть так: приходит в ваш офис налоговый полицейский — и начинает там жить, парализуя ваш бизнес, причем на совершенно законных основаниях. Ну, почудилось ему, что вы склонны к неуплате налогов... Надо ли говорить, что на второй день вы с удовольствием забашляете такому стражу закона (лично ему, разумеется, а никакому не государству), чтобы он от вас отвалил, и лучше — не домой, а в офис к вашему конкуренту, который, собственно, его к вам и послал...

Новости из Белоруссии, страны специфической экономики. В минувший вторник президент Лукашенко устроил банный день членам своего правитель-

ства. По сообщению ИТАР-ТАСС, он потребовал от них «объяснить ему, почему не обеспечен прогнозировавшийся уровень производства промышленный и сельскохозяйственной продукции». Мне это тоже непонятно. В самом деле: почему не обеспечен уровень? Батька же лично эти цифры прогнозировал — в чем дело? Президент страны велел, чтобы экономика поднялась, руками показал, куда; лично нарисовал кривую понижения инфляции и повышения инвестиций — что тут непонятного? Почему не исполнено? Я думаю, это саботаж. Ну, ничего, на будущий год Лукашенко определит родной стране атмосферное давление и среднемесячную температуру, и уж тогда — не дай бог, если не совпадет!

Теперь, наконец, Чечня (куда ж без нее?). Там на минувшей неделе появился новый премьер-министр, Анатолий Попов. До этого он возглавлял федеральную дирекцию по строительно-восстановительным работам в Чечне... Ту самую, которая бесследно освоила предыдущие миллионы, выделенные на восстановление республики. Знающий человек пришел на хозяйство, одним словом. И другого знающего привел, которого рекомендовал так: «этот человек владеет ситуацией и понимает те требования, которые предъявляются министру финансов». Ну... не бином Ньютона, чего ж тут не понимать. А на вопрос, сколько нужно денег на новое восстановление Чечни, премьер Попов ответил совсем честно: «Это, — сказал он, — большой и неоднозначный вопрос. Смотря как к нему подходить...» Отчасти ответ на этот большой и неоднозначный вопрос дал во время встречи с Комиссаром по правам человека Совета Европы Альваро Хиль Роблесом представитель президента по правам человека в Чечне Хаким Султыгов. Он предъявил Роблесу план строительства реабилитационного центра для боевиков.

Хаким Султыгов: «...это люди, которые вернуться из леса добровольно,...т.е. это специально для них создается центр, где они будут получать образование...»

Ну — за тех, кто выйдет из леса за образованием, я более или менее спокоен, хотя, прикидывая смету этого университета миллионов, полагаю, что боевики предпочтут взять деньгами... Что же касается собственно пиара, то Султыгов со своим реабилитационным центром — хотя и вошел в тройку призеров, но не победил. А победили в номинации «дым в глаза» — «Идущие вместе»: они отправили на месяц в Чечню группу студентов-педагогов. «Идущие» выглядели гораздо бодрее отъезжающих... Куда отъезжающих, зачем? Как, на каком языке будут учить чеченских детей эти подростки? Какая от этого польза произойдет за месяц чеченскому образованию? Досужие вопросы. Главное — мероприятие. Организаторы, устно пообещав добровольцам по десять тысяч рублей, не забыли взять с них расписки о том, что всю ответственность за последствия поездки добровольцы берут на себя...

Василий Якеменко: «За героя на себя ответственность взять нельзя. Просто по определению. Они — герои. Это все, что я могу сказать».

Они герои, понимаете? И если в Чечне с ними что-нибудь случится, отвечать этот Якеменко не будет. Они же герои! А с героями и должно что-нибудь случаться. А «Идущие» потом в честь этого еще одну акцию устроят, флагами помашут... Мероприятие опять-таки.

Теперь — новости из зала суда. В минувший четверг получил пять лет тюрьмы Вячеслав Мавроди, брат того Мавроди и тоже большой пирамидчик. В общей сложности он нагрел своих сограждан на три с половиной миллиарда дореформенных рублей. Но охраняли его не от самосуда. Помещение разламывалось от общественных защитников.

Бабка: «А ему — свободу! Ради счастья людей!»

Мужик: «...и мои потомки будут этому Мавроди, который сейчас сидит за решеткой там, — в ноги кланяться, за то, что он нам помогал жить вот в это тяжелое время!»

Вот так, граждане. Только благодаря Мавроди и жил по-человечески этот россиянин. Других источников благосостояния государство к нему не приспособило, а потом отняло и этот... А зря, потому что идея финансовой пирамиды — как перед этим идея строительства коммунизма — очень хорошо пришлась нам ко двору и мозгам. Не копить унылым протестантским трудом православную копейку, а — с утра пораньше, Емелей эдаким, достать из проруби щуку, обо всем с ней договориться — и лечь на печь, отдыхать. А печь чтобы повезла — дурака по плохой дороге, в светлое будущее. Глуповатый, конечно, расчет для взрослого человека, но, справедливости ради — других финансовых перспектив в России не наблюдается. И скоро уже сто лет главная пирамида у нас — на Красной площади, и лежит там такой мавроди — братьям не снилось! Такое посулил... А получилось, как всегда... И тут же вынырнула другая щука, и начала обещать 1000% годовых. Что, собственно, тоже своего рода коммунизм, но в масштабах отдельно взятого Емели Голубкова. И убедить его отойти от проруби и начать работать — пока что не получается...

И последнее лыко в строку. На минувшей неделе исполнилось 10 лет Коммунистической Партии Российской Федерации. По этому случаю Геннадий Андреевич Зюганов собрал пресс-конференцию и сообщил радостную весть: за десять лет своего существования возглавляемая им партия помолодела, и сегодня, как сообщил Зюганов, средний возраст членов КПРФ составляет 55 лет. «Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым...» Мда. Счастья вам...

22.02.2003

В самом конце прошлой недели на востоке России произошло удивительное. И даже странное. После убийства в Москве магаданского губернатора Цветкова на этом краю земли были назначены досрочные выборы. Нормальные такие российские выборы — то есть Кремль выбирает, кто победит, внятно тычет в него пальцем — и тот, в которого тыкнуто, — побеждает. Но магаданцы вдруг взяли и проголосовали не за того. И уже неделю федеральный центр чешет свою федеральную репу, пытаясь понять: с чего это вдруг? Мне кажется, просто тамошние избиратели и так на Колыме, вот им уже ничего и не страшно... Видимо, именно федеральный облом в Магаданской области и сподвиг президента высказаться по проблемам партийного строительства. Или так совпало... Короче, Владимир Владимирович приехал на совет законодателей и рассказал, как должен выглядеть новый законодательный пейзаж. Но-

вый-то он новый, но что-то родное и до боли знакомое послышалось в требованиях президента к избраннику народа...

Владимир Путин: «... и чтобы этот человек нес двойную ответственность: перед страной (перед избирателем), и перед партией».

От президентских слов об ответственности перед партией на следующий день сдетонировал лидер «Единой России» Борис Грызлов.

Борис Грызлов: «...будет поставлена задача перед всеми региональными отделениями о необходимости контроля над деятельностью исполнительных органов власти в каждом регионе».

Опять некоторое дежавю, вы не находите? «Контроль партии над деятельностью органов исполнительной власти». И это было. Где же это было? Ах, да, в совке. А сейчас у нас... позвольте... ну да. В общем, если кому-то показалось, что Борис Грызлов впал в комсомольское детство, то это справедливо лишь отчасти. У нас нынче такая специфическая демократия, что Борис Всеволодович одновременно — и лидер правящей партии, и кусок исполнительной власти. Причем, нехилый такой кусок. И это мы бредим, а он-то как раз в полном порядке — и ближе к выборам дает понять, кто в лесу хозяин. Вот, например:

Борис Грызлов: «...я хочу предупредить, что наши партийные запросы в адрес руководителей исполнительной власти нельзя оставлять без реагирования...»

Во как! А дальше последовало совсем внятное обещание «найти рычаги влияния» на тех, кто оставит без реагирования их партийные запросы. Ну, еще бы они не нашли рычаги влияния... С таким, извините за выражение, перекрестным отцом.

Борис Грызлов выступал на пресс-конференции руководителей высшего совета «Единой России», но он выступал там не один. Выговорился на этом мероприятии и мэр Москвы, тоже член Высшего совета партии. Он рассказал о своем идеале местного мироустройства.

Лужков: «Работай по-капиталистически, распределяй по принципам социальным, и ты будешь всегда иметь поддержку общества!»

Надо сказать, что формула это не новая. Мэр Москвы говорил о ней еще пять лет назад — только в ту пору был в конструкции еще один элемент. Как говорится, найдите отличие.

Лужков (октябрь 1998): «Работать по-капиталистически, распределять по-социалистически в условиях полной демократии!»

Заметили? Капитализм на месте, социализма — ешь, не хочу, а вот слова о полной демократии за пять лет исчезли, как корова языком слизала... С чего бы это вдруг?

Пресс-конференция «медведей» миновала, но мысли о родной партии не покинули скорбную голову Юрия Михайловича. В тот же день, во время встречи с Патриархом и детьми, он в доступной форме рассказал детям о целях и средствах этого большого и очень бурого политического организма.

Лужков: «...слово «медведь» — оно означает особое пристрастие этого животного к тому, чтобы залезть в дупло, сломать дерево, вытащить оттуда мед и отведать его...»

Кстати, на минувшей неделе окончательно разрешилось двухнедельной давности недоразумение, связанное с упавшим рейтингом партии этих любителей меда. Ничего он, оказывается, не падал! Более того. Как по заказу, появился на минувшей неделе новый рейтинг! Так там вообще никого — только, в полный рост, «Единая Россия» с коммунистами — и для потехи сбоку чуть-чуть ЛДПР. Ни «Яблока», ни СПС... Понятно? Вот какие надо делать опросы! Чтобы, как в девяносто шестом году, все заглянули поглубже в глаза товарища Зюганова — и с перепугу ломанули в сторону Кремля. Одновременно с починкой рейтинга в «Единой России» происходят и кадровые подвижки: в минувший вторник было объявлено, что из группы «Народный депутат» на подкрепление к «медведям» идет убийца лорда Джада, друг чеченцев Дмитрий Рогозин. Глава группы, Геннадий Райков, к произошедшему отнесся с понятным пониманием.

Райков: «...надо помогать коллегам, по-другому — как? Мы — группа кадровая, довольно сильная, и поэтому...у нас, смотрите, в течение трех лет около восьми депутатов ушли на разные работы... »

Около восьми депутатов — это уже расчлененка какая-то. Ну да ладно, не будем отвлекаться от темы...

Теперь от чистой политики перейдем к такой же чистой экономике. Во время давешнего выступления в Верхней палате, президент Путин обратил внимание на то, что за последние годы законодатели всех уровней напринимали законов с посулами народного счастья на шесть с половиной триллионов рублей при консолидированном бюджете три с половиной триллиона. Президент попросил не давать невыполнимых обещаний (надо сказать: накануне выборов — довольно бестактная просьба...) Правительство между тем работает в реальном секторе: недавно повысило народу пенсии, на 6%.

Заметнее всего это повышение отразилось на жизненном уровне Владимира Владимировича, потому что пенсионеры в массовом порядке начали отсылать этот довесок ему — на память. Переводы пришли из Новгорода, Сибири, Краснодара, со Ставрополья... И, кажется, корреспонденты-пенсионеры навели президента на интересное бизнес-решение. На минувшей неделе Путин посоветовал правительству увеличить прибавку к пенсии до десяти процентов. Глядишь — опять перешлют...

Но, что ж говорить о пенсионерах — они помаленьку ковыляют за трудящимся классом. По данным Минэкономики — скажем, в Агинском и Усть-Ордынском Бурятском округах — уровень потребления в этом году составит, на человека, 10 тысяч рублей — в год. В день, значит, будут укладываться в 28 рублей. В среднем... Интересно, это с учетом депутата от Агинского Бурятского округа Иосифа Кобзона? Если да, то — предлагать Кобзону 28 рублей суточных я бы даже не советовал... Но вообще оно растет. Благосостояние, я имею в виду. По крайней мере, будет расти. В среднем, опять-таки. Вот — в том же Минэкономики обрадовали, что к 2005-му году (за счет большого роста доходов в Московской, Свердловской и Новосибирской областях) этот показатель в среднем по стране вырастет на 15%. Случай, описанный в фольклоре: один остывает в морге, у другого горячка, а средняя температура по больнице — тридцать шесть и шесть.

Теперь — насчет торжества законности. На прошлой неделе прокуратура приостановила расследование дела о похищении Кукуры. Ну, вы помните... как он исчез, как появился... как «Лукойл», потерявший минимум миллион долларов, вдруг всем всё простил. Еще бы ему не простить. На днях один говорливый «лукойловец» слил в газету «Известия» информацию о том, что шесть миллионов эти (выкупа) были — как бы это мягче сказать... ну, комиссионными какому-то умельцу в Министерстве обороны за выгодный нефтяной контракт, а Кукура эти комиссионные зажал... вот его и... как бы сказать? — пристыдили. Короче: самое страшное, что может случиться со следователем — это вот что: однажды он, совершенно случайно, это преступление раскроет. Тогда его самого увезут куда-нибудь, но уже с концами. В общем, давно пора было похоронить это дело...

На минувшей неделе Шандыбин, Зюганов, Черепков и еще несколько самых озабоченных — не пожалели средств (причем как раз народных) — и полетели бороться за мир прямо в Ирак. Перед вылетом Геннадий Зюганов поделился с общественностью своими противопожарными соображениями.

Зюганов: «...когда занимается пожар и тлеют уже горящие угли, от усилий каждого человека, кто прыснет немножко воды холодной на эти горящие угли, зависит: будет ли большой пожар, или нет...»

Всякий, кто хоть раз ходил в поход, знает, что попрыскать на угли совершенно необходимо. Собственно, за этим Зюганов с группой товарищей и улетел на наши деньги в Багдад. Постоять у угольков, попрыскать и вернуться. Уже и вернулись, кстати. Хотя некоторые особо горячие обещали стать камикадзе.

Махачев: «Я думаю, будет нормально, если мы там останемся...»

Еще бы не нормально. Дорогой депутат Махачев, у страны только на это и надежда! Была... Но — в минувшую среду все путешественники вернулись из этого рекламного тура на свою нехитрую Родину. Причем заметно было, что борьба за мир далась им тяжело...

14 лет назад, в феврале 89-го года, был начат вывод войск из Афганистана. Как выяснилось впоследствии, это была передислокация. Сегодня мы оказываем интернациональную помощь другому исламскому народу. Но, как и в случае с Афганом, налицо гуманитарный аспект.

Группа учителей, собранная «Идущими вместе», приехала в Чечню и уже приступила к работе. Правда, тут же обнаружились проблемы с проживанием, но комендант общежития их быстро решила.

Комендант: «Пять комнат им дали, потом под классы нам еще пришлось освободить. Просто выпросили у беженцев комнаты, для ихнего же блага...»

Вообще надо сказать, что выселение двух чеченских семей из общежития — это сущая мелочь на фоне общей российской благотворительности для их же блага.

Перенесемся в Белоруссию. Там, в прошлые выходные, президент Лукашенко освятил личным участием традиционную «Минскую лыжню». Чтобы партизаны не подстерегли батьку на лыжне, отряды особистов заблаговременно ушли

в лес, и праздник спорта начался. Минск — не Солт-Лейк-Сити, и борьба была честной. Александр Григорьевич вышел на старт во главе собственной команды — и на последних метрах, мощным спуртом, опередил группу госчиновников и пришел первым. Этот результат трудно назвать неожиданным: своих чиновников Лукашенко тренирует не первый год, и все, имеющие тенденцию высовываться вперед, давно исчезли — как минимум, из спорта. Лично поддержав «Минскую лыжню», Александр Григорьевич отдохнул, собрал остатки сил — и бросился на культуру.

Тут и случилось прекрасное. В Минске перевели на белорусский язык и издали хорошим тиражом поэму «Рухнама», написанную великим туркменским поэтом Сапармурадом Ниязовым (по совместительству пожизненным президентом, отцом и солнцем всех туркмен). Этот непреходящий культур-мультур подарило белорусскому народу государственное издательство «Светоч». В предисловии к белорусскому изданию переводчик бессмертной поэмы, некто Дранько-Майсюк, выразил надежду, что знакомство с творчеством Сапармурада Ниязова станет для белорусских поэтов «счастливым толчком». Тут спорить трудно, но, в самом деле: если Василь Быков и Светлана Алексиевич многие годы вынуждены жить за границей, это же не значит, что белорусы должны остаться вовсе без литературы!

И напоследок — о приятном. Раньше, бывало, среди начальства встречались факты приукрашивания действительности, но теперь — шалишь! В минувший четверг, в Кремле, в ходе рабочей встречи министр образования Филиппов отвечал на вопросы президента. И как на духу всё ему рассказал. В частности, отвечая на вопрос о компьютеризации сельских школ, министр доложил, что оснащение сельских школ компьютерами завершено полностью. Хороший человек министр образования, но, кажется, давно не был в России... Счастья вам!

01.03.2003

Для начала — несколько слов о войне в Ираке. Ее, знаете ли, все нет и нет, даже тревожно как-то. Сколько людей готовились... Первоначально премьера этого римейка была назначена на середину февраля, потом на конец февраля, потом говорили о ночи полнолуния — с 3 на 4 марта. Но вроде опять отложили. А мир-то ждет.

Пока американская военщина осторожно бряцает оружием, наша мирная жизнь идет своим чередом. Причем все торжественней. В минувшую среду мэр Москвы Лужков, еще два члена правительства и все 35 депутатов Городской думы были удостоены памятного знака участника спецоперации «За «Норд-Ост». Правда, из числа награжденных, четверых в октябре вообще не было в Москве, а мэр в той спецоперации отличился так, что до сих пор воюет с родственниками погибших, но это же не повод для того, чтобы отказываться от цацки!

Вообще награды у нас время от времени находят героев. То генерал Грачев станет Героем России за то, что стер с лица земли субъект Федерации, то Жак Ширак получит от Ельцина орден за неизвестные даже ему заслуги пе-

ред нашим Отечеством, то какого-нибудь либерал-демократа, с которым ребенка оставлять опасно, объявят академиком...И вот опять праздник вкуса: почетные цацки эти в честь «Норд-Оста». Впрочем, награда придется Лужкову впору: как сообщается, нагрудный знак выполнен в форме креста.

Теперь от подвигов — к трудовым будням. В минувшее воскресенье в Москве прошел очередной саммит в рамках СНГ. На сей раз встретились четыре президента — Путин, Лукашенко, Кучма и Назарбаев. Пятый — Рахмонов из далекого Таджикистана — первоначально планировался, но впоследствии отпал. Вообще, надо заметить, число и состав участников этих саммитов постоянно меняются. И внутри дружной семьи СНГ все время возникают новые связи.

То Таможенный союз там случится, то — Евразийский экономический... То в Москве пристроимся, то в Кишиневе, то в Киеве, то впятером, то всей дюжиной... Просто камасутра на марше. И так пробуем, и эдак, а удовольствия никакого. Теперь вот они решили получить радость вчетвером. Но, судя по лицам, большого возбуждения опять не наблюдается.

Психологи в таких случаях рекомендуют не увлекаться новыми конструкциями, а попытаться разобраться с собой — понять, чего именно ищешь в партнере, почему именно в нем... С ориентацией разобраться, в конце концов. Нельзя же, в самом деле, десять лет напролет строить глазки мировому сообществу и одновременно обжиматься с пожизненными президентами, которых дальше Польши не пускают! Впрочем, накануне выборов в Думу проблема правильного альянса выходит на первый план и в самой России. В минувший понедельник в Москве, на заседании политсовета Евразийской партии — Союза патриотов России, было объявлено о создании союза левоцентристских партий «Патриоты России». Это все довольно затейливо звучит, но на местности выглядит проще простого: объединились Кобзон и Бородин. Они и раньше хорошо дополняли друг друга, потому что Кобзона не пускали в Америку, а Бородина из нее не выпускали, так что союз этот — практически судьба. На презентации новой патриотической силы певец и гражданин попробовал объяснить сам себе, зачем ему и его товарищу по евразийству эта головная боль, но, похоже, не смог.

Иосиф Кобзон: «...Пожалуйста, подумайте о том, что мне, например, как народному артисту и депутату Государственной думы, — ничего не нужно. Я приехал со своего избирательного округа, отчитался перед избирателями и смело продолжаю работать. И Пал Палычу ничего не нужно».

Ну, Пал Палычу после ремонта Кремля уже точно ничего не надо... Так что, я думаю, они выступают дуэтом исключительно из любви к России — или что там от неё осталось после этого ремонта... Но легкой жизни на выборах у этой пары не будет, потому что Россия одна, а партий, желающих пропереть в Думу на чистом патриотизме, только в прошлые выходные обнаружилось в Москве как минимум четыре штуки. Сергей Бабурин на съезд своей «Народной партии» даже выписал из Франции самого Ле Пена — и, по свидетельству газеты «Коммерсантъ», совместно с этим славным сыном Франции планирует «спасение всего мира», о чем всему миру и сообщил. Человечество замерло в ожидании.

А товарищ Зюганов сам себе и Бабурин, и Ле Пен, и выступал он в прошлые выходные на Съезде коммунистической молодежи. Там, прямо в трибуне, Геннадию Андреевичу пришла в огромный лоб огромная мысль. «Нынешняя власть предлагает народу только табак, водку и наркотики, — сообщил комсомольцам этот посланец Минздрава. — А вы предложите другое...» Ох, помню я это другое... И знаете: лично я не пью, не курю, но если выбирать между стаканом и строительством коммунизма, то мне бы лучше косячок...

Ближе к выборам обострение в той или иной форме начинает стучаться ко всем. По крайней мере, ко всем, кто однажды прошел в Думу и погулял на этой широкой масленице. Хочется, чтобы этот праздник всегда был с тобой.

Вслед за другими заботчиками о народе очнулась на минувшей неделе и организация «Молодежное "Единство"». Их лидер, Александра Буратаева, обрадовала избирателей сообщением, что вскоре по всей России будут созданы, по примеру тимуровских, отряды «Армии содействия партии "Единая Россия"». В самом названии этом — отряды «Армии содействия партии "Единая Россия"» — надо сказать, имеется какая-то непонятка с дательным падежом: то ли «Единая Россия» при помощи этой армии собирается кому-то содействовать, то ли сама армия создана для того, чтобы содействовать «Единой России». Ну, да ведь депутат Буратаева в прошлой жизни была диктором телевидения, ее дело — озвучить, что написано, и улыбнуться. Так что — никаких претензий.

В числе прочих вещей первой необходимости Россия выбрала себе Совет Федерации, и с тех пор этот орган работает, как часы. И все ради блага людей. В минувшую среду, например, сенаторы отказались утвердить прибавку ветеранам войны к шестидесятилетию Победы. Серьезные доводы в пользу такой экономии привела председатель комитета по социальной политике ***Валентина Петренко: «...Это что получается, за счет тех, которые участники войны, нужно средства передать тем, которые тоже признаны участниками, но не воевавшим! Это неправильно.»***

Тех, о ком шла речь в отклоненном варианте закона, сегодня осталось 60 тысяч человек. И самому молодому из них к 2005-му году будет, как легко посчитать, восемьдесят лет. Но ведь кто их знает? Возьмут да и перестанут умирать назло государству. Ведь жуткие деньги требуются на эти прибавки: в общей сложности 92 миллиона рублей в год. Откуда взять? Не отрезать же от тех шестидесяти миллионов, которые уходят в год на содержание одного Бориса Николаевича вместе с его, извините за выражение, семьей? Всякий аскетизм должен знать меру! И так уж, вот, самолет президентский конструировали-конструировали всей страной; ужались до трехсот миллионов долларов, меньше — перед миром неловко. А Чечня? Один выстрел из танка — штука баксов. Пли! — и тридцать месячных дотаций — всего хорошего... Короче, не время давать прибавки ветеранам войны... А вот ближе к девятому мая запустить опять Матвиенку к гаранту, телекамер нагнать, она и споет чего-нибудь традиционное, и все прослезятся...

Валентина Матвиенко, заместитель председателя правительства РФ: «Имеется в виду, Владимир Владимирович, провести всероссийский мониторинг, дойти до каждого ветерана, посмотреть в каких условиях ветераны

живут, в чем они нуждаются. Провести всеобщую диспансеризацию ветеранов-участников Великой Отечественной войны, определить меры медицинской помощи каждому. В бюджете 2004-го года заложить средства на 100% -ое выполнение закона о ветеранах, чтобы можно было всех ветеранов обеспечить телефонами, бесплатными лекарствами, рассмотреть жилищные условия каждого ветерана. Чтобы к 60-летию победы в Великой Отечественной войне мы были абсолютно уверены, что каждому ветерану оказана необходимая помощь, поддержка и они ни в чем не нуждаются...»

Теперь несколько слов на тему «наука и религия». На минувшей неделе, в интервью изданию «Газета», представитель президента в Центральном федеральном округе г-н Полтавченко рассказал о себе всю правду. Что еще в бытность офицером КГБ являлся глубоко православным человеком, что священники сотрудничали с ГБ из патриотических соображений, в отличие от Иуды, который «работал не в интересах своего правительства». Ну, в интересах не в интересах, а учителя своего, диссидента, сдал этот стукачок римским гэбистам с потрохами... Правда, потом взял и повесился, вместо того, чтобы получить звание и стать представителем цезаря в регионе. А, в общем, кого стесняться? До Страшного суда довольно далеко, а все остальные под контролем. Вот и живем, как в сказке: чекисты со свечкой у иконы, а патриарх ездит с федеральными номерами и федеральной охраной и сидит в президиумах с рогатыми и копытными...

Теперь буквально пара слов об экономике. В конце прошлой недели к Путину зашли на чаек олигархи. Свои личные материальные проблемы все присутствующие, включая президента, давно решили, поэтому разговор сразу пошел о народном благе. Глава «Юкоса» Михаил Ходорковский поведал Путину, что в год на взятки чиновникам в стране уходит 30 миллиардов долларов, но врасплох этим сообщением президента не застал — президент напомнил олигарху, что русская народная нефть тоже досталась ему в частное владение не за красивые глаза. Короче, поговорили...

Очень кстати, практически в честь встречи Путина с олигархами, исполнилось 280 лет с того дня, как Петр Первый помиловал барона Шафирова, приговоренного к казни как раз за всяческие злоупотребления. Помиловал его Петр Алексеевич потому, что был к тому времени уже немолод и весьма опытен. А по молодости лет...

По молодости лет Петруша взялся за борьбу с коррупцией всерьез и, будучи государем довольно радикальным, зашел по этой дорожке довольно далеко. Однажды, говорят, даже попросил генерал-прокурора Ягужинского подготовить указ о том, чтобы каждый, кто наворовал на столько, чтоб можно было купить веревку, был повешен. «Государь, — уточнил Ягужинский, — неужели вы хотите остаться императором без подданных?» Петр Алексеевич, как известно, приехал в Питер из Москвы. Владимир Владимирович проследовал в противоположном направлении. И будучи реалистом, новых городов не строит, а контролирует старые. И не требует с прокурора прекратить казнокрадство в стране, а специально назначает такого, который сам попался. Чтобы вокруг все

свои — и никаких осложнений, а только разговор по понятиям. И когда молодой боярин Ходорковский заводит речь о коррупции, государь, тоже нестарый человек, просто говорит ему: на себя посмотри! Тот смотрит — и вопрос снимается сам собой. Вот и вся борьба с коррупцией. И так и будет во веки веков, пока где-нибудь на самом верху по щучьему велению не обнаружится вдруг кто-нибудь, к кому вообще не прилипает. Ну, разве что по щучьему велению и обнаружится. Потому что сами мы — такого не выберем.

Теперь несколько слов о воспитании подрастающего поколения. Не так давно в некоторых школах Саратова в порядке эксперимента появились эдакие жалобные ящички. Сюда теперь можно бросить письменную ябеду на соседа по парте или на училку, что учащиеся и делают уже несколько недель с полным самозабвением. Училки, впрочем, тоже не отстают от подрастающего поколения и ябедничают друг на друга. Кривая раскрытия преступлений, совершенных в Саратове, резко пошла вверх.

Мальчик: «На Риту Михайлову. К ней подойдешь, она начинает сразу драться».

Девочка: «Мальчик плюнул на стул учителя, и все сразу на него сказали. А учитель ему поставил двойку».

И последнее. Саратовский эксперимент тамошние педагоги провели на одном энтузиазме, но ведь хочется и материальной заботы. В этом смысле в минувший вторник меня сильно обнадежил вице-премьер Свердловской области по социальным вопросам Семен Спектор. Он оказался человеком с большими связями за океаном, и на заседании областного правительства авторитетно сообщил, что в прошлом году администрация США выделила «более 17,5 миллиардов долларов на моральное и идеологическое растление молодых россиян». Хотелось бы верить. Эх! Будь я малость помоложе, за такие деньги я бы растлился!.. И не один... Но, кажется, до народа финансирование опять не дошло. Господин Степашин, разберитесь, пожалуйста. Молодежь ждет. Счастья вам...

08.03.2003

О партии «Единая Россия». Продолжается наполнение этого пустого пирожка предвыборным повидлом. На минувшей неделе о своем внезапном желании стать членом Высшего совета партии объявил красноярский губернатор Хлопонин. Зачем Хлопонин единороссам — особых вопросов нет: за Слиску с Грызловым бизнес проголосует только под угрозой налоговой инспекции с санэпидемнадзором впридачу, а тут Хлопонин: новое лицо, молодое, прогрессивное... Но зачем вся эта пыльная компания молодому и прогрессивному? Уже неделю этим вопросом задаются некоторые слабые аналитики. А сильные аналитики им отвечают: как раз для того Хлопонину «Единая Россия» и нужна, чтобы его миновал весь этот кремлевский санэпидемнадзор. Для тех, кто не в курсе: классический рэкет (или, по-нашему, крышевание) — когда платишь за то, чтобы тебе не сделали вреда. Можно бабками заплатить, можно лицом, кому чего не жалко...

А увильнуть от «Единой России» в нынешнем политическом пейзаже — дело практически безнадежное. Тут не то что губернаторство, тут сам Господь Бог не поможет. В прошлую, например, субботу в Москве прошла конферен-

ция «Выборы и религиозные конфессии». Так лично глава Фонда эффективной политики, Глеб Павловский, поставил Церкви задачу: «помочь гражданам выбрать в 2003 году честных политиков в Государственную думу». Мероприятие проходило в «Президент-отеле», и вопросов о том, каких именно политиков имел в виду Павловский, ни у кого из отцов Церкви не возникло. Ну что же, поддержка «Единой России» — дело святое. А уж цели самой партии — чистое сияние...Если, конечно, верить члену генсовета единороссов Андрею Исаеву, описавшему назначение этой организации.

Андрей Исаев: «Мы строимся как партия, которая должна быть приводным ремнем от общества к власти».

Партия как приводной ремень от общества к власти — штука хотя и полезная, но в наших краях незамеченная. У нас этот ремень семьдесят лет вертелся в противоположном направлении, и натер до крови. И вот, кажется, опять завертелось. И то сказать: чуток отдохнули в беспартийности — и хватит! Чтобы далеко не ходить: зампред фракции «Единство» Франц Клинцевич взял недавно партийное обязательство: к декабрю 2003 года (к выборам, то есть) довести численность партии до двух миллионов человек. Надо выполнять! По сообщению издания «Газета», в Сибири уже вовсю практикуется прием в партию бабушек, пришедших в собес за гуманитарной помощью. А в Москве рост партийных рядов чуть было не случился в торговом комплексе у метро «Свиблово». Там на днях какой-то смутный гражданин, представившись представителем арендатора, попросил продавцов заполнить анкеты для вступления в партию «Единая Россия», намекнув, что в противном случае с арендой могут быть проблемы. Как выяснилось, этот посланец далеких миров гражданин Баев сделал сие для блага самих вербуемых...

Владимир Баев: «То, что может сделать партия, непартийные сделать не могут, понимаете?Ну...будем говорить...в рамках закона...Правильно?»

Ну, еще б неправильно. А для правящей партии — какие могут быть рамки закона? Поэтому — все внутрь, товарищи! В нее, в эту... Как же она теперь-то называется? А, впрочем, когда то, что можно партийному, беспартийному нельзя, название организации значения уже не имеет. Просто надо туда идти, зажмурившись, — и любить их, любить, любить...

Надо вам сказать, что ближе к выборам, партий, готовых кардинально улучшить и продлить нашу жизнь, постоянно прибывает. Одна так прямо немудрёно и называется: «Партия жизни». Ее создал и ею же руководит в свободное от работы время спикер Верхней палаты Сергей Миронов. Он же и формулирует основные задачи этой дивной организации.

Сергей Миронов: «Да, я вступил в эту партию, партию, которая провозглашает своей целью продолжительность жизни, ее качество и наполнение смыслом».

Приверженность нашего спикера программе наполнения жизни продолжительностью, качеством, а сверх того еще и смыслом выдает в нем человека космического масштаба и недюжинного интеллекта. Только надо бы включить в число главных направлений работы и всемерную поддержку весны. Но вообще, когда политическая программа по степени конкретности приближается к тосту — она должна быть короче.

Немного о новостях шоу-бизнеса. В Лас-Вегасе на минувшей неделе выступал цирк «Дю солей», в Москве пел Игорь Николаев, а в Чечне (в рамках подготовки к референдуму) проходило ежедневное шоу под названием «Вывод избыточных сил». По сообщениям Минобороны, в ходе этого спектакля из Чечни будет выведено 1270 человек, а сейчас в Чечне, по данным Штаба объединенной группировки, — около восьмидесяти тысяч человек. То есть: около восьмидесяти тысяч человек минус ровно 1270 человек — равняется... ну, так и равняется — около восьмидесяти тысяч. Так что на статистике этот спектакль практически не отразился; не отразится и на сюжете, в чем на минувшей неделе наш нехитрый министр обороны признался своему главнокомандующему.

Иванов — Путину: «На ситуацию безопасности в Чечне вывод избыточных войск никак не повлияет».

Ну да; кто бы сомневался... Безопасность в Чечне будет на прежнем уровне, потому что на прежнем уровне остается строение черепа обитателей Кремля. Природа или менталитет — тут уж назови как хочешь, главное — продолжать воспринимать происходящее в Чечне как данность. В этом философском ключе высказался на минувшей неделе и президент Путин, когда говорил о компенсациях жителям республики.

Владимир Путин, президент РФ: «Ясно, что это работа, требующая времени, системы. У нас есть и негативный, и позитивный опыт, накопленный в результате работы по преодолению стихийных бедствий, я думаю, что он вполне может быть применен и здесь».

Г-н президент, как это иногда бывает с каждым, сказал больше, чем собирался. Ну да, стихия, знаете ли... Слепые силы природы восьмой год, с небольшим антрактом на Хасавюрт, стирают Чечню с лица земли ... И судя по всему, конца этому граду с оползнем не видно. Спасибо вам, Владимир Владимирович, Зевс вы наш громовержец, организатор и вдохновитель этого стихийного бедствия...

Теперь позвольте вздох облегчения. Три месяца мы всей страной опасались за судьбу первого заместителя директора ФСБ генерала Проничева и его коллеги, начальника Центра специального назначения ФСБ и тоже генерала, Тихонова. Они у нас в стране, видите ли, отвечали за борьбу с терроризмом, когда случился «Норд-Ост». Вот мы и боялись — не выйдет ли им за это каких-нибудь неприятностей... Может, сладкого на полдник не дадут? Все-таки, террористы в центре Москвы... Центнеры взрывчатки, газ, больше сотни погибших... Так вот, зря мы за генералов волновались, все у них слава Богу. По сообщению «Новой газеты», недавно закрытыми указами президента им присвоены звания Героев России. И как раз за «Норд-Ост». Между нами, президента можно понять, потому что нас тут как собак — сотней больше, сотней меньше... больших потерь для рейтинга нет, — а с генералами лучше не ссориться.

Теперь — одна печальная дата. Пятьдесят лет назад, пятого марта 1953-го года, в Москве скончался гениальный человек. Звали его — Сергей Прокофьев. Родные и близкие Сергея Сергеевича вспоминают, что не смогли найти в Москве цветов, чтобы положить их на могилу композитора, потому что в один

день с Прокофьевым в Москве умер один палач. И народ, прощаясь со своим любимым палачом, скупил все цветы. В прощальной толпе было задавлено еще несколько тысяч человек, но, право, это такая мелочь по сравнению с тем, что сделал покойный, что не стоит и упоминания! А смерти Прокофьева почти никто в той стране и не заметил.

И последнее. В минувшую среду в Кремле президент Путин вручил Валерию Зорькину удостоверение председателя Конституционного суда. При вручении произошел у них характерный диалог...

Владимир Путин: «Поздравляю Вас с избранием председателем Конституционного суда, хочу вручить Вам удостоверение».

Валерий Зорькин: «Для меня это неожиданность, спасибо большое. Потому что я думал, что еще только надо фотографию сдавать, а уже все есть...»

Владимир Путин: «У нас все есть, в том числе и фотографии...»

Да. Фотографий Зорькина, у кого надо, я думаю, хватает. Если понадобится — выплывут и не три на четыре, и не только на удостоверение, и не только фотографии, и не только Зорькина... Счастья вам!

15.03.2003

На минувшей неделе в нашей Поднебесной с легкой руки главного мандарина прошли большие кадровые маневры. Уж не знаю, отразятся ли они на твердости границ, внешней политике и урожае конопли, но врагов наш президент запутал так, что все тамошние аналитики уже неделю небось пьют, сволочи, горькую — и последними словами клянут загадочную русскую душу и непостижимые мозги. Да и поди пойми: налоговую полицию Путин разогнал, ее главу сделал полпредом в Европейском Сообществе, ФАПСИ разделил, а бывшего начальника бросил на оборонный заказ, Валентину Матвиенко снял с социалки и пересадил на место полпреда в Северо-Западном округе; прошлого своего полпреда, генерала Черкесова, бросил на наркотики, а на социалку в настоящий момент ищет кого-нибудь, кого не жалко. Тяжелое это дело — двигать туда-сюда фигуры. Требует интеллекта и ясного понимания задач.

Президент у нас хотя и не Крамник, но ходы у него бывают только двух видов — сильные и очень сильные. Правда, иной раз — поперек всех правил, принятых в нашей федерации. Например, давешний роспуск налоговой полиции. Президент, оказывается, не имел права этого делать до принятия Думой поправок в соответствующий закон. Но может ли закон быть препятствием для президента в наших вертикальных краях? Да ни в коем разе! Тем более — тут же, задним числом, выяснилось, что по некоторым вопросам, с некоторыми думцами, Владимир Владимирович все-таки посоветовался.

Райков: «...он как сказал: « если мы создадим комитет силовой по борьбе с наркотиками — вы за, или нет?»

Мне тут недавно приснилось: президент у своих депутатов спрашивает: вы за? А Райков, Пехтин и Володин хором ему отвечают: фигушки, мы — против! Проснулся в холодном поту.

Первым приветствовал и откомментировал президентские инициативы, разумеется, не он, а Жириновский — во время традиционной встречи с жур-

налистами. Дело происходило в ресторане «У Швейка». Швейк, как известно, был официальным идиотом — и это не могло не наложить отпечаток на содержание разговора.

Жириновский: «Обязательно должно быть все это на Лубянке. Там должно все стоять. И во главе этого объединенного КГБ поставить боевого генерала — Трошев, Шаманов, пожалуйста, — Казанцев...Я могу возглавить!»

Ну, временно оставим Владимира Вольфовича наедине с его галлюцинациями — и напомним главный кадровый итог недели. Он прост: генерал Черкесов снят с северо-западного направления и борется с дурью в федеральном масштабе, а Валентина Матвиенко вынула из головы социальную сферу и приступила к решениям задач, стоящих перед полпредом президента. А задачи у полпредов — ого-го! Вот, например, генерал Полтавченко, отвечающий за Центральный округ, собрал давеча комиссию по делам женщин, детей и материнства и поставил задачу срочно повысить рождаемость. А региональных журналистов полпредство президента призвало начать кампанию против культа куклы Барби и всего «западного твигги-образа, не способного к вынашиванию детей». Признаться, я понятия не имею, что такое твигги-образ и чем Барби провинилась перед администрацией округа, но, как справедливо заметил про ситуацию с демографией генерал Полтавченко, этот вопрос требует «только одного: желания и умения работать». Ну, желание — это одно, а умение — это уже другое, но мы стараемся, как можем, товарищ генерал!

Из Центрального федерального округа перенесемся в Северо-Кавказский. Туда задача повышения рождаемости еще не дошла — там (в рамках подготовки к референдуму) продолжаются двусторонние работы по повышению взаимной смертности. Причем формы агитации населения постоянно совершенствуются. Как рассказала газета «Коммерсант», чеченским беженцам в Ингушетии перед выдачей дневной нормы хлеба предлагается заполнить бланк в адрес территориальной избирательной комиссии, подтверждающий их добровольное участие в референдуме. Отказывающихся просят за хлебом больше не приходить.

Кого-то к принятию чеченской конституции подталкивают хлебом, а кого-то — зрелищами. В Грозном неизвестные доброхоты пригласили учащуюся молодежь на концерт в честь восьмого марта. Ей бы, молодежи, поинтересоваться: что это за гулянка такая, тринадцатого числа в честь восьмого марта? Но молодежь потеряла бдительность и пришла в Дом культуры... Там им всем и был голос свыше:

«Уважаемые граждане Чечни! Комитет по делам молодежи Чеченской республики проводит молодежную акцию, которая называется «Праймериз»!»

Праймериз — если кто не в курсе — это такой старинный чеченский обычай, когда человек приходит на концерт любимой группы, а попадает на мероприятие, организованное навстречу референдуму. Вообще под этот референдум бюджетные закрома Родины распахнулись довольно широко... Что там грозненский Дом культуры? В Москве, в «Президент-отеле», в минувший вторник прошла презентация довольно глянцевой брошюры «Чечня: вопросы и ответы». В благодарственном слове глава Чечни Ахмад Кадыров сразу сказал об этом полиграфическом продукте — главное.

Кадыров: «Хочу поблагодарить всех тех, которые сделали такой объемный, хотя небольшой по содержанию, но объемный, охватывающий... брошюру».

Брошюра, надо признать, действительно получился довольно «небольшой по содержанию». Но качеством бумаги, а главное — фотографиями российских солдат со свечками в храмах и чеченских детей, катающихся на санках, заказчик остался доволен...

Теперь, когда эта книжица увидела свет, г-ну Ястржембскому и его, извините за выражение, патрону остается сделать самую малость: привести чеченские лица и пейзажи в соответствие с опубликованной картинкой. Начать и кончить...

Кстати, о приведении чеченских пейзажей в соответствие с картинкой. Тут (прав Жириновский) без генералов не обойтись. Может возглавить что-нибудь и сам Владимир Вольфович. Одна беда: чуть моргнешь, а его шарик уже под другим наперстком. Вот свежий пример:

Еще недавно лидер ЛДПР был большим личным другом Саддама Хусейна — летал к нему, как в Сочи, в бассейны прыгал, кальяны курил... Злые языки поговаривали, что эта многолетняя дружба была скреплена не кровью, а нефтью. Самые злые даже называли суммы. Но всё это, конечно, были наветы и вранье.

Конечно! Одного взгляда в лицо Жириновского достаточно для того, чтобы увидеть: человек он глубоко идейный и сильно озабоченный — в основном судьбой иракского народа. Ночей не спал, все думал, как помочь этому иракскому народу. И придумал. И на минувшей неделе внес в Государственную думу предложение... — только вы сядьте, если стоите, — об участии российских вооруженных сил в оккупации Ирака «с выделением им зоны влияния в области северной части Ирака с нефтяными месторождениями Киркука». Знаете, видимо, Саддаму действительно конец. Когда речь идет о таких «бабках», Владимир Вольфович не ошибается.

Контроль над нефтяным месторождением — это мечта большого геополитика, а кто помельче — и зарабатывает по мелочам. Как рассказала газета «Московские новости», в одной букмекерской конторе в Липецке уже принимают ставки на начало войны в Ираке. Коэффициент на начало войны до 21 числа был — 1,7. То есть поставил сто рублей, дождался первой крови до 21 числа, и семьдесят целковых сверху — твои.

Недавно нас, россиян, опять ущемили за больное. Мы, конечно, уже давно привыкли к национальному унижению, но всему же должен быть предел. Недавно американский журнал «Forbes» опубликовал рейтинг самых богатых людей планеты, и издание «Газета» не поленилось его проанализировать. Так вот — стыдно сказать! — среди 467 миллиардеров россиян оказалось лишь 17 человек. Алекперову с Ходорковским можно, конечно, только посочувствовать. Но, слава богу, большинству россиян от пятого до двадцатого и наоборот ничто не застит ежедневного счастья.

Теперь насчет обороноспособности. На отчетной неделе она опять выросла. За счет дебилов, которых, согласно новому Положению Минобороны о

военно-врачебной экспертизе, теперь избавят от выполнения священного долга. Впрочем, раньше такое бывало — и ничего страшного...

Валерий Куликов (центральная военно-врачебная комиссия): «У нас был водитель — возил командира. И я его медицинский документ изучал — гляжу — он олигофрен легкой степени. Я говорю командиру: «Он же дебил, как ты с ним?» Он говорит: «Очень хороший, послушный парень, он хорошо справляется, его только не пихать»...Но мы считаем, что они не должны служить. Хотя, польза от них большая была раньше...»

Историю про водителя-дебила генерал рассказал весьма поучительную, интересно только, проверял ли кто-нибудь того командира? Впрочем, отсев дебилов — это только часть новаций. Закрыта дорога в ряды и гомосексуалистам. (А они так хотели, так хотели...) Своими размышлениями и воспоминаниями на этот счет поделился все тот же медицинский генерал ***Куликов: «Как правило, у этих лиц есть изменения личностные. Я не встречал нормальных людей с сексуальными извращениями, кого я видел. Но, черт его знает, их же много скрытых, не знаешь, может быть...Я встречал таких людей, мне даже предлагали вступать (смеется), вы представляете? У меня было такое отвращение... ...зараза... ну как? Как? Ну, как?!! ... Тьфу, блин!»***

До встречи с генералом Куликовым я считал, что эта материя никакого отношения к обороноспособности не имеет. Я думал, это дело вкуса, вопрос личного предпочтения. Кому Плисецкая нравится, кому Нуриев... А это, оказывается — вопрос нормы. И тех, кто генеральской норме не соответствует, отныне, согласно новому Положению, будут класть в специальные клиники. А вообще...

Вообще, кто здоров, а кто нет — вопрос сам по себе довольно больной. Друга моей юности Кирюшу не взяли в армию из-за воды в коленке, а меня — взяли, и я своими глазами видел в одной образцовой дивизии, как по случаю приезда проверяющего из Москвы полковник посылает курсантов обрывать с деревьев неопавшую листву, а комдив (по случаю отъезда того же проверяющего) пьет медицинский спирт из трехлитровой банки. Впрочем, кто старое помянет... Оно конечно. Пришли другие времена, и нормой стал полковник Буданов, открывающий огонь по чеченским селам в честь Рождества Христова, — кабы не попался полковник на мокрухе с изнасилованием, то быть бы ему представителем президента в округе... Что и говорить: на вопрос о норме мы ответили по-своему. Вот и встречаем двадцать первый век борьбой садистов с гомосексуалистами.

22.03.2003

В минувший четверг Буш-младший силами всей своей армейской медицины начал операцию на Ираке. От него только что ушел живым Бен Ладен, а запас лекарств остался.

Саддам беспокоил давно; прямо сказать, геморрой это довольно запущенный. В ООН много лет собирались консилиумы, выписывали курс лечения, но ничего не помогало. То есть помогало, но очень медленно. А тут — о радость! — пришел техасский фельдшер, отодвинул консилиум и начал лечить болячку самостоятельно. Обещает, что за неделю земной шарик будет как огурчик. Но Европа боится. И ее, Европу, можно понять. Потому что в истории медицины

не раз и не два случалось, что больной погибал именно от лечения. И бравый техасский фельдшер с его тягой к оперативным решениям может дать последствия хуже всякого геморроя.

Теперь, насколько позволяет дым над Ираком, заглянем в будущее. Большие успехи мировой дипломатии сами собой рождают вопрос: что же дальше? Одни аналитики кивают в сторону Северной Кореи, другие мигают в сторону полковника Каддафи, но есть и иные направления.

Среди разнообразных видов оружия массового поражения в России инспекция ООН, безусловно, могла бы обнаружить вице-спикера Жириновского. Он многие годы поражал наше воображение — помимо прочего, своей борьбой за дело мира в Ираке. Делал он это не один, а напару со своим двойником. Недавно этот пьяный хам, двойник вице-спикера, укреплял дело дружбы между народами путем, так сказать, человеческой дипломатии.

Жириновский: «...Москва не хочет этой войны, и тебе наш президент это ясно, по-русски, сказал: «Не сметь стрелять по Багдаду». Лучше вместе *банем по Тбилиси».

Многие отсталые россияне думали, что пьяный хам и есть зампредседателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации... — но на минувшей неделе в вопросе идентификации была поставлена жирная точка.

Галина Стрельченко, председатель комиссии Госдумы РФ по этике: «Комиссия по этике представила в МВД, в экспертный совет пленку по Жириновскому, которая очень долго обсуждалась. Мы задавали 8-10 там вопросов и на все 10 вопросов отвечено, что эта пленка смонтирована из

84-х отрезков и идентифицировать, что на этой пленке именно вице-спикер Жириновский не является возможным».

Следствие тут, ежу понятно, вели знатоки. Если где-то человек попал в беду, вы же помните — они помогут, они все время на посту! Экспертно-криминалистический центр МВД произвел анализ пленки — и не смог идентифицировать Жириновского. Не удивляйтесь: для профессионалов вообще нет ничего невозможного. Если очень захотеть, можно не найти в Париже Эйфелеву башню.

Собственно, в этом, по моим наблюдениям, и состоит в настоящий момент главная работа наших правоохранительных органов — эдак исхитриться, скосить глаза и не увидеть того, что торчит на весь пейзаж.

Но расслабляться не следует... В минувшую пятницу новый фронт работ для Комиссии по этике и, главным образом, Экспертно-криминалистического центра МВД обозначил депутат Федулов, рассказавший душераздирающую историю из депутатской практики первого секретаря Курского обкома КПРФ, члена коммунистической фракции Иванова Николая.

Александр Федулов: «...Обняв унитаз и склонив в него свою голову, с обнаженной нижней частью тела он обратился к взору к участникам Великой Отечественной войны. И сам тихо мирно спал — 1-ый секретарь Курского обкома КПРФ. В дальнейшем, разбуженный охраной, он был сопровожден в свой кабинет. В связи с изложенным, я прошу дать поручение Комиссии по этике проверить»...

Слиска: «Подготовьте протокольное поручение Комиссии по этике».

Страшно подумать, как и что именно будет идентифицировать Экспертно-криминалистический центр МВД на этот раз. Но, надеюсь, в результате они защитят склоненную голову, доброе имя и нижнюю часть тела первого секретаря обкома. Что сказать? Конечно, в семье не без урода, но вообще там, на Охотном ряду, собрались в основном аскеты и подвижники. Отец Сергий против матери Терезы. И ничего им от жизни не надо, кроме нравственности. На минувшей неделе, назло нечистому, взяли и соорудили в Думе общественно-депутатскую комиссию «В поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей в России». Я когда отрыдался, начал гадать: так все-таки традиционных или духовно-нравственных? Потому что это не сильно одно и то же...

Теперь речь пойдет о Чечне. На днях к чеченцам обратился президент России. Ровно три года назад этот же президент летал в Чечню на истребителе СУ-27, так сказать, во главе эскадрильи. А теперь Путин пришел к выводу, что чеченцы достойны человеческой жизни — и решил этой мыслью поделиться с ними самими. Что же касается широкой автономии, которую посулил Чеченской республике наш президент, то надо заметить, что рассуждения о ширине этой автономии сами собой переходят в разговоры о диаметре трубы.

Рудник Дудаев, секретарь Совета безопасности Чечни:

«...президент прямо указал на те возможности, которые имеет Чечня, чтобы обеспечить эту автономию. Это прежде всего нефть. Чтобы чеченский народ, республика сама распоряжалась своим природным богатством...»

Это было мнение об автономии секретаря совбеза Чечни Дудаева. Фамилия вас смущать не должна. У нас Ивановых в руководстве тоже, на всякий случай, не по одной штуке... Так вот, значит, автономия — это нефть. И разумеется, как раз народ и будет ею распоряжаться и с неё богатеть... Хочется, конечно, верить, но ближайший прецедент богатения народа от своей нефти случился в Норвегии. А что касается России и Чечни... Если мы задолбим сепаратистов, скважину возьмут Вагит или Михаил, если они задолбят нас — у трубы сядет этот Дудаев, как раньше сидел тот...

А впрочем, рядовые чеченцы уже сейчас наваривают на своей нефти — куда уж больше?

Женщина: «...по пять рублей нам остается с каждой банки. Пять рублей. Мы берем оптом по тридцать пять рублей. Продаем — сорок — продажная цена. Пять рублей остается с банки...»

Но бог с ней, с нефтью, поговорим о высоком. Недавно в Москве, Фондом культуры была издана книга «Чеченские и ингушские народные сказки».

Неувядающий Ястржембский представил ее в прошлую пятницу. А Фонд культуры и его главу, Никиту Михалкова, Сергей Владимирович похвалил особо.

Ястржембский: «...за проявленный, если хотите, политический такт и прекрасное политическое чутье...»

Ну, с политическим чутьем у Никиты Сергеевича все в полном порядке — это у него наследственное, а вот что касается такта... Михалковский такт был проявлен немедленно, прямо на презентации книги. Глава Фонда культуры позволил себе пошутить тонким манером: сейчас, заметил он, сказки в Чечне осуществляются Министерством обороны. Разумеется, Никита Сергеевич соби-

рался пошутить на эту скользкую тему приватно, на ушко начальству, но забыл про включенные микрофоны.

Михалков: «Сейчас сказки осуществляются Министерством обороны...»

Это, господа, чутье и такт в одном флаконе! А впрочем, что правда, то правда — сказки Министерством обороны осуществляются. Вот только, когда эта Арина Родионовна в камуфляже хочет почитать тебе на ночь глядя новую конституцию — очень важно вовремя понять, внутри какой именно сказки ты находишься...

Надо сказать, что от прочих народов нас, в частности, отличает незаурядная фантазия. То Циолковский в Калуге о космосе грезит, то Ленин в Кремле Уэллса до ступора доведет. Но это все — страницы прошлого. А на днях Сергей Степашин, глава Счетной палаты, нафантазировал такое, что Уэллсу вообще делать нечего. Степашин сказал: «Контрольные органы должны быть независимы от тех, кто распоряжается финансовыми и материальными ресурсами государства». Я понимаю: демократия, но это уже какой-то беспредел! Контроль, независимый от власти. Ужас! Представляете: такой вот независимый контролер обнаруживает злоупотребления, ну, скажем, президента и его окружения. Президент — в холодном поту, материалы идут в суд, президент страны садится вместе со своим окружением. Страна называется — Швейцария. Теперь: представитель независимого контрольного органа обнаруживает злоупотребления президента и его окружения. Контролер в холодном поту, ему дают в глаз, потом еще раз, потом показывают по телевизору голого с девками, потом материалы на него идут в суд, потом он долго грызет паркет в приемной у главы администрации и просит не трогать хотя бы его детей. Страна называется — Россия. Хотя, конечно, мечтать не вредно...

Теперь несколько слов про заботу о народе. Делать это становится все труднее, потому что народа под свою защиту власть берет все больше — и буквально разрывается на части. В минувшую среду коммунисты, вслед за ЛДПРовцами, покинули зал пленарных заседаний и ушли митинговать к американскому посольству, а в Думе осталась лежать непроголосованной поправка к закону о ветеранах войны. По этой поправке труженикам тыла могло перепасть по нескольку десятков нелишних рублей в месяц, но, право, смешно отвлекаться на такие мелочи, когда под угрозой режим Саддама Хусейна и наша продовольственная безопасность!

Николай Харитонов: «Не нужны нам полтора миллиона тонн этих куриных отравленных окорочков! Не нужны они нам!»

Аграрий Харитонов боролся с ножками папы Буша в рабочее время, поэтому вопрос оплаты его нелегкого митингового труда не возник: за всё заплатили избиратели. Но это «звезда», а массовка? Неловко же демонстрировать одному, в психушку свезут. Проще других решила проблему Евразийская партия Кобзона и Бородина: по сообщению газеты «КоммерсантЪ», после давешней демонстрации протеста ведомство Пал Палыча просто отслюнило случайным борцам с американской агрессией, студентам-химикам, по 300-350 рублей. А если заплатить химикам по пятьсот, чтобы митинговали за войну?

По сообщению «Независимой газеты», в недрах Российского союза промышленников и предпринимателей на минувшей неделе созрел план «антикоррупционной конвенции». То есть олигархи готовы взять на себя публичные обязательства: «не давать взяток госслужащим, а также не проталкивать во власть своих людей». Либо это весенний авитаминоз, либо какое-то новое знание о природе мира. Как жить-то будем, не подмазавши? А впрочем, как приватно сообщил корреспонденту «Независимой газеты» один крупный и очень честный бизнесмен, пожелавший почему-то остаться неизвестным, уже и сегодня «у членов Союза промышленников огромное количество контактов в правительстве». То есть, если я правильно понял смысл новой «антикоррупционной конвенции», у олигархов просто кончаются деньги на прокорм тех, кого они протолкнули наверх раньше.

29.03.2003

Уже неделю, по три раза в день, государственные российские телеканалы рассказывают нам суровую правду о войне: как генералы скрывают информацию о потерях, как авиация бомбит города, как гибнет мирное население... И как это всё ужасно — когда это не наши генералы, не наша авиация и не наши города. А вообще, война в Ираке заметно оживила общественную жизнь в России. Как говорится, нашлось дело по душе. Уже неделю, вместе со всем прогрессивным человечеством, мы вставляем фитиль американцам. Прогрессивное человечество молотит стульями полицейских, переворачивает машины и, в знак солидарности с иракским народом, громит магазины. А наша торговля подключилась к антивоенной борьбе сама. Как рассказало издание «Газета», в городе Кстово, что в Нижегородской области, администрация магазина объявила бойкот американцам, отказавшись отпускать им продукты. Янки, если вы не в курсе, обычно отовариваются как раз во Кстове. Для тех из них, которые не понимают по-английски, администрация магазина на всякий случай написала все то же самое по-русски. Культурное обслуживание, мать их!

Теперь — о референдуме в Чечне. Он состоялся, да еще как! За присоединение к России проголосовало 96% чеченцев. Как сказал президент Путин, «народ Чечни сделал выбор в пользу мира». Шесть лет назад, после Хасавюрта, народ Чечни тоже сделал выбор в пользу мира — и проголосовал за Масхадова, хотя мог и за Басаева. Чеченцы выбрали мир — и независимость (кстати, как раз к 2003 году она и должна была наступить). Но какой именно мир нужен чеченцам, лучше всех, как оказалось, знал Путин. И вот, спустя шесть лет после тех выборов выяснилось, что президент Масхадов чеченцам почудился, а легитимного главу Чечни зовут Ахмад Кадыров. Этот герой и сформулировал главный итог прошедшего референдума.

Кадыров: «Чеченский народ всегда использовался. Его поднимали, его обманывали, и этот народ оставляли, как говорится, у разбитого корыта».

Нет оснований не верить Ахмаду Хаджи. Благо, при его участии в прошлое воскресенье всё это и было проделано с чеченским народом в очередной раз. В будущее г-н Кадыров смотрит теперь с оптимизмом. «Чеченский народ, — сказал он, — навсегда отказался от безвластия и беспредела, которые насажда-

лись в течение десятилетия авантюристами и сепаратистами». Тут опять можно поверить: в означенное десятилетие Кадыров лично прошел путь от сепаратиста к авантюристу. Теперь и безвластие, и беспредел — в его опытных руках. Впрочем, голосование в Чечне — вообще дело особенное, даже по российским понятиям. В 96-м году один мой друг-журналист, любопытства ради, проголосовал там за Ельцина пять раз. Ходил по воинским частям и голосовал. Его только спрашивали на всякий случай: за Ельцина? — и тут же давали свежий бюллетень. То есть основания для оптимизма у Кремля были, но чтоб до такой степени! Даже Владимир Владимирович удивился.

Путин: «...должен сказать, что результаты этого референдума положительные, они ожидались как положительные, но по своим показателям превзошли самые оптимистические наши ожидания...»

В общем, действительно, перестарались. Получилось, что после восьми лет кровопускания за присоединение к России проголосовало 96% чеченцев. С такой силой народ поддерживает операции на самом себе только в Туркмении и Северной Корее. Впрочем, что такое 96%? — так, средний показатель по республике. А в отдельных местах скопления демократии наблюдались уже сущие чудеса. Например, в лагерях беженцев в Ингушетии явка составила 190%. Из трех тысяч, внесенных в список, проголосовали — пять с половиной тысяч. И это чудо в регионе — не первое. Еще во время прошлогодней переписи чеченцев насчитали, на всякий случай, с небольшим запасом — и оказалось их в живых на пару сотен тысяч больше, чем было до войны... Я думаю, нет оснований сомневаться, что все эти виртуальные избиратели пригодились для воскресного подсчета. И это, граждане, не плохое знание арифметики, а хорошее знание литературы. Бывший соратник Путина по невидимому фронту вспоминал в недавней публикации, что еще во времена работы в ГДР будущий президент России «главной книгой своей жизни» считал «Мертвые души»...

Да, закон — это всё! Тем более он «всё» в случаях, когда за законностью наблюдает лично глава Центризбиркома Вешняков. Он и рассказал журналистам о дополнительных возможностях, которые предоставил чеченцам референдум.

Вешняков: «...Некоторые уносили бюллетени на память (ну, это небольшое количество, но, тем не менее, это уже зафиксировано нами). Это, наверное, кто-то для истории, ну, кто-то, может быть, для других целей...»

Ну, вариантов использования бюллетеня для других целей, вообще-то, немного... Так что чеченский случай, кажется, приоткрыл новые горизонты волеизъявления.

А тем временем борьба за чистоту выборов принимает совершенно гигиенический характер. Поверх жуткой грязи зальют хлоркой, а там уж — кто выживет, тот выживет! На прошлой неделе Государственная дума приняла в первом чтении президентские поправки к закону о СМИ в Уголовный и Административный кодексы. Если эти поправки пройдут еще два чтения, то наступит такая законность, что мама не горюй! Например. «за использование преимуществ служебного и должностного положения в период выборов» — преступника ожидает «штраф в размере до пятидесяти минимальных окладов» (т.е.

пять тысяч рублей). Пустячок, а приятно! Представляете: перед выборами глава партии «Единая Россия» Грызлов начинает круглые сутки маячить в телевизоре как глава МВД и докладывать о внезапных успехах в борьбе с преступностью, потом сам на себя надевает наручники и ведет штрафовать за использование служебного положения. То же самое, через год, он делает с президентом Путиным, который перед выборами месяц напролет встречается с народом на канале РТР. А само РТР, по новому закону, без всякого суда лишают лицензии за «недобросовестное освещение избирательной кампании». Представили? Ну, у вас и фантазия...

Теперь несколько слов о втором съезде партии. В принципе, второй съезд партии должен проходить в Лондоне, но это — если партия еще не пришла к власти. А у нас — пришла. И не разочаровала президента. Незадолго до открытия Путин отметил «высокий организационный потенциал» и «уникальный кадровый состав» единороссов. Что и говорить: Пехтин, Грызлов и Слиска — они даже когда не в форме, в сумме дают Монтеня... А какие у партии тылы! Уникальные — не то слово! В Тюменской области, например, в сторонниках «Единой России» с недавних пор ходят — председатель местной Счетной палаты, глава Управления ФСБ, военный комиссар и начальник налоговой службы. А возглавляет всю эту уникальность начальник противопожарной службы. Кого-то не хватает для окончательной уникальности...

Пока на местах крепили ряды, генсовет «Единой России» утвердил обращение к правительству «по поводу ситуации, сложившейся на селе в преддверии посевной кампании». Ну, а то! Без партии же там ничего не взойдет. А там, где партия, там успех, там победа... Руководство посевной, ясный перец!

Кадровое укрепление и трудовые рапорты навстречу съезду... Это для тех, кто помоложе, — бред сивой кобылы, а для тех, кто постарше — пожизненный рефлекс. Недавно они там, в руководящих верхах, взяли капиталистическое обязательство: к выборам довести численность партии до 2 миллионов. Лучше бы, конечно, сразу до девятнадцати, как КПСС, но не стоит отчаиваться. Если этих товарищей вовремя не вылечить, будет и девятнадцать. В минувшую среду из Московского отделения «Единой России» по организациям было разослано электронное письмо счастья. «Генеральный совет и Центральный исполнительный комитет Партии, — говорится в письме, — настоятельно рекомендует организовать на базе Вашего предприятия (организации) первичную партийную ячейку и обеспечить вступление в нее новых членов (не менее 5% от списочного состава сотрудников)». Ниже — образец заявления. И совсем внизу — эдак неназойливо — почти без знаков препинания написано: «Сильная Россия Единая Россия» В.В.Путин». Выглядит, между прочим, как подпись.

Высшее руководство «единороссов» немедленно объявило это письмо счастья провокацией, но гораздо больше оно похоже на оговорку по Фрейду. Так что, закончить эту историю следует, не выходя из жанра. А именно: один человек, получив такое письмо, переслал его в двенадцать организаций и организовал вступление в партию не менее 5% от списочного состава своих сотрудников — и ему было счастье. А другой человек уничтожил письмо и сказал, что все эти партийные козлы достали его еще тридцать лет назад — и ему было несчастье. Так что — все в «Единую Россию»!

Юношам, обдумывающим житье в составе «Единой России», следует, однако, знать полную драматизма историю тульского депутата Березина. Алексей вступил в единороссы, проникшись идеалами партии и ее перспективами. Причем перспективами особенно, имея в виду выборы в Государственную думу. Но партия сказала Березину «от винта», и он из нее немедленно отвалил по глубоко принципиальным соображениям. Следом за Березиным из тульской «Единой России» отвалили еще почти сто человек, причем один из них наябедничал корреспонденту издания «Газета», что ему надоело бесплатно изображать на митингах народ. И то сказать: даже в советское время массовке в кино платили по трёхе на рыло, а тут при демократии гуляй за партбилет! Обидно. А еще этот честный человек рассказал, что когда попросил у партийного начальства деньги за все эти прогулки под видом народа, ему ответили так: «За членство в президентской партии не мы, а вы должны платить». В общем, по всему видать: нынешний съезд «Единой России» — это всенародный праздник.

Новости науки. В минувший понедельник звание Почетного доктора наук Российской экономической академии имени Плеханова было присвоено Виктору Черномырдину. Это, я считаю, большая честь для академии, потому что докторов — как собак, а Черномырдин такой один. Как было сказано при вручении мантии, «за пять лет на посту премьера он так укрепил нашу экономику, что никакой дефолт не смог ее разрушить!». А еще — ректор академии, Виталий Ведяпин, объяснил укрепителю экономики главную выгоду нового звания...

Ведяпин: «...почетный доктор, — это ведь не просто звание...Это дает вам возможность представлять на любых уровнях, в любом месте, в любой стране, и от имени Академии говорить всё, что вам вздумается».

Надо сказать, что многое, не утерпев, Виктор Степанович сказал заранее. В последний раз, не будучи академиком, он сделал это неделю назад. Говорил Черномырдин про необходимость сотрудничества с соотечественниками на Украине. И получилось у него, как всегда.

Черномырдин: «Это нам нужно проявлять инициативу, мы должны сами, а не ждать, когда к нам придут! Не придут! Надо понять это раз и навсегда — никто к нам не придет. И никто нас уговаривать не будут! И не просить не будут! Там есть ходоки более, как говорится. С более крупными... мешками. Ходят и уговаривают. Туда уйдут. Да многие туда уже и смотрят. А многие уже и там. Или отдельные уже давно там».

И напоследок снова — о нашем ответе зарвавшейся Америке. По сообщению ИТАР-ТАСС, на минувшей неделе в Екатеринбурге несколько десятков женщин, клиенток брачного агентства, отказались отвечать на письма мужчин из США. То ли янки гоу хоум, то ли вообще: но пасаран. Хватит с них Багдада — нас они не возьмут! Счастья вам.

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ

в русской периодике четвертого квартала 2002 г. — первого квартала 2003 г.

Среди массы общеизвестных ***причин распада СССР*** **Р. Медведев**, автор статьи **«Почему распался Советский Союз»** («Вестник аналитики», 2002, № 4), особо выделяет антироссийский национализм, российский сепаратизм, проигрыш в холодной войне, распад социалистического лагеря и политическую несостоятельность главного героя этой драмы Михаила Горбачева. Основная причина (здесь используется инженерная метафора) — неустойчивость фундамента и несущих конструкций. СССР был государством нового типа — власть трудящихся, диктатура пролетариата, интересы которого представляла партия большевиков. Государство скреплялось новой коммунистической идеологией, на основе которой строилась программа и деятельность КПСС. Государство держалось не только жесткой диктатурой единственной в стране партии, но силой и привлекательностью идеологической доктрины, в которую верило большинство населения. Итак, две главные опоры — сила государственного принуждения и привлекательная идеологическая доктрина. Но кризисы начинают расшатывать эти опоры. Первый кризис советской власти (1921 г.) устранили НЭПом. Второй (1928 г.) — массовым террором крестьянства и всеобщим террором 30-х годов. Правда, доктрина строилась не на обещаниях лучшей жизни, а на культе личности Сталина. Третий кризис — после смерти Сталина. Этот кризис преодолен многочисленными уступками и поблажками крестьянству, рабочим, служащим и интеллигенции. Четвертый кризис (конец 70-х — начало 80-х) — деградация и старение номенклатурной элиты, кризис экономический, идеологический и моральный. «Перестройка» была неудавшейся попыткой выхода. Материальное положение народных масс не улучшалось, изменения в идеологии КПСС имели место, но носили случайный, импровизационный характер. Не сумев укрепить экономический, социальный и идеологический фундамент режима, Горбачев взялся внедрять демократию и проводить демонтаж номенклатурной диктатуры. Падение режима при такой политике стало неизбежным.

Авторы статьи **«Гибель Советского Союза в контексте истории социализма»** («Общественные науки и современность», №6) **В. Алексеев** и **С. Нефедов** рассматривают социализм как всемирно-историческое явление и считают распад великой социалистической державы одним из самых значительных событий истории XX века. Социализм, полагают они, в истории присутствовал всегда, но в различных одеждах: конфуцианской, христианской, исламской, марксистской и т.д. Вся история человечества была борьбой социализма и капитализма. В основе социалистических проектов всегда лежала всеобъемлющая государственная собственность и социальная справедливость. Осуществление этих

проектов начиналось с социальных революций, а главная предпосылка всех восстаний и революций — *перенаселение*, ведущее к нищете, безработице, голоду. Движимый последствиями перенаселения народ поднимается на борьбу за социальную справедливость и создает социалистическое государство (например, СССР). Но и в социалистическом государстве по ходу его истории собственность постепенно капитализируется и негласно переходит в руки чиновников, а обнищание масс растет. Опять общество разделено на благоденствующее меньшинство и бедствующее большинство, которое непрестанно растет по естественному закону демографических циклов. Согласно этому закону, население возрастает в геометрической прогрессии из-за «легкомысленных привычек» нищих к «неразумному» размножению, а средства к существованию растут в прогрессии арифметической. В результате наступает «абсолютное перенаселение», и государство, независимо от его социально-экономического строя, гибнет. Все это сильно напоминает теорию Мальтуса, справедливость которой авторами и не отрицается.

Но с некоторых пор на естественные законы бытия в России мало кто обращает внимание. Больше доверяют искусственному социально-политическому конструированию, и проектам несть числа. Один из них — ***евразийство***. Пишут о нем много, понимают же по-разному. **М. Кайзер**, например, трактует его как геополитический миф (**«Евразия: социальная реальность или миф?»** — «Журнал социологии и социальной антропологии», 2002, т.5. №4). Понятие «Евразия» его создатели и последователи относили к географической, этнической и культурной идентичности (самосознанию) государства, которое в их глазах существует независимо от остальной Европы и Азии и должно укрепляться и поддерживаться соответствующей политикой. Византия и Монголия исторически представляют собой два прочных евразийских государственных основания. Монголия способствовала становлению русского государства, а из Византии возникла православная государственность России. Немецкий доктор социологии пытается рационализовать этот миф, благополучно существующий в контексте современных идей о глобализации. Под глобализацией он понимает процесс, упраздняющий значение геополитики. Полностью глобализованный мир — это мир, в котором событие в каждой точке Земли сразу же откликается в любом другом месте. Физическая или виртуальная мобильность населения лишает географическое место значения основы идентичности. Ее заменяют мульти- и транслокальные формы организации социума. На современном пространстве Европы и Азии эти социальные и культурные процессы стали реальностью благодаря рыночной экспансии, случившейся после распада Советского Союза. В России, Европе и Азии устанавливаются торговые связи и формируется постсоветский рынок. Политика и дипломатия обслуживают этот рынок, пользуясь мифом «Евразии», или «Великого шелкового пути». Этот мифологический дискурс поддерживается реальными средствами сетевой транспортной системы, системы нефте- и газопроводов, системы средств массовой информации. Евразия из метафоры превращается в действительную инновационную среду, в которой образуются новые формы социальной и культурной жизни. Это не означает исчезновения локального (национально-

го) мира. Напротив, именно локальное становится ареной, на которой концентрируется разнообразие европейской и азиатской культур в новой комбинации. Профессор, по-видимому, убежден в возможности существования такого культурного конгломерата, где царит единство без смешения.

Внутрироссийским критикам евразийства экономическая рационализация слияния Европы и Азии кажется низким жанром. Им по вкусу эпические драмы *геополитики*. Автор статьи **«Россия в глобальной политике XXI века» В. Никонов** («Общественные науки и современность», № 6) определяет возможное место России в новом миропорядке. Он относит евразийцев в лагерь антизападников и не приемлет их теории мирового заговора против России, которой ничего не остается делать, как возглавить борьбу остального человечества против глобализации, понимаемой как империализм и гегемонизм. Это предполагает дальнейшее сближение с Китаем, Индией и другими слаборазвитыми странами азиатской группы и обострение отношений с Америкой и Западной Европой. Теория заговора с эвристической (разумно-продуктивной) точки зрения куда менее содержательна, чем теория глупости. И правда, несколько дураков у власти могут сделать для ослабления и разрушения страны гораздо больше, чем все «мировое закулисье» и вражеские спецслужбы вместе взятые. Евразийское убеждение, будто кто-то в антизападном лагере нуждается в нашем лидерстве, увы, иллюзия, как и то, что такой лагерь существует. Курс на конфронтацию с наиболее развитыми странами абсолютно бесперспективен. Наконец, евразийская изоляционистская идея рассчитывать на собственные силы и дружить только с тем, кто думает так же (а думает так же только нуждающиеся в нашей помощи), означает обречь Россию на стратегию догоняющего развития, отрезать от мировых финансовых потоков и загубить надежду взрастить экономически способный и деятельный слой населения. В общем, в евразийстве Никонов видит апологию отсталости и варварства.

Для **С. Аверинцева**, выступившего со статьей **«Несколько мыслей о "евразийстве" Н.С.Трубецкого. Опыт беспристрастного взгляда»** («Новый мир», № 2), евразийство послужило не столько предметом социально-аналитического этюда, сколько темой импровизации по поводу возможности обоснования идеократического проекта. Тональность импровизации автор определяет своей мировоззренческой позицией, которая далека от фанатиков либерализма, призывающих ради исключения рецидивов тоталитарных идеологий ампутировать у человека способность жить идеями и идеалами. В успех сочиненной («рукотворной») идеологии автор не верит, следуя второй заповеди — «не сотвори себе кумира». Интерес его сосредоточен на внутренней логике программы идеократии по Трубецкому, на его характеристике «туранского» (иранского) культурного склада русских. По мнению Аверинцева, «туранская душа», этакое «животное благоволение», подсознательно содержащее в себе государственную идеологию, материальную культуру, искусство и религию (так полагал Трубецкой), абсолютно не совместима с сознательными проектами идеократии. Бессознательное есть то, что нельзя построить по сознательному проекту. И, между прочим, эти проекты являются одним из дурных побочных эффектов того самого «романо-германского» рационализма, который так претил Трубецкому и в пику которому он и придумал евразийство. Точно так же этот

рационализм претит сегодня и Аверинцеву, когда он слышит призывы создать для России идеологию по специальному проекту. Он не может вылепить из себя (или дать вылепить другим) простодушного туранца, но в бесконечном процессе самопознания готов открыть в себе этого туранца и вступить с ним в осмысленный разговор. Только так вызревают идеи, которыми можно жить, не торопясь превратить их в жесткие конструкты идеологий.

«***Открытое общество***» многим видится как идеальная модель социального бытия, но понимают эту модель по-разному. Основания для определения открытого общества **А. Орлов** (**«Открытое общество: взгляд психолога (открытое письмо Дж. Соросу)»** — «Вопросы психологии», №1) видит во внутренней сфере миропорядка, являющего собой систему отношений и общения в пределах самого индивида. Открытое коммуникативное общество — это форма психологической и социальной организации значительно более сложная, чем рыночное общество. Мало того, рынок — главный враг открытого общества. Рыночные ценности не соответствуют человеческим ценностям, которые являют собой органично изменяющийся поток предпочтений. Социальная основа рыночного общества «война всех против всех» в новом открытом обществе Орлова уступает место общению на интрапсихическом уровне. Это кооперация и сотрудничество инстанций внутреннего мира каждого с каждым. Для культивирования такого рода отношений нужны особые социальные институты, неизвестные в системе прежних, кажущихся совершенными рыночных отношений. Где взять ресурсы для этого психологического реформационного мероприятия? Автор не зря обращается к известному своей благотворительностью миллиардеру.

В. Торчилин в статье **«Какое общество строит Россия»** («Знамя», №2) рассматривает возможности построения «открытого общества» в современной России по рецепту К. Поппера. Оптимистические предположения некоторых политологов о реальности осуществления такого проекта и даже действительном существовании предпосылок к тому, автор статьи считает совершенно безосновательными. Ибо рынок, который лежит в основе этого проекта, совсем не похож на тот «воровской бардак», что царит сейчас в экономических отношениях России. Методы и формы политических отношений (тотальная коррумпированность выборов, планомерное изничтожение оппозиции СМИ и т.п.) не имеют ничего общего с демократией. «Общественный договор» между властью и населением, действующий в открытом обществе, отнюдь не соответствует тому крайне неустойчивому равновесию, которое сложилось исключительно во властных верхах России между Кремлем, спецслужбами, крупным бизнесом и министерствами. При всем том не наблюдается никакой государственной стратегии. Короче говоря, полностью прогнившая, коррумпированная и проворовавшаяся деловая и политическая элита пытается контролировать всю страну — под видом приватизации и строительства рынка. Эта элита осуществила тотальный грабеж, скупая за бесценок госпредприятия и разворовывая выклянченные у МВФ займы. В результате таких «демократических» реформ подавляющая часть населения живет в нищете. Даже обретенная СМИ свобода слова Торчилину кажется иллюзией. Потому что свобода слова в полном ее

смысле — это система с обратной связью, т.е. возможность не только высказаться, но и повлиять своим высказыванием на принимаемые в обществе важные решения. Ничего такого в России нет и не предвидится. Так что проект «открытого общества» в России утопичен. Сейчас (как и во времена монархии и социализма) это — закрытое централистское общество, которое слегка мимикрировало для оптимизации тотального ограбления страны правящей олигархией. И уж ей-то никакая открытость не нужна.

Умственную состоятельность нынешних реформаторов ***российской экономики*** ставит под сомнение **Ф. Косицына**, автор статьи **«Методологическое обеспечение экономической реформы: так ли уж устарел марксизм»** («Философия и общество», №4). Практические результаты их деятельности — такие, как повальная экономическая либерализация, пренебрежительное отношение к людям труда, изъятие у них не только прибавочного, но и большей части необходимого продукта, лицемерный характер демократии, коррумпированность представителей правящего режима — неминуемо ставят экономику в тупик и выводят Россию из общего русла цивилизационного развития. Теоретические достижения реформаторов удручают не меньше. Безоглядный нигилизм наших вскормленных «Капиталом» антимарксистов приводит в недоумение даже самых закоренелых оппонентов Основоположника на Западе. Современная эволюция капитализма отнюдь не опровергает экономическое учение Маркса. Западные экономисты сами подтверждают, что чтут его основную идею — капитализм есть развивающаяся система, вышедшая из специфического исторического прошлого и медленно и неровно движущаяся к плохо различимой иной форме общества. А неистовый критик всяких тоталитарных теорий, деконструктивист Ж. Деррида недвусмысленно заявляет, что «ныне, когда все отреклись от марксизма и он кажется окончательно погребенным, растет ощущение, что от марксизма никуда не уйти».

В. Сендеров, автор статьи **«Солидаризм — третий путь Европы?»** («Новый мир», №2), считает современные ***попытки создания в России либерального индивидуалистического общества*** бесперспективными. Он предлагает еще один проект, испытанный не почве европейской культуры. Это — солидаризм, теория и практика сбалансированного взаимодействия личности, общества и государства. Известные общественные системы — индивидуализм (капитализм) и коллективизм (социализм) — односторонни. Для первого индивид — это все, а общество лишь нечто, чем индивид пользуется; для второго, наоборот, общество — это все, а отдельные люди лишь шестеренки в огромном механизме, которые можно заменить, если они плохо работают. Солидаризм, не отвергая ни того ни другого, гармонизирует и уравновешивает их. Общество оказывает своему члену активную поддержку в том, что он не может совершать самостоятельно; и, напротив, оно не должно снимать с него труд, с которым он может справиться сам. Это — самоочевидные истины. Они обязывают общество и государство (а оно трактуется как одна из общественных структур) к поддержке действительно нуждающихся, с одной стороны, а с другой — ставят жесткие пределы благотворительности, стимулирующей рост паразитов. Эти

принципы (субсидиарности) ограждают страну от социалистических и либеральных крайностей. Вообще солидаризм автор считает «антиутопией», способной, однако, привести Россию к благоденствию.

Автор статьи **«На пути к конституционной монархии»** («Москва», № 2) **М. Рачков** предлагает другой путь к благоденствию. Он считает, что начатый по инициативе Путина процесс укрепления «вертикали» власти может быть к концу второго президентского срока логично завершен плавным, ***эволюционным переходом к конституционной монархии***. Большинству россиян, прошедших испытания социализмом и постсоциалистическим капитализмом, эта форма правления может показаться по меньшей мере архаичной. Но при ближайшем знакомстве она обретает черты современной политической реальности, особенно если вспомнить, что ряд вполне развитых европейских государств благополучно существуют при таком режиме. Итак, смысл конституционной монархии в версии Рачкова сводится к следующему. Монарх (государь) избирается гражданами России на основе всеобщего равного и прямого избирательного права на ограниченный, но длительный срок (15 лет) с правом единоначалия, назначения генерал-губернаторов и Кабинета министров, формирования Государственного совета, представления кандидатур Генерального прокурора, Председателей Верховного суда и Высшего арбитражного суда, а также Председателя Центробанка для утверждения Государственной думой. Последняя вместе с Конституционным судом тоже являются выборными органами государственной власти. Члены Конституционного суда избираются гражданами России на 10 лет, депутаты Госдумы — на пять. Важнейшим преимуществом конституционной монархии является решение вопроса о земле. Она принадлежит государю. Это то, чем он может и должен реально распоряжаться, заботясь о ней как об основе жизни и процветания всех наций и народностей, а также награждая ею достойных мужей и жен за заслуги перед Отечеством. Земельная рента должна стать главным источником пополнения государственной казны. Лирических тем о церковном признании (помазании) и праве наследования престола автор (доктор наук и директор Института стратегических исследований Байкальского региона) не касается.

Ю. Васильчук в своих надеждах полагается на ***мировую культуру***. Он считает ее главным фактором, управляющим преображением человека, и движущей силой всеобщего прогресса (**«Социальное развитие человека в XX веке. Фактор культуры»** — «Общественные науки и современность», № 1). Мировая культура в понимании автора статьи представляет собой «великие и малые идеи и знания, решения и формулы, принципы и информацию, процедуры и правовые нормы» — словом, высшие достижения человеческого гения в материальной, интеллектуальной и духовной сферах деятельности. Нет более высокой задачи для демократического общества, чем овладение всем этим богатством. Мировая культура — общее детище национальных культур, главная общечеловеческая функция которых — осознание всего хорошего и плохого, происходившего в истории, и, конечно, активная культивация первого и безжалостное искоренение второго. От успеха этой процедуры зависит модерни-

зация промышленного производства, улучшение качества производимых товаров, справедливость их распределения на рынках сбыта и, соответственно, процветание государств и стабильность их политических режимов. Васильчук находит, что Россия сделала значительный вклад в развитие мировой культуры XX века, особенно в дело глобализации международного права. Аргументирует он свой неожиданный вывод так: жертвуя собственным благополучием и лишая собственных граждан всех свобод, Россия способствовала великой идее освобождения от империалистического и колониального ига народов Европы, Азии и Африки. По мнению Васильчука, в XX веке произошла «глобальная социальная революция». Понимание этой великой роли России в исторических судьбах культуры всего мира необходимо и ее сегодняшним гражданам для активной самоотдачи в деле «развития благородства человечества».

Интересна ***реакция молодежи на политические и социально-экономические перемены*** в жизни страны. **С. Иваненков**, обозревая социологические исследования, демонстрирует картину воспрянувшего общественного духа, оправившегося от потрясения реформ (**«Отношение молодежи к будущему России»** — «Credo new», № 4). Он решается назвать это психологическим оздоровлением и констатирует благополучие и стабильность. Видимо, поэтому большая часть молодежи считает себя основной силой, от которой зависит возрождение страны. Как ни странно, но самый высокий уровень этой «самоуверенности» принадлежит группе безработных реципиентов. Этот фрагмент общей картины характеризует загадочный факт — маргинализация жизненного статуса людей позитивно отражается в их сознании, т.е. чем хуже жизнь, тем больше оптимизма. Очень мало «самоуверенности» у молодых работников госпредприятий (у бюджетников). Наиболее скептична молодежь, работающая в сфере свободного предпринимательства. Очевидно, в общественном бытии свободная инициатива в сочетании со свободой личности нуждается в государственно-правовых и социально-экономических гарантиях.

Современная российская культура в глазах культурологов являет собой причудливое переплетение традиций и новаций. Попытки вернуться к архаическим духовным истокам, «обновить» дохристианские верования, эстетизация экономики и политики представляют собой пестрый коллаж исторических, мифологических, религиозных и художественных идей, унаследованных от XX века. Обращение к традиционной культуре стало в некотором смысле знаком пробуждения национальной памяти, возрождением этнической ментальности. Что это? Надежда современного человека повернуть время вспять, обрести вечность, Земной Рай, вернуться к первопричине? Этот вопрос пытаются осмыслить **А. Каргин** и **А. Соловьева** , написавшие статью **«Традиционная культура в контексте цивилизационных процессов XX века (к постановке проблемы)»** («Традиционная культура», № 4). По их мнению, в современной ситуации традиционная культура видоизменяется и развивается параллельно процессам собственной унификации, т.е. ее основные сущностные особенности из сферы реальной практики людей переносятся в сферу культурного потребительства (в массовую культуру). Но унификация эта происходит не безболезненно. Имеет

место феномен, называемый исследователями *«культурный шок»*. Суть его — конфликт старых и новых культурных норм и ориентаций на уровне индивидуального сознания. Для смягчения шока сознание человека независимо от него (подсознательно) вырабатывает различные компенсаторные средства, саботируя происходящее и оставаясь в пределах архаических образцов (парадигм). Таким образом возникает «антимодернизация» как сопротивление предлагаемому развитию по универсальному пути. В нашем случае традиционная духовная элита сопротивляется социокультурной экспансии Запада.

Журнал «Родина» продолжает обсуждать конкретные проблемы межкультурного диалога русских с иноземцами. Специальный выпуск (№ 10) посвящен теме ***«Россия и Германия. XX век»***. В номере, в частности, помещены материалы международной конференции «Преодоление прошлого и новые ориентиры его переосмысления. Опыт России и Германии на рубеже веков». Участники конференции пытаются уяснить, как осмысляется прошлое (и российское коммунистическое, и немецкое нацистское) в общественном сознании и в умах историков. **Х. Моммзен** замечает, что в Германии осознание это в разное время принимало различные формы. Сначала у немцев возникло своеобразное ощущение «отсутствия истории», сопровождаемое стремлением вытеснить это время из памяти. Выразилось оно в тенденции к отказу от преследования за нацистские преступления, в замалчивании прошлого и готовности приписать всю ответственность Гитлеру и его ближайшему окружению, сняв ее со всех остальных. Позднее взгляд на прошлое стал объемнее, интерпретация истории глубже, а вопрос о политической вине, например, за геноцид евреев и славян, перестал быть табу. Новое историческое сознание немцев мешает «специалистам« сконструировать «светлую национальную историю» без национал-социализма. Как следствие катастрофы Второй мировой войны рухнули и идеи «особого немецкого пути» и «сильного национального государства». Национальная индифферентность немцев не изменилась и после воссоединения ГДР и ФРГ. **М. Бирвиш** обращает внимание на различия в судьбе фашистской и коммунистической диктатур. Одна существовала 12 лет и пала в войне, ею же затеянной. Другая пала сама от функциональной несостоятельности. Одинаково в них то, что не удовлетворена потребность в справедливости. После краха номенклатура прошлых режимов (нацисты и коммунисты) преспокойно перетекла в новую жизнь. Но несомненно, что жажду справедливости можно скорее удовлетворить при экономической обеспеченности, нежели в условиях нищеты. Поэтому в Германии наследие диктатуры преодолено основательнее ровно настолько, насколько немецкий уровень благосостояния выше российского. **С. Аверинцев** полагает, что объектом мифологизации и идеализации стала сама идея «преодоления». Одни, не вникая в исторические нюансы, требуют «Нюрнбергского процесса» над КПСС. Другие поголовно возненавидели всех русских. Вообще отношение к русским в западном общественном мнении за последние 10 лет изменилось настолько, что акт доброй воли (освобождение стран социалистического лагеря) воспринимается как неизбежный проигрыш в «холодной войне». Не находит понимания и то обстоятельство, что не всякая культура одинаково принимает требование ответственно-

сти нации за свое прошлое и необходимость каяться за свои грехи перед всем миром. Единственной прививкой, дающей иммунитет против нового тоталитаризма, является, по мнению Аверинцева, чувство собственной (каждого в отдельности) ответственности за свое слово и действие, а отсюда и воспитание недоверчивости к внушениям массовых воздействий. В преодолении прошлого следует избегать излишней сентиментальности и не впадать в крайности цинизма. Необходима «простая интеллектуальная честность». **А. Шевырев** считает, что в акте покаяния следует различать субъект (тот, кто кается) и объект (тот, перед кем каются). Для эффективности покаяния необходима их взаимная активность. У немцев в послевоенной истории был благодарный объект покаяния. В России совершенно иная картина. Сначала совместная борьба с коммунистическим режимом подразумевала солидарное обличение его преступлений и ошибок. При этом русские (субъект) признавали свою причастность к национальной вине, а нерусские (объект) проявляли тактичность и благородство. После распада СССР и социалистического лагеря в сознании нерусских коммунисты (виновники национальных трагедий) стали ассоциироваться с русскими вообще. Из вчерашних соратников в борьбе за независимость русские превратились в вековых угнетателей. Сами русские почувствовали, что стали объектом ненависти, и тогда они перестали каяться, ибо, осуждая прежний режим, они вместе с субъектом покаяния вынуждены были бы осуждать собственную нацию. **Д. Люкшин** касается «преодоления прошлого» в сознании историков, которые готовы вопреки своим вчерашним «правильным» версиям огласить сегодняшние не менее правильные, хотя и противоположные по смыслу. Вина за неустойчивость научных убеждений перекладывается на плечи сходящих со сцены политиков. Люкшин напоминает, что историк исследует прошлое, что он не врач, а патологоанатом. Ответственность, лежащая на нем, — это ответственность лишь перед собственной совестью. **Н. Дедков** коренным образом различает нацистскую и коммунистическую идеологию, ибо в основе первой — убогие и бесчеловечные представления о превосходстве арийской расы, культ насилия и презрение к другим народам; а в основе второй — надежда на построение справедливого общества для всех и всякого, вера в свободу, равенство и братство. Поэтому принять нацизм человек мог лишь в результате бесчестной сделки с совестью. Вера же в светлое коммунистическое будущее не делала необходимой причастность к преступлениям режима. За совершенные преступления должны нести ответственность конкретные лица. В нынешней же России много призывов к коллективному покаянию, а личных раскаяний, увы, нет.

Бесконечная ***дискуссия об интеллигенции*** приобретает вполне научную определенность (строгие ориентиры во времени и пространстве) в статье **О. Степановой «Понятие «интеллигенция»: судьба в символическом пространстве и во времени»** («Социологические исследования», № 1). Пространство, правда, условное, символическое, знаково-понятийное, зато время реальное, историческое (как понимали раньше и как теперь). В понятийное пространство «интеллигенция» социологи включают служащих, чиновников, менеджеров — словом, то, что вполне сопоставимо с понятием «средний класс». Пришедшее с

Запада понятие «интеллектуалы» охватывает наиболее квалифицированных профессионалов, способных теоретизировать в гуманитарной сфере (университетская, художественная, журналистско-писательская среда). В историческом времени России понятие «интеллигенция» меняло свой смысл. Так, в XIX веке он колебался от сфер социально-утопического пророчества, религиозного или политического инакомыслия до суетных сфер промышленно-экономической или политической прагматики. После революции это понятие было девальвировано и прозябало преимущественно в социально-профессиональной или культурной сферах. В постсоветской России, в рыночных условиях смысл понятия «интеллигенция» переместился в маргинальные сферы (низшие слои), ибо носители этого звания были обречены на самоликвидацию. Однако Смирнова предполагает, что наступят лучшие времена, когда Россия приобретет более или менее цивилизованный вид и возникнет новый, достойный поддержки идейный импульс. Тогда-то интеллигенция восстанет из праха и проявит себя в изначальном смысле своего названия.

Е. Ермолин (**«Идеалисты. Интеллигенция бессмертна!»** — «Новый мир», № 2) в прологе к литературоведческой статье славит интеллигенцию, вечно живую, вопреки всем скорбным эпитафиям. Он описывает ее вне всяких социальных характеристик (классовых, национальных, конфессиональных, профессиональных, партийных и т.п.), а находит ей онтологическое (метафизическое) определение. Интеллигенция не функция, а сущность. Не посредник, а монада. Интеллигент — «осевая личность (в смысле философии истории К. Ясперса), воплощение тревожной и взыскательной осевой духовности, бродильный фермент ищущего духа в социальных болотах, чащобах и трущобах, творец смыслов и идей, собеседник вечности». Я не знаю, кто решится после такой презентации назвать себя интеллигентом. А Ермолин, не щадя совести воспеваемых, продолжает: «люди смыслорожденной идеи, обладатели вечно молодого осевого сознания, чей способ существования — идейность и вечное стремление к познанию своего смысла и провиденциального замысла о себе»... и так далее в том же духе, пока не останавливает нужда обратиться к обещанному разговору о современной прозе.

Авторы статьи **«Общий аршин для русской души» Ю.** и **Н. Латовы** («Политбюро», 2003, №5) сообщают о научном способе измерения ***национального характера***. Основоположником *этнометрии* стал голландский психолог Г. Хофстед. В своей системе измерения он использовал пять универсальных критериев. 1. Индивидуализм — коллективизм. 2. Авторитаризм — готовность подчиняться (начальникам, родителям, жене). 3. Избегание неопределенности (стремление действовать по правилам) — прокладывать пути в неизвестное. 4. Мужественность (твердая ориентация на достижение поставленных целей) — женственность (ориентация на доброжелательное отношение к окружающим). 5. Конфуцианский динамизм (долгосрочная ориентация, то есть готовность жертвовать сиюминутными выгодами ради будущего). В соответствии с этими критериями производится оценка и составляются графики соотношения. В России тоже опробовали эту методу и провели социологический опрос, распространив анкету среди студентов школ бизнеса. Полученные результаты при

сравнении с данными из разных стран мира показывают, что ментальность россиян находится где-то посередине между Востоком и Западом, а самыми близкими нам качествами обладают жители Аргентины, Турции, Ирака, отчасти Японии. Получается, что ментальность у нас не евразийская, а больше азиопская (по термину, придуманному предводителем кадетов П. Милюковым), и никакой таинственности русской души не наблюдается.

Автор статьи **«Невиноваты мы» А. Арутюнов** («Политбюро», 2003, №5), видимо, не удовлетворенный приведенной выше этнометрической арифметикой, предпочитает синтезировать теории, основанные на мифологических концепциях. Например, о влиянии на русский характер долгой зимы и ненадежного земледелия (зависимость от погоды). Это, де, формирует фатализм и умение стоически переносить несчастья. Или влияние на русский менталитет длительного иноземного татаро-монгольского ига и крепостного права. Есть еще этнопсихологическая теория, которая объясняет покорность и фатализм русского характера обычаем туго пеленать младенцев (привычка к скованности и ограниченности в движениях). Но больше всего Арутюнову нравится теория Р. Бенедикт, по которой западные цивилизации классифицируются как культуры совести (христианская традиция покаяния, исповедания грехов, ради спасения души), а восточные — как культуры стыда (сокрытие позорящих тайн для «сохранения лица»). По этой классификации ему кажется, что русские принадлежали к западной цивилизации. Особенно русские сто- или пятидесятилетней давности. Им было, судя по свидетельству Достоевского и Чехова (неожиданные для этнометрии респонденты!), в высшей степени присуще чувство вины и склонность к покаянию. Сейчас характер русских резко изменился, приобретя азиатские черты. Никто не хочет каяться — в своих бедах все обвиняют других. Получается, однако, что русские ради «сохранения лица» бессовестно изображают себя безвинной жертвой (Чубайса, жидов, чучмеков, кавказцев). Как сопрячь получившийся образ с классификацией Р. Бенедикт? Видимо, это и есть особенности синтеза в версии Арутюнова.

Н. Моисеева, В. Сороковикова («Менталитет и национальный характер» — «Социологические исследования», №2), опираясь на научный опыт коллег, дают социологическое определение русского национального характера. Это — «устойчивая составляющая часть русской национальной психологии, которая представляет собой совокупность доминирующих чувств и свойств в их когнитивном (познавательном), эмоциональном, поведенческом воплощении. Эти черты и свойства степенью выраженности, различным сочетанием, формами проявления определяют своеобразие русского национального характера». Я полагаю, что если прилагательное «русский» заменить на любое другое, смысл дефиниции не изменится, а это значит, что никакого содержания в определении нет. Этот конфуз вполне извинителен, так как статья имеет подзаголовок «О выборе метода исследования», и авторы пишут больше о том, чего в их науке нет и что иметь им хотелось бы.

Больше о национальном характере русских говорит статья, посвященная ***русской традиционной культуре***. **М. Громыко («О единстве православия в Церкви и в народной жизни русских»)** открывает своей статьей первый номер

нового научно-православного журнала «Традиции и современность». В определении традиционной культуры вообще и русской в частности он считает необходимым учитывать конфессиональные (религиозные) компоненты и вкратце характеризует их, принимая во внимание богатый материал многочисленных этнографических исследований. Одна из этих компонент — причастность массы мирян к служению в храме и присутствие на церковных службах. Наиболее глубокое приобщение к литургическому служению выражается в принятии таинств. Главные из них покаяние и причащение. Они наиболее благотворно, полагает Громыко, повлияли на русский национальный характер, ибо человек, который с детства бывает на исповеди и приносит покаяние Богу, умеет прощать и просить прощения. Вывод о значении многовекового участия в литургической службе подтверждается и недавними научными исследованиями. Вера в загробную жизнь и связанное с ней осознание греха и неизбежности кары Божьей являются другой компонентой в научном определении традиционной культуры. Исключительно широкое и устойчивое распространение среди русских, по мнению Громыко, приобрели идеи и поступки, связанные с милосердием (сострадание, сочувствие, помощь в самых разных видах). Еще одна компонента русской традиционной культуры — освящение жизненного цикла и отношение к семье (крещение, венчание, почитание родителей). Православное поведение в доме определяется желанием сделать его святым местом, защищенным от вражьей силы, малой церковью, местом молитвы. Традиционная культура создала богатый комплекс благочестивых представлений и устойчивых норм поведения на трапезе, за столом и правил питания (соблюдение постов). Живая вера русских очевидна в многочисленных и разнообразных формах почитания Божьей Матери, в паломничестве, в Крестных ходах, в соблюдении церковного календаря и широком распространении добровольно принимаемых обетов. Осмысление всей жизни во всех ее формах зиждется на понятии о Промысле Божьем — «На все Воля Божья». Упование на Нее определяет в русской традиционной культуре спокойное, уравновешенное и терпеливое отношение к действительности.

Казалось бы, массовое принятие атеизма населением России в начале XX века противоречит такой благостной картине. **Л. Андреева** находит этому объяснение («Процесс дехристианизации в России и возникновение квазирелигиозности в XX веке»). Коммунистическую идеологию она называет квазирелигиозностью, которая стала следствием дехристианизации и секуляризации, начавшихся еще в XIX веке. В подтверждение этому приводятся убедительные статистические данные из разных источников. Но массовое отпадение от православия не стало обмирщением сознания. Оно по-прежнему ориентировалось на сверхъестественное. Глубинные ментальные структуры (подсознание) были религиозны. Образовалась химерическая форма дехристианизированного, но религиозно ориентированного на подсознательном уровне общественного сознания. В эту форму и вылилась коммунистическая идеология.

Обзор подготовил Александр Денискин

ИЗ УЛЬЯНОВСКА В МАНЬЧЖУРИЮ. Письма 1927 года

Публикация Вероники ЖОБЕР

Вступление

В разгар гражданской войны осенью 1918 г. моя прабабушка Ольга Александровна Толстая-Воейкова (1858-1936) рассталась со своей старшей дочерью Екатериной Дмитриевной Воейковой-Ильиной (1887-1965), последовавшей за мужем, офицером Колчаковской армии, на Восток. После разгрома Белой армии Ильины с дочерьми Татой и Гулей двинулись из Омска дальше, и весной 1920 г. поселились в Маньчжурии, как и многие другие русские. Там же оказался после революции 1917 г. старший сын Ольги Александровны Шура, работавший агрономом на сельскохозяйственной опытной станции при КВЖД. В Маньчжурии жила и его дочь Муся. Начиная с весны 1920 г., когда Ольге Александровне удалось восстановить связь с дочерью, О.А. стала ей регулярно писать. По старым традициям эпистолярного жанра она вела обширную и подробнейшую корреспонденцию и писала длиннейшие и многочисленные письма.

До нас дошли сотни из них, написанные родным в Маньчжурию за 16 лет. История этих писем сама по себе любопытна. Их адресат, моя бабушка Екатерина Дмитриевна Воейкова-Ильина, вернулась из эмиграции в Советский Союз в 1954 году. Возвращалась она к своей старшей дочери Наталии Иосифовне Ильиной, ставшей впоследствии известной писательницей. Е.Д. Ильина сумела провезти все эти письма! Наталия Иосифовна сама использовала их в своей автобиографической прозе, но весьма фрагментарно (см. «Дороги и судьбы»). Летом 1993 г., за полгода до смерти, Наталья Иосифовна подарила мне эти письма. Она понимала, что настали новые времена, знала мой интерес к прошлому России и к истории моей русской семьи и надеялась, что я сумею как-нибудь использовать этот ценный семейный архив.

Вероника ЖОБЕР — родилась в 1945 г. в Индокитае. Училась в Сорбонне. Доктор филологических наук, профессор факультета славистики в Сорбонне. Преподает русский язык, историю и культуру России 20-го века. Автор двух книг: «Советская современная сатира. Общество и идеология», и «Конец СССР и русский кризис идентичности». В России печаталась в журнале «Колокол» 1, 2003 г. («Путевые и попутные заметки»), в симбирском журнале «Мономах». Племянница Наталии Иосифовны Ильиной. В настоящее время занимается ее архивом. Часто бывает в России, ездит в Ульяновск. Живет в Париже.

Этот архив представляет большую культурную и историческую ценность и является интересным социологическим документом. В письмах Ольги Александровны подробно описаны события тех лет, очевидцем которых она была. В них ярко проявилась личность автора — человека высокой культуры, умеющего тонко наблюдать детали окружающей ее жизни и обладающего великолепным слогом. О.А., естественно, как водилось в дворянских семьях ее поколения, получила прекрасное домашнее образование, владела в совершенстве четырьмя иностранными языками — французским, немецким, английским и итальянским.

Читатель сможет ознакомиться с множеством подробностей быта (цены на продукты, дефицит, жилищный вопрос), культурной и научной жизни (деятельность Географического общества, трудности при поступлении в вуз из-за социального происхождения, гонения на религию), идеологического давления (аресты не только знакомых и друзей, но и родных, в частности младшей дочери Мары в Ульяновске в июне 1927 г.).

Где бы Ольга Александровна ни находилась, она подробнейшим образом описывает свою жизнь, следит с интересом за событиями, читает газеты, слушает радио, довольно смело высказывает свои мнения, часто критические.

Все представленные здесь письма относятся к 1927 году и написаны из Ульяновска, где Ольга Александровна провела полгода у своей младшей дочери Марии Дмитриевны. Пребывание в бывшем Симбирске — уникальная возможность для О.А. возобновить старые знакомства, ведь она — симбирская дворянка, родилась в Сызранском уезде. Столько воспоминаний связано у нее с этими краями, где находились и Самайкино, имение мужа, и Репьевка, родное имение родителей, которое унаследовала старшая сестра Александра Мертваго, и Жедрино, имение второй сестры, Анны Ушаковой.

Ольга Александровна Толстая-Воейкова, несомненно, человек уходящей эпохи, но ее мудрость и прозорливость позволяют ей трезво судить о наступающем новом времени, в котором ее детям и внукам предстоит жить. В ее письмах встречаются иронические и критические замечания о жизни в СССР. В этих случаях ей нередко приходится прибегать к иносказаниям и намекам, использовать иностранные языки. Поражает ее бесстрашие, которого уже будут лишены следующие поколения.

У Ольги Александровны была большая семья. Она родила семерых детей, шестеро из которых в то время были живы. В письмах 1927 года постоянно упоминаются члены семьи, ее дети и внуки, живущие в Советском Союзе. Это:

Павел Дмитриевич (Павел, Павлун), ее второй сын, по образованию юрист, живший и работавший в Москве. В 1927 г. он был женат на Марине Кампанари;

Дмитрий Дмитриевич (Дима), инженер-металлург, спец, работавший на заводе «Красный выборжец» в Ленинграде. Его жена Александра Александровна Жуковская (Алина). У них дочка Катя (Катюн, Катюша). Ольга Александровна жила с ними в одной квартире, где и скончалась в 1936 г. за год до ареста сына.

В Ленинграде также живет невестка Ольги Александровны Надежда Александровна Башмакова (Надя), бывшая жена старшего сына Шуры, с сыном Алеком.

На Кавказе живет и работает ее младший сын Иван (Ваня, Ванятка), агроном, с женой Наташей.

В Ульяновске Мария Дмитриевна (Мара), младшая дочь, тоже агроном, заведует школой садоводства и огородничества. У нее сын Юрий.

Из представленных здесь писем подавляющее большинство адресовано дочери Кате, только три сыну Шуре, а еще одно знакомой из Харбина. Последнее интересно тем, что оно единственное, уцелевшее за тот шестинедельный период, когда дочь Мара, арестованная в июне, сидела в тюрьме.

Будучи в Ульяновске, оставшемся для Ольги Александровны Симбирском, она не без грусти предается воспоминаниям. Она сетует на то, что «притупляются наши чувства», и с горестью восклицает: «И все это прошлое, как закрывшаяся книга».

Мы же надеемся, что читателю эти письма, благодаря эпистолярному таланту их автора, предстанут тем не менее как вновь открывшаяся книга истории, раскрывающая страницы прошлого, приобщающая к ценностям и традициям давно ушедшей эпохи.

Вероника Жобер
Париж

Симбирск, 8 го апр[еля] 1927 г.

Дорогая Катя, вчера получено здесь твоё письмо от 22 марта, а я приехала третьего дня и проездом через Москву бросила на вокзале мою последнюю питерскую весточку тебе... Ты увидишь сколько было сомнений, волнений и всяких препятствий в эту последнюю неделю, когда билет уже был у меня в столе и надо было сказать: «Le vin est tiré, il faut le boire!»[1]. Всё, слава Богу, наладилось и на этот раз, чем дальше, тем удачнее складывалось. Оставила Алину и Катюшу ещё в постели, друг против друга, но уже с нормальной температурой без признаков каких бы то ни было осложнений. Наш второй дворник Исидор вызвался меня проводить (забрал вещи), сели на трамвай Дима, сестра[2] и я — везла Павлу шесть тарелок из старого сервиза. Мой китайский кошель пошёл в багаж, зашитый в чехол из холста (взяли 5р. 65 к. до Симбирска), даже на пассажир[ский] багаж есть налог фин[ансового] отд[ела], а бесплатный пуд уничтожен. On fait fléche de tout bois[3], лишь бы сбрить лишний грош на нищету. В вагонах только и слышно разговоров о налогах, слышишь много поучительного и много курьезов. Говорят более откровенно, чем три-четыре года назад. На вокзале нас ждала Анна Ал[ексеевна] Жук[овская][4], которая возвращалась с урока за Невской Заст[авой]. Вагон оказался очень приличный, переделанный из 2 класса. Stripped of all comfort, it still has a dignified air, some brass ornaments, a clean and more spacious W.C. and beautiful large windows[5]. Приехала Таня Мал[еванова][6], посылавшая цветы

---

[1] Вино откупорено, надо его выпить *(франц.)*.

[2] Евдокия Николаевна Урядова — Дуняша, фактический член семьи. Была когда-то портнихой у Воейковых в Симбирской губернии. Стала медсестрой. Всю жизнь прожила на квартире Воейковых в Ленинграде до своей смерти в 1957 г.

[3] Из всего извлекают выгоду *(франц.)*.

[4] Мать Алины.

[5] Несмотря на то, что вагон лишен всякого комфорта, он тем не менее еще сохранил достойный вид, некоторые медные украшения, чистый и более просторный туалет, а также прекрасные большие окна *(англ.)*.

[6] Татьяна Львовна Малеванова-Соколова.

своей работы на продажу к Екат[ерине] Вл[адимировне][7]. <...> На пути около Мал[ой] Вишеры шум и скандал столь обычного теперь свойства. Человек, прикрываясь партийностью, нарушает правила и застращивает тем, что будет жаловаться Рыкову[8]. На этот раз его выставили из вагона с партийной карточкой и с собакой, за которую он отказывался платить. В Москве мы были с маленьким опозданием около 10 1/2. Павел меня принял у двери вагона и уже держал наготове извозчика. Марина ждала с кофеем и яичницей. Belle-maman est soignée par ses belles-filles[9]. Павлик отправился на службу, а через полчаса появились Ходневы вдвоём, они ехали на крестины в город и торопились предупредить мою поездку на дачу. Оба старичка очень бодры и подвижны. Ал[ексей] Дм[итриевич] со своими 76 годами носится со всеми поручениями жены. Продаёт её пупсов, а у Ек[атерины] Вл[адимировны] целая комиссионная контора, она теперь устраивает продавцов игрушечных с ларьками и лотками. Завалена заказами к Пасхе. Днём я была у моих старушек Мясновых, я тебе не раз об них писала. Две сестры — старшей 78 лет, младшей 65 лет — самостоятельно живут своей работой, вышивают и шьют бельё. Я люблю их необыкновенную стойкость и трудоспособность, их уменье сохранять вокруг себя что-то изящное, нарядное — красивый фарфор, бронза и красное дерево. The room is crowded, they live three in it, but everything is daintilly served with the luxury of pretty table linen and they remain very typical gentlewomen in reduced circumstances[10]. Вечером мы с Павлом были у Ольги Тиз[енгольдт][11]. Роль хрычевки перешла Алеку[12], которого Ольга Вл[адимировна] гоняет немилосердно. Мальчик славный, готовился в высш[ее] уч[ебное] зав[едение]. Хочет держать в Пут[ей] сообщ[ения] на новый отдел по радио, если это удастся, то, быть может, и Юрок на будущий год попробует туда же. Юрий ведь большой спец по этому делу. Ольга всё такая же, но годами в наших отношениях выработалось что-то очень близкое и родное. 30 лет тому назад пансион[13] нас

---

[7] Екатерина Владимировна Краснокутская-Ходнева, дальняя родственница О.А., и ее муж Алексей Дмитриевич Ходнев жили на большой даче под Москвой в Петровско-Разумовском.

[8] Алексей Иванович Рыков, (1881-1938). Советский политический деятель. После смерти Ленина он стал главой правительства СССР. В 1927 г. был председателем Совнаркома Российской федерации. В декабре 1930 г. был снят с должности, осужден за правый уклон вместе с Бухариным и Томским. Был расстрелян во время великих чисток.

[9] Невестки ухаживают за своей свекровью *(франц.)*.

[10] Комната заставлена, они живут в ней втроем, но все подаетса с изяществом, с роскошными скатертями и салфетками, и они остались типичными дворянками в стесненных обстоятельствах *(англ.)*.

[11] Ольга Владимировна Безобразова-Тизенгольдт, родственница. До революции она вместе с сестрой мужа, Софией Робертовной Тизенгольдт, заведовала подготовительной школой в Питере. Дети О.А. ходили туда. В 1927 г. О.В. жила в Москве, преподавала немецкий язык.

[12] Приемный сын Ольги Владимировны и Владимира Робертовича Тизенгольдтов.

[13] В 1897 г., после смерти мужа в 1896 г., О.А. поселилась в Петербурге с детьми. Младшие пошли в школу к Ольге Владимировне Тизенгольдт.

принял очень-очень тепло. Александра Алекс[еевна][14] в сотрудничестве с Ольг[ой] Вл[адимировной] выработала новый учебник немецк[ого] языка и, кажется, очень удачный. Это укрепит их финансы. Живут они так скромно, что всегда есть запас. За уроки Алека на подготовку тратят 40 р. в месяц. Grandiose par les temps qui courent[15]. У меня в Москве страшно болела поясница, почки, конечно, надо было меньше выходить. Воскресенье сидела дома. Марина готовила на кухне угощение — чудный пирог и сладкий с яблоками, была закуска — чай, сухарики, присланные Алиной, её специальность. Первая явилась Соня Сотникова[16], очень было курьезно соединить их со Всеволодом[17]. «Осколок шайки». 21 год спустя[18] бедный Всеволод ходит с трудом, совсем старичок с окостеневшей спиной. Чета Козловых[19] очень мила, опять оживились их надежды на выезд в Париж. Катя Б[улыгина][20] довольна службой в библиотеке, но вид у неё неважный — малокровный, бледна, но по-старому сыплет искрами юмора, анекдотами. Часто из прежней жизни. Понемножку просыпается и юмор настоящего, напряжение ослабевает, и курьезы феноменальных ошибок бьют в глаза. Из-под подавленности проснулась критика. <...>

26 марта/8 апреля

Досадно разъехались с Кофодиком[21], его ждали двумя днями позднее. Собственно, надо мне было ехать неделей позднее. У Мары идёт выпуск старшего

---

[14] Голохвастова.

[15] Огромная сумма в наши дни *(франц.)*.

[16] София Сергеевна Ильина-Сотникова, младшая сестра Иосифа Сергеевича Ильина, зятя О.А.

[17] Всеволод Георгиевич Мусин-Пушкин (1885-1939). Его бабушка, Елизавета Васильевна Мусина-Пушкина (в нее был влюблен И. А. Гончаров), один из прототипов Ольги Ильинской в романе «Обломов», сестра Александра Васильевича Толстого, отца О.А..

[18] Летом 1906 г. дети О.А., с двоюродными братьями и друзьями (всего их было 14), провели вместе несколько недель в Самайкине, в имении Воейковых. Катя, старшая дочь О.А., запечатлела это лето, составив альбом с рисунками, стихами, фотографиями. Этот «Самайкинский альбом» сохранился в архиве коллекционера в Ульяновске Сергея Львовича Сытина, который получил его от одного из членов так называемой «Самайкинской шайки», Валентина Ивановского. Следует иметь в виду, что в Среднем и Нижнем Поволжье слово «шайка» употреблялось и употребляется сейчас без негативного оттенка, который имеет это слово в литературном языке.

[19] Анна Евгеньевна Козлова и ее муж. Жили в Москве.

[20] Екатерина Александровна Булыгина, дальняя родственница Воейковых. До революции была начальницей женской гимназии на Васильевском острове в Петербурге.

[21] Андрей Андреевич Кофод (1878-1948), настоящее имя Карл Андреас Кофод, обрусевший датчанин. Провел 50 лет в России, работал со Столыпиным. В 1888-1890 гг. работал в Самаре при Дворянском банке, управляющим которого был муж О.А., Дмитрий Иванович Воейков. Был большим другом семьи Воейковых, которые его прозвали «old friend» (старый друг).

класса. Вчера зачёты, сегодня торжество — фестиваль, 42 ученика надо пристроить практикантами, а главное, учениц, от которых отмахиваются: 20 девиц! Задача не простая. В Москве уже, конечно, на колесах, а здесь я приехала последним санным путём и против больницы за домом Мертваго[22] мы легли на бок, сани, кучер Михаил и я на Мару в сугроб — так хохотали, что не могли выкарабкаться из застёгнутой полости. То же на Гончаровской[23] — уже колеса и камни, раскидывает. Снег, собравшийся по краям улицы, ужасный вид имеет. Я с приезда сижу, жду, когда немножко сбежит вода. Сегодня дивное солнце и весенний воздух, еще немножко, и всё будет чисто. Юрка ушёл в техникум на занятия, он не всегда к ним так снисходителен, вчера не пошёл . Ночью до 2-х часов он занят своим радио — стукает, передает по морзевской азбуке, что-то плавит, что-то вяжет проволокой, веревки и проволока ловят за ноги, передвигаться надо осторожно. Недавно Юрка хватил удар в 800 вольт, чуть было не прикончился на месте, без памяти лежал, а Мары не было дома. Сюда я добралась очень хорошо. Поезд уходит в 12.45 ночи. Павел меня посадил; вагон прямого сообщения, плацкарта была верхняя, но нижний пассажир немедленно уступил своё место и оказался очень милым собеседником, носил мне кипяток и весьма меня заботливо опекал. Нашлись и общие знакомые. Близость Татарской Республики с центром в Рузаевке весьма ощутительна. Горластые татары с бутылками водки в карманах нарушают и закон Магомета[24] и общественную тишину! Сейчас кончился татарский праздник, и они ехали в деревню на сев, настроение было повышенное. Итак, я в Симбирске на всё лето, когда моя спина пройдёт, начну странствовать. Мара как-будто успокоилась и стала лучше спать[25]. Я теперь занимаю маленькую её комнату, а её кровать стоит у самой двери, а дальше, за ширмой, Юрок. Мраморный умывальник стоит у меня, и одеваемся мы вместе, а в бывшей спальне Мары столовая и гостиная комбинированы с кабинетом. Чистая комната, где принимают и угощают домодельным вином. Торгуют этим вином на славу, самый популярный товар по городу. Вчера покупали по случаю Благовещения. Бедная Мара ушла в 9 часов. Сейчас уже два, а её всё ещё нет.

Целую вас всех крепко и желаю хорошо провести праздники Пасхи.

Мать

Симбирск, 15/2 апр[еля]

Я надеюсь, мои поздравления благополучно до тебя доплывут к 20-му[26], дорогая Катя, шлю тебе my heartiest good wishes[27] к юбилею твоего четвёртого десят-

---

[22] Александровская больница в Симбирске. За ней были расположены конюшни, заведующим которых был Борис Петрович Мертваго, муж Александры Александровны Толстой-Мертваго, сестры О.А.

[23] Главная улица Симбирска, бывшая Большая Саратовская.

[24] То есть Коран, запрещающий потребление спиртных напитков.

[25] После смерти мужа в январе 1927 г.

[26] 20-го апреля по старому стилю, 3-го мая по новому, у Екатерины Дмитриевны день рождения.

[27] Мои сердечные пожелания *(англ.)*.

ка. Будем с Марой в этот день тебя вспоминать. Когда-нибудь соединит же нас судьба! Желаю ещё до окончательной слепоты увидать тебя и девочек, а мои глаза плохи, и я собираюсь их здесь лечить у д[окто]ра Сурова[28], нашего светилы. Сижу здесь в плену у симбирской грязи. Чтобы выйти из дому, надо калоши и чулки забрызгать почти до колен, именно по Смоленскому спуску[29], точно ловушка, сажень 15 без тротуара, косогора, изрытого ручьями, вроде того, что около забора вашего дома. Залезать в эту кашу очень неприятно. Вот уже десять дней, что я жду более тёплых дней и солнечного света, а вижу больше тумана, дожди и снежную пургу. Весна замедляет ход, прошла Нева, прошла Москва-река, разлилась широко Свияга[30], а Волга безмолвствует под снежным покровом, но переправа уже опасна. Посылаю тебе карточку Марины, снятую здесь в феврале. Marina coiffée, parée et élégante[31]. Она была страшно возмущена своим изображением в группе, elle a rendu la vie dure au pauvre Vladimiroff et il s'est donne de la peine pour lui être agréable cette fois[32]. Два поворота головы, оба удачны, на другом скромно опущены глаза, — я посылаю en face, где лучше видны черты, хотя, конечно, по фотографиям трудно представить себе незнакомого человека. Марина добра и отзывчива, но интересы её не широки, современная жизнь течёт в узких рамках. В квартире она ладит со всеми разношерстными элементами, что совершенно не удаётся Павлику, у него всегда много конфликтов, ворчит на хозяйских собак и т.д. Марина обожает собак. Жизнь её, конечно, скучная. Павел целый день занят, вечером пишет и мешает ей принимать у себя. Комната небольшая. Платят они не больше 15 рублей за все освещение и отопление, а сбережений не остаётся. C'est le grand mal. Tout le monde vit sur la branche[33]. Мара, имея домик под зелёной крышей в Томышеве, пожалуй, самая обеспеченная. Хлопотала о пенсии Давыдовне[34], потребовали свидетельство о трудоспособности 73-летней старухи. Кажется, сын заработал ценой своей жизни эту ничтожную помощь, живется в деревне тяжело, и внуки тоже не могут прийти ей на помощь.

Посылаю тебе первое письмо Алины с отчётом о жизни вышки на Кавалергардской[35]. Нового квартиранта на мою комнату, уплаты портнихи за моё платье. Белое кавказское сукно, преобразившееся в чёрное, — очень удобный мундир вышел, a very comfortable every day dress for wear[36]. Дима там распла-

---

[28] Григорий Иванович Суров, известный симбирский офтальмолог.

[29] Спуск к Волге. Продолжение Смоленской улицы. Назывался так по стоящей там Смоленской церкви, расположенной в самом низу. Ныне: Рылеевский спуск.

[30] Приток Волги, впадающий в нее в Ульяновске.

[31] Марина, причесанная, нарядная и элегантная *(франц.)*

[32] Она очень извела бедного Владимирова, и в этот раз он постарался ей угодить *(франц.)*. Петр Алексеевич Владимиров — известный симбирский фотограф.

[33] Это главная беда. Все живут туго *(франц.)*.

[34] Мать Василия Андреевича Денисова, свекровь Мары. Она была птичницей у Воейковых.

[35] Воейковы жили в Ленинграде, Кавалергардская 2, кв. 23. Их квартира находилась на пятом этаже. Лифт в то время не работал.

[36] Очень удобное платье на каждый день *(англ.)*.

чивается, я в этом костюме ехала и заслужила большое одобрение в Москве. Здесь вывернула наизнанку своё заслуженное летнее пальто — спутник exodea[37] 12 июня[38]. Опять пойдёт за новое. Мой туалет на лето в порядке. Теперь надо воротник шубы как-нибудь сменить, на нём почти не остаётся меха. Мара шьёт усердно брюки Юрку, который так же усердно их прожигает кислотами. Его бесконечно длинные ноги недолго терпят новизны костюма, сразу крыша и антенна, искры, плавки и брызги всяких corrosiv'ов[39] дают всему вид поношенного. Каждую ночь до двух и даже почти до трёх Юрий работает на опытах со своими лампочками, проволоками, детекторами, стучит передача, — не знаю, слышит ли его свет, но он очень упорен в своей работе и уже мечтает о том дне, когда они с Алеком будут переговариваться по радио. Юрка слышит 48 станций и может ещё усилить свой круг слышимости.

16/3 апр[еля].

Вот и Вербная суббота подошла, а на дворе ещё так скверно, и с шубой немыслимо расстаться. На прошлой неделе было гораздо теплее, но движение рек нагнало холод. У Мары в школе продолжаются уроки. Слишком холодно, чтобы ребят держать на работах в саду. Надеюсь, ваши Пасхальные каникулы дадут всем отдохнуть. Здесь на Пасху только три дня. Сплю я здесь прекрасно, и даже Мара стала лучше спать, хотя и перешла в одну комнату с сыном и его аппаратами. Она говорит, совершенно как-будто засыпаешь на станции Коптевка[40] под шум телеграфа. Мара кладёт рядом с собой порошок veronal'a[41], но это время им не пользуется. Сегодня ночью у Юрка ещё был товарищ с 11 до 1 часу. Они ходили в чулках и шёпотом передавали друг другу свои наблюдения, пережгли пару лампочек и восхищались каким-то необыкновенным успехом наблюдений. Психоз довольно распространённый — в Самаре 6000 радиолюбителей. Здесь около 800. Юрий не довольствуется слышаньем, а добивается передачи.

Обнимаю, крепко целую тебя и девочек. Будем мысленно на вашем семейном торжестве. Господь с тобой.

Мать.

24/11 апреля

Христос Воскресе!

Пасха пришла у нас с ледоходными штормами, с холодом и дождями! Волга пошла вчера, и по очереди образуются заторы то в правом русле, то в левом около моста, тонкий силуэт которого немножко вправо от наших окон вырисовывается на серине горизонта. Я не могла быть у заутренней, ветер завывал,

---

[37] Бегство *(лат.)*

[38] Воейковы, опасаясь приближения красных войск, решили покинуть свое имение и 12 июня 1918 г. из Самайкина отправились в Самару.

[39] Разъедающих веществ *(англ.)*.

[40] Село на линии железной дороги недалеко от имения Толстых в Репьевке. Там был телеграф.

[41] Веронала. Успокоительное, снотворное.

хлестал холодными каплями дождя в темноте, потрясая гнилые рамы жилища Мары, звеня стёклами. Мы, конечно, в первый солнечный день выставили рамы, чтобы поставить цветы свободнее, а теперь и сами не рады, топим печку. Спасибо за письмо от 9 апреля, оно дошло 22-го. Крепко целую и Таточку за милую грамотку. <...>

Mara is gone to pay a visit on the other side of the town, from which I excused myself on the plea of bad weather and a pain in my back. We paid one visit to a rather nice old lady not far off and had a little shower on our way back. This evening we are invited to a german lady, Shoura must know her, Mrs. Shatte. She has a nice garden and takes great care of it. She speaks a funny jumble of Russian like our Mamsia. I mean to cultivate my German with her, a queer old soul, energetic, clever and eager to talk, when somebody understands both languages. I shall take advantage of her garden in the summer months, it is a little lower down towards the river. To-day the little excursion in the dark, and under a stormy wind will hardly be very comforting, so I am keeping up my strength by lying on my bed with a Tauschnitz volume. I say... could not you try to send us a journal of fashion? and later perhaps a book of something new... We are deep in the beginning of the century, nothing newer than 1909. <...> I am reading French and English by turns though my eyes are not up to much[42].

Всё ещё не попаду к доктору Сурову, он живёт далеко, а Страстной была как-то занята. Тут были службы и приготовления к празднику, покупки и готовка. Мара хотела сама со мной пойти к д[окто]ру, а ей не было минутки свободной.»Sie sind nicht zu beneiden»[43], говорила ей старуха Шатте, посидев у нас полчаса. Каждые пять минут скрипела дверь и являлся проситель. Одному надо выпросить лишний день отпуска домой. Сов[етские] школы получили только три дня, суб[боту], воскр[есенье] и понед[ельник], как тут уйдёшь за 25 верст пешком, да в грязь? Другому надо деньги вперёд, и так без конца! Лёва Мусин-Пушкин[44] и тот пришёл занять 13 рублей на штиблеты в счёт будущих

---

[42] Мара отправилась на тот конец города нанести визит, от которого я отказалась под предлогом плохой погоды и боли в спине. Мы навестили довольно милую старую даму, живущую недалеко отсюда, и попали под ливень на обратном пути. Сегодня вечером мы приглашены к немке, Шура ее, кажется, знает, г-же Шатте, у нее красивый сад, и она очень за ним ухаживает. Она говорит на странном смешанном русском языке, как наша Мамзя (бонна внука Юры в Самайкине до революции, швейцарского происхождения. — *В.Ж.*). Я собираюсь освежить с ней свой немецкий язык. Это странная старушка, энергичная, умная и словоохотливая, когда собеседник понимает оба языка. Я буду пользоваться ее садом в летние месяцы, он находится чуть ниже к реке. Сегодня наша маленькая экспедиция в темноте в бурю вряд ли будет приятной. Поэтому я берегу силы, лежа на диване с книгой издателя Tauschnitz. Кстати ... не могла бы ты попытаться прислать нам какой-нибудь журнал мод? А попозже, может быть, какую-нибудь новую книгу. Мы остались в самом начале века, у нас нет ничего новее 1909 г. <...> Я читаю попеременно то по-французски, то по-английски, хотя мои глаза мало на что годятся *(англ.)*.

[43] Вам не позавидуешь *(нем.)*

[44] Лев Михайлович Мусин-Пушкин, родственник Воейковых.

«largesses»[45] обоих дядей — Валентина[46] и Всевол[ода][47]. Вераша[48] уехала опять в Дворянское, муж[49] без места... Лёва тут в общежитии. Сегодня он был первый посетитель, привлечённый пасхальным столом. Главный приём завтра. Я получила письмо от Анны Алексеевны Жук[овской][50] от Вербн[ого] воскр[есенья], была у наших. Катюша с отцом была на Вербах и вернулась в восторге от всего купленного. She enjoys very thoroughly the infinitesimal pleasures of modern life[51]. Тарахтит по французски. С обеими «бабушками» полагается говорить по-французски. Может быть, Ан[на] Ал[ексеевна] переедет к ним временно, так как их квартира с большими комнатами ломается. Будут выделены три в отдельную квартирку. Я буду рада для Катюши, если баба Анна будет больше с ней, хотя, конечно, весь день она на службе и возвращается усталой. La vie est dure pour tous, il faut gagner son pain et Grisha est toujours a Irbit[52].

25/12 апреля

Вчера вечером была первая гроза. Не преминула ударить в антенну Юрка. Кстати, если ты увидишь что-нибудь интересное по радио, на французском языке журнал или брошюру, пришли этому неутомимому исследователю: у него целая сеть аппаратов его собственной конструкции. В «Illustr[ation]»[53] кое-что было, но это всё старо на два-три года, а радионаука поднимается как на дрожжах. Странно слушать разговоры этих мальчиков: все цифры, длина волны, сила тока, лампочки и пр. Юрий считается знатоком, имеет авторитетный тон, его слушают подобострастно. Его картавость сохраняется, скрытен он, как отец, но в общем по настоящему поколению утешительное исключение. Не успеет ввалиться, как уже «Мама! Мама!» раздаётся. Мара его ругает за медвежесть, он конфузится и старается сорвать шуткой, иногда остроумно. Домашние привычки сильны. Надо бы заняться его языками, кажется, мы открыли француженку, и я постараюсь, чтобы его лето не пропало. Зачёты техникума кончаются, две недели отдыха, и землемерная практика где-нибудь в деревне. Лёва тоже в том же землеустр[оительном] техн[икуме], но на два года отстал. Воспитание бедного мальчика между Всеволод[ом] и Верашей получилось отрывочное и бессистемное, его учили музыке и фр[анцузскому] языку, бросили, выучили алгебре, когда он арифметики не знает. Учебные заведения ежегодно менялись...

---

[45] Щедростей *(франц.)*.

[46] Валентин Владимирович Ивановский, друг детей О. А.

[47] См. прим. 17.

[48] Вера Владимировна Ивановская, сестра Валентина, мать Льва Михайловича.

[49] Второй муж Веры Владимировны, Андрей Петрович Солодов.

[50] См. прим. 4.

[51] Она полностью наслаждается маленькими удовольствиями современной жизни *(англ.)*.

[52] Жизнь для всех тяжела, надо зарабатывать на хлеб, а Гриша (брат Алины, сослан в 1924 г. на три года в Ирбит Свердловской области. — *В.Ж.*) все еще в Ирбите *(франц.)*.

[53] Французский журнал «Иллюстрация».

И вообще его голова какой-то винегрет, а в его наследственности есть эта струйка разочарованности — «всё надоело», погубившая старших[54].

Вторник, 26 апреля

Вот прошли и долгожданные праздники, дорогая Катя, и мы были без почты три дня, я жду с нетерпением весточки Алины, как-то они провели эти дни, хороша ли была погода... Сегодня мы, кажется, окончательно вступаем в период весны, после грозы воздух мягче, земля просохла, и Мара говорит, можно пройти в сад. Пока ещё не кончены обязательные пасхальные приветствия. Вчера весь день до 9 вечера a dribble of guests from three to four at a time, the eating, cups of tea lasted in succession for many hours, the conversation varied but little. I get a nearer view of the inner life, the queer new habits, the funny upstart growth of incompetent young administrators, perfectly ignorant chiefs over old and tried workers. What has changed? Those chiefs used to come out of high military ranks, they come now out of Abraham seed and heirs «according to the promise». The tangle of things is no better[55]. Мы делали ряд визитов с Марой, частью вместе. Это скучное занятие изучать сравнительное достоинство пасхи и кулича в разных домах. Очень приятно посидеть дома с книжкой. <...> Получила старое письмо Алины от 20-го, у Димы к празднику урезали 90 р. премии, а плата квартиры выросла до 93 руб. Вот и разбирайся. Жилец оказался не очень приятный. Экономии всего на три сажени. Алина шьёт за деньги бельё. Катюна счастлива в приобретении нового чижа, благополучно чирикающаго в клетке. Так и живётся здесь и там. Как-нибудь соберусь написать наши встречи и знакомства. Павлик и Марина уехали в Волоколамск на три дня праздника.

Обнимаю, крепко целую всех. Часто с Марой вспоминаем прошлое.

<...> Очень надеюсь ещё дожить до будущей встречи.

Мать.

Симбирск, 3 мая/20 апреля 1927

Итак, тебе сегодня 40 лет, дорогая Катя!

Мы с Марой тебя вспоминали с утра, когда она входит ко мне в комнату в 7 часов утра, то у вас уже половина третьего и вы, вероятно, обедаете... Прошла Пасхальная неделя, мы уже углубились в Фоминую, но праздник «трудящихся» опять оторвал всех от работы. 1-го мая праздновали с помпой. Знамё-

---

[54] Трое Мусиных-Пушкиных страдали наследственным недугом и в разное время покончили жизнь самоубийством. Это прадед Льва Михайловича Александр Илларионович, дед Георгий Александрович и двоюродный дед Семен Александрович.

[55] Вереница гостей, от 3-х до 4-х одновременно, еда, чаепитие чередовались, продолжаясь часами, разговор лишь слегка менялся. Я ближе познакомилась с внутренней жизнью, с диковинными новыми обычаями, со странным продвижением молодых некомпетентных администраторов, абсолютно невежественных начальников, командующих старыми опытными работниками... Что изменилось? Такие начальники раньше принадлежали высшим военным чинам, сейчас это отпрыски Авраамова племени и его наследников «согласно обещанию». Положение вещей не лучше *(англ.)*.

на, речи, оркестры, шествия, особенно демонстрации школ. Ученики Мары выступали колонной, в красных галстуках, но не успели достигнуть площади, как молниеносно испарились, оставив двух несчастных знаменосцев и своего воспитателя. Погода стояла идеальная, даже слишком жаркая, публики собралось много, так ласково синело весеннее небо, так ярко светило солнце, что невольно тянуло на улицу. Юрка был самый счастливый, его парад был на воде, и он взял первый приз на 1000 метров против течения вверх, вокруг бака и обратно. Воображаю, как он хорош в одних трусиках с его бесконечными ногами. Когда-нибудь надо пойти на него посмотреть sur l'arène de ses triomphes[56] в яхт-клубе, где скоро он будет пропадать и день и ночь. 1-го мая он ушёл в 11 утра, вернулся в час ночи!

У Юрия было ещё очень значительное пиршество на этих днях. Его радиопередача была принята в Томске за 2100 верст! Он получил оттуда открытку английским кодом — радио, его поклонники с энтузиазмом разделяли его успехи. Вчера 2-го мая было объявлено днём отдыха к великому огорчению садоводов. Земля сохнет, ветра дуют, запоздавшая весна, начавши с грозы вечером на Пасху, сразу переступила порог лета. Дети катали яйца на асфальте тротуаров в летних платьях без рукавов. Странно даже при такой жаре видеть голые ветки деревьев, почка лопается, чуть зеленея, появились фиалки, но я как-то не соберусь в сад. Когда пройдёшь по какому-нибудь делу в город, мои колени дрожат и уже не тянет к косогорам и уступам сада, где нет прямой дорожки. Когда-то, когда здесь была колония малолетних преступн[иков], были выравнены дорожки лентой по всему склону версты на две, но от этой культуры прошлого не осталось и следа. Когда появляются арендаторы урожая, то глубокими колеями протаптывается единственный спуск и травы обмазываются дёгтем. Я готовлю харбинскую бумазейную серую юбку для прогулок по саду.<...> Мы познакомились с хозяйкой лучшего сада симбирского склона, как немка, она, конечно, возгорела живейшей симпатией ко мне, уверяет, что я похожа на немку. Я этим воспользуюсь, чтобы посещать ее сад в жаркие летние дни, оттуда ещё ближе к Волге. Будущее воскресенье, я надеюсь, сады зацветут и мы пойдём с Марой смотреть сад Шатте. Из здешних знакомых всего приятнее мне видеть сестру Мих[аила] Петр[овича] [фон] Бр[адке], она любит вспоминать тётю Сашу[57]. Знала близко всех тогдашнего общества. Очень много читает, интересуется новыми течениями, изучает теории, которые так хороши на бумаге и так печальны в своих результатах, главным образом, в этом неудержимом росте преступности среди молодёжи, в полном несоответствии идеалов с действительностью. Сейчас идёт процесс, ярко иллюстрирующий всю несостоятельность воспитания без нравственных устоев, — 120 призреваемых бывшего приюта обратились в таких хулиганов, что в случайном обыске в их сундуках нашли 76 отмычек. Этим бандитам от 15 до 20 лет, говорят, даже до 26 лет, а их директор и его помощники обвиняются в применении кнута в двух

[56] На поле его побед *(франц.)*.

[57] Александра Александровна Толстая-Мертваго (1858-1918), старшая сестра Ольги Александровны. Она была убита солдатами Красной армии в своем имении Репьевка вместе с дочерью Екатериной.

случаях — особенных нарушений всяких правил. Весь город страшно захвачен этим процессом, который кончается сегодня или завтра. В следующем письме я тебе сообщу конец. Конечно, можно плакать над искалеченной молодёжью, продукт опытов in anima vili[58], но понимаешь и раздражённое отчаяние преподавателей. Обвинения в жестокости оказались сильно преувеличены. Курьезно всё дело. Все твои письма от 1/14 апреля и рисунки Таточки дошли, большое спасибо. Гуля делает успехи. Надеюсь, и мои отсюда благополучно доплыли от 8-го, 16-го и 27-го апреля?

Посылаю тебе первый лист письма Алины, где она так хорошо описывает Вербы Катюна. Жалуются на жильца-врача, оказавшегося неопрятным. Казалось бы, его профессия — некоторая гарантия чистоты, но русский дух не поддаётся освещению!

3 мая. Вторник

Жду сегодня с нетерпением почты, которой мы лишились с субботы благодаря праздникам 1 и 2 мая. Соф[ия] Кир[илловна Елачич][59] жалуется в письме от 27, что не получила ничего от Сер[гея] Ал[ександровича Елачича][60]. Что это он так редко пишет. Ещё мои письма тоже приходили по-одиночкам, — сутолока праздничных приготовлений помешала всем писать. Марина пишет из Волоколамска. Там она жила раньше и там похоронила своих двух детей. Поехала на праздники там отдохнуть с Павлом, но, кажется, воспоминания нагнали большую грусть. Письмо её невесёлое. Paul is also a little depressing[61]. Получила ли ты фотографию Марины, которую я послала в последнем письме. Я всё собираюсь заказать их ещё три штуки и не наберу 2-х рублей. Мои банки обанкротились. Дима выплачивает за апрель-май мой счёт у портнихи Екат[ерины] Алекс. за чёрный костюм, в котором я щеголяю. Ваня молчит, а Павел потратил деньги на дачу. Взяли комнату в Серебряном Бору, хорошо ещё, что мои нужды ограничиваются моими большими расходами на марки. За апрель спустила 44 письма, считая около 15 открыток во время пути. Милая Мамзя[62] пишет с ошибкой в каждом слове, что должна отказаться от своих мечтаний приехать повидать нас с Марой. Осталось всего три урока, и еле хватает на жизнь. Маша Егорычева[63] пишет, что глаза плохи, трудно работать, а это большое несчастье при заработке шитьём ... Её бы надо устроить по хозяйству в приют, но всюду теперь такая сложная отчётность, что ей не справиться. Мы теперь с ума сошли на контроле, и чем больше контролируют, тем больше растрат. C'est un cercle vicieux[64]. Отчёты возятся пудами, а честность не развивают и на граммы. Был в газетах юмористический рассказ, как суд потребовал, для проверки счёта в 14 р. какого-то сто-

[58] В грязной душе *(лат.)*.

[59] Близкий друг О.А. София Кирилловна жила в Ленинграде.

[60] Ее сын, живший в Харбине.

[61] Павел тоже немножко удручает *(англ.)*.

[62] См. прим. 43.

[63] Егорыч был кучером Воейковых в Самайкине. Маша, может быть, его жена.

[64] Это заколдованный круг *(франц.)*.

рожа, всю отчётность какого-то треста. Громадный грузовик, еле поместили все конторские книги, а сверху села уборщица. Судья в это время сменился, и книги поехали обратно, как приехали. Сегодня дует ветер, и Волга темнеет, но дождя нет. Юрка стучит рядом, забивая кусок стекла в разбитое окно, а Мара по делам в городе, и её ждали обедать. Надина[65] уже являлась справляться, ей нужны деньги на хлеб, а денег я ей не могу дать. Я надеюсь, к вечеру ветер утихнет и тогда я пойду в город с Марой, после 5 часов ей надо на заседание Губоно[66] к 6 часам. У меня немного планов, охотнее сижу у себя в комнате, кончаю третью книжку из библиотеки за время праздников, завтра можно сменить.

Обнимаю, целую вас всех крепко.<...>

Мать

13 мая/30 апреля 1927 г.

Я только что успела написать сверху число, дорогая Катя, как почта принесла твои строчки от Пасх[альной] ночи и среды с письмами детей. Всех обнимаю и целую крепко. Надюше[67] и мои грамотки доплыли из Ульян[овска]. We rather distrust the post[68]. Писала 8, 16, 27 апреля, 3 мая. Моя переписка здесь пухнет, столько милых, трогательных отзвуков из Петрограда! Даже В[ера] Вл[адимировна] Пушк[арева][69] отозвалась после праздника. Бедная старушка всё себя плохо чувствует, а весна этого года исключительно запоздалая, холодная и капризная — сыро, говорят, всю Святую чередовались дожди со снегом. Даже Малеванова[70] писала : «Nous arriverons ainsi bientôt au traonage»[71]. Но 1 мая прояснило, и гулянье удалось. Мы очень заняты Китаем[72], Чемберленом[73], Чансапином[74] et tutti quanti[75]. C'est a ne plus ouvrir une gazette[76]. На счастье открылась в Женеве конференция[77], поглотившая наши передовицы... Pas flatteur

---

[65] Кухарка.

[66] Губернский отдел народного образования.

[67] Надежда Михайловна Теренина, крестница О. А., жившая в Харбине.

[68] Мы не очень доверяем почте *(англ.)*.

[69] Знакомая из Ленинграда.

[70] Ольга Владимировна Краснокутская-Малеванова, жившая в Ленинграде.

[71] Таким образом мы скоро вернемся к санному пути *(франц.)*.

[72] В Китае шли боевые действия между национально-освободительным движением Гоминьдан и правительственными войсками.

[73] Остин Чемберлен (1863-1937). В 1924-29 гг. министр иностранных дел Великобритании. В 1927 г. был одним из инициаторов разрыва дипломатических и торговых отношений с СССР. В стране в связи с этим возникло движение под девизом «Наш ответ Чемберлену», шел сбор средств на оборону страны.

[74] Чан Сяопин, китайский политический деятель.

[75] И прочие *(итал.)*.

[76] Даже не хочется открывать газету *(франц.)*.

[77] Весной 1927 г. в Женеве проходила конференция трех держав (США, Англии и Японии) по вопросам морского разоружения.

les réflexions sur notre honnkteté, pas décoratif les noms de ces repråsentants du sol[78]. Наконец, Иванёк отозвался: 15 р. и короткая записка, жалуется на гонку по составлению планов. On ne fait que ça[79]. Стараются шире охватить будущее, а работа настоящего хромает на все четыре ноги. Ивашка думает скоро менять свою службу. Я была бы рада за него. Наташа молчит. Впрочем за Пасху все невестки замолкли, у всех свои домашние заботы, приёмы, визиты и еда. У нас была такая чудная летняя погода 1 и 2 мая, а с тех пор точно заколодило. Ураганный ветер и холод. Мало дождя, но много пыли, были дни, напоминающие ваши бураны пустыни Гоби. Ледяной ветер даже не согревался ярким солнцем, синее небо особенно сине, точно в августе. Всё виноваты пятна на солнце. Ces taches ont bon dos. Toutes les maladies atmosphåriques, humaines et politiques leur sont attribuées. Nous vivons sous leur influence[80]. Я не очень довольна Марою, она очень похудела, покашливает и устаёт. Хорошо было бы ей согреться теплом... Все зеленеет сегодня, в первый раз услыхала кукушку, и третьего дня в кустах в саду соловей пробовал свои трели. Иногда выдаётся хорошее утро, так, воскресенье 8 мая (25 апреля) я ходила пешком в собор[81] к обедне. Архиер[ей] на следующее утро уезжал в Москву, так что на время не будет арх[иерейского] служения, поют недурно, а главное, красивый просторный храм, довольно наполненный. В старые года, вероятно, было теснее, но нельзя сказать, чтобы и сейчас пусто было. После обедни я прошла на Венец и просидела там 45 минут с большим наслаждением. Так красиво группировались серые тучки на горизонте, так широко разлилась вода, захватив луга и острова. Только по этому морю воды узкой ленточкой вьётся жел[езная] дорога к мосту. Было тихо, сыро и нехолодно. Мне было почти жарко в моём костюме (ex[82] белое платье), а к вечеру разразилась буря с мелким дождём и опять холод. Вчера мы ходили в баню с Марою. Это большое предприятие, вымыть волосы почти невозможно, целый день проходит потом в борьбе с дурным влиянием жесткой воды. Я прибегаю к oil vaseline[83], которую мне дают для внутреннего употребления, и мечтаю, когда будет тепло, вымыть голову дома с яйцом по системе милой Ядвиги Карловны Боде. Мара очень занята, часто всё утро проводит в саду на посадках, мирит возникающие конфликты учеников и преподавателей. Только её решение принимается как закон. За эти года, у Мары целая сеть учеников набралась из школ: томышевск[ой], фабричной, троицкой, и уже третий выпуск здесь, есть и студенты, одна певица в Моск[овской] консерв[атории]. Практикантов она разослала в Оренбургск[ую], Казанск[ую], Пензенск[ую] губ[ернии], но, конечно, для садовых работников отсутствие са-

---

[78] Замечания по поводу нашей честности не делают нам чести, имена представителей нашей земли не красят общую картину *(франц.)*.

[79] Только этим и занимаются *(франц.)*.

[80] В чем только не виноваты эти пятна. Им приписываются все атмосферные, человеческие и политические болезни. Мы живем под их влиянием *(франц.)*.

[81] Святотроицкий собор, находившийся на Соборной площади в центре города.

[82] Бывшее *(лат.)*.

[83] Вазелиновое масло *(англ.)*

дов довольно гибельно! Сейчас готовится кампания переработки плодов, закупают дрова для варки варенья и сушки овощей. В прошлом году удачно начали это производство и всё распродали. Теперь все девочки будут обучаться применению ягод, и овощей, и плодов в хозяйстве. Делают большой заказ в Томышеве на черн[ую] смородину, для вина несколько сот пудов. У Мары есть там друг Мих[аил] Афанасьевич, который всё собирается сюда приехать повидать губернских эскулапов. Давыдовна[84] получила 22 р. пенсии, что вполне её обеспечивает и Мару освобождает от забот о её содержании. Юрий, получив радиосвязь с Томском, возмечтал на будущий год туда поступить в радиовуз, тогда и Мара потащится за ним. Это будет жаль, путешествие дорогое, и едва ли мы их увидим скоро. Здесь они очень удобно пристроились, доступно для всех. Дима думает своим месяцем отпуска воспользоваться для большого путешествия по Волге и на Кавказ. Посылаю тебе мою последнюю питерскую весточку от матери Алины, она служит теперь в Публичн[ой] библ[иотеке], поэтому она их с Катюшей вытащила на выст[авку] прошлого Петербурга, очень, конечно, интересную. Катюша всех поражает чистотой своего французского языка. Она так свободно заболтала, точно все чтение этих двух зим сфотографировалось в её мозгу неизгладимо. У меня здесь такое чувство, как, бывало, в деревне около 4-х часов. Начинаешь прислушиваться к скрипу двери, не идёт ли почтальон. Сначала он оставлял всю почту в канцелярии, а глухой конторщик запрёт дверь и уйдёт, когда часы занятий кончились, и почту бросали в щель. Я возмутилась, и теперь всю почту несут к нам наверх. Мы выписали отдельно для себя «Известия», а школа получает «Правду» и местн[ую] газету и ещё кое-что хозяйств[енное], парт[ийное] и пр. Так что чтения достаточно. Три раза в неделю можно ходить менять англ[ийские] и франц[узские] книги в Дворце книг[и][85].

Целую тебя и детей, дорогая. Буду сейчас писать Таточке.

Мать.

Пятница, 7/20 мая

Дорогая Катя,

Твои строчки от 20 апреля — 3 мая дошли сегодня. Большое спасибо Таточке за стишок, который сохраню Катюну на Рождество. Мысленно посылали ей вчера наши поздравления! Мара сохранила много воспоминаний нашей последней совместной зимы. <...> Десять лет пролетели, правда, немножко кувырком, но когда посмотришь на других, то можно только Бога благодарить. Особенно сердце болит за эту массу «пропавших без вести», за эту упорную веру матерей, всё ещё ожидающих возвращение потерянных. Как Вера Ник[олаевна] Пр[отопопова] не хотела верить, чтобы Серёжа её умер на пути, или Козловы, потерявшие двоих в Сибири. Столько семейств разбросано, вот и сейчас от меня ушла одна немка из Риги по фамилии Шатте, у неё дочь в Харбине. Зовут её Ирма Александровна Новикова. Муж, бывший военный, кажется, от неё уехал. Мать очень просит, не можешь ли ты узнать, в каких ус-

[84] См. прим. 35.

[85] Дворец книги, т.е. публичная библиотека в Ульяновске, преемник Симбирской Карамзинской библиотеки, находился в здании Дворянского собрания.

ловиях она живёт? Её зовут сюда и ей дадут средства на возвращение, а она почему-то льнёт к Харбину. Гораздо было бы проще и здесь при матери сидеть. Я тебе пришлю её адрес, а ты напишешь ей открытку, пусть придёт к тебе. У них здесь свой дом, свой сад и прелестное место над Волгой. На днях тоже встретила Веру Астеевну, худа, черна, болеет малярией. Две дочери при ней, а младшая, слабенькая, послана к деду в Сызрань. Где этот беспутный муж, увезший все документы на владение усадьбы? Их сад отделён забором от школьных, и есть какие-то общие заботы об изгороди. Кражи здесь феноменальны, со двора среди бела дня у школьника выкрали на 72 р. платья. В саду вытащили вновь 6 посаженных яблонь. Это уже любители. Они дождались, чтобы ученики подрезали корни и посадили деревцо по всем правилам, и потом так же его выкопали и перенесли на свой участок, не так глупо! Мара приводит всю свою усадьбу в очень культурный вид.

Суббота, 8/21 мая 1927 г.

Вот именины нашего Ванятки. Он вероятно о них забыл. Жалуется, что живет в кутерьме, но ждет изменения судьбы к лучшему. Дай-то Бог! Нашему дорогому профессору[86] было бы сегодня 85 лет. Вы еще доживете до столетнего юбилея со дня его рождения. Не знаю, как мне удастся переслать тебе листочек о заседании метеор[ологического] комитета прошлого года. Пойду поговорить на почте об этом. Мне не хотелось бы, чтобы эти бандероли пропали. Живем мы с Марой очень монотонно, но очень уютно. Ворчим понемножку на ветры. Жалуемся на запоздание весны. Комические элементы вносит наша прислуга Надя, порывисто-грубоватая. Very outspoken[87]. Горячо преданная, но ругающаяся с Марой. Она была когда-то замужем, разошлась с мужем, а теперь dans une farouche virginité[88]. Не допускает никаких вольностей. Понемножку из деревенщины преображается в барышню, носит элегантные туфли, костюм с длинным жакетом и, видимо, мечтает о шляпке. Ходит в школу в 5 ч. вечера после обеда. Начинает разбирать крупную печать, но еще пишет иероглифами.<...> Надя особенно подкупает чистотой. Два раза в неделю она моет полы и с ожесточением скоблит все места, где краска слезла. Ее стол блестит. Она ухитряется готовить так, что никогда ничего на кухне не лежит. Здесь только русская печка и вся еда всегда закрыта в ее обширных недрах. Сегодня звонили к обедне по случаю Иоанна Богослова и меня очень подмывало пойти, но я не хотела стеснять Надю, которая в 8 с половиной отправлялась на базар, а Мара в 8 ч[асов] на урок. Утром часто звонит телефон, и неудобно оставлять пустую квартиру. В 2 часа обед, если Надина не опоздает с полами и пр. Георгий на практике, но до сих пор he unexpectedly turns up to sleep at home and at 5 o'clock we must rouse him, for his long tramp to Kindiakovka[89]. По вечерам мы слушаем концерты радио. Нас теперь одолел Стамбул. Необыкновенно

---

[86] Александру Ивановичу Воейкову, климатологу.

[87] Весьма прямолинейная *(англ.)*.

[88] Впавшая в воинствующее целомудрие *(франц.)*.

[89] Он неожиданно приходит домой и ложится спать, а мы должны его будить в 5 часов для его дальней дороги пешком в Киндяковку *(англ.)*.

сильная станция, часто с завывающей турецкой музыкой. Вчера, впрочем, давали симфонию Чайковского, необыкновенно ясно слышно conférencier[90] и его объяснения. Mr Popoff. Какой-то знаменитый скрипач у них в Константинополе играет «La danse des fées»[91]. Необыкновенно легкая пастораль.

8/21 мая

В Москве иногда попадаешь на хороший симфонический концерт. Вчера слушали второй акт «Кармен», самый неинтересный. Юрка получил вторую открытку из Омска о его «слышимости», и торжествует. Вешает эти сообщения на стенку, как украшение своего радиоугла. Его самодельный аппарат работает весьма удачно. Из писем со стороны у меня почти ничего нет интересного за это время. После Пасхи все замолкли. Даже Мика[92] ещё не написала ко вчерашнему дню.<...> Бедная Мика очень бедствует и мне жаловалась в открытке, что марка составляет значительный расход в бюджете. Она не позволяет послать ей марку,<...> а это было бы так проще. За моё пребывание здесь я написала около 70 писем и боюсь, что почта обратит внимание на такую безмерно обильную корреспонденцию. Имея свободное утро, ежедневно пишешь по одному письму, а то и два... Мои корреспондентки старенькие и ценят ласку. <...> Мы завтра проектировали einen Ausflug[93] в Покр[овский] монастырь отслужить панихиду по двум Александрам. Сегодня память дядюшки[94], а вчера дедушки[95]. Надо и Бориса Петровича[96] вспомнить. Я не могла никуда попасть на Родительскую. Буря была страшная. Из монастыря близко зайти к Калиновским, которые что-то не дают признаков жизни. Старший мальчик Шура умирает чахоткой — бич наших дней. Как не совершенствуется медицина, а болезнь её обгоняет. Не знаю, как удастся Мару вытащить с утра. Воскресенье занято чуть ли не больше будней. Все городские являются.<...>

Обнимаю, горячо целую.

Мать

Мара целует, занялась счетами. Всегда занятие скучное. Черёмуха облетает, появились ландыши — прогресс.

29 мая

Давно собираюсь тебе послать, дорогой Шура, эти листочки. Бандеролью их не приняли, и я не совсем уверена, сойдут ли они заказным письмом, но попробую завтра сдать. Я уверена, что ты прочтешь с удовольствием теплые воспоминания о милом ученом, который так всех вас любил! Пишу сегодня и Наде, после

---

[90] Докладчика *(франц.)*.

[91] Танец фей (франц.).

[92] Марья Николаевна Игнатьева, дочь Николая Павловича Игнатьева, министра внутренних дел в 1881-1882 гг.

[93] Поход *(нем.)*.

[94] См. прим. 87.

[95] Александра Васильевича Толстого.

[96] См. прим. 22.

первого своего письма она замолкла, и я не знаю, как идут дела Алека. Только Соф[ия] Кир[илловна][97] мне сообщает, что она имеет ему передать еще 30 руб[лей] по твоему соглашению с Сер[геем] Алек[сандровичем][98]. Последний, видимо, жаловался на невыгодность сделки! Соф[ия] Кир[илловна] чувствует себя виноватой, а вместе с тем, пересылка почтой абсолютно недоступна. Как твои работы со свеклой? Судя по письму Кати, весна очень холодная и дождливая у вас. Наша весна поделилась на периоды: было холодно от 3-го мая до 22-го с двумя перерывами, когда теплело и шел небольшой дождь, и сразу стало жарко после Николина дня. Очень желателен дождь, но днями нас покрывает мгла и дым от горящих лесов. Яблони цветут десятый день, цветут неровно в садах ниже нас, забили тревогу, показалась медянка, залетела моль и большой недостаток средств борьбы. Почти нет французской зелени.

30 мая. Понедельник

Вчера мы были у старухи Шатте, она с свойственной ей энергией опрыскивает с 3-х часов утра мышьяком с известью своих врагов и жалуется, что в кольце небрежных садоводов ее сад всегда подвергается опасности. Она выписала целый транспорт груш от Мичурина. Заказ на 100 р. растянулся на три года за неимением материала!! Склон горы и вид на Волгу очаровательно хороши, но трудно эту площадь с ее крутизной обрабатывать. Мара сейчас заволновалась, нет ли медянки в школьном саду? Но Григорий Васильевич[99] утверждает, что нет. Суданка, купленная в сельтресте, абсолютно не взошла. Овес и вика очень хороши. Мара еще хочет пустить трактор и закатать пустопорожние места просом. Почти все бурьяны извела, только бы не было большой засухи. Здесь такая высокая местность, что даже излишки дождя, как в прошлом году, ей на пользу. После этих продолжительных холодов все особенно зелено и наши улицы Смоленская, Шатальная, Мартынова, благоухают от цветущих садов, углубляющихся в их недра, соловьи заливаются, кукушка кукует, и бездна всяких птичек трещит на все лады. Это все деятельные помощники всяких отравителей, но им, пожалуй, мышьяковая поливка не очень полезна.

Юрка ездил вчера на шлюпке до Соловков, 17 верст вверх. Это была большая прогулка, где участвовал перевоз и яхт-клуб. Наши молодцы в шлюпках плыли вверх с 10 вечера до 5 утра. Праздник на воде не устроили, место оказалось слишком закрыто. Публика, кажется, на лоне природы скучала, хотя день простоял дивный, по отечественному обычно обращались за утешением к водке. Перевоз, работавший весь день у Симбирска, пришел за гуляющими только в 10 часов вечера. С таким азартом на него ринулись, что сталкивали друг друга со сходней. Юрке пришлось купнуться в береговой тине, чтобы выловить пьяного буфетчика. Так он, мокрый, ехал домой, вернулся в час ночи. Плыть по течению было одно удовольствие после тяжелого подъема. Сегодня он не попадает на работу. Землемерная практика в стороне Киндяковки. Вчера был

---

[97] См. прим. 60.

[98] См. прим. 61.

[99] Г.В. Черобаев, извествый садовод, был в 1927 г. заведующим фермой при школе садоводства в Ульяновске.

разговор о питомнике в Самайкине. По словам Иосифа Ивановича Радцига[100] ему угрожает опасность от уездного земского управления, слишком узко утилитарно ставящего вопрос его цели. Надо попытаться обратить часть его в заповедник. Расширение площади до 70 десятин даст достаточно простора для всяких плодовых питомников. Иосиф Иванович собирается уходить, так как не ладит с новым начальником.<...>

Мара и я целуем. Будьте все здоровы.

Жизнь Мары очень напоминает хуторскую[101] с постоянной трепкой бесконечных посетителей. С чем только не занимается! На днях какой-то тип искал руководства по виноградарству и виноделию, припер сюда! Когда скрипит лестница на кухню под чьими-нибудь грузными шагами, чувствуешь маленькое беспокойство внутри. Как-то сидел гость, а Мару от одной чашки чая оторвали четыре раза!

Обнимаю

Мать

30/17 мая

Дорогая Катя,

<...> Со времени моего последнего письма тебе 21-го, у нас установилась наконец летняя погода. Я стала попадать в сад и наслаждаюсь цветущими яблонями, грушами и вишнями. Сказочно красивый этот склон в весеннем наряде, небо и Волга в пастельных лёгких тонах — серо-голубого, лиловатого и синяя полоса горизонта. Вчера мы сидели с Марой у старухи Шатте, там ближе Волга, но пристани дают иногда струйку мазутного дыма, который до нас не доносится. Очаровательно хорошо под душистой яблоней на зелёной травке посидеть с книгой, а внизу шумит пароход, плавно заворачивая к пристани. На мосту долго грохочет поезд, медленно переползая на пути к Уфе, и кажется, что этот шум совсем рядом, а в кустах соловей перекликается, и кукушка близко кукует. Звонят колокола, приветствуют при встрече Жадовской иконы Божьей матери. Воздух полон звуков. Столько птиц поёт, цикады заверещали. У нас ничего нового. Были на кладбище Покр[овского монастыря]. Мы нашли могилу дяди Бориса и отслужили панихиду. <...> Шли пешком до дому, было довольно жарко, и у Г[остиного] Д[вора] остановились отдохнуть и съели по порции мороженого по 15 копеек. Это большое освежение далёкого пути. Юрий ездил вчера с яхт-клубом до бывш[его] Солов[ецкого] монаст[ыря] 17 верст вверх по Волге. Шли на шлюпках от 10 вечера до 5 утра, а утром перевоз, привёз до 1000 гуляющих. Ссадил их на берег и пришёл опять за ними только в 10 ч[асов] вечера. Они успели так заскучать на лоне природы, что ринулись на мостки, чуть не передавив друг друга. Кое-кто упал в воду и Юрий спасал утопавших, to the detriment of his new trousers, blue sweater and shoes[102], попал в тину, плыл назад весь мокрый. Дома был в час ночи. Твоё письмо от 10-го мая получила 25-го, как-то дойдут мои два пакета тебе и Шуре, отправляю

---

[100] Бывшего директора Воейковского самайкинского питомника до революции 1917 г.

[101] Имеется в виду Мантуровский хутор, на котором жила и работала Мара до 1917 г.

[102] В ущерб его новым брюкам, синему свитеру и ботинкам *(англ.)*

переписанную часть «Метеор[ологического] Вестн[ика]» от 12 апр[еля] 1926 г. и касающуюся дяди. Писала тебе 3, 14, 21.<...>

Целую вас всех крепко. Мара целует. Юрка возится на крыше с новой антенной.

Обнимаю.

Мать

3 июня/ 21 мая 1927

Дорогая Елизавета Сергеевна,

Давно собираюсь написать Вам с берегов родной Волги, но при всём моём безделии дни как-то уплывают! Вот уже два месяца, что я здесь шаг за шагом пережила все превращения зимы в лето, от последнего санного пути вывалилась с санями в сугроб около гос[ударственной] конюшни по пути со станции, и до очарования полного расцвета садов, ослепительной белизны груши, более мягких, розоватых тонов раскидистой яблони и нежной лёгкости кустов вишни, которая в школьном саду густыми зарослями одичала. Этот сад за последние десять дней превратился в сказочный уголок над Волгой. Николин день точно принёс нам настоящую весну, и после трёх недель ураганных порывов леденящего ветра вдруг всё дружно расцвело и заблагоухало, на наших столах встретилась сирень, ландыш и незабудка, даже по улице несётся аромат яблони, сидеть под душистым деревом над самой Волгой в полном разливе, следить за движением плавно заворачивающего к пристани парохода одно наслаждение. Весна раскаялась как будто в своей жестокости и подарила нам несколько дивных дней. Увы! Бедным садовладельцам не до красот природы, они забили тревогу по поводу вредителей, медянки, моли, и пр. Заволновались о всяких опрыскивателях. Бедные яблони получили целый душ всяких гипсинов мышьяка и париж[ской] зелени (последнюю трудно достать), и не все соседи вовремя займутся борьбой с врагами садоводов, сводя на нет труды более усердных... Симбирск такой же заспанный, пустой, хотя есть признаки оживления построек. В виде новых побед культуры радиогромкоговоритель у бывшего Двор[янского] дома надрывающимся голосом кричит политические новости Москвы, иногда анекдоты, над которыми сам смеётся замогильным голосом. Иногда музыка, «народная» музыка собирает десяток зевак, но обыкновенно очень мало слушателей, хотя в праздники много гуляющих на Венце. Волга всё-таки остаётся главной притягательной точкой Симбирска. Эти дни Жадовская икона Божьей матери собрала наплыв окрестных сельчан. Её носили по базару перед Вознесением, а потом все духовенство перессорилось насчёт первенства в принятии иконы! Здесь два враждующих лагеря не только между старой и обновленческой церковью, но ещё и между архиереями двух старых церквей. В соборе Виссарион, местный мордвин, сидит там точно в крепости, и все остальные священники против него; другой архиерей на покое, Александр, в Ильинской церкви возглавляет враждующую державу, у него больше сторонников, а в соборе больш[ого] Вознесения епископ Иоанн, живой церкви, привлекает хорошим хором и новизной, очень мало заметной, в службе. Les pères de l'Eglise font plus pour détruire la foi que tous ceux qui

l'attaquent[103]. Обидно и больно, что всё сводится к пустым денежным счетам. В больших столицах лучше в этом отношении. Наш Питер стал очень богомолен, церкви полны, есть хорошие проповедники. Pendant que je médis du clergé le vent est venu se mêler de l'affaire et je finis ma page par une tache d'encre, dont je m'excuse. Nous commençons déja a aspirer a la pluie, toujours le cas avec nos printemps. Toujours du vent[104]. Мне Муся писала о пропавшей корове, и я сердечно почувствовала, дорогая, как это могло случиться. Дерзкие кражи и здесь возмутительны, новейшие, культурные условия жизни, о которых мы так много кричим, расплодили такую нужду, что скоро и грабителям не у кого будет грабить. Вчера на Смоленском спуске меня обогнала кучка людей с парохода, таких оборванных, в таких дырявых пиджаках, что с болью в сердце думаешь: и это наши волгари! Наш богатый прибрежный народ! Тут отчасти играет роль полное отсутствие мануфактуры — сукно по 40 и 50 р. метр. В магазин, где продаётся ситец и коленкор, не попадёшь. Покупатель теснится по 4 ряда у прилавка. Стоит гул голосов, воздух пропитан запахом человека, и с раннего утра, ещё до открытия магазина, очередь на улице тянется за угол! А в лавках пусто по части товара и выбора уже абсолютно нет, бери, что дают. Мы все спасаем души китайцев, а бренное русское тело не одеваем. Это пустяки. Дело идёт к лету, насущная потребность в платье проходит! <...>

У моей дочери Мары один сын, Юрий, кончает на будущий год землеустроит[ельный] техникум. Придётся искать для него электр[о]техн[ическое] высш[ее] уч[ебное] зав[едение], и едва ли мать тогда здесь останется одна. Муж умер в январе, забота о сыне всецело на ней. Проведу с Марой всё лето до сентября, а там опять Питер с его сокращением на 2 саж[ени] кв[адратные] на человека на жилищной площади. Надо будет уничтожить столовую. Опять соединить в одно кабинет, гостиную и столовую. Отовсюду пишут, что очень дурная погода. Дождь в Москве, в Питере, <...> а мы здесь с тоской следим за тучками, то затемняющими небо, то опять разгоняемые ветром. Соловьи перестают петь, иволги ничего не напророчили, ласточки стрекочут поверху, мошек ещё мало, хотя вода пошла на убыль. Стремительно раскупают рассаду цветов, капусты и томатов. Так все эти садовые заботы переносят в прошлое. Однако, я слишком утруждаю ваши милые глаза, пора Вас обнять и поцеловать на прощание <...>.

O.W.

10/23 июля

Я чувствую, дорогая Катя, что ты беспокоишься об нас, а я тебе не пишу. С тех пор как Мария вернулась[105] ровно две недели назад, мы завертелись в каком-то вихре всяких новых знакомств. Жила она два года, как червяк в земле, с одними связями по службе и вдруг встретила целый сонм людей симпатич-

[103] Святые отцы делают больше для разрушения веры, нежели те, кто нападает на нее! *(франц.)*.

[104] Пока я злословлю над церковью, в дело вмешался ветер, и я кончаю страницу с кляксой и извиняюсь за это. Мы уже начинаем мечтать о дожде, как всегда бывает у нас весной. Постоянно ветер *(франц.)*.

[105] Мария Дмитриевна была арестована в июне.

ных, интересующихся, отзывчивых, пережила с ними общую невзгоду! Они ужасно трогательны, сохраняют самые нежные чувства, отказываться их видеть невозможно, а вместе с тем это берет много времени, отрывает от дела. Сегодня Мара нас всех выгоняет и запирается с запущенными в течение шести недель счетами. Невероятная путаница в делах. Надо опять все поставить на рельсы, опять подобрать бразды! <...> Вчера мы были с Марой в бане, а вечером она была в театре. Возвращение к нормальной жизни. Приехала труппа Александринск[ого] театра, и, увы, наш захолустный городок холодно принял столичных артистов. Играли, говорят, великолепно, но выбор пьес сомнительный. Я была рада за Мару, которая несколько освежила свои впечатления, встретила много знакомых и двух своих недавних сожительниц.

12/25 июля

Признаюсь, что у меня совершенно перешиблена жилка эпистолярии, кроме того, что я все туманнее вижу и самое писание уже делается затруднительнее, я не очень ценю сюрвейльянсу[106] неблагожелательных глаз. Мое писание было прервано 11-го. В субботу надо было закупать, заглаживать наши прорехи, вечером я была у всенощной, утром у обедни. Возвращаясь вечером из церкви, по Старому Венцу, я наслаждалась темной полосой Волги и ярким городком, освещенным на той стороне, точно бриллиантовая коронка на темных волнах. Я очень люблю эту дорожку, хотя поломанные деревянные тротуары не безопасны в темноте. <...> Скажи, пожалуйста, письмо от 14 июня до тебя не дошло? Там была для Серг[ея] Ал[ександровича][107] расписка в деньгах, котор[ые] я получала от его матери. 60 р. я перед отъездом получила, и 30 р. должен был Алек взять в мае. Так как они у нас неграмотны, то ни он, ни Надя не написали об этих 30 р. А быть может, и другое помогло этому молчанию. Вчера Марина дает тревожные сведения о здоровье Павлика. С ним сделалось 14-го июля сильное кровохаркание по пути на дачу. Настолько, что кровь набиралась тазами. Это отзвук его сыпняка в ослабевшем сердце.

Когда-то, еще в лицее, он так же страдал страшными носовыми кровотечениями. Я думаю, что это пройдет бесследно, но Марина напугалась. Я буду ждать их вестей из города. Может быть, надо бы мне поехать им помочь, но это расход! Павлу надо в дом отдыха. Сюда ехать немыслимо, попадешь в плохую обстановку, где не отдохнешь. Надо бы Диме написать, не поможет ли он деньгами. Надо бы что-нибудь из обстановки квартиры продать. Ваня пишет, что бросил свою службу, переходит в Баку читать агрономию в университете, а пока в Наркомторге, в управл[ении] промышл[енного] сырья. Я надеюсь, у него будет больше свободных вечеров для научно-литератур[ной] работы. Наташа писала очень трогательно, сочувственно по поводу всех наших авантюр, а я както замолкла и всем задолжала ответами, рука дрожит, плохо пишу. I am disgusted at my own writing[108]. Обнимаю, целую всех, получила письмо от 3-го июля. <...>

---

[106] Франц. surveillance — «наблюдение».

[107] См. прим. 61.

[108] Мне собственный почерк стал противен *(англ.)*.

Будем надеяться, что все благополучно кончится для всех. Алина очень мило пишет о дачных событиях. Катюша здорова.

Да хранит вас Господь.

Мать

Пишу под шумок разных разговоров довольно несвязно. Юрий Ч[ельцов] и Наташа[109] были в тех же условиях, как и Мара, но она вернулась, а его еще нет.

Вторник/среда 3-го/VIII
4 августа/
21 июля

Что-то затягивается перерыв в твоих письмах, дорогая Катя, сестра Дуняша[110], кажется, перестаралась в своем эзоповском языке, и мое знаменитое письмо от 14/6 не увидело, очевидно, почт[ового] ящика и сгибло в paperass-ах[111], откуда, вероятно, уже не увидит света. Какова судьба последующих писем от 28/6 и 2,10 и 25/7? Я тут еще доверилась пароходной почте, мне показалось, что путь на Самару ближе, если только смычка парохода с поездом на Челябинск обеспечена, но, видно, все пути ведут в Рим! Неизбежно. Я получила брошюру Александра вчера с большой печатью Иркутской таможни. Все-таки довольно скоро, от 13/7 до 2/8. Я понимаю, что когда долго нет известий от нас, то невольно водворяется недоуменное молчание. Я писала также Шуре и Мусе 16-го. Эти дни, ты знаешь, я перегружена почтой 11-го. Как ни плохи времена, но десятка два приветствий набралось! Ваш уголок блещет отсутствием, ни Надюша[112], ни ты! force majeure[113], может быть. Да и я сильно опоздала поздравить Гулю. Письмо пошло только 25-го! Надеюсь благополучно прошло через тернии пути. Я думаю, вопрос моей корреспонденции est une question élucidée[114]. Вся эта встряска хоть на что-нибудь послужила. It's an ill wind that blows nobody good[115]. Я возлагаю некоторые надежды на те отношения, которые были достигнуты в Ленинграде. Никогда там ничего не было с моими письмами за все пять лет. Наш ученый Юрка не получил разрешение на передачу по радио, хотя уже запрос послан три месяца тому назад. Общество радиолюбителей хлопочет о поощрении этих юных конструкторов-исследователей, а переписка наших учреждений все затягивается. Юрий всё делает разные опыты. Мара жалуется, в ущерб ее карману! Вчера здесь была большая встреча гидроаэроплана. Весь город постремился вниз по Смоленскому спуску к шести часам. День выдался идеальный, хотя с маленьким ветром. Гидроплан опоздал на 45 минут, летел из Казани. Наши поехали на лодке. У Мары теперь два Юрия, один моложе на 1/2 года, тоже единственный сын у матери, оставленной отцом, события их разъединили, и муж

---

[109] Московские друзья.

[110] См. прим. 2.

[111] Бумагах *(франц.)*.

[112] См. прим. 68.

[113] Чрезвычайные обстоятельства *(франц.)*.

[114] Разрешенный вопрос *(франц.)*.

[115] Это злой ветер, который никому не сулит ничего хорошего *(англ.)*.

заполнил свое одиночество с большой поспешностью. Теперь мальчик один, пока не разъяснится положение матери. Фактически он почти переселился к нам, поездки на лодке его очень веселят. До сих пор он жил далеко и не имел доступа к Волге. А наш Юрий пользуется лодками яхт-клуба даром, бесплатно исполняя много поручений клуба в роли охранной команды. Вечер был дивный по окраске, лучи заходящего солнца золотом заливали тот берег и легкий силуэт моста. Мара ехала с тремя юношами. Третий был Пека Михайлов, наш vis a vis[116], тоже 17 лет, но значительно менее развитой, чем наши Юрии. Двое гребли, один на руле, а она пассажиром. Вся школа и наша Надя помчались на встречу, где была музыка и речи. Разыграли лотерею и несколько человек покатали над городом с большим шумом. Яркий луч заката предвещал сегодня серенький день, густой туман утром и маленький дождичек даже. У Мары много дела в городе, она облеклась в мою харбинскую непромокаемку и отправилась по всяким учреждениям. Наша Надежда водрузилась на телегу с корзинами, устремилась на базар с школьными работницами по переработке садовых производств... Надо гнать сок вишни и черн[ой] смородины. Скоро поспеют и яблоки, появились первые скороспелки. Надо закупать сахар, надо заготовить малосольные огурцы и пр. и пр. А у нас завтра именины, и я решила поставить пирог с осетриной. Последняя всего 1 р. за кило. Гости, пожалуй, набегут, хотя мы и не зовем. Мара не хочет расходоваться на прием, а все-таки не обойдешься без гостей. Как много из прошлого здесь неожиданно встает. Валентин[117] както раскопал разных соседей Жедрина и Сколкова. Бывшая гувернантка Татуши, Тенишева, и другие. Все это постарело, все это обеднело, опустилось, живут на 50 р[ублей] жалов[ания] 4 челов[ека], еле одетых. Надо непременно мужу и жене работать. А детей пасет улица, и неудачно! Сегодня такой задумчивый таинственный серенький день, листочек не шелохнет. Что-то мне принесет почта! После письма Марины к 11-му, где она писала о кровохаркании Павлика, ни звука! Не знаю, что они думают. Я уже всем моим москвичам написала. Ольге Т[изенгольдт][118], Кат[е] Х[одневой][119] и другим. Поблагодарила за поздравления и спрашиваю, не слышал ли кто о Павле.<...> Я, вероятно, здесь пробуду еще сентябрь. Мара думает съездить в Томышево недельки на две повидать хозяйство и старуху. Давыдовна[120] теперь пенсионерка и может умирать спокойно — похороны оплатят. Так несложны теперь наши требования, что и это успокоительно.

Крепко тебя и твоих целую, будьте все здоровы. Сейчас после дождя выглянуло солнце, и так весело зачирикали пичужки, так ярко стало после серенького утра. Под горой пожар. Понаехали пожарники, и народ запрудил всю улицу, так много людей рады поглазеть! Шум стоит, и гвалт порядочный. Пожар, верно, сам потух. Моторы и лошади шумят, колокольчики звенят. Однако кончаю и несу письмо на почту. Обнимаю.

Мать.

---

[116] Визави *(франц.)*: живущий напротив.

[117] См. прим. 47.

[118] См. прим. 11.

[119] См . прим. 7.

[120] См. прим. 35.

17/4-го августа

Не писала тебе давно, дорогая Катя, около двух недель, ничего выдающегося не случилось. Кажется, мои письма были от 3-го. Прошла первая половина августа uneventfully[121]. У Мары новый помощник для надзора за интернатом и расходами по хозяйству учеников, это несколько облегчит ее обязанности. А то она была перегружена разными кассами и сложной сетью контрольных аппаратов. Ученики получают по 10 р. на голову на свое содержание и должны сами организовать свое питание. Но народ молодой, нерасчетливый, то раскутятся, то голодают! Когда им выдали за три месяца деньги вперед, то на последний оказалось всего 4 р. на весь месяц на прокорм. Что не могло никак хватить. Сегодня одна девица, получив 3 р., ухитрилась их потерять, не дойдя до базара, вероятно, вытащили. У нас на это артисты! Вчера мы слышали целую серию ночных грабежей самых дерзких, так и ждешь, что к нам появятся гастролеры. Отлогая крыша прямо под окном, а сторожа так мирно спят во время дежурства. Грегуар[122] не оправдал надежд, и его увольняют с 1-го сент[ября]. Он изумительно постарел и опустился. Его инициатива часто неудачна. Любовный пыл повредил ему с самого начала, и с Марой отношения натянуты. Лучше будет освежить свой entourage[123], но одну язвительную особу, вероятно, всего больше навредившую, придется сохранить, and make the best of her[124]. Она не живет на дворе, приходит на уроки, но влияние на учеников разлагающее. Везде, где она была раньше, репутация интригантки была установлена, как будто можно было бы принять сплетни по их настоящей оценке!

5-го /18 авг[уста]

Кончаю мое письмо рано утром. Мне становится очень трудно писать, при электр[ической] лампе особенно, а дни так заметно убавились. <...> Мара теперь окружена очень милым обществом сочувствующих, искренно ее полюбивших душ. Наша vis a vis, немножко рыхлая, толстая Людмила Петр[овна] не очень любит движение, но покорно говорит: «Куда вы пойдете, туда и я пойду, не могу не идти!» И вот Мара потащила ее в Ундоры. Живя на краю горы на самом спуске к Волге, Люд[мила] Петр[овна] пять лет не была внизу, а два года тому назад у нее утонул, купаясь, любимый из трех сыновей. Съездили они очень удачно. В 9 утра отходит пароход, полтора часа ходу, в шесть назад. Я хочу попытать проделать эту немудрую прогулку будущее воскр[есенье]. Одна очень милая компаньонка Мары имеет 3 детей 8-12 лет, и они мечтают об экскурсии. Там на берегу разводят костер и наслаждаются видом реки и зелени. Я посылаю тебе последнее письмо Вани, а в следующ[ий] конверт вложу письма Дуняши и Дмитр[ия], друг друга пополняющие. <...> Наши все еще пользуются необыкновенно жаркой погодой. Я получила письмо Соф[ии] Кир[илловны][125] от 8-го авг[уста], где она пишет, что у нее нестерпимо душно, а во всех

---

[121] Без примечательных событий *(англ.)*.

[122] См. прим. 101.

[123] Окружение *(франц.)*.

[124] И с этим смириться *(англ.)*.

[125] См. прим. 60.

садах, Летнем, Михайл[овском], Тавр[ическом] такая толпа, что нельзя найти уголок, чтобы отдохнуть. Одна очень милая старушка, Панфилова, Сер[гей] Ал[ександрович][126], вероятно, помнит ее, приходит ежедневно читать вслух или гулять с Соф[ией] Кир[илловной], пока Ник[олай] Ал[ександрович][127] с женой отсутствуют на даче. По тону письма все там благополучно, и Соф[ия] Кир[илловна] не хочет мне больше писать, а хочет со мной разговаривать! Я читаю здесь много старой беллетристики, но ничего серьезного. Газеты скучны, а моя «Кр[асная] вечерняя» так неаккуратно приходит, что сегодня 18-го числа я имею еще только 5 номеров. <...> У меня завелся ученик по-«немецки», и о ужас! И книг нет в продаже! А наш бедный Алек! Вы, вероятно, уже слышали. Сдал прекрасно, но его не пустили в рай! 1100 было сначала, 364 после первого экзамена, 161 к концу, и 50 мест на всех. А в других еще хуже. Конечно, я очень удовлетворена удачей экзаменов, особенно по математике. Года еще не ушли. А главное — восстановлена привычка умственной работы. Я надеюсь, и найдется выход. Пишу Ване. Быть может, он его там может устроить. Юрке еще один год техникума, а на будущий год он землемер. А там радиовуз. Сегодня дивное утро, ясно, тихо, солнечно на Волге, на восходе мягкий серебристый туман хлопьями цеплялся по кустам. Сейчас бегу в город. Надо выяснить вопрос моей газетки, зайти в аптеку и поискать еще немецк[ий] учебник. Мы богаты фруктами, но Надина небрежно нас кормит. Она считает ниже своего достоинства заботиться о своих кулинарных произведениях. На дворе ученики играют в городки. Это напоминает самайкинский двор. Сухой звук летящей палки. Так и чудятся голоса всех Егорычевых[128] мальчишек. Обнимаю тебя и твоих. Крепко целую.

Мать.

25/12-го августа

Дорогая Катя, я немножко дольше застряла с моим письмом, чем собиралась, но посылаю тебе обе цидулки Димы, и сестры[129]. Неправда ли, так ее и видишь в этой фразе о душках инженерах! Можно подумать, that we make her life a burden, she is so happy to get rid of us[130]! Однако при всем отвращении к бабью она едет сюда, чтобы видеть Мару и меня проводить домой. Павлик пишет, что вернулся в Москву, поправился и бегает в поисках службы в новых комбинациях. Его учреждение ликвидируется с 1-го апреля и каким-то чудом все еще живет до 1-го сентября. Павел был две нед[ели] в настоящем доме отд[ыха] в деревне за 30 верст от Кашина. А вчера я получила неожиданную открытку от Элефантика[131] из Анапы. Купается в море и ест виноград. Счастливый Элефантик! Но жалуется, что нет деревьев, очень пустынный берег. Это

---

[126] См. прим. 61.

[127] Другой сын Софии Кирилловны, живший в Ленинграде.

[128] См. прим. 64.

[129] См. прим. 2.

[130] Что мы обременяем ее жизнь, она так рада отделаться от нас *(англ.)*.

[131] Прозвище знакомой, Анны Николаевны Тиволович-Жихаревой.

лучшая санатория для туберкул[езных] детей, а у нас их теперь 80%. Невозможная теснота жилищ распространяет рахитизм и все детские заболевания. Скарлатина делается бичом Ленинграда, даже среди лета вспышки появляются. У нас здесь довольно сильная эпидемия. Заговорили опять о брюшном тифе, конечно, обилие зелени дает дизентерию. Было много вишни, но сливы меньше, чем в прошлом году, и все очень быстро отходит.

Погода 26-го авг[уста] изумительная, все лето удивительно ровное, приятное, без резких переходов, хотя, говорят, делается сухо для посевов озими. Мы, дачники, радуемся этим летним дням. Мара вернулась вчера с экскурсии с учениками. Три дня путешествовали, частью пешком, частью на лошади, осматривали колонию Карамзинскую для сумасшедших. У Мары совсем сожгло нос, у нее глупая шляпа без полей, а солнце сквозь дымку особенно ядовито. Были облачные утра и закаты. Я поищу ей в Петербурге хорошую шляпу бурского образца. Можно было бы и по моде тети Саши[132] носить татарские белые, да, кажется, the scarcity of wool[133] несколько поубавило их предложение в продаже. Я даже редко вижу их на татарах теперь. Как раз вчера на улице встретила таковую и вспомнила тетю Сашу. Неужели я ее переживаю уже десятый год! И все это прошлое, как закрывшаяся книга. Как притупляются наши чувства, точно все это так и должно было быть! Мара очень занята, как только она появилась с экскурсии, ее осаждают всякие люди, а теперь все чаще появляются родители учеников, подающих заявления. Всего вакантных мест 23, а уже заявлений 75. Экзамен 28 сент[ября]. Мара еще думает в Томышево съездить до начала более интенсивной работы. Завтра наша Надя[134] стремится в деревню на свой храмов[ый] праздник Успенье. Не знаю, на кого она нас покинет. Ее обычная заместительница старушка Семеновна больна и не идет служить. Казалось бы, имея свободного Юрка для тяжелой работы и так много безработных девиц для домашних работ (а девицы все мечтают о другом), можно было бы легко найти кого-нибудь. На улице часто спрашивают, нет ли местечка? А взять опасно. Алина мне пишет о своих разъездах. Они были в Петергофе и пешком дошли до Александрии верст 8, как они считают. Катюн храбро выступал, но под конец начала спрашивать, скоро ли пристань? <...> Завтра на даче фестиваль — рожд[ение] Алины, и к нему присоединяется рождение Володи, племянника Али Вр[асской]. Ему пять лет, а Алине минет 27. Она идет с веком! Дима получил какие-то 100 руб[лей] поощрительных вместо той премии, которую ему назначали. Алина сейчас ему купила простыни, кальсоны, носки и портфель. Весной Дима сделал пальто вместо украденного в вагоне под Челябинском в 23 году! Сколько было сборов. Ремонт нашей квартиры еще не начат. Фрузя[135] продолжает хранить наши вещи. Сестра думает взять отпуск после 15-го, а Дима 1-го сентября. Я буду рада, если они наконец с Ваней встретятся на Кавказе.

---

[132] См. прим. 58.

[133] Дефицит шерсти *(англ.)*.

[134] См. прим. 66.

[135] Прислуга Воейковых в Ленинграде.

Наш Юрий в больших хлопотах с своей антенной. Он задумал усилить мощь своей станции, закатил шест чуть ли не на два раза выше дома. Он у него уже раз согнулся. Ставить его очень трудно, а главное, боишься, что он кого-нибудь тюкнет по голове. Слушать нам ничего не приходится, наш изобретатель все увлечен материями высшими. Зимой его радио будет хорошо работать. А всё лето он в стадии реформ и улучшений. <...>

Мы ездили прошлое воскресенье 21-го на лодках через Волгу. Компания была очень милая. Дамы из спутниц Мары, трое детей одной из них и девочка, их подруга. Валентин Ив[ановский][136] и большой почитатель Мары, один здешний садовладелец, который завел здесь перегонку душистых трав на масла, Юрий и его товар[ищ] Юрий младший. Гребли они и Вал[ентин], но Юрка скоро выскочил в воду и гнал лодку бегом, толкая сзади. Поедал груши в воде, уверяя, что это бензин для мотора. Мы провели часов шесть в уютном пустынном уголке под тенью, погода была дивная, если бы не эта бесконечная гора, с которой надо спуститься. Наверх войти гораздо легче! Мы хотим еще поехать куда-нибудь. Погода дивная. А у вас как? Обнимаю крепко. Всех целую. God bless you. Mother[137].

Я писала с тысячами препятствиями. Обыкновенно я остаюсь одна дома, и посетители валятся на меня. Телефон, счеты Нади[138], countless interruptions[139].

14/27 августа 1927 г.

Дорогой Шура,

Сердечно благодарю за присылку пяти червонцев, как это ты их там набрал сов[етскими] деньгами? У меня еще хранятся первые 30 р. Быть может, еще Алеку будет нужно что-нибудь? Не знаю, решится ли он двинуться на Кавказ. Этот вопрос очень поможет выяснить поездка Димы в Тифлис. Ваня пишет несколько строчек открыткой, что его положение все еще неопределенно. В Баку твердого приглашения не получил. Малярия его прошла, жаров нет, и лето очень сносное. С тобой переписываться предпочитает через меня. Я ему посылаю обыкновенно твои письма. Как он говорит, Тифлис у него временное житье, он себя всё чувствует на отлете и не хотел бы связываться с слишком придирчивой опекой. Я уже, кажется, пережила острый период. Во всяком случае в Ленинграде было полное доверие. Почта даже иногда вдогонку справлялась, получила ли я такое-то заграничное письмо. Я могу все свои письма передать на просмотр, картинки Таточки, каракули Гули и Мусину философию.<...> У нас весь август простоял сухой, умеренно жаркий с очень слабыми ветрами. Поездки по Волге очаровательны, но для посева ржи несомненно сухо. Дороги пыльные, а откосы берега потрескались глубокими трещинами.

29 авг[уста]. Понедельник

Мы ездили вчера на пароходе до Ундоры. Только пароход пристает на три версты ниже. Большая коса песку заградила рукав, но еще течение пропускает

---

[136] См. прим. 47.

[137] Да хранит вас Господь. Мать *(англ.)*.

[138] См. прим. 66.

[139] Бесконечные помехи *(англ.)*.

большие пароходы. Мы там провели очень хорошо день у одних знакомых, устроившихся на даче на горе над Волгой недели на три. Прелестный вид, но каждое ведро воды надо тащить на кручу.<...> А лошадей в деревне все меньше. Сейчас в полном разгаре молотьба. Все заняты спешно, чтобы убраться до дождя. Мара увлеклась это время поисками душистых трав для перегонки масла. Мята и полынь, конечно, главные. Я часто жалею, что тебя нет им на помощь. Определить неизвестную траву не всегда им удается, натаскали каких-то семян душистых, похожих на укроп. Дикий укроп вообще дает большой выход масла. Инициатор этого дела сам садовод, Маркелов[140], работал в Сухуме на перегоночном заводе. Ему очень хочется крепко установить дело здесь, но по неудачному стечению обстоятельств им пришлось начать работу только в августе, когда флора несомненно сильно посохла. Гр[игорий] Вас[ильевич Черобаев][141] кончает свою службу 1-го сентября — не ко двору пришелся. Дают двух новых помощников из молодых. На первое знакомство — симпатичны, и, быть может, удастся школу поставить в рамки. В прошлом году уничтожили должность воспитателя при интернате, результат плачевный. Пришлось восстановить. Маре будет легче теперь с новыми силами. Ты знаешь по опыту по своей школе, как легко расстроить внутреннюю связь и дух общежития. Довольно одного зловредного типа, как капля дегтя в кадке меда. Приходится этот дух оздоровлять. При некоторой поддержке со стороны начальствующих, конечно, все это быстро обернется. Маятник откачивается так же легко в одну сторону, как и в другую. Зимнее время удобнее для влияния на учеников, так как работа более на глазах и под контролем. Теперь они в саду и по производству пастилы рассыпаны по пространству школьных угодий.

Мы сейчас, как «генералы» на острове, самодеятельны и довольно беспомощны! Наша прислуга уехала на десять дней домой по случаю храмового праздника; Мару с 8 утра до позднего вечера дергают по всяким делам, хозяйственным и педагогическим, а я все слепну и все больше делаю свою работу ощупью. Не вижу стекла на столе и боюсь за целость посуды. Когда я выметаю, то приходится носом к земле пригибаться, чтобы проверить, нет ли чего нужного в сору. Всё делаешь медленнее. Юрок добродетельно ходит на погреб за провизией, выносит помои, ходит за керосином и углями. Но главная сила в Маре, а ее-то у нас так часто нет. Вот и сейчас, 3 часа, надо обедать. Мара по делам в городе. Суп два дня стоял на погребе, на примусе разогреваю. Привезли с своей прогулки уток вчера и отдали посему их жарить в соседний дом: одну нам, одну им. Неправда ли оригинально, сборный обед? Самое неудачное то, что прислуга того дома, где жарятся утки, внезапно вызвана в деревню к больной матери, не успев закончить начатый обед. Трагично, не так ли? Скорее трагикомично. В Ленинграде пошли дожди, и скоро, вероятно, пойдет тяга обратно в город. Дима должен 1-го выехать на Кавказ. Будем тебя вспоминать 30-го авг[уста]/12-го сент[ября]. Желаем всего радостного, всяких успехов, научных, литерат[урных] и бобовых! Как жаль, что ты не можешь видеть Юрка с его радиоприемником, передатчиком и вечной суетой по всяким увлечениям.

---

[140] Александр Николаевич Маркелов, агроном.

[141] См. прим. 101.

Ничего не слышу об Алеке. Судя по газетам, в электр[ический] тех[никум] выдержало 26% экзаменующихся.

Целую тебя и Мусю крепко.

Мать

2-го сент[ября]/ 20-го авг[уста]

Я тебе писала, дорогая Катя, за август три раза: 3, 17, 26 -го, в июле: 2, 10, 25. Оба последние дошли, я вижу из твоего письма от 21/VIII, которое сегодня благополучно доплыло замечательно быстро, 12 дней рекордная скорость, считая крюк на Москву, envelope intacte[142], есть улучшение в почтовой передаче. Я надеюсь, все ваши болести прошли. <...> Что моя бедная Гуленька, «ушлата». У нее не малярийная ли гнетучка? Юрий как-то выскочил, несмотря на много неосторожностей. Доктор нашел, что у него селезенка в порядке. Вчера при внезапном падении температуры (1-го сентября точно подчеркнула осень свое приближение) Юрий весь день бегал в одной рубашке с расстегнутым воротом, и благополучно прошло. Слушая завывание леденящего ветра, можно подумать, что осень глубокая, но зелень совершенно нетронута. Почти не видно желтизны, еще яблоки не сняты с деревьев, и мы пользуемся соседством лучших садов, уничтожаем их по полпуда в день. Вчера Юрка принес 25 ф[унтов], и точно так же ничего не осталось. Будем вспоминать 26/VIII–8/IX наших Натали, одну на Кавказе, другую в Маньчжурии. Дай Бог, чтобы у всех всё было благополучно! Иван мне как-то написал открыточку, все еще неопределенную насчет службы, но кто меня порадовал, это Дуняша, сегодня пишет в конце открытки in a scrawl round the edge of the post card[143]: «Алек устроился очень хорошо в электр[ический] инстит[ут]». Удивляюсь, что наши молчат. Быть может, удалось пробить эту нелепую преграду социального происхождения. Что Алек хорошо пойдет, я не сомневаюсь, что им будет трудненько жить без его заработка, это не так важно. Случайную работу он всегда найдет, а через Шир.[144] мы его можем довольно прочно устроить на частном деле. Лишь бы ему попасть в ряды студентов. Очень интересный типик наш Юрий. Иногда страшно напоминает отца с его скрытностью, незаметной постройкой плана действия и полным сознанием своей правоты! Сбить Юрка с чего-нибудь невозможно, mais il a un ascendant incontestable sur son entourage. Il est intelligent et sa petite cour reconnait sa supériorité. Il a sa petite réputation en ville[145]. Конечно, немножко зазнается, но trés bon enfant au fond[146]. Очень боится, когда его мать бранит, что она делает часто и не без основания. В его небрежности к туалету, вечно прожженных брюках мало утешения для гордости матери, его рожица очень

---

[142] Нетронутый конверт *(франц.)*.

[143] Извилисто по краю открытки *(англ.)*.

[144] Возможно, Шириковы.

[145] Но он владеет несомненным авторитетом над окружением. Он умный, и маленький двор при нем признает его преимущество. У него создалась неплохая репутация в городе *(франц.)*.

[146] Но в конечном счете добрый малый *(франц.)*.

прилична, рост импозантный, но ходит он еще как переросший щенок и немножко горбится. К нему все относятся очень ласково, а к его упорной работе по радио с уважением. Забавно огромные ноги, на которые не нашлось сандалий. Юрий, ничтоже сумняшеся, ходит в калошах на босу ногу. Я ему поищу сандалии у Скорохода в Питере. Сейчас они пошли все в кино: Мара, Юрий и Маркелов[147] — наша новая звезда, техн[ический] химик, производящий душистые масла, к сожалению, туберкулезный и на отлете в Сухум. Старается уговорить Мару, что ей необходимо взять отпуск в декабре и приехать на Кавказ. Жаль будет, если Ваня переедет в Баку. Это такое бессмысленное и мало притягательное место. Родина нефти интересна больше для бюджетных соображений, чем для туризма.

У нас после продолжительной, очень ровной жары вдруг завернул мороз. У меня в комнате всего 10°-11°. Рука застывает. Маленькое стекло в окне вывалилось благодаря развалившейся раме, и не найдут столяра для новых рам. Эта порода вымирает, все хотят быть механиками, слесарями, а пьют все, и те и другие. Один столяр хвалился, что он петербургский, взял 3 р. задатка et on ne l'a plus revu[148]! Рамы все больше расшатываются. Ноги мои совсем замерзли. Я тебе писала, кажется, что Барба[149] не избегла судьбы. Мы ей давно ее предсказывали. А там, вероятно, partie de plaisir[150] был не так удачен. Их город довольно поганый. Она, должно быть, около двух месяцев отсутствовала. Толстый Варвадос, ужасно жалко ее с больными почками и ожиревшим сердцем. Я надеюсь, Мара проездом в Томышево их всех увидит, <...> старых сожителей и друзей. Я получила две открытки от В[арвары] В[адимовны]. Одна была в пути 4 дня, другая всего сутки. Я ей послала большое письмо, но не знаю, каким глазом на него посмотрела почта. <...> Моя переписка пухнет: 43 письма за август. Прямо разорительно!

Надо закончить мою цидулку и писать Таточке. Это время я часто писала, а жизнь наша очень однообразна. Жду сюда Дуняшу в конце месяца. Обнимаю, целую нежно.

Мать.

16-го сентября

Дорогой Шура,

Я получила письмо Нади от 5-го сент[ября], где она говорит, что очень напряженно хлопочет по делам Алека. Дошла до главков Академ[ии] наук, а через них и к главкам нар[одного] ком[иссариата] прос[вещения]. Начинает видеть щелочку света! Это будет большое торжество, если ей удастся пробить непроницаемую стену, на которой разбилось столько десятков тысяч молодежи. Когда начались экзамены в эл[ектрический] техн[икум], то было по 27 челов[ек] на каждое место, при конце осталось 160 на 50 мест, но Алек остался в 110 отвер-

---

[147] См. прим. 144.

[148] И его след простыл *(франц.)*.

[149] Варвара Вадимовна Осоргина, по прозвищу Варвадос, дальняя родственница и близкий друг, жившая в Самаре.

[150] Увеселительная прогулка *(франц.)*.

гнутых. Не знаю, как удастся Наде его пристегнуть. Избиение младенцев жестокое. Говорят, по всем уч[ебным] зав[едениям] осталось 60 т[ысяч] непринятых. Конечно, и уровень знаний сыграл немалую роль, и общая безграмотность. Мне очень хотелось добиться письма Алека, чтобы судить об успехах его очень драгоценного учителя русск[ого] языка — 3 р[убля] за урок. Вначале он приходил в отчаяние от неумения Алека выразить складно свои мысли. Если бы он от papa Bashm[akov][151] унаследовал текучесть речи, а не сутуловатость, было бы много интереснее. Я написала Алеку открытку с ответом, и он употребил эту карточку на какие-то радиочертежи, и Надя мне ее прислала с пояснением, чтобы его устыдить, но их теперь не так легко проймешь. Ты мне никогда ничего не ответил насчет Григор[ия] Вас[ильевича Черобаева][152]. Ты знал, что он такая свинья? Он напросился сюда, обратившись к Вас[илию] Андр[еевичу Денисову][153] письмом в Безенчук[154]. Получая 35 р., он был рад перейти на 70 р., но, увы, оказался совершенно непригоден. Погубил еще свой авторитет тем, что влюбился в немолодую вдову, небрежно относился к своим обязанностям, вертелся в лучах ее глаз. С мнением старших по службе не считался, плана работ не согласовал, а главное, боялся учеников, как огня. Условия, конечно, много труднее, но тем немногим авторитетом, который еще допускается, он не пользовался. Его сократили с 1-го сентября, выплатив месячное жалованье вперед. Как последнюю ядовитую стрелу, он оставил на четырех страницах жалобу в школьный совет, где сваливает на Мару все свои неудачи. Жалуется на грубость ее обхождения и т.д. Трусливо оставил всю эту клевету для прочтения после себя. Ничего конкретного. Как резюмировал представитель губоно, «декларация министра, уходящего в отставку». Не по этой глупой декларации, но по более веским течениям нынешних влияний Маре все-таки пришлось отказаться от заведования и, вероятно, не придется взять новую административную должность. Даром что она 18 лет была замужем за крестьянином, рогожка недостаточно задрапировала. В один голос ученики и коллеги говорят о возрождении школы за эти три года, а все-таки... Первая школа, так блестяще возникшая в Максутовском доме после перевода Мары, закрыта совсем, и 25 десят[ин] земли на нее отвели, и все напрасно! Другая школа в усадьбе Дмитриевых влачила жалкое существование эти три года и, говорят, тоже закроется. Они как-то запутались в долгах, но и много виноваты ученики. Вероятно, и здешняя школа переродится в крупное виноделие под талантливым руководством Леон. Вас., а садоводство иссякнет. Ученики занимаются всем на свете, кроме своей прямой работы. Стоит ли тратить столько энергии и сил, жертвовать здоровьем и временем, чтобы вперед чувствовать бесполезность этих усилий. Ответственность огромная. Нервы всегда натянуты. Отчетность по пяти кассам, — ученики получают по 10 р. в месяц на свое содержание. Часто перерасходуют, получая деньги ежемесячно, не могут заготовлять

---

[151] Папы Башмакова *(франц.)*. Дед Алека Александр Башмаков был главным редактором «Правительственного вестника».

[152] См. прим. 101.

[153] Покойный муж Мары.

[154] Сельскохозяйственная опытная станция на юго-западе от Самары.

провиант в более дешевое время. Приходится покупать ежедневно по рыночным ценам и переплачивать... Все их недовольство ложится на заведующего. Интересно будет посмотреть, как они теперь без ее заботливой помощи будут. Ужасно интересно будет видеть новый уклон. Мара рада стряхнуть эту тяжесть, ведь у нее не было минуты спокойной за целый день. Все отношение начальства к ней безупречно, волна идет с низов, надо дать ей выплеснуться и отстраниться. Я рада, что у нее теперь много милых друзей, много теплого чувства кругом. Думают еще выхлопотать представительство по сбору лекарственных и душистых трав и производству масел, иметь дело непосредственно с Москвой. Дима прислал мне очень милое письмо из Москвы. Он был в командировке между 4-м и 14-м, изучил два метал[лургических] завода, видел всех московских друзей. Все, говорят, нашли, что он поправился. Это сестра Дуняша его так летом хорошо кормила. Побывал в правлении у председат[еля] и технич[еского] директ[ора]. Заглянул и в Большой театр, был и на даче в Петров[ско]-Раз[умовском]. Павел совсем поправился. Дима два раза у них обедал, пишет: «У Марины очень мило. Правда, что долготерпение ее удивительно». Неприкрашенное мнение брата! Я, вероятно, еще здесь до 1-го окт[ября]. Я надеюсь, Мара уедет в Томышево на недельку, ее ждут в Самаре, Сызрани и в деревне, как светлый луч. Все говорят, вот, когда М[ария] Д[митриевна] приедет», и все решения откладываются до нее. Ревякин должен делать операцию рака желудка или кишки, если М.Д. посоветует. Кутрухина должна сына прислать учиться сюда, если М.Д. его устроит. Старуха Давыдовна[155] ждет разных зимних распоряжений, а Лобанов увильнет лишний раз от оплаты старого долга, сочиняет счета и т.д. Все-таки, надо бы ей поехать. Целую тебя очень крепко.

Мать.

20-го сент[ября]

Вянет лист, проходит лето, Волга обмелела, пора подумать о зимних квартирах, и я, дорогая Катя, свой отъезд предполагаю на пятницу 30-го. Это не очень удобный день ввиду именинниц, но, с другой стороны, их много, к каждой не попадешь, а мой отъезд будет хороший предлог, чтобы и Маре не трепаться сверх меры. Я сделаю ряд прощальных визитов и всем объясню, что мне важно быть в Москве в воскресенье, когда все свободны, застать дома сына. Катя Х[однева][156] очень настаивает на моей остановке у нее на Солом[енной] Стор[ожке], вероятно, я это и сделаю. Здоровье Кати все это лето было очень шатко, сердце сдает, и она ненадежна. Надо еще на прощание двум старухам вспомнить свою юность. Я могу переночевать три ночи, расположить свои свидания в городе, собрать моих старушек — Ольгу Т[изенгольдт][157], Катю Б[улыгину][158]. Все они седеют и стареют, хотя и принадлежат к младшему поколению, к легиону племянниц. А сколько их уже умерло! Из семьи Ольги Т[изенгольдт] она одна

[155] См. прим. 35.

[156] См. прим. 7.

[157] См. прим. 11.

[158] См. прим. 20.

осталась. У Кати Б[улыгиной] еще все, оба брата и Маня живы, но все бедствуют, и надо всю семью Мити постоянно вытаскивать из беды. Племянники далеко на севере, вносят кул[ьтуру] на окраины... Жду сюда Дуняшу, но она может и не приехать, в последнюю минуту пожалеет деньги на дорогу. Мара едва ли вырвется в Томышево, у нее целый водоворот, в котором трудно разобраться, вроде японского тайфуна. Она решила подать в отставку. События лета не могли не оставить свой след, the under current is strong[159]. Верхи чувствуют всю бесполезность этой травли. Повторяется кампания, разрушившая школу в Максутовском доме, elle est trop en vue, trop de louanges a son adresse, on accuse ses chefs d'être influencés par elle, et voila un travail, qui s'annonçait si bien, détruit, annihilé[160]. Культура захлестывается, уступает, сокращается, и нет ей защитника. Работа делается все невозможнее, учительская братия сильно подавлена, люди, со стажем в 15-20 лет, управляются какими-то безусыми юнцами, опытные педагоги не имеют права голоса, распоряжаются ученики. Я отчасти рада, все эти всполохи нервы изматывают. Ответственность огромная, нравственного влияния абсолютно никакого. Скрытая борьба, не личная, а с той средой, которая считается враждебной, с теми людьми, которые говорят чистым русским языком и работают за совесть, интересуясь только своим делом. Я убеждена, что все будет к лучшему, и будет найден выход — уроков прибавят, а бремя власти отпадет... Тут ведь еще и материальные условия обременительны. Пять больших зданий в разных стадиях разрушения, средств на ремонт не хватает, того и гляди что-нибудь обвалится. Все это построено более 70 лет тому назад и больше. Благодаря дальней окраине избегло и симбирского пожара. С хозяйственной стороны масса недочетов, Mara faisait bonne mine a mauvais jour, et parvenait a restaurer une infime quantité de ce grand bloc. Pas d'argent, on faisait 10 % du nécessaire[161].... Я думаю, эту зиму как-нибудь перевернется, а на будущее лето Юрий готовится к экзамену в вуз, и все равно мать переедет за ним, куда он поступит. Он хочет всю эту зиму развернуть en grand[162] свою подготовку, бросить ненужное — землеустр[оительный] техникум, и частными уроками заполнить свои знания. Попутно он может кое-что заработать и по радио. Он уже много работал по разным установкам, считается очень хорошим спецом по этому делу. Пока он работает бесплатно, но за одну починку это лето получил 25 р. Более чем вероятно, что это последнее лето, которое я провожу в Симбирске «над Волгой». Надо признаться, что оно было очень полно, и очень красочно, точно волны чередовались, чудный разлив и цветение садов, приезд Варвадоса[163], ночной визит и

---

[159] Подспудное течение слишком сильное *(англ.)*

[160] Она слишком на виду, ее слишком хвалят, обвиняют ее начальников в том, что они под ее влиянием, и вот вычеркивается, рушится работа, которая так много обещала *(франц.)*.

[161] Мара не падала духом, и ей удавалось ремонтировать малые крохи этого огромного имения. Денег не было, делалось только 10% всего необходимого *(франц.)*.

[162] В широких масштабах *(франц.)*.

[163] См. прим. 154.

отсутствие хозяйки три недели, когда казалось, что дом лишился души. Потом это чувство чего-то недосказанного! И согревающая, теплая струйка общей ласки, дружеских сочувственных излияний, столько искренней преданной дружбы, что, пожалуй, можно сказать, светлые впечатления победили мрак. Еще есть люди по разным уголкам с душой, способной чутко понять все хорошее. Выбиваясь из тисков нужды, они имеют еще время сердечно отнестись к страждущему. Все так горячо приняли нужду последней спутницы, что собирали и деньгами, и провизией. Наконец, и она вернулась воскресенье, и обнимали, и плакали над ней, и все хотели бы помочь ей устроиться, если бы все не были in the same boat[164]. Дом отдыха пошел ей на пользу, по внешнему виду, у нее золотистый загар и достаточная полнота, но нервы — вот узел внутренних пертурбаций! Я совсем недовольна видом Мары, ее внешнее спокойствие конечно не соответствует внутреннему настроению.

4-го октября / 21-го сентября

Дорогая Катя,

Я получила твою последнюю грамотку от 11-го сентября и рассчитываю на следующую в Питере. Сегодня еду, Дима телеграфирует, что будет в Москве 6-го, и я хочу его повидать на перепутии. Тем более что он едет к Ване и привезет ему свежие весточки о нас с Марой! Все утро укладывалась. Рука дрожит больше обыкновенного, но хочется тебе черкнуть, чтобы письмо пошло из Москвы экспрессом. Мара очень занята и не может мне помочь. У нее сегодня три урока немецк[ого] языка в школе. Как разнообразны наши таланты! Под ударами жизненной волны мы переворачиваемся как ваньки-встаньки! Пока еще не установлены уроки почвоведения, растеноведения, естеств[енных] наук и пр. в техникумах. Мара уже применилась к новой работе. В педагогическом мире страшный циклонический ураган. Никто не знает, сколько у него уроков, в каких классах и какое расписание. Учителя приходят и сидят рядком, не зная, куда их потребуют. Школьный совет ведется учениками, получается много курьезов, не описать всего! Мне было очень интересно увидать последствия новых веяний. Бедным учителям менее интересно их переживать и к ним применяться. У нас стоит просто жаркое лето, и хотя листья почти облетели, но впечатление июльского дня. Ночью была гроза, хотя с вечера было скорее прохладно. Сегодня трогательное прощание: мои special croonies[165] пришли заявить свои сожаления. Сестра Мих[аила] Петр[овича] [фон] Бр[адке], с которой я всего чаще виделась, и соседка, тоже Иванова по фамилии, очень ко мне всегда нежно относившаяся, хотя не представлявшая интереса, «genre bonne ménagère»[166]. Как мало людей в провинции чем-нибудь интересующихся. Я буду рада опять попасть к Соф[ии] Кирилл[овне], к Кузнецовым и другим друзьям. Пока я писала это письмо, я кончила укладку, сбегала в три места, а Мары все еще нет, и обед ждет в печи. Надя возится с подорожниками. Юрка лежит с лихорадкой и с утра спит. Как будто темпер[атура] невысо-

[164] В одной лодке *(англ.)*.

[165] Особые болельщики *(англ.)*.

[166] Из породы хороших хозяек *(франц.)*.

ка, голова болит и сонливость. Жду Мару с нетерпением и судьбу моего билета, вчера порученную одной жел[езно]дор[ожной] учительнице, которая уверяла, что может получить нижнее место вне всякой очереди. Время около 5 часов, поезд в 10. 50.

Ура! Мои дела выясняются. Билет, нижнее место, всё в кармане.

Мара пообедала и ушла на акт. Прямо ни минуты нет покоя, а главное, я надеюсь она скоро найдет квартиру.

Займусь багажом. Обнимаю, целую, будьте здоровы.

Мать.

В пути 5 /X

Инза. Еду прекрасно, но стоим на станции indéfiniment[167]... Ташкентский поезд опоздал на 4 часа. Мы двинемся дальше, вероятно, около10-11, вместо 6 утра! Досадно, если опоздаем в Москву. Павлик будет встречать завтра в 10 утра, а ему надо сейчас же на службу. Дивное утро. Окно полуоткрыто. С плацкартой чуть было не вышло печальное недоразумение. Кассир забыл, что выдал 15-й номер, и продал его вторично в очереди. Хорошо, что оказался еще пустой N°3, и я сижу около двери, откуда приток свежего воздуха, а внутри вагона духота и пахнет сапогами. The public is mixed. Au fond on s'y habitue[168]. За багаж, 1 п[уд] 20 ф[унтов], взяли 8 р.50. Pas mal![169] Газетчик мне принес кипятку, и я выпила чаю. It's fairly clean[170]. Старые усатые проводники метут и прыскают водой пол. Очень было много приветствий от разных знакомых вчера. Надя помчалась меня провожать на автобусе, напекла лепешек и пирожков с яблоками, а мы с Марой доехали на извозчике с вещами в чудную летнюю лунную ночь, а это было 21-ое, именины Димы!

Необычайная теплая волна прокатилась по стране. Ехать очень хорошо, лишь бы в Москве было сухо.

Обнимаю. Целую всех.

Мать.

---

[167] Бесконечно *(франц.)*.

[168] Публика довольно смешанная (разношерстная), но в конечном итоге привыкаешь! *(франц.)*.

[169] Ничего себе! *(франц.)*.

[170] Довольно чисто *(англ.)*.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
в зеркале прессы
(февраль – май 2003 г.)

(Краткий обзор)

1. Западноевропейская инициатива Московской патриархии

В начале апреля **Патриарх Московский и всея Руси Алексий II** обратился к иерархам, возглавляющим различные ветви русского западноевропейского православия, с посланием. «Послание к представителям русской церковной диаспоры в Западной Европе» (так называется документ) размещено на официальном **сайте Московского Патриархата** (http://www.russian-orthodox.org.ru/nr304091.htm). Патриарх предлагает учредить Митрополичий округ, в составе которого будут находиться несколько епархий. При этом в перспективе округ будет наделен правами автономии с правом выбора первоиерарха. Призыв в первую очередь обращен к русским приходам, перешедшим в юрисдикцию Константинопольского патриархата при митрополите Евлогии, и к представителям Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), однако адресован и всем православным европейцам «русского происхождения».

Послание, по сообщению газеты **«Московские новости»** (22. 04), вызвало противоречивые оценки. Например, известный просветитель и издатель **Н. Струве** отметил, что предложение патриархии «многим показалось не церковным, а типично политическим актом». Он обратил внимание на то, что послание приурочено к выборам главы русской Западноевропейской архиепископии (Константинопольский патриархат) и не может в этот сложный момент не привести к расколу на сторонников и противников объединения с Москвой.

Со Струве не согласен профессор Свято-Сергиевского института в Париже **Николай Лосский**, оценивший документ как большой шаг вперед к построению в будущем поместной православной церкви во всей Западной Европе (**«Русская мысль»**, 24. 04).

С. Сухова в журнале **«Итоги»** (14. 04, «Митрополит всея Европы») расценила призыв к созданию Митрополичьего округа как «асимметричный» ответ РПЦ на создание Ватиканом новых административных структур на территории России.

Игумен Иннокентий Павлов в статье «Новое — это хорошо забытое старое» (**Портал-Credo.Ru**) обратил внимание на чисто пиаровскую подоплеку послания, истинным творцом которого автор считает митрополита Кирилла (Гундяева), и на политику двойных стандартов Московской Патриархии. Православным европейцам говорится о том, что Москва готова следовать решениям Поместного Собора 1917-1918 гг., допустить выборность епископа и духовенства, «широкое литургическое употребление местных языков» — словом, то, что в самой России, мягко говоря, не приветствуется.

В основе нового проекта организации церковной жизни за границей лежит неоднократно уже декларированная идеология: РПЦ МП — Церковь русского народа, независимо от места проживания, гарант национального единства. Можно

предположить, что именно эту идеологию год назад попытался перенести на английскую почву назначенный из Москвы викарный епископ Иларион (Алфеев), но инициатива не увенчалась успехом, и епископ был вынужден перебраться в Брюссель. Новую инициативу Москвы можно рассматривать и как попытку решить вопрос о церковной архитектуре туманного Альбиона, снова вставший достаточно остро после заявления митрополита Сурожского Антония о своем решении уйти на покой. По сообщению газеты **«Время МН»** («Прощание пастыря», 13. 02. http://www.vremymn.ru/cgi-bin/2000/1100/1/4), решение о своем уходе 89-летний митрополит Антоний (Блум) озвучил на чрезвычайной сессии епархиального собрания в Лондоне. «Митрополиту Антонию удалось осуществить на практике общинные, соборные принципы управления церковью. Большинство священников назначались им по согласованию с верующими, приходы занимались — и занимаются сейчас — активной социальной и благотворительной деятельностью», — говорится в газете.

Сайт Свято-Филаретовского института (http://www.sfi.ru.) отметил, что обсуждение на собрании вопроса ухода на покой владыки Антония и кандидатуры его преемника — одно из знаковых событий в сегодняшней жизни Русской православной церкви. «Это попытка вернуться к соборным нормам церковной жизни... Восприятие всего церковного народа, и мирян, и иерархии, как единого церковного организма, а епископа — как наиболее служащего, находящегося ближе к вершине "перевернутой пирамиды" его члена, не может не привести к выдвижению архипастыря именно всем церковным народом и почти неизбежному отторжению всякого "назначенца" из столицы».

В то же время многие выехавшие за рубеж русские хотели бы видеть религиозную традицию лишь как один из компонентов национальной идентичности. На этой почве во многих европейских епархиях, прежде всего в Сурожской, тлеет конфликт, грозящий расколом. В патриаршем послании митрополиту Антонию предложено возглавить Митрополичий округ. По мнению **«НГ-Религии»** (**Д. Щипков** «Нет единства без раскола», 16. 04), «расчет делается на то, что, с одной стороны, непререкаемый авторитет митрополита Антония в Западной Европе поможет убедить многих в правильности выбранного пути. С другой — митрополиту как главе округа будет подчиняться и Сурожская епархия, а это по замыслу должно погасить антимосковские настроения многих ее прихожан». Впрочем, учитывая возраст митрополита, он вряд ли примет предложение.

Судя по всему, православные европейцы, принадлежащие к различным Церквам, находятся в некотором замешательстве и не знают, как реагировать на послание. Однако, как пишет Д. Щипков в цитировавшейся выше статье, ожидать массового перехода верующих под омофор РПЦ МП не приходится. При этом «переход отдельных приходов лишь усугубит проблему, поскольку неизбежно повлечет за собой новые церковные расколы и надолго испортит отношения Москвы с Константинополем или Зарубежным Синодом».

2. Православно-католический диалог

Непростые взаимоотношения двух христианских Церквей, называющих себя Церквами-сестрами — Русской Православной и Римской Католической, — всю зиму находились в замороженном состоянии. Встреча Патриарха Алексия II с

новоназначенным представителем Святого Престола в России архиепископом Антонио Меннини, по сообщению **РИА «Новости»**, «была формальной и не выходила за рамки дипломатического протокола». Поэтому и весной в центре внимания прессы оставался православно-католический конфликт и связанные с ним сложности существования католической церкви в России.

Газета **«Время МН»** (04. 03, «Посол Ватикана молился в гараже») рассказала о посещении монсеньером Меннини Тулы. По сообщению корреспондента, событие это уникально, потому что никогда раньше посланник Папы Римского не бывал в провинциальных католических приходах России. Правда, молиться монсеньеру пришлось... в гараже, приспособленном под католическую часовню. Уже многие годы, пишет газета, верующие не могут вернуть себе храм, стоящий в центре города на бойком месте.

Как рассказала газета **«Известия»** (24. 02.), настоятелю католического прихода города Пушкин Ленинградской области о. Брониславу Чаплицкому МВД России отказало в виде на жительство, и теперь он должен у себя на родине в Польше обратиться с просьбой о предоставлении новой въездной визы. Это уже шестой католический священник, которому пришлось отправиться домой.

По мнению **«НГ-Религии»** (02. 04. «Католикам и православным остается надеяться на чудо»), конфликт между католиками и РПЦ действительно затянулся. И православная сторона занимает в нем гораздо более жесткую, нежели католики, позицию. РПЦ, например, требует не переманивать в свою веру русских людей, «православных по рождению», оставляя за католицизмом право быть религией немцев, поляков, литовцев и других исконно католических народов, проживающих в России.

В то же время власти традиционно православной державы высказались за приезд Папы Римского в Москву. Позицию государства выразил посол РФ при Святом Престоле Виталий Литвин. «Литвин заверил католиков, что высылка католических священников не была связана с их религиозной деятельностью и что все обвинения России в развертывании антикатолической кампании абсолютно беспочвенны», — говорится в газете **«Время Новостей»** (**К. Василенко** «В Кремле решили дружить с католиками», 17. 02).

В канун Пасхи в средствах массовой информации появилось сенсационное известие. Агентство Рейтер сообщило, что понтифик по дороге в Монголию, где он планирует побывать этим летом, может «проездом» остановиться в Казани, чтобы вернуть знаменитую икону Казанской Божией Матери — одну из наиболее почитаемых православных святынь, которая ныне хранится в папских покоях.

Газета **«Время МН»** («Пасхальный пробный шар Ватикана», 21. 04) расценила историю с иконой как своеобразный пробный шар, запущенный в «ничейную» зону, Казань, где упрекнуть католицизм в прозелитизме невозможно.

«Газета.ru» (14. 04), сообщая о возможном визите понтифика в столицу Татарстана, излагает позицию Московского патриархата по этому вопросу. По словам представителя ОВЦС прот. Всеволода Чаплина, о приезде Иоанна Павла II не может быть и речи, пока сохраняются униженное положение православных христиан на Западной Украине и католический прозелитизм в России.

Однако разговоры о кратковременном визите продолжают идти все настойчивее. В Ватикане рассчитывают на помощь Кремля. И небезосновательно. **«Время**

новостей» (23. 04) передает слова премьер-министра Михаила Касьянова, заявившего: «Хотя это не вопрос правительственного уровня, но мы рассчитываем, что в ближайшее время нам удастся принять Папу Римского».

В разруливание ситуации с визитом подключился и итальянский премьер Берлускони, который намерен лично побеседовать на эту тему с Патриархом. Сообщая об этом, **«Независимая газета»** (21. 04) говорит о рычагах давления, которые могут использовать российские власти, чтобы убедить Алексия II встретиться с Иоанном Павлом II. «После вступления в действие Земельного кодекса приходы и монастыри РПЦ оказались фактически на грани экономического кризиса. Если в законодательство не будут своевременно внесены соответствующие поправки, бюджет Московского Патриархата может очень пострадать. Решить эту проблему без помощи государства Церковь не в состоянии. Вполне возможно, что встреча Патриарха с Папой будет выставлена властями в качестве непременного условия решения проблемы церковного землевладения».

3. Проблема реституции церковных земель

Проблемы церковного землевладения вновь оказались в центре общественного внимания. Журнал **«Итоги»** (31. 03) рассказывает о законодательных инициативах депутатов А. Чуева и С. Глазьева. Правом принимать решения о возврате того или иного церковного имущества в чуевском варианте закона наделяется специальный совет при президенте РФ, у Глазьева возврат имущества происходит на договорной основе с местными органами власти или в судебном порядке. Журнал высказывает опасение, что в результате возвращения религиозным организациям экспроприированного большевиками имущества пострадают музейные комплексы страны.

Законодательные инициативы думцев «не прошли», однако необходимость урегулирования земельных отношений Церкви и государства осталась. С 1 января 2004 года все религиозные организации должны будут или оформить договоры об аренде земель, на которых расположены культовые сооружения, или выкупить землю. Но это серьезно подорвет экономическую базу всех конфессий на территории России.

К этой проблеме обратились **«Финансовые Известия.ru»** (22. 03). «В Земельном кодексе четко записано: земельный и имущественный комплекс едины. Но сейчас земля отдельно, а здание, скажем, храма — отдельно. Вот это противоречие мы и хотим исправить», — поделился с «Известиями» зампред аппарата комитета по аграрной политике Совета Федерации **Олег Лепшке.**

По сообщению **«Независимой газеты»** (17. 04), в ходе консультаций между правительством и сенаторами было решено не вводить в законопроект права бессрочного пользования землей для религиозных организаций, поскольку это разрушило бы концепцию Земельного кодекса (он предусматривает передачу земли в бессрочное пользование только государственным организациям). Земля будет передана религиозным организациям «на время их существования» в срочное бесплатное пользование. Тем временем Совет Федерации готовит аналогичные поправки в закон об обороте сельхозземель.

4. «Основы православной культуры» в школе

1 февраля в Москве завершились одиннадцатые международные Рождественские чтения — самый большой православно-педагогический форум. Комментируя его итоги, газета **«Время МН»** (01. 02. http://www.vremymn.ru/cgi-bin/2000/1092/1/3) отметила, что ораторы неоднократно говорили о факультативном преподавании «Основ православной культуры» в школе. Однако, утверждает газета, определенная часть церковного руководства по-прежнему стремится в прекрасное «вчера». Достаточно просмотреть примерное содержание учебника «Основ православной культуры», чтобы убедиться, что перед нами одна из версий дореволюционного курса со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Газета **«Курьер»** (05. 02) опровергла слухи, что в школах вот-вот будет введен обязательный предмет — «православие». Издание приводит мнение министра образования России Владимира Филиппова: «Вопрос о необходимости знаний хотя бы некоторых элементов православной культуры, ее основных этапов, ее деятелей — весьма актуален. Мы должны дать учащимся эти знания, но именно с образовательных позиций, а не с позиций культа».

Автор учебника «Основ православной культуры» **А.В. Бородина** (см. отзывы прессы на ее труд в прошлом номере «Континента») в интервью **сайту «Православие.Ру»** заявила, что нарекания в адрес учебника идут, как правило, со стороны тех, «кто ненавидит нашу культуру». Она даже не сочла нужным признать наличие нелепостей и сомнительных утверждений, которыми изобилует ее работа.

Как бы то ни было, революция светского образования в России продолжается — вероучительные предметы пришли в школу. В журнале **«Смысл»** (№ 7, 2003) **Надежда Кеворкова** обращает внимание читателей на то, что в сетке учебных программ эти предметы появились во многом благодаря государству: «В России все в общественной и политической жизни происходит с ведома администрации президента — об этом открыто говорят в самой РПЦ. Около года назад именно администрация решила вернуть религию в школу. Не случайно все конференции на эту тему происходили в ее стенах. Именно там впервые было предложено рассматривать православие как «культурообразующий» фактор и изучать его независимо от вероисповедания». «В двух десятках регионов, где преобладают русские, изучение «Основ православной культуры» идет уже пять лет. В большинстве других мест курс православия вводился «сверху» по разнарядке наладить изучение на добровольной основе», — отмечает автор.

5. Война в Ираке

Война в Ираке, несмотря на религиозную риторику Буша, не привела к «столкновению цивилизаций». Практически все православные лидеры выступили против силового решения иракской проблемы. После начала вооруженного конфликта **Синод епископов Православной церкви в Америке** призвал молиться «за бесчисленных невинных людей, как христиан, так и мусульман, чья жизнь разрывается от невыразимого страдания, голода, болезней и смерти». (Текст послания размещен на официальном **сервере РПЦ**).

Патриарх Алексий II направил открытое письмо Генеральному секретарю ООН Кофи Аннану, в котором призвал сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие и дальнейшее умножение жертв (письмо также размещено на официальном **сайте РПЦ**).

6. «Дело» священника Павла Адельгейма

О конфликте между псковским епископом Евсевием и священником Павлом Адельгеймом, посмевшим написать полемическую книжку, касающуюся болезненных проблем оскудения христианства в современной церковной жизни, «Континент» подробно рассказывал в предыдущем номере. В некоторых других изданиях также появился рассказ об этом противостоянии. В **«НГ-Религиях»** (05. 02) вышла подробная рецензия на книгу о. Павла «Догмат о Церкви в канонах и практике». Автор, **Александр Карелин,** отмечает, что «в книге, прежде всего, чувствуется боль человека, искренне служащего Церкви и не могущего смириться с тем, что происходит с ней сегодня».

«Архиепископ Псковский, — продолжает он, — любит говорить о единстве, церковной дисциплине и послушанию епископу как главе местной Церкви. Но на деле это единство распадается как карточный домик, когда он одного запрещает в служении, другого переводит за штат, у третьего отбирает храмы и приюты».

В «Новой газете» (17-20. 04) приводятся обширные выписки из «Протокола Епархиального совета», на котором травили о. Павла. В заключение автор публикации выступает с неожиданной инициативой: «Я предлагаю нашей общественности, верующим интеллигентам, именно мирянам, создать независимую общественную организацию под названием, например, «Гражданское содействие жертвам репрессивного произвола церковной власти» и определить ее задачей в первую очередь помощь (в том числе и материальную) тем, над кем учинили расправу церковные властители, чтобы людям хоть было куда на первых порах податься».

7. Подготовка к 100-летию канонизации преподобного Серафима Саровского

В этом году отмечается столетие канонизации преподобного Серафима Саровского — одного из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Основные торжества пройдут с 29 июля по 1 августа в местах, где подвизался святой — в Нижегородской епархии. Подробная программа всероссийских торжеств появилась на **сайте «Седмица.ру»** (http://www.sedmitza.ru/). Среди событий — крестный ход с мощами преп. Серафима из Дивеева в Саров, освящение храма в честь преп. Серафима в Сарове и Божественная литургия, которые возглавит Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, научно-богословская конференция под председательством Министра культуры Михаила Швыдкого и управляющего Нижегородской епархией епископа Георгия.

По сообщению **«Нового телеграфного агентства «Приволжье»** (http://www.nta-nn.ru/?id=19811, 18.03.2003), президент России Владимир Путин подтвердил свое намерение приехать в Нижегородскую область на празднование.

Сейчас подготовка к торжествам идет полным ходом. По сообщениям информационного агентства **«Благовест-инфо»**, восстанавливаются Богородичная канавка в Дивеево, церковь Антония и Феодосия в Сарове... Одновременно началась массовая пиар-компания. Как сообщили **РИА «Новости»**, в издательстве «Голос-Пресс» вышла книга, где собраны произведения известных русских литераторов о саровском подвижнике. В Российской Государственной библиотеке состоялась выставка «Серафим Саровский», иллюстрированная прижизненными изображениями старца, фотографиями и картинами мест жизни преподобного. В Саранске прошла конференция «Серафим Саровский и современный мир». А в Интеренете появился **сайт оргкомитета празднования** (http://www.serafim2003.ru/), где регулярно вывешивается свежая информация. В частности, рассказ об организации крестных ходов с иконами святого, об официальной эмблеме празднования и т.п.

Масштабная церковно-государственная подготовка к юбилею входит в завершающую стадию...

На фоне этой подготовки невольно вспоминаются события столетней давности. В те дни тысячи паломников со всех концов России, включая царскую фамилию, прибыли в Саров, чтобы поклониться прославленному святому и присутствовать на освящении храма в его честь. К длинному перечню чудес, совершившихся на могиле старца за семьдесят лет, прошедших после его кончины, добавились новые исцеления, а при открытии мощей преподобного собравшиеся почувствовали дивное благоухание. Два десятилетия поток верующих к гробнице не оскудевал.

Но уже приближалось время, когда варварски вскрывались, оскверняясь, а нередко и уничтожались мощи святых. Их вывозили из разрушенных храмов, след их терялся в неизвестных хранилищах и запасниках музеев. Не минула чаша сия и мощей преподобного Серафима. В 1922 году они были вскрыты и увезены из Сарова в Москву, в Музей религиозного искусства, расположенный в Донском монастыре. По упразднении музея его фонды были переданы в Центральный антирелигиозный музей (ЦАМ), также просуществовавший недолго. После этого след святыни теряется. Была надежда, что он найдется в Ленинградском музее истории религии и атеизма (ныне Государственный музей истории религии), в который перешли основные фонды ЦАМа и где хранились мощи святого Александра Невского и соловецких подвижников.

Однако ни попытки обнаружить упоминания о мощах в документах музея, ни специальные поиски, предпринятые в связи с начавшейся реставрацией Дивеевской обители, не увенчались успехом.

И вдруг во всеуслышание было объявлено об обретении мощей преподобного именно в запасниках Государственного музея истории религии. В церковной среде сразу возникли сомнения в подлинности находки. По Издательскому отделу, где работал тогда один из авторов этого обзора, Борис Колымагин, поползли темные слухи, что это мощи не того святого. Что на них нет следов ни от страшного удара топором, нанесенного напавшим на Серафима разбойником, ни от упавшего на старца при порубке дерева. Один из послушников, бывший кинорежиссер, повсюду рассказывал о неафишируемых опасениях архиереев о том, что серьезной научной экспертизы мощей проведено не

было. Не случайно поэтому, что когда седьмого февраля 1991 года к перрону Ленинградского вокзала подходил специальный поезд, доставивший в Москву с брегов Невы мощи преподобного Серафима Саровского, сопровождавшие святыню священники с тревогой выглядывали в окна: сколько будет народу? Уж больно келейно, без подобающего событию размаха, проходило все связанное со вторым обретением мощей. Передача и перенесение их в Троицкий собор из Казанского, где они были обнаружены, и вовсе прошли под покровом тайны. Какая-то сдержанность чувствовалась и в словах иерархов, причастных к освидетельствованию святыни.

Все это побудило Бориса Колымагина встретиться с заведующим отделом музея **Сергеем Павловым** — первым, чьим глазам вновь предстали святые мощи. Вот что он рассказал:

«Музей готовился к переезду, проводилась работа по отбору реликвий, которые должны были быть переданы Церкви. Одни из сотрудников обратил внимание на прямоугольный предмет, стоящий в углу в помещении, где у нас хранились гобелены. Трудно сказать, как давно к нему вообще не подходили: в этом хранилище уже долгие годы находятся вещи с утратами... Предмет был приблизительно с рост человека и зашит в холст. Поскольку на этот раз экспонаты проверяли тщательно, мы тотчас вспороли холст. Под ним оказался деревянный постамент, на котором под марлей и ватой (марля была прибита к деревянному основанию, очевидно, для транспортировки) находились мощи. Мы сняли вату и увидели полный остов человека: сохранились борода, волосы, частицы мышечной ткани. На черепе находился монашеский куколь с круглой прорезью, через которую прикладывались к мощам. На руках — священнические поручи и атласные светлые рукавицы, на одной золотом вышито: «Святый отче Серафиме», на другой — «Моли Бога о нас». На груди лежал медный крест — тот самый, которым в юности его благословила мать, и который всю жизнь сопровождал его. Руки сложены крестообразно...

Мощи мы сразу же перенесли в отдельное хранилище, под замок. Обо всем поставили в известность директора, он тотчас сообщил в Москву патриарху Алексию. Через несколько дней приехала из Москвы комиссия в составе епископов Евгения и Арсения, имевших при себе копии актов об обретении мощей в 1903 году и вскрытии их в 1922 году. В нашем присутствии они освидетельствовали мощи. Все совпадало с тем, что было записано в актах, не хватало только епитрахили и части кости ноги...».

Случайно ли, что святыня дошла к нам с утратами? Сегодня мы переживаем в духовном смысле тяжелые времена. Церковная институция в постсоветские годы вернула себе многие позиции, утраченные после октябрьского переворота, но внутреннее устроение церкви изменилось отнюдь не к лучшему: жесткое администрирование, утрата духа соборности, пышное цветение младостарчества, чрезмерное увлечение вторичными святынями... С амвона почти не слышно проповеди о кресте и воскресении. Даже к столетию канонизации преподобного Серафима вспоминается что угодно, но не пасхальное приветствие старца, с которым он встречал всякого приходящего к нему: «Христос воскресе, радость моя!»

Святость всегда гонима. При жизни старцу приходилось претерпевать много зла от близких ему по вере людей. Даже архиерей с подозрением смотрел

на агапическую практику преподобного (напомним, что святой давал посещавшим его богомольцам сухарики и ложку красного вина). Многое из того, что он делал, дало бы сегодня повод обвинить его в «обновленческих проектах», самый сильный из которых — поучение о стяжании Св. Духа, записанное учеником старца Н.А. Мотовиловым.

В современной индивидуалистской интерпретации учение преподобного Серафима часто сводят к фразе «Спасись сам — и тысячи спасутся вокруг тебя». Однако святой говорил иначе: «Стяжи дух мирен — и тысячи спасутся вокруг тебя». Это не одно и то же. Не случайно старец занимался устроением женской монастырской общины, создавал пронизанные живыми токами любви пространства братской жизни, не случайно к его имени возводится церковное движение беседников, имеющее двухсотлетнюю (и тоже часто непростую) историю.

У обретшей святые Серафимовы мощи Русской православной церкви — накануне столетия канонизации старца — есть повод вспомнить о духовных заветах святого. Ведь можно сколько угодно ходить вокруг легендарной канавки, прикладываться к иконе, произносить длинные речи — и не почувствовать, не принять самого главного — «Христос воскресе, радость моя!»

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины

НОЧНОЙ ДОЗОР

Перевод с английского, предисловие и примечания Елены Давыдовой.

Имя Томаса Мертона — писателя, монаха, мистика, поэта, социального и литературного критика, переводчика и комментатора — недостаточно известно российскому читателю. Давняя публикация его переписки с Борисом Пастернаком в «Континенте»; тонкая книжечка «Новые семена созерцания» (М., 1997) и несколько случайных статей и стихотворений, затерявшихся в море «благочестивой» печатной продукции последних лет; его биография, написанная Джимом Форестом (Джим Форест. Живущий в премудрости. — М.: Истина и жизнь, 2000); восторженное, но далеко не всегда верное изложение его взглядов в религиозно-философских отделах толстых газет и солидных журналов; фантастические пересказы его биографии в Интернете, которые даже не хочется опровергать; наконец, тенденциозная статья в поп-энциклопедии «Мистики XX века» (главный на сегодняшний день источник информации для оккультно ориентированных энтузиастов Мертона) — вот, похоже, и все.

Между тем, книги Мертона — а их более семидесяти, включая дневники, которые он вел всю жизнь, и обширнейшую переписку, — тридцать пять лет спустя после его смерти продолжают переиздаваться, новые биографии и воспоминания выходят в свет, в разных странах возникают общества изучения его наследия, количество диссертаций и научных работ, интерпретирующих его творчество, исчисляется сотнями и увеличивается с каждым годом.

Краткая хронология жизни Томаса Мертона[1]

1915, Франция — 31-го января у четы художников — новозеландца Оуэна Мертона и американки Руфи Дженкинс — родился сын Томас.

1916 — семья Мертонов переезжает в США, где Томас более или менее постоянно живет у деда с бабкой в Дугластоне.

1921 — Руфь Дженкинс умирает от рака.

1922 — Томас с отцом уезжает на Бермуды.

1925 — переезжают во Францию.

1926-1932 — Томас учится в лицеях и частных школах Франции и Англии.

1932 — Оуэн Мертон умирает от опухоли мозга.

1933 — Томас путешествует по Италии, проводит лето в США, осенью начинает учиться в Кембридже (французский и итальянский языки и литература).

[1] Список книг, опубликованных при жизни Мертона, в предлагаемой хронологии далеко не полон.

Определенно, этот монах с широкой улыбкой на загорелом лице и крепкими руками крестьянина представляет собой загадку. Мертон не вписывается ни в одну из готовых схем, сколько бы мы ни старались ввести его в рамки. В лучшем случае удается описать его как глубоко противоречивый, романтически-контрастный тип — монах и бунтарь, католик и дзен-буддист, молчальник и мастер слова, — что, конечно, делает его понятнее, но вряд ли приближает нас к разгадке. Ведь то, что на первый взгляд представляется противоречием, таковым для Мертона отнюдь не являлось — он жил и осознавал себя в ситуации экзистенциального парадокса, не примиряющего, а попросту отменяющего всякие противоречия. Эта свободно и ответственно принятая позиция была оплачена всей его незаурядной жизнью. Как Иона во чреве кита, Мертон плыл к своему назначению «во чреве парадокса». Книга, эпилог из которой мы предлагаем читателю, так и называется — «Знак Ионы».

Одно предварительное замечание по тексту. Образ ночи, вокруг которого построен предлагаемый отрывок, — ключевой для Мертона. В этом отношении он следует традиции испанского мистика 16-го века Хуана де ла Круса. «Темная ночь души», как ее описывает де ла Крус, — это состояние онемения всех чувств, через которое проходит человек в своем приближении к Богу.

НОЧНОЙ ДОЗОР, 4 июля 1952-го года

Сторож, сколько ночи осталось?

Ночь, о Господи, это время свободы. Ты видел день и ночь, и ночь была лучше. Начало всех вещей — в ночи, и ночью же я узнал о том, что все они конечны.

Гефсиманская обитель, омывшись в крестильной реке ночи, восстановила утраченную невинность. Прежде чем поглотить все видимое, темнота наводит

1934 — по настоянию опекуна и родственников уходит из Кембриджа и переезжает в США.

1935 — поступает в Колумбийский университет.

1938 — заканчивает учебу со степенью бакалавра и поступает в аспирантуру Колумбийского университета. Учится и работает над диссертацией по английской литературе.

1938 — крещен в католичество.

1940-1941 — преподает английский язык и литературу в Колледже святого Бонавентуры.

1941 — поступает послушником в Гефсиманский монастырь католического Ордена траппистов в штате Кентукки. Траппистский орден относится к числу созерцательных: трапписты не занимаются ни педагогической, ни миссионерской, ни социальной деятельностью. Они молятся и трудятся. Кредо траппистов — «активное созерцание». Монастыри существуют на полном самообеспечении (ежедневная физическая работа обязательна для всех) — трапписты знамениты производством сыров и пива — и отлича-

некоторое подобие порядка. Пора в дозор — табельные часы закреплены на лямке, лямка перекинута через плечо. Этой ночью, в тишине четвертого июля, пришел мой черед быть пожарным сторожем. Я буду сторожить дом, которому когда-нибудь придет конец.

Вот как это происходит:

До восьми вечера монахи распевают гимны Богоматери, подобно изгнанникам, в надежде на скорое счастье набившимся в раскаленное чрево корабля, везущего их в страну рабства. В восемь ночной ангелус[2] отпирает церковь и выпускает их на свободу. Тогда это священное чудовище — Монашеская Община — распадается на части, просачивается сквозь духоту крытых галерей, где желтые лампочки не привлекают мошкары, и рассеивается по всему монастырю.

В специальной коробке у подножия лестницы в лазарет лежат табельные часы, кеды, карманный фонарь и ключи от разных помещений.

Шум сзади, над головой и вокруг меня означает, что братья один за другим расходятся по своим кроватям. Некоторые останавливаются в галерее попить холодной воды из бумажных стаканчиков. Так мы боремся с жарой. Я беру тяжелые табельные часы и перебрасываю их на лямке через плечо. Бесшумно ступая, подхожу снаружи к ближайшему окну, устраиваюсь в его желтом свете и негромко начинаю вычитывать второе субботнее повечерие. Дом постепенно затихает.

Замешкавшийся в прачечной брат со сменой сухого белья за плечами подходит к окну, выглядывает в темноту сада и, заметив меня, читающего псалмы с требником в руках, делает вид, что испугался.

Минут через десять-пятнадцать в крытых галереях уже не будет слышно эха шаркающих по лестницам шагов. (Опоздавшие должны снимать обувь у входа в дормиторий и в носках пробираться к своим кроватям, чтобы не разбудить спящих, — как будто кто-то может спать в такую жару.)

ются особенно суровым уставом. Быт трапписта, действительно, коммунальный: у монаха нет ничего своего, даже кельи — он спит в большом дормитории вместе с десятками братьев. Траппистов часто называют молчальниками, что в известном смысле верно: хотя траппистские монахи и не дают обета молчания, они имеют право разговаривать только со старшими по иерархии и в особых случаях — с посторонними. Для общения друг с другом выработан язык жестов.

1944 — принимает простые монашеские обеты. Издана первая книга стихов — «Тридцать поэм».

1947 — принимает постоянные монашеские обеты.

1948 — издана автобиография Мертона, «Семиярусная гора»; успех превосходит все ожидания — книга становится бестселлером.

1949 — Рукоположен в священники. «Семена созерцания», «Вода Силоэ».

[2] Ангелус — часть католической службы, состоит из троекратного чтения «Аве Марии» с соответствующими стихами и заключительной молитвой. Читается трижды в день — утром, днем и вечером.

Восемь пятнадцать. Я сижу в темноте и слушаю людскую тишину. Постепенно я начинаю разбирать красноречие ночи, ночи сырых деревьев и лунного света, скользящего по склону церкви во влажной дымке спадающей жары. Миллионы неведомых существ от рая до ада оглашают ночной мир своей варварской элоквенцией. В то время как земля, подобно огромной влажной туше, отдыхает и остывает, дикая музыка набирает силу: гремит, стучит, трещит, звенит, покуда все вокруг не проникнется ее ровным безумием, никогда, однако, не переходящим грань, за которой начинается оргия — вся эта живность невинна, чиста и чужда злу. Я упоминаю о зле только потому, что знаю, как жара и неистовая музыка жизни могут сводить с ума не живущих в монастыре и толкать их на поступки, которые мир уже разучился оплакивать. Оттого некоторые и ведут себя так, словно и ночь, и лес, и жара, и животные несут в себе дурную заразу, в то время как на самом деле жара праведна, животные — дети Бога, и ночь создана не для того, чтобы укрывать грех, а чтобы раскрывать бесконечные пространства для благодати и отпускать наши души играть между звездами.

Восемь тридцать. Обход начинается с южного подвала, где свалены обнаженные провода. Оттуда несет запахом содранных телячьих шкур. Я иду по земляному полу через длинные катакомбы, там в конце — новенькая запертая дверь ведет в крыло для гостей, которое закончили только накануне. В катакомбах я первый раз пробиваю табель, потом поворачиваюсь спиной к новому крылу — и дежурство началось. Вон там, за углом, есть отверстие в стене, где стоит чан для варки фруктов. Под этим чаном по указанию дома[3] Фредерика я однажды сжег все письма, хранившиеся в комнате, которую он занимал, пока был настоятелем монастыря. За следующим углом — старая печка, где я жег остальные бумаги из той же комнаты. В этой затхлой тишине, больше уже не пахнущей вином (винодельня теперь в другом здании), свет от карманного фонаря скачет резвым теннисным мячиком по стенам и полу. Как кошка — лапами, сторож осязает

1951-1955 — Наставник схоластиков (монахов, готовящихся к принятию священнического сана).

1951 — «Восхождение к истине».

1953 — «Знак Ионы».

1955 — «Человек — не отдельный остров».

1955-1965 — Наставник новициев[4].

1957 — «Безмолвная жизнь».

1958 — «Мысли в уединении».

---

[3] Дом — аббат монастыря, имеющего статус аббатства.

[4] Новиций — послушник второй ступени, уже проведший год в монастыре. Обычная длительность второй ступени послушничества — два года. Новиций не принимает постоянных обетов и при желании может покинуть монастырь, однако носит рясу и участвует в жизни общины. По окончании испытательного срока новиций, если за него проголосует община, принимает временные обеты, за которыми через три года следует принятие вечного (торжественного) монашеского обета

чуткими ногами, что здесь земляное покрытие переходит в бетонное. Проходя сквозь окна, лунный свет добирается до самого темного угла, туда, где полки уставлены банками с черносливом и яблочным пюре.

И тут, на выходе из сумрачных катакомб, неожиданно наталкиваешься на нечто головокружительно-новое: это кухня, которую недавно покрасили братья-послушники, каждую стену в другой цвет. Некоторые монахи выражают недовольство разноцветными стенами, но у сторожа нет своих мнений. Керамическая плитка под надраенными чанами и цитата из Писания почти под потолком: «Чада, возлюбите друг друга!».

В буфетной синие скамейки; здесь прохладно. Если бесшумно подняться по лестнице, можно столкнуться с припозднившимся братом, в темноте проходящим через кухню из кладовой. Ослепленный светом карманного фонаря, он застынет и (если это новичок), вероятно, испугается до смерти.

Следующие несколько метров пути я знаю лучше всего. Эта маленькая галерея — главное русло монастырской жизни. Она соединяет место, где монахи живут, с местом, где они молятся. Но сейчас галерея пуста, и, как и всюду, здесь гораздо приятнее, когда никого нет. Ступени, ведущие вниз в пошивочную мастерскую, издают особый звук. Они гулко барабанят под резиновыми подошвами моих кед. Я вдыхаю запах парусины и хлопка, смешанный с запахом хлеба. В пекарне горит свет, там у печи кто-то заработался. Около двери пробиваю табель: тут второй пост.

Третий пост самый жаркий. Котельная. Ступени уже не барабанят, а звенят: они железные. Я прокладываю путь сквозь джунгли развешенной для просушки одежды, мимо толстобокого парового котла, к третьему посту, который расположен у кирпичной стены под гравюрой Святого Лика.

Отсек, отведенный для новициата[5]. Здесь тоже жарко. Пол выметен, стены недавно покрашены, всюду — доски объявлений; коридоры, где каждая синяя

1960 — «Спорные вопросы».

1961 — «Новый человек».

1964 — «Семена разрушения».

1965 — «Ганди о непротивлении». «Путь Чжуаня Цзы».

1965-1968 — получает разрешение на отшельничество: живет на территории монастыря в уединенном доме.

1967 — «Мистики и дзенские наставники».

1968 — «Монашеский пруд», «Вера и насилие», «Дзен и птицы аппетита».

1968, 10-е декабря — Томас Мертон (в монашестве — отец Луи) погибает в Бангкокской гостинице (удар током от неисправного вентилятора) в Тайланде, куда он приехал для участия в конференции азиатских бенедиктинцев и цистерцианцев.

---

[5] Новициат — помещение, в котором занимаются новиции.

дверь названа в честь святого, петляют и кривятся. Длинный список часов приема для исповедей и наставлений. Изречения из литургии. Отрывистые, простые и необходимые сведения. Но от стен исходит особенный затхлый запах, который сразу переносит меня в мои первые монастырские дни, в ту морозную суровую зиму, когда я только что надел рясу послушника и постоянно страдал от простуды; этот запах мерзлой соломы в дормитории под часовней, и нежданный глубокий восторг Рождества, того первого Рождества, когда у тебя ничего не осталось в мире, кроме Бога.

Только здесь, в новициате, ночной обход начинается по-настоящему. В одиночестве и молчании проходя назначенными путями по коридорам огромного спящего монастыря, сворачиваешь за угол и вдруг оказываешься лицом к лицу со своим монашеским прошлым и тайной своего призвания.

Теперь задача сторожа неожиданно является в подлинном свете. Ночной обход — это досмотр совести один на Один. Все остальное — лишь предлог, придуманный Богом, чтобы поместить тебя в самое сердце тьмы и оттуда высветить душу огнем вопросов.

Господи Боже мой, Господи, Которого я встречаю во тьме, вечно с Тобой одно и то же! Всегда один и тот же вопрос, на который никто не знает ответа!

Я молился Тебе в дневные часы в напряжении рассудка, а ночью Ты являлся и опрокидывал все мои резоны, обоснования и соображения. В ясном свете утра я обращался к Тебе с прошениями, и в неизъяснимости ночи Ты нисходил ко мне, с великой нежностью и терпеливым молчанием рассеивая свет и отменяя все мои прошения. Я сотни раз объяснял Тебе, что побудило меня пойти в монастырь; Ты слушал и ничего не отвечал, и тогда я, пристыженный, отворачивался и плакал.

Неужели мои побуждения ничего не значат? А мои желания — только заблуждения?

Пока я задаю Тебе вопросы, на которые Ты не даешь ответа, ты задаешь мне вопрос, который так прост, что я не могу на него ответить. Он так прост, что я и понять его не умею.

Этой ночью, и каждой ночью — один и тот же вопрос.

Крутые полые ступени, издающие особенно живой звук, ведут в часовню новициата. Пусто, окна плотно затворены, нагревшийся воздух неподвижен. Здесь — только Ты и жар утраченного дня.

Сюда я приходил зимой в единственный дневной перерыв, когда нам разрешалось делать что угодно, — отяжелевший от недосыпа и картошки новиций — опускался на колени и стоял, сколько хватало времени. Ничего особенного я не делал, просто стоял, но это-то мне и нравилось.

Здесь мы воскресными утрами репетировали процессию Крестного Пути, толпясь и натыкаясь друг на друга среди скамеек, и здесь же в летние дни, отведенные для реколлекции[6], долгими послеполуденными часами простаивали на коленях — пот струился по ребрам, и свечи горели вокруг скинии, и

[6] Реколлекции — вид духовной практики в католичестве.

сквозь прорези портьеры закутанная дароносица поглядывала на нас с застенчивым любопытством.

Но сейчас мне, стоящему в ночи на этом же месте с огромными табельными часами, тикающими на правом боку, с фонариком в руках и кедами на ногах, все прошедшее представляется нереальным. Как если бы оно никогда не существовало. Вещи, которые я полагал столь важными — скольких усилий они мне стоили! — оказались несущественными. А то, о чем я никогда и не думал, чего не мог бы ни определить, ни предположить, — это как раз и имело значение.

(Раньше тут был один человек — летом он всегда в одно и то же время появлялся на проселочной дороге, ранним утром, как раз когда послушники возносили благодарственные молитвы после принятия причастия: шел и распевал свою личную песенку, каждый день одну и ту же. Песенку , какую и можно услышать в разгар деревенской жары, среди круглых кентуккских холмов.)

Но что именно имело значение — в этой темноте я не смогу сказать наверняка. Что, возможно, составляет часть Твоего вопроса, на который нет ответа!

Я только помню июньский зной над бобовыми полями в мое первое монастырское лето, и такое же ощущение таинственного, нежданного смысла, поразившее меня после похорон отца Альберика.

После новициата я возвращаюсь в маленькую галерею и скоро оказываюсь у самого прохладного поста: в монашеской умывальне, около входа в гончарную мастерскую. Через широко раскрытые окна из леса идут сюда потоки свежего воздуха.

Тут особый город, и особый набор ассоциаций. Гончарня — нечто сравнительно новое. За этой дверью (где одна печь для обжига сгорела и теперь взамен куплена новая) маленький отец Иоанн Божий сделал хорошее Распятие, всего неделю назад. Он один из моих схоластиков[7]. И теперь я думаю о глиняном Христе, вышедшем из его сердца. О красоте, простоте и пафосе, которые дремали там, дожидаясь, когда можно будет воплотиться в образ. Я думаю об этом бесхитростном человеке с непостижимой душой ребенка и о других моих учениках. Что там зреет в их сердцах в ожидании рождения? Страдание? Обман? Героизм? Мир? Предательство? Святость? Смерть? Поражение? Слава?

Со всех сторон подступают вопросы, на которые я не могу ответить, потому что время ответов еще не пришло. Между Божьим безмолвием и безмолвием моей души стоит безмолвие вверенных мне душ. Погрузившись в эти три безмолвия, я понимаю, что вопросы, которыми я задаюсь относительно моих учеников, — быть может всего лишь досужие догадки. И, весьма вероятно, что самым необходимым и практически-полезным упражнением в самоотречении было бы отречение от всяких вопросов.

Самое поразительное в пожарном обходе — это то, что ты проходишь монастырь не только в длину и высоту, но и в глубину. Натыкаешься на странные каверны монастырской истории, на осевшие с годами пласты, целые геологические страты — чувствуешь себя, как археолог, неожиданно раскопавший

[7] Схоластик — монах, изучающий теологию в связи с подготовкой к принятию священнического сана. Монахи, уже принявшие сан, участвуют в занятиях по крайней мере раз в месяц. Томас Мертон с 1951-го по 1955-ый год руководил занятиями по теологии в Гефсиманском монастыре.

древнюю цивилизацию. Но ужаснее всего, что ты сам, оказывается, проживал во всех этих погребениях. За десять лет монастырь так изменился, как будто здесь каждый год сменялось десять египетских династий. Их значения и смыслы накрепко замурованы в стенах, но под нажимом резиновых подошв из-под пола еще доносится их невнятное бормотание. Самый глубокий пласт залегает в катакомбах под южным крылом и церковной башней. Все другие уровни истории расположены между ними.

Церковь. Несмотря на тишину, она кажется полной жизни. Свет от единственной лампады ложится небольшим изменчивым пятном на евангельскую сторону алтаря[8], вокруг которого постоянно движутся тени. Темнота насыщена неясными звуками, на пустынных хорах что-то поскрипывает, невидимые доски подают таинственные сигналы.

В ризнице тишина звучит иначе. Я направляю свет фонаря на алтарь Святого Малахия и раки с мощами. На алтаре Богородицы Победительной выложено облачение для моей завтрашней мессы. Ключ щелкает в двери, и эхо разносится по всей церкви. Когда я впервые совершал ночной обход, я подумал, что она заполнена молящимися в темноте людьми. Но нет. Ночь в церкви насыщена невнятными шорохами, стены — шелестами, ропотами и шепотами, которые, часы спустя после того как завершились события дня, пробуждаются, стекаются к опустевшим местам и, скопившись там, быстро бормочут что-то нечленораздельное, как будто спеша договорить недосказанное.

В темноте близость к Тебе слишком проста и осязаема, чтобы вызывать волнение. Ночью всем вещам свойственно вести непредвиденную жизнь, но это жизнь призрачная и неподлинная. Призраки гуляющих по стенам церкви звуков только усугубляют бесконечное содержание Твоего молчания.

Здесь, в месте, где я принял обеты, где мои ладони были миропомазаны для Святой Мессы, где рукоположение скрепило печатью самую глубину моего существа, — любое слово и любая мысль только пятнают тишину Твоей невыразимой любви.

Господи, в Своей подлинности Ты обращаешься ко мне как к близкому другу, Один посреди множества фикций — этих стен, крыши, арок, этой смехотворно высокой и непрочной башни над головой.

Господи Боже мой, сегодня ночью весь мир кажется сделанным из бумаги. Самые крепкие вещи вот-вот сомнутся, скомкаются, порвутся и разлетятся по ветру. А что до этого монастыря, в который мы все так верим, — его, быть может, уже и не существует вовсе.

Боже мой, Боже, в ночи есть такой смысл, что дню и не снился. Всё на свете — спит оно или бодрствует — приходит в смятенье, осознавая близость своего конца. Только человек устраивает для себя иллюминацию, уверенный, что она достаточно надежна, чтобы вечно освещать ночную тьму. Но пока мы ставим вопросы и принимаем решения, Бог сдувает их, словно пылинки: сторожа старательно вычисляют теорию прочности, — а в это время крыши наших домов рушатся, муравьи подкапываются под могучие башни, стены трещат, падают и самые святые здания сгорают дотла.

---

[8] Правая сторона алтаря, если смотреть от входа в церковь.

Время идти на колокольную башню. Время встречи с Тобой, Господи, — там, где ночь чудесна, крыша под ногами почти нематериальна, где хлам, разбросанный в звоннице, говорит о скором прибытии трех новых колоколов, где лес широко раскинулся под луной, а все живые существа пронзительно распевают о том, что лишь настоящее вечно, а всё, у чего есть прошлое и будущее, обречено исчезновению.

Сперва я должен обойти весь второй этаж. Затем подняться в дормитории третьего этажа. И после этого, башня.

Крытая галерея. Кошачьи лапы, полная тьма. В зимнем саду братья-монахи[9] разобрали палатку, в которой две зимы назад спали новиции и где некоторые получили воспаление легких.

Вчера они навесили новую дверь в комнату отца аббата, пока он с домом Габриэлем ездил по нашим дочерним монастырям.

Я в коридоре, проходящем под старой гостиницей для паломников. В середине его на длинном столе разложены ножи, вилки, ложки , миски — здесь завтракают постуланты и братья-миряне[10]. Три раза в день они едят в коридоре. Вот уже два года как в монастыре не находится места, где можно было бы их разместить.

Высокая светлая дверь в старое гостиничное крыло захлопывается за мной, и я на лестнице.

Я и забыл, что верхние этажи пусты. Тишина поражает меня. Когда я в прошлый раз был на пожарном обходе, тут посреди ночи стояла растянувшаяся по всему второму этажу очередь из полусотни паломников, вписывающих свои имена в гостиничный журнал. Автобус только что привез их из Нотр Дама. Сейчас здесь совершенно пусто. На стенах нет объявлений. Из холла исчезли книжные полки. Заметно сократилась популяция религиозных статуй. Все окна широко распахнуты. На прохладный линолеум падает лунный свет. Некоторые комнаты открыты, и видно, что они пусты, как и все остальные. Я ощущаю эту пустоту сквозь запертые двери.

Хочется остановиться и постоять здесь хоть час, просто чтобы почувствовать разницу. Старая гостиница похожа на только что выздоровевшего больного. Вот оно, Гефсиманское аббатство, каким оно было, когда я сюда пришел, и о котором почти уже позабыл. В эту вот тишину, в эту темноту и пустоту я вступил вместе с братом Мэтью одиннадцать лет назад, весной. От всего удаленный, дом построен так, чтобы тут отрешиться от всех городов и погрузиться в годы вечности. Но ничего обнадеживающего нет в этой его вновь обретенной невинности. Тишина звучит упреком. Сама пустота — мой самый больной вопрос.

---

[9] В траппистских монастырях живут монахи разных обетов. Братья—монахи не рукополагаются в священство и, в отличие от монахов-священников (иеромонахи в православии), больше времени отдают физическому труду и меньше — церковным службам.

[10] Постуланты — послушники первого года. Братья-миряне живут в монастыре, следуют его правилам и в обмен на полный пансион помогают в выполнении хозяйственно-строительных работ.

Если я сам нарушил молчание и принялся так трезвонить об этой пустоте, что она наполнилась людьми, то кто я такой, чтобы теперь прославлять тишину?[11] Кто я такой, чтобы рекламировать пустоту? Кто я, чтобы делать замечания о слишком большом числе посетителей, паломников, послушников, туристов? Или человек нашего времени уподобился Мидасу — стоит только преуспеть в чем-то, как сразу все, к чему ни прикоснись, наполняется людскими толпами?

Уж коли в наш век толпы я выбрал себе путь отшельника, не самый ли большой грех — жаловаться на присутствие других людей у порога моего уединения? Разве я так слеп, чтобы не видеть, что уединение и есть их главная потребность? Но и они — если тысячами устремятся в пустыню, как смогут они пребывать там в одиночестве? Что хотят они там увидеть? А я сам, кого я пришел искать здесь, как не Тебя, Христос, — Тебя, имеющего сострадание к людским множествам?

И все-таки Твое сострадание выбирает того, на кого должна снизойти Твоя милость, и отличает его, и ставит отдельно от любого множества, даже если Ты и бросаешь его в самую гущу толпы...

Упершись ногами в пол, который я натирал, когда был постулантом, я задаю эти бесполезные вопросы. Вешаю на место ключ от двери, ведущей к трибунам хора, где я впервые услышал, как монахи распевают псалмы, — и не жду ответа, потому что уже начинаю догадываться, что Ты никогда не отвечаешь, когда я этого жду.

Третий зал библиотеки называется у нас адом. Маленькие дощатые перегородки делят его на четыре закутка, куда свалены признанные негодными книги. На перегородках висят американские флаги и портреты дома Эдмонда Обрехта.[12] Сквозь этот немыслимый лабиринт я пробираюсь во второй читальный зал, где раньше сидели ретританты[13], морщили брови и слушали проповеди. Проплывая мимо книжных полок, тикая табельными часами, помарги-

---

[11] В конце сороковых годов в Гефсиманский монастырь, предназначенный для жизни восьмидесяти человек, хлынул поток новициев и постулантов, чему в значительной мере способствовал превысивший все ожидания успех первой книги Томаса Мертона «Семиярусная гора». В результате, хотя монастырь и пытался ослабить натиск извне за счет создания нескольких дочерних монастырей в Америке, в нем одновременно проживало почти триста человек, не считая приезжих, туристов и любопытных. Мертон, монах-молчальник, оказался в эпицентре общественного внимания, что немало осложнило его жизнь.

[12] Дом Эдмонд Обрехт — аббат Гефсиманского монастыря с 1898-го по 1935-ый год.

[13] Ретританты — люди, останавливающиеся в гостинице монастыря с тем, чтобы вести образ жизни, близкий к монастырскому. Предполагается, что ретритант посвящает свое время размышлению и молитве; однако никто не следит за тем, что он делает. Ретрит может быть групповым или индивидуальным, длиться несколько дней или недель, и доступен любому, без каких-либо (включая религиозные) ограничений. Собственно, для ретритантов и существуют бесплатные монастырские гостиницы с трехразовым питанием, отдельными комнатами, возможностью уединения, молчания, посещения церковных служб и личных бесед с наставником (в настоящий момент в Гефсиманском монастыре эту функцию выполняет очень старый, хотя на удивление живой и острый, отец Мэтью, бывший в свое время исповедником Томаса Мертона).

вая фонарными огоньками и позвякивая ключами от первого зала, я стараюсь не смотреть в угол с книгами о картузианцах, которые некогда завлекали меня своими песнями сирен.[14] В первом читальном зале стоят столы схоластиков — здесь находится верхний скрипториум. Всюду по стенам — теологические книги. Вон висят сломанные часы с кукушкой, которые отец Виллиброд каждое утро, прежде чем рывком распахнуть окна, настраивает с выражением некоего принципиального несогласия на лице.

Наверное, самая длинная комната в Кентукки — дормиторий хоровых монахов.[15] Долгие ряды отсеков, разделенных перегородками высотой чуть выше шести футов; мы развешиваем на них рубашки, рясы и наплечники, чтобы хоть как-то подсушить их на ночном воздухе. Вдоль стен между окнами втиснуты дополнительные выгородки, в каждой — по монаху на соломенном матрасе. В центре зала — бледная лампочка, углы его окутаны тенями. Мягко прохожу от отсека к отсеку. Я знаю, в каких из них храпят. Но сейчас, кажется, в этой странной обители никто не спит. Тихо, как только возможно, иду к дальней западной стене, где в углу под звонком стоит койка отца Калеба. Нахожу пост за органной дверью, пробиваю табельные часы и, мягко ступая, возвращаюсь вдоль противоположной стены дормитория.

Между двумя выгородками прячется дверь, ведущая во флигель лазарета. Там уже храпят вовсю. За лазаретом — крутая лестница на третий этаж.

Прежде чем подняться по ней, еще одно задание. Маленькая квадратная часовня при лазарете, которая давала мне пристанище перед началом всех важных этапов моей монастырской жизни: принятием послушничества, пострижением, рукоположением. Всякий раз, когда я здесь, некое чувство — его не выразить словами — вздымается из самых глубин моего существа. Это та тишина, которая поднимет меня на башню.

Между тем пробиваю часы на следующем посту — около зубоврачебного кабинета, где на следующей неделе мне вырвут еще один коренной зуб.

Теперь дела закончены. Теперь я могу взойти на вершину города веры, оставив внизу его нынешнюю историю. Эта лестница началась еще до Гражданской войны. Не задерживаясь в освещенном синей лампочкой дормитории братьев-монахов, я спешу мимо гардероба в коридор. Выглядываю в низкие окна : ага, я уже выше деревьев. В конце коридора вход на чердак и оттуда — на башню.

Висячий замок всегда производит ужасный шум. Наконец, дверь, закрепленная на петлях, которые при любом прикосновении разражаются бранью, отворяется, и ночной ветер, горячий и порывистый, врывается с чердака, принося с собой запах стропил и старых, пыльных, лежалых вещей. Осторожнее на третьей ступень-

[14] Одно время Мертон всерьез раздумывал о переходе в монастырь другого ордена — Картузианского, но не получал на это одобрения своего начальства. Картузианцы живут в отдельных кельях, а не в общих дормиториях, и Мертон надеялся, что такие условия помогут ему лучше сосредоточиться на созерцательной молитвенной практике. Едва ли не с первого дня в монастыре он хотел вести жизнь отшельника, что ему со временем (но нескоро) было позволено.

[15] Хоровые монахи — монахи, уже рукоположенные в священники (иеромонахи в православии).

ке: не провалиться бы сквозь доски. Отсюда и выше здание постепенно развоплощается, утрачивает материальную основательность, но, однако, надо все время быть начеку, иначе расшибешь голову о балки, на которых еще видны следы топоров, оставленные еще сто лет назад нашими французскими отцами...[16]

Сейчас звенящая под ногами пустота равна что-нибудь шестидесяти футам до пола церкви. Я стою прямо над средокрестием[17]. Если хорошенько пошарить, можно найти дырку, проделанную фотографами, заглянуть в пропасть и высветить внизу мое место в хорах.

По шаткой, извилистой лестнице взбираюсь на колокольню. Высоко над головой, среди мрачных инженерных конструкций, поддерживающих шпиль, потревоженная темнота в смятении хлопает крыльями. На расстоянии вытянутой руки постукивают старые башенные часы. Я направляю свет фонарика на эту загадку — что до сих пор заставляет их работать? — и пристально вглядываюсь в старинные колокола.

Так, шкаф с предохранителями я осмотрел. Заглянул в углы, где должна быть электропроводка. Удостоверился, что нигде нет огня — загорись он тут, башня мгновенно вспыхнет факелом и через двадцать минут пожар неминуемо охватит все аббатство...

Всем своим существом вдыхая продувающий колокольню ветер, я подхожу к приоткрытой двери, сквозь которую виднеются небеса, и легонько толкаю ее. Дверь настежь распахивается в бескрайнее море тьмы и молитвы. Таким ли будет он, час моей смерти? Отворишь ли Ты дверь в великий лес, поведешь ли меня в лунном свете по лестнице, поднимешь ли к звездам?

Взойдя выше вершин деревьев, я шагаю по светящемуся воздуху, а подо мною длинно блестит металлическая крыша, обращенная к лесу и холмам.

Из полей вокруг спящего аббатства поднимается дымка влажного жара. Вся долина залита лунным светом; на юге можно сосчитать холмы за водокачкой, на севере — перечислить деревья в роще. Внизу гигантский хор живых существ возносит свои рулады: жизнь поет в ручьях, трепещет в речках, полях, деревьях — миллионы и миллионы прыгающих, летающих и ползающих тварей. А наверху, высоко надо мной прохладное небо раскрывается навстречу студеным звездным просторам.

Я кладу табельные часы на выступ колокольни, сажусь по-турецки и, прислонившись к стене, начинаю молиться, лицом к лицу все с тем же вопросом, на который нет ответа.

Господи Боже этой великой ночи, видишь ли Ты этот лес? Слышишь ли шепот его одиночества? Проникаешь ли его тайну? Помнишь ли его укромные тропы? Видишь ли Ты, что моя душа оплывает, подобно воску?

Clamabo per diem et non exaudies et nocte et non ad insipientiam mihi![18]

---

[16] Гефсиманский монастырь был основан в Америке как дочернее образование от французского аббатства в 1848-м году.

[17] В европейской церковной архитектуре — область пересечения центрального нефа и трансепта; обычно венчается башней.

[18] *Я вопию днем,— и Ты не внемлешь мне; ночью — и нет мне успокоения.* Пс 21:3.

А место около речного притока Ты помнишь? А тот момент осенью на вершине Виноградничного холма, когда поезд шел по долине? А лощину МакГинти и поросший редким лесом склон, что за домом Ханекампа? А лесной пожар? Знаешь ли, что стало с молодыми тополями, которые мы высадили весной? Ведешь ли наблюдение за долиной, где я помечаю деревья, предназначенные для срубки?

Нет на свете зеленого листа, о которым бы Ты не заботился. Нет крика, не услышанного Тобой еще до того, как он исторгнется из горла. Нет подземных вод, не укрытых Тобой в глинистых слоях почвы. И всякий потаенный родник тоже спрятан Тобою. Нет такой лощины с одиноким домом, которая не была бы задумана Тобой для этого уединения. Нет человека на этом акре леса, не рожденного тобой для этого акра леса.

В тишине все-таки больше успокоения, чем в ответе на вопрос. В настоящем присутствует вечность, вот она у меня в руке. Вечность — как огненное семя: его стремительно выпирающие корни сокрушают оковы, не дающие разверзнуться моему сердцу.

Вещи времени в сговоре с вечностью. Тени состоят у Тебя на службе. Животные поют Тебе, пока не умрут. Тугие холмы опадают, как изношенные одежды. Все меняется, умирает, исчезает. Вопросы возникают, кажутся насущными, и тоже исчезают без следа. В этот час я перестану их задавать, и тишина будет мне ответом. И тогда мир, сотворенный Твоей любовью и исказившийся от летнего зноя, тот мир, которому мой разум способен давать только ложные истолкования, — он не будет больше служить помехой нашим голосам.

Мысли, путешествующие вовне, приносят из окружающего мира сообщения о Тебе; но диалог с Тобой, если вести его через посредство мира, всегда оказывается разговором с моим собственным отражением в реке времени. Да и возможен ли диалог с Тобой? Разве только если Ты Сам выберешь гору, и покроешь ее густым облаком, и огнем высечешь слова в сознании Моисея.

Этот раскаленный плод грома и молнии, некогда явленный ему на каменных скрижалях, мы теперь носим в себе естественно и тихо, легче дыхания.

Ладонь раскрыта. Сердце немо. Душа, эта твердая жемчужина в пустом дупле моего мнимого могущества, удерживающая вместе мое физическое существо, однажды уступит и сдастся.

Я вижу звезды, но больше не притворяюсь, что знаю их. Я много раз ходил по этому лесу, но смею ли я сказать, что люблю его? Одно за другим я забуду имена отдельных вещей.

Тебя, Кто спит в моей груди, не встретить в словах, но только в прорастании жизни изнутри жизни и мудрости изнутри мудрости. Найти Тебя можно в причастии: Ты во мне и я в Тебе, Ты в них и они во мне — отрешение в отрешении, бесстрастие в бесстрастии, пустота внутри пустоты, свобода внутри свободы. Я один. Ты один. Отец и я — одно.

В раю слышится Божий голос:

«Что было ничтожным, стало драгоценным. Что сейчас драгоценно, никогда не было ничтожным. Я всегда знал, что ничтожное драгоценно, ибо для Меня нет ничего ничтожного.

Что было жестоким, стало милосердным. Что сейчас милосердно, жестоким не бывало. Я всегда покрывал Иону Моим милосердием, ибо Мне неведома жестокость. Иона, дитя мое, видел ли ты Меня? Милосердие внутри милосердия внутри милосердия. Я простил мирозданье во веки веков, ибо Мне незнаком грех.

Что было нищим, стало несметным. Что сейчас несметно , никогда не было нищим. Я всегда знал, что бедность неиссякаема — и никогда не любил богатства. Тюрьма внутри тюрьмы внутри тюрьмы. Не копи для себя радостей на этой земле, ибо пространство разлагается, а время лукавит, и минуты не столько дают, сколько крадут. Иона, сын мой, не вверяй себя времени, дабы эта река не унесла тебя.

Что было слабым, стало крепким. Я люблю самое хрупкое. Я призрел то, что было ничем. Я прикасаюсь к не имеющему субстанции, и где ее нет, там Я пребываю».

Восходит великое солнце, капли росы сапфирами сверкают в траве, и листья деревьев трепещут вослед бесшумно улетающему голубю.

Николай ШАБУРОВ

ПОРА ТРЕЗВЕТЬ

Точки-Puncta

Ежеквартальный католический журнал, посвященный проблемам религии, культуры и общества. М.: Колледж Св. Фомы Аквинского, 2001-2002 (1-2, январь-июнь 2001 — 160 с.; 3-4, июль-декабрь 2001 — 212 с.; 1-2, январь-июнь 2002 — 340 с.; 3-4, июль-декабрь 2002 — 287 с.).

Уже подзаголовок заинтриговывает. В последний год много говорят о католичестве, о его «экспансии» в России, но это все слова-слова-слова... Реально присутствие католицизма почти не ощущается. И вот журнал, открыто называющий себя католическим и при этом посвященный не делам русской католической общины, а «проблемам религии, культуры и общества».

Конечно, это не единственное серьезное католическое издание на русском языке. В кругах гуманитарной интеллигенции, интересующейся проблемами христианства, широко известен журнал «Символ», но редакция «Символа» находится в Париже, и хотя значительная часть авторов этого альманаха живет в России, все же на нем лежит некоторая печать «заграничности». Правда, и главный редактор «Точек» отец Станислав Опеля из Общества Иисуса (Ордена иезуитов), бывший ранее ректором московского Колледжа Св. Фомы Аквинского, проживает в Польше. Он был если не первым, то одним из первых католических священников, лишенных российской визы и потерявших возможность продолжать работать в России. Однако реально журнал делается в Москве усилиями заместителя главного редактора Н. Мусхелишвили и редколлегии, состоящей отнюдь не только из католиков — в нее, в частности, входят известные философы Анатолий Ахутин и Владимир Бибихин. Немало некатоликов и среди авторов. И это не случайно. Издатель журнала — Колледж (ныне — Институт) философии, теологии и истории Св. Фомы Аквинского, курируемый Обществом Иисуса, привлекает к преподаванию многих профессоров и преподавателей московских вузов. При этом основным критерием является их профессионализм, а не конфессиональная принадлежность.

Обратимся теперь к содержанию вышедших номеров (кстати, реально журнал выходит два раза в год, и уловка со сдвоенными номерами не превращает его в ежеквартальный).

Николай ШАБУРОВ — родился в 1953 г. в Тбилиси. Окончил исторический факультет МГУ. Доцент РГГУ, директор Центра изучения религий РГГУ. Автор ряда работ по истории гностицизма и раннего христианства, а также по современной религиозной ситуации в России. Живет в Москве.

Не вызывает удивления, что в трех номерах из четырех имеются материалы, посвященные Игнатию Лойоле: в № 1-2 за 2001 г. — статья генерала Общества Иисуса П.-Х.Кольвенбаха «Воспитание в духе Св. Игнатия», в № 3-4 за 2002 г. — статья того же автора «Опыт Христа у Игнатия Лойолы», а также любопытнейшая публикация из архива Сергея Эйзенштейна, в которой великий кинорежиссер сравнивает методы духовных упражнений Лойолы и систему Станиславского. Но уникальным в этом отношении является № 1-2 за 2002 г., содержащий исключительно тексты Лойолы, комментарии и статьи об этих текстах. В номер включены два важнейших текста Лойолы в блестящем переводе Андрея Коваля — Автобиография и Духовный дневник. До этого времени на русском имелись лишь «Духовные упражнения» св. Игнатия. Хотелось бы, чтобы эти переводы были замечены читающей публикой — это не только значительные памятники культуры, обладающие высокими художественными достоинствами, но и потрясающие свидетельства духовно-мистического опыта их автора, парадигматические тексты восходящей к Игнатию Лойоле традиции иезуитской мистики, репрезентативные образцы западной христианской духовности.

Сочинения эти отличаются друг от друга — пронзительно-откровенная и в то же время трезво-серьезная «Автобиография» сразу завораживает читателя, в то время как чтение протокольно-сухого «Духовного дневника» требует немалых усилий. Но усилия эти оправданы: вдумчивый читатель будет вознагражден с лихвой. Ведь для России знакомство с творениями Лойолы является тройным открытием. Игнатий, которого всегда изображали одновременно религиозным фанатиком и циником, провозглашавшим, что цель оправдывает средства, предстает подвижником, всего себя отдавшим служению Христу и Церкви, мистиком-визионером и тончайшим психологом. Второе открытие: Орден иезуитов, столетиями обличаемый как тоталитарная организация, не брезговавшая ничем для достижения своих целей, оправдывавшая интересами дела любое преступление, создавшая изощренную систему манипулирования человеческим сознанием, оказывается школой духовной самодисциплины и воспитания универсальной человеческой личности.

Здесь я позволю себе отступление. Есть термины, конкретный культурно-исторический смысл которых если и не забыт, то вспоминается гораздо реже их переносного значения. Более того, конкретное значение этих терминов в нашем восприятии несет отпечаток смысла переносного.

В самом деле, что обычно ассоциируется со словом «схоластика»? Обыденное представление нашло отражение в авторитетных словарях. Даль: «философия внешности, основанная на логике или на диалектике; вообще, школярство, школярное направление, сухое, тупое, безжизненное». Ожегов (через сто лет после Даля): «1. Средневековая идеалистическая, враждебная науке философия, опиравшаяся на догматы церкви и отличавшаяся крайней абстрактностью. 2. Знание, оторванное от жизни, основывающееся на отвлеченных рассуждениях, не проверяемых опытом, буквоедство». Сейчас, слава Богу, интересующийся философией читатель может обратиться к переведенным в последнее десятилетие трудам Ансельма Кентерберийского, Абеляра, Фомы Аквинского, Бонавентуры, Боэция Дакийского, Дунса Скота, У.Оккама, к исследованиям Э.Жильсона, Ф.Коплстона, В.Гайденко, Г.Смирнова, С.Неретиной, хотя бы

к фрагменту Фомы Аквинского «Против учения о вечности мира» в переводе Т.Ю.Бородай, предваряемого ее же интереснейшей статьей «Проблема вечности мира» («Точки», 2002, № 3-4). Это поможет ему самостоятельно решить, так ли уж тупа и безжизненна схоластика.

Аналогичная история со словом «талмудист». По Ожегову, это: «1. Последователь и истолкователь казуистики талмуда [в моем издании 1953 г. с маленькой буквы — *Н.Ш.*], 2. Перен. Начетчик, схоластически рассуждающий человек (пренебр.)». Замечательное, в своем роде, определение, отсылающее и к схоластике, и к казуистике (осмысленные суждения о которых возможны лишь в рамках разговора о католическом богословии), и к начетничеству (досталось и старообрядцам!). Только имеет ли все это отношение к реальному Талмуду с его тончайшими методами герменевтики и изощренной культурой интеллектуального диалога?

Или — «фарисей». В словаре Даля — попросту «лицемер». Ожегов более обстоятелен: «1. В древней Иудее: член религиозно-политической партии зажиточных слоев города, отличавшейся фанатизмом и лицемерием в выполнении внешних правил благочестия. 2. *перен.* Лицемер, ханжа (презр.)». Но ведь последняя характеристика, — скажут читатели, — основывается на Евангелии! Да, — но читая вот уже почти две тысячи лет Новый Завет, почему-то очень редко обращали внимание на слова апостола Павла: «Мужи братия! Я фарисей, сын фарисея; за чаяния воскресения мертвых меня судят» (Деяния, 23.6). А если и обращали, то интерпретировали следующим образом: Павел де назвал себя фарисеем по «тактическим» соображениям; представ перед Синедрионом, он хотел заручиться поддержкой фарисеев. По этой логике получается, что представ перед языческим судом, Павел ради спасения жизни способен был назваться и язычником. Я лучшего мнения об Апостоле. Просто для Павла было естественно называться и последователем Иисуса Христа, и фарисеем. Более того, современная новозаветная наука выявила много параллелей между речениями Иисуса и раввинистических учителей, наследников фарисеев. Так что и «фарисейство требует серьезного переосмысления.

И, конечно же, к этому словесному ряду относятся слова «иезуит» и «иезуитство». Так, согласно Ожегову, иезуит — это: «1. Католический монах, член так называемого «общества Иисуса», являющегося опорой папства и самой черной реакции, не брезгающего любыми средствами для достижения своих целей в борьбе с прогрессом и демократией. 2. *перен.* О хитром, двуличном человеке». А иезуитство — «Лицемерие», двуличие, свойственное иезуиту» (улавливаете сходство с фарисеем?).

Традиция подобного отношения к иезуитам появилась одновременно с самим Орденом. В России она особенно сильна. Вспомним, как характеризовал иезуитов Алеша Карамазов: «Мы знаем иезуитов, про них говорят дурно <...> Они просто римская армия для будущего всемирного земного царства, с императором — римским первосвященником во главе... Вот их идеал, но безо всяких тайн и возвышенной грусти... Самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения... вроде будущего крепостного права, с тем что они станут помещиками... Вот и все у них. Они и в Бога не веруют, может быть». Без сомнения, это близко к убеждениям и самого Достоевского. А если мы вспомним «Письма

к провинциалу» Б.Паскаля, обличения Вольтера, романы Стендаля и многое, многое другое, то можем счесть традиционное представление справедливым.

Но — при условии, что мы закроем глаза на образцовые иезуитские школы, в которых внедрялись передовые педагогические идеи и училось великое множество выдающихся деятелей европейской культуры и науки XVI-XIX вв., на многочисленных миссионеров, совмещавших проповедь Евангелия с изучением обычаев, нравов, истории, литературы обращаемых народов, составлявших словари и географические карты, писавших поэмы на местных языках, ставших основоположниками европейской индологии и синологии, японистики и этнологии. Вышедшая два года назад в русском переводе книга французского историка Мишеля Леруа «Миф о иезуитах: От Беранже до Мишле» дает представление о том, как создавался стереотип о иезуитах-заговорщиках, стремящихся к мировому господству. Что же касается моральной нечистоплотности, то приходится согласиться с точкой зрения одного очень сейчас не популярного политика первой половины прошлого века: «Иезуитский орден, созданный в первой половине XVI в. для отпора протестантизму, никогда не учил, к слову сказать, что всякое средство, хотя бы и преступное с точки зрения католической морали, допустимо, если только оно ведет к цели, т.е. к торжеству католицизма. Такая внутренне противоречивая и психологически немыслимая доктрина была злонамеренно приписана иезуитам их протестантскими, а отчасти и католическими противниками, которые не стеснялись в средствах для достижения *своей* цели. Иезуитские теологи, которых, как и теологов других школ, занимал вопрос о личной ответственности, учили на самом деле, что средство само по себе может быть индифферентным, но что моральное оправдание или осуждение данного средства вытекает из цели. Так, выстрел сам по себе безразличен, выстрел в бешеную собаку, угрожающую ребенку, — благо; выстрел с целью насилия или убийства — преступление. Ничего другого, кроме этих общих мест, богословы ордена не хотели сказать. Что касается их практической морали, то иезуиты вовсе не были хуже других монахов или католических священников, наоборот, скорее возвышались над ними, во всяком случае, были последовательнее, смелее и проницательнее других. Иезуиты представляли воинствующую организацию, замкнутую, строго централизованную, наступательную и опасную не только для врагов, но и для союзников. По психологии и методам действий иезуит «героической» эпохи отличался от среднего кюре, как воин церкви от ее лавочника. У нас нет оснований идеализировать ни того, ни другого. Но совсем уж недостойно глядеть на фанатика-воина глазами тупого и ленивого лавочника» (Л.Д.Троцкий. Их мораль и наша — см. сборник «Этическая мысль. 1991», М., «Республика», 1992). Кстати, главный враг Троцкого И.Сталин высказывал диаметрально противоположное мнение. Но как много оно говорит прежде всего о нем самом! На вопрос Эмиля Людвига: «Но разве Вы не признаете положительных качеств иезуитов?», Сталин ответил: «Да, у них есть систематичность, настойчивость в работе для осуществления дурных целей. Но основной их метод — это слежка, шпионаж, залезание в душу, издевательство — что может быть в этом положительного?».

Я не задаюсь целью писать апологию иезуитов и тем самым заменять один миф другим. Но пора перестать сравнивать идеальное (а часто идеализиро-

ванное) православие с реальным (и нередко очерненным) католичеством. Я позволю себе еще одну длинную цитату: «В те годы жил еретик Аполлинарий, ложно мудрствовавший о воплощении Господнем. Он находчив был в словах и искусен в еллинской премудрости, вследствие чего сильно смущал Церковь Божию и многих увлек в свою ересь. Этот еретик весь труд свой и все старание, от самой юности своей и до старости, прилагал к тому, чтобы развращать православных и увлекать их в свое заблуждение. Он написал много книг против православных, из коих особенно замечательны две, т.к. в них наиболее полно выражено все его душевредное учение. Их он и употреблял, как оружие, ведя борьбу с православными путем словесных состязаний. Эти его книги были положены на сохранение у одной женщины, сожительницы его. Преподобный Ефрем, узнав об этих книгах, изобрел против еретической хитрости свою, еще более изумительную: он пришел к той женщине тайно и весьма хвалил Аполлинария, называя себя при этом учеником последнего. Как бы желая научиться неизвестной ему мудрости, он просил женщину дать ему на малое время Аполлинариевы книги, которые она хранила, чтобы из них списать вкратце наиболее замечательные места. Женщина, будучи уверена, что это действительно ученик ее друга, дала ему обе книги, с условием, чтобы он поскорее возвратил их и никому о них не говорил. Святой Ефрем, взяв книги, отнес в свою обитель и, приготовив клей, все листы в них, отгибая по одному, склеивал, пока наконец не склеил всех их так, что книги стали как бы одним куском дерева или камнем, причем ни одного листа нельзя было отделить от другого. Затем он отнес книги женщине. Она же, взяв их и не посмотрев внутрь, положила на свое место. Случился потом спор православных с еретиком Аполлинарием, состарившимся уже. Не обладая уже прежнею находчивостью в спорах и имея слабую память, по причине старости, он хотел достигнуть победы над православными при помощи тех своих книг; но, взяв их, он не мог их раскрыть, т.к. листы были крепко склеены и окаменели. Он исполнился великого стыда и вышел с собора побежденным и посрамленным, а затем скоро от скорби и великого стыда он лишился жизни, с позором извергнув свою окаянную душу». («Житие преподобного отца нашего Ефрема Сирина» — См. Избранные жития святых. М. «Молодая гвардия», 1992 г.). Это ли не образчик «иезуитской» морали?

Но вернемся к Лойоле и упомянем о третьем открытии, ожидающем его читателей. Те из них, кто, заинтересовавшись «Автобиографией» и «Духовным дневником» или же приведенными С.Эйзенштейном цитатами из «Духовных упражнений» Лойолы, обратится к полному тесту последнего произведения (Игнатий Лойола «Духовные упражнения. — Bibliotheque slave de Paris, 1966), обнаружат — при условии, конечно, что они читали творения греческих отцов аскезы — много знакомого. Не случайно в 1800 г. вышли составленные на Афоне св. Никодимом Святогорцем «Духовные упражнения», в основе которых лежит итальянская версия «Духовных упражнений» Игнатия Лойолы. Вспомним, что другой выдающийся памятник католической мистики XVI в. — «Брань духовная» Лоренцо Скуполи пользуется огромным авторитетом в православном мире благодаря переводу св. Никодима Святогорца, назвавшего его «Невидимая брань».

Об острой и вечно актуальной теме православно-католических взаимоотношений пишет в статье «Единое христианство» В.Вениаминов («Точки», 2002,

№ 3-4). Этот псевдоним обычно использует В.Бибихин). Автор развивает идеи В.Соловьева, и почти со всем, что он пишет, соглашаешься, но с сожалением признаешь, что бал сейчас правят силы вражды и разделения, а здравые слова имеют мало шансов быть услышанными.

Просматривая четыре вышедших номера «Точек», обнаруживаешь, что если в первом выпуске преобладают статьи на собственно религиозную тематику (важное исключение — статья С.Хоружего «Аналитика смерти в «Sein und Zeit»), то во втором и четвертом (третий, как уже указывалось, посвящен И.Лойоле) акцент переносится на проблемы культуры и философии. К лучшим материалам журнала следует отнести, по моему мнению, публикации Августина (2001, № 3-4) и Фомы, статьи С.Хоружего о Хайдеггере (2001, № 1-2) и Ницше (2002, № 3-4), в которых автор пытается нащупать в философии эпохи модерна фрагменты «альтернативной» онтологии, созвучной доктринам и практике восточнохристианских аскетов, философские эссе А.Ахутина и В.Губина (оба — 2002, № 3-4).

Редакция «Точек» выполняет свое обещание, заявленное в предисловии к первому выпуску: «Католическую же его [журнала] принадлежность мы бы хотели понимать — и желали бы, чтобы именно так это и понимали, — в этимологическом смысле слова, а именно — универсально».

Характерно, что журнал лишен каких-либо элементов клерикализма. И в этом его отличие от даже самых лучших православных журналов, которые не могут избежать клерикальной ангажированности. Представляется, что подобная культурная открытость и стремление к универсальности притягивают многих, прежде всего представителей гуманитарной интеллигенции, к католичеству. Конечно, оно не так сильно укоренено в современной российской жизни, как протестантизм. Однако католичество внесло свою лепту в развитие русской культуры, которая не представима без В.Печерина, П.Чаадаева, В.Иванова или А.Шнитке. Кроме того, католичество в России свидетельствует о живой традиции западной христианской духовности, так что расхожее противопоставление духовной России бездуховному секулярному Западу опирается на слабое знание того же Запада. В таком качестве католичество всегда будет присутствовать в России. Обидно только, что этот пример универсализма не побуждает к соревнованию, а часто вызывает озлобление и усиливает партикуляристские тенденции в русском православии.

Не преувеличиваю ли я?

Призываю читателя к следующему эксперименту. Пройдитесь по Большой Никитской улице от Охотного ряда до Никитских ворот. Вы набредете на два книжных магазина: книжную лавку при университетской церкви св. Татианы и католический магазин «Паолине». В их ассортименте есть немалое количество одинаковой литературы. Но присмотритесь к отличиям — в Татианинской лавке вы никогда не обнаружите сочинений Фрейда и Бубера, Бокаччо и Г.Миллера, Лютера и Католическую энциклопедию. Зато у сестер-паулинок православная литература представлена в очень большом количестве, а не найдете вы разве лишь сочинений Нилуса или страшилок об Антихристе в Москве. Почувствуйте, как говорится, разницу.

Пора трезветь.

РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ
в российской периодике третьего квартала 2002 — первого квартала 2003 г.

Русская ***ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ*** впервые за тысячелетнюю историю получила шанс самостоятельно и свободно выразить свое отношение к обществу и государству и не преминула воспользоваться им. Свою ***социальную концепцию РПЦ*** сформулировала в особом документе. Митрополит Смоленский и Калининградский **Кирилл («Церковь и общество в свете Основ социальной концепции Русской православной церкви»** — «Церковь и время»,2002, № 2) довольно подробно комментирует все разделы этого исторического документа, объясняя его уникальность. В частности, митрополит Кирилл констатирует, что для церковного человека критерием истинности или ложности взглядов является Священное Писание, с этой же точки зрения, высшая и наиболее совершенная форма государственного правления — теократия. Но Бог, снисходя к слабости в народе религиозного чувства, дарует ему монархию, которая выше любой версии парламентаризма (ибо последний не есть богоустановленная форма правления). Готово ли современное российское общество воспринять самодержца как помазанника Божия, чей авторитет покоится не на общественном признании, а на высшей Божественной санкции? С сожалением митрополит Кирилл отвечает: нет, и искусственная реализация такой модели власти приведет лишь к карикатуре на монархию и дискредитации ее. Следовательно, сегодняшнему уровню религиозного и духовного развития нашего общества больше соответствуют богооставленный парламентаризм и демократия.

Тот же митрополит **Кирилл** в статье **«Мировая интеграция и цивилизованное многообразие человечества»** («Церковь и время», 2002, № 4) пишет о том, что красота и неповторимость Божьего творения явлена в многообразии, которое призвано служить раскрытию внутренних возможностей отдельной личности и целых народов. Установление же единообразного мирового порядка (т.е. либеральной демократии) противоречит историческому опыту, убедительно свидетельствующему, как тщетны попытки построить жизнеспособное многокультурное и многорелигиозное (плюралистическое) общество на монопольной основе одного культурного проекта. Сказанное не означает отказа от либеральных ценностей, однако либеральные стандарты следует дополнить другими культурными и мировоззренческими системами. Необходимо гармонизировать их, признать равноправие различных культурно-мировоззренческих моделей и таким образом добиться того, чтобы каждый народ мог свободно жить в согласии со своим выбором. Оптимальной митрополиту Кириллу видится такая ситуация, при которой либеральный стандарт не подавляет национального законодательства. В случае серьезных разногласий решение отдается национальному референдуму.

В статье **«О церковно-общественном диалоге в России в условиях формационного сдвига»** игумен **Филипп (Симонов)** («Вопросы экономики», № 1) характеризует ***нынешнее состояние России*** как фундаментальную смену социально-экономической формации. Он полагает, что в подобный момент эсхатологического напряжения церковь должна особенно внятно заявить о своем сотериологическом (спасительном) долге. Экономика становится проблемой внешних условий существования церкви. Участие в современном комплексе хозяйственных и социальных отношений отнюдь не означает десакрализацию церковной экономики. Напротив, расширение этого участия должно рассматривать как попытку внесения священного начала в мирские отношения. В противовес социализации религии игумен Филипп настаивает на том, что необходима теократизация социума. Общая причина экономического упадка в России — в том, что было ясно уже в евангельские времена: «Оскудела истина, и ложь покрыла землю», «грех превратился в привычку», »мир страждет недугом порока и не знает того». Основные причины кризиса — уничижение Бога и нарастающее своеволие. Именно это искажает человеческое сознание, выворачивает его наизнанку. Такая реверсия сознания коснулась отношений труда и собственности. Гражданское общество, построенное исключительно на отношениях частной собственности, явление абсурдное. Потребности общества невозможно удовлетворить в результате использования только частной собственности, в России же собственность потеряла общественную составляющую. Реформы привели к обесцениванию производительного труда в общественном сознании. Возник культ отдыха. Сферу производства поглощает сфера услуг (жизнь за чужой счет). При таком состоянии общества церкви необходимо занять активную социальную позицию, но позиция эта должна быть вне политики.

Нынешнее ***состояния окружающей среды*** наводит на воспоминания о страницах Апокалипсиса. Так, ощущение приближающегося конца света не оставляет **Э. Афанасьева**, автора статьи **«Христианский взгляд на экологические и нравственные проблемы экономики»** («Церковь и время», 2002, № 2). Нам не дано знать «времена и сроки». Конечно, у православных христиан есть надежда на милость Создателя, но это не значит, что, уповая на Господа, следует пассивно ждать конца света. Нужно делать все, чтобы избежать экологической катастрофы, ведь чем больше человек стремится к «обузданию» природы, тем больше она «стенает и мучится». Необходимо покаяться в своеволии, необходимо произвести ревизию «лжеименного» экономического знания, ни одна из теорий которого не соответствует принципам христианской экономии (*Божественного домостроительства спасения*). Далее необходимо сознательное снижение темпов экономического развития и разумное ограничение потребностей. Вся жизнь христианина должна быть направлена на восхождение по лестнице духовного совершенствования, тогда заботы о хлебе насущном не буду входить в противоречие с окружающей природой.

В статье **«Человеческое творчество: нравственный и экологический аспекты»** («Церковь и время», 2002, № 2) протоиерей **В. Чаплин** размышляет о понимании ***человеческого творчества в контексте естественной и христианской эти-***

ки. Будучи образом всесовершенного Творца Вселенной, человек не может не творить. Мало того, чем больше образ Божий искажается и замутняется грехами, тем меньше проявляются творческие способности человека. Творчество как акт, уподобляющий человека Абсолютному Творцу, требует богоподобной свободы и дерзновения. Человеческое творчество самобытно, прежде всего благодаря человеческой свободе. Среди части православной паствы распространено суждение, что всякое творчество вне церкви есть чуть ли не демонизм. Вопреки ему автор статьи подчеркивает: Православная Церковь верна учению о непреложности в человеке естественного нравственного закона, естественного стремления к познанию Бога и общению с Ним, а из этого вытекает признание подлинно нравственного начала и в том творчестве, которое лежит за пределами церкви. Существует примитивный взгляд, толкующий крушение привычных стереотипов в быту, науке и искусстве как покушение на вечную и надмирную гармонию. На самом деле именно разрушение закоснелых земных представлений и привычек как раз и бывает единственным шансом, который Господь дал человеку для переоценки собственной жизни, для покаяния, для изменения ума, — для того, с чего и начинается путь христианина. В общении с Богом, в свете Божественной Благодати человеческое творчество обретает качественно новое состояние, восстанавливающее иерархию отношений, нарушенную первородным грехом. В этом смысле особое нравственное значение приобретает экологическая проблема. Совершенно недопустимы спекуляции с Божьей заповедью о господстве человека над природой для оправдания безнравственных и корыстных преобразований. Хранить целостность творения Божия, стремиться к духовному искуплению первородного греха — долг всякого христианина.

Опыт православного наставничества выходит за сугубо конфессиональные рамки и становится достоянием вселенской церкви. Этому была посвящена проходившая в Италии X Международная конференция. Называлась она ***«Преподобные старцы Оптиной пустыни»***. С некоторыми материалами этой конференции знакомит нас № 4 журнала «Церковь и время» за прошлый год. **Э. Бьянки («Оптина пустынь и русское старчество»)** выделяет три аспекта в опыте православных старцев, полезные для пастырской практики католиков. 1. Духовная жизнь прививается в жизни человеческой, а посему телесной. Следует не стремиться уничтожить человеческое в человеке, чтобы потеряться в божестве, но «облечься, чтобы смертное было поглощено жизнью», врачевание души обретается у Бога истинного, Врача, который управляет сердцем. 2. Подобное осознание духовной жизни христианина требует надежного образования, веры осмысленной, питаемой Священным Писанием и Священным Преданием (труды Святых Отцов). Монашество Оптиной пустыни было монашеством «ученым» не в смысле эрудиции, но в значении премудрого познания Слова в слышании, в размышлении, в созерцании. 3. Наконец, служение старчества явилось фундаментальной величиной для укрепления монашеской общины и соединение ее в некое целое. Она не жила ни сама собой, ни для себя самой, и это можно увидеть на примере диалога с тогдашней интеллигенцией.

Доклад **С. Сергеева** посвящен как раз этой теме — **«"Богоискатели" Оптина и интеллигенция в конце XIX — начале XX веков (К.Н. Леонтьев, В.В.**

Розанов, о. Павел Флоренский)». Он касается воссоздания субъективных образов Пустыни, сложившихся в сознании каждого из перечисленных мыслителей. Приведем несколько фрагментов из собранного докладчиком. *Леонтьев*: «в трудных случаях моей жизни... я хочу обращаться с верой к человеку беспристрастному и по возможности удаленному от наших мирских волнений... что бы он мне ни ответил на откровение моих тайн, даже помыслов, я приму покорно и постараюсь исполнить». *Розанов*: «...значение старчества в том и состоит, что воскресив в себе как бы "волхва древнего", который с "волею небес дружен", старец входит в жизнь людей добрым волшебством, с магическ-козаклинательной силою: заклинательною против дурного и как бы открывающего рог изобилия для хорошего». *Флоренский*: «...Оптина есть ...завязь новой культуры. Она есть узел ...который на самом деле осуществил ту среду, где воспитывается духовная дисциплина, не моральная, не внешняя-аскетическая, а именно духовная. ... совершенно бесспорно, что духовная культура в всем ее объеме должна идти не мимо Оптиной, а сквозь нее, не таясь от нее, вплетая свое предание, и эту нить, которая, действительно не прерываясь... низводит нас из века в век к глубочайшим напластованиям духовного преемства».

Старчество как глубокое духовное ведение истины и благодатный опыт христианской жизни хотя возникло и не в России, но стало неким российским национально-религиозным атрибутом, составляющим великое наследие религиозной культуры. Русские люди по характеру и природе своей восприняли веру Христову всей своей жизнью, понимали ее в делах, а мыслили в примерах. Архиепископ **Евлогий (Смирнов) («Духовное наследство оптинских старцев»)** полагает, что такая особенность христианства выразилась в старчестве — особом монашеском явлении, близком древневосточному христианскому аскетизму. Русские монастыри докладчик называет народными очагами христианства, где люди получали духовное просвещение. Дух и смысл старчества очень тесно связан с сутью богооткровенной религии и заключается не в теории, а в практике, в некоей благодатной и вечной силе, в самой жизни. Это живое и деятельное исповедание веры. Преподобные оптинские отцы, пройдя многотрудное поприще христианской жизни, открыли мятущемуся миру бесценные блага веры и любви Христовой. Для российских христиан стал весьма характерным взгляд на монашеские обители, как на новые и совершенные союзы, подлинные братства, образцы для мира, «лежащего во зле». Старчество явилось одним из многих харизматических служений. Это институт Церкви Христовой в ее благодатной миссии спасения.

С. Хоружий («Феномен русского старчества в его духовных и антропологических основаниях») считает, что русское старчество обрело новую форму, отличную от древневосточной. Форма эта отвечала особенностям русского православного менталитета и была связана с издавна жившей в России идеей «монастыря в миру». И в самом деле, русское старчество наследует традицию исихазма, строго изолированную нравственную психофизическую монашескую дисциплину. В этой дисциплине, возводящей к мистическому опыту, человек не может посвящать себя ни социальной жизни, не технически-творческой деятельности. Принципиальная новизна русского старчества заключается в преодолении несовместимости традиции и мира. Строго индивидуальная прак-

тика «умного делания» исихаста делается совместима с принятием Другого. Конечно, вхождение в мир Другого, насыщенный страстями, предполагает для аскета (старца) серьезный риск, ибо страсти летучи и заразительны. Но русское старчество отличается именно кенотическим (кенозис — самоумаление) моментом, т.е. самоотдачей, способной ради Другого идти до предела, до самоисчерпания и самоистощения. Так в русском старчестве достигается актуальное раскрытие и практическое воплощение общечеловеческого универсального содержания христианской древневосточной традиции.

О разделениях Русской Православной Церкви, в которые вверг ее хаос революции и гражданской войны, пишет в статье **«О единстве православия»** митрополит Воронежский и Липецкий **Мефодий** («Альфа и Омега», 2002, № 2). Тут и неканонически (незаконно) образовавшиеся автокефалии (Грузинская, Белорусская, Украинская), и обновленцы — неправославная церковная структура с уклоном в протестантизм («Живая церковь»), и «карловацкий раскол» (Русская православная церковь за рубежом). Все разделения давно увращеваны, кроме последнего. Причиной его послужила Декларация 1927 г. митрополита Сергия (Страгородского) об отношении Церкви к советскому государству — документ, в котором было усмотрено примирение с идеологическими установками большевистской власти: ваши радости — наши радости. Речь шла о публичном выражении отношения высшего иерарха Церкви к «духу века сего». Принимая безбожную власть, можно усматривать в ней наказание за грехи, а можно с ней сотрудничать. Именно так и поняли декларацию Сергия карловчане. Человек, который ответственен за судьбы и жизни других, за легитимное существование Церкви, не может быть свободен в своем личном выборе, полагает митрополит Мефодий. А насколько была допустима степень нравственного компромисса в 1927 г., пусть судит Бог. Но несправедливо требовать бескомпромиссности (а значит мученичества) от гонимых, не разделяя с ними мученического венца. Как преодолеть церковное разделение РПЦ и РПЦЗ? Только исполнением заповеди Христа: «По тому узна́ют все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин, 13, 35). Кроме того должно помнить, что по своему человеческому естеству Церковь болеет болезнями века сего и, несмотря на тяжкие испытания XX века, православные не растворились в инославии, не исчезли в нетях коммунистического режима, а продолжают нести в мир идеалы русской святости.

М. Хижий пишет в статье **«Размышление о церковной политике патриарха Сергия (Страгородского)»** («Альфа и Омега»,2002, № 3), что полемика вокруг патриарха Сергия стала частью «черного пиара» по уничтожению духовно-нравственного авторитета РПЦ. Декларация 1927 года послужила поводом раздоров и раскола. Вопреки обвинениям, Декларация не содержала слов, подтверждающих законность новой власти. Нравится — нет ли, но она констатировала исторический факт: народ был соблазнен новой властью, и с ним нужно было говорить на новом языке, чтобы иметь шанс вернуть паству в лоно Церкви. Вот слова Декларации, вызывающие наибольшее недовольство оппонентов «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой — наши радос-

ти и успехи, а неудачи — наши неудачи». Эти строки — фактический парафраз цитаты из Отца Церкви Тертуллиана: «Когда империя в тревоге, то тревожатся и члены ее, равным образом и мы, хотя считаемся людьми сторонними, неизбежно подвергаемся той же участи». Беда и лукавство современных «антисергиан» в том, что они смешивают политику компромиссов патриарха Сергия с человеческой немощью, в которой повинны и епископат, и священство, и просто миряне. Сознательный компромисс — это позиция (Бог намерения ценит, как дела), и уже в этом заключается внутренняя сила патриарха. А немощь — это человеческая слабость, присущая всем временам. Владыка надеялся на организованное в рамках законодательства сопротивление церковного народа атеистической политике советской власти. Увы, оно было слишком слабым.

Публикуются материалы, касающиеся ***подготовки к Святому и Великому Собору Восточной Православной Церкви***. **Г. Скобей** в статье **«Межправославное сотрудничество»** («Церковь и время», 2002, № 2) замечает, что предстоятели и представители православных церквей не съезжались на общий собор со времени VII Вселенского Собора (787 г.), а потому интересно узнать, какие проблемы встали перед Православной церковью за 1216 лет. Начало подготовки к Великому Собору восходит к первому Всеправославному совещанию на острове Родос в 1961 г. Таких совещаний было четыре. Кроме того неоднократно собирались Межправославные комиссии по подготовке к Вселенскому Собору. Общими усилиями они сформулировали круг тем, которые будут обсуждаться на предстоящем Соборе. В числе этих тем — переход с юлианского календаря на григорианский, согласование церковных постановлений о посте с требованиями времени, отношение Православия к экуменическому движению и вклад поместных церквей в торжество христианских идей мира, свободы, братства и любви между народами и в устранение расовых дискриминаций.

Православные иерархи рассматривают ***БОГОСЛОВИЕ*** не как специфическую церковную дисциплину, а ***как универсальное знание***, обращенное к глубинным смыслам мироздания и человеческого существования. В статье **«Православное богословие в новом веке»** («Церковь и время», 2002, № 4) митрополит Смоленский и Слуцкий **Филарет** пишет, что богословие углубляет видение реальности, изымает человека из повседневной «горизонтальности», ставит перед ним задачи богопознания и самопознания, нравственного совершенствования и духовного роста. Богословское творчество — одно из важнейших служений церкви миру. В религиозной ситуации нового века (секуляризм, новые синкретические течения ориенталистского направления, неоязычество, активное распространение ислама) необходим богословский синтез, т.е. выявление кафоличности (вселенскости) Церкви и универсальности евангельского провозвестия. Только так в современном нехристианском и постхристианском мире возможно осуществить миссию христианства.

Догматическая разноголосица наблюдается не только в различных христианских конфессиях, но и в пределах православия. Явно обнаруживается нужда в катехизисе, т.е. удобопонятном изложении основных истин христианской веры. В России катехизис был составлен митрополитом Московским Филаре-

том (Дроздовым) в середине позапрошлого века, много раз переиздавался и был настолько универсален и внятен для любого читателя, что служил и учебником Закона Божьего. За полтора столетия и язык и способности разумения верующих заметно изменились, и сегодня необходим ***новый катехизис***, написанный на сегодняшнем языке. Своего рода первый шаг к этому сделал журнал «Альфа и Омега»(2002, № 3), опубликовавший современный перевод трактата **Августина Гиппонийского «О Символе веры»**. Истины, сформулированные в Символе веры «в кратких словах», Августин излагает в словах «пространных... для преуспевающих и устремляющихся к Божественному учению с достаточно крепкой любовью и смирением». Это необходимо для того, чтобы на основании соборного авторитета более эффективно защищать и охранять его от недомыслия невежд и еретических злоумышлений.

Богословское ***учение о Троице*** имеет дело с тайной, превышающей человеческое понимание, однако смысл ее являют нам множество образов и аналогий. Автор статьи **«Святая Троица — парадигма человеческой личности»** («Альфа и Омега», 2002, № 2) епископ Диоклийский **Каллист** из различных моделей, используемых в догматическом богословии, выбирает наиболее значимую — образ взаимной любви. Иными словами, Троица понимается как общение и общность ипостасей или личностей, соединенных узами взаимной любви, а основной догмат христианства имеет непосредственное преобразовательное значение для нашей повседневной жизни. Характеристиками Триединства являются взаимность и солидарность, которые определяют отношение христианина к политике, экономике и любой другой социальной деятельности. Всякое сообщество — семья, школа, предприятие, монастырь, город, нация — призвано стать живой иконой Святой Троицы. Вера в Троичного Бога подвигает христиан по мере сил бороться с бедностью, эксплуатацией, угнетением и болезнями. Верующие в Триединого Бога не могут оставаться равнодушными, видя нарушения прав человека, несправедливость, страдания любого члена рода человеческого.

Митрополит Сурожский **Антоний** (**«...мужчину и женщину сотворил их»** — «Альфа и Омега», 2002, № 2) ***отношения мужчины и женщины в браке*** понимает как перерастание взаимной инаковости двоих в единство, которое не затмевает единственности и неповторимости каждого. Супруги не могут быть сведены один к другому, но вместе составляют полноту, которой в отдельности не являют. Такой брак становится образом Царствия Божия, его исполнением. Сейчас отношения мужчины и женщины подвергаются пересмотру и, скорее, со стороны женщин. Это, по мнению митрополита, глубокая ошибка, ибо женская проблема есть проблема мужская. Мужчины создали то уродливое положение, когда женщина порабощена, когда она человек второго сорта. Мир забыл, что женщина равна мужчине, что она призвана быть спутницей, той, которая стоит лицом к лицу. Женщина отражает славу мужчины, и мужчина отражает славу женщины, и вместе они — одно человеческое существо. Так было, так есть и так будет.

Стороннему, светскому сознанию ***церковный консерватизм*** видится как тотальный диктат прошлого, стесняющий свободу верующих. Репутацию церковного консерватизма защищает профессор богословия диакон **Андрей Кураев** (**«Лекция о консерватизме»** — «Альфа и Омега», 2002, № 3). Немногочисленные

догматы Православной церкви, сформулированные в IV веке, так отчетливы и ясны, что рассеивают туман мнений и интерпретаций. Задача Церкви и ее Преданий защищать права Бога в мире человеческого своеволия, отстаивать Слово Божие от человеческого «герменевтического насилия». Формально существуют два принципа канонического права: акривии (строгое исполнение церковных канонов) и икономии (отступление от канона для церковной пользы). Последнее совершается ради христианской любви, это жертва, которую церковь приносит для сохранения психического здоровья народа. И, с этой точки зрения, консерватизм Православия воспринимается не как нечто удушающее, а как положительная ценность. В современной культуре Православие, благодаря консерватизму, оказывается некоей контркультурой. В пестроте разнообразного мира должны быть незыблемые ориентиры. Самая же глубокая причина церковного консерватизма коренится в самом вероучении. Христианство — религия Откровения, а вершина Откровения — в том, что Слово стало плотью. Это означает, что граница между вечностью и временем, бытием и быванием прозрачна. Исторические события в жизни самой церкви пронизаны вечностью. Они не фактический прецедент, а некая вечная икона Церкви.

На основах христианской антропологии, суть которой есть упование на вечную жизнь, строит свое отношение к медицине **Филарет**, митрополит Минский и Слуцкий (**«Православие и медицина»** — «Альфа и Омега», 2002, № 3). Человек как существо разумное и свободное способен к бесконечному совершенствованию. В земном мире абсолютная гармония невозможна, и христианство не стремится к достижению душевно-телесной гармонии (в ее медицинском понимании). Напротив, терпеливо переносимое страдание Церковь понимает как путь духовного исцеления. ***Болезнь, с духовной точки зрения***, можно рассматривать не только как физическую или психическую патологию, но и как индивидуальное событие, которое изымает нас из обыденной жизни, заставляет задуматься о себе, переосмыслить свои суетные устремления. Кроме того страдания опровергают самоуверенную убежденность в том, что человек всесильный властитель мира. Собственная боль открывает нам глаза на боль других людей и дает опыт сострадания.

Просветительный опыт сострадания **М. Першин** рекомендует дополнить чтением ***православных журналов***. Автор статьи **«Кубики, из которых все»** («Альфа и Омега», 2002, № 3) уподобляет их лучшим образцам детективных романов, наполняющих тривиальную жизнь тайнами, которые нужно разгадывать и распутывать и обнаруживать в конце концов, что мир, который «весь лежит во зле», все-таки достоин любви Бога. Ибо и читатели, и авторы православных журналов ищут ответа на вопрос, как жить по-человечески.

Темой многих публикаций становится ***ИСЛАМ*** во всех видах. Авторы светских журналов несут в массы просвещение, чем и пытаются рассеять страх читателей перед кровавой угрозой ***исламских радикалов.*** В статье **«Exploratoribus laus*. Неизвестное об исламе»** («Новый мир», № 1) **Ю. Каграманов** поет хвалу

* Название можно перевести как «Подвиг разведчиков»

тем, кто призван добывать сведения об исламе (который сам автор считает неоткрытым и неведомым континентом), необходимые для эффективной борьбы с исламским терроризмом. Так как латинское слово explorator означает не только «разведчик», но и «исследователь», Каграманов именует академические штудии западного исламоведения «глубокой разведкой». Знакомство же с данными «разведки» может кардинально изменить условия диалога между христианством и исламом и , в частности, решить проблему мирного сосуществования и взаимообогащения цивилизаций.

В журнале «Неприкосновенный запас» (№ 6) ***ислам*** рассматривается больше ***как политический феномен***. Для объяснения его сути **Э. Геллнер («Посттрадиционные формы в исламе: бега и торговля, голоса избирателей и арахис»)** выбирает знакомые европейцам понятия: общественное согласие (эгалитаризм) — Книга (Коран) — Организация (культ лидерства, авторитет, иерархия). Вся история ислама поляризовалась между приверженцами общественного согласия и культом лидерства. Книга же была общей базой для обоих полюсов. Сначала поляризовались хариджиты и шииты, позже приверженцы улама и суфьи. Но все они умели избегать крайностей. Эгалитаристы находили компромисс между потребностями общества и предписаниями Корана, да и приверженцы лидерства не доводили культ личности до крайностей, стараясь оставаться в границах Учения. Конкретно рассматривая исторические коллизии развития авторитарных идеологий (шиизм, суфизм), Геллнер называет их «посттрадиционными» и описывает в терминах европейской политологии, где шиизм трактуется как малообещающий кандидат на роль протестантской этики, а суфизм — как неудавшийся социализм. **А. Малашенко,** выступивший в том же номере журнала со статьей **«Современный ислам между политикой и традицией»**, считает, что любимое дитя исламской политической мысли — исламское государство — не более чем утопия и как таковое существовать просто не может. Однако попытки претворить ее в жизнь никогда не прекратятся, и поэтому политический ислам, исламский фундаментализм никуда не исчезнет. Осуществить же можно более скромный проект создания деревни или городского квартала, которые управлялись бы на исламских принципах (шариат). Привлекательной и осуществимой автору также кажется идея создания исламского банка (без ссудного процента). Малашенко убежден, что исламского терроризма не существует. Есть терроризм радикальных мусульман. У ислама нет национальных границ, мусульмане объединяются на основе веры. С этим согласна и **М. Степанянц («Этноконфессиональные процессы в современной России: ислам»)**, считающая, что ислам и национализм несовместимы. Однако в России общественное, коллективное уже не имеет религиозного смысла. Здесь религиозная идентификация (мусульманская, в частности) имеет значение только на индивидуальном уровне. А «нести» духовные идеалы вероучения в сферу политики — дело безнадежное. **Ж. Кеппель («К "мусульманской демократии"?»)** считает, что в масштабе мусульманского мира в целом исламистские политические оппозиционные движения переживают беспрецедентный кризис. Их расплывчатый политический проект (исламское государство, шариат) рассчитан, увы, на недостижимое будущее или на загробную жизнь. Мусульмане сейчас живут в мире, где ускоренное развитие телекомму-

никаций стирает интеллектуальные границы и рушит цитадели идентичности, которые пытается укрепить исламская идеология. Парижский исламовед полагает, что отказ от идеологии освобождает мусульман от догматических уз и открывает им широкое пространство для определения своего будущего А будущее их — демократия, и она не имеет альтернативы. **Б. Тиби**, автор статьи **«Является ли ислам политической религией? Возможность межрелигиозного плюрализма в условиях цивилизационного конфликта»**, с сожалением констатирует, что религии в современном мире политизируются. Став политическими, они воплощают в себе все самое плохое из того, что есть и в религии («абсолютное»), и в политике («воинствующее»). Никакой диалог между политическими религиями невозможен. Политический ислам — традиция, выдуманная фундаменталистами. Нужно уметь отличать религиозное учение ислама от его политический извращений. Связь исламского джихада с терроризмом — не больше чем риторическая фигура, т.к. доктрина запрещает террор. Европейцы не должны стремиться изменить мир ислама, им следует требовать его реформирования — и то лишь тогда, когда он касается их непосредственно (в диаспоре). Для этого случая Тиби предлагает концепцию евро-ислама. Внутри Европы евро-ислам вполне может быть согласован с европейскими конституциями. Такое согласие Тиби называет «надкультурной международной моралью», а она может зиждиться только на светской основе. Демократический мир возможен при плюрализме цивилизаций.

Р. Нудельман («Ученые исследуют Коран» — «Знание — сила»,2003, № 1) представляет версию происхождения ислама, выдвинутую американскими востоковедами *П.Кроне* и *М.Куком*. По этой версии группа евреев в 625 году бежала из захваченного византийцами (христианами) персидского города Эдесса. Беглецы пришли в Аравию и искали помощи у детей Измаила, с Библией в руках объясняя последним, что все дети Авраама — родственники. Признания этого родства евреям добиться не удалось, но в результате знакомства измаильтян с Библией один из них предстал перед своим народом как глашатай истины и научил всех путям Авраамова Бога. Подобно Моисею, выведшему свой народ из Синайской пустыни, Мухаммед хотел по научению своих учителей-евреев совершить Исход из Аравийской пустыни, т.е. своеобразный «арабский Исход». Это событие подтверждается лингвистической расшифровкой разноязыких источников. Согласно сирийским источникам, первые последователи Мухаммеда именуются «магаритаи» или «магараи». На арабском языке этому соответствует слово «махаджрун» (исход), которое толкуется мусульманами как бегство Мухаммеда из Мекки в Медину. Но слово «махаджрун» можно перевести и так: «потомки Агари» — т.е., по Библии, матери Измаила. Они-то под водительством Мухаммеда и совершили Исход из Аравийской пустыни в Землю Обетованную. Используя веру Авраама, агаритяне заимствовали христианский мессианизм и создали новое учение. Слово «аслама» (восхождение — на иврите, арамейском, сирийском) стало названием новой религии. Эта *версия происхождения ислама* заметно повлияла на понимание многих трудных мест Корана, связанных с разночтениями разноязычных переводчиков. Правда, ее методологическим эффектом пользуются в основном западные востоковеды.

Кстати, о переводах. Во множестве переводов Корана на разные языки **А. Кезимов** (**«О переводах Корана»** — «Вопросы истории», 2003, № 1) отмечает один серьезный недостаток. В них не отражен стиль сур (рассказов), в которых аяты (стихи) плавно переходят от одной темы к другой, не прерывая изложения сюжета. Для примера он рассматривает русский перевод Крачковского, читая который трудно понять, что ниспосланный Мухаммаду завет должен был проповедоваться и арабам, и иудеямя, и христианам как религия единобожия. Как утверждает Кезимов, почти восемьдесят процентов всех аятов переведены с ошибками, что затрудняет понимание их подлинного смысла. Например, истинный смысл понятия джихад (священная война) нельзя отождествлять с освободительной борьбой против агрессоров, джихад объявлялся только тем, кто запрещал исповедывать ислам, посещать мечети и соблюдать религиозные обряды. Аналогично шехидами нельзя называть патриотов, погибших во имя освобождения родины, так могут быть названы лишь те, кто погиб за восстановление права исповедывать ислам. Приводится также много неточностей, влекущих неправильное понимание исламской традиции.

Обзор подготовил Александр Денискин

Григорий ПОМЕРАНЦ

ПОДСТУПЫ К ПРЕОБРАЖЕНИЮ

Когда мы с моей женой Зинаидой Александровной Миркиной сходили в гардероб после лекции в Питерском музее Ахматовой, нас остановили две девушки. «Нам хочется задать вам очень глупый вопрос, — сказала одна из них. — Но кажется, вы те самые люди, которые могут на него ответить. В чем смысл жизни?» Я не нашелся, что сразу сказать, а Зинаида Александровна ответила: «Вопрос совсем не глупый, над ним думали многие великие люди. Но как на него ответить на ходу? А впрочем — почему бы нет... смысл — в преображении».

Попробуем сегодня подумать, что это значит — преобразиться. Зажечь в себе негасимый огонь? Пробить путь в глубину, где горит этот вечно живой огонь? В Евангелии преображением назван выход наружу духовных глубин, выход наружу внутреннего света, как это случилось на горе Фавор с Христом. Потом что-то подобное увидел Мотовилов у св. Серафима. Далай Лама XIV, комментируя Евангелие, рассказывал, что подобные случаи помнит и буддийское предание. Но суть преображения не во внешнем, заметном глазу. Суть во внутренней перемене, во внезапном загорании внутреннего света, во внезапном открытии целой лестницы вверх, по которой идти и идти... Кто увидел глубинный свет, тому невозможно жить без прорыва к нему, жить на плоскости, на поверхности, в окружении обрывков, оторванных от Целого. И можно простоять тысячу дней на камне, чтобы открылась вертикаль, измерение, ведущее к Богу, — то, что св. Серафим назвал стяжанием Святого Духа. Не знание, не память, а реальность света. Преображение — это не выученные слова, не знание заповедей. Это открытость глубине по ту сторону слов, знаков. Это исчезновение стен, открытость бесконечному. Это способность взглянуть на мир глазами Бога, как у автора книги Иова. Это способность ответить на свои же вопросы — человеческие, слишком человеческие — на вопли страдающего сердца и страдающего разума так, словно Бог дал человеку Свой глаз. И тогда все неразрешимые вопросы расплылись и невыносимые страдания стали выносимы. И после потери всего, что Иов любил, после живой смерти — началась заново живая жизнь.

Пари, заключенное Богом с дьяволом, — литературный прием древнееврейского писателя, некоторое «как бы», позволившее развернуть драму. Нелепо

Григорий ПОМЕРАНЦ — родился в 1918 году в Вильно (ныне Вильнюс). Окончил ИФЛИ. Участник Великой Отечественной войны. Автор книг «Неопубликованное» (Мюнхен, 1972), «Сны земли» (Париж, 1985), «Открытость бездне. Встречи с Достоевским» (М., 1990), «Собирание себя» (М., 1993), «Выход из транса» (М., 1995), «Записки гадкого утенка» (М., 1998), «Страстная односторонность и бесстрастие духа» (М., 1998). Живет в Москве.

принимать эту условность за факт и спорить с Богом, как это делал К.Г. Юнг в своем «Ответе на Иова». Но что-то похожее на пари с дьяволом действительно встречается на свете. Таким спором с дьяволом стала жизнь Зинаиды Александровны, когда она заболела. Первым ответом на вызов была мольба: если это продлится больше трех дней, то лучше умереть. А муки длились годами. Пришлось учиться **подныривать** под волны судорог, под болезнь маленького тела, и со своего одра возвращаться к чувству бесконечного внутреннего света, не зависящего ни от чего, что может случиться на поверхности бытия.

Живая память встречи с бесконечностью света оказалась сильнее тьмы, Бог в человеческой груди выиграл пари с дьяволом, прокравшимся в человеческий мозг. Что-то подобное описано в прологе и эпилоге «Озера Сариклен», примерно в этих вечных образах. И ежедневный выигрыш пари рождает стихи, несущие свет, а не тьму, здоровье, а не болезнь. Более сорока лет тому назад услышав эти стихи, я сразу же почувствовал опыт, стоящий за ними, и стал впитывать этот опыт.

Таков один из путей, который я проверил на себе: впитывать в себя опыт Иова, опыт невыносимого страдания, большего, чем смерть, и духовного воскресения, большего, чем страдание. Впитывать из глаз в глаза, впитывать по следу опыта в словах, звуках, красках. Впитывать в литургии света, в литургии восходов и закатов, в литургии, которую служат деревья и волны моря. Я уже рассказывал, что Мертону не хватало общих обрядов и он создал еще свой: встречать рассвет пением псалмов. Так иногда читались стихи Зинаиды Александровны на могиле Волошина или у костра.

Покойная Зельма Федоровна Руофф, написавшая книгу о Рильке, нашла новое слово: поэтология. Что-то вроде мифологии, но без наивного смешения метафоры с фактом, без превращения образа в кумир. У Зинаиды Александровны, в образах ее поэтологии, нет требования к Богу создать мир получше, без страдания и смерти. Есть требование к себе — понять **свою** задачу в этом мире, сохранять почву человеческого, в котором растет Божье. Сквозь превратности истории следить путь обóжения, становления второй ипостаси, того второго и третьего и невесть какого пришествия, которое совершается в душах святых, как писал об этом Рейсбрук. Преображение неотделимо от сознания своей скромной роли в этом процессе, от умения найти паузу созрецания, когда рождается истина этого мгновенья, знание, что сделать, что сказать.

В Доме Мадонны, созданном супругами Дохерти в Канаде, заведен был особый домик, называемый по-русски пустыней, и туда уединялись на день, на два; по мере сил молились, устав, — засыпали, просыпаясь, — снова молились, пока не отпадала, не отгорала вся суета и в тишине не рождался образ слова, которое сейчас надо сказать, или поступка, который надо совершить. У моего друга Лайфа Ховельсена, последователя Бухмана, такая пауза — час на рассвете, с 5 до 6 утра. Тут нет никакого шаблона, каждый может найти паузу по-своему и в тишине осознать свою сегодняшнюю задачу, основную мысль письма, стиха и т.п., словом — свою роль, хоть самую маленькую, какая кому по силам. А это значит — сегодня, сейчас не давать тьме поглотить свет в себе и в своем ближнем, это значит сохранять почву для чуда, уравновешивающего невежество и грех истории; а может быть — уравновешивать и разрушительные силы во вселенной,

сделать шаг от хаоса противоречий к гармонии противоречивых голосов. Ничего не возможно здесь доказать, но интуиция не требует доказательств:

Мир только чудом не исчез,
Удерживает мирозданье
Невидимый противовес,
Немое противостоянье
Души с ее крылатым «нет!»
Растущей тяжести в ответ...

Я верю, что глубокое созерцание входит в круговорот Святого Духа, незримо участвующего в вихрях природных сил, незаметно поддерживая жизнь против смерти и хрупкую одухотворенность против бездуховных масс. Каждая жизнь и каждая личная одухотворенность смертны. Сказав «жизнь», мы тем самым сказали «смерть». Но наше глубокое сердце неотделимо от сердца вселенной, и в этой нераздельности, в этом причастии оно бессмертно. Как это все получается, не знаю. Я так просто чувствую, вопреки очевидности смерти.

До всякой науки с ее законами термодинамики и тепловой смерти Будда говорил, умирая: «состоящее из частей подвержено разрушению, трудитесь прилежно...». Причащайтесь духовному Целому. Наш духовный труд поддерживает центростремительное движение, противостоящее вихрям, несущимся в тьму внешнюю. Преображение противостоит хаосу и вносит свой вклад в чудо света, не дает ненависти разорвать мир на части, и свет во тьме светит, и тьма не объемлет его.

* * *

Но вот вопрос: что может сделать меньшинство, услышавшее призыв к преображению? Прежде всего просто быть. Быть, чтобы Богу было к чему присоединиться, что поддержать, и не давать угаснуть свету во тьме.

Когда решался вопрос об отмене крепостного права, государственный совет проголосовал против. Великий князь Константин, председатель совета, пошел с этим решением к брату, и Александр II присоединился к меньшинству. Бог не менее самодержавен, чем русский царь, и не раз присоединялся к меньшинству. В этих случаях меньшинство становилось большинством — даже один человек. Как сказал Ф. Бухман, «один человек и Бог — это уже большинство». Один человек, сказавший «так я стою и не могу иначе», создает большинство.

В развитии жизни и в истории общества есть ряд необъяснимых поворотов. Я долго пытался понять, почему примерно одновременно в Элладе, Индии и Китае возникло мышление, свободное от опоры на традицию, и убедился, что ни одного удовлетворительного объяснения нет. Так же обстоит дело с возникновением жизни, со скачком к homo sapiens... В.В. Иванов в одном из своих недавних интервью предположил незаметное вмешательство какой-то внеземной цивилизации. Но это только переносит вопрос из одной галактики в другую. В конце концов — почему существует вселенная? По законам термодинамики она должна была бы закончиться тепловой смертью.

Мир только чудом не исчез.

Такое же чудо — продолжение истории. И только чудо может спасти нас от взаимного уничтожения. Только незначительное меньшинство ищет путь, который Рильке назвал «дивным меандром», и не попадает под власть несовместимых принципов.

Путь наш вьется как тропки лесов и потока
Дивным меандром. Он краткость, прямая.
Так лишь машина вершит взлет свой искусственнокрылый.
Мы ж, как пловцы среди волн, тратим последние силы.

У вл. Антония Сурожского другой образ: Божий след, пересекающий любые идеи, идеологии, принципы, в том числе богословские принципы. «След Божий, нить Ариадны, золотая нить, красная нить, которая укажет, куда Бог ведет нас среди окружающей нас сложной целостности жизни. И тут громадная разница между мудростью и человеческой опытностью. Опытность — результат прошлого, накопленный человеческий опыт; она обращена к пережитому, опыту более обширному, чем личный опыт, и делает выводы интеллектуально основательные, точные, глубокие. А мудрость поступает «безумно». Мудрость состоит в том, чтобы погрузить свой взор в Бога, погрузить свой взор в жизнь в поисках того, что я только что назвал следом Божьим, и действовать безумно, нелогично, против всякого человеческого разума, как нас учит поступать Бог»[1].

Принципы подводят к живой истине, но не дают ее в руки. Принципы подобны железной дороге, которая никогда не достигает цветка. Цветы не растут на железнодорожной колее.

Все принципиальные, прямолинейные решения ведут в тупик. На форуме интеллигенции в Уфе была предложена резолюция о **немедленном** выводе войск из Чечни. Я выступил и сказал, что был противником первой войны и остаюсь противником нынешней, но немедленный вывод войск привел бы к немедленной резне, к истреблению тех же чеченцев, которые устали от войны и признали федеральную власть как факт. Тут нужен целый ряд политических шагов, примирительных решений; может быть (добавлю сейчас) прав Хасбулатов — под наблюдением ООН. И конечно (это тоже добавляю сейчас) нужен такой русский патриот, которым был во Франции де Голль, осознавший, что распад народной души от продолжения войны страшнее, чем угроза территориального распада. Которая, кстати, нам не так уж и страшна. Накануне восстания ингуши отделились от чеченцев, не захотели участвовать в романтическом, но неприбыльном деле. И в Испании также неоднозначно поведение каталонцев и басков. Народы — разные. Не все захотят разбежаться.

Однако главное, что мне хочется подчеркнуть, — не этнические особенности, которые надо принимать в расчет (пусть это очень важно), и не техника политического процесса (я вообще не политолог, это не мое призвание), а необходимость освободиться от чувства исторической обиды, от комплекса раненого зверя. В чеченской войне столкнулись два раненых зверя: чеченское самосознание со своей давней памятью обид и русское самосознание, уязвленное рядом унижений (последнее — в Сербии, которую лихо бомбили нынешние друзья Чечни, не понимая, какой сдвиг это вызовет в России). И то же самое на Ближнем Востоке. С одной стороны, комплекс раненого зверя у евреев после холокоста. С другой — чувство раненого зверя у арабов, некогда великих завоевателей, попавших сперва в зависимость от турок (все же мусульман), потом — в зависимость от необрезанных псов, христиан, и наконец — разбитых на поле боя — кем? — евреями! Как

[1] «Континент», 1996, № 89.

это можно выдержать! И к тому же: почему решение еврейского вопроса, с которым не справилась Европа, должно быть найдено за счет палестинцев!

Были предложены разумные решения. Первое — мирный раздел Палестины по плану ООН. Арабы не согласились. Решение принимало большинство, состоявшее тогда из христианских стран. То есть продолжало традиции колониального высокомерия к Востоку. Потом арабы проиграли войну. Так же, как греки проиграли войну с Турцией в 1922 году и вынуждены были согласиться на принудительный обмен населения. Греки Малой Азии, проживавшие там 3000 лет, были изгнаны, как нежелательные иностранцы. Что поделаешь! Не надо было начинать войну. Тогда было выдвинуто второе разумное предложение: расселить по другим арабским странам беженцев (число их определялось по-разному; наиболее принятая цифра — около 700 000 человек. Для сравнения можно привести число беженцев после раздела на Индию и Пакистан — 16 млн. человек. Через пару лет они расселились). Предложение было блокировано. Арабские политики (не жившие сами в лагерях) исходили из опыта истории: чужаки из Европы уже вторгались в Палестину; через сотню лет крестоносцев выбили. Лагеря стали не временным, а постоянным образом жизни и превратились в школу камикадзе. Я думаю, это злокачественное перерождение случилось бы с любой этнической группой, помещенной на полвека в лагеря.

Третье разумное предложение принадлежало папе Павлу VI. В 1967 году он выступил с призывом к победителям превратить Иерусалим в общий город трех великих религий под надзором ООН. Такое решение требовало большой мудрости и большого великодушия со стороны израильтян. Оно, быть может, создало бы другой моральный климат в отношениях с арабами. Но победители были упоены победой. Кроме того, политическое равновесие в Израиле поддерживают религиозные партии, присоединяясь либо к одному, либо к другому блоку. А религиозные фундаменталисты никогда не согласятся отдать Иерусалим, дарованный им Богом. Демократия, как сказал Черчилль, — худший образ правления, не считая всех остальных. Чтобы мирно решить вопрос об Иерусалиме, нужно вывести из него священных коров двух фундаментализмов, вцепившихся в святые камни.

Ни международные, ни внутренние конфликты не допускают выхода на поверхности, на уровне страстей. На поверхности война, — сказал еще Гераклит, — а в глубине вечно живой огонь. На поверхности моря тайфуны, в глубине — покой. Выхода нет и не будет, пока мы не восстановим контакт с собственной глубиной и через нее — с глубиной, где царствует Святой Дух. Выхода нет, пока не распространится вширь круг любви, связывающий ничтожное меньшинство сегодня, сейчас, — пока не станет понятным чувство священного поверх священных символов. Так, как оно было высказано примерно две тысячи лет тому назад и недавно повторено в сказке Михаэля Энде: «Учись падать и держаться ни на чем, как звезды».

Древние слова об этом есть и у христиан (будете молиться не на горе и не в храме, а в духе и в истине), есть и у буддистов: «Воздыми свой дух и ни на чем не утверждай его». Ни на одном принципе, ни на одной идее. Только на глубине сердца.

Еще раз повторю определение Антония:

«Каждый грех есть прежде всего потеря контакта с собственной глубиной.»

ФИЛОСОФСКАЯ, СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ, ИСТОРИОСОФСКАЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ

в русской периодике четвертого квартала 2002 г. — первого квартала 2003 г.

Читать энциклопедии полезно для прояснения ума и обогащения знаниями. Выход же ***энциклопедии философской*** — еще и историческое событие, свидетельствующее о степени цивилизованности общества, о культуре его мышления. Первый русский философский словарь, изданный в Санкт-Петербурге в 1751 году, предварялся словами: «Знания, касающиеся вообще до философии, для пользы тех, которые о сей материи чужестранных книг читать не могут». Первый значительный четырехтомный «Философский лексикон» издан в 1857-1873 гг. Потом до 1917 года вышло всего два философских энциклопедических издания. При советской власти печатали в основном краткие словари. Единственным полным справочником стала пятитомная «Философская энциклопедия» (1960-1970 гг.). Это был настоящий подвиг авторов и редакторов и памятник тайнописи, подцензурного иносказания.

Наступление XXI века и новых времен в России ознаменовано выходом «Новой философской энциклопедии», четыре тома которой содержат 1932 термина, отсутствующих в пятитомнике. Издание обсуждают *за круглым столом* в журнале «Вопросы философии» (№ № 1-2). **А. Лекторский** считает это издание значительным событием нашей философии. **Е. Мамчур** отмечает оригинальный подход к первейшей проблеме – предмету философии (самосознание культуры, рефлексия над ее универсалиями), расширение ключевых для научного познания универсалий бытия (статьи «независимость», «автономность»). **Л.Кузнецова** отмечает отсутствие статей по философии естественных наук — физики и биологии. Что же касается *онтологии* и *теории познания*, то, по мнению **В. Кузнецова**, создателям энциклопедии удалось избежать однобокой европоцентристской мировоззренческой проблематики. **А. Шестопал** с удовлетворением отмечает, что раздел, посвященный трем основным *философским традициям Востока* (индийской, китайской и арабской) по качеству изложения, степени систематизации и полноте превосходит аналогичные зарубежные издания. **В.Финн** указывает, что цикл логических статей образует замкнутое естественное целое, но приложения современной *логики* освещены слабо. **Т. Алексеева** отдает должное высокому качеству отдельных статей по *философии политики*, а также отмечает отсутствие целостной картины, связанное с тем, что данная дисциплина в России переживает все еще «детский период». **И. Пантин** сожалеет о недопонятом величии Чернышевского как политического философа, о не усмотренных крестьянско-демократических корнях идеологии народников и недостаточно глубоком осмыслении политической философии Ленина, а также о том, что многие итальянцы остались втуне. **А. Чанышев** успех издания относит за счет отсутствия идеологической заданности, хотя

указывает, что кое-какие статьи этого не избежали («свобода». «прогресс», «империя»). Идеологическую раскованность новой энциклопедии отмечает и **И.Кондаков**, радуясь тому, что в статьях энциклопедии теперь нет надобности искать подтекста, иносказаний и намеков. Однако, по мнению Кондакова, с наступлением свободы информации из энциклопедических текстов порой уходит глубина смысла. **А. Прокофьев** считает, что приемлемой глубины и описательной точности достигли статьи *этической проблематики*, правда, ценностно-нормативные понятия трактуются преимущественно в историко-философском ключе, происходит же это вследствие попытки уклониться от излишней идеологизации и морализирования. Достойное место, по мнению **Д. Силичева**, занимает *эстетическая проблематика*, правда, советской эстетике следовало бы уделить больше внимания, к тому же вызывает сожаление отсутствие статей о конструктивизме, культурной индустрии и китче. На взгляд **А. Зотова**, авторам энциклопедии необходимо было сформулировать свои принципиальные установки по отбору материала и очертить категориальный каркас начинания. Сделать это можно было бы, например, в статье «энциклопедия», которая в издании отсутствует. Не нашлось также места для статьи по периодизации истории философии, а *современная западная философия* отражена «подчеркнуто объективно» (политически беспристрастно), в то время как статей о сочинениях классиков марксизма многовато, а современная русская философия дипломатично представлена только теми, кто ушел в мир иной. **М. Писманника** вполне удовлетворяет раздел *религиоведения*, который охватывает весь комплекс философско-религиозной проблематики, переосмыслены и заново описаны все ключевые категории, охарактеризованы многие десятки «священных» текстов, щедро представлены персоналии. Присоединяясь к хору славословий, отметим досадное отсутствие предметного указателя, совершенно необходимого в таком издании.

В периодике заметен разоблачительный энтузиазм по поводу ***нашего марксистского прошлого***. Сосредоточен же интерес не столько на творческом наследии недавних кумиров, сколько непосредственно на личностях. Рисуя психологический портрет Маркса, **Д. Колесов** в статье **«Карл Маркс — пророк и люмпен»** («Развитие личности», № 4) берет за основу образ пророка. Пророка — в смысле автора учения (т.е. предельно обобщенной концепции решения всех общечеловеческих проблем), который сулит счастье и благополучие всем, кто в него поверит и будет за ним следовать. Колесов действует как психотерапевт, а заодно и смело «раздевает» пациента. В личности Маркса обнаруживаются основные качества пророка — масштабность и полет мысли при полном отсутствии критичности, как к себе лично, так и к продукту своего мышления. Кроме того у «пациента» обнаруживается свойственная пророкам безапелляционность, высокомерие, авторитарность, нечувствительность к противоречиям в собственном мышлении, безответственность, вера в свою абсолютную правоту, нежелание и неумение приспосабливаться к обстоятельствам, индивидуализм и т.д. Но подлинная драма «пациента» — несоответствие уровня его притязаний уровню действительных дарований (стихи писал неважные, чиновником стать не захотел). Итак, диагноз: «пациент» — пророк и ни в коем случае не революционер, не политик и не ученый (необходимых для этого качеств не

обнаружено ни в личности, ни в творчестве). Он — культовая фигура, основоположник. Культ сопровождается таинствами (закрытые партсобрания), гимнографией и иконографией. У основоположника есть последователи, адепты, которые борются за иллюзорную цель, но против конкретного врага.

Г. Хрустов («Психология заблуждений К. Маркса» — «Развитие личности», № 4) дополняет психологический портрет Основоположника. Его работа представляет собой коллаж, составленный из цитат самого Маркса, Энгельса, их оппонентов, очевидцев жития, комментаторов и проч. Правда, Хрустов касается только идеологии. Он убежден, что именно идеология являет трагическое отражение иллюзий и заблуждений человека, которым движут сильные страсти. Маркс обладал дарованием мыслителя, но им управляли эмоции. Так в качестве основной установки, патологизирующей сознание, автором «К критике гегелевской философии права» руководила абсолютная ненависть. Недаром Маркс предпосылкой к любому исследованию объявляет здесь беспощадную критику религии — «сердца бессердечного мира». Такая установка доводит его до умоисступления. Аффективный пресс нейтрализует всякую контраргументацию. Стало быть, по мнению Хрустова, вся критика политической экономии капитализма («Капитал») — химера, порожденная ненавистью основоположника не только к частной собственности, эксплуататорским классам, к нищете пролетариев и труду, но и, страшно молвить, к Богу.

Антимарксистское поветрие, хотя и похоже на повальный недуг, однако не носит характера эпидемии. Стойкий иммунитет против него имеют авторы «Свободной мысли». Они не хотят освобождаться от привязанности к своему кумиру, хранят верность марксизму и даже обнаруживают в нем **«Едва заметный пунктир истины»**. Так называется статья **В. Жукоцкого** («Свободная мысль — XXI», №1), полагающего, что марксизм, доведенный до логического конца, может стать либерализмом. Самые радикальные революции XX века не достигли своих целей потому, что история не предоставила материала, способного удовлетворить логическим требованиям их социального конструирования. Буржуазный социальный идеал со всеми этими частными интересами, потребностями и правами лепит «абстрактного политического человека», т.е. эгоистического человека гражданского общества, замутняя в нем общественную сущность. Маркс (умозрительно) доводит дело эмансипации человека до конца. Не останавливаясь на политической сфере, он проникает и в антропологическую и делает индивидуального человека в его эмпирической жизни и труде «родовым существом». Но, чтобы таковым стать в действительности, человеку следует сначала познать и организовать себя и собственные силы не как личные, а как общественные, т.е. имеющие всеобщую пользу. Человек должен стать непосредственно политическим существом, не отчуждая своей общественной сущности от индивидуальной жизнедеятельности. Индивидуальное, природное в человеке должно возвыситься до общественного. Последнее автор отождествляет с божественным. Буржуазный идеал, по Марксу в исполнении Жукоцкого, плох тем, что права индивида на жизнь, свободу и собственность считаются правами естественными. Это не так. Естественны индивидуальные права только тогда, когда подчинены общественной пользе. Такова диалектика марксистского либерализма.

О разнообразии ***философского настоящего*** свидетельствуют многие публичные собеседования наших известных мыслителей.

В статье **«Книга, которую никто не читал»**, написанной неким **А.Л.,** («Новое литературное обозрение», № 58) описана *презентация книги А.М. Пятигорского* «Мышление и наблюдение (четыре лекции по обсервативной философии)». В презентации приняли участие московские интеллектуалы, специально интересующиеся философией Пятигорского. Сей пир духа самим участникам было угодно назвать тусовкой. Особенность ее заключалась в том, что обсуждаемую книгу никто из выступавших (кроме самого автора) не читал. Все исходили или из личного знакомства с Пятигорским, или из знакомства с его былым творчеством (научным и художественным). **Ю. Левада** назвал философию Пятигорского «предельно личной», предназначенной не для публики, а прежде для самого себя. Его философия о том, что он думает о том, как он думает. Предмет его обсервационной философии суть его субъект, имеющий имя, отчество и фамилию — Александр Моисеевич Пятигорский. **В. Калиниченко** обратил внимание присутствующих на специфическое понимание мышления у автора и связал это с медитативным опытом всей жизни Пятигорского и, в частности, с его пристальным интересом к духовным практикам буддизма. **В. Подорога** процесс думания Пятигорского назвал поиском новой родины, т.е. мира, лежащего вне пределов европейской рациональности, мира, который еще не имеет своего языка, мира, где Пятигорский может существовать пока только в одиночестве. **А. Ахутин** вообще воспринимает тексты, сложенные Пятигорским, как некую игру ума, но ума, устроенного иначе, чем у всех, эти тексты читающих. Обсервационная философия суть философия чистого объективного наблюдения. Это скорее теоретическая позиция, а не философствование, нечто вроде пропедевтики к теории мышления. **В. Бибихин** мышление Пятигорского понимает как синоним наблюдения. То, что наблюдают, отражается в бесчисленном множестве изображений, как в зеркалах, поставленных одно против другого. И, наконец, сам **Пятигорский** сказал, что в обсуждаемой книге он пытается «объяснить мышление не сущностно (он не уверен, что у мышления вообще может быть сущность), а просто показать, что работа с ним (мышлением) проходила у него (автора) при полном непонимании того, О ЧЕМ он собственно говорит». Трагикомичность описываемого события усиливается, если вспомнить, что автор обсуждаемой книги — буддолог, по всей видимости усвоивший основополагающую парадигму буддийской мысли — анатта — отсутствие мыслящего «Я». При такой установке выяснить, кто и как думает, весьма затруднительно.

Научный взгляд, которому чужда тривиальная бытовая скромность, не оставляет в покое и неоспоримые ***авторитеты мировой философии***. Для французского философа **Ж.-Б. Ботюля** одним из самых неразрешимых вопросов западноевропейской метафизики представляется **«Сексуальная жизнь Эммануила Канта»** («Логос», 2002, № 2). Однако автор не собирается делать *классика германского рационализма* темой для анекдотов. Ботюлю кажется, что безбрачие философов — явление вовсе не случайное и относится к сути самой философии. Достаточно вспомнить, что предшественники Канта — Декарт, Спиноза, Паскаль, Лейбниц, Мальбранш, Гассенди — и современники — Юм и Вольтер —

были холостяками. Женщины, несомненно, представляли интерес для Канта, и Кант представлял интерес для женщин. Он не был отшельником, а вел размеренный образ жизни «учтивого человека». Однако в монотонности его жизни Ботюль углядел скрытую авантюру, временами граничащую с помешательством. У Канта, по его мнению, больно воображение и оно заражает разум. Как только разум становится «чистым» от всякого чувственного опыта, он начинает вести себя, как помешанный. Это сумасшествие Ботюль называет метафизикой. Склонность к ней Канта подобна любовному желанию. Эта любовь приводит к «метафизическим оргиям», к трем разновидностям не знающего границ разврата — диалектике, паралогизмам и антиномиям. Это они прорвали метафизическое либидо, и, чтобы преодолеть их, следует подчинить себя аскезе. Ботюль находит в безбрачии Канта возможность применения аскетических практик. Например, беречь семя, ибо его расход — это потеря пневмы (духа), совокупление отнимает энергию мышления. Кантовскую «Вещь в себе» Ботюль трактует на психоаналитический манер как женские гениталии, а метафизика как раз и стремится к познанию вещи в себе (ноуменов). Противоречие между неосуществимостью этого познания и стремлением к нему Кант преодолевает изобретенной им терапией — «Критикой чистого разума». Смысл главного открытия Ботюля даже не в том, что способ размножения у философов — дружба, а в том, что сексуальность Канта коренится в его творчестве. Суть его аферы заключается в том, чтобы противостоять вещи в себе (что последняя означает, смотри выше).

Классик советского рационализма говорит о себе сам. **А. Зиновьев** (**«Комплексная логика»** — «Вопросы философии», № 1), известный, быть может, большинству читателей как социальный философ, страдавший за границами СССР от неразделенной любви к советской власти, выступает по своей основной специальности и излагает авторизованную фундаментальную концепцию логики. По его мнению, в отношении логики сложился философский предрассудок, что, де, ее правила суть отражение неких общих законов бытия, их нужно принять и заучивать, не требуя объяснений. Согласно теории Зиновьева, логика — это особая наука (он назвал ее комплексной логикой), а ее предмет — язык. Язык не вообще, во всем многообразии его признаков и функций, а лишь в одном его качестве — как вещный (материальный) способ существования человеческого сознания, как средство познания, искусственно изобретенное людьми. При этом логика имеет свой специфический, только ей свойственный подход к языковым явлениям. Логика выделяет (абстрагирует) в языке определенные структурные компоненты, а именно те, которые образуют знание, — термины, высказывания (суждения), а также операторы — т.е. элементы, образующие эти термины и высказывания. Логика их выделяет в эмпирически данных языковых фрагментах и устанавливает, как и по каким правилам они работают в языке. В своей логической теории Зиновьев провел логическую обработку большого комплекса логических терминов, относящихся к пространству, времени, движению, их эмпирическим связям. Он полагает, что до него эта терминология была неустойчива и не имела смысловой определенности, поэтому служила основой для всякого рода спекуляций и псевдонаучного бреда, вроде замедления, ускорения или обратного хода времени, искривления пространства и т.п. — и всё это со ссылками на новейшие достижения науки. Посредством своей логической обработ-

ки Зиновьев пытается доказать чисто логически (без всякой физики) необратимость времени, бессмысленность утверждений о его ускорении, единственность и трехмерность пространства и целый ряд других трезвых истин.

Ф. Хайек (**«Претензии знания»** — «Вопросы философии», № 1), чтимый нашими экономистами-реформаторами как разоблачитель социализма, апологет либерализма и мессия рынка (как единственного способа экономического существовании общества), в лекции, прочитанной при вручении Нобелевской премии, неожиданно предстает осмотрительным философом, осознающим пределы своих способностей и возможностей своей науки. В опусе, который, вспомнив Канта, можно было бы назвать «критикой экономического разума», автор, заботясь о репутации науки, пытается ограничить сверхпритязания экономического знания. Его нельзя уподоблять знанию в физических науках, где любой важный фактор, объясняющий наблюдаемые явления, сам подвергается прямому наблюдению и измерению. В социальных науках наблюдаемые явления (например, рынок) зависят от множества индивидов, действия которых не могут быть в полной мере познаны, учтены и предсказаны. Современная экономическая наука едва начинает уяснять, сколь тонко функционирует в развитом индустриальном обществе система коммуникаций, именуемая рынком. Эта коммуникация, которую нельзя заменить любым другим более эффективным механизмом, произвольно выдуманным человеком, но, по-видимому, ее нельзя и встроить как механизм в структуру инородную. Объекты, обнаруженные и изученные усилиями экономического ума, следует скорее культивировать путем формирования подходящей среды, подобно тому, как это делает садовник для своих растений.

Не угасает интерес к ***постмодернизму***. Понятие постмодернизм требует не только строгих логических дефиниций. Оно выводит за рамки философской дисциплины на драматическое поприще экзистенции (то бишь человеческого бытия), ибо именует общую ситуацию, сложившуюся в конце XX века в культурном сознании стран Запада. Приставку «пост» в этом случае можно толковать как «анти», так как все силы этого явления обращены на критику установок модернизма, а последние сводятся к вере в науку и мощь человеческого разума, в непрерывный прогресс всего и вся.

В. Ратников, автор статьи **«Постмодернизм: истоки, становление, сущность»** («Философия и общество», №4) поименно перечисляет всех, кому мы обязаны появлением и концептуальным оформлением постмодернизма. Отбор и разнообразие их дарований впечатляет. Назовем только основателей — К. Маркс, Ф. Ницше, З. Фрейд. Сущность культурного самоосознания постмодернизма заключается в том, что в его разумных рефлексиях нет и не может быть объективной основы, ибо не существует объективной истины, той точки зрения, которая могла бы служить опорой для «истинного» мировоззрения. Отсутствие устойчивых принципов познания, размытость границ между объектом и субъектом познания, историческая относительность и неопределенность любого знания — все это характеризует «ситуацию постмодернизма» в современной культуре вообще и в философии в частности. Вот основные положения последней: плюрализм — отсутствие единого начала, универсальных предпосылок, интегрирующих идей;

их нет ни в культуре, ни в познании, ни в человеческом мире. Всякое единство репрессивно, тоталитарно и должно быть отвергнуто. Человек не способен ни познать, ни изменить мир. Мир нельзя привести в систему, он не вместим ни в какие схемы. Мышление должно быть освобождено от привычной установки на оппозиции типа: субъект — объект, целое — часть, верх — низ, центр — периферия, мужское — женское и т.п., то есть должно философствовать без субъекта, что для мышления в классическом философском понимании — нонсенс. Далее — забыть слово прогресс, а мир и культуру представлять как совокупность текстов. Текст — это репрезентация реальности. Все это философствование оборачивается против самого постмодернизма, т. к. выполняя все свои установки, он в принципе не может существовать как целостное и общее мировоззрение или философия. В результате остается лишь разрушительный критический энтузиазм, не способный к позитивному творчеству.

В. Кутырев взял на себя труд защищать человечество от постмодернизма методами консервативного философствования. Его нынешняя работа **«Апология человеческого (предпосылки и контуры консервативного философствования)»** («Вопросы философии», № 1) — продолжение прошлогодней статьи. Мир в представлении постмодернистов не осквернен грязью материи и не пахнет человеком, он может быть представлен алгебраически и количественно исчислен. Постмодернизм, по соображениям Кутырева, является универсальным технологизмом. «Умерщвление человека», превращение его в роботообразное существо порождает потребность в соответствующем идейном обеспечении. Появляется грамматология — теория информационно-компьютерного мира, которая симулирует и потом преодолевает любую жизненную ситуацию, связанную с предметным миром активности человека. Ниспровергается природное окружение, культура, история, низводятся до недоумков величайшие философы прошлого. Кутырев призывает вслед за Хайдеггером к «великому консервативному повороту». Ради выживания необходима ревизия всей истории человеческой мысли и прямое возвращение к истокам. Феноменология и герменевтика суть основные составляющие консервативной философии, которая должна сохранить тождественность человека самому себе. Это идеология выживания, «логика сопротивления». Консервативное философствование близко идеям великих религий, призывающих не к физической трансформации человека, а к его духовно-нравственному возвышению. Оно совпадает с вечной философией и, по мнению Кутырева, может стать предпосылкой появления «вечного человека».

В отличие от глобальных претензий консервативного философствования (некоторые называют это «консервативной революцией») **А. Вебер** в статье **«В поисках альтернативы»** («Свободная мысль — XXI», № 1) пытается осмыслить ***политическую глобализацию*** в рамках здравого смысла. В неолиберальной политике глобализации он обнаруживает явный кризис. Силы глобализации действуют как фактор возрастания неустойчивости мирового развития. Многочисленные критики глобализма, создавшие ряд протестных международных институтов (Международная финансовая организация ООН, Международный суд по делам стран-должников, Организации по наблюдению за деятельностью корпораций и т.п.) вольно или невольно примыкают к альтернативному

движению политики устойчивого развития, которая во главу угла ставит защиту окружающей среды и экологических ценностей, т.е. сохранение чистоты воды, земли, лесов, культурной и человеческой самобытности, которые, как и здоровье, образование и другие коллективные блага, нельзя превращать в товар.

В этой ситуации *антиглобализм* становится благодатной почвой для новых утопий. **А. Бузгалин** в статье **«Призрак антиглобализма»** («Свободная мысль — XXI», № 1) глобализму и диктатуре «большой семерки» противопоставляет вероятность создания союза сверхкрупных и быстро растущих государств «третьего мира» (Китай, Индия, Бразилия) и политику «демократической интернационализации — так называемую глобализацию снизу со стратегией контргегемонии. Это — эшелонированные программы антиглобалистских социальных действий массовых демократических движений и неправительственных организаций. Бузгалин хочет обновить марксистский лозунг «пролетарии всех стран соединяйтесь» в качественно новом «интернациональном движении наемных работников», которое среди прочего должно потребовать радикальную демократизацию институтов, регулирующих мировые политические, экономические и гуманитарные процессы. Итак, иной (кроме глобалистского) мир возможен, но требует социал-демократического переустройства мировой экономики и социально-политической сферы. А это предполагает роспуск НАТО и упразднение либерально-капиталистических институтов, таких как ВТО (Всемирная торговая организация), ВМФ (Международный валютный фонд) и главное — ТНК (Транснациональные корпорации). Словом, весь мир глобальный мы разрушим до основанья... А затем?

Иначе на проблему смотрит **Ф. Кессиди**, автор **статьи «Глобализация и культурная идентичность»** («Вопросы философии», № 1). Он полагает, что идея глобализации противоречит психофизиологическому устройству человека. Речь идет об особенностях этнических культур, связанных с функциональной асимметрией головного мозга, которая и определяет тип мышления. Установлено, что логико-вербальное отражение мира, а также чтение и счет связаны с функцией левого полушария, оперирование же образами, ориентация в пространстве, различение мелодий и невербальных (бессловесных) звуков, распознавание сложных объектов, а также возникновение сновидений определяются деятельностью правого полушария мозга. В каждом этносе доминирует тот или иной тип мышления. Каждая из культур (цивилизаций) имеет свой особый генотип и внутреннюю логику развития (Запад — левое полушарие, Восток — правое). При такой психофизиологической непохожести рассчитывать на создание в обозримом будущем крупномасштабной (глобальной) общности на базе универсальной социокультурной парадигмы Кессиди считает по меньшей мере опрометчивым.

Самокритическая версия возможностей *глобализационной модели культуры США* предлагается американским философом **У. Макбрайдом («Глобализация и межкультурный диалог»** — «Вопросы философии», № 1). Главным препятствием для эффективного межкультурного диалога он считает религию. Разные исповедания предлагают разные идеалы духовного характера (общественные, этические, эстетические), но всем им противоречит американская модель прославления чистого своекорыстия. Именно она служит оправданию «теологии раз-

витого капитализма» и идеологии свободного предпринимательства. Макбрайд призывает неамериканцев соблюдать критическую дистанцию от всякого рода идеологического товара с брендом «так думает американский народ» или «американские интеллектуалы говорят» и постоянно сравнивать идеалы свободы, демократии, прав человека и социальной справедливости с американской политической практикой. А она настолько далека от этих идеалов, что достойна лишь одного названия — лицемерие. Итак, на основе одной гегемонической культуры построить межкультурный диалог невозможно.

Диалог культур или даже просто мирное сосуществование народов зависит не только от их качественных характеристик населения, но и от тесно связанных с ними количественных. С. Капица («Наследие Земли и предвидимое будущее цивилизации» — «Социологические исследования», № 1) создал математическую модель для описания ***мирового демографического процесса***. Используя ее, он обращается к количественному исследованию истории. Правда, исследование это рассеивает (или лукаво усыпляет) наше беспокойство относительно будущего планеты. Модель эта, вопреки Мальтусу, указывает на глобальную независимость развития человечества от внешних ресурсов и дает возможность сформулировать «принцип демографического императива». В соответствии с ним и принимая во внимание изменение антропологических структур, социально-экономические и технологические циклы роста, численность населения в предвидимом будущем стабилизируется на уровне приблизительно 10-12 млрд. человек. А по утверждению Международной организации питания, в настоящее время на планете имеется достаточно ресурсов, чтобы накормить 20-25 млрд. Так что дело стоит за правильным распределением. Автор называет это новой парадигмой развития качества жизни, реализация которой зависит от доброй воли мирового сообщества.

Обращает на себя внимание отчет о событии, имеющем преходящее значение, но зато мировой резонанс. Это — ***XV Всемирный социологический конгресс в Брисбене*** (Австралия).

Н. Покровский («Дискуссионные проблемы социологического конгресса» — «Социологические исследования», № 2), характеризовал общую картину современной социологии как теоретическое безвременье, межсезонье. Однако обозначилось это межсезонье на перекрестке двух событий — развитие теории социокультурной травмы (в одном из предыдущих обзоров мы знакомили читателей с идеями ее основоположника П. Штомпки) и теории перехода традиционных обществ к стадии глобализации (и это тоже было представлено в обзорах). Участники конгресса сошлись на том, что первая послужила дополнением и расширением второй. Одной из доминирующих тем конгресса стало выживание социологии как науки в мире, где заботятся только о добывании денег. Нашим социологам в назидание автор из услышанного извлек вывод: учитесь приспосабливаться, «актерствовать», изображайте оптимистов и результаты своих работ сообразуйте с чаяниями заказчиков. Но в глубинах исследований делайте так, как приказывает сердце и диктует научная совесть (это что-то из давно пройденного, чему мы сами кого хочешь можем научить). Пред-

ставленная на конгрессе российская социология выглядела неоднозначно. Подбор делегатов был случайным, а нескрываемое высокомерие в отношении к Западу — безосновательным. Вероятно, и то, и другое объясняется финансовой скудостью или небрежностью «Российского общества социологов». Однако усилиями энтузиастов был создан Русский форум, который по-новому осветил имеющийся и, казалось бы, знакомый материал. Русские социологи вдруг стали интересны друг другу, и это вселило в автора надежду, что когда-нибудь они станут интересны и остальным.

В. Кутырин (**«Облик социального мира в современной социологической мысли»** — «Социологические исследования», № 2) представил фундаментальные доклады конгресса. Так **Х. Домингеш** констатирует, что необходимо связывать теоретическую социологию с общественной практикой и с социальной теорией. Если теоретическая социология способна представить новые идеи, ее влияние огромно. В пример он приводит дискуссии о «гражданском обществе», «сетевом обществе», имевшие заметный резонанс в мировой мысли. У социальной теории есть своя роль, выходящая за рамки академической жизни, она помогает людям разобраться в проблемах, достижениях и неудачах общественной жизни. **М. Арчер**, говоря о глобализации, анализирует два ее аспекта: экономический и социальный. Новая экономическая ситуация, по мнению Арчер, разрушила примат нации-государства. Вследствие этого немедленно пришло в упадок социальное регулирование. Новые экономические элиты не зависят от нации-государства и его императивов. С развитием негосударственных предприятий и объединений исчезает зависимость бизнеса от населения страны. Приватизированные предприятия соотносят себя с мировой, а не с национальной системой. Возрастает разница доходов населения, а вместе с ней растет расизм, преступность, бездомность. Падает соседская и межпоколенческая солидарность людей. **Н. Смелзер** поделился своими футурологическими соображениями и поведал о том, что грядущая глобализация готовит обществу. Во-первых он не ждет никаких революционных изменений, все будет происходить плавно и постепенно, хотя и быстро. Основной характеристикой грядущих перемен будет сложность (но не смешение), которая свяжет прошлое и будущее общества. Появление международных организаций (типа транснациональных компаний) снизит автономность государств и их суверенитет. Изменятся средства международной борьбы, что видно уже сейчас на практике международного терроризма, но «затмения» государства не произойдет. В духовной области следует ожидать неожиданных смешений: одновременного сосуществования сектантства и толерантности, неожиданного сочетания секулярного и религиозного, а также отдельных попыток создать единую мировую религию. **Э. Рейс** обсуждает рост практики социальных эксклюзий (неравенства стран и граждан), трансформацию наций-государств и гражданские права в глобализирующемся мире. В общем, он приходит к выводу, что государство как сообщество потеряет социологический смысл. Задача социологии в этом случае сводится к тому, чтобы определить, каким обществу быть. Далее следует изучать государство как исторический артефакт, способный изменяться в зависимости от обстоятельств. Глобальное гражданство порождает для социологов проблему искоренения предрассудков, касающихся принадлежности кон-

кретного человека к конкретной нации-государству (т.е. космополитизм становится формой национального самосознания), ибо эти предрассудки исключают шанс (эксклюзия) в конкурентной борьбе за рабочее место у представителей некоторых народов.

С. Кравченко («От Монреаля до Брисбена: новации, приобретения, упущения» — «Социологические исследования», № 2) повествует о радикальных изменениях в социологической науке и социологическом сообществе, о которых можно судить по XV Конгрессу. Прежде всего увеличилось разнообразие подходов к исследованию общества, широко используются достижения других наук. Оставлены попытки создания универсальной теории, объясняющей все и вся. Круг тем заметно увеличился, ряд наиболее актуальных выделен в специальные симпозиумы. Американские социологи обнаруживают замечательное разнообразие и заполняют все ниши социологического знания. Неожиданно удостоили Конгресс своим присутствием классики современной социологии. Новацией стало проведение сессий языковых сообществ, например «Русский форум», хотя и сократилось число сессий региональных ассоциаций. Заметно для глаз увеличился средний возраст участников (55-60 лет). Наконец разнообразились географические предпочтения организаторов: после нынешнего австралийского, следующий конгресс они решили провести в Южной Африке.

О других стандартах пишет **Ж. Чернова («"Корпоративный стандарт" современной мужественности»** — «Социологические исследования», № 2). Она проанализировала иллюстрированные журналы, определив ***образцы нормативной мужественности в сфере потребления***. Сначала описываются «мужские доспехи». Это — средства передвижения (автомобили, мотоциклы, яхт, катера и т.д.); часы, зажигалки, очки, портсигары, мобильные телефоны, авторучки, зонты и проч. Главное в них престижность марки и высокая цена. Далее Чернова демонстрирует «галерею образов». Здесь она выделяет такие типы: «Джентльмен» — классический англичанин, слуга и строитель империи, офицер и администратор. Безусловный лидер, человеческий тип, сделанный из высоколегированной стали. Он — охотник и член гольф клуба. Стиль одежды и аксессуаров: строгий деловой костюм, галстук, золотые часы «Ролекс», ручка «Паркер». Костюмов у «джентльмена» должно быть как минимум пять; галстук соответствует костюму и завязывается в зависимости от ситуации особым узлом. Непременное условие — соответствующая костюму и событию обувь (имеется подробная спецификация). Другой тип: «гурман» — образ знатока и ценителя изысканных блюд, спиртных напитков, сигар. Тип «спортсмен»: здесь важную роль играют элитарные виды спорта (гольф, верховая езда, конное поло, лаун-теннис, горные лыжи, яхтинг, серфинг и т.д.). Настоящий мужчина посвящает спорту свой досуг, это — хобби, требующее не меньше затрат энергии, чем работа и карьера. «Коллекционер»: его занятия рассматривается как мощный компенсаторный фактор в критические фазы сексуальной активности и характерно для мужчин после сорока лет. Тип «путешественник» номинируется без описания подробностей.

Обзор подготовил Александр Денискин

Раздел «Прочтение» был задуман прежде всего для публикации работ, предлагающих какой-то новый, свежий взгляд на те или другие хорошо всем знакомые, чаще всего классические тексты — их свежее «прочтение». Но при отборе материалов для этой рубрики мы всегда исходили и исходим не из самой по себе новизны, необычности, оригинальности предлагаемой интерпретации, а все-таки из того, насколько она приближает нас к действительному содержанию взятого текста, открывает нам какие-то новые грани его истины.

Однако возможен и иной жанр — прочтений, которые, может быть, и не выдерживают серьезной критики с точки зрения доказательной обоснованности авторских мнений и оценок и в этом смысле мало что прибавляют для понимания самого предмета интерпретации, но зато интересны той или иной характерностью самой точки зрения автора, его способа видеть и судить об избранном сюжете, произведении, авторе, событии.

Предлагаемая ниже читателю статья о Достоевском принадлежит именно к такому типу интерпретаций, о чем, собственно, впрямую предупреждает и сам А. Вяльцев. Поэтому читателю не стоит удивляться, когда он обнаружит, что в том обобщенном портрете Достоевского, который набрасывает А. Вяльцев, пытаясь охватить его творчество в целом, сплошь и рядом встречаются утверждения совершенно декларативные, почти не обосновываемые, а то и слишком очевидно не имеющие к реалиям творчества Достоевского действительного отношения. Ведь это масштабное эссе о Достоевском — прежде всего исповедание веры самого автора, хотя здесь немало верных наблюдений и о Достоевском. Но весь вопрос состоит все-таки прежде всего в том, насколько интересно это исповедание веры само по себе.

На мой взгляд — безусловно интересно. И не просто тем, что принадлежит талантливому, умному, думающему человеку, но более всего тем, что его мироощущение и мироотношение — при всей его безусловно личностной самостоятельности — вобрало в себя, как мне кажется, многие характернейшие мировоззренческие, духовные и психологические черты поколения, к которому он принадлежит. А это уже и само по себе заслуживает, конечно, самого серьезного к себе отношения. Ну а в том, что такое исповедание предпринято «на материале» Достоевского, в форме интерпретации его творчества, ничего удивительного тоже нет. Ведь Достоевский — это и в самом деле (согласимся с автором) в каком-то смысле тоже «наше всё», и через встречу с каким же еще иным «я» можно лучше и полнее всего передать поэтому самое существо и своего собственного личностно-поколенческого «я»?.. Вглядимся же в него.

Игорь Виноградов

Александр ВЯЛЬЦЕВ

О БОГЕ, НЕВЕРИИ И ЛИТЕРАТУРЕ
(Демон Достоевского)

«Есть область человеческого духа, которая не видела еще добровольцев: туда люди идут лишь поневоле. Это и есть область трагедии».

Лев Шестов

«Я давно решил не понимать...»

Достоевский, «Братья Карамазовы»

Автор отдает себе отчет, что сказать что-нибудь новое о Достоевском трудно, да и едва ли возможно. Автор просто хочет синтезировать для себя некое обобщенное мнение о писателе — вроде как в нескольких словах изложить историю, скажем, Римской империи. Ведь сказать или не сказать что-нибудь о Достоевском для русского человека это словно высказать символ веры.

* * *

«У нас в России всё еще так думают, так чувствуют, как у Достоевского, может, даже, в большей степени, чем в его время», — сказал Андрей Битов. Добавлю: и живут так же. Обратите внимание: ни один из героев Достоевского не работает. То есть не зарабатывает сам денег. Все они живут на чужой счет — в долг, на неожиданно полученное наследство или просто неизвестно как. Еще бы: им так много надо оббежать мест за один роман, со столькими поговорить, узнать столько сплетен, влезть во все интриги. До работы ли! Да и что такое работа, когда мир рушится (нравственный, конечно)! Работают лишь отрицательные герои: Лужин, отец Карамазов, процентщик из «Кроткой»... Он, впрочем, негодяй лишь по идее, не по сердцу. И из-за преданности своей немецкой идее — работе, накопительству, воле — и обретает всю трагедию. Не удается русскому человеку разбогатеть!

Вот это и значит — думать и чувствовать по-достоевски!

Достоевский — мессианистический Диккенс, занятый идеей усовершенствовать мир христианским гуманизмом. Он пишет шершаво и скоро, всегда близкий к остросюжетной фабуле и детективным ходам, внедряя в классическую интригу квазидиккенсовский сентиментализм и мелодраматичность —

Александр ВЯЛЬЦЕВ — родился в 1962 г. в Москве. Учился в Архитектурном институте. Печатался как критик и прозаик в «Знамени», «Континенте», «Литературной газете», «Независимой газете», «Огоньке», «Юности» и других литературных изданиях. Живет в Москве.

вместе с пафосом религиозного правдоискательства и нравственного экстремизма, свойственного русскому сознанию, которое есть просто доведение нравственности до последних пределов — в искусительном стремлении к абсурдности и страданиям, которые играют примерно такую же роль, как в известной поговорке: очень полезные вещи в отсутствие иных качеств.

Вообще русская литература бьет все рекорды по количеству мировых проблем на одно произведение. Позаимствовав у Запада саму проблематику, русская литература застыла перед открывшимися ей задачами на десятилетия, пытаясь на художественном уровне решить вопросы, которые Запад пытался решить на философском. Результат — великая философия на Западе (немецкая) и великая литература в России. Но так как, в отличие от философии, литература вещь гораздо более доступная и привлекательная — «последние вопросы» заразили умы несравненно большее число россиян, чем немцев. Не проблемы искусства, а проблемы смысла бытия интересовали русскую интеллигентную молодежь прежде всего. И интересовали ее совершенно бескорыстно — в отличие от каких-нибудь русских раскольников или вообще простого русского человека, так же склонного увлекаться отвлеченностями, но которые, собственно, и не были для него абстракцией, а непосредственно влияли на его жизнь, протекающую всегда на грани и у последней черты.

Естественно, что подавляющее большинство русских интеллигентных мальчиков увидели решение последних вопросов в социальной борьбе, а не, скажем, в искусстве или в простой гражданской или частной практической деятельности, — что простительно в нормальных государствах. А у нас государство ненормальное, нелепое, ненадежное и т.д., не из чего стараться. Революция же — вещь интересная, гораздо более интересная, чем даже искусство. И несомненный, несмирившийся революционер и бунтарь Достоевский первый разглядел, что революция в России произойдет прежде всего из-за ненависти, боязни и неудовлетворенности ею, Россией, — и имеет мало отношения и к правде, и к свободе, и к любви к народу. И даже увлечение атеизмом — лишь в пику и назло.

Ах, эта древняя русская мечтательная тоска о какой-то «потерянной правде», что равно, как пишет Розанов, «потерянной родине», отчего все куда-то брели, все куда-то уходили по просторам мучительной и странной Руси. И Достоевский — на стороне бредущих. Он же — на стороне Руси, этих странных людей породившей, этих странных людей убивающей.

Что прежде всего поражает в Достоевском при первом прочтении: гуманность. Для некоторых идеологов, вроде Шестова, гуманность — это банальность, дурное влияние Запада на отечественную словесность. Но кто же до Достоевского писал с точки зрения «гуманности»? Пушкин ее почти не знал, Лермонтов ее не знал совсем, как и Грибоедов. У них все больше романтические бунтари, презирающие себе подобных, страдающие от избытка сил и отсутствия настоящего дела. Если они кого-нибудь и любили, то только самих себя — и себе же сочувствовали. У Гоголя гуманность возникла чуть ли не в единственной вещи, в «Шинели», — и в этом смысле Достоевский вышел действительно из нее.

Ко времени Достоевского с точки зрения гуманности стали писать многие. И Некрасов обрушил свою чугунную палицу жалости к народу, и Толстой с Тургеневым и Гончаровым стали замечать, что человек прежде всего слаб,

подвержен страданиям, ошибкам и т.д. Но Достоевский воплотил эти мысли в чистом виде. Достоевский, собственно, и пишет о слабом человеке, жертве обстоятельств, который не сдается, но и победить не может. «...Хоть бой и не равен, борьба безнадежна...» Герой Достоевского понимает эту безнадежность, но не может умереть как романтический герой. Он труслив, как трусливо все живое, но все равно борется, даже вопреки желанию — не ради чести и истины, а просто по дарвиновскому закону борьбы за существование, тогда же придуманному. И в этой борьбе от него требуют еще и быть гуманным, то есть не давить еще более слабых. Не правда ли, совсем новое положение вещей.

Если Ю. Кудрявцев в «Трех кругах Достоевского» отрицает эволюцию (регресс) Достоевского в какую-либо сторону — после каторги ли, вообще в какое-либо время, то по Шестову (в работе «Достоевский и Нитше») после 1862 года «гуманист» Достоевский превратился в антигуманиста ницшеанского толка — во всяком случае к моменту написания «Записок из подполья», произведения, понимаемого Шестовым как программное. Шестов отождествляет парадоксалиста «Записок» с автором, причем не с какой-либо частью сознания Достоевского, а с Достоевским целиком. «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» — это утверждение понимается Шестовым как акт высочайшей правды и мужества, как манифест, как величайшее открытие Достоевского.

Шестов словно не знает, что идеи защищают и *от противного*, те самые ненавистные Шестову *идеи*. Трудно сказать, какой была традиция понимания «Записок» во времена Шестова (сам он ссылается на Щедрина и Михайловского), но позже, в том числе в плоское советское время, произведение расценивалось как борьба с позитивизмом и материализмом современного Достоевскому общества. «Все вычислю», — утверждало оно. И он хочет доказать, что не вычислит. Потому что человек иррационален, полон противоречивых желаний и действует вопреки вроде бы очевидной выгоде.

Стала ли жалость к человеку аксиомой — тогда ли, в нынешнее время? — весьма сомнительно, сколько бы об этом ни было произнесено слов. В конце концов — в этом все христианство, а не некая «банальная» и лицемерная традиция Запада. Впрочем, способы отстаивания этой истины и правда могут быть «банальны», но могут быть и вовсе чудовищны, как дорога в ад, принятая за истинное направление. А потому и Достоевский в указанный Шестовым период стал смещаться от романтической этики к онтологии, то есть обратился непосредственно к вопросу о душе, Боге и о смысле страдания. Вопрос теперь стал ставиться не так: почему человек так жесток к своему брату? — ибо стало ясно, что человек и не может не быть жесток, но не в силу социальных причин, а потому, что несчастлив. А несчастлив потому, что глуп, слаб, подвержен страстям и т.д., и потому, что просто не понимает, как хороша и уязвима жизнь. И современные (западные) учения только еще больше путают человека, навязывая ему именно антигуманную точку зрения на него самого. Потребовалось найти противоядие — не против даже этой бездны в человеческой душе, его, человека, слепоты и вечной двойственности (это в человеке даже привлекательно), но против самих учений. И противоядие было найдено, дерзкое, как вызов: вера в Христа как в нравственный идеал и вера в бессмертие души.

Собственно, Достоевского беспокоила смена идеалов и крушение традиционной иерархии ценностей. Ведь если нет «души», то человек просто автомат, сложно управляемый, но все же управляемый — и наука когда-нибудь узнает, как это делать. Это было кошмаром Достоевского. Для этого и понадобилась концепция «души» и, соответственно, ее бессмертия.

Все это Шестов упрямо отказывался понимать, считая, что высшее достижение человека — преодолеть традиционную мораль и предрассудки общества, сбросить оковы банального сознания и заглянуть туда, где живут настоящие «истины», заглянуть туда с помощью *трагедии*. Способ, конечно, очень «экзистенциальный» и красивый, но не абсолютный. Традиционная мораль, может быть, и правда лицемерие, но это не значит, что лицемерие — вся мораль. Что же до *трагедии*, то Шестов прав: никто ее не выбирает добровольно. Когда же напасть сия случается, в том числе путем долгого и мужественного отказа от морали, то может быть доказано все, что угодно, и даже совсем обратное: что банальные истины оказываются самыми верными, вроде замечательности жизни самой по себе.

В русской гуманитарной традиции, которой не приходится жаловаться на бедность почвы для своих культурных амбиций, принято сопоставлять и сталкивать Толстого и Достоевского — не столько потому, что они были современниками, сколько по объему и важности ими написанного. И по той же традиции принято пальму первенства в этом загадочном вечном споре отдавать Достоевскому. И это при том, что о Толстом всегда говорят и пишут гораздо больше. Достоевский, можно сказать, это внутренний, духовный русский гений, поводырь и утешитель. Толстой — это мощный, телесный гений, мечущийся неуравновешенный титан, в ходе своих духовных (опять же!) скитаний прикоснувшийся и одинаково гениально ответивший на множество вопросов, но не открывший и не утвердивший единственной, простой и неделимой *истины*, которую открыл и всю жизнь утверждал Достоевский, лишь по-новому объективируя ее от произведения к произведению — или, лучше сказать, раз за разом вновь искушая эту истину и подвергая проверке, чтобы она в конце всех усилий снова и снова продемонстрировала свой абсолютный характер. Великой его силой было — что он не доказывал истину дважды, как это постоянно делал Толстой со всеми своими повременными открытиями.

Конечно, художник не потому творит, что знает истину. Художник видит жизнь не истинней, но ярче. И наша любовь к писателю скорее в каких-то особенностях таланта, нежели в значимости руководящей им идеи и осуществлении намерения. Толстой в «Смерти Ивана Ильича» осуществил очень важную идею — показал одиночество и слабость человека перед лицом смерти. Но осуществил это плохо, ибо написал картину — плоскую. Роковая ошибка Толстого: я дурен — и вы такие же. И еще хуже, ибо не видите, а я вижу! Отсюда все глупые выводы и максимализм. Не любил Лев Николаевич человека — и не верил, думая, что смотрит на человека, а смотрел в зеркало.

У Толстого, во всяком случае средне-позднего периода, дурной человек всегда красив, элегантен, имеет хороший тон и массу друзей, умеет говорить и нравиться женщинам (в общем, все то, что не имел и не умел Толстой), он всем мил, над всем смеется и сразу засыпает, едва коснется головой подушки.

Дурные люди у него не меняются, не приобретают новых качеств. Единственная их добродетель — отвага. Злодейство по Толстому — это полнота.

Не меняются у него и положительные герои, носители истины в чистом виде. То есть взглядов Толстого. Это старый князь Щербацкий из «Анны Карениной», вещатель простых истин жизни. Это Долли — идеал выполнения женской доли (простите за каламбур): вести дом, рожать одного за другим. Это Левин — имеющий верное представление по поводу социальной жизни, настоящего труда и предназначения семьи. Княгиня Мягкая, говорящая простые и верные вещи, без лукавства и игры, лишь то, что думает, противница сложности, лицемерия и светских приемов общения.

Эти люди обречены не ошибаться, как не ошибается их творец. Это значительный шаг «вперед» относительно «Войны и мира» или «Казаков». «Анна Каренина» — дидактический роман прежде всего. Реализм и психологизм там вторичны и служебны. Следующим шагом было «Воскресение», после чего художественное творчество естественным образом стало невозможно. Толстой избрал проповедническую кафедру, беллетристические приемы, чем дальше — тем больше, мешали и фальшивили (он был достаточно художник, чтобы это понять). Он не исписался, просто его увлекло другое — перековка нравов, социальное строительство, поиски окончательной правды. Но странно, в романах и рассказах, особенно ранних, «правды» у него значительно больше, чем в этих проповедях. Когда Каренин подставляет губы маленькой девочке или когда он испытывает муки в сцене родов Карениной и дорастает до прощения — это противоречит взгляду на него, порожденному самим Толстым. Тогда он знал, что жизнь сложна и истин много (как и характеров). Теперь он пытался упростить жизнь с помощью единственной правды — первохристианства. И осудить человека, попытавшись четко выделить его дурное. А это — ложь. Как сказал бы Достоевский: «у вас нежности нет: одна правда, стало быть — несправедливо».

У Достоевского посложнее будет: развратник Свидригайлов — это все же личность, изувеченная, но личность. А Лебезятников — мелкий имитатор личности. Но тоже не без достоинств.

«Достоевский всеми своими художественными симпатиями и оценками провозглашает одно весьма важное положение: злодей, святой, обыкновенный грешник, доведшие до последней черты свое личное начало, имеют все же некую равную ценность именно в качестве личности, противостоящей мутным течениям все нивелирующей среды», — писал Аскольдов (цит. по М. Бахтину, «Проблемы поэтики Достоевского»).

Похоже — это и было самым главным для Достоевского: чтобы герой его был или не был *личностью*, с которой интересно (писателю) иметь дело, активно вторгался в мир со своей правдой или ложью — или просто претерпевал, бездумно грешил, неинтересно подличал, скучно наживался, как Лужин. Это деление заменяло для него деление на положительных и отрицательных героев.

Другая особенность Толстого: избыточный авторский кругозор по сравнению с его героями. Пример монологического произведения («Три смерти»). Достоевский, по мысли Бахтина, говорит о герое «...как *о присутствующем*, слышащем его (автора) и могущем ему ответить».

У Достоевского впечатление (иллюзия) достоверности достигается через отчужденность героя внутри его повествовательного мира. Действие и персонажи погружены в обособленный мир, не являющийся вспомогательным средством для внешних деклараций и намерений. Герой отожествляется со своим материалом, он знает то, что полагается знать человеку в его ситуации: поэтому у главных героев Достоевского мало внутренних ретроспекций, тем более у второстепенных, которые только оформляют конфликтность восприятия. Автор не часто решается называть жизнь от своего имени, поручив героям дерзнуть срывать покровы — любой ценой, любыми средствами.

Разница и в том, что Достоевский не решил вопросов (их суть такова — вековечная, то есть неразрешимая), а другие, «монологичные» авторы разрешили. Решили в контексте своих произведений. Поэтому такая активность и полноправность чужого слова, чужой идеи в его произведениях. Истина еще не открыта, она еще предполагается.

Или иначе: она известна, но назвать ее прямо он не решается. Не помещается она в беллетристический контекст, либо слишком становится уязвима для внешней критики. Зато тут можно так сымитировать жизнь, смешать компоненты — и вызвать некоего демона, который что-то проговорит, вроде этого: «тут есть секрет (зачем нужен черт и все страдания. — *А.В.*), но секрет мне ни за что не хотят открыть». И тут же сам ответит: «потому что я... рявкну «осанну» и тотчас исчезнет необходимый минус и начнется во всем мире благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему, даже газетам и журналам». «Оно свято, но скучновато», — поясняет бес. И получится тот самый «конец истории», о котором говорят Кожин с Фукуямой. Впрочем, может, демон и обманул, известно: отец лжи...

Но Достоевский правду знает: «...что всякий человек за всех и за вся виноват... о том вы совершенно правильно рассудили... И воистину верно, что когда люди эту мысль поймут, то настанет для них царствие небесное уже не в мечте, а на самом деле», — приводит старец Зосима слова таинственного гостя. «Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастливым, сию минуту», — говорит Кириллов. «Жизнь есть рай, — открывает Достоевский истину до конца, — и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай», — вторит умирающий брат будущего старца Зосимы. До таких истин доходит человек перед лицом смерти — и потом всю жизнь (если она у него остается) делится сделанными открытиями. (Это, кстати, напоминает знаменитое *прозрение* князя Андрея под аустерлицким небом.)

Неистинно же здесь только то, что *все* никогда и ни за что не смогут и не захотят это узнать (ну, хотя бы потому, что не стояли на эшафоте, не ходили под пули), а и узнав — не смогут жить с этим знанием долго, точнее, всю жизнь руководствоваться в своих поступках этим знанием (как не мог и сам Достоевский).

Зато он смог поместить в этот мир свою музу.

Особенность таланта Достоевского, при том, что его не назовешь литературно нейтральным и незлобивым, — в пребывании его музы, во всяком случае, временами, в каком-то особом мире, так все-таки похожем на наш, где зло и добро, в конце концов, лишь дефекты зрения, а сам мир, соответственно, пре-

красен и спасается красотой, а не аскетическими подвигами и битвами со злом, которое воскресает при каждом его ниспровержении. Мир Достоевского — это преодоление неких нравственных противоречий, а значит, противоречий жизни, из которых никак не мог выбраться Толстой — да и прочие русские писатели, за исключением, пожалуй, Бунина и Набокова, которые были великолепно вне их. Толстой так и не смог подняться над постоянно задаваемыми им вопросами, любой из которых является до конца неисчерпаемым и, поэтому, принципиально неразрешимым. На вопросы нельзя взять и *ответить*, вопросы можно пережить и отбросить, поняв ограниченность, бедность как вопроса, так, соответственно, и ответа на этот вопрос. Достоевский («дитя неверия и сомнения... до гробовой крышки») не задавал вопросов, у него нет вопросительных знаков («через большое горнило сомнений моя осанна...»). Он оставался со Христом, как он его понимал, чей продуманный и придуманный им довольно сентиментальный, неисторический и даже отчасти неевангельский образ был дороже ему «тьмы пошлых истин» и своего и любого другого будущего века. И создал на этом, по-видимому, слабом фундаменте прекрасную и несокрушимую постройку, до сих пор не утратившую своего очарования.

*«...Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и **действительно** было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»* (из письма к Фонвизиной).

Формально и скучно говоря — данный удачный афоризм верен лишь в том случае, если речь идет об «антигуманной» истине, «истине», доказывающей, что гуманизм ложен и бесспорно вреден. С точки зрения ортодоксального христианства, утверждение Достоевского еретично противопоставлением Христа и истины, вне зависимости от того — гуманна эта истина (христианская, разумеется, ибо другой — быть не может) или нет. Потому что понятие гуманизма никакого отношения к христианству не имеет, хотя выработалось в кругу светских мыслителей Возрождения и Просвещения под прямым воздействием христианства.

Возражение на утверждение Достоевского может быть и совсем другого рода (уже из светского лагеря), стоит только отказаться от противопоставления «истина — гуманизм (Христос)». Вот подлинный случай: мой приятель С. (нынче книжный миллионер) энное количество лет назад вынужден был расстаться с 45-ым томом ПСС Льва Толстого. Перед этим он перепечатал на машинке предисловие из работы «Путь жизни» и роздал по экземпляру всем друзьям (вот какими бывают в молодости миллионеры!). Добросовестно воспроизведя 31 пункт этого предисловия, он, однако, пропустил вторую часть пункта 18-го, где говорится про суеверие церкви. По *истине* за первой частью пункта 18 шла вторая, но *по Христу* (с которым мой друг тоже пожелал остаться) этой части не было, и сразу шел пункт 19.

Вообще, широта «морального» у христиан — потрясающа. Ведь можно быть христианином и убивать людей (за «братьев-славян», например), можно быть христианином и заниматься духовной цензурой — например, вычеркивать онегинских галок на крестах. Или пропускать пункт. И можно быть убежденным, что Бога — нет, но не считать, что все позволено.

Да, спасительная роль Христа, религии (не только для души, но и для всей социальной жизни) — был пункт Достоевского. То, что Евангелие спасло и

укрепило Достоевского на эшафоте и каторге, заставило его поверить, что данный рецепт (учение и изучение Евангелия) — единственно и необходимо живителен для всех. Атеист для него, как и для большинства русских религиозных философов, не мог не быть преступником, во всяком случае, потенциальным. Достоевский не мог допустить того, что легко допускал К. Леонтьев, — что православный и мусульманин различаются только тем, что православный как бы уже обречен на спасение, а мусульманин — еще неизвестно.

За что мне интересен Леонтьев — он, как и Достоевский, решается назвать то, что не решается сказать практически ни один русский ортодоксальный христианин: что в мире существуют непримиримые противоречия (и необъяснимые — с точки зрения религиозного человека, неизбежно склонного к теодицее); он решается заявить, что красота — греховна и недушеспасительна, но все же без нее было бы скучнее и хуже, чем с ней. Он не боится признать негармоничность, неблаголепность мира, да еще рад этому.

И если у Достоевского и есть в чем-нибудь негармоничность и несбалансированность «доктрины», то именно в вопросе о красоте.

Ставить красоту в один логический ряд с Богом, а уродство — с дьяволом, как это делает Ходасевич в эссе о Сологубе, может быть, и благочестиво, но малоосновательно. Да, бывает, что красота умиляет (и умиряет) — природы, картины. Но с другой стороны — кто будет поклоняться уродству и идти ради него на жертвы? Ради красоты же — бросают семью, изменяют друзьям, ломают свою и чужую жизнь. Красота, особенно, скажем, женщины для мужчины — это страшная, «бездная» сила, противостоящая Богу во всем, если понимать Бога как мораль. Поэтому танец Саломеи стоит головы Иоанна Крестителя (что совершенно не удалось показать ни Стрежневу, ни Пазолини, самонадеянно взявшимся за столь великий сюжет, ни самому Оскару Уайльду. Зато это удивительно удалось Густаву Моро в его инфернально роскошном «Видении»).

Для Достоевского — *любовь, красота* (где дьявол с Богом борется) это всегда что-то роковое, темное, стыдное — несчастье, от которого бросаются из окон, похищают, убивают, лгут. Для Достоевского это источник крайних состояний, источник постоянно исследуемой страсти, ненависти, истерики и исступления, в которых ясно ставится вопрос о Боге, бытии и добродетели. Для Достоевского это всегда безумие или вывод из безумия, или спасение от крайнего безумия, это всегда буря, попав в которую даже неверующие начинают молиться. *«Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут... Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей...»* Известные, зацитированные слова Мити Карамазова.

Послушаем слова и другого «специалиста», Свидригайлова: «Дался им разврат... В этом разврате, по крайней мере, есть нечто постоянное, основанное даже на природе и не подверженное фантазии, нечто всегдашним разожженным огоньком в крови пребывающее, вечно поджигающее, которое и долго еще, и с летами, может быть, не так скоро зальешь. Согласитесь сами, разве не занятие в своем роде?» Вот именно, «не подверженное фантазии». А вот мнение

Черта: «Ведь я и сам, как и ты же, страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм».

Интересно, что Достоевский с равным удовольствием пишет о святости и о роковых «инфернальных» женщинах. Верно, ему очень близко и то и другое (вот оно — «сладострастие»!). Как в «Карамазовых» он пишет про «такой один изгиб» у Грушеньки, который «и на ножке у ней отразился, даже в пальчике-мизинчике на левой ножке отозвался»! Такое не придумаешь! Такое надо увидеть! А этот знаменитый ответ грешницы патеру, рассказанный Чертом Ивану: «Это доставляет ему такое удовольствие, а мне так мало труда!» И красноречивый комментарий Черта: «Тут уж и я отступился: это крик самой природы, это, если хочешь, лучше самой невинности!» Думаешь, уж не эротический ли роман случайно читаешь? Соблазн да и только!

Достоевский знает, как легко и глубоко он готов пасть. И лишь *святость*, тоже таинственная, мистическая сила, в мощи сродная греху, может служить оружием. Причем святость как-то связана с красотой. А от красоты — прямая дорожка к инфернальности. Круг замкнулся.

Жестокий талант, говорят про Достоевского (так обозначил его Михайловский). Почему жестокий? — потому что он нас все время искушает: греховной красотой, неверием, замученными детьми, а иногда и такого рода идеями, что... Вот слова Черта: «Мы эту комедию понимаем: я, например, прямо и просто требую себе уничтожения. Нет, живи, говорят, потому что без тебя ничего не будет. Если бы на земле было всё благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия. Вот и служу, скрепя сердце, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу. Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное, даже при всем своем бесспорном уме. В этом их и трагедия». Что же они, собственно, принимают за серьезное? Да свое существование, всего-навсего! А следовало, надо думать, понимать как божественную шутку, себя же — как тряпичных кукол — то-то станет весело...

Такой монолог мог выдумать исключительно атеист. Если мы будем рассматривать Достоевского лишь как учителя нравственности, рыцаря веры, обличителя страдания — мы никогда не раскроем его секрет (в этом приходится согласиться с Шестовым).

Писатель должен быть циничен. Жесток и циничен. Чем гениален Пушкин — он был нежен и циничен одновременно. Он мог быть весел, минорен, сентиментален и страшно циничен. Он играл на всех струнах. А это мало кому доступно. У каждого есть какой-то свой предел. Мы в плену своих качеств, в том числе и хороших. А писателю надо быть свободным от догм, даже и благотворных. Надо почти желать преступления и предательства, чтобы убедительно их изобразить. Достоевский умел это в высочайшей степени.

Ясно и то, что Достоевский с садистическим упорством искушает бытие, человеческую природу — *злом*, чтобы в конце концов доказать: *зло не по силам человеку*, человек не может вынести зла. Феномен зла, пределы возможного падения человека, мера возможного примирения в нем несовместимых начал, бездн бытия — вот что всю жизнь мучило и интересовало Достоевского. Творчество его, конечно, не реализация и объективация этого интереса, ибо твор-

чество — явление самодовлеющее и во многом иррациональное. Но желание разрешить «последние вопросы» повлияло на метод и стилистику Достоевского, породило тот «шекспировский театр» Достоевского, аналогичного которому мы не находим во всей новейшей литературе.

Чем велик Достоевский? Он не обольстился легкостью христианского утешения. Его мир безблагодатен. Мир его романов отчаян. Это в них — все позволено. Перед нами греческие герои в поисках Неизвестного Бога. Его мир интересен, потому что неожидан. Он еще свободен и хаотичен, неоформленный ничьей волей. Достоевскому нужна эта свобода, потому что лишь она позволяет прийти в мир чему-то большему, чем она сама, иначе ему просто неоткуда взяться — нездешне великому и высокому, тому, что его (мир) «спасет». Чуду. Или Красоте (или свободе импровизации).

Заслуга наших религиозных философов — в разоблачении и высмеивании социальных утопий. Великая заслуга. Но как только они начинают выдвигать собственную «положительную» программу — они становятся утопистами похлеще социалистов. Хрустальные дворцы социализма — бред, доказано. А церковное государство Достоевского, отлучающее в качестве страшнейшего наказания от церкви своих преступников — это что? Давно установлено, что религиозность русского народа была сильно преувеличена. И вообще, она не имела ничего общего с *умным* христианством русских интеллигентов. Поэтому она легко заменялась на любую другую веру, совмещающую строгость с четкими и оптимистическими ориентирами. Простому человеку ничего не нужно так, как оптимизм — причем не какого-то глобального рода, а самый рядовой. Например, видеомагнитофон сегодня, машину — завтра. Оптимизм — род меркантильности. Это вырывает человека из действительности (мрачной), делает его болельщиком и рабом будущего, осуществляющего его желания. Впрочем, любой верой у русского человека затронута лишь оболочка сознания. Основной пласт сознания все равно погружен в почву, доставшуюся от языческих времен.

Впрочем, и интеллигенция сильно преувеличивает возможности самоусовершенствования и вырабатывания мировоззрения с помощью и на основе какой-нибудь единой доктрины. Можно десять лет исповедовать строгое православие, вегетарианство, буддизм или коммунизм, а потом в один год, в один день от них отказаться, почувствовав, что все это не твое, суета и томление духа. Хуже того — слабость. Все равно, рано или поздно, человек приходит к своему подлинному мировоззрению, которое дает ему зрелость, а не любое из учений. Лишь вечные школьники могут всю жизнь исповедовать одну и ту же доктрину, не видя, что, будь их жизнь подлинна, она в нее (доктрину) не уместилась бы. Мировоззрение вырабатывается годами и является удобным равновесием между личным психо-физическим миром и внешним культурным и практическим полем. Самоусовершенствованию нужно лишь минимум комфорта и практическое наполнение ума, организующее твой опыт. И никакой мистики, никакой аскезы, душеспасительной риторики и прочей псевдодуховной белиберды для начинающих.

Хороши установления православия, высоки нравственные нормы. Но на чем они зиждутся? — На чистой мистике, той самой «фантастике», на вере в

невозможное. Кьеркегор верил, что абсурдный мир можно подчинить, только встав на позицию абсурда, то есть веры в Бога. Это индивидуальное, глубоко трагическое усилие. Вера, выходящая из отчаяния. Но отчаяние в христианстве почитается смертным грехом, вера же, напротив, — не абсурдистским актом, но глубоко и единственно естественным. Абсурдно же именно *не верить*.

Такой ли *спокойной* и правильной верой верит Достоевский, за это ли считают его *экзистенциалистским* писателем? Экзистенциалист верит *экстремальной* верой, когда жизнь без чуда становится необъяснимой. Когда твое существование становится лучшим доказательством существования Бога. Того, что ты и мир по-прежнему *есть*. Вот каков этот мир. Лишь для такого мира нужен Бог. Для простого мира Бог не нужен.

Не из отчаяния ли обрел веру сам Достоевский? А как обрел веру будущий отец Сергий Толстого: «Разочарование в Мэри (невесте), которую он представлял себе таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию, а отчаяние куда? — к Богу, к вере детской, которая никогда не нарушалась в нем».

Вера эта была жестоко завоевана, единственная альтернатива ей виделась в образе неверующего прогрессиста с топором — чтобы сдать ее на милость голосу времени, новой европейской моде. И такие писатели, как Достоевский или Владимир Соловьев, стояли на *вере* как основополагающем принципе, из которого все исходит, в том числе нравственность. Это является аксиомой *традиционного* мировоззрения и *традиционного* общества. Более того, вера не нуждается в оправдании нравственностью или справедливостью, ибо именно она — первопринцип. «Только песням нужна красота, красоте же и песен не надо». Современное же европейское общество судит именно с позиций справедливости, заимствованной еще у античности: «Ничего не может быть доказано Св. Писанием, что не может быть оправдано справедливостью», — писал противник Августина Пелагий. (Протестанты, кстати, утверждают, что пелагианство есть доктрина католицизма.)

Впрочем, для разбираемых нами писателей католицизм — это попросту атеистическое учение, то есть даже хуже него, а Христос предпочитается *истине*, то есть, вероятно, справедливости. Справедливость — от людей, она может быть искаженной. Обрести веру самовольно нельзя, значит — нельзя иметь и мораль. Да и зачем: отчитываться-то не перед кем (логика проказника в детском саду).

Но как же все-таки слезинка ребенка, как же возврат Богу билета? Не для красного же словца только? Неужели *такая* полифония, что и к автору не относится? Ведь писал же сам Достоевский в том знаменитом письме Фонвизиной, что он дитя неверия и сомнения до гробовой крышки (впрочем, автору тогда только 31 год) — в том самом письме, где утверждал свой *символ веры*, что нет никого прекраснее и совершеннее Христа и что лучше он останется с Христом, нежели с истиной. О природе Христа не сказано ни слова. Бог ли он, совершенный ли человек? Напротив, говорится — каких мучений стоит ему жажда верить, которая тем сильнее, чем больше в душе доводов противных. И что лишь минуты посылает ему Бог, когда он совершенно спокоен — то есть, вероятно, не сомневается в существовании Бога.

Но если даже *такие* люди колеблются — как же тогда мораль, которая без веры в Бога якобы невозможна? Не должна ли она быть как-нибудь независима от наших постоянных колебаний?

За веру ли идет битва или все же за мораль, то есть за попытку понять и примирить «зло мировой и человеческой жизни»?

Что такое *вера*? — надежда на то, что твоя жизнь имеет некий (высший) смысл, а не есть случайное и временное соединение атомов. Тогда жизнь не бессмысленна. Но почему жизнь обязательно бессмысленна, если даже и случайное соединение атомов? Ребенок играет и радуется, он ничего не знает о Боге, что не мешает ему радоваться. Да, но он ничего не знает о смерти. А что знаем мы? Что умрем — и всё. А как это — не понимаем.

Утверждением, что мораль не может стоять на чем-нибудь другом, кроме веры в Бога, доказывают первостепенную важность морали. Но и — оказывают ей медвежью услугу. Ибо заставить верить нельзя, даже из любви к морали. А если неспособный к вере человек поверит в эту аксиому, то он и мораль свою потеряет.

То же самое можно сказать и по поводу знаменитого авторского комментария к не менее знаменитой его статье «Приговор» (опубликованы в октябрьском и декабрьском номерах «Дневника писателя» за 1876 год): мол, логика неизбежности самоубийства для материалиста — «неопровержима»! Самим же материалистом обозначена. Поэтому единственное спасение — не быть материалистом, верить в вечную жизнь и т.д. Более того, *необходимость* этой веры является и *доказательством* ее, вечной жизни, существования (надо думать, Канта читал). Сразу двух зайцев убил.

«Неопровержимую» логику опровергнуть легко, если ты сам не играешь на стороне противника, мазохистски доказывая полную бессмысленность и ужасность жизни самой по себе (как доказывал несчастный материалист-самоубийца из цитируемого Достоевским предсмертного письма) полагая, что от этого выиграешь еще больше. Вообще, если мы считаем, что материалистское учение — неверно, что же мы так уважаем его рассуждения по конкретному поводу?

Бывает «вульгарный материализм». Данное рассуждение Достоевского это пример «вульгарного идеализма».

При всем том и «Приговор» и комментарий к нему ни в коем случае нельзя недооценивать, ибо главная идея «Карамазовых»: «нет бессмертия — и все позволено», то есть: «нет бессмертия — и нет любви к людям» — вышла из этих двух статей. Роман явился художественной реализацией этой темы, хотя и не ее одной.

Основания морали до некоторой степени неуловимы. Сам Достоевский пишет о неких *добрых* атеистах, рассуждающих так: «мы произошли от обезьяны, так возлюбим же друг друга!» Мы одиноки, смертны, малосильны, подвержены судьбе — разве это не основание для любви?

Напротив, в христианстве есть сомнительная практика устранения вины: «согрешил — покаялся», по которой грешник угоднее Богу, нежели праведник (Лука, 15, 7). Поэтому не надо бояться никакого греха, даже убийства, ибо если я, священник, тебя жалею, не паче ли Отец твой Небесный? Вот и ходи героем. Наверно, так удобно помогать отчаявшимся, но это же порождает мысль, что

ни одно преступление не абсолютно, и в силах Отца Небесного сделать бывшее небывшим и вообще переменить и переставить все знаки, так что всякая ответственность будет с тебя снята. Почти как у социалистов: убил, украл, но не по доброй воле, а потому, что среда заела, голод замучил и т.д. Следовательно, не виноват! И здесь: виноват, но Бог простит. Вот и в новостях передавали о киллере, который, убив человека, уходил с места преступления, быстро крестясь. (Потрясающее совпадение с текстом Достоевского!)

Не торжество ли церкви? А морали?

И здесь место проанализировать главные (и старые) утверждения В. Шмида и И. Виноградова о Достоевском (в 90-ом номере журнала «Континент»): 1) мол, человек не имеет силы к братству, и что любовь на земле не от закона естественного, а от того, «что люди верили в свое бессмертие», — как говорит Иван (Достоевский думал, что *сила* аргумента в том, что говорит неверующий, то есть человек «объективный», и таким образом убедительность аргумента возрастает. А это звучит лицемерием.), 2) что нет добродетели, если нет бессмертия. Нет Бога и, как известно, все позволено.

Никогда не соглашался с этим тезисом. Очень благочестиво, но сомнительно. 99 из 100 своих поступков человек совершает бессознательно, по первому порыву — не задумываясь об абстракциях, об общей и защищенной авторитетом морали. Это скорее нужно людям, не имеющим естественной склонности к добру, но желающим его — и для вдохновения вспоминающим о красивой и славной умозрительной традиции. О святых, о бессмертии, о заслугах.

Об этом следует вспоминать в крайних ситуациях, в том одном проценте, когда естественным для человека является не добро, или где вообще не ясно, что теперь добро.

О братстве же, мне кажется, правильнее писал Джон Донн: каждый человек не остров, а часть материка — и должен сочувствовать всему человеческому, как подтверждающему наше собственное бытие. Мы любим других людей как свидетелей нашего существования, как спутников в этом путешествии. С точки зрения неверующего — никуда. И нам не надо верить, чтобы это чувствовать.[1]

Почему эвклидовский разум не имеет законных полномочий апеллировать к нравственным аргументам? Эвклидовский человек также страдает и имеет право требовать сочувствия от других страдающих. Люди не камни. Собака способна заменить мать котенку, а мы говорим, что человек не может полюбить человека без Бога!

В «бунте» Ивана серьезное противоречие самого Достоевского. Начав с того, что *человеческий* ум не может признать злодейств мира и оправдать их — и, следовательно, признать, что за этим стоит Бог, он далее говорит, что нравственность возможна только с верой в бессмертие. Что же — религиозная нравственность не может признать Бога? Это и значит «надрыв» Достоевского? Может быть, но на самом деле — это самообман и нелогичность, убивающая

[1] При том, что Достоевский верил в «закон земли», в общую идею народа и что «со всем человечеством человек единый целокупный организм» («Записные книжки»). Поэтому, собственно, каждый ответствен и виноват за все на свете.

силу доказательств. Здесь «бунт» *человеческой* (естественной) нравственности против *концепции*, против желания бессмертия, против желающих легко найти «истину» и успокоиться, унизив и опошлив реальную мучительность и противоречивость человеческой жизни.

Либо вера в Бога, *религиозная* нравственность (то есть неукоснительное следование культу и догме) вовсе не совпадает с посюсторонней нравственностью и той же самой *справедливостью*. Бог это не справедливость, а *неизбежность*. Об этом — история Иова, как она описана в Библии. Что говорит Бог, появляющийся в конце «Иова» (как бог из машины в античной трагедии): он все ставит на свои места. Я такой могучий: «Давал ли ты... приказания утру и указывал ли заре место ее?..» Ни слова о морали. Он как бы говорит: Я имею право считать тебя пешкой в своей игре или даже меньше ее. Мол, у Меня какие-то высокие планы, и Я не обсуждаю с тобой свои решения.

И Иов, отвергнувший доводы утешителей, покоряется силе, заговорившей столь непосредственно и императивно. Да, это не Бог морали и справедливости, о котором вопрошает Достоевский. И все же это Бог. Нельзя идти против Необходимости. Бог традиционалистов — это необходимость, античный рок. И Иов, изрядно поборовшись, все же *принимает* это (вопреки Шестову).

Для верующего религия, Бог — реальность, как реальна Америка или атом. Спросить его: зачем нужна религия, вера — это все равно, что спросить: зачем нужен Буэнос-Айрес, когда есть Бобруйск? Можно ли прожить одним Бобруйском? Без Буэнос-Айреса? Можно, особенно если его никогда не видел. Но увидев, может быть, и нельзя. Верующий человек чувствует эту реальность и нуждается в ней.

Так не является ли всякое «доказательство» Бога с помощью ли ума или на примере морали — проявлением маловерия? Не мучила ли Достоевского и большинство его исследователей неверная постановка вопроса о религии? Стоит лишь развести Бога и справедливость — и вопрос решен.

Собственно, в этом не сомневаются мусульманские и традиционалистские мыслители — Рене Генон, например; в этом уверено «антигуманное», корневое православие, противоположное гуманизму, для которого Достоевский *розов* (Леонтьев, Флоренский, Лосев). На словах столь же непримиримое и жестокое, как Торквемада. Мыслят не так, что: это произвело такие-то последствия и потому плохо, а — это противоречит догмату, значит — плохо. Они уже заранее знают, что человек плох, ибо нарушил заповедь, и дальнейшие усилия тратятся не на оправдание человека, а на оправдание непреложности заповеди. О существе предмета судят по соответствию заповедям. Не объясняя, не стараясь понять, чем данная вещь плоха и что можно было сделать в этом положении, и не перевесит ли жертва человека и его трагедия — его формальной вины перед законом.

Да, вопрос снят, но можно ли жить этими нормами, не захочется ли немедленно *взбунтоваться*, уйти в атеисты — именно из любви к людям? Не был ли первоначальный атеизм попыткой *встать на сторону человека* (и, соответственно, против Бога, такого, который описан в «Иове»)? Не за его слабости и право грешить, а за его свободу страдать и жаловаться на Неизбежность (в чем видит суть экзистенциальной философии Шестов)?

Достоевский испытывал христианство на моральный универсализм, на возможность объяснения и примирения всех противоречий жизни. И дал несколько иной ответ, чем дает догма.

Ведь только кающаяся проститутка может понять кающегося убийцу. И путь к вершинам идет через пропасти, а не по прямому благоустроенному шоссе, по которому катятся лимузины мещан.

Виноградов ищет именно «надрыв» и видит, что «бунт» — это не бунт эвклидового разума (как обозначил это сам Иван) против Высшего Существа, а «бунт против него таких же, как и он, высших...», — то есть бунт бесов, Сатаны?! Интересно придумано!

Неукорененность этического закона в сердце Ивана — это недостаток сердца Ивана, а не недостаток «сердца» мира. То, что тяжело и непонятно Ивану (и многим другим), — легко и естественно для большей части человечества. В «земной» нравственности можно (и легко) искать корысть, но не непосредственную, а «отложенную». То есть гипотетическую и условную. Это говорит о чистоте сердца — и это-то и есть *заслуга*. В религиозной нравственности и заслуг нет — лишь Божий страх и подозрение *свидетеля*.

Не получается ли в таком случае, что Достоевский готов остаться с Христом, нежели с плачущим *дитем* (сон Мити Карамазова)? Раз истина Христа недоказуема, а добра помимо нее быть не может? Помогать дитю без веры в Бога мы не можем, а верить в него до конца мы не можем тоже. И пока мы терзаем себя этими «надрывами» — дитё погибает.

Неужели родителям дитяти не хватает этой высшей божеской любви — о которой все время пишет Виноградов, — чтобы сделать так, чтобы дите не плакало? Уж если им не хватает простой инстинктивной, то подавно не хватит и «небесной». И поиск этой божеской любви — это лишь утешение, что, коли сделать ничего нельзя, то *там* Бог утешит страдания и утрет слезы — и полюбит. А уж Божеская любовь — всем любовям любовь! И для нас добрых, нравственных, но бессильных людей здесь единственный выход успокоить свою душу и примириться с миропорядком.

И именно за этот квиетизм и презирали *их* (нравственных, но бессильных) сторонники *деятельной* любви, то есть революционеры, думающие победить страдание невинных изменением социальных условий (будто все страдание от неправильных социальных условий и будто всякое страдание возможно человеку (или людям, партиям, массам) победить).

Но, в конце концов, описание на пол-абзаца смерти ребенка у Толстого в «Анне Карениной» едва ли не превосходит по силе все жуткие подробности и слезы у Достоевского. Смерть от крупа, не от собак — и удивленный ротик и волосики на височках, — а билет хочется вернуть немедленно.

В вопросе о необходимом существовании Бога надо признать не только полное совпадение Достоевского и наших исследователей, но и редкое и полное совпадение Толстого и Достоевского (о котором умалчивает Мережковский). Левин в «Анне Карениной» утверждает, что *по разуму* быть любви не может — лишь борьба за существование, необходимость душить. В разуме нет братства — это уже Достоевский. Любить друг друга — не мог открыть разум, потому что это неразумно.

(Это поблажка себе, уже уверившемуся, игра в поддавки. Почему неразумно? Ответ тот же: любить можно из жалости и из сложно трансформированного инстинкта, и из того, что ты — часть материка. И ты знаешь это.)

Следовательно, рассуждает Толстой, дать познание любви мог только Бог. Следовательно, Он существует. В который раз очевидный и, может быть, правильный вывод из неправильных посылок.

«Он (Бог) не постигается умом, а постигается только жизнью», — пишет он в «Войне и мире». Это гораздо более верное заключение, чем стопятидесятое его «доказательство» с помощью ложных силлогизмов.

Если бы Достоевский сказал в своих произведениях только то, что видят в нем религиозные толкователи, — никогда бы не стать ему величайшим писателем. Писатели — это те, кто говорит вопреки себе. Они могут быть пошляками и глупейшими людьми, как Евтушенко и Вознесенский, и говорить верные вещи, например: «Людей обыкновенных в мире нет, Их судьбы, как истории планет...» или совсем простое: «Я тебя никогда не забуду...» Они, как Иона, который говорит истину вопреки собственному желанию. Жалкие и единственные сегодняшние пророки, нерадивые и нечестивые.

Конечно, Достоевский не пуст, напротив, он слишком насыщен, и не идеологией, собственно, а перечнем строительных материалов, из которых он создает постройку романа, так что уцепившись за одну черту — невозможно понять всего Достоевского (как об этом и пишет Ю. Кудрявцев в известной работе «Три круга Достоевского»).

Философы прежде всего обращают внимание на идейную сторону творчества Достоевского, считая ее самой интересной. Но стиль Достоевского, его поэтика никак не менее удивительна и уникальна, хотя, надо думать, не была изобретена специально, а служебно появилась — вроде античного хора, декламирующего последние истины о жизни. Искусство стало развитием формы и потребности проповеди.

Но что уж точно нельзя ни к чему свести, так это фразеологию, манеру выражаться.

Вот образец «языка» Достоевского на примере всего одного, не самого сильного его романа «Униженные и оскорбленные». Ирония, противоречивость и кажущаяся корявость вместе и слитно:

«Доброе сердце — опасное качество при других недостатках».

«Чем заслужу я тебе за всё».

«Не делай своего хорошего, но делай мое дурное».

«Это слишком идеально, следовательно, жестоко».

Вспомним упреки Достоевскому с точки зрения литературы: невыдержанность тона, стиля, риторичность, плохой язык... «— Да, воскликнула она с мукой. — Нет, возразил он ей с содроганием... Вот и весь ваш Достоевский», — как говорил Бунин, «который терпеть не мог Достоевского» и не раз говорил, что Достоевский был «прескверным писателем» (Г. В. Адамович, «Воспоминания»). (Но против этого — «Грасский дневник» Галины Кузнецовой. Не удивлюсь, если здесь была авторская ревность — к чему-то близкому и нужному, по образцу той, что была между самим Достоевским и Толстым.)

Может быть, с точки зрения «литературы», это все и так. Захлебывающийся голос, предельная субъективность, отсутствие внешних описаний. Ничего, что не относится к существу дела. Так создается психическая достоверность, так читатель оказывается вовлечен в историю, заворожен интонацией голоса, настолько правдивого, что уже неважно — литература это или нет. Это гораздо больше: магия и псевдоисповедь, поражающая сильнее подлинной.

О способах Достоевского создавать чисто гипнотический эффект — существует отличная работа В. Н. Топорова «О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами мифологического мышления», где он подсчитал, что слово «вдруг» встречается на страницах «Преступления и наказания» около 560 раз. Так же много слова «странный» во всех формах. Странно, неудачно? Нет, блестящий именно *художественный* расчет автора. Мрачно? Да нет, читать Достоевского очень смешно. Он был мастер, по образцу Шекспира, снимать излишний пафос, в трагедийное повествование неожиданно вставлять Фальстафа: «Задушил... по примеру авторитета», как говорит Раскольников Сонечке. И тупицы, которые этого не понимают, пусть наслаждаются выхолощенным блеском стиля.

Именно не в плане идей, но стиля, метода надо теперь обратиться к знаменитой книге Мережковского «Л. Толстой и Достоевский». Мережковский совершенно не понял Толстого. Отдав пальму первенства Достоевскому, далее он искал лишь различия. И не находя — выдумывал их. Он выдумал своего Толстого, этого «тайновидца плоти». Для него, как и вообще для его времени, характерны эти яркие, но пустые штампы, выстроенные в легко запоминающиеся антиномичные пары: «тайновидец плоти», «тайновидец духа».

Напротив, Достоевского (по свежим следам) он понял очень хорошо. Он первый написал, что произведения Достоевского не романы, а трагедии, и заговорил про «театральность» его романов. У него же прозвучало, что сцена в его романах строится по театральным правилам. Весь остальной текст — лишь примечание к драме, пояснение последующих событий. Он раньше Бахтина заговорил о концентрации времени в романах Достоевского и т.д.

А разница между Толстым и Достоевским, на наш взгляд, в том, что Толстой — нормальный, совершенно современный писатель-реалист. Достоевский же — архаик и трагик шекспировского толка. Кажется даже, что Шекспир и Достоевский — один человек, писавший в разных веках.

Более того. Вне зависимости от того, что он *хотел* сказать и в чем хотел он нас убедить, и помимо всей своей философии, обостренной нравственной и гражданской позиции — Достоевский был *единственный трагик* XIX века, и может быть, всего Нового Времени, и один из величайших во всей мировой истории.

Исходя из Аристотеля, трудно дать однозначный ответ, что есть *трагедия*, чем она отличается от современной *драмы*, и почему жанр трагедии ныне творчески исключен? Я бы определил трагедию не просто как замкнутое повествование, в котором герой переходит от счастья к несчастью или от несчастья к счастью в результате ошибки, — а как создание и изображение *архетипических ситуаций*, долженствующих иллюстрировать на примере судеб и фигур героев вечные противоречия между добром и злом, возвращать зрителя к по-

стижению высших ноуменальных сущностей, абстрактных понятий. Театральная пьеса времен Еврипида, Шекспира и Расина — это не просто *условное изображение реальной жизни*, это двойная условность. Она изображает *роковые* силы, действующие во всей человеческой жизни. Это присутствие *рока*, связанность судеб героев с *вечным замыслом* — и отличает античную трагедию или классицистскую драму от драмы современной.

Поэтому изображаемое Достоевским — не реализм (что отмечалось неоднократно — им самим). Это создание *архетипических* ситуаций, в которых действуют герои *эпического плана*, титанического размаха, разыгрывающие вечную драму битвы добра и зла — и очень часто заканчивающие свою жизнь трагически.

Достоевский осуществил лицедейство, создав альтернативный нашему свой *мир Достоевского*, где люди больше любят друг друга, где каждая личность ярче и отчаяннее реальной, где почти каждый герой — это кипящая реторта идей, в опытах с которой Достоевский сохраняет высочайшее исследовательское целомудрие. Совершая это лицедейство, Достоевский обогащает нас давно желанным миром первореальности, где летают демоны и бурлят Христовы слезы, обещая превратиться в эликсир.

Намеренно пограничные герои Достоевского являются литературными манифестами и призваны к жизни лишь из убеждения, что решать главные вопросы, вызывающие круговое отчаяние, могут только герои-гиганты, вроде шекспировских, сверхлюди, призванные для сверхзадач. Это «сверхзадачное» творчество. И при этом каждую ситуацию на сцене сопровождают слезы хора (ангелов), потому что в сверхзадачу входит — излечить слезами. Достоевский, оперируя в доброте, рождает отчаянную парадоксальность существования героев, одинаково вызывающих слезы.

Но если уйти от абстракции и попытаться понять: что же это за «театр Достоевского», как режиссер и сценарист Достоевский ставит свои пьесы?

Тот же В. Н. Топоров в упомянутой выше статье пишет о выборе Достоевским такого «ракурса в изображении героя, который обеспечивал бы его максимальную мобильность в случае новых сюжетных ходов. Герой берется в таком состоянии, которое оправдывает заранее его вхождение в любые конфигурации сюжета». «Не случайно, что герои Достоевского чаще всего находятся между добром и злом; обычно они доведены до уровня слабо детерминированной модели, поведение которой в местах перекрещения с новым сюжетным ходом с трудом поддается предсказанию...» Это позволило «увеличить *мерность* (романа) и возможности сочетания элементов внутри этого пространства». Но эта операция может быть воспринята и некоторой жертвой, «потерей чего-то весьма существенного из уже завоеванного русским романом...».

Несомненно. Чем все-таки велик Толстой (в лучших произведениях и в лучших сценах) даже по сравнению с Федором Михайловичем? Толстой пишет живых людей и очень серьезно к ним относится. Его сюжеты строги и ясны. Его отношение к героям строго и ясно. Оно однозначно. И герои поступают определенно и более-менее предсказуемо, как, в общем-то, и поступают чаще всего живые люди, не имеющие ни свободы, ни сил бороться против внешних обстоятельств и как бы гибнущие на своем посту.

У Достоевского большинство героев это все-таки *маски*. Они не меняют лишь имена, зато их поведение, их нравственный облик и отношение к ним автора меняется на 180° — в зависимости от нужд повествования. Так Ганя Иволгин в «Идиоте» — злодей и интриган в начале, благородный человек в середине (в истории с «сыном Павлищева») и снова злодей в конце. То же самое Лебедев. То же самое вечно меняющие личины Ипполит, Келлер и т.д. То же можно сказать о Свидригайлове и особенно Лебезятникове в «Преступлении и наказании». Как меняется Ставрогин в «Бесах», сколько «бездн» он в себе содержит зараз! Как меняется Иван Карамазов, какие взаимоисключающие вещи он говорит! От пущего реализма и психологизма не иначе...[2]

Актерский ансамбль Достоевского — это труппа театра дель арте, где Тарталья то злодей, то верный министр, такая же малая труппа и такая же на все готовая. Поэтому герои переходят из произведения в произведение, меняя лишь имена: шуты, герои, сладострастники, злодеи, женщины. Они сохраняют даже «родовые» болезни (эпилепсию, безумие (встречи с чертом)) и, само собой, основные идеи.

А как удивительно он собирает эту труппу в одном месте: в «Бесах», «Карамазовых», да, собственно, во всех романах. Давно связанные друг с другом люди, враги-друзья-противники (часто в одном лице) вдруг встречаются вместе, и разойтись им на узкой дорожке сюжета уже невозможно — без того чтобы один или несколько из них не отправились на тот свет.

Это не совсем реализм. Это именно карнавал, хотя и магический, хотя и очень умный и талантливый. Это *сон* о реальности, из которого не хочется просыпаться (в отличие от романов Толстого).[3]

Ясно, почему Достоевскому нужен узкий коллектив — все для той же концентрации и несвободы действия. В замкнутом закупоренном котле, без притока извне свежего воздуха — раньше происходит взрыв.

Еще из Бахтина (а до него — из Мережковского) мы знаем об уплотнении времени у Достоевского. Преважный литературный прием. Словно в картах (покере), он тщательно собирает масть, чтобы вдруг мощно открыться. Растяни это дело, оставь временные лакуны, и читатель не почувствует нервной вибрации, содрогания почвы. Он не будет точно знать настроение и положение героя, не будет знать деталей, не будет иметь их все перед глазами, то есть чувствовать ситуацию досконально и во всех подробностях, словно сам герой. Один герой отсутствует, другой переменился. Экспозиция другая, появилась новая, неизвестная читателю информация. Вновь надо привыкать, знакомиться.

---

[2] (Впрочем, как считает И. Штейнберг, дети Карамазова это разные стороны «идеи» отца и ее реализация. Но если Митя, Иван и Смердяков и правда могут отражать редуцированные и трансформированные стороны личности Федора Павловича, то какую же сторону отражает полублаженный Алеша? И что бы ни отражал Иван, его генетическое родство со Ставрогиным и Версиловым несомненно.)

[3] Раскольникова, однако, я к актерам-маскам не причисляю, пусть герой сперва видит сон про лошадь, которую секут по глазам пьяные мужики, а сразу затем идет убивать старуху. Достоевский очень убедительно психологически доказал такой парадокс: герой пребывал в чистом безумии, подавленный своей идеей, словно под властью морока, очнулся, вроде, после сна о лошади — и снова пропал, уже окончательно, случайно встретив Лизавету и узнав тайну о семи часах.

Даже ретроспекции и флэшбеки у Достоевского протекают без потери настоящего времени, без увеличения дистанции между повествованием и героем: через рассказ, полученное письмо. Читатель никогда не оказывается в безвоздушном пространстве абстрактного текста — лишь в компании неопределенно-личного автора от третьего лица. Но всегда с героем, всегда внутри текстового бытия. Поэтому напряжение не спадает, внедренность в текст и идентификация с героями растет.

Детали интриги все явственнее, вся сцена все время перед глазами, хотя с по-разному освещенными планами. Поэтому когда лавина сюжета вдруг срывается с горы — читатель бывает подхвачен и унесен вместе с нею. До боли, до невозможности читать. То есть *жить*.

Бахтин приводит мнение Б. М. Энгельгардта, что образной характеристикой героя у Достоевского являются не биографические данные, а владеющая героем *идея*. То есть герой — это особая точка зрения на мир и на самого себя, героя.

Если бы было так, то герои Достоевского были бы довольно однообразны, однофокусны. И совершенно разные герои не выражали бы одни и те же мысли.

Скорее, его герои — это точка зрения Достоевского на себя, ну и, конечно, на мир и человека. Иначе было бы необъяснимо, почему свои любимые мысли о православности русского народа, о том, что атеист не может быть русским, о порче Запада антихристовым католичеством и, наконец, центральное — о том, что *лучше с Христом, нежели с истиной*, — Достоевский вложил в уста атеиста, «иезуита» и «ницшеанца» (до всякого Ницше) Николая Ставрогина! Удивительная щедрость. Ну, я понял бы — Алеша, князь Мышкин — а это? До карикатуры, до самопародии. Экий шалун (и подпольный человек)!

Ох, если бы! Просто Ставрогин наполовину сам Достоевский, подобно тому, как считал Бердяев, наполовину Достоевским является Иван (только вопрос — на какую?).

С другой стороны, в уста близких героев Достоевский вкладывает слова вроде бы неожиданные для него самого. Например: *добыть Бога мужицким трудом* — мысль Шатова еще до Толстого.

У него есть «идеологические герои», которые воплощают концепции, поданные с самой благородной стороны, хотя бы и не исповедуемые самим автором, и есть герои-сущности, воплотившие в себя «образ жизни», образ так или иначе переживающего свою жизнь человека. Если он для внутриромантного «диалога» раздваивает — к вящей напряженности — своих амбивалентных героев, то тот же прием он использует и для большей обнаженности самого человека, погруженного в гущу своего биологического и своего нравственного бытия...

К первой группе относятся Иван, Подпольный человек, Кириллов, Петруша Верховенский, больше или меньше окунутые в «жизнь».

Особое место во второй группе занимает князь Мышкин. Это некое воплощение «образа жизни», но, с другой стороны, он воплощает величайшую *идею* «прекрасного человека», человекобога без чудес. Он почти ничего не проповедует, у него нет программы, нет — видимого — конфликта с жизнью. Собственно, многие герои Достоевского несут эту двойную нагрузку идеи-образа.

Например, идея *пьяницы*: Мармеладов — человек упавший, но упавший не до конца, сохранивший в себе *противоположное*, как бы в компенсацию психологического типа по Юнгу, дополнительное качество. Идея человека-проститутки: Сонечка Мармеладова — сперва человека, а уж потом, как оттеняюще человека глобально, трагически — проститутки.

Собственно, именно влияние дополнительного типа психологических реакций, уравновешивающего основной, превращает в *положительных* героев таких персонажей Достоевского, как «безгласная» проститутка из главы «По поводу мокрого снега» «Записок из подполья» и, наконец, самого Раскольникова (широк у Достоевского критерий положительного героя), «самого» Версилова, «самого» Ставрогина.

Меня больше привлекает объяснение характеров и сцен у Достоевского через принцип дополнительности, нежели через мениппейное соединение противоположностей, через некую средневековую карнавализацию, о чем писал Бахтин.

Достоевский — исследователь принципов, из которых люди ткут свою жизнь или антижизнь. И трагедия, им показанная, это *трагедия обличий*.

Герои Достоевского не должны браться из среды, они должны быть носителями скорее *общего* образа человека, нежели его частного воплощения, отягощенного и суженного сословными, профессиональными или любыми другими рамками. Это требуется для воплощения его замыслов, это люди *мира Достоевского*, неопричиненные бытием настолько, чтобы уметь воплотить художественно-философскую концепцию автора.

По-другому Достоевский и не мог писать. Он был автор именно неопричиненных, несрисованных, «нежизненных» героев. Иные герои, как и иной творческий метод, были ему несозвучны. Он не мог бы быть Толстым или Лесковым, потому что даже задачи и радость литературы видел в другом: не максимально близко к оригиналу передать-запечатлеть, добавив, естественно, «тенденцию» и «мораль», ухватив прежде всего психологическую тождественность, в общем, по принципу живописцев-академиков, — но работать скорее в стиле сюрреалистов, соединивших натуралистическое мастерство и правдоподобие с законом непредвиденных контрастов-контекстов, выражавших живописным языком внеживописные идеи.

Снижая натурализм сцен, он оправдывал их идеей.

Идея же известная: *как, будучи греховным, быть, однако же, праведным*?

Поэтому в романах Достоевского так много говорят. Известное дело: «Не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить». Поэтому романы Достоевского и не очень интересны современному читателю.

А их нравственная напряженность и вовсе для современного читателя невыносима. Тот же Толстой, будучи много раз тонким психологом, рассуждающим с гуманистических позиций, говорит сложным языком о простом, об обычных людях, раскрытых, понятых, но никуда не шагнувших, не шагнувших в идеальный мир человеческой необходимости. Великий полемист Достоевский всегда на острие сражения за идеальное. Для него герой не просто человек или человек в мире — с сюжетно-необходимым для него добром или злом, но герой для него — шаг отвращения к самому себе, пощечина рационально-

удобному и подогнанному под бытие существованию — до полного «отказа» от него (так понравившийся Камю Кириллов).

Достоевский, наверное, первый так ясно понял, что «нормального» хода жизни нет и что возможны поэтому «неожиданности», «недопустимости», чрезвычайность. Неосновательность, *идеальная* убедительность его героев, *не* от мира сего — а от бездны за декорацией.

Он понял, что человек с самим собой и человек с другими — не одно и то же. Нет тождественности и между отвлеченным мышлением и мышлением социальным, мышлением, рассчитанным на взаимодействие.

Интересно, что в школе проходят, пожалуй, самый сложный роман Достоевского — «Преступление и наказание». Но сколько я ни разговаривал с читавшими его школьниками, сколько ни выслушал их повторенных за учителем или учебником объяснений, я видел, что они не поняли главное: почему все же Раскольников мочит старуху?

Ибо это и правда нелегко понять, в том числе и благодаря самому Достоевскому, в одном повествовании выдвинувшему несколько версий поступка, одинаково психологичных.

Могущество влияния на Раскольникова его идеи происходило от того, что *положительный* бунт подпитывал бунт *дурной*, оправдывал и санкционировал. Что я называю «положительным бунтом»: общество дурно (Лужин, Свидригайлов), мараться в нем не имеет смысла, выпасть из него, быть отверженным им — почетно и справедливо. Общество, авторитет и мнения людей ничем тебя не держат, ничего не значат. И вот это льет воду на мельницу «дурного бунта» — наполеоновщины и тщеславной идеи самоутверждения и господства: «Тварь ли я дрожащая или *право* имею»... В какой-то момент бунты сливаются и даже принимают «положительный» облик: убив, я еще помогу любимой сестре Дуне — избавиться от подлеца Лужина, возьму на себя грех... Но это мимо. Бунты сливаются и резонируют, и, будучи содержательно не очень оригинальны, дают «оригинальный» выход.

Потом Раскольников кается, потом он примиряется и кончает любовью. Но примиряется ли он с обществом, кончается ли бунт? Он просто пролетел мимо общества. Он, своим страданием, ступил до самых границ жизни и стал способен на любовь и счастье при любых обстоятельствах. Общество для него теперь как сквозняк. Для него теперь все как сквозняк. Своим чудовищным душевным опытом, мудростью и силой все это носить и вынести еще очень много — он глубже и шире других людей. И в этом смысле он все-таки стал Наполеоном, как это ни кощунственно.

Некоторые исследователи, изучавшие *идею наказания* у Достоевского, считали, что земная справедливость не интересовала Достоевского, мерящего виновность своих героев лишь с точки зрения справедливости «небесной». Впрочем, о последней нам ничего не известно: все, что мы знаем, мы знаем от себя и в качестве нами понятого. Поэтому можно решиться предположить, что «земная» справедливость не отличается от «небесной». Но это лишь ремарка автора.

Эти же исследователи считают, что глубочайшая суть «Преступления» — нравственное прозрение Раскольникова на каторге. По-моему, совершенно не

интересно, произошло ли прозрение или нет. Произошло ли *наше* прозрение — до его каторги — вот в чем суть. Суть в том, что *нравственный, душевно развитый* человек не может совершать некоторые поступки, прикасаться к некоторым безднам, что преступление для некоторых людей невыносимо, невыносимо состояние преступности (насколько бы он ни «имел права» на нее по собственному убеждению). Они не могут нести на себе тяжесть тайны, лживого и спасительного уклонения от *закона* — я имею в виду самый общий закон, на котором зиждется человеческое общество — и уклонение от человечества, солидарность с которым испытывает каждый нормальный человек. Тяжесть этой постыдной тайны мучительнее даже страха наказания — вот где начинается нравственное прозрение героя — то есть желание открыться перед обществом, сделаться официально преступным, но не изгоем.

Можно презирать конкретное общество и конкретное нравственное состояние его, но это не заслоняет очевидность, что нравственный закон — не от него. Что есть некий дух цивилизации, с которым мы связаны в силу принадлежности к человечеству.

Страх перед общественным осуждением — страх нравственного человека. Это доказывает общественный характер морали и сводит на нет такие голословные формулировки, вроде: «Бога нет — и все позволено». Не перед Богом отчитывается человек, как и не в Божественном лоне он живет. Он отчитывается перед человеческой культурой, перед кардинальным представлением о человеке как таковом, через которое себя можно уважать, можно выделить себя из животного царства, не смешивая с обезьянами и волками. И, значит, ждать от жизни чего-то менее фатального и бессмысленного, чем то, что составляет жизнь любого неразумного животного вида. Что бы мы ни говорили и ни выдумывали, мы в ответе перед теми, среди кого протекает наша жизнь. Мы в ответе за свое поведение — как условие ответственности остальных за свое: это элементарная основа цивилизации, иначе — оптимальной формы существования человечества.

И еще. Смердяков, вопреки мнению Лосского и самого прокурора (Достоевского?), не признается в предсмертной записке, может быть, не потому, что сохранил злобу или просто был в отчаянии, не имевшем отношения к раскаянию, но из-за стыда перед людьми, не оставившего его и на пороге смерти, что и не позволило ему уйти осрамленным и окончательно отверженным. Нарушитель правды между людьми, он хотел сохранить призрак ее, оказался не способен оттолкнуть все человечество и все человеческое.

Достоевский — мастер «чужой речи», вымышленной речи, в которой он говорит все напротив тому, во что сам верует. Это всегда очень смешно, верно и неожиданно. Смелость и оригинальность этого приема и есть основа его пресловутой «полифоничности». Например, в «речи западника» из предисловия к «очерку» «Пушкин».

Благодаря этой речи, где Достоевский сближает Алеко с Онегиным, выводя их в особый *русский* тип, тип *скитальца* за правдой, я задумался о странной какой-то мысли Пушкина (и Достоевского). Разве байронический герой *так* должен поступать? — разочарованный, жаждущий какой-то правды, презира-

ющий свет: классический набор романтических ценностей. Но откуда эта патологическая тяга к убийству близких? Вся их мировая тоска и «прогрессивные» исторические стремления нашли выход у одного в убийстве возлюбленной, у другого — в убийстве друга.

В «Кавказском пленнике» этого еще нет. Там возвышенный и презирающий (а заодно несчастный в любви) герой просто попадает в глупое положение. Попытка рассеяться кончается у него почти как у гумилевского Пьера, которого съели дикари («...а мы с ним в детстве играли в Марселе...»). Герой смешон (и отчасти трагичен), но он не преступник. Следование путем презрения и отречения не привело его еще к маниакальной страсти к бессмысленным убийствам.

Возможно, это то, что Достоевский подсмотрел у Пушкина, создавая своего Раскольникова: манфредизм в каинском исполнении — вот что увидели два величайших русских ума, не склонные очаровываться когда-то великой идеей.

Если бы образ Чадского развивался по логике Пушкина, то Чацкий убил бы либо Софью, либо Молчалина («Неужто на дуэль вас вызвать захотят..?» — как бы открытая возможность). Ясно почему: Мельмот Скиталец — вот чей образ преследовал Пушкина, чье имя вместе с именем автора не раз упоминалось в его стихах. Наполеоновская личность, гений злодейства, сильный, сложный, непостижимый и притягательный человек, умом отказывающийся служить добру, проклятый за это, страдающий, но не смирившийся. Да, Демон (и «Демон», — не напуганный раздавленный Фауст последних дней из «Народной книги»), излюбленный образ Пушкина. Да не был ли он сам Демоном, околдовавшим нас своими строчками, взятыми из глухого омута сердца, полного страстей и метаний?

Этого-то демона увидел и по-новому вскормил, словно орла, Достоевский. Орла, клюющего печень традиционной и лицемерной этики.

Живя в особое для России время, когда скрещивались и воевали традиции, сталкивались враждебные влияния, когда терявший легитимность традиционный базис уходил из-под ног, Достоевский и для себя самого придумал существование, похожее на жизнь на минном поле: постоянно в долгах, усугубляемых неудержимой игрой на рулетке, не остановимой даже смертью дочери страстью, которая лечилась только приступами тяжкого решительного творчества. Лучшие страницы «Преступления» написаны, когда он сидел голодный в отчаянно безденежном положении в гостинице в Висбадене.

Достоевский ненавидит меркантильный самодовольный Запад, помешанный на деньгах и материальных удобствах. Он сочувствует бунтарям, совершающим внезапные преступления — ради защиты личности. Во всех произведениях, и до, и тем более после каторги он выделяет в человеке важнейшее качество — собственное достоинство, неистребимое никаким кнутом и унижением, либо органически присущее, либо нет. Из этого чувства собственного достоинства и вся справедливость и вся нравственность, возникающая в человеке стихийно и приданная ему изначально.

Здесь можно вспомнить рассуждение Ивана Карамазова про архитектора вселенной и одного замученного ребенка. Чтó это, как не отрицание революционного террора, не имеющего прямого касательства к диспуту о Боге? И

все же Достоевский оправдывает войну на Балканах с турками, видя в этом особую миссию России, начало победы некоей правды, имеющейся у славян — и у русских как лучших представителей их. «Это будет настоящее воздвижение Христовой истины, сохраняющейся на Востоке, настоящее новое воздвижение креста Христова и окончательное слово православия, во главе которого давно уже стоит Россия» («Дневник писателя 1876», июнь).

Трудно простить Достоевскому эти дешевые фокусы с географическими понятиями: Восток, Запад, а также астрономическую тавтологию: «От востока звезда сия воссияет» («Сия мысль великая»). Вот где самомнение, считающее, что из любви к нам (русским) чудесно изменятся не просто естественные, но — сверхъестественные законы. Как бы в компенсацию за историческую ущербность.

И, однако, этот «патриот», якобы защищающий консервативные охранительные ценности, хотел послать Алешу в революцию, ибо именно там место справедливому сострадательному уму, жаждущему, в силу неопытности, маловерия и нетерпения счастья для всех даром и на этом свете. Чтобы, по своему собственному маршруту, привести его назад к Богу, к детской незамутненной вере. В общем, согласно известному афоризму: «Кто не был революционером в молодости, у того нет сердца...» и т.д.

Достигнув этой «веры», сам Достоевский, однако, не достиг покоя. Его бунт стал тотален. Он бунтует против бунтарей, против социальной несправедливости и миропорядка, против всего Запада, против лицемерной морали, против мироустройства как такового. Он враждует с либерально-западнической критикой и с крайним славянофильством кошелевско-леонтьевского извода. Он «враждует со всей русской литературой». Он то и дело бунтует против Бога, может быть, с невинностью и простительностью детей, бунтующих против приказов отца, тяжких и непонятных.

И все же ребенок должен бунтовать — как бунтует его «маленький герой» из одноименного рассказа, написанного не где-нибудь, а в Петропавловской крепости.

Это единственный путь познать истину, через собственные ошибки ли, или через постоянное сверхнапряженное стояние в унижении и отчаянии, на грани жизни и смерти, когда открывается то, что большую часть жизни надежно скрыто. С одной стороны — восхитительность жизни, с другой стороны — ее абсолютная ненадежность и недостаточность. Уже из одной этой антиномии можно создать целое учение. И романы Достоевского это эзотерическое учение о полноте и недостаточности — мира, человека и всех его суждений, в том числе о Боге. Именно поэтому — это учение о свободе, ибо где нет границ, нет материальной выгоды, нет переживаний о земном и об «утолении его потребностей», там и есть свобода. И поэтому, действительно, *все позволено*, хотя об этом может рассуждать только *знающий*.

Мария РЕМИЗОВА

ПЕРВОЕ ЛИЦО ГЛАВНОГО ГЕРОЯ

Беглые заметки о современной прозе

Окинув взором пространство отечественной литературы, внимательный человек неизбежно заметит, что в той ее части, которую теперь принято чуть не с презрением именовать «высоколобой», ключевой фигурой дня чаще всего выступает *писатель*. Не тот писатель, иначе называемый автор, который создает текст «извне» (что равно банально и неизбежно), а тот, что находится внутри текста, выступая в роли рассказчика и, как правило, протагониста.

В некоторых случаях автор («внешний») все еще держит себя несколько в стороне, пролагая дистанцию между собой и «лирическим героем» (хотя в подавляющем большинстве случаев такая дистанция не слишком велика). Вообще создается впечатление, что неспособность отделять себя от персонажа носит для современного литератора почти катастрофический характер. Литературный текст на глазах теряет художественную условность, устремляясь в русло почти дневниковых откровений. Наоборот, условностью становятся границы между позицией автора и позицией персонажа. Автор все чаще выступает в роли «аранжировщика», а не «демиурга», берет ответственность за отбор *фактов*, их композицию и интерпретацию, но не за *сочинение* несуществовавшего до него мира на основе хоть эмпирического, хоть даже экстатического опыта...

Литература таким образом все отчетливее становится искусством интерпретации, искусством комбинирования уже готовых «образцов», что наводит на мысль об известной прозорливости Германа Гессе, который еще сколько лет назад заметил сходство между современным искусством и мозаикой, назвав открытый им образ — *игра в бисер*. Хотя, конечно, Гессе имел в виду несколько иное — скорее, те литературные последствия, которые произвел французский структурализм и наследующий ему международный постмодернизм. Однако не будем забывать, что в мире решительно все взаимосвязано, и потому ничто не проходит бесследно. Поэтому невольными жертвами «бисерного мировосприятия» часто оказываются даже те, кто ни о каких теоретических изысканиях слыхом не слыхал и видом не видал.

Сильно нашумевший и вызвавший резко противоположные оценки роман Сергея Гандлевского «<НРЗБ>» («Знамя», № 1, 2002) сконструирован как

Мария РЕМИЗОВА — родилась в 1960 г. в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Литературный критик, автор многих статей о современной литературе. Как прозаик дебютировала в 1995 г. в журнале «Постскриптум». Живет в Москве.

некая модель литераторского мира. Главный герой — на входе начинающий поэт, на выходе — литературовед, откровенно паразитирующий на фигуре и творческом наследии другого поэта, уморенного советским режимом, которому в юности поклонялся и с которым, как выяснил неожиданно для себя при изучении дневников последнего, делил возлюбленную.

Автор явно старается «объективизировать» повествование, дистанцируясь от персонажей — насколько возможно. Чтобы отвести всякие подозрения в пересечениях между фигурами автора и главного героя (временами — рассказчика), Гандлевский дважды вводит в текст «самого себя». В начале, *мельком* упомянув реально существовавшую в 70-е годы поэтическую группу «Московское время», *талантливым* и *знаменитым* членам каковой слегка завидует начинающий поэт Лева Криворотов (в нее, как известно, входил и сам Гандлевский), и в самом конце, когда тот же самый Криворотов, постаревший и растерявший и смысл жизни, и поэтический пыл, накануне последнего рокового шага в его судьбе наблюдает автора, легко узнаваемого читателем по нескольким характерным приметам (например, тот прогуливается по улице с белым боксером, фигурирующим в других произведениях под четкой маркировкой *любимой собаки Гандлевского*).

Итак, автор довольно решительно отказывается здесь от «прямой речи». Его задача в этом романе (в отличие, кстати, от предшествующей «Трепанации черепа») — не выговориться, а *поставить диагноз*. Диагноз, заметим, неутешительный.

Повествование в «<НРЗБ>» построено по принципу раздвоения и удвоения, этот «дуализм» и выступает, вероятно, главной философской подоплекой романа. Молодой поэт завоевывает благосклонность известной литературной дамы, бывшей некогда возлюбленной его будущего кумира. Тут же на сцену выходит его друг, тоже поэт, с только что обретенной пассией, тоже пишущей стихи, каковая ранит юного Криворотова в самое сердце. Пытаясь привлечь внимание юной красотки, Криворотов знакомит ее со знаменитым опальным поэтом и дальше разрывается между двумя страстными привязанностями — к мэтру, как символу настоящей литературы и настоящей судьбы, и к своей пассии, ни его, ни его кумира значимости капризно не признающей. Потом выпускается самиздатский сборник, куда, как особый шик, включаются стихи маститого, но отсидевшего срок и потому запрещенного кумира, в дело вступает Лубянка, молодежь в основном отделывается разными степенями испуга (роковая барышня, потрясенная исключением из института, сразу же выходит замуж за того первоначального друга), а вот мэтр, которому грозят новым сроком, кончает с собой.

Далее Криворотов, перескочив через пару десятков лет и покончив с собственными амбициями на почве стихосложения, занимается изучением и публикацией наследия погибшего «учителя», преуспевает, ездит на какие-то конференции и заканчивает тем, что уничтожает почти случайно попавшую ему в руки тетрадь, где находит нелицеприятный отзыв о себе и собственном творчестве, записанный погибшим незадолго до смерти.

Гандлевский вроде бы пытается поднять вопрос о творчестве и таланте, противопоставляя непредставленным в тексте стихам Криворотова «образцы

почерка» поэта настоящего. Но стихи эти, выполненные в высшей степени профессионально, как-то не особенно убеждают в продекларированной гениальности их автора. Ни эмоционально, ни содержательно они не задевают. Впрочем, возможно, в задачу автора входило вообще взять под сомнение значимость *любой* литературной фигуры...

Эта пара, которая в одном ракурсе предстает как учитель и ученик, в другом — как счастливый и несчастливый соперники, в третьем — как объект и субъект исследования, в четвертом — как палач и жертва (Гандлевский нарочито затемняет вопрос, не был ли юный поэт доносчиком на старого), в одном из возможных прочтений может предстать и как подобие отражений: мэтр лишился поэтического дара после лагеря, Криворотов — после истории с самиздатом. Если понимать случившееся с Криворотовым как расплату за предательство (и не забывать о пропитывающем роман параллелизме), то чем объясняется молчание первого — только ли потрясением от пережитых мытарств?

Гандлевский описывает безусловный крах личности — но не до конца понятно, какую личность он имеет в виду: то ли личность, изначально неспособную к креативной функции и потому под напором обстоятельств неизбежно деградирующую, то ли от пронизывающего ее плоть творческого сквозняка ставшую столь хрупкой, что под воздействием все тех же обстоятельств она трескается, как экзотическая ваза...

Важно другое — Гандлевский выносит своего рода приговор — если не *писателю* как таковому, то литераторскому миру как среде, способной лишь задушить, но не произрастить. Трудно судить при этом, насколько значимы для автора позиция *включенности в среду*, детерминирующую попавшую в нее личность существующими в ней законами и условностями (конформизмом), и противопоставление этой включенности, так сказать, онтологически заданному *одиночеству* поэта/прозаика (нонконформизм). То есть, насколько личностный и бытийный крах персонажей связан с первоначальной ошибкой их выбора?.. И насколько значимо умолчание автора о какой бы то ни было альтернативе, о втором, третьем, десятом пути, пролагающем дорогу к условному бессмертию?

Или, может быть, поставленный Гандлевским диагноз вовсе не допускает вариантов: современный литератор, распяленный на крестовине здесь и сейчас пересекшихся показателей спроса и предложения, признан бесповоротно и безоговорочно безнадежным? Другими словами — в нынешнем мире из разряда безумия (по Платону) творчество перекочевало в разряд выгодного при определенных условиях ремесла...

С таким пониманием места писателя в современной жизни, как ни странно, граничит (а кое-где и пересекается) и позиция Маканина — в последних его произведениях. Примером может служить почти хрестоматийный роман «Андеграунд» («Знамя», № 1-4, 1998) или повесть «Удавшийся рассказ о любви» («Знамя», № 5, 2000). Автор ставит себе целью предъявить не внутреннюю жизнь персонажа (хотя формально именно ее и показывает, обнажая чуть ли не подсознание своих главных героев, но парадоксальным образом выявляются только их реакции на внешние раздражители), не полеты творческого духа, и даже не повседневный его, духа, труд, но главным образом социальный аспект суще-

ствования личности, способной создавать лишь тексты, не отвечающие запросам текущего дня.

В каком-то смысле произведения позднего Маканина — это абстракции или эмблемы для демонстрации нескольких, не слишком сложных умозаключений автора, сделанных на основе наблюдений над постперестроечной ситуацией, изменившей статус писателя — «инженера человеческих душ». Маканин, кажется, был в самом деле поражен открытием, что материальное благополучие не есть необходимое следствие свободных творческих занятий. (Заблуждение, которое разделяло, похоже, большинство авторов старшего поколения.) Потому все маканинские герои последних лет — маргиналы. Но маргиналы не по свободному выбору (хотя именно это истерически декларирует герой «Андеграунда»), не потому, что художник просто по устройству натуры изначально обречен на непонимание и одиночество, на *изгнание* (тот, кто *беседует с богами*, с простыми смертными общий язык находит с трудом), а как бы волею жалких и сиюминутных обстоятельств. Герой «Удавшегося рассказа о любви» в советское время был признанным писателем, был в том мире *хорошо устроен*, а теперь вынужден выпрашивать «подачки любви» у работниц заштатного борделя. Герой «Андеграунда» в советское время был, наоборот, непризнан, непризнан и теперь, и с каким-то нечеловеческим остервенением готов из-за этого всех и вся в этом гнусном мире разорвать в клочья.

И хотя Маканин вовсю сакрализует своего Петровича — ушедшего в упорный отказ *онтологического борца,* — харизматической фигуры из него не получается. Потому что сквозь все декларации и манифестации крутого подпольщика сквозит ясно просматриваемая обида. (Но что примечательно: одобрять-то автор его, разумеется, одобряет, но ведь видно, что не сочувствует, то есть, возможно, и хотел бы, но злобному человеку сочувствовать невозможно). Фигура протагониста (он же повествователь) «Андеграунда» содержит в себе очень опасное для его реноме противоречие. Он чрезвычайно агрессивен, раздражен, его мучают приступы захлебывающейся ярости, он совершает два (!) в принципе немотивированных убийства... И в то же время с маниакальной настойчивостью он все требует и требует чего-то от мира — то, что равнодушный к его персоне мир ему не дает. Это «что-то» проще всего обозначить как *знаки внимания к таланту.* В принятой в современном мире системе эти знаки обычно имеют форму *денежных*...

Но вот что еще примечательно. Петрович — как он сам торжественно признается — давным-давно не пишет. (Как, кстати, герой «Удавшегося рассказа...». Понимать ли это тоже как диагноз?..) Только изливает желчь, да крушит все вокруг. Он, видимо, своей яростью окончательно съеден. Пафос отрицания победил в нем энергию созидания. Социальность одержала верх над метафизикой. Материя — над творческим духом. В этом ключе бунт маканинского героя выглядит воистину бессмысленным — поскольку ни полет, ни даже просто отрыв от земли в результате этого бунта невозможен. Маканин, таким образом, тоже не видит для писателя иного пути, кроме как к личностному краху. Оба варианта — и самодовлеющий бунт подпольщика, утерявшего дар *слова*, и униженное вымаливание материальных благ деградировавшим писателем «из бывших» — равно отталкивающи и равно безнадежны.

На эту пораженческую позицию (и Маканина и Гандлевского) имеется несколько вариантов ответов. Характерно, что все они связаны с темой изгойства, обозначая, таким образом, главный характерологический признак — не *профессии*, не занятия не хуже любого другого, а не зависящего ни от чего, почти иррационального свойства личности — воспринимать окружающую действительность как материализуемый в слове художественный образ.

Еще раз отметим — Гандлевский в своем романе предлагает как бы *объективный* подход, выстраивая систему из более-менее равноправных персонажей, на которых не присутствующий в тексте автор смотрит извне и (видимо) сверху. Напротив, те, о ком пойдет речь ниже, какими бы разными они ни были и сколь непохожие взгляды ни исповедовали, все выражают себя через *субъективизированный* монолог, соглашаясь (в той или иной мере) на слияние автора с повествователем, а потому каждый из этих текстов в определенном смысле можно назвать исповедью. Гандлевский в своем исследовании безусловно хладнокровен (если не холоден). Кажется, что он намеренно принял позу человека, которому нечего терять — разочарованному чужды все обольщенья прежних дней... Эти же — безусловно искреннее и горячее. И для них речь идет точно не о потере. Наоборот, о *приобретении*.

Афанасий Мамедов в романе «Фрау Шрам» («Дружба народов», № 8, 9, 2002) обозначает занятие рассказчика и главного героя довольно витиевато: студент Литинститута, который *давно ничего не пишет*. Но маргинальность его определяется вовсе не этим обстоятельством. Герой Мамедова в одночасье оказался словно бы провалившимся в прореху бытия — одну из тех прорех, которые возникают на сломе истории и всегда проходят катком по конкретным человеческим судьбам.

Этот человек лишился родины, привычной среды, дружеских и родственных связей. У него нет семьи, надежной крыши над головой, нет вообще ничего надежного и безусловного — того, про что он бы мог с уверенностью сказать: я знаю это, и это — мое (не в смысле собственности, в смысле четко осознаваемой взаимной принадлежности).

Это разобщение с жизнью произошло потому, что он, не будучи азербайджанцем, родился и вырос в Баку, а прежнего города (как и прежней страны) в настоящем времени уже не существует. Куда деваться в такой ситуации сыну империи с богемными привычками? Самое естественное решение — Москва (если, конечно, исключить более радикальные Европу, Америку и Израиль: национальная принадлежность эти варианты допускает). Москва же, как известно, слезам не верит. Потому герою приходится мыкаться по углам, работать на заводе и пользоваться деньгами, которые мать присылает из нищей страны.

Но внутренние проблемы рассказчика связаны не с этим. Камень преткновения — в том, что он существует не в реальности происходящего, а в фантоме несуществующего прошлого. Как и в романе Гандлевского, здесь задействована масса параллельных линий и параллельных персонажей, работающих как система зеркал, которые создают — в сознании героя — иллюзию проницаемости и символичной для него «сквозистости» мира. Вернувшись в город своего «настоящего», герой сталкивается с тем, что кажущаяся столь знакомой «реальность» на самом деле абсолютно незнакома. Ценой достаточно значи-

мых для него потерь, герой на собственной шкуре испытывает справедливость утверждения, что в одну реку не входят дважды.

Всюду он лишний, невписывающийся, неудобный. Всюду чужой. В отношениях с женщинами он всегда на вторых ролях, временно замещая кого-то, по параметрам прагматики более ценного. В отношениях с бывшими друзьями — слишком поздно прозревающий слепец, способный лишь задним числом осознать подоплеку и мотивы поступков. Он всегда как бы с краю ситуации, его собственные действия — лишь инерция и следствие действий других. В *этом* мире его функция безусловно пассивна.

Но именно эта незащищенная позиция — с краю, *на сквозняке*, — не позволяющая ему слиться с окружающим миром, уподобиться ему и стать одним из многих, и открывает для него в конце концов возможность увидеть и пережить все происходящее *заново* и *иначе*. И прорвать кажущуюся плотной и непробиваемой преграду между подлинностью и неподлинностью бытия, вырываясь в свой финальный *свободный полет*, который здесь, вне всяких сомнений, символизирует творчество.

За Рубена Давида Гонсалеса Гальего, этнического испанца, появившегося на свет в Советском Союзе и написавшего на родном для него русском языке книгу новелл «Белое на черном» (СПб.: Лимбус Пресс, 2002), проблему *быть или не быть изгоем* решила судьба. Он родился на свет парализованным инвалидом, и от него сразу же отказались родители, так что он был выброшен на обочину с самого начала.

Большая часть новелл посвящена быту и обыденности детских домов и интернатов для обойденных жизнью калек, где одноногую девочку на протезе прикованные к вечным койкам ровесники завистливо оценивают как «здоровую». Проза жесткая, лишенная малейшего налета сентиментальности. Но одновременно почти избавленная и от желчного упрека миру, замешенного на непреодоленной жалости к себе. Мир принят как данность. Эмоциональные переживания оставлены на усмотрение читателя. Задача автора — описать личный опыт, заключающийся в овладении навыком жизни, в преодолении физического бессилия и замещении его на креативную энергию, неподвластную плоти.

Неизбежно на память приходит «Как закалялась сталь». Но задача здесь другая. Если герой Островского находится под властью идеи о генеральном социальном переустройстве, жертвует этой идее жизнь, здоровье, зрение и саму способность двигаться, и потом, слепой и парализованный, пишет книгу, направленную на утверждение все той же идеи и лишь косвенно — на приватную цель вырваться из плена физической немощи, то герой Гальего, парализованный от рождения, свою книгу создает, чтобы доказать — в первую очередь самому себе, — что плоть не властна над заключенным в ней духом. Ни о каком переустройстве мира здесь и речи нет — этот мир, кирпичик за кирпичиком, создается *внутри*. «Белое на черном» — это одинокий путь отдельной от всего остального мира личности, если угодно, поединок личности с мирозданьем, дорога *кшатрия* или *самурая*, силой духа преодолевающего непреодолимое.

Запечатлеть свой *опыт преодоления* — единственная (или во всяком случае, почти единственная) форма экзистенциального ответа для личности, лишен-

ной по неким, допустим, *высшим* причинам, врожденного права на движение. Вынесенное в название «Белое на черном» — это, видимо, нечто вроде белой точки на черной половине инь-яна, некоего «позитива» среди безнадежности. Но можно и перевернуть комбинацию: черное на белом — это и смуглое тельце обреченного на одиночество ребенка на бесконечном полотнище казенных простыней, но это и буквы на бумаге, перевоплотившие отчаяние в опыт творческого борения, когда одиночество и изгойство приобретают уже прямой метафизический смысл.

Очень симтоматичен в этом смысле рассказ Юрия Малецкого «Копченое пиво» («Вестник Европы», том III, 2002), рассказ, который, может быть, стоило бы назвать повестью, поскольку поэтика, свойственная всем текстам этого автора, сопротивляется «однолинейности», служащей классификационной чертой жанра: Малецкий всегда диалектичен, строит повествование на антитезе, и вообще мышление его устроено таким образом, что даже в самом коротком из его рассказов возможно усмотреть зачатки романа.

Малецкий тяготеет к прямой речи. В принципе вся его проза построена как монолог, только в крупных формах этих монологов бывает несколько, так что получается нечто вроде диалога или разговора монологистов, когда персонажи высказывают каждый свой отдельный текст, не то чтобы не связанный с предыдущим высказыванием, но слишком замкнутый в самом себе.

Это, конечно, прекрасно характеризует эгоцентрическую природу человеков — *не слышать* обращенного слова и почти не поддаваться его влиянию, оставаясь замкнутой и запертой в себе единицей. Хотя задача автора как будто все-таки другая — зафиксировав этот досадный человеческий дефект, попытаться, однако же, нащупать точки возможных соприкосновений. И потому понятно, что для Малецкого главной из всех возможных людских слабостей выступает любовь — как единственная сила, способная разрушать преграду между человеческими существами.

Вернемся, однако, к «Пиву». Герой (повествователь) — эмигрант из России, проживающий в Германии. Это, заметим, совпадает с фактом из биографии автора, как, впрочем, и многое другое в его прозе вообще. Малецкий, собственно, и не ставит себе задачу очень уж прятаться под чужой маской. (Что, однако же, вовсе не отрицает определенной условности и даже прямого несовпадения между любым из его повествователей и им самим. Это лишь очень характерная для современной прозы ситуация — создание текстов, как бы пограничных между fiction и non-fiction, когда принадлежность к разряду *художественной литературы* определяется в первую очередь качеством самого письма. Отметим, что и этот опыт для истории литературы, разумеется, не нов, достаточно вспомнить «Исповедь» Руссо или «Уолден» Торо. Впрочем, и в русской традиции примеров немало — начиная от «Былого и дум» и «Записок из Мертвого дома». Но тогда это были все-таки скорее исключения из правил, сейчас — уже похоже на общий закон.)

Но одна маска у героя «Пива» все-таки есть. Свою «профессию» герой обозначает хитро — «экскурсовод». Так и не выучив толком немецкого языка, герой произносит яростные филиппики в адрес германской системы трудоустройства, когда ему предлагается либо копать могилы, либо клеить коробки

на фабрике, а делать ни то ни другое «по восемь часов в день» он категорически не согласен. Казалось бы, каприз — с какой, собственно, кстати? Кто не работает, тот не ест... Однако автор убедительно доказывает обратное — нарушая законы о лицензиях и налогах, герой водит самовольные экскурсии по самым ценным культурным уголкам Европы, открывая группам русскоязычных эмигрантов сокровища, накопленные цивилизацией, о которых эта цивилизация почти успела забыть.

Требуется лишь самое незначительное усилие, чтобы прочитать метафору до конца. Если бы и правда героя неодолимо влекло к себе призвание гида, уж нашел бы он какую ни то завалящую фирмочку, обслуживающую русских туристов, и заработал бы как-нибудь себе, да сыну-подростку, да вечно болящей жене на хлеб и пиво... Ну, выучил бы на худой конец басурманский язык...

Очевидно, что проблема лежит совсем в другой плоскости. Кто же это такой, вечно неприкаянный, для кого *чужой язык* — не просто непреодолимое препятствие, но *единственное неприемлемое условие*, факт, закрывающий любые возможности реализации?

Это именно и в первую очередь писатель (сознательно вычеркнем из списка двуязычного с раннего детства Набокова — и Джозефа Конрада (он же Теодор Коженевский) — последний завоевал себе славу в первую очередь благодаря *неправильности* неродного ему английского, придавшей его стилю необходимую яркость).

Это он, в своем идеальном варианте — социально неадаптируемый тип, неспособный «клеить коробки» (то есть служить прагматичной и далекой от креативных задач цели) и подчиняться законам мира, утвердившегося в тупой и гиблой материальности. Да, он именно пария, *нелегал*, в обход и обман официальных *смотрителей за культурными ценностями* пробирающийся в святая святых — в оприходованные в реестрах и раз и навсегда умертвленные «памятники культуры» (здесь у Малецкого возникает позаимствованный у Достоевского мотив Европы-кладбища, где лежат «дорогие покойники», перекликающийся с тем образом кладбища — реального, — откуда герой сбежал, чтобы не служить *могильщиком*). Пробирается, чтобы, как он сам это формулирует, — «рассказать о них так, как не расскажет никто».

Нельзя не заметить, насколько внешне близки и в то же время диаметрально противоположны внутренне позиции этого героя Малецкого с «андеграундным» героем Маканина. Оба категорически не вписываются в обступившую их реальность. Оба не скрывают ни своего презрения к ней, ни даже агрессивного ее неприятия. Но если маканинский Петрович коченеет в своей желчной ярости, если он парализован ею настолько, что не способен ни на что, кроме гневливых тирад и *физического уничтожения жизни*, то герой Малецкого бурчит, стонет, выплескивает меланхолию, но так или иначе бредет вперед.

И кончается рассказ на самой что ни на есть пронзительной ноте — что вы там ни делайте, а я все равно буду жить так, как хочу. И буду водить свои (метафорические) экскурсии — то есть писать... Пафос у Малецкого, как видим, совсем другой — управляет им не маканинская диссонансная и разрушительная «муза мести», а все-таки, как ни крути, гармоническая и креативная Каллиопа (или кто там у них отвечает за прозу).

Довольно любопытно, что к философии лирического героя Малецкого (точнее, к *одной части* его философии, наиболее нам, в данном случае, интересной) примыкает некий «манифест» (так обозначает его сам автор, но в общем-то это все тот же *монолог*, очень похожий на тексты Малецкого) Славы Сергеева под не оставляющим никаких сомнений названием «История моего безделья» («Континент» № 112, 2002). В нем автор, равно изящно и безответственно, прокламирует свой принципиальный прикол — не работать. Принадлежи он к более старшему поколению, за всеми перипетиями и мытарствами (главным образом, от общей бессмысленности) в научно-производственных конторах эпохи позднего совка, вне всяких сомнений, стоял бы разоблачительный пафос: мол, в ком ум и совесть живы, тот не может гнуть спину на гнусный режим — эдакое диссидентствующее шестидесятничество.

А у Сергеева посыл совершенно другой, и формулирует он это гораздо шире, уже внутри текста предлагая другое возможное название для него: «Моя борьба с несправедливым устройством жизни». Конечно, не стоит принимать слова автора совсем уж буквально, он, как представитель своего поколения, не может, утверждая что бы то ни было, тут же и не поиронизировать — и над утверждаемым, и над самим собой, и над тем, кто воспримет утверждение буквально, и над тем, кто прочитает его с учетом всех потенциальных возможностей нарратива.

Однако внутри, под всеми защитными шкурками, все равно лежит первоначальное ядро смысла, привязанного к восприятию жизни как несправедливого устройства и, пусть и иронического, бунта против нее. И бунт этот, опять-таки внутри, под слоем всевозможных гримасничающих масок, в существе своем — метафизичен. Поскольку исходит не от члена социума и направлен не против какого бы то ни было социального, политического или любого другого, человеками определяемого «устройства», а от свободной личности и направлен против любой детерминированности, в том числе и социальной.

То, что лирический герой в этом тексте не кто иной, как писатель, не приходится угадывать, выискивать за ширмами многозначных метафор. Прямое указание на это дано на первой же странице, да и далее не раз и не два промелькнет в тексте, а потом герой вообще поступит в Литинститут...

Но, оказывается, даже творчество, то есть создание текста не выступает здесь первейшей жизненной задачей. «... Скромно заметим, — признается этот идейный тунеядец почти у самой финишной черты, возражая «кому-то из великих», полагавшему, что «биография писателя — это его книги», — что настоящая биография писателя заключена во многих вещах. Среди них, конечно, и книги. Но и детский лепет в его доме, и случайная улыбка красивой женщины... (далее следует список случайно подобранных и нарочито хаотично расположенных самых разных вещей. — *М. Р.*) — я специально перечисляю то, что считается *пустяками*, то, *что неважно*».

А потом следует и вовсе уж ход конем — автор задает по виду простой, а по существу исключительно каверзный вопрос: какая, мол, разница, что за строки возникают у него на мониторе? И даже хуже — что, если эти строки не сохранятся, то есть (в принципе) что будет, если он *вообще ничего не напишет*? И — уходит от ответа, оставляя вопрос как бы открытым. По виду, открытым. На самом же деле он на него, конечно же, отвечает.

Ответ таков: да ничего не будет. В смысле — ничего страшного. Потому что главным оказываются вовсе не последствия пережитого (строки), а само переживание, само *проживание*, то есть сама ЖИЗНЬ.

И вот в этом-то пункте происходит главный прорыв. Герой, сочиненный автором, передоверившим ему свою основную функцию — писателя, как бы принимает на себя «первородный грех» и отпускает своего создателя на волю. Производным от функции становится вымышленный герой. Автор же свободен — жить. Сам по себе. Если умеет...

Но здесь же и подстерегает (автора, в первую очередь) новая ловушка. Жить, чтобы жить — дело, конечно, хорошее. Свободный гражданин в свободной стране может хоть на голове стоять. Однако если он все-таки предполагает оставаться писателем, что именно станет он описывать *после* того, как не без остроумия доказал свое право писать? Снова себя? (И до каких пор?) Или все-таки его наконец заинтересуют *другие*? Но если он поставит себе задачей именно воссоздание чьего-то чужого сознания и опыта, отличного от его собственного, то на каком материале он будет работать?..

Эти вопросы, кажущиеся простыми и очевидными, для современного прозаика совсем не просты. Видимо, поэтому для нынешней прозы так привлекательна речь от первого лица. С одной стороны, позиция рассказчика дает возможность работать с сугубо индивидуализированным опытом. А жизненный опыт у современного писателя, за малыми исключениями, весьма неширок. Поэтому, чтобы хоть как-то двигать сюжет, остающийся в пределах реалистичности, и приходится рассматривать под микроскопом мельчайшие проблески событий и тени эмоциональных колебаний. А такое возможно лишь при максимально субъективированном повествовании, чего проще всего достигнуть, подавая текст как бесконечно расширяемый монолог.

С другой стороны, прямая речь маркирует позицию отстраненности, демонстративной отдельности Я от любого не-Я (в конечном счете — от мира как такового). Что опять-таки обнаруживает связь с миросозерцанием «писателя вообще», «писателя par exellence», который выступает демиургом мира своей «второй реальности». Он одновременно и причастен ему и одновременно же ему внеположен.

Видимо, поэтому очень часто в современной прозе «писатель» — фигура в достаточной степени завуалированная, род занятий часто обозначен как-нибудь обиняком, легким контуром — в виде смутных намеков. Стремление поглубже запрятать профессиональную привязку повествователя (но ни в коем случае не отказаться от нее!), скорее всего, продиктовано желанием отвести подозрения в тождественности автора и рассказчика, поскольку обнаружение их идентичности грозит «демиургу» почти что саморазоблачением. Автор не хочет признаваться, что создает текст, единственной значимой задачей которого выступает доказательство — через фигуру рассказчика — адекватности самоопределения «Я — писатель». Но такая цель очевидно бессмысленна — хотя в глубинной основе огромное большинство современной прозы строится именно по этому шаблону.

Например, в чрезвычайно характерном романе Владимира Березина «Свидетель» («Знамя», № 7, 1998) рассказчик выдает постоянный рефрен — «я

свидетель», «я наблюдатель», и весь текст строится как ряд почти не связанных эпизодов, в которых герою отводится самая пассивная роль. Этот «свидетель» иной раз не лишен известной зоркости взгляда, зато напрочь лишен способности свои наблюдения упорядочить. То перескакивает с одного на другое, не озаботившись ни малейшим намеком на связь между ними, то на разные лады тянет полюбившийся мотив.

Его явно занимает вопрос взаимоотношений с противоположным полом. Но что же в конце концов удается выяснить из текста? Там и сям, экивоками да намеками герой дает понять, что его оставила жена. Или он сам с ней расстался? В одном месте он признается — расстался, «потому что было слишком больно». Поди пойми. Что больно, как, отчего — больно с ней или все-таки без нее?.. Нет ответа. Зато детально прописан бурный эпизод с какой-то юной эротоманкой, чувств героя не задевшей. (Профессиональному читателю не *очень* трудно догадаться, как он попал в текст — это всего-навсего как бы такая *пародия* на бульварный роман. Березин много лет профессионально занимается масскультом, например, вел до недавнего времени в газете «Ex libris» соответствующую полосу. Видимо, захотелось как-то оттянуться. Но при чем здесь роман «Свидетель»?) Дальше того лучше. Герой в Крыму случайно знакомится с девушкой. Но едва насладившись первой страстью, внезапно — без всяких причин — срывается в Москву, оставив бедняжке записку с *телефоном приятеля*. Потом они долго и довольно бессмысленно плутают по закоулкам текста, *без всяких причин* не встречаясь — после вакаций девушка тоже вернулась в Москву и по телефону зачем-то позвонила. Между тем, как уверяет рассказчик, любят они друг друга безумно. Встречаются они очень немалое время спустя не где-нибудь, а в Германии. Случайно! Снова любовь, объятия... Но автор, кажется, не знает, что делать со своим героем дальше. Если они поженятся, прощай амплуа свидетеля. Придется, вероятно, работать. Поэтому девушка почти сразу попадает под грузовик. Зато герой теперь совершенно свободен — может наблюдать, сколько душа пожелает...

Герой Березина тяготеет к тому, чтобы быть совершенно бесформенным и ничем не определенным. Поэтому о себе он никогда не сообщает ничего конкретного. Чем занят, где живет — неизвестно. Прошлое — сплошной туман. Обиняками сообщается об участии в каких-то загадочных мероприятиях в *горячих точках*. (Чего — *точках*? Страны, планеты? Когда, в каком качестве?) Но как эта информация соотносится с образом принципиально недеятельного героя? И к чему такая таинственность, может быть, на самом деле ему нечего об этом сообщить?

В некоторых случаях он бежит даже тени выбора и поступка, поскольку автор предоставил ему лишь почти безэмоционально рефлектировать текущие мимо него события. Но цель этой навязчиво фиксируемой рефлексии в тексте не прояснена. Обосновать ее можно лишь одним — материализацией самого текста, то есть упразднением дистанции между автором и героем. Герой здесь принимает на себя «функции» автора, а автор — героя, и в конечном счете разобраться, кто есть кто в этом романе, невозможно.

Лишь очень немногие, кто запасся плотными ширмами в виде остросюжетной интриги, не допускающей самодовлеющей рефлексии, рискуют прямо обозначать занятие рассказчика, совпадающее с их собственным ремеслом.

Так Борис Евсеев в романе «Отреченные гимны» («Дружба народов», № 11, 12, 2002), с одной стороны, строит сюжет как типичный боевик с кровавыми разборками и запутанными интригами, где пересекаются экономические и политические интересы множества разнонаправленных сил, с другой — вводит в повествование пласт эксцентричного религиозного «визионерства», положив во главу угла фантастическое допущение о возможности техническими средствами исследовать столь нематериальную субстанцию, как душа, и сведя все нити сюжета к деятельности некой таинственной фирмы, исследующей зарождение, жизнь и посмертное существование души. В романе присутствуют два Я — одно принадлежит рассказчику, пережившему все описанные события, другое — писателю, который записывает «текст» с доставшихся ему случайным образом пленок, надиктованных первым Я.

Хотя прием сам по себе, конечно, не нов, в данном случае это раздвоение личности кажется весьма символичным. Современный автор как будто раздираем внутренним противоречием, не решаясь до конца признаться даже самому себе и недвусмысленно ответить на вопрос, кто же он все-таки — *создатель* собственного художественного мира или равнодушный *зритель* бессюжетного сериала под названием «жизнь», отличный от прочих лишь тем, что ловко владеет пером?

Вывод, к сожалению, будет банален. Лишь очень и очень немногим личностям, каким-то особо одаренным и исключительным интровертам, дано порождать из себя тексты, способные заворожить *постороннего человека* притягательностью их уникального (и, вполне вероятно, безумного) внутреннего мира. Всем остальным рекомендуется время от времени все-таки оглядываться вокруг, эмпирически постигая объективные законы окружающей действительности. Это не значит, что речь от первого лица вообще кому-нибудь возбранна. Это значит лишь, что видимый миру монолог может (и должен) включать в себя невидимую миру полифонию. И это, заметим, не парадокс, а самая обычная диалектика.

Может быть, кризис современной литературы связан как раз с тем, что писатель (в ногу со всем остальным миром) слишком сосредоточился на себе. Пишет — о себе. Во многом — для себя же. Кризис литературы находится внутри писателя. От него одного зависит этот кризис преодолеть.

Евгений ЕРМОЛИН

ВКУС СВОБОДЫ

Над страницами романа «Факультет ненужных вещей»

Есть в настоящем писателе нечто провидческое. Он знает про тебя все. И даже немного больше. И ты — над книжкой — вдруг открываешь себя заново.

Вы не забыли, что именно так и бывает? Ну а если память уже не та, тогда начните с Юрия Домбровского. Кульминация его творчества — «Факультет ненужных вещей» — это поразительной чистоты и точности *человековедение*. Автор знает и безошибочно умеет передать страшно убедительную во всех деталях и глубокую правду о человеке.

От прозы Домбровского веет первозданной мощью. Она берет в плен сразу и без малейшего, кажется, усилия со стороны автора. Роман читаешь не глазами, а сердцем. Поразительны многие сцены, ранящие паузы, диалоги, где застреваешь на каждой реплике, как будто это происходит с тобой и входит в твое сердце всей полнотой человеческих боли, горечи, страсти, отчаяния, злобы, радости... Эта редкого качества человечность, прошибающая насквозь, — то, что в принципе не может устареть или показаться вчерашним днем.

Роман — *шедевр исторической прозы*, написанный, как выразился Ф.Искандер, «уцелевшим свидетелем трагедии тридцать седьмого года». Очевидно, это лучший русский роман о советских 30-х годах, об этой черной бездне века. Автор производит своего рода исследование, которое в чем-то глубже проникает в суть той эпохи, чем даже лучшие научные монографии историков и социологов — Авторханова, Геллера соло и Геллера с Некричем, Конквеста, Козловой, Лебиной... (Вот и моя книжечка «Материализация призрака», я ее ни с чем вообще не равняю, но как она концептуально зажата по сравнению с прозой Домбровского!)

И что еще важнее: роман Домбровского — это *книга о неискоренимой свободе человека*. Писатель, который провел в неволе, в лагерях и ссылке, четверть века, создал настоящую экзистенциальную прозу, передающую опыт свободы в пограничной ситуации радикального выбора между жизнью и смертью. Приходят соблазны и проходят через душу человека. Выбирают все — и хранители духовной традиции, и ее разрушители. Вопрос в качестве и последствиях выбора.

Евгений ЕРМОЛИН — родился в 1959 г. в деревне Хачела Архангельской области. Окончил факультет журналистики МГУ. Профессор Ярославского педуниверситета. Автор литературно-критических и культурологических статей и книг. Лауреат премии Антибукер-2000. Член редколлегии и постоянный автор «Континента». Живет в Ярославле.

Прикладная антропология и историческая конкретика здесь уживаются, сочетаются с гораздо более глобальным подходом. Домбровский избирает предельный масштаб культурно-исторических обобщений. Именно поэтому ему понадобились в романе экскурсы в евангельскую эпоху и размышления о Христе — как опора в понимании современности. Суд над Христом, мистерия страстей восприняты как прецедент и архетип. Предмет этой прозы — *духовный, культурно-религиозный кризис Запада.* Писатель говорит о судьбе христианско-гуманистической цивилизации в момент рокового испытания ее традиционных ценностей в безбожно-советском тоталитарном пекле, о кризисном человеческом изломе. Сам автор так объяснял, что его волновало: «Я стал одним из сейчас уже не больно частых свидетелей величайшей трагедии нашей христианской эры. Как же я могу отойти в сторону и скрыть то, что видел, что знаю, то, что передумал? Идет суд. Я обязан выступить на нем».

Повествование действительно несет печать трагического, явную в те моменты, когда бескомпромиссно сшибаются тупая машина власти, работающая согласно логике политической целесообразности, — и живой, свободный человек.

Отсюда ясно и то, что движущая повествование мысль и описанный в романе опыт лишены какой бы то ни было ограниченности — исторической, национальной, конфессиональной (христианство Домбровского — недогматическое личностное исповедание Христа)...

Зигзаг судьбы загнал Домбровского в алма-атинскую ссылку. Там, в глухой азиатской провинции варварской империи Сталина, и происходят основные события романа. Именно благодаря Домбровскому Алма-Ата стала городом-мифом большой литературы. Но это вовсе не экзотическая «колониальная» проза; на восточных подмостках разыгрывается многоголосая *европейская (а значит, мировая) драма.* (Нечто в этом роде было только еще у Бориса Крячко и Фазиля Искандера.) Туземцев отчего-то вообще очень мало, и не в них соль. Главные герои или высланы, или направлены в этот восточный край властью. Может быть, азиаты слишком слабо участвовали в той трагической игре, какая разворачивалась на стогнах казахской столицы. Возможно, они пребывали еще в наивно-эпическом, доосевом состоянии. Не знаю. (Но при всей полиэтничности персонажного ряда в романе дымится еще и наше, *русское пепелище*...)

Добавлю еще, что это *роман о любви, о добре и зле, о жизни и о смерти, о Боге и дьяволе.* (И когда дойдешь до этакой вот формулировки, то можно уже остановиться и передохнуть. Можно перечитать книгу, чтобы дальше вникать в нюансы со знанием дела. Самое правильное, если читатель, подзабывший коллизии романа, снова возьмет его в руки и уйдет в его редкостно подлинный мир. Возвращение же потом к этой статье — уже факультатив...)

«Факультет» написан не по правилам и ни на что не похож. Он устроен автором на его, автора, вкус, без пиететных церемоний, как дело его свободы, — и производит впечатление безусловного куска свежей и дикой жизни без начала и конца.

Какова, на самом деле, *формула повествования*? Может быть, она такая: музейщик-археолог Зыбин встретил свою старую подругу Лину, проснулись былые чувства, но арест Зыбина привел в итоге к тому, что их роман не получил продолжения; Зыбина выпустили, а Лина уже уехала. А может быть, нужно

сказать иначе: провинциальные чекисты задумали провести показательный публичный процесс над деятелями культуры и искусства, обвинив их в шпионаже и контрреволюции, и уй сколько амбиций уже заверчено в этот узел, закружились бесы разны, а Зыбин должен стать крючком, на который будут отловлены другие фигуранты; однако затея срывается, в том числе ввиду неожиданно серьезного сопротивления арестанта, а потом дело против него и вовсе распадается по стечению обстоятельств. Или так: Зыбин и чекисты вступают в смертельную для арестованного игру, но ведомству смерти никак не удается переиграть подследственного; а вот приятель его, Корнилов, сплоховал, сдался и пропал. Или еще: в разных ситуациях в романе идет полилог, спор о свободе, об аксиомах нравственности и о политической целесообразности — что важнее?; и каждый из персонажей раскрывается в нем, часто — до дна, а автор смотрит на происходящее иногда глазами Зыбина, а иногда и чуть свысока, с высоты жизненного и исторического опыта, с высоты избранной им веры.

...Все будет правильно, но полного объяснения секрету романа нет.

Сны. В романе есть план символический, план мистический. В нем чуть ли не каждая деталь приобретает многозначительность. Ткань романа ткется из прикровенных *лейттем*. Здесь есть сходство с «Мастером и Маргаритой», но в булгаковской мениппее смысловой объем задан, мне кажется, в основном культурными ассоциациями, а у Домбровского тут и там возникают онтологические зацепки. Реальность, смысл которой задан из вечности, приобретает статус Ада и Рая души.

Человек живет у Домбровского в разных измерениях бытия, между Небом и Адом. В снах эта многослойность существования становится очевидной. Бывают сны-вестники, воспоминания, симптомы, кульминации, паузы и акценты. Особенно интенсивен сновидческий пласт жизни Зыбина. В его снах стирается грань прошлого и настоящего, он путешествует во времени, а иной раз получает и таинственные сигналы.

И сам роман похож на сон о засевшем у тебя в печенках, но не постижимом до конца мире, тронутом небытием, но и уходящем в космические бездны, где тебе и «мудрые марсиане», появляющиеся на последней странице книги, и еще неведомо кто и что. (Это акцент по-своему, более однозначно и инструментально, поставил Владимир Набоков в «Приглашении на казнь»).

Страдание. Сокровенная тема романа — распятие. В горниле страдания дается человеку опыт Христа. В этом суть учения и веры попа-расстриги Куторги и смысл тюремной одиссеи Зыбина.

Просто сказать, «не пострадаешь — не спасешься», как объяснял сектант-федосеевец в тюремном узилище своему истязателю. (Братцы-чекисты обсуждают этот сюжет в романе, ничего в нем, однако, не понимая.) Опыт страдания дает и Богочеловеку, и просто человеку право прощать.

Но страдание — это и испытание. То, которое не придает форму, а выявляет суть. Попадая в разработку в застенке ГБ, человек проходит это экзистенциальное испытание. И Домбровский описал этот процесс так, как мог это сделать только человек, который прошел через эти огонь и воду...

Выстоять, выдержать испытание — последняя задача персонажа, попавшего в разработку, справляются с этим Зыбин, Лина, Каландарашвили. В них и находит писатель основное, настоящее человеческое содержание.

Приобретения и потери. Так легко себя потерять, притвориться несуществующим. Мельком отмечен в книге один персонаж, школьный учитель, который прежде фанатично и истово искал запорожский клад, чтобы помочь золотом индустриализации страны. Чудак, живой чудак. Прошло несколько лет, и его находят «у какой-то ларешницы», играет с детишками в городки, возится с пчелами. На прошлое махнул рукой. «Заговорили о политике. «Не интересуюсь». — «Да как же? Вы ведь историю преподавали?» — «А что мне история? Вот живу, пенсию получаю, а если какая-нибудь власть найдет мое существование излишним — так она сразу меня и уничтожит». Вот и весь его разговор. А ведь был революционер. Каторгу отбывал. Только Февральская освободила».

Эта логика капитуляции не раз проявит себя в романе в более развернутом виде.

Бежит страдания и отказывается от испытания сокамерник Зыбина Буддо. Этот персонаж, чья фамилия забавно ассоциирована с именем основоположника буддизма, учившего избегать страданий, предпочитает сразу разоружиться, «сознаться» во всем, в чем невиновен ни сном, ни духом, лишь бы облегчить свое невесомое существование. Может быть, уже и *несуществование.* Домбровского категорически не устраивает *покой без воли.* То, чем утешился булгаковский Мастер, видится ему лишь новым искушением.

В конце романа есть чудесная сцена отпевания утопленницы, затеянная, может быть, еще и для того, чтобы сказать о том, что всему суждено пропасть тут, на грешной земле, но ничего не пропадает у Бога.

Бред. «Планета наша окаянная, что ли, не туда заходит, или солнце начинает светить не так, не теми лучами — но вот сходят люди с ума, и все тут!» Астрономия, впрочем, тут не при чем. Да и география тоже. Нет, не знойное марево имперского юга, не миражи на горизонте. Другие миражи и кошмары.

Сами персонажи не всегда различают сон и бред. Но писатель придает бреду особый смысл.

Вся советская спецуха предстает как дьявольский морок. Бред — как симптом смерти — овладевает в романе едва ли не каждым. Бред болезни, где недуг телесный не отделить от недугов духа.

Не только то, что происходит в голове у сотрудников, но и то, чем живут эти люди. Контора пытается притвориться обычным учреждением, но является она *фабрикой смерти.* У них бывают культпоходы, они собираются, чтобы вместе посмотреть кинофильм, и мирно беседуют (нарком с рядовым надзирателем). Только никогда не вспоминают, не упоминают в разговорах тех, кто вчера еще был товарищем по работе, а сегодня — пропал. «И было в этом что-то совершенно мистическое, никогда не постижимое до конца, но неотвратимое, как рок, как внезапная смерть в фойе за стаканом пива (...) Человек сразу изглаживался из памяти. Даже случайно вспомнить о нем считалось дурным тоном или бестактностью». Как потом скажет Зыбин, пять лет — вот их срок.

Иные так в бреду и живут. Работа в органах имеет эффект раковой опухоли. Она поедает человека, забирает у него все, чем он владеет. Приятная внешность, искренний взгляд, убедительная дикция, — годится, чтобы покупать подследственного *на обаяние*. Начитанность, *культурка* — тем более: какой *интеллигентный говнюк* на это не клюнет? Ты им о Христе — и они тебе о Христе, а то, что это само по себе есть чудовищная патология — в доме палачей говорить о Христе — это ж не каждый вместит в сознание.

Знатный чекист из Москвы Штерн призывает начинающего следователя Тамару, недоучившуюся студентку ГИТИСа, перевоплощаться на рабочем месте в согласии с заветами Станиславского, рассуждает о том, что настоящему сотруднику органов пригодятся и Шекспир, и Чехов. «Все они оказались со мной, в моем кабинете», — хвалится он, а автор тут имеет в виду и зловеще-иронический подтекст, который становится очевидным, когда монолог Штерна перетекает в историю его бесславного провала. Довел до суда дело об убийстве мужем своей жены и даже написал об этом в «Известия», муж, натурально, во всем признался, особливо в том, что совершил убийство по политическим мотивам, — а после оглашения приговора *террористу* в зал суда вошла его *убитая* жена, приехавшая с Дальнего Востока, где она решила, было, начать новую жизнь...

Метастазы прорастают во все существо, меняя качество, суть, подчиняя себе задатки, таланты, темперамент, — любые человеческие проявления. «Они ведь даже не существование, а так, нежить», как аттестует всю эту ясноглазую гэбню Зыбин. Стал сексотом — пиши пропало. Сотрудник органов у Домбровского — безнадежно больной человек. Не человек уже, ходячий мертвяк, «слизь».

У бреда есть разновидности. Бред политической целесообразности. Бред канцелярский, бред допросный и палаческий (в формах особого рода психоза, особого рода рассудочной истерики, особого рода задушевности и даже нежности к подследственному). Наконец, откровенный вампирский бред тутошних врачей, прелестной супружеской четы, озабоченной рациональным использованием ценного сырья — крови убитых в гэбистском подвале. Он смущает даже ко всему, кажется, привыкших злодеев. Возможно, потому, что слишком уж обнажает секретный смысл ведомственной деятельности.

Следователя Хрипушина, развинтившего себе нервы, по заказу била истерика, «он совершенно автоматически, как актер, входил в нужное состояние». Тоже и Найман уважает себя за находящее на него бешенство («минуты гнева, остервенения, ярости»), считая, что именно эти минуты его жизни — «настоящие». Но что такое *настоящее* для того, кто запряжен коренником в колеснице смерти? Что он знает о *настоящем*? Он, который состоит из «профессиональных приспособлений» и который останется совершенно пустым, когда его снимут с работы («...И понял, что вот сейчас, сию секунду он сделает что-то невероятно важное, такое, что начисто перечеркнет всю его прошлую жизнь. Вот, вот сейчас, сию минуту! Но он ничего не сделал, потому что и не мог ничего сделать, просто не было у него ничего такого затаенного, что б он мог вытащить наружу»). Выхолощенный спецслужбой Найман теряет единственное, что он имеет, должность; в сухой степи он бросает зажженную спичку в белый куст, «куст сразу же занялся весь прозрачным водородным пламенем, пока огонь не упал и судорожно не задохнулся на твердой, как глиняный горшок, почве».

Смертельно опасная разновидность — арестантский бред сотрудничества (вполне преодоленный Зыбиным и завладевший Корниловым). Теряет себя Корнилов, поддающийся шаг за шагом на уловки сотрудников управления, капитулирующий — и еще до того, как он это понял, начинает отвывать его собака. И в этом случае нормальное, человеческое эксплуатируется и присваивается конторой смерти. Корнилов хотел спасти своего знакомого, Куторгу, а пропал сам. Отчего? Именно оттого, что решил сотрудничать, даже только делать вид, что сотрудничает. Из этой истории (а это одна из пяти частей книги) выходишь с сокрушенным сердцем. Легко говорить: Корнилов мало верует в Бога и в человека, оттого и сдается. Это правда. Но не вся. Те, кто пишут о романе, очень как-то легко подвергают Корнилова полупрезрительному осуждению. У писателя тональность другая: острое понимание и смертельная жалость. Слабый человек, но нас там не стояло. Нам достались сравнительно вегетарианские времена. И как, действительно, объяснить тот страх, о котором говорит Корнилов: «Откуда берется страх? Не шкурный, а другой. Ведь он ни от чего не зависит. Ни от разума, ни от характера — ни от чего! Ну когда человек дорожит чем-нибудь и его пугают, что вот сейчас придут и заберут, то понятно, чего он пугается. А если он уже ничем не дорожит, тогда что? Тогда почему он боится? Чего?». Просто страх. Бесовское наваждение. Может быть, оно и завладевает душой именно оттого, что человек *уже ничем не дорожит*.

Классично определяет средство от заражения этим бредом старый зек Каландарашвили: «...Твердо помните три тюремных правила — ничего не бойся, ничему не верь, ничего не проси!» Легко запомнить на крайний случай. На *беседе* Корнилов цитирует обращенные к нему слова Зыбина: «Вы, Володя, знаете в какое время мы живем? Надо быть бдительным». И эта фраза из идеологического арсенала эпохи приобретает вдруг иной смысл. Быть начеку — это тяжелая обязанность человека, который блюдет себя.

Только иногда, только на какой-то миг бредящие получают смутное представление о том, что есть настоящая жизнь. Как это случилось с юной следовательшей, начинающей вампиреccой Тамарой, когда лишь взглянул на нее тот же старик Каландарашвили, весь состоящий из вещества подлинности. «Все словно вздрогнуло и расплылось. Словно кто-то играл ею — играл и смотрел с высоты, как это получается (...) Все казалось тонким, неверным, все дрожало и пульсировало, как какая-то радужная пленка, тюлевая занавеска или последний тревожный сон перед пробуждением. И казалось еще: стоит только напрячься — эта тонюсенькая пленочка прорвется, и наступит настоящее. Потом она только поняла, что это шалило сердце». Поняла, да глупо и плоско, физиологично поняла. Дернулось живое сердце, и нет его.

Неслучайно главным героем Домбровского стал *хранитель древностей*. Герой писателя и сам он сохраняют верность базисным основам христианско-гуманистической культуры. Как пишет одна девочка, чье сочинение вывешено в Сети, «когда самые необходимые человеческие ценности: добро, совесть, жалость, культура, любовь, традиции, свобода, право — стали «ненужными вещами», ...лишь немногие пытаются сохранить их в душе, становясь «хранителями древностей»

Домбровский, пожалуй что, *консерватор*. Но это не модный сегодня державный, михалковско-лейбмановский, консерватизм. Главная консервативная ценность Домбровского та, которой нынешние охранители-этатисты, новейшие гонители либерализма, страшатся, как черти ладана. *Свобода*. Все теперешние державнические припадки проистекают как раз от глубокого внутреннего неверия отдельно взятых персонажей в свободного человека. А Домбровский в отличие от многих своих персонажей и от многих персонажей современного российского идеологического рынка свободному человеку верит. И верит в свободу человека. Это его точка опоры. Его Родос. Свобода, по Домбровскому, лежит в основании жертвенной смерти Христа, вольно и сознательно выбранной Им. А значит, и *в основании мироздания вообще*.

Свобода не есть абстрактная ценность, выращенная в пробирке теоретической мысли. Это что-то такое, что вменено всему живому и является не просто даже естественным, но и онтологически правильным. Как говорил садовник на сталинской даче, «боровики, подберезовики, подосиновики и даже маслята — это грибы вольные, чистые, лесные, они где вздумается, там и растут». И тополя в окне допросной комнаты — «веселые, свободные, живые» — «все они шумели, переливались, жили ежеминутно, ежесекундно каждым листиком, каждым отросточком, каждой жилкой!» Что же говорить о человеке?!

Человек и представляет для писателя интерес, поскольку, в той мере, коль скоро и покуда он свободен. К примеру, Лина — один из самых обаятельных женских образов во всей русской литературе — именно тем и хороша необычайно, что свободна, как ветер, непредсказуема, и живет так, что нельзя хоть чуть-чуть не стать свободным рядом с нею.

Замечательное рассуждение на сей счет есть в письме Домбровского Якову Лурье по итогу написания романа: «Продолжать дальше бессмысленно, ибо «сход в ад» вряд ли сейчас актуален и интересен (...) Важно и принципиально — сила сопротивления человека государственной лжи — а это мною показано, важна потеря государственной совести, ибо время от времени она повторяется, господствует в истории. А победа над этой темной, аморфной, неразумной и, в конце концов, трусливой силой возможна даже для отдельного человека. Вот тут уже готовность к смерти оправданна, разумна и, в конце концов, рациональна. На саблях солдат Французской революции было выгравировано из «Персалии» — «единственное спасение погибающих — не надеяться ни на какое спасение». В этом суть романа, и что я к нему мог бы прибавить?»

Роман посвящен обоснованию ресурсов стоического сопротивления человека своему веку и власти, сопротивления самой смерти. От имени выбитого террором поколения и от себя, случайно выжившего свидетеля и очевидца, Каландарашвили вопрошает в тюремной камере: «Вы что думаете, что человек недостаточно силен? Что он не может не затаптывать себя в грязь? Не делаться предметом издевательства? Эдакой жестянкой на собачьем хвосте. Чепуха, дорогой! Может, сто раз может!» Это тот ценнейший опыт *внесистемного*, беспартийного, неинституционального *сопротивления духа*, который завещан нам героями и борцами минувшего века.

Как была спасена христианско-гуманистическая культура Запада? Хитроумной политикой Черчилля? Рузвельтовским идеализмом? Или, может, быть,

отчаянным сопротивлением одиночек? Таких, как Юрий Домбровский или Дитрих Бонхеффер (очень интересно, кстати, сопоставлять их опыт и выводы). Может быть, и тем, и другим.

Своей отчаянной свободой человек Домбровского противостоит всем логическим химерам, не совпадая ни с одной из них до конца. Самые благие абстрактные идеи, по Домбровскому, могут оборачиваться несчастьями конкретных людей. И идеализм, и прагматизм в логическом пределе — жестоковыйны и бесчеловечны. Все эти большие величины, Страна, Народ, Будущее, Политическая Целесообразность, — им противопоставляет Домбровский *конкретную человечность*.

Это, в общем-то, совсем не значит, что писатель против страны или народа. Он просто не пишет их с прописной буквы, не абсолютизирует как орудие Провидения. Зыбин у него говорит на допросе: «Родина, отчизна! Что вы мне толкуете о них? Не было у вас ни родины, ни отчизны, и быть не может. Помните, Пушкин написал о Мазепе, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу и нет отчизны для него. Вот! Кто свободу презирает, тому и отчизны не надо. Потому что отчизна без свободы та же тюрьма или следственный корпус».

Как знаменательно, что в том же, 37-м, году, когда происходит действие романа, Георгий Федотов пишет свою статью о Пушкине «Певец Империи и свободы», идеями и выводами перекликаясь с героем Домбровского. И когда у Домбровского возникает образ художника Калмыкова, то в нем проступает пушкинский архетип *Царя, живущего наедине с мирозданием*.

Свобода у Домбровского, в общем, неэгоистична. Высшей степенью свободы является у него, может быть, *любовь*. Апогей такой свободы — отношения Зыбина и Лины. На какой-то миг эту истину понимает даже прожженный циник Штерн, на тот миг, когда впервые видит Лину, и вдруг ее органическая свобода вызывает у него шок, у него все рушится внутри. Опомнившись, он начинает понимать, что их союз не мог бы состояться именно потому, что карающий меч партии и птица в полете несовместимы. Соловей в клетке не живет. Но, может быть, характерно, что в романе вообще нет образа семейной гармонии. Где счастливые семьи? Нет их. Все в этом отношении одиноки или несчастны, или одиноки и несчастны.

Писатель видел и знал, конечно, и анархическую диалектику свободы, которая с поводом и без повода поворачивается любой и всякой стороной и может, пожалуй, даже биться против самой себя, на стороне самого махрового державного блатняка. Легкий, почти неощутимый поворот винта — и Дон Кихот может оказаться Мефистофелем. (Есть такая в романе деталь, бронзовая фигурка-гибрид в доме у Андрея Куторги, наличие которой там предвещает, может быть, предательство).

Однако *риск свободы* казался Домбровскому оправданным, да и никуда ведь от него не деться. Тревожная непредсказуемость свободы никогда не приводила писателя к мысли об ее опасности и вредности. Эту популярную и ныне мысль он оставляет старым и новым тиранам. Тому же Сталину, выведенному в романе незлым деспотом, который просто одержим манией Порядка. Этакий провинциально-мелкотравчатый Инквизитор.

Трудно, впрочем, понять, что первично у этих нелюдей. Домбровский не очень охотно объясняет причины, то, почему и как человек становится тираном и палачем. Может быть, виной тому детские ущемления и обиды будущего злодея. Может, творческая неудача. А может быть, все это — только самооправдание палача всему тому, за что оправдаться нельзя. В конце концов и здесь человек выбирает, реализует свою свободу. Вот это важно Домбровскому, а не цепи какой-то там сомнительной тотальной детерминации. И в свободе этой он, пожалуй, вовсе не отказывает чекистам до самого их конца.

Едва ли писатель согласен с Куторгой, рассуждающим, что мелкие бесы не виноваты, поскольку лишь выполняют приказы бесов крупных (их де, потомков Иуды, «и простить даже невозможно, потому что не за что!»). У Куторги выходит, что виновны лишь два-три человека, а все прочие безвинны. Авансом он выписывает себе хороший, нечего сказать, аргумент для оправдания любых своих уступок и сдач.

В личностно сориентированном мире Домбровского каждый несет свою *вину*, за которую и суд — и, может быть, прощение. Человек по своей воле впадает в идеологическую зачумленность, поддается тому или иному виду бреда. Он тешит себя самообманом, потом предается самозабвению, но что-то собой представляет лишь до тех пор, пока ощущает вину и грех. С пронзительной силой выявлены эти встречные движения души — к безответственному самозабвению и к полному существованию, пусть только своей виной и бедой, — в истории и опыте Корнилова.

Домбровский был, пожалуй, *онтологическим оптимистом*. Он смотрел широко и видел, что империи с их костоломкой, идеологии с их фанатической упертостью, все эти инструменты принуждения и умерщвления — уходят. А человек остается. Как-то он выживает в самых густых потемках истории.

Дьявол всегда проигрывает последнюю партию Богу.

На последнем своем допросе Зыбин предвещает конец чекистской России; мираж рассеется, и рассыплется дом на песке. Прогноз, который не вполне оправдался исторически, но абсолютно безупречен метафизически. Автор романа, однако, ушел из жизни в 1978 году не без участия, как считает А.Кобринский, означенного ведомства государственного страха (см.: http://www.geocities.com/katz_us_il/akver).

Это была уже, как выразился Искандер по поводу появления романа Домбровского, «эпоха фарса». Но и фарс бывает зловещим.

Потом прошли еще годы, сменились времена. Узнали мы и разгул общественных вольностей, видели и бездарный оскал реваншизма, и попытки скрестить ужа с ежом, вывести двуглавого зверояшера, встающего струной при звуках александровской музыки. Так и эдак проверяли мечту, с которой вошли когда-то в более-менее взрослую жизнь, — о всечеловеческом братстве, о справедливом обществе, о самой лучшей в мире стране. Когда не удалось найти ее рядом, искали и угадывали за океаном. После многое было снято с повестки дня, ушло в сферу личного мифа. А точкой отсчета окончательно стал человек. Не сугубо эмпирический и не абстрактно-идеальный, человек, распятый между Небом и Адом, свободный вопреки оковам обстоятельств и виновный благодаря своей опасной свободе.

В конце 80-х читателя перекормили отличной литературой. Домбровского тогда издавали миллионными тиражами. (Помните «Хранителя древностей», выпущенного в новомирских корочках взамен четырех пропущенных журнальных номеров 1990 года двумя миллионами экземпляров — с нелепейшими опечатками?) Недавно мой товарищ признался мне, что в перестроечном чаду он когда-то отложил чтение Домбровского до более спокойных времен — да так потом и не вернулся к его прозе. Боюсь, что это ситуация распространенная. Читатель до сих пор не может отдышаться и переварить, усвоить полученное тогда *на халяву* — и, подозреваю, попросту потерял вкус к современной словесности. Досадно, что сегодня читают Домбровского мало. Мало и пишут о нем. Я побродил по Интернету и почти ничего оттуда не выудил.

Своим названием книга Домбровского может навести на мысль, что она — своего рода учебник. Это правда в той мере, в какой учит нас всякая незаурядная проза. И нет в этом ничего дурного. Самому юному поколению нужно уже, кажется, заново рассказывать не только о бесчеловечном минувшем веке, но и вообще о парадоксах свободы. Так что отправляйте детей на факультет Домбровского. (У меня есть даже идеалистическое верование: прочитаешь что-нибудь у Вадима, к примеру, Кожевникова — и станешь чекистом; прочитаешь Домбровского — станешь кем угодно, но уж чекистом не станешь нипочем.)

Только что перечитав «Факультет», я бы сказал с полной мерой ответственности: это — последний по времени создания (1975 год) *великий русский роман*. Четверть века без Юрия Домбровского, а главный его роман не просто, как принято говорить, сохраняет непреходящую значимость. Он как-то даже вырос в своей художественной цене. Конечно, и прежде было мало сомнений, что это очень значительная вещь. Но по итогу XX века можно смело сказать, что «Факультет ненужных вещей» относится к числу лучших русских романов столетия, с золотой полки, где их не так уж и много.

Новый век проверяет на излом и человека, родившегося в минувшем столетии, и тогдашнее искусство. «Мы были немыми свидетелями злых дел, мы прошли огонь и воду, изучили эзопов язык и освоили искусство притворяться, наш собственный опыт сделал нас недоверчивыми к людям, и мы много раз лишали их правды и свободного слова, мы сломлены невыносимыми конфликтами, а может быть, просто стали циниками — нужны ли мы еще? Не гении, не циники, не человеконенавистники, не рафинированные комбинаторы понадобятся нам, а простые, безыскусные, прямые люди». Так писал в своей тюремной камере Бонхеффер. И его вопрос, и его заявка на безыскусную и бесстрашную прямизну имеют, как мне кажется, отношение к текущему моменту и к месту в нем романа Домбровского. Зрелого, мужественного, открытого опыта свободы сегодня, может быть, еще меньше, чем в середине прошлого века. И по прежнему не хватает понимания того, чего когда-то не уяснил себе товарищ Сталин: человек — «не только самое дорогое, но и самое надежное в мире».

От редакции

После публикации статьи Наума Коржавина об Иосифе Бродском («Континент» № 113) естественно было ожидать, что на нее обязательно последуют отклики: поэзия нобелевского лауреата слишком дорога многим, чтобы можно было предполагать, что остро критическое ее восприятие Наумом Коржавиным не вызовет у кого-то из горячих поклонников Бродского желание взяться за перо и ответить автору. И действительно — ряд таких откликов не замедлил появиться в почте редакции. К сожалению, по большей части это были всего лишь гневные «отповеди» и автору статьи, и редакции за то, что они «осмелились поднять руку» на великогго поэта. Один из оппонентов Коржавина даже поздравил редакцию с тем, что она тоже вот не постыдилась присоединиться к давней традиции «травли» Бродского. Другой — почти всецело посвятил свой огромный опус тому, что называется «чтением в сердцах», предавшись дотошно-кропотливому выявлению и изобличению разного рода неблаговидных тайных мотивов, побудивших Коржавина написать эту статью. Третий — тоже не обойдя вниманием все эти очевидные ему неблаговидности Коржавина, вплоть до снедающей его, конечно же, зависти к Бродскому, особо обиделся на критику Коржавиным «поклонников» Бродского и «западных русистов», всецело их защите и посвятив свой тоже отнюдь не короткий текст. И ни у одного — почти ни слова по существу той точки зрения на поэзию Бродского, которую не просто высказывает, а плохо ли, хорошо ли, но еще как-то и аргументирует в своей статье Коржавин. И аргументирует не только конкретным анализом некоторых текстов Бродского, но и формулированием ряда принципиальных, на его взгляд, критериев понимания и оценки поэзии...

Естественно, что ни эти, ни подобные им полемические сочинения мы печатать никогда не будем. И вовсе не потому что во имя «чести мундира» намерены всеми способами защищать позиции автора напечатанной нами статьи. А как раз потому, что существо-то этой позиции, требующее даже при самом резком ее неприятии прежде всего аргументированного ее разбора и опровержения, меньше всего занимает авторов подобных откликов. Возможность же пичкать читателей под видом литературной полемики литературными сварами, тусовочными разборками и малоаппетитной кулинарией психологического сыска пусть производители этой продукции ищут на страницах других изданий. Недостатка в таковых — при нашей-то нынешней свободе — отнюдь, как известно, не наблюдается.

Речь, повторим, идет, таким образом, вовсе не о резкости — отсутствием ее отнюдь не страдает ведь и статья самого Наума Коржавина, человека темпераментного, увлекающегося, прямого, не стесняющегося в выражениях. Однако эта резкость всецело направлена на Бродского как на поэтическое явление, как на феномен современной художественной культуры, привычные понимание и оценка которого представляются Коржавину неверными, но отнюдь не на его человеческое достоинство, ничем не унижаемое, — как и не на личности поклонников его поэзии, которые интересуют Коржавина тоже исключительно в качестве некоего общественного явления. Будь коржавинская резкость иного содержательного наполнения и адресности, мы бы и его статью тоже никогда не напечатали — при всем нашем уважении и любви к нему и как к поэту, и как к постоянному члену редколлегии журнала с момента его основания в 1974 г.

Но и, напротив, — никакое уважение и любовь к Бродскому, который, кстати, тоже долгие годы был членом редколлегии нашего журнала, не могут и не должны быть препятствием к обсуждению, сколь бы ни было оно спорным, его творчества и его поэтики по существу — если только это действительно разговор по существу. В этих границах никаких запретных тем и запретных имен для нас действительно не существует и не может существовать, поскольку дискуссии такого рода имеют слишком важное общее значения для развития художественной культуры, для уяснения ее сущности и ее критериев. И Белинский, и Писарев, и Толстой не просто имели право сказать о том, как они относятся к Бенедиктову, Пушкину или Шекспиру, — их критические разборы оказались достаточно значимы для развития русской критической и эстетической мысли, хотя по крайней мере два из них мы справедливо считаем сегодня глубоко ошибочными.

Все сказанное, надеемся, вполне объясняет, почему категорически отвергая те попытки полемики со статьей Коржавина, о которых речь шла выше, мы охотно предоставляем страницы нашего журнала Григорию Шурмаку — для тех возражений Коржавину, которые он выдвигает и которые все, вот именно, высказаны совершенно по делу. Как бы к ним ни относиться, принимать их или не принимать. Мало того — мы готовы и в дальнейшем вернуться к этой теме и напечатать пусть даже и еще более острую полемику с Наумом Коржавиным, лишь бы только это была полемика по существу. Равно как, естественно, и любую серьезную полемику с его оппонентами, если кто-либо на таковую решится.

Григорий ШУРМАК

ИОСИФ БРОДСКИЙ — НАУМ КОРЖАВИН: ПРИТЯЖЕНИЕ И ОТТАЛКИВАНИЕ...

1

В августе 1973 писательница Ариадна Громова давала обед в честь друзей, имеющих общие киевские корни. Были Л. Шерешевский с женой, Н. Коржавин, уже нацеленный на отъезд в эмиграцию, Т. Глушкова и мы с сыном. Разговор зашел об Иосифе Бродском. Коржавин отозвался об этом поэте с неодобрением.

Григорий ШУРМАК — родился в 1925 г. в Киеве. Закончил Киевский педагогический институт им. М.Горького. Участник второй мировой войны. Автор слов и музыки песни «По тундре, по железной дороге» (1942). Как поэт, прозаик и публицист печатался в журналах «Новый мир», «Юность», «Октябрь», газетах «Экспресс-хроника» и «Новая мысль». Автор повести «Нас время учило» (1989), книги стихов «Поздний сборник» (1987). Живет в Подмосковье.

— Ахматова хвалила Бродского, — напомнил я.

— А что ей оставалось делать?! — парировал Эма (так с детства мы звали Коржавина). — Человека отдали под суд, и нужно было выступить в его защиту. Но к Бродскому как поэту никакого отношения это не имеет.

Они и в самом деле принципиально разные поэты. В чем-то даже противоположные. Вот стихотворение Коржавина, написанное еще в 1952 году.

Мне без тебя так трудно жить,
А ты — ты дразнишь и тревожишь.
Ты мне не можешь заменить
Весь мир...
А кажется, что можешь.

Есть в мире у меня свое:
Дела, успехи и напасти.
Мне лишь тебя недостает
Для полного людского счастья.

Мне без тебя так трудно жить:
Всё — неуютно, всё — тревожит...
Ты мир не можешь заменить.
Но ведь и он тебя — не может.

Когда в 1987 году Иосифа Бродского увенчали Нобелевской премией, Эма не скрывал возмущения. Между тем в Советском Союзе наступили эпохальные перемены. Коржавин стал надолго приезжать в Россию — триумфальные вечера в переполненных залах, издание поэтических сборников и мемуаров... Многие называли тогда этих поэтов соперниками. В рецензии на книгу Коржавина «Время дано» я писал: *«Коржавина нередко противопоставляют И. Бродскому (вообще петербургской поэтической школе), подчеркивая преимущество нобелевского лауреата. Что можно сказать по этому поводу? Оба поэта только сейчас обретают более или мене широкую читательскую аудиторию. Лично мне дорого и необходимо творчество обоих, таких разных»* (еженедельник «Экспресс-Хроника», 1993).

С тех пор минуло десятилетие. Страна смогла узнать и Бродского и Коржавина. Узнать и полюбить. Пожалуй, более сочувственное отношение вызвал к себе все-таки первый, хотя нет-нет да раздавались голоса знатоков поэзии, утверждавших, что «новый Бродский» для них еще неприемлем. Заокеанские же поклонники (те, кого Коржавин назовет «группой поддержки» Бродского) не упускали случая напомнить похвальные отзывы Ахматовой о «нашем рыжем». В частности, мнение «После Иосифа писать, как прежде, уже невозможно»... Гораздо меньше известно, что Анна Андреевна высоко оценивала стихи Наума Коржавина. В общественном сознании закрепилось: Бродский — выдающийся реформатор. «Он так мощно изменил сам пейзаж русской поэзии, что после него просто нельзя писать, как прежде», — явно с ахматовского голоса писала Ирина Ковалева*. Что до Коржавина, то он, напротив, демонстративно заявлял о себе как о приверженце арьергардного (т.е. традиционного) направления в поэзии.

* «Октябрь», 2002, № 10.

На излете XX столетия Александр Солженицын посвятил сначала Коржавину, а затем Бродскому два эссе из цикла «Литературная коллекция». Судьбы этих поэтов во много перекликались. Оба судимы за стихи: один при Сталине, второй — при Хрущеве. Оба отбыли ссылку. И, наконец, оба оказались в эмиграции — Бродского выдворили власти, да и Коржавин уехал не совсем по своей воле: уж очень тошно стало творить в тисках тоталитарного режима — тем более человеку, чьи стихи издавна ходили в списках.

Солженицын-читатель нашел у обоих поэтов серьезные недостатки. Он обратил внимание на рассудительность лирики Бродского, не доставляющей «сердечной и мыслительной радости». Однако стержневой мыслью стало: «У Бродского есть во всех возрастных периодах стихи превосходные, без изъяна».

О Коржавине Солженицын заметил, что его «стих не отличается собранностью и отлитой формой и неэкономичен в строфах. Редкие стихи цельноудачны, чаще — лишь отдельные двустишия или строфы». Я возразил тогда Александру Исаевичу: «Как ни парадоксально, обаяние коржавинского стиха и впрямь возникает из неровностей: они, если угодно, — подсознательный прием, форма существования изощренности, способ, дающий возможность автору выразить себя с наибольшей убедительностью. Благодаря имманентным "неровностям" коржавинских стихов читатель острее чувствует подкупающую горячность распахнутой души поэта... Так или иначе стихи Коржавина принадлежат золотому фонду русской поэзии»*.

В статье о Бродском (увы, так и не опубликованной) я писал: «Солженицын — православный. Но и Бродский — дитя христианской культуры. Как для Солженицына, так и для Бродского мир иерархичен: нельзя Небо («святые небеса» у Бродского) путать с временным. Подобно Солженицыну, Бродский ратует за сердечное отношение к жизни — объекту творчества»...

В эмиграции Коржавин повел яростную борьбу по развенчиванию самозванных гениев, нахлынувших из СССР. Со свойственной ему экспансивностью поэт бурно негодовал и разоблачал. Отголоски этих скандалов доносились и к нам в Москву: С. Довлатов по «Голосу Америки» урезонивал: «Нюма, ша!». А что делал в это время Бродский, живший в одной стране с Коржавиным? — Молчал: стоит ли тратить нервы на графоманов?! И действительно, большинство «гениев» вскоре испарилось. По-настоящему на виду остались только двое — Иосиф Бродский и Наум Коржавин.

В наступившем XXI веке Коржавин стал публично критиковать Бродского, неоднократно заявляя, впрочем, что никаких личных претензий к нобелевскому лауреату не имеет: «Я противник Бродского как явления. Он исполнял роль гения, а это никогда добром не кончается». Поясняя свою мысль, Коржавин давал следующую характеристику поэзии минувшего столетия: «Тогда родилось одно из самых бредовых веяний — вносить вклад в искусство...»**. В сентябре 2002 года в «Континенте» (№ 113) Коржавин опубликовал статью «Генезис "стиля опережающей гениальности", или Миф о великом Бродском», в которой вернулся и к содержанию творчества Бродского, и к слабым сторонам его стихотворений.

---

* «Русская мысль», №№ 4307, 4308.

** Интервью газете «Известия», 23 февраля 2003 г.

2

Главным критерием в оценке любого поэта Коржавин считает вкус как «социально-духовную категорию», содержащую в себе «тотальное чувство соответствия» бытию, демонстрирующую общекультурный уровень подготовленности читателя к восприятию произведения. Оказалось, что, читая стихи Бродского, Коржавин то и дело вынужден заниматься «досочувствием», «довоспарением» и даже «преодолевать скуку». В стихах оппонента обнаруживается «тотальная необязательность в выборе» (чего — слов, ходов? — очевидно, всего). Тут и «погруженность» в собственную личность — задолго до ее обретения... и вообще тотальная необязательность — течения стиха и отношения к жизни. Об ответственности за жизнь — я уже не говорю». Такое мнение о Бродском у автора статьи сложилось еще в 60-е годы, но Коржавин и теперь считает, что «первые стихи оценил правильно: стих не двигался — надо было самому его двигать».

Должен заметить, что в конце 50-х — начале 60-х, когда молодой Бродский осознал себя как поэт, за его плечами уже были и уход из школы (вполне ответственное решение!), и работа на заводе, и участие в геологических экспедициях, и с десяток еще опробованных профессий, и серьезные занятия по самообразованию. Все это вместе, полагаю, дает однозначный ответ на вопрос, был ли Бродский личностью к моменту написания первых стихов и был ли «ответственным за жизнь»... Впрочем, Коржавин, отличавшийся целеустремленностью уже и в двадцать лет, отчасти прав, говоря о подростковости характера Бродского: таких, чистых душой, но не определившихся до конца и в более позднем возрасте, сколько угодно.

К сожалению, Коржавин крайне скуп на доказательства. Именно поэтому на имеющихся доказательствах его правоты нужно остановиться подробнее.

Обращаясь к разбору стихотворения «Стансы», Коржавин вполне доволен его началом: «Ни страны, ни погоста//не хочу выбирать. //На Васильевский остров//я приду умирать»... «Широкий размах, дыхание, — пишет он, — все располагает к доверию, к ожиданию». Но ожидание, однако, не оправдывается, ибо уже в следующей строфе первые две строчки «Твой фасад темно-синий// я впотьмах не найду» не имеют отношения ни «к размаху и тональности начала стихотворения», ни к «описанию умирания» во второй строфе. Поэтому стихотворение, когда сорок лет назад автор статьи его читал, «глохло, уходило... — так сказать, в себя». И Коржавин иронизирует: «Видно, дальше мне следовало... «входить в мир» Бродского, «дорастать до автора», «заниматься переживаниями.., связь которых со мной не была... раскрыта». «Сужу ответственно», — подытоживает Коржавин, не замечая при этом, что две первые строчки второй строфы «Твой фасад темно-синий//я впотьмах не найду» как раз стремительно развивают замысел Бродского: юноша-поэт мечтает умереть возле дома своей любимой — и Бродский дает не «*описание* умирания», но показывает *картину*, передавая таким образом эффект мгновенности умирания лирического героя. И вновь прямое развитие стихотворения: прижимаясь к «равнодушной отчизне» щекой, поэт увидит «две жизни». Недаром в последней строфе возникает пастернаковская метафора («сестра моя жизнь») — «Словно девочки-сестры// из непро-

житых лет, // выбегая на остров, //машут мальчику вслед»... Это волнующие стихи о предчувствии преждевременной смерти в момент расцвета любви.

Для «связи» с читателем мало?

3

Поскольку Коржавин вообще отрицает ценность первого периода творчества Бродского, я коснусь лишь произведений, написанных после 1960 года.

В поэме «Гость» (1961) прекрасный город на Неве пребывает в каком-то подвешенном состоянии, а жизнь кажется нереальной. Герой и его друзья живут в постоянной душевной тревоге, «по улицам проносятся... неотложные горестные кареты» и повсюду слышны «шепоты, как шелесты грехов». И все же во всем, что есть конкретного в созданной поэтом картине вечернего Ленинграда, передана атмосфера надежд. Сюжет «Гостя» довольно условен, но даже там, где у молодого Бродского сюжет гораздо определеннее, больше всего впечатляет та же атмосфера — музыка, возникающая в душе читателя в ходе показываемых «кинокадров». Таковы «Холмы», где поэт рисует смерть как «всё, что не с нами» совершилось, где подлинный ужас заключен не в том, что

Это не мы их не видим —
нас не видят они.

И это неожиданное открытие глубоко поражает читателя.

Коржавин походя оспаривает и художественную ценность стихотворения «От окраины к центру» (1962), «растянувшегося до бесконечности» (в стихотворении 147 строк; для сравнения в «Холмах» — 194). Он находит, что в стихотворении Бродского «поэтический замысел был, но не до конца осознан и выражен».

Остановимся здесь подробнее.
Вот я вновь посетил
эту местность любви, полуостров заводов,
парадиз мастерских и аркадию фабрик...

Какая точность смысла в подспудной перекличке дворцового Питера с индустриальным пейзажем Охты! Некогда, в пору когда уже был разрешен американский джаз — «золотой диксиленд», заглушая который «ревет позади дорогая труба комбината», герой совершил сюда побег. И теперь ему мерещится тень подружки, у которой «словно платье... вдруг подброшено вверх саксофоном». В памяти возникают все новые подробности: клубящееся «сиянье небес у подъемного крана», недопитый стакан лимонада...

Есть в стихах о прощании с юностью строфы, варьирующие друг друга, но сами по себе прекрасные настолько, что жалко с ними расстаться. Подобное бывает и у Коржавина (Солженицын называет это «неэкономичностью в строфах»). Но и с «лишними» строфами Коржавина мне, читателю, тоже не хочется расставаться — настолько они сами по себе хороши. Наконец, не могу не обратить внимание на заминки в ритме стихотворения (словно — от волнения — паузы в работе сердца). Они более чем уместны, ибо помогают передать красоту щемящей мелодии...

Коржавин же «не замечал» и музыкальности в поэзии Бродского — «...если она и есть, то это странная музыка, не связанная с замыслом, работающая *сама*

на себя». Но ведь так не бывает в стихах! Другое дело, что поэзия Бродского в лучших его произведениях перекликается не с творчеством Моцарта, как полагают многие критики и с чем не согласен Коржавин, а с творчеством Скрябина, чья музыка сродни мироощущению XX века, к просветленности пробивающемуся через диссонанс.

Значит, нету разлук.
Существует громадная встреча.
Значит, кто-то нас вдруг
в темноте обнимает за плечи,
и, полны темноты,
и, полны темноты и покоя,
мы все вместе стоим над холодной блестящей рекою.

И это стихотворение противится запоминанию?!

4

Есть в статье замечательное место, где Коржавин не просто хвалит Бродского, но восторгается двумя его стихотворениями, созданными в первой половине 70-х в эмиграции. Первое «На смерть Жукова» и второе «Ты забыла деревню, затерянную в болотах»... Ему Коржавин даже посвятил детальный разбор на полутора страницах. А в самом-то стихотворении всего 12 строчек!

Ты забыла деревню, затерянную в болотах
залесённой губернии, где чучел на огородах
отродясь не держат — не те там злаки,
и дорогой тоже всё гати да буераки...

Стихотворение, пишет Коржавин, «обладало всеми особенностями Бродского, с той только разницей, что они были на месте и к месту. ...Всё было задано импульсом, то есть замыслом, и в каждой точке стихотворения соответствовало воплощению импульса». Далее Коржавин пишет: «Странная, казалось бы, вещь — стихи о любви, выстроены вокруг любовной боли, а говорится о деревне...». И дальше: «В этом стихотворении поэзии соответствует всё — прежде всего, содержание личности автора и его чувства»... С этого момента Коржавин, по его словам, «поверил в Бродского», а тот все же «на дорогу ... не вышел, а еще глубже погряз в беспросветной "гениальности"», которой «служил до конца дней» и которая «задушила его незаурядный талант». Следовательно, по Коржавину (и он приводит факты — стихи!), в эмиграции Бродский, оторванный от своего прежнего снобистского окружения, начал было выходить на верную дорогу, но так и не вышел — помешали обстоятельства. Итак, Коржавин убеждает читателя в том, что в первый (доэмигрантский) период творчества Бродский — это непродуктивное «пустое место», в эмиграции на короткое время следует взлет, а затем снова (по результатам) убывание, оскудение поэтической энергии.

Теперь, я думаю, самое время поговорить о ленинградской поэтической школе и молодежных литературных кружках, вписывающихся в так называемую вторую культуру, возникшую в 60-е годы на берегах Невы. Если брать

* Курсив мой. — *Г.Ш.*

шире, то разговор должен бы пойти о молодой интеллигенции, в «ренессансно-оттепельный» период горевшей желанием служить отечеству, но сходу отвергнутой властью. Иосиф Бродский входил в кружок поэтов, нареченных сегодня «ахматовскими сиротами». В своей статье Коржавин, никого из них не называя по имени, тем не менее уделил им как явлению достаточно внимания. Литкружковцы, полагал Коржавин, отличались снобизмом и литературностью — причем провинциального розлива. Ориентируясь на достижения выдохшегося (по выражению Коржавина) Серебряного века, они брали из прошлого самовыражение, ставшее, по мнению Коржавина, сутью и целью творчества, «залогом прикосновенности к поэзии». В этой «системе ценностей» цель — «достижение вечной славы» затмевает задачу духовного постижения мира. Поэзия превращается в дело, которому, как всякому делу, можно научиться. По словам Коржавина, с чем-то подобным он столкнулся еще в довоенном Киеве. Могу засвидетельствовать: вместе с Коржавиным в 1938–1941-м годах я посещал тамошние литстудии, где мы учились не только азам версификации, но и познавали тонкости литературных школ, особенности творчества их лидеров и т.п. Иные юнцы отсеивались, но приходили другие и оставались, консолидируясь вокруг наиболее одаренных. И, как правило, тон задавали те, кто стремился, по выражению Коржавина, к «добыванию гармонии из наличной жизненной ситуации», чему сопутствовали (без этого не бывает!) и мечты о славе. Не обходилось и без «литературности». Что делать, так бывало в кружках всех времен — и в Элладе, и в Александрии. Так в 60-е было и в Ленинграде. И непонятно, почему Коржавин полагает, что «ахматовские сироты» превыше всего ставили идею самовыражения как средства достижения, пардон, бессмертия. Напротив, из воспоминаний кружковцев ясно: их волновала прежде всего, их объединяла тревога за будущее страны — а значит, за свое будущее.

«Некоторую реальность, — продолжает Коржавин, — придавала этой группе близость к Ахматовой», высказывания которой «много сделали для установления культа» Бродского. Убежден, что этих молодых поэтов Анна Андреевна приблизила к себе исключительно благодаря их интересным стихам и родственному ей образу мысли. И если вкус не изменял ей, когда она называла Коржавина замечательным поэтом, то вряд ли он изменил ей, когда она называла волшебными стихи Бродского.

5

Громкий судебный процесс — «не за политику, а за свободное творчество» — вкупе с художественными достоинствами многих стихов Бродского сделали его имя символом ленинградской «второй культуры», принесли ему мировую известность. Но, вопреки мнению Коржавина, «роль гения» Бродский не исполнял. Я думаю, что он обладал достаточной самокритичностью и интеллектом, чтобы всерьез считать себя гением. Другое дело льстецы и поклонники, всегда готовые петь дифирамбы тому, кто достиг успеха. Они-то и возвели поэта в сан классика. Они да еще (добавлю, соглашаясь с Коржавиным) западные русисты, без устали стремившиеся увенчать его лаврами. Но какое нам до всего этого дело? Нам, уже лет сорок как впустившим в свое сердце лучшие стихи Бродского...

Да, порой тяготение лирики Бродского к большим формам, проявившееся уже в 60-е годы, весьма озадачивало. Да, огорчали длинноты, рассуждения на грани резонерства. Да, читатель не привык к движению стиха посредством чередования картин от одной к другой, от другой — к третьей, и от такого, скажем, стихотворения, как «Памяти Т.Б.», возникает впечатление топтания мысли на одном месте и некоторой утомительной пустоты. Да, порой размышления преобладают в ущерб прямой передачи чувства. Да, «Школьная антология» и «Посвящается Ялте» казались прозой в стихах. Но в лучших его произведениях «длинноты» становятся необходимым элементом, они превращаются в безукоризненные строфы и длиннотами быть перестают. Так, глубоко впечатляют написанные в 60-е годы «Исаак и Авраам» (648 строк) или «Горбунов и Горчаков» (1560 строк). Последняя эпическая вещь -- фактически пьеса в стихах: почти сплошные диалоги. И какие диалоги — блистательные, острые! Взята тема, кровоточащая едва ли не по сей день, а в 60-е годы и подавно. Действие происходит в психушке, в «огромном доме», поставленном «внутри миропорядка», где главные герои приговорены к лечению за отклонение от норм социалистического здравомыслия. На мой взгляд, «Горбунов и Горчаков» — это своего рода «Горе от ума» XX века, и удивительно, что до этой поэмы до сих пор не дошли руки театральных режиссеров.

Я думаю, что в творчестве Бродского периода 60-х годов отражены некие сдвиги в мировосприятии всего поколения, вобравшего в себя ужасный опыт Второй мировой войны, фашизма, Холокоста, тоталитарного морока. У многих сверстников развилась такая черта, как неспособность полностью отдаться чувству. Вот почему поэзия Бродского порой так мучительна своей рассудительностью — проклятьем, в котором читатель зачастую узнает собственную болезнь. Вот короткое — всего 16 строк — стихотворение «Я обнял эти плечи и взглянул», где 15 строк посвящены подробному описанию комнаты. Даже держа любимую в объятьях, лирический герой не может целиком отдаться чувству, даже сейчас он наблюдает и размышляет.

Из невозможности слить чувство и разум в едином порыве и родилась поэтика Бродского: он постоянно занят разъятием всего, что происходит — с ним ли, с любимой ли женщиной... Лирика Бродского — это череда картин психологического состояния героя, рождающая в сумме усилие очищения. Точнее, иллюзию очищения души, которая все-таки — хотя бы эстетически — импонирует читателю.

Самым убедительным , на мой взгляд, опровержением мысли Коржавина о том, что Бродский, поддавшись сонму льстецов, стал заниматься в поэзии тем, что «его левая нога захочет», стала сама трагедия его судьбы как человека, поэта и гражданина. В 60-е он мучительно воспринимал отсутствие в стране свободы. Но ее нехватка восполнялась близостью к родной почве — языку, городской или деревенской народной жизни. Бродский вырос в певца природы русского Севера, и гонения не повредили ему.

...Из снежных житниц снег
летит в поля, в холмы, в леса, в овраги...

В возрасте тридцати трех лет он оказался в эмиграции. Вот она, свобода! Отныне никто не станет копаться в рукописях, норовя оформить новое судеб-

ное дело... И что же? Оторванный от родины, разлученный с любимой женщиной, больной, изгнанник почувствовал страшное одиночество. Западная цивилизация показалась ему Римом в канун пришествия варваров. Не случаен отмеченный Солженицыным «приполярный климат» его стихов в этот период. Самуил Лурье в послесловии к однотомнику «Холмы» (оно было предварительно просмотрено самим поэтом) подчеркнул: «Поэзия Бродского в некотором роде — запись мыслей человека, покончившего с собой», причем самоубийство вызвано «не одними только биографическими мотивами», ибо «свобода, о которой мечтал Бродский и которую обрел, оказалась похожей на будни всякого, утратившего *веру в любовь*». В этой, по выражению Лурье, «опустошительной драме» Бродского — ключ к его позднему творчеству. Вообще склонный смотреть на мир с изрядной долей скепсиса, Бродский (как пишет в предисловии к минскому двухтомнику 1992 года Владимир Уфлянд) в эмиграции стал искать утешения «в соседних областях человеческого мышления, в метафизической философии», найденное там включая в свой поэтический обиход. Так «Осенний крик ястреба» (1975 г.) воспроизводит мирочувствие Бродского-эмигранта. Это поэт сложил стихи о себе — «помесь гнева с ужасом», подобную осеннему крику ястреба...

Наум Коржавин — человек, сильный духом, да и, осмелюсь утверждать, с несколько более счастливой судьбой — даже в эмиграцию (в отличие от Бродского) уехал не один, а с обожаемой женой. Судьбы мира тревожили его не меньше Бродского, но свою музу в эмиграции он целиком отдал России. Понимал: судьбы всего мира решаются там, дома, и ни на миг не расстался с отечеством. Настрой его большого дарования, жизнеутверждающий изначально, помог и на чужбине. В эмиграции Коржавиным была создана «Московская поэма», где показана трагедия прозрения собственного поколения — трагедия мальчика, которого Господь

вырвал с кровью, исторгнул
против воли души
из трясины восторгов
и прельстительной лжи.

В «Поэме причастности», также написанной в эмиграции, Коржавин раскрывает трагедию поколения российских мальчиков, посланных завоевывать Афганистан.

Мы — твержу, — мы в ответе.
Все мы люди России.
Это мы — наши дети
Топчут судьбы чужие...

Бродский-эмигрант тоже не отгородился от родины, не замкнулся в своем одиночестве. Яркое тому доказательство — стихотворение «На смерть Жукова» (1974). Не побоюсь сказать: гениальное стихотворение, где в двадцати строчках — не только судьба самого маршала, но и трагедия русской армии, опутанной красными бесами. В этом шедевре полнота правды выражена в безупречной художественной форме. Это стихотворение сразу же сделалось хрестоматийным.

Коржавин в молодом Бродском увидел то, что увидел, — нулевой результат. Здесь он разошелся с Ахматовой, да и с Солженицыным и, на мой взгляд, не сумел доказать свою правоту. Но, в пух и прах раскритиковав поэзию Бродского, Коржавин вдруг спохватился, когда стал говорить о стихотворениях «На смерть Жукова» и «Ты забыла деревню...». Он написал: «то немногое, что я ценю в Бродском, ... не только признаю, а люблю. Это настоящая и сильная поэзия... Может быть, таких стихов больше — охотно признаю». Но тогда о чем вообще разговор? О том, что нобелевский лауреат не гений? Так ведь о гениальности твердят лишь экзальтированные (и не очень сведущие) поклонники? О том, что иные из новаций Бродского неплодотворны? Как знать... Многие искушенные литераторы придерживаются иного мнения, полагая, что муза Бродского пленяет некоей особинкой, вопреки ощутимым промахам, которые, как это часто бывает, — продолжение достоинств поэта.

Что ж, время расставит все по своим местам. Но подмеченная (и не принятая) Коржавиным фрагментарность стихов Бродского — не что иное, как отражение разорванности бытия, особенно ощутимой к концу века. Для Коржавина такое явление, как повсеместная разорванность мирочувствия людей, едва ли воспринято во всей глубине и трагичности, вот в его стихах по сей день и живет императив — выстоять, во что бы то ни стало прорваться из мрака к свету и гармонии. Бродский не таков: он по своей натуре чуть тоньше, сложнее, ранимее. Потому Коржавин и не приемлет его во многом, так как, в отличие от Ахматовой, до конца не понимает. Ни музы Бродского, ни его поэтики.

Мудрый Николай Глазков, вглядываясь в будущее, говорил: в конце концов в искусстве победит лишь «неосознанная новизна». Полагаю, что подобной — неосознанной — новизной обладает превосходный поэт Иосиф Бродский.

Владимир ЦИВУНИН

ИСПОВЕДЬ УБЫВАЮЩЕЙ ЛЮБВИ

Елена Чижова, «Лавра», роман: «Звезда», № 7–9, 2002 г.

Если связь «человек и Бог», пусть даже в совершенно нерелигиозном внешне контексте, задевалась отечественной литературой почти всегда (особенно в поэзии, в силу образности ее языка), то уже тема «человек и религия» временами почти упразднялась. Из писателей начала прошлого века тут сразу вспоминаются разве что имена Ивана Шмелева и Василия Никифорова-Волгина. Из допущенных к этой теме в советский период (разумеем — допущенных до печатного станка) можно назвать лишь Владимира Тендрякова.

В сегодняшней литературе тема «человек и религия» бытует чаще. Наболевшее и накопленное за десятилетия внешнего подавления — не могло наконец не выплеснуться. В прозе этот срез личностного и общественного бытия обыкновенно выражается в малых формах — либо в виде штрихов к общему рисунку романа или повести (примеров тому достаточно много). Реже — берется как основная тема большого произведения. Тут работают скорее писатели, успевшие специализироваться (наподобие того же Тендрякова) именно на этой теме. Например, Алексей Варламов (роман «Затонувший ковчег», повести) или Александр Нежный (роман «Мощи» и продолжающий его «современный апокриф» — «Там, где престол Сатаны»).

Еще реже художественное слово, в отличие от публицистики, рискует напрямую взяться за тему «человек и Церковь». Роман Елены Чижовой «Лавра» — нацелен именно на это. И претендует, ссылаясь на приближенность к нашей церковной истории и ее верховным лицам, увиденным глазами частного человека, — на многое.

Тема, повторяю, рискованная, равно как и — спасибо великому социальному эксперименту — доныне весьма болезненная. Не думаю, что автор «Лавры» мог стопроцентно предвидеть будущую оценку своего труда. А она, увы, может и разниться с вероятным авторским ожиданием...

Владимир ЦИВУНИН — родился в 1959 г. в Сыктывкаре. Поэт, литературный критик. Учился в Сыктывкарском университете и в Литературном институте им. Горького. Автор стихотворных сборников «До снега», «Время листьев» и «Имена всех живущих *(Время листьев)*». Публиковался в газете «Очарованный странник» (Ярославль), в журналах «Новый мир», «Арион», «Север» (Петрозаводск), «Двадцать два» (Тель-Авив), «Крещатик» (Германия), «Колокол» (Лондон) и др. Живет в Сыктывкаре.

Роман этот способен поразить. Но — поразить довольно неприятно.

Во-первых и сразу — чересчур затрудняемым чтением (как процессом). Сшитое непривычными стилистическими нитками, иногда очень тяжеловесно, речевое построение с какой-то специфической, даже сомнительной, пунктуацией (тут отчасти упрек и редакции). *«Знали ли они, что передают своим детям: порушенный ген, который выходит на волю трусливо вздернутой губой? С тоской я думала, Господи, что это я — про детей, если нынешние, с которыми жить мне, уже не дети — внуки».*

Зачем эти дополнительные усилия по восприятию текста, когда читателю и так есть над чем ломать голову? Потому что главная трудность — не в манере изложения, а в самом содержании.

Действие романа происходит в 60 — 70-е годы. Молодая, точнее совсем юная, романтичная, не без идеалов, девушка выходит замуж за своего бывшего преподавателя. Некоторое различие в возрасте и социальном статусе способствует той ее роли, весьма, кстати, редкой, когда жена ухитряется быть словно лишь «тенью» мужа и его друзей-собеседников. Тенью молчаливой и вместе с тем внимательно наблюдающей. Редкое, повторяю, качество.

Материальные, жилищные и прочие меркантильные вопросы решаются для молодой семьи как-то легко, скоро и незаметно. Особенно после того, как муж принимает приглашение на должность преподавателя Духовной академии. Отсутствие же материальных забот, равно как и обремененности детьми, обеспечивает жизнь героини достаточным досугом для того, чтобы все ее внимание сосредоточилось на ценностях духовных — как она их понимает. Тому же способствует и новый круг мужниного общения, и новая, попадающая в дом, литература, и само вхождение в церковную жизнь «по пригласительному билету». Многое открывается молодой женщине с пытливым, чутким и творческим умом: «к ее услугам» — и возможность прямых контактов с церковными иерархами, и «гостевой» статус посещения знаменитого монастыря, и «домашнее» общение с близко знакомыми священнослужителями. В «обязанностях» же — одинокое (или почти одинокое) противостояние бездушной государственной машине.

Такова сюжетная канва. Происходящие же на этой канве истинные события касаются в первую очередь душевного состояния самой героини. И в какой-то момент замечаешь, что уже не эта молодая, красивая, даже уютная, женщина держит себя в скромной роли едва заметной тени при многих интересных и достойных людях, а эти, прежде казавшиеся ей интересными и достойными люди постепенно становятся безликими тенями. До почти полного исчезновения — по крайней мере в глазах героини. Тут, собственно, и все содержание.

Этот роман — исповедь страшно одинокого человека, но — человека, чье одиночество почти не способно вызвать сострадания. Есть в главной героине что-то общее — при всех бесконечных различиях — с героем «Постороннего» Альбера Камю. Тот, при всей видимой *несправедливости* судьбы к нему, так же лишь едва-едва способен вызвать к себе человеческое сочувствие. Протест против его обреченности, против внешней слепой силы — да, но вот любовь к нему, соучастие найти в себе не больно-то легко. Да «посторонний» его и не ждет.

А героиня Чижовой, кажется, на понимание все-таки рассчитывает. Однако я не уверен, что всегда может вызвать его. По ходу повествования неуклонно

отдаляясь от всех прочих персонажей (понятное дело — «плохих», «недостойных» или просто «мелких»), рассказчица со все большей обреченностью отдаляется, увы, и от читателя. Чем дальше, тем больше заметно: живых-то людей вокруг почти и нет — так, словно мертвяки какие-то, порой не удостоенные даже имени собственного.

Какое же небрежение (или нарочитое презрение?) надо испытывать к человеку, чтобы ни разу не назвать иначе, чем ролевым нарицательным «муж». Некая социальная фигура, но едва ли спутник жизни, и уж совсем сомнительно — близкий человек. Да и человек ли вообще?

Эта странность — упорного (ни разу!) *неназывания имени* — еще более ощутима от того, что повествование ведется от имени (хотя... и здесь никакого имени нет, лишь личное местоимение «Я») вроде бы христианки, человека, вроде бы исповедующего Христа. Вроде бы — потому, что желающий верить, но не ищущий — и не обрящет. Напротив, и веру может потерять, и надежду. А ведь наша безымянная героиня все время — в ежедневном, ежечасном — именно поиске. Но на беду ее, сам поиск, этот ни на секунду не останавливаемый ход ее мыслей — делает для нее невидимыми почти всех остальных людей. И все с большей неотвратимостью обрекает на одиночество. Иного, наверно, и не может быть, если человек ищет во вселенской иерархии не Спасителя душ человеческих, а «устроителя справедливости» на земле. Ужасная участь...

Самое неприятное и неожиданное (неожиданное потому, что в двух-трех местах начинало что-то брезжить — при упоминании о последующих за романным временем переживаниях) — в том, что никакого катарсиса не происходит и в конце этого долгого, тягостного повествования. То есть, по канонам еще античного искусства, цель либо не достигнута, либо она изначально лежала где-то вне текста. Душевная боль и душевная болезнь, которые в романе проходят почти на равных, имеют одно «коварное» свойство: человек далеко не всегда хочет избавиться от них, выйти из болезненного состояния. Приходит новый страх — страх «потерять себя». И он оказывается сильнее уже переживаемых мучений.

Нет выхода и у героини Елены Чижовой. Заключительный эпизод (ниже мы о нем еще скажем) — не только что не катарсис, но наоборот — скорее, апофеоз отчаяния. Того отчаяния, которое и есть смертный грех перед Тем, к защите Которого героиня вроде бы прибегает. Или — ради «защиты» Которого она готова собой пожертвовать? Нет ответа. Любит ли она хоть кого-то из малых сих в этом Божьем мире?.. И не может полюбить. Потому что и себя не любит. Любит ли она Того, о чьем «ведомстве» (не Царстве) так много размышляет? Нет, и этой любви она лишена. Человек, которого можно назвать существом *абсолютно* несчастным.

Матерью всех грехов считается в христианстве гордыня. Роман Чижовой — именно о ней, о гордыне (свойстве, которое всегда старается быть незаметным для *одержимой* ею жертвы). Зато наиважнейшая христианская добродетель, смирение, в каких бы персонажах ни угадывалась, но только — не в фигуре главной героини, глазами которой и вынужден смотреть на все читатель.

Ничем не смиряемая гордыня в своих воспитанных гуманизмом желаниях (все-таки — добра!) пытается отыскать идеал этого (гуманистически понимаемо-

го) добра *внутри* заведомо неидеального мира. И потому идет не к Богу (Который есть любовь), а к ненависти. И даже ее последняя — кульминационная в романе — молитва (непроизвольная, а потому совершенно искренняя мольба воспаленного сознания) оказывается молитвой за удачный исход дела — возможность эмигрировать для ее бывшего любовника. Которого, кстати, и любовником-то трудно назвать, поскольку связь этих двух людей держалась вовсе не на любви и даже не на телесном влечении, а лишь на одинаковой для каждого из них отторженности от всех прочих. Потому и оказался ее «любовник по несчастью» единственным человеком, с которым у героини еще остается хоть что-то общее. И это общее — ненависть:

«Если бы я хотел, я бы сделал, — он поймал мой криво брошенный взгляд, как ловят стрелу, пущенную мимо, — но я хочу одного — уехать. Все, что здесь, я ненавижу!» Пойманная стрела дрожала в его руке. «И меня?» — я спросила, слушая ноющее оперение.

«И тебя»,— он повторил за мной больным эхом. Теперь он заговорил мрачно, сбивчиво и смутно, но это смутное обличало меня. По-Митиному выходило, что именно я воплощаю черты, которые он, прирожденный западник, ненавидит в русском народе: во мне нет героизма, но есть идея жертвы, меня не мучают чувства социальной неправды, но влекут странные мистические иллюзии, за которыми я не вижу леса, у меня нет навыков систематического мышления, но есть мышление катастрофическое, он сказал, свойственное любой тоталитарной системе».

Ненависть — последнее, что у этой женщины остается вообще. Даже когда она направлена не только на все несправедливое, малодушное, жалкое, «неправильное» вокруг, но и на самого же душевно близкого ей двойника (одновременно — антипода):

«Подлый помет, для тебя все — подлый! Владыка Никодим, ты не стоишь его пальца, а он — он сын секретаря обкома,— я задыхалась. — Ты — прорва, тебя не насытить, ты ненавидишь всех, даже тех, которые, как я, и душой, и телом служат твоей ненависти».

Кажется, мне еще не попадалось книги, в которой само слово «ненависть» встречалось бы так часто. Дойдя до финала и снова перелистывая прочитанное, вдруг понимаешь, что иначе быть — вряд ли могло...

«*Нас было трое, собравшихся во имя Его, в одном окраинном доме...*» — первые слова романа. Достаточно, чтобы захотеть читать дальше. Но следом — речь не о «собравшихся», а... о доме, «*который выбивался из ряда собратьев своей особенной, почти неправдоподобной...*» — чем? — а неважно, главное здесь — *выделение из ряда*. Этот мотив *выделения* проходит через весь роман (хотя, строго говоря, это и не роман, а сильно растянутая во времени повесть, ибо, по сути, повествует о судьбе лишь одного человека).

«*...Я оглянулась и увидела пустое пространство, не заполненное людьми. Утробное рычание фургонов* [ассенизаторских машин — *В.Ц.*] *доносилось сквозь высокие двери. «Господи,— я сказала,— здесь всегда страшно, надо привыкнуть, я же привыкла». Бледный лик, обращенный к двери, дрогнул. «Ничего,— я сказала,— Господи, просто люди еще не успели, но я-то все-таки есть». Неловко, подогнув колени, я опустилась на каменный пол и легла крестом. Лицом в камень, не сводя*

над головой рук, я лежала ровно и недвижно, пока о н и, направляющие шланги, поливали вонючими струями небо и землю».

Так все заканчивается...

Однажды героиня услышала реальную историю о том, как в хрущевские времена верующие отстояли церковь: просто легли на дороге, преградив путь разрушительной технике. Озлобленные представители и служители власти (в романе это — всегда безликие, опять же безымянные — *«они»*, всегда курсивом) не придумали ничего лучшего, как подогнать к лежащим людям ассенизаторские машины (в романе — «говновозки») и начать обливать их нечистотами. Но те — продолжали лежать, лишь закрывая головы от зловонных потоков. Церковь люди отстояли, *«они»* — оступились.

Такое же примерно действо развернулось в финале и с нашей героиней, только уже в больном ее воображении. Загнанная такими же точно машинами, «направленными» все теми же *«ими»*, она вбегает в притвор церкви и ложится на пол у образа Спасителя. Вот только *«они»*, в ее воображении, поливают вонючими струями не только землю, но уже и небо...

Были у нашей героини такие «бахромчатые» книги (бахрома — от ножа, книги из тех, что издавались неразрезанными), привезенные мужем из-за границы, по которым она искала *свою* правду. Писали их русские религиозные мыслители в ту пору, когда им приходилось «взывать из бездны». Героине же времена достались — другие.

«Гордость разрешается покаянием: об этом говорили со мной мои бахромчатые книги, я верила им — иного пути нет, покаяние неизбежно. Однако теперь, когда мысль о его неизбежности завладевала мною, само бахромчатое покаяние становилось иным. Оно смотрелось в другое зеркало, в котором — еще неведомые бахромчатым книгам — отражались времена убывающей любви. В этих новых временах оно становилось мучительным и принужденным...»

Здесь — зернышко будущей трагедии: само покаяние для героини становится уже невозможным, ибо будет, если будет, идти уже не от внутреннего побуждения, а по внешней необходимости. Начало трагически обреченного видения. Далее будут видеться одни пороки. Если бы — только свои...

Почему таким страшным выглядит в глазах этой женщины мир, и такой малопривлекательной — Церковь? Да потому, что в миру, в ее «здесь и сейчас», она видит Силу — государственную, безжалостную, бесчеловечную, а в Церкви — скорее, один из институтов, будто бы призванный, когда больше не на что надеяться, той силе противостоять. То есть тоже — социальную силу. И судит ее — по социальным же критериям нравственности (своим, добавлю, критериям).

Как ни дико выглядит, но вполне вписывается в контекст такое признание героини: *«Ропот, похожий на порыв ветра, поднялся в толпе и опал сам собою, когда, замерев посередине, я преградила ему* [настоятелю монастыря — *В.Ц.*] *дорогу — лицом к лицу. Случись теперь, когда иерархи ходят с охраной, охрана пристрелила бы меня...».*

Даже в таком — хотя бы усомниться — героиня (или уже сам автор?) не способна.

Какое-то знание православной обрядности (тут понятно: муж — сотрудник Духовной академии) и церковной иерархии совершенно поразительно совмещается с непониманием самой роли Церкви как явления богоучрежденного. Героиня поражается: как же можно молиться *одновременно* за притесняемых и за притеснителей? Но такое ее недоумение мгновенно может вызвать встречное недоумение всякого прихожанина, идущего в храм не ради поисков справедливости, но ради любви ко Господу или ради спасения грешного человека.

Так и кажется, что чтение чьих-то размышлений над Евангелием трогало героиню куда чувствительнее, чем само Евангелие. Эпиграфы в романе, взятые из Нового Завета, кажутся «провисающими», как бы случайными, не помогающими раскрытию авторского замысла. Не оттого ли, что прилагались они — уже не героиней, а самой писательницей, отчего миросозерцание автора и персонажа разделить чрезвычайно трудно — к поискам лишь земной правды?

Чтение «Лавры» наводит на сравнение с другими книгами, и более всего — с «Искушением» Зои Крахмальниковой. Оба романа — об одних примерно временах, со сходным кругом «ищущих» героев. Поначалу заинтересовав, глубокого следа «Искушение» не оставило, но хоть и не окунуло в такую беспросветность. Тоже, правда, чтение не шибко радостное. Наверное, это печальная участь «семян, попавших в землю до времени» — уж очень тесно у обеих писательниц вера сопровождается рассуждениями о «беспросветности» социальной.

Могло ли в ту пору, пору государственного атеизма, быть иначе — не знаю. Потому, пытаясь разобраться в душах тогдашних духовных оппозиционеров (хотелось бы избежать слова «диссидентов»), судить — никого не могу. Только сожалею, что невозможно за них порадоваться так же, как за пришедших в церковь *теперь*. Считается, что период неофитства чреват излишней ретивостью и, как следствие, многими заблуждениями. Но заблуждения нынешних ревностных неофитов, кажется, излечиваются все же легче, чем тупиковые чаяния тех, кто начинал приближаться к Церкви в годы, которые им виделись «временем убывающей любви».

А зло иногда побеждает уже одним тем, что, провоцируя на борьбу с ним, исподволь меняет в человеке направление его взгляда. (Самыми яростными диссидентами были, кажется, большевики? — им тоже многое виделось несправедливым...) И когда взгляд этот перестает видеть в ближнем хотя бы потенциального носителя добра — человек обречен на поражение.

Что же теперь? Роман Елены Чижовой опубликован. Исповедь убывающей любви — произнесена. Послужит ли она духовному очищению, способна ли вернуть утерянное?

Не знаю. Не уверен.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА

(Первый квартал 2003 г.)

1. Художественная литература

А. «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Новый мир»

В журнальной прозе сезона в пределах очерченного круга изданий оказалось не так уж много ярких, интересных явлений. Начало года выглядит с этой точки зрения почти провальным.

Начнем обзор с прозы, в которой делается попытка запечатлеть ПРИМЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ. Прямо сказать, здесь есть проблема. В жизни нашей ничего почти не устоялось, и как тут найти героя, как определить смысловой вектор? На эти вопросы каждый автор отвечает, конечно, по-своему. Однако ощущаются явные затруднения с самоопределением вне пределов откровенной публицистики.

Молодая писательница **Василина Орлова** в **повести «Бульдозер»** («Москва», № 3) отважилась найти в современной Москве положительную героиню. Ею оказалась простая учительница. Волей случая молодая училка Елена чуть ли не становится звездой богемной тусовки. Она и в газетах, она и на экране ТВ. Выступает как эксперт по искусству. Елена — дама симпатичная, здоровая духом, мыслит правильно, хотя и довольно банально. В итоге героиня, сурово осудившая современное никчемное искусство, возвращается в школу. Гип-гип ура. Это все изображено у Орловой очень мило, хотя и не очень правдоподобно.

Небезынтересен своей заявкой **роман** новосибирца **Василия Дворцова «Аз буки ведал»** («Москва», № 1, 2). Криминальные разборки на просторах России. Долгая дорога к себе. Главный герой, Глеб, — «профессиональный патриот», что в глазах автора является его едва ли не главным достоинством. Правда, почему-то патриотизму в жизни Глеба места отведено мало. Он бежит от всяких опасностей, сталкиваясь с приметами, что называется, современного морального и бытового разложения, с человеческой ненадежностью. В финале Глеб приходит к выводу: нужно строить монастырь. Что ж, Бог ему в помощь. Ну а строительство романа Дворцову удалось не слишком. Он затянут и в целом слишком уж непритязателен.

У **Анатолия Клименко** в подборке **рассказов «Маркитанты демократии»** («Москва», № 1) персонажи кое-как приспосабливаются в современном сумбуре к суровым обстоятельствам дикого капитализма. Кругом презренный бизнес, но кушать-то надо каждый день.

Повесть Виктора Дьякова «Разница в возрасте» («Наш современник», № 2) состоит из трех эпизодов. Четверть века назад в казахском городке молодой офицер Рогожин встретил девушку Катю. Он неумело ее кадрит, а девушка делится жизненными планами, хочет учиться на историка. Через шесть лет

Рогожин встречает ту же Катю, она работает в столовой и жалуется на то, что казахи зарубили ее на вступительных экзаменах в университет. Рогожин неумело убеждает Катю, что в вуз везде поступать нелегко. Проходит еще 16 лет. Уже немолодые Рогожин и Катя вновь сведены судьбой, что помогает Рогожину преодолеть одну коммерческую закавыку. Попутно мы знакомимся с настроениями русских в независимом Казахстане. Они считают, сообщает автор повести, что Москва их предала, бросила... Для чего это все, спросит читатель. Возможно, как раз ради последнего публицистического выпада.

Южнорусский классик **Борис Екимов** в **путевых заметках «По Дону»** («Наш современник», № 2) рассказал, как он недавно плавал на буксире вверх по Дону от Калача. Что-то увидел (немного), что-то вспомнил. Не самый удачный екимовский текст.

Очередным мистико-религиозным сюжетом одарил читателей **Григорий Петров (рассказ «Крестный ход»**: «Новый мир», № 2). Мироточащая икона, полусны-полувидения, *народный культ* Николая II и его семьи. Кто как, а я не поклонник такой рассудочной препарации темы, какую по своему обычаю затевает Петров. Видятся мне в этом слишком холодные персты, хоть режь.

Немало в прозе сезона и произведений с более локальным целеполаганием, где соль в основном — в живописании **ПЕРИПЕТИЙ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ**.

«Большая книга рассказов» Евгения Шкловского «Питомник» («Новый мир», № 1) посвящена разным душевным казусам в жизни современного человека, горожанина, интеллигента. Шкловский очень чуток к этим душевным перипетиям и умеет схватить тонкие подробности внутреннего обихода, переливы чувств, влекущие за собой незаметные или вдруг разительные перемены в жизни героев, хотя слишком далеко его анализ все-таки обычно не идет. Так, царапины, а не шрамы. А если и шрамы, то обозначенные с щадящей читателя деликатностью. Сдержанно, суховато. Особенно нужно отметить эту найденную автором интонацию повествования. В ней есть шарм, есть и проблема. Как будто автор следом за героями смотрит на мир с изрядной долей фатализма. А тогда — какие такие страсти?

Зато *их есть* у **Дины Рубиной** в **«малой книге рассказов» «Несколько торопливых слов любви»** (там же: «Новый мир», № 1). Горячая страсть русской журналистки и еврея-эмигранта из России в Израиль обрывается катастрофой самолета, сбитого украинской ракетой. Богатая московская дама вспоминает о том, как она и ее юный муж когда-то бесчинствовали в Прибалтике, чуть ли не убивали друг друга. И дальше в том же роде.

Кипят и брызжут за край страсти и у **Игоря Сахновского** в **рассказах** о любви («Знамя», № 3). В одном выведен колоритный и неотразимый южанин Гена Шнайдер, бесстрашно чувственный и абсолютно безвольный. Уникальный человеческий продукт. В другом изображена любовь, которая началась с общения в сетевом чате. Тоже недурно и очень своевременно.

Рассказы Ирины Полянской в «Знамени» (№ 1) — небольшие этюды на тему отношений между близкими людьми, родственниками. Мальчик-даун и его бабушка. Муж-деспот, тиранящий жену молчанием в знак наказания. Зажившаяся мать и ее старящиеся дочери. Всё в этом роде, набор болезненных историй. Острый глаз, изящный слог, сентименталистский пафос.

Семейные передряги в центре внимания и у **Михаила Тарковского** в **повести «Отдай мое»** («Новый мир», № 2). Отец-писатель оставил семью, и это больно ранит сына. Сын вырос и отправился из Москвы в Сибирь, где преодолевает трудности и вообще живет в дебрях, с простым и хорошим народом. Но об отце он вспоминает и даже сам чего-то кропает на бумаге. История слишком частная и случайная, а юноша Митя — прелестный и наивный отрок, наивно и свежо представленный нам автором, по стечению обстоятельств также покинувшим столицу и проживающим в Сибири.

Там же, в Сибири, живет и герой **романа Ирины Ракши «Белый свет»** («Наш современник», № 3), старикан-охотник Сергуня. Колгота, житье-бытье, походы в тайгу, а тут еще и сосватали Сергуню на старости лет. Герой-то, наверное, хороший, вот только рассказано о нем скучновато.

Остроумно и изобретательно передал три **«житейских истории» Алексей Слаповский** в «Знамени» (№ 2). Общее название — **«Любовь по-нашему»**. «Наше» — это у Слаповского текущий момент. Все у нас не по правилам. Полуобман-полумираж — вот что такое эта ваша любовь. То ли телесная судорога, то ли игры самолюбия, то ли просто корысть... Ничего не поймешь.

В цикле **рассказов Леонида Зорина «Из жизни Ромина»** («Новый мир», № 3) центральное место занимают также истории с любовным акцентом. Любовный треугольник: дочь, мать и их общий мужчина. Или еще: флирт в послевоенной Риге: девушка-латышка принимает игривого московского хлюста за сотрудника небезызвестных органов и поэтому без сопротивления выполняет все его желания.

У **Ольги Постниковой** в **рассказе «Петь и петь!»** (там же) героиня любит петь, да только никому она со своим пением не нужна. Так всю жизнь и страдает.

Талантливого сумбура полна **повесть** недавно погибшего молодого писателя из Волгограда **Леонида Шевченко «Степень родства»** («Знамя», № 3), яркий образец лирико-исповедальной прозы, где едва ли не главной темой оказывается смерть. Публикация предварена пронзительно-нежной заметкой о покойном руководительницы его литинститутского семинара **Татьяны Бек**.

В рассказе Олега Павлова «Вниз по лестнице в небеса» («Новый мир», № 1) выведен мальчишка — уличный заводила. На его счету много всякого, но страдает парень в душе, что приходится ему воровать. Заодно рассказано и об его романе с уличной девчонкой. Девчонка — дрянь, оторви да брось. А паренек-то верит ей. Есть, есть живая душа и у тех, кто обитает на самом-рассамом дне. Копните — завоет.

Критик из Орла **Алексей Шорохов** совершил набег в сторону прозы. Сразу в двух журналах появились его **рассказы** («Москва», № 2; «Наш современник», № 3). Никаких сенсаций, просто молодой автор избрал иной жанр для решения той задачи, которая и в критике у него главенствует. Это дидактические наставления, разбавленные лирикой. Сентиментально-раздумчивые истории, весьма скромные.

Рассказ петербуржца **Константина Арбенина «Два клоуна»** («Знамя», № 1) — история о белом и рыжем клоунах, которые выступают то вместе, то врозь, любят одну женщину и умирают в одну ночь. Элегантный опыт в манере, кажется, Набокова.

Занятен и опыт вологжанина **Роберта Балакшина** («Наш современник», № 3). Его **рассказ «Русские сны»** — это запись чуть ли не действительных снов автора. Ну а разве можно отвечать за содержание сновидений? Вот и появляется у Балакшина Сталин весь в белом, отважный борец с троцкистско-сионистской сворой. А с другой стороны, и Жуков в снах у Балакшина — славный малый. И даже почему-то Колчак. Не одобрил бы товарищ Сталин таких снов, ох, не поздоровилось бы вологодскому сновидцу! И вот еще сон: «Когда лежал с температурой, приснилось, что Илья Муромец женился, и жену зовут Ада Львовна. Я подумал во сне: ну, «избранный народ», и тут ведь подлезли». Видать, сильный был жар у нашего автора. Ну а впрочем, он же не сообщает, как зовут его вторую половину. Не приведи Господи, Саррой Моисеевной...

Что сказать о самой большой прозе сезона, **романе Юрия Буйды «Город Палачей»** («Знамя», № 2, 3)? Скажу, что налицо собрание рассказов, где Буйда предстает в своем репертуаре, как мрачноватый, но изощренный выдумщик. Этакое фантастическое барокко, свободно ассоциированное с русской историей. Прихотливые истории о странных людях. Пересказывать их нет смысла, но нельзя понять и того, есть ли смысл в романе как таковом.

Поиском средств и способов письма может заинтересовать **повесть Максима Гуресва «Быстрое движение глаз во время сна»** («Новый мир», № 3). «Может быть, в этом содержалась некая философия безначальности и бесконечности существования, просто как перечисления событий, бытования, лишенного всякого рационального смысла, но лишь подверженного воздействию болезненных эмоций и ярких ощущений-вспышек, пусть даже и гипнотического происхождения». Проза Гуреева предварена весьма лестным предисловием **Андрея Битова**.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА почти вовсе отсутствует. Лишь в «Москве» (№ 3) публикуется **повесть** томчанки **Татьяны Назаренко «Прынцесса из ЧК»**. Состоит она из двух эпизодов, объединенных фигурами двух персонажей. В первом эпизоде в 1921 году юные чекисты Марк Штоклянд и Лиза Громова борются с крестьянской контрреволюцией на Тамбовщине. Много крови и грязи, в событиях участвуют и родные Лизы, она мечется между чувствами и долгом. Ух, горячо. Эти метания продолжаются и в 1930 году, когда гепеушница Лиза разоблачает анархистов и тамплиеров, а напоследок бурно отдается своему злому гению, непреклонному красному иезуиту Марку. Задумана повесть неплохо, реализована неровно.

Пожалуй, особенно интересными в прозе сезона оказались **МЕМУАРЫ**.

Большой исторический срез делает **Владимир Порудоминский («Пробуждение во сне»**: «Знамя», № 3). Тут и его сибирские корни, могучий дед, и московское детство в 30-х годах. Живописно и познавательно.

Там же **Людмила Синянская («Во сне и наяву среди глыб»)** продолжает вспоминать о работе в Иностранной комиссии Союза писателей в годы застоя. Хватка власти слабела, но мракобесия хватало. Автор повествует о том, с кем она встречалась, как боролась за прогресс и против цензуры. Забавные истории о Неруде, Амаду, испанцах. Благородные К.Симонов и Р.Рождественский. Хмыреватый Карпов. Приватизация писательского ресторана и выброшенная в мусорные баки библиотека Инкомиссии.

В «Новом мире» (№ 2, 3) публикуются **воспоминания** матери главного редактора этого журнала **Анны Василевской «Книга о жизни»**. Сороковые-роковые. Блокада. Медсанбат. Большой пласт жизни.

«Баталии мирных лет» В.Кардина («Знамя», № 2) — неяркие, но основательные **мемуары** о том, как автор пришел в литературу и журналистику, какие некогда кипели боренья. Гудзенко, Левитанский, Погодин, Ямпольский, Казакевич. Похороны Ахматовой.

Актер **Александр Михайлов** рассказывает о своей жизни в искусстве **(«Личное дело»**: «Наш современник», № 1, 2). Впрочем, среди сумбурно-искренних признаний автора здесь весьма немного любопытных подробностей, наблюдений над жизнью и людьми. Зато пропасть всякой риторики, отчего идет сплошной трезвон и мемуары кажутся подчас публицистической статьей. Кредо автора таково. Русское — хорошее. Остальное — так себе. Но мешают России «внутренние враги». Например, иеговисты. Хороший Иван Грозный «был оболган историей». А наше время — страшное, сатанинское. Притом «самый кровожадный мировой монстр» — кто б вы думали? Конечно, Америка... Такие вот у Михайлова припоминания.

Рядом с нами жили-были великие люди. **Михаил Айзенберг** в **очерке «Учитель без ученика»** («Знамя», № 2) вспоминает о Павле Улитине, непризнанном гении. Таким он выведен тут. Мастер прозы, несломленный зека. Айзенберг закладывает один из краеугольных камней в основание мифа о великом прозеванном писателе.

А **Александр Терехов** в том же «Знамени» (№ 1) подробно вспоминает о преподавателе журфака МГУ покойном Эдуарде Бабаеве, с которым он, оказывается, был тесно связан. Бабаев был известен многим: фигура колоритная, человек уникальный. И рассказ о нем получился у Терехова рельефным. Есть тут и нравы журфака, и встречи героя с Ахматовой, и опыт сравнения Бабаева с другой культовой фигурой журфака — Шахинджаняном. Есть и много личного чувства.

Питерец **Николай Чумаков** в **рассказе «Каменное небо»** («Наш современник», № 3) вспомнил добрым словом закаленного борца с русофобами Сергея Воронина, сошедшего в могилу. Крепкий был, как дуб, по-настоящему, без всяких яких *партийный* писатель, и в Бога не уверовал даже на старости лет, при всех этих нынешних климатических переменах. Какие люди уходят.

Обзор подготовил Евгений Ермолин

Б. «Дружба народов», «Октябрь», «Урал»

От каждого нового литературного сезона все ждешь чего-нибудь нового. Но новое — по большей части — оказывается, увы, совсем не забытым старым. **ЛЮБОВЬ**, которая никогда не стареет, всегда, конечно нова, но нынешние прозаики отчего-то склонны снижать тему и выдавать за «любовь» всякого рода **ЛЮБОВНЫЕ ИНТРИЖКИ** (часто к тому же довольно вялотекущие). В любом случае, **ЭРОТИКА**, кажется, волнует современных авторов куда сильнее любви. Итак, в который уже раз — *о странностях...*

Поразительной находкой оказался длинный и бесконечно нудный **роман Марины Голубицкой «Два писателя, или Ключи от чердака»** («Урал», № 11, 12, 2002, 1, 2003). Это настолько характерный пример *классической графомании*, что упоминать о нем, может быть, и вовсе не стоило, если бы не одно обстоятельство. У екатеринбуржцев (вообще, провинциалов) есть странное пристрастие к описанию локальной богемной тусовки, с всеми возможными подробностями фиксирующему *кто*, с *кем*, *когда* и при *каких обстоятельствах*...А *что именно*, может варьироваться: например, — напился, посплетничал, подрался или переспал. В тексте Голубицкой персонажи действуют отчасти под собственными именами, как то: Николай Коляда, главред «Урала», его зам. Капорейко, покойный поэт Борис Рыжий, еще кое-кто, другие зашифрованы под более или менее прозрачными масками... Несколько удивительно в столь «культурно ориентированном» контексте встречать имена известных не ектеринбуржцев в своеобразной орфографии — КИнжеев, Лев АннИнский, РАстропович (в тексте много и других орфографических ошибок)... Учитывая это, а также бросающуюся в глаза нарочитую бездарность, не будет ли уместным предположить, что в данном случае мы имеем дело с какой-то особо тонкой игрой, литературной мистификацией, хотя совершенно неясной остается преследуемая автором (авторами?) и журналом цель публикации...

Впрочем, любовно-бытовым взаимоотношениям внутри узкого круга посвящен и **роман Анатолия Наймана «Все и каждый»** («Октябрь», № 1, 2). Специфическая узость обеспечена тем, что родители основных персонажей еще в сталинское время *пробились* и обеспечили потомству надежную материальную базу. Потомство теперь свободно скрещивается между собой, подпитывая усталую плоть недоступной простым смертным снедью на жилых площадях, превышающих среднестатистические мечты. В современность это потомство, обремененное уже собственной порослью, входит органично и плавно — и снова *все хорошо*. Чтобы не вдаваться в подробности анализа, отметим — как настораживающую деталь, — что в тексте, где главным героем выступает *архитектор*, довольно странно смотрятся, например, «дорический и ионический ордеНа»...

Странное впечатление производит и **рассказ Афанасия Мамедова и Исаака Милькина «Ы?..»** («Октябрь», № 1). Сперва какие-то эскизные штрихи к военному детству рассказчика, потом ни с того ни с сего, зато подробно — любовное приключение морского офицера в дружественной Болгарии, где он знакомится с разведенной дамой, которая на свидания соглашается, а на интим — никак. Однако наш советский моряк поднажал — и дама повела его на национальный болгарский праздник, где после еды, питья и зажигательных плясок босыми ногами на углях участники разбиваются по парочкам и занимаются любовью под открытым небом. Взглянув на себя в зеркало после бурной ночи, наш моряк подумал, что именно так он будет выглядеть в старости.

В своей фирменной манере — наворачивать живописные детали, а потом бросить дело, не приведя ни к какой развязке, — создал **Юрий Петкевич** и очередной **рассказ «Ччь»** («Октябрь», № 3). Юноша приезжает в Петербург поступать в художественное училище. Снимает комнату и идет в музей, где случайно знакомится с девушкой. В училище поступать почему-то не торопится, слоняется по разным местам, то и дело встречаясь с девушкой, которая,

кажется, к нему благоволит, а он не то чтобы очень. Потом вдруг ни с того ни с сего убывает в свою родную Одессу. Тут же поступает в Литинститут и отправляется к малознакомой женщине, с которой проводит бурную ночь. В финале герой признается, что «опустошен до самого донышка». Кажется, с этого признания рассказ мог бы и начинаться.

Для некоторых авторов ***эротика не просто тема, но нечто вроде повода к обобщающей картине бытия***.

Роман Юрия Буйды «ое животное» («Октябрь», № 1) явно тяготеет к символической фантасмагории. Автор разворачивает действие в напоминающей «сталкеровскую» зоне — на полусвалке-полускладе в железнодорожном тупике. Бывший завскладом убил из ружья полупомешанную жену и себя, предварительно изувечив ее сестру (по совместительству собственную любовницу). Теперь эта изувеченная и одноглазая женщина, приняв освободившуюся должность, проживает здесь с одноногим племянником-подростком (сыном убийцы), деля с ним заодно и одинокую постель. К ней в гости приезжает подруга с дочерью, тоже подростком, увечная приучает подругу к кокаину, а та делится с ней опытом в области любовных радостей и дарит кой-какие приспособления для реализации оных. Дамы зачем-то портят свой кокаиновый марафон постоянным употреблением водки. Кокаин поступает от бандитов, проворачивающих здесь свои махинации. Однако, даже не успев их толком разглядеть, а не то что уж резко разочароваться, пьяная подруга резким взмахом кухонного ножа перерезает себе горло, так что у бандитов не остается другого выхода, кроме как убить и свою многолетнюю сотрудницу, а заодно изнасиловать и покалечить дочь эксцентричной самоубийцы (но зачем-то оставить в живых). На тропу мести вступает одноногий герой, и с помощью проживающего на свалке бомжа-супермена они кладут всю банду. После этого юноша, не желая портить своей дурной кармой остальной мир, тоже кончает с собой. Бомж-супермен рассказывает историю своей жизни, откуда выясняется, что еще в детстве ему отрезал голову некий красный комиссар, потом на нем производили разные эксперименты в секретной лаборатории... На этой свалке уже много лет горит неизвестный подземный огонь, символизирующий, видимо, адское пламя, и вообще весь текст — это, кажется, иллюстрация убеждений автора, что вся окружающая жизнь не что иное, как бардак и безнадежное свинство...

Мнится, что-то глубокомысленное силится сформулировать и **Александр Хургин** в **рассказе «Нюанс»** («Октябрь», № 2), уложив любовников в постель и перемежая их краткие диалоги пространными сценами из семейной жизни сотрудников дамы, участвующей в адюльтере. Оказывается, у всех один за другим гибнут дети. Любовные утехи прерываются звонком, сообщающем об очередном несчастном случае, закончившемся смертью подростка. Даму поражает озарение, что она осталась единственной матерью еще живой дочери во всем коллективе. Но вместо того чтобы ехать домой к ребенку, женщина (видимо, по свойственной женской натуре алогичности), поколебавшись, решает провести ночь с любовником.

В рассказе Андрея Кучаева «Бритые на "Кудамм"» («Октябрь», № 3) в берлинском кафе сидит молодой Набоков. К нему подходит женщина и призна-

ется в отчаянном финансовом положении. Набоков приводит ее к себе в комнату, где та готова ему отдаться, но писатель отчего-то передумывает (и денег она не получает). Потом в том же кафе она встречает Ганса Фалладу, но тот денег тоже не дает. В результате она кончает с собой. В **рассказе «Женщина из племени Майя»** рассказчик в молодости знакомится с девушкой, у которой последовательно погибают все мужья и возлюбленные, предварительно материально ее обеспечив. В зрелых годах он также становится ее мужем (хотя беден, и, наоборот, обеспечивает его она), и с ужасом ждет развязки.

Герой **рассказа Ильи Кочергина «Потенциальный покупатель»** («Дружба народов», № 2) приезжает в отпуск домой, в Москву. Из тайги, куда (вслед за многочисленными персонажами Михаила Тарковского) уехал за запахом настоящей жизни. Случайно знакомится с девушкой, в которую немедленно влюбляется. Девушка отвечает взаимностью, с готовностью ходит на свидания, но позволяет герою ласки только до определенного предела — с намерением сохранить девственность для будущего мужа. Перед самым отъездом герой делает предложение. Но ни в постель, ни в загс уже не успеть. Вернувшись на место, он в тот же день заключает в объятия местную молодайку, менее строгую в вопросах целомудрия.

Сам **Михаил Тарковский** оказался единственным исключением из общего ряда, поскольку в его **повести «Кондромо»** нет ни самомалейшего намека на какую бы то ни было чувственность. Персонажи (таежные жители, как всегда у Тарковского) испытывают друг к другу *естественные* чувства — любовь и нежность. Хуже того, они состоят в браке, любят своего ребенка, и все в их союзе — за исключением опять же *естественных* жизненных трудностей — обстоит благополучно. Динамика сюжета строится как раз на преодолении этих трудностей (семья переезжает на дальний охотничий участок, осваивает необжитое место). В остальном все исключительно гармонично. При этом, как ни странно, текст лишен той неприятной сусальности, которая обычно портит на корню все попытки воссоздать картину естественной и здоровой жизни. Взаимоотношения между людьми стоятся здесь (в основном) на принципах взаимовыгодной доброжелательности. Хотя не исключены неприятные инциденты и комические недоразумения (порой заканчивающиеся весьма драматически). Последние возникают в основном в связи с неумеренным потреблением огненной воды. Еще одна значимая для всего текста линия эмоционального напряжения проходит внутри сознания главного героя, который остро переживает невозможность до конца разделить с дорогими ему людьми посещающее его в одиночных походах по тайге ощущение счастья от красоты и полноты окружающей жизни. При всей внешней простоте повесть обладает достаточной глубиной. Кроме того, автор находит емкие и, главное, небанальные образы для бытовых картин, которые, казалось бы, в отечественной литературе (благодаря деревенщикам и их бесчисленным эпигонам) стали почти общим местом.

Впрочем, делать **ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД МИМОТЕКУЩЕЙ ЖИЗНЬЮ** можно и без плотной эротической подкладки. Большинство такого рода текстов тяготеет к необязательности и условности, словно у авторов загадочным образом расфокусировалось зрение. Получается этакий

«импрессионизм», больше способный охарактеризовать самого пишущего, нежели собственно предмет описания.

Самой достойной в этом ряду оказалась **пьеса Ольги Паутовой «Берлинские кролики»** («Урал», № 2). В тексте всего двое действующих лиц — он и она. В культурной столице Берлине. Он — канадец, выпускник Сорбонны, «гражданин мира», то актер, то философ, космополитическая богема и типичный продукт западной цивилизации — ранимый и эгоцентричный, не способный поступиться своим удобством и свободой даже ради самой любимой... Она — русская, безденежная, с просроченной визой, влюбленная и гордая, пишет рассказы... Эта пьеса о непробиваемой стене одиночества, очень грустная и очень *тактичная*. Ни тени превосходства по признаку национальной или половой принадлежности. Даже обидно, что такое написано не прозаиком, а драматургом...

Нина Горланова и **Вячеслав Букур** в **повести «Голос жизни»** («Урал», № 1) в свойственной им манере подробно фиксируют *мелочи жизни*, словно итальянские неореалисты, уповая, что таким образом само существо бытия явится во всей полноте перед их семейной «камерой». В нынешнем тексте эти мелочи нанизаны на сюжет о том, как глава семьи с многозначительным именем Гамлет (имеет кавказские корни) ради заработка идет служить в гнусноватую газетку и принимает участие в предвыборной кампании. Впрочем, оказывается, что люди везде люди, со своими достоинствами и недостатками. Все бы ничего, если бы проза Горлановой (что в соавторстве с Букуром, что без) не страдала бы от некоторого однообразия типажей — они уже на протяжении доброго десятка лет почти не меняются, а пишут эти авторы много и публикуются часто...

Анатолий Новиков в **рассказе «Птицелов»** («Урал», № 1) предлагает рассредоточенный взгляд трамвайного контролера (так зарабатывает на жизнь повествователь, свободное время, естественно, отдающий писательскому ремеслу). Контролер наблюдает, рассуждает, встречает старых знакомых... Чувствуется, что для автора не прошло даром знакомство с литературой «потока сознания».

Повесть Вячеслава Пьецуха «Поэт и замарашка» («Дружба народов», № 1) претендует на философичность. Действие происходит в коммунальной квартире, где в разных комнатах происходят разнообразные события. В одной поэт, в порыве сердоболия пригласивший случайно встреченную бомжиху «попить чаю», обнаруживает в ней (помывшейся) Вечную Женственность. А узнав, что ее, беременную, выгнал муж, ищет с ней на протяжении всего действия затерявшийся в комнате конверт с 20-ю тысячами (чтобы альтруистически отдать ей), под параллельный «христологический» диалог с забредшим приятелем, решившим осуществлять заповеди на деле. В другой — трое младших военных чинов под преферанс планируют ограбление банка. В третьей — тихий сумасшедший, воображающий себя человеком из будущего, скрупулезно ведет отчет о событиях, чтобы заполнить для будущих историков лакуну в науке, возникшую по неясным причинам — дело происходит в Москве 3 — 4 октября 1993 г. Он собирается не только принять личное участие в событиях, но и манит с собой поэта. Отмывшаяся бомжиха, дабы предотвратить все неприятные последствия планируемых поступков, запирает квартиру снаружи. Автор заканчивает сентенцией о благе мирных занятий в ущерб дурной активности.

В **«Депрессии» — «триптихе»**, объединяющем **рассказы Анны Матвеевой** на тему насильственной смерти («Урал», № 1), персонажи гибнут хотя и от случайных причин, но автору их конец представляется логичным: все они вошли в роковой диссонанс с бытием (все диссонансы — бытовые). Вот и получили. Впрочем, автор нисколько беднягам не сочувствует, они для нее — лишь полигон для проявления *тотальной иронии*.

В **рассказах Елены Долгопят** реальность как всегда отдает какой-то ирреальностью. То юноша из провинции, прибывший в Москву поступать в институт, вместо того чтобы сдавать экзамены, просто гуляет по столице 60-х годов, наслаждаясь обступившей его новой жизнью, знакомится с компанией студентов-актеров и тут же попадает под случайный грузовик, оставив памятью о себе два навеянных своей персоной сюжета для будущих фильмов в голове одного из студентов (**«Котя»**). То писатель-детективщик воображает себе роман с малознакомой молодой женщиной, муж которой в отместку велит ему убить другого — почти незнакомого человека, грозя в противном случае убить ее саму (**«В поисках утраченного времени»**). Чувствуется, что автору гораздо интереснее *воображать* жизнь, чем заниматься ее действительным исследованием.

Фантасмагоричность в **рассказе Андрея Ильенкова «Волшебник Изумрудного города»** («Урал», № 2) нарастает по мере развития сюжета. На входе — раз от разу усугубляющиеся мытарства новобранца в казарме, где над ним последовательно измываются старослужащие, на выходе — его провал в натуральную адскую бездну, куда его посылает очередной опущенный жизнью изувер. Стоит отметить хорошее стилистическое исполнение.

Однако наблюдать ***мимотекущую жизнь*** можно и ***без философических обобщений***. Взгляд авторов здесь, как правило, становится более сосредоточенным, повороты сюжета — более конкретны. Может быть, потому (во всяком случае, у авторов, попавших в наше поле зрения), что они вспоминают свое собственное прошлое — более или менее отдаленное.

Александр Васютков в **повести «Сим-сим»** («Дружба народов», № 3) дает ряд пунктирных эпизодов — в основном из раннего детства и юности, перемежаемых горестными сентенциями о нескладной, неудачливой жизни. Финал во многом объясняет причину неладов автора с бытием — и любовь не удалась, и ничего по-настоящему существенного не случилось. Автор готовится к скорой смерти, о чем не очень-то и жалеет, хотя в существование души вроде не верит и на посмертную жизнь не надеется. Во всем случившемся (точнее, НЕслучившемся) он, кажется, не склонен никого обвинять — даже, пожалуй что, и судьбу. Вообще это достаточно примечательный документ о поколении послевоенных интеллигентов, которые с детства подавали надежды, но чем дальше, тем больше оказывались не способными эти надежды реализовывать. Какое-то жалкое, лишенное энергии поколение...

Владимир Шпаков в **рассказе «Кальсоны полковника»** («Дружба народов», № 1) вспоминает раннеперестроечную пору. Рассказчик, студент-заочник Литинститута, служит в фабричной охране. В бригаду кроме него входят буддист и наследственный аристократ, поклонник дворянской чести и обладатель дедовских шелковых офицерских кальсон. Бригаду вскоре разгоняют, поскольку

ку аристократ мешает начальству разворовывать казенное добро, буддист вписывается в новую жизнь, а рассказчик с аристократом бедствуют. Литинститутский сокурсник-нувориш долго заманивает рассказчика в сотрудники, но тот не поддается. После ресторанной пьянки с участием нувориша и бывшего буддиста друзья окончательно понимают, что ничего толкового из этого сотрудничества выйти не может.

Попытки осмыслить жизнь то и дело уводят наших прозаиков к разного рода **РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСПЕРИМЕНТАМ** — далеко не всегда удачным.

Владимир Курносенко в повести «Прекрасны лица спящих» («Дружба народов», № 2) пробует развести повествование на два пласта (использованы даже разные шрифты). Один — как бы взгляд на жизнь немолодого мужчины, который — после серьезной болезни — перешел какой-то важный для себя рубеж: переехал в совершенно чужой город, долго ничем не занимался и вдруг по внезапному вдохновению, увидев поразившее его лицо молодой врачихи, устроился санитаром на «скорую помощь». Второй пласт отражает видение этой самой врачихи, молодой вдовы, самозабвенно служащей высшей цели — постигнув, что болезнь есть следствие душевного неблагополучия, она пытается навязать пациентам — помимо медицинской помощи — еще и некие духовные указания, которым те следовать отнюдь не желают. (Арсенал духовных ориентиров героини включает в себя поверхностное христианство и то ли восточную, то ли античную мистику). Финальный диалог санитара и врача, посвященный страданиям плоти и духа, отталкивает санитара от первоначальных намерений сблизиться с очаровавшей его женщиной. Что до намерений автора, то они, по интенции душеспасительные, едва ли ведут к намеченной цели. Во-первых, текст написан крайне небрежно, единственным существенным различием между отрывками, представляющими, по замыслу автора, разные сознания, оказывается лишь тип шрифта, автор к тому же делает весьма существенные промахи в орфографии — и что особенно неприятно, часто в тех словах, которые являются для текста ключевыми — в монахи, по его мнению, «поДстригаются», а переселение душ обозначается загадочным новообразованием «метАпсихоз»... Хотя, чем черт не шутит, а вдруг автор таким образом как раз и демонстрирует несостоятельность эклектики, составляющей основу мировоззрения современной интеллигенции?..

Гораздо понятнее тексты **Светланы Петровой** («Дружба народов», № 3). В **рассказе «Манька Магдалина»** рано осиротевшая деревенская девочка обслуживает своим телом всех желающих, поскольку считает это единственным способом выжить. Потом перебирается в город — в няньки, зарабатывает прежним способом и там, потом становится любовницей большого начальника, в семье которого служит, и начинает любить его всей душой. Но счастье не вечно, начальник умирает, женщина лишается жилья, едет на родину покупать на накопленное многолетней «работой» домик, но ее убивает какой-то местный парубок. Перед смертью женщина посещает храм, где кается в грехах, но уходит недовольная — батюшка слишком легко отпустил грехи. Автор, видимо, полагает «профессиональную» солидарность двух Марий достаточным основанием для широкомасштабных аналогий. В **рассказе «Третьего не дано»** преуспе-

вающий адвокат без моральных принципов случайно губит в аварии нелюбимую жену и переживает духовное перерождение. Поступает послушником в монастырь, потом в чине дьякона отправляется в далекий краснодарский приход, приняв предварительно обет безбрачия. Там нанимает в прислуги вдову средних лет, с которой, одолеваемый приступами похоти, время от времени блудит — после чего самозабвенно кается. От случайно встреченного друга узнает, что жена была ему не только неверна, но и была беременна от другого. Герой снова переживает душевный надлом и в скором времени умирает. Из текста очевидно, что автор не видит принципиальной разницы между диаконским и священническим чинами, полагая, к примеру, что дьякон может служить литургию...

Оказывается, **ВОЙНА КАК ТЕМА** разным поколениям писателей видится совершенно по-разному. Да и сами войны у них не одни и те же.

Даниил Гранин в коротенькой **повести «По ту сторону»** («Дружба народов», № 1) пробует вывести некий «синтез» из противоречия двух временных пластов. В экспозиции — пара сцен обороны Ленинграда (кстати, наиболее энергетичных и емких во всем тексте), законченных эпизодом, когда доведенные до ярости солдаты, завидев немецкий рождественский фейерверк, начинают палить — вопреки категорическому запрету начальства — по Царскосельскому дворцу. В основном корпусе — ветераны противоборствовавших армий встречаются сперва на российской земле, затем — на немецкой. То находя взаимопонимание, то вновь вспоминая обиды. По воле случая один из них ранен другим во время того обстрела... Основная мысль — война людей не украшает.

В цикле **новелл Алексея Лукьянова «Артиллеристы. Занимательные истории о богах войны»** («Октябрь», № 2) «пораженная» войной реальность то и дело искажается в самых фантастичных формах — то когда лейтенант выводит свой взвод из безнадежного окружения по подземному ходу — прямо в центр веселящейся Москвы (**«Город потерянных душ»**), то когда солдат находит тайник с запасом «лишних жизней» (**«Скалы»**). Примечательно, что все искажения — в сторону исправления зияющих недостатков действительности. Пафос — жизнеутверждающе гуманистический.

А вот в **пьесе Владимира Циганова «Бумеранг»** («Урал», № 2) война и вовсе идет в Израиле, куда отбыла на ПМЖ чета бывших жителей Свердловска. Впрочем, основное действие как раз в Свердловске и происходит — флэшбэком. Девушка-студентка поздним вечером репетирует в бывшем Ипатьевском доме свою роль в будущем спектакле. Вдруг является пьяный старик, оказавшийся Петром Ермаковым, цареубийцей. (Время советское.) Вовремя заглянувший режиссер обрывает его грязные домогательства, но тут оскорбленного старика прихватывает сердечный приступ. Бросившись к телефону, чтобы вызвать «скорую», режиссер получает встречный звонок от своей возлюбленной, работницы местного райкома. У нее в кабинете, куда следом за режиссером врывается ревнивая студентка, происходит кульминация — режиссер принимает решение эмигрировать на историческую родину. На роль жены, естественно, избирается студентка. И вот в израильскую квартиру постаревших героев врывается арабский террорист. До этого в процессе семейного скандала жена де-

лает признание, что и замуж вышла, и в Израиль поехала, выполняя задание органов. Разъяренный супруг уходит, хлопнув дверью. Террориста убивает вбежавший за ним «дружинник». Бросившись помогать «раненому», женщина, вдруг постигшая, что все воюющие лишь «заблудившиеся дети», взрывается вместе с трупом. Вот такие пироги...

Обзор подготовила Мария Ремизова

В. «Звезда», «Нева»

Первый квартал текущего года питерские журналы отметили публикацией двух крупных романов.

«Там, где престол сатаны» (с подзаголовком **«Современный апокриф»**) — назвал свой **роман Александр Нежный** («Звезда», № 1, 2). Он составляет часть большого историко-эпического полотна, над которым автор еще продолжает работать. В 2000 г. уже была опубликована повесть «Мощи» — первая его часть. Нежный известен читателям как прозаик и как публицист, горячий сторонник чистого и бескорыстного служения Богу и страстный обличитель грехов как современной церковной среды, так и тех, кто, по его словам, «табуном» кинулись в купель. Герой нового романа — врач «скорой помощи». В очередной отпуск он поехал в заштатный дом отдыха и во время прогулки едва не утонул в болоте. Миг смертного ужаса заставил Сергея Ильича по-новому взглянуть на прожитую жизнь: бездарная женитьба, зачатое в нелюбви дитя, бесконечная изматывающая работа (хотя он не кто-нибудь, а врач, ежедневно спасающий людей — неясно, что уж тут-то дурного?), пьянство, безлюбая связь с малоприятной женщиной... Чудом выбравшись на сушу, он видит перед собой дивного старца со светлым ликом и сияющими очами (во сне ли, наяву — неизвестно). Но его слова про дверь, в которую Сергею Ильичу предстоит войти, где для него все «облегчится», окончательно переворачивают душу врача. Далее сюжет расслаивается на две основные линии — «земную» историю Сергея Ильича, встретившего, наконец, подлинную любовь, и на историю его духовного Воскресения. Эти линии то пересекаются, то идут параллельно. Да и как отделить встречу с чистой и доброй девушкой Аней, перевернувшей (еще раз) душу героя, от его духовного преображения? Аня, правда, изображена в столь неземных красках, что за ними довольно трудно разглядеть хоть какую-нибудь реальную плоть. Так и кажется, что человек столь сияющих добродетелей — не жилец, однако, противу всех ожиданий, роман Сергея Ильича с Аней вполне благополучен. Еще одна сюжетная линия — поиски главным героем причин и места гибели его деда, православного священника, сгинувшего в 20-х годах. И кое-что узнать ему удается: что пострадал тот из-за отказа открыть мучителям Завещание патриарха Тихона и что не последнюю роль в его гибели сыграл родной брат, «Иуда-Николай». Очевидно, что роман посягает на нечто большее, чем просто повесть о судьбе несчастного человека, однажды задумавшегося над своей жизнью.

Еще более обширный текст — полуфантастический, мистический, утонченный **роман Наталии Галкиной «Вилла Рено»** («Нева», № 1-3). Действие разворачивается в нескольких временных пластах — предреволюционные годы, оку-

танные поэтической дымкой; послереволюционные, когда «Вилла Рено», расположенная в финской Куоккале, становится чем-то вроде укрытого от житейских бурь заповедного места; современность (на том месте, где вилла стояла, снимается фильм о трагических послереволюционных годах). Герои как бы плавают в мистической дымке: им ничего не стоит, раздвоившись, перекочевать из 1916 года в XXI век, оставаясь одновременно в своем реальном времени. Фильм же посвящен, в частности, судьбе нобелиата академика Петрова, в котором легко угадывается знаменитый физиолог Павлов. Впрочем, и сам Павлов в тексте тоже упоминается — рассказ о его судьбе и яром неприятии советской власти нарушает элегическую ткань повествования. В романе приведены его письма Луначарскому, которые Павлов слал в тщетной надежде умерить творимые властью жестокости. Еще один персонаж — епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий. Его тюремное «дело», а также письма, адресованные следователю и наркому Калинину, относятся к документальному пласту романа. Но исторические факты и своих «подлинных» персонажей автор помещает в двоящийся, ускользающий мир полуфантастики-полугрезы.

«Диетическая смерть» Бориса Насонова (**«Лирическая хроника-сатира»** — по определению автора; «Нева», № 2) погружает читателя в совершенно иной мир. Вроде бы благополучному инженеру нежданно-негаданно открылась мерзостность собственной жизни. Случилось же это оттого, что врач отыскал у него кучу всяких болезней. Здоровье он не берег, пил напропалую, вот и осталось ему жить — по прогнозам медицины — всего ничего. Ужаснувшись, Василий Михайлович решил круто изменить свою жизнь. Стал активно лечиться. Не чем-нибудь, а уриной. «Хроника-сатира» в этой части полна самых натуралистичных подробностей, так что понятно, почему острый конфликт с соседями по квартире, где практикует свою уринотерапию Василий Михайлович, не заставил себя долго ждать. Герой меняет петербургское жилье на лачугу в какой-то заброшенной деревне, где жители считают его тронувшимся. Работу он, естественно, вынужден бросить и живет на деньги, полученные от продажи жилья. Зато теперь он рассчитывает прожить лет, по крайней мере, двести. Но вот Василия Михайловича отыскивает былой друг — и приходит в ужас от вида этой полуживой мумии, которая к тому же непрерывно изрекает нечто «возвышенное». Герой достиг своей нирваны: он свободен от мирских соблазнов, мысли его — исключительно о вечном... Но тут-то, увы, он и умирает. Причем труп даже не поддается воздействию инструментов патологоанатома — настолько он усох. Эта «диетическая смерть» противопоставлена свободной от любого воздержания жизни его друга, который после истории с несчастным экспериментатором решил предаться мирским страстям в полное удовольствие.

Любопытна **повесть Надежды Трофимовой «Третье желание»** («Звезда», № 3): жесткое письмо и ловко закрученная детективная интрига. Немец-предприниматель Эрих Риманн просыпается от телефонного звонка и узнает, что его жена, русская, убита в Петербурге, куда поехала погостить. Смерть ее таинственна — она не вернулась с улицы, выйдя выбросить мусор. Труп с перерезанным горлом обнаружен в мусорном ящике. Отчаявшийся муж ринулся на самостоятельные поиски убийц. Сразу же отыскалась помощница — некая Людмила. Она молода, обаятельна — и одинока. Людмила с Эрихом строят всевозможные планы рас-

следования, им кажется, что, вероятнее всего, в убийстве замешан коллега Эриха по бизнесу. Однако тот, оказывается, ни в чем не виноват. За время совместных поисков убийц Эрих успел привязаться к Людмиле и стал ее любовником. Он приглашает ее в Мюнхен — в качестве жены и матери осиротевших детей. Уже в Германии Людмила открывает своему уже почти законному мужу, что она и есть убийца. Когда-то она придумала сладкую сказку о прекрасном принце, который полюбит ее и увезет в Германию. Сказка реализовалась — но героиней ее стала не она, а покойная жена Эриха, с которой Людмила познакомилась совершенно случайно. Потрясенному Эриху не остается ничего другого, как убить Людмилу... Невозможно отделаться от ощущения очевидной «сделанности» сюжета — слишком уж ловко детали пригнаны одна к другой.

Полную противоположность такого рода письму составляет **«путевой роман» Сергея Штерна «Ниже уровня моря»** («Звезда», № 3). Это совершенно «непричесанная» проза о Голландии и голландских диковинках, вроде города Мауродана, занимающего площадь всего 400 на 400 метров, однако вмещающего всю Голландию в миниатюре. Этот удивительный чужеземный мир, где все так непохоже на родные просторы, автор подает как сказку, воплотившуюся в реальность.

Рассказ Виктории Беломлинской «...Где пасешь ты? Где отдыхаешь в полдень?» («Звезда», № 2) поражает сюжетной непредсказуемостью. Одинокую до беспредельности американку (русскую по происхождению) изнасиловал какой-то подонок. Но ужас, обуявший несчастную, постепенно сменяется тоской. Она задумывается: кто этот насильник? Может, он такой же одинокий человек, может, именно ему она смогла бы, наконец, рассказать о себе всё — ведь на какой-то миг она стала ему желанна...

Рассказ Нины Катерли «Дети» («Нева», № 2) описывает два поколения несчастливых, но вовсе не несчастных женщин: у каждой есть дочь, пусть обе выросли без отца, зато оказались хорошими и заботливыми. Читателю уготован неожиданный хеппи-энд — внучка выходит замуж за хорошего парнишку, своего бывшего одноклассника. В этот незамысловатый сюжет встроен незамысловатый же национальный акцент. Фамилия жениха — Орбелян, а в классе, где учились жених с невестой, царил дух ксенофобии. Бабушка же еще до войны работала нянькой в еврейской семье и с тех пор все никак не возьмет в толк, чем плохи евреи и откуда в людях столько злобы против инородцев.

Дина Макарова в автобиографической **повести «Судьба? Судьба...»** («Нева», № 3) задалась целью рассказать о необычных, а то и драматических случаях из собственной жизни, за которыми ей отчетливо видится перст хранящий ее судьбы. В судьбу она верит твердо и повествует о многих случаях своего чудесного спасения, о том, как судьба отводила от нее разные напасти, болезнь и даже смерть.

Весьма интересны и насыщены фактами исторические изыскания профессора **Б. В. Анисимова «Город царь»** («Звезда», № 1-3, продолжение следует). Жанр их охарактеризовать трудно — тут и публицистика, и ученые изыскания, и эссе, и даже лирика. Многолетний исследователь петровского времени считает, что царь-новатор был первым правителем в русской истории, кто в таких масштабах стал использовать труд заключенных (и первым же убедившийся, насколько он неэффективен). Труд каторжан использовался со времен Азов-

ского похода, на строительстве же Петербурга — лишь в первые годы. Автор уточняет и крайне противоречивые цифры человеческих потерь при строительстве города, источником этих сведений обычно служат документы, оставленные иностранными путешественниками и дипломатами. Петр, впрочем, с жертвами ради великой цели не считался. Трудностей же было немало: и место неудачное, и природных залежей стройматериала поблизости нет, и местное население сплошь нерусское...

Обзор подготовила Евгения Щеглова

2. Литературная критика

С размышлениями **О СОСТОЯНИИ ЛИТЕРАТУРЫ — «Нулевые годы: ориентация на местности»** выступил в «Знамени» (№ 1) главный редактор журнала **Сергей Чупринин**. Он печален: литературу разлюбили. Ею — делая исключение для нескольких раскрученных имен — больше не интересуются. В этой ситуации литераторы живут, окуклившись, в режиме самосохранения, выработав собственный, внутрикорпоративный язык и адресуясь на нем не столько к читающему сословию, сколько друг к другу. Важный элемент внутреннего общения — премии. Литературное сообщество премиями подает сигналы скорее своим членам, чем публике. Основными («системными») Чупринин называет русский Букер, премию Андрея Белого (показывающую, кто есть кто в том сегменте литературного пространства, где заняты художественными провокациями и инновациями), премии Союза писателей России (присуждаемые профессиональным патриотам со справкой), президентские и губернаторские премии (позиционирующие себя как премии государственного признания и общественного резонанса), премию имени Аполлона Григорьева (претендующую на то, чтобы быть экспертным подтверждением гамбургского счета), жанровые и ведомственные награды, «Триумф» и, может быть, Пушкинскую премию фонда А. Тепфера (указывающие, кто нынче числится в своего рода VIP-клубе публичных знаменитостей). Присуждение премий часто выглядит как неприятие успеха, материализованного в цифрах продаж и в интенсивности медийных откликов на ту или иную книгу. Система литературных премий 90-х зиждится на идее тотального сопротивления рынку. Далее Чупринин дает два разных прогноза. Первый: чем далее, тем более архаическими будут казаться публике как идеологический, так и собственно эстетический подходы к оценке литературных произведений, уступая место единственному критерию — коммерческой успешности или, наоборот, неуспешности того или иного текста, автора. Издательства хотят издавать только бестселлеры. И публика готова читать только бестселлеры. И никому уже не странно, что на витринах повышенного спроса соседствуют Толстая, Пелевин, Проханов, Акунин, Сорокин, Улицкая и Лимонов. Они — не властители дум. Они — почувствуйте разницу — звезды. Второй: оформится оппозиция «гипербуржуазное — антибуржуазное», и здесь людям толстожурнальной культуры уж точно не будет места. Особенно страшит Чупринина тот факт, что слишком сильно звучат в литературе голоса, от которых рукой подать до классических вопросов бессмысленного и беспощадного русского бунта: кто виноват и с чего начать? Это —

и в масслите, это — и у новых левых, которые «повсюду слышат музыку революции, — и в шабашах скинхедов, и в выходках нацболов, и во вспышках терроризма, и в антиглобалистском протесте, и в «Господине Гексогене» Александра Проханова. Пунктом схождения оказывается воинствующая антибуржуазность. И не так уж важно, какими мотивами движима эта антибуржуазность: сугубо бытовая, замешенная на зависти к чужому успеху — у творцов и персонажей отечественного масскульта, демонстративная, насквозь пропитанная политикой — у коммуно-патриотов и декоративная, продиктованная не столько даже подростковой фрондой, сколько стремлением попасть в кильватер западной интеллектуальной моды — у наших новых левых». Себя как редактора Чупринин приучает к стоицизму.

На эту статью 28 января во «Времени новостей» откликнулся **Андрей Немзер** (**«О вреде «самообслуживания»**), попенявший Чупринину: рано де впал тот в отчаяние. Лучше повременить. Похоронщиков (тянущих одеяльце на себя либо боящихся отстать от комсомола) без нас хватит. А на песке строим мы дом или на фундаменте великой традиции, покажет время.

Проблемы существования литературного текста в современном мире, его восприятие читательской средой, вопросы о позиции писателя, о восприятии им собственных целей и задач поднимают **Борис Дубин** и **Наталья Игрунова** в весьма содержательной беседе, озаглавленной **«Обрыв связи»** («Дружба народов», № 1). Взаимная растерянность как прозаиков, так и «средних читателей» в 90-е гг. стала, по мнению Дубина, главным фактором, вызвавшим разрыв между теми, кто литературу создает, и теми, кто ее читает. Писатель перестал отвечать на главный, интересующий среднего человека вопрос — что ему делать в своей, здесь и сейчас идущей жизни? Писатель оказался не готов дать такой ответ даже самому себе. Текстом, наиболее «знаковым», свидетельствующим «о времени с возможной полнотой и глубиной», Дубин считает «Андеграунд» Маканина. Но это, скорее, оценка симптоматики, нежели высшее признание художественных заслуг («... это уже выброс желчи, слежавшейся до такой степени, что превратилась в камень. Пусть даже камень полудрагоценный, но все-таки это желчь. Во многом с романом Маканина, явлением заметным, это и произошло. Это случай, когда то, из чего делалась литература, задевающая сердца, мысли и души, дошла до состояния окаменевшей желчи», — считает Дубин). Он также констатирует отсутствие у современного общества какой бы то ни было тяги к рефлексии, оттого любое культурное событие может восприниматься лишь в категориях «модного», то есть с отработанным пиаром, либо «несуществующего». Дубин сравнивает вектор общественного сознания постперестроечной России с положением Германии после войны — и приводит доводы в пользу значительной продуктивности последней, поскольку уровень осмысления прошлого и индивидуальных духовных поисков немецких писателей и мыслителей не идут ни в какое сравнение с картиной, которую мы наблюдаем в отечестве.

Характеризуя стратегии современного издательского процесса, Дубин сетует на самоубийственную, с его точки зрения, линию поведения литературных журналов, которых должно быть, во-первых, «на два порядка больше», а во-вторых, уровень культурологической и критической рефлексий, их накал должны быть совершенно иными. Необходима полемика и альтернатива (и тут

трудно не согласиться — вот только вечный тошнотворный вопрос: где взять проклятые деньги, если их дают под что угодно, кроме серьезных и отвлеченных рефлексий?..). Также он отмечает, что и по сей день книжный рынок отвечает на «дефициты», сложившиеся еще в советское время. В частности, этим объясняется триумфальное шествие по читательским умам всевозможной переводной литературы (Дубин приводит список наиболее модных зарубежных авторов с не лишенными остроумия характеристиками, как и почему занята каждая из позиций)... Жаль, что собеседники остановились на уровне констатаций. В беседах такого уровня ждешь хоть каких-нибудь прогнозов...

А **СУДЬБАМ САМОГО ОБРАЗОВАННОГО КЛАССА**, литературу производящего и литературу потребляющего, посвящено несколько материалов.

Поскольку разговор ведут критики, речь, естественно, держится около современной литературы. Во всяком случае, **Мария Ремизова** (**«Астенический синдром»** — «Октябрь», № 3) рассуждает о предмете, обращаясь к «Крокодилу» Владимира Кантора и «<НРЗБ>» Сергея Гандлевского. В статье же **Евгения Ермолина** (**«Идеалисты»**: «Новый мир», № 2) больше говорится о проблемах глобальных — об интеллигенции вообще, а ссылки на литературные произведения (по крайней мере, солидная часть их) внятны разве что коллегам-филологам. При всем том оба автора, в сущности, пишут об одних и тех же грустных вещах, происходящих с обществом, а стало быть — и с литературными героями. Расходятся же они, тем не менее, в весьма важном пункте — в определении того, что же есть интеллигенция. Вопрос этот и в самом деле животрепещущий, ибо, как метко замечает Ермолин, «деликатность ситуации связана с тем, что писатель обычно считает себя интеллигентом». Добавим от себя: читатель тоже. К чести обоих авторов следует признать, что они не кокетничают с публикой и к «воплощению тревожной и взыскательной осевой духовности» (Ермолин) решительно относят и себя.

Называя интеллигенцию «драгоценной жемчужиной, выращенной темной ракушкой российской истории», Ремизова выбирает определение, данное в романе Бориса Житкова «Виктор Вавич»: интеллигенция — единственное сословие, способное во имя других действовать против собственных интересов. Если, указывает критик, до пролетарской революции интеллигенция была именно такой, то понемногу она научилась совмещать «бескорыстный трепет идеализма с умением вовремя ломать шапку», а позднее — ко времени Трифонова, а затем и Битова — и вовсе брезгливо, как явную безвкусицу, отмела ориентацию на общественное служение, подойдя к новым временам уже существенно перерожденной и занятой исключительно самой собою. Далее на примере названных «постперестроечных» романов Кантора и Гандлевского автор показывает, как то, что некогда называлось *интеллигентом*, превратилось в то, что некогда называлось *маленьким человеком*. В финале статьи выставлен неутешительный диагноз: интеллигенция в прежнем ее понимании приказала долго жить.

«Интеллигенция бессмертна!» — решительно возражает Ермолин, чья статья оснащена именно таким подзаголовком. Правда, в определении, что же есть интеллигенция, этот автор несколько непоследователен. С одной стороны, он превозносит сей «бродильный фермент ищущего духа» и что-то намекает про соль, которую, де, опресняют (далась же «Новому миру» эта соль! — из номера

в номер гуманитарии рвутся занять свое место в широком апостольском кругу; у Ермолина даже еще проще: «русские интеллигенты — дети Божьи». Все прочие, надо полагать, чьи-нибудь еще дети). С другой стороны, Ермолин без ложной высокопарности называет интеллигентом любого человека, обращенного «к вечным проблемам и проклятым вопросам бытия». И в этом смысле «интеллигент — он всегда в *первом* поколении» и «в современной литературе к интеллигенции имеет <...> отношение "всё, что шевелится". Включая идейных мракобесов... В конце концов, никто же ни разу еще не сказал, что интеллигенция всегда права...» Если поминать соль, которую опресняют, противоречие налицо: к идейному мракобесию ту «соль» относили разве что коммунистические мракобесы. Да и вообще статья Ермолина грешит некоторой небрежностью, некоторым академическим высоколобием, забывающим, что читатель не обязательно знаком с предметом так же хорошо, как и автор. И все же прав именно Ермолин, не требующий от интеллигенции особого самоотречения: она-таки бессмертна. Однако же права и Ремизова: интеллигент теперь «НРЗБ, что он есть на самом деле... » И опять прав Ермолин: «Маргинальность для интеллигенции естественна». Оба — правы.

...Бывают пары, подобранные специально. А бывает, что две статьи лягут одна подле другой совершенно случайно, да так и останутся неразлучны. Более того, оттенят друг друга и вдруг невероятно укрупнятся и приобретут характер едва ли не манифестов... Так, на наш взгляд, случилось в номере, где непосредственно соседствуют А. Латынина и Е. Ермолин («Новый мир», № 2).

Рассуждения о бессмертии интеллигенции следуют сразу за статьей литературного критика **Аллы Латыниной «Этническая данность, именовавшаяся Россией»** (по поводу «Второй чеченской» Анны Политковской). Не станем задерживаться на деталях, на конкретных претензиях автора к книге: они имели бы значение, не будь главного. А вот главное процитируем — и даже подчеркнем: «Во время теракта в Москве политики и журналисты твердили как заклинание, что "нет ничего выше человеческой жизни". *Но только те государства, нации, цивилизации сохранялись в истории, которые готовы выше человеческой жизни ставить иные ценности. Веру. Воинскую честь. Достоинство личности*». Оборвем цитату, ибо сказанного достаточно. Даже и комментировать как-то странно. И вообще странно, когда за человеческие жертвоприношения ратуют во имя веры. Забавно: кто-то за человека принял крестную муку, кто-то сделал эту крестную муку основой своей Веры, а кто-то верит так сильно, что за эту самую Веру любого распять готов...

Какая все-таки подобралась пара!.. Интересно, что девиз, которым Ермолин наделяет своего интеллигента, «творца смыслов и идей, собеседника вечности», — «бороться и искать, найти и не сдаваться!» — почерпнут, если кто не помнит, из «Двух капитанов», то есть, говоря по-сегодняшнему, — из «Норд-Оста»! Нарочно такое не придумаешь...

Олег Дарк в статье **«Оставшиеся живыми»** (http://www.russ.ru/krug/20030128_dark.html) признается: «Я вдруг заметил, что мои положительные реакции на произведения современной русской литературы вызывают только авторы-евреи, или гомосексуалисты, или женщины... Это происходит само собой (я не хотел)». А всё потому, поясняет критик, что в занятиях литературным

творчеством есть ныне что-то ущербное. К этому названные категории граждан лучше приспособились.

ИТОГИ ЛИТЕРАТУРНОГО ГОДА подвели несколько критиков во втором номере «Дружбы нардов».

Евгений Ермолин (**«Цена опыта»**) сетует на то, что «в литературе нашей слишком мало реального движения, реальной новизны», что «лирическо-исповедальные темы», кои порой обнаруживаются в отечественной прозе, фиксируют, как правило, «сюжет поражения», которое склонны глобализировать, тогда как на самом деле речь идет о фактах конкретной личной биографии: писатель выдает «личные невзгоды за нечто более сущностное». В качестве характерного примера приведен роман Гандлевского «<НРЗБ>», где автор «слишком даже грубо для прозаика, но вполне уместно для поэта развенчивает статус литератора». «Все мы ничтожны, — готов согласиться критик. — Но не всякий раз эта ничтожность становится итогом жизни». В таком повороте литературных событий Ермолин усматривает признаки «модной болезни» — «Назовем ее старомодно: капитулянтство». Симптомы означенной болезни (в том или ином аспектах) критик усматривает в наиболее заметных событиях прошедшего года: в пьесе Галковского «Друг Утят», в скандалах, связанных с присуждением роману Проханова премии «Национальный бестселлер» и с попытками возбудить уголовное дело против Сорокина... В то же время молодому поколению, по мнению критика, нечего противопоставить унынию, поразившему старших товарищей. Даже то, что прокламируется как *манифест* (например, повесть Сергея Шаргунова «Ура!»), — слишком похоже на одиночный выкрик, к тому же слишком далеко от сколько-нибудь глубокого понимания жизни, да и художественные достоинства невелики. (Впрочем, критик тут же — видимо, от испуга задавить *молодое и неокрепшее* — произносит несколько поощрительных «может быть»...) Тем не менее кое-что Ермолина в истекшем году все-таки искренне порадовало — рассказы Маканина «Неадекватен» и Малецкого «Копченое пиво», повести Геласимова «Жажда» и Арнольда Каштанова «Каньон а-Шарон», роман Азольского «Диверсант». Все эти произведения ценны для критика тем, что — каждое по-своему — фиксируют «опыт сопротивления».

Елена Иваницкая (**«Поджигатели и летописцы»**), несколько некстати порассуждав о том, к каким тяжким последствием может привести введение в школе уроков закона Божия и сколь тягостной становится в нашей стране жизнь *атеиста* (будто и не подозревая, что человеку любых *убеждений* ни в каком социуме не сладко), и раздав дежурные оплеухи изготовителям масскультного ширпотреба (зачем, Бога ради, читать этот м/к и мучиться?), к середине статьи, наконец, сконцентрировалась и подвела итоги. Удовлетворение критика вызвали опубликованные романы Шарова «Воскресение Лазаря»и Валерия Исхакова «Легкий привкус измены» и читанные в рукописи романы С. Витицкого и Дмитрия Быкова, рассказы Долгопят и Вишневецкой. Брезгливое отвращение — присуждение Букера «Карагандинским девятинам» Олега Павлова. Иваницкая пеняет критику Ремизовой — зачем, мол, хвалить такую «нечитабельную» вещь. Ругает также повесть Сенчина «Нубук», язвительно прозревая в авторе будущего букеровского лауреата.

Владимир Губайловский (**«Место для обгона»**) признается, что читает прозу фрагментарно. Больше всего понравился «<НРЗБ>» Гандлевского («книга, важная... для понимания литературной ситуации конца XX века»), а также «замечательная, редкая, пограничная с поэзией и музыкой» повесть Анатолия Гаврилова «Берлинская флейта». Отмечены рассказы Бутова и Дмитрия Шеварова. Из поэзии отмечены книги Татьяны Бек, Дмитрия Быкова, Ирины Ермаковой, Сергея Стратановского и антология «Стихи тридцатилетних» (Максим Амелин, Дмитий Воденников, Михаил Гронас, Борис Рыжий, Глеб Шульпяков и др.). В финале — косвенное возражение Ермолину: от прошедшего года у критика «главное — это ощущение подъема».

Андрей Урицкий (**«Не ленитесь читать, господа!»**) солидаризуется с Иваницкой в неудовольствии букеровским выбором и называет своего фаворита — это снова роман Гандлевского, конкуренцию которому, по его мнению, мог бы составить только роман Леонида Костюкова «Великая страна», который, переживает критик, «даже не вошел в шорт-лист». Урицкий поощряет вошедших в литературный обиход молодых прозаиков — Бабченко и Алексея Лукьянова, Геласимова, Шаргунова и особенно Дениса Осокина. Восхищается повестью Анатолия Гаврилова, повестями Георгия Балла и Хургина. Комплимент со шпилькой в сторону Маканина, «у которого писать получается гораздо лучше, чем присуждать премии» (Маканин был председателем Букеровского жюри), — речь о рассказе «Неадекватен». Признаки письма, близкие к гениальности, обнаружены критиком в романе Олега Юрьева «Новый Голем...». Одобрена книга прозы Павла Мейхласа «Избранник». Общий вывод — «с литературой в России все в порядке».

Постоянный сюжет критики — **ПРЕМИАЛЬНЫЙ**. Часто к нему обращается **Михаил Эдельштейн** в «Русском журнале». В статье **«Без вариантов»** (http://www.russ.ru/krug/20030206_edel.html) он рассуждает о премии имени Белкина. Ему не нравится премированная в прошлом году проза Бабаяна («средний сюжет, средний язык, средние философствования среднего героя»), и «соседи по шорт-листу у Бабаяна были точь-в-точь такие же никакие — Дмитриев да Славникова». Далее критик оценивает прозу нынешних финалистов. После прекрасной повести про Фокса Малдера Геласимов пошел в тираж. Схема вместо жизни. Многозначительность вместо многозначности. Гипс с этикеткой «мрамор». Критику Андрея Геласимова жалко. Так все хорошо начиналось. Об Асаре Эппеле сказано так: «Есть такие писатели, которые слишком буквально поняли чеховскую мысль, что писать можно о чем угодно. И пишут. Неплохо пишут, надо признать. Очень многословно, конечно, избыточно, с украшательством и всяческими завитушками, но это уже дело вкуса. Существует же ложноклассицизм, почему бы не быть и ложнобарокко?» О Марине Вишневецкой: «Слишком сложно отрешиться от мысли, что, читая прозу Вишневецкой, мы сопереживаем не «правде текста», а «правде жизни», что главное здесь — материал, а не художественное видение автора». О повести Ильи Кочергина «Помощник китайца»: «автор, не довольствуясь автопортретом, претендует на создание очередного «Героя нашего времени», и ничего хорошего из этого, как водится, не выходит».

В том же «Русском журнале» **Эдельштейн («Аполлон не разобрал «НРЗБ»**: http://www.russ.ru/krug/20030307_edel.html) печалится, что неграмотные академики АРСС не дали премии имени Аполлона Григорьева Сергею Гандлевскому. Не тем, не тем начали там давать премии. (Подвергнуты критике В. Павлова и А. Дмитриев). «Хотя, если подумать, все получилось как нельзя более логично. С. Гандлевский написал слишком хороший роман, А. Геласимов стилистически чересчур индивидуален и не похож на толстожурнальные образцы, а вот М. Вишневецкая... М. Вишневецкая в самый раз». См. также его статью **«А армию распустить...»**: http://www.russ.ru/krug/20030108_edel.html.

Гораздо более благожелательна к Марине Вишневецкой **Анна Кузнецова («А.А.К. (опыт радости за другого»)**: http://www.russ.ru/krug/20030324_kuz.html). То, что Марина Вишневецкая получила две премии не за повесть «А.К.С. (опыт любви)» из книги «Опыты», а за всю книгу, не вызывает у критика сомнений. «Мое восхищение! Прежде всего — замыслом книги. Во-вторых — исполнением, конгениальным замыслу». Каждая из миниатюр Вишневецкой — синтез повести Пушкина с фрагментом Монтеня, а вернее, Паскаля, поскольку передает экзистенциальный опыт. Так считает критик. А вот у Гандлевского в «НРЗБ» описана жизнь поэтической тусовки — кому это интересно, кроме самих литераторов? На большое обобщение не выходит — да и не претендует, вот уж точно «литература для своих».

Весьма, весьма одобрительно пишет о премированном опыте Вишневецкой «А.К.С. (опыт любви)» и **Майя Кучерская («Последняя любовь Ивана Петровича»**: http://www.russ.ru/krug/20030213_kuch.html). Подзаголовок «опыт любви» — очень точен. Перед нами именно опыт, глубинное проживание, сердцем, кожей, печенками — любовного чувства. Ни надрыва в интонации, ни вычурности и излома в стиле (которые то и дело помелькивали в более ранних вещах писательницы) здесь нет. Теперь Вишневецкая берет другим. Неподдельностью. Создаваемый ею мир настоящий, в нем немыслима фальшь.

Ну а самый забавный отклик на присуждение премии Григорьева Марине Вишневецкой принадлежит писателю **Сергею Солоуху («Шинель на вешалке»**: http://www.russ.ru/krug/20030312_sol.html). Качество прозы сей автор оценивает исходя из критерия: стоит или не стоит. Далее уместна только цитата. «...финальный дуплет Марины Вишневецкой надежду перечеркивает. Читать о людях, у которых не стоит и даже не пытается, невыразимо скучно. Что-то вроде концерта органной музыки, где ни кашлянуть, ни пукнуть. Учебно-тренировочная смерть. Из этого сделать что-то изящное, то есть словесность, трудно, невероятно сложно, но коллега и не пытается. Халва, халва, халва. Рецепт известен и проверен. Описки вычистит корректор. Тоска. Пугает, как задачник профессора Сканави, быстрее посмотреть ответ и бежать. Пивка попить да на девчонок поглазеть. Четвертак отвалили не за письмо, не за гармонию, открытую посредством ритма, а за высокое. За стойкое убеждение в том, что смех великий грех. А добро потустороннe. Как шиш в кармане». Нравится же Солоуху Геласимов.

Как всегда, много материалов посвящено **ПРОЗЕ** и отдельным **ПРОЗАИКАМ**.

Михаил Эдельштейн в статье **«Куда расходятся тропки?»** (http://www.russ.ru/krug/20030327_edel.html) рассуждает о перспективной тенденции в литерату-

ре. Она для него связана с именами Олега Ермакова, Светланы Шенбрунн, Михаила Шишкина, Александра Чудакова и Сергея Гандлевского. Основная проблема не в том, чтобы сочинить и рассказать еще одну историю еще одного человека и получить в результате еще один рассказ или роман, а в том, как эту историю обосновать, как ее ввести, если угодно — как ее оправдать. Все перечисленные авторы работают с автобиографическим, документальным материалом, но всеми ими руководит осознание того простого факта, что жизненный опыт напрямую в художественное произведение не конвертируется. Быт должен быть литературно оформлен и — опять же — оправдан, так же, как и текст не имеет смысла без экзистенциального наполнения. «...самый значительный прозаик 90-х, М. Шишкин, прошел по этому пути дальше всех».

Поразмыслил критик и о «новой средней прозе» (http://www.russ.ru/krug/20030313_edel.html). Литературные 90-е были временем хорошистов. Хорошистов, которых критики (и едва ли не в первую очередь А. Немзер) старательно тянули в отличники и медалисты, — ни дать ни взять, школьные учителя перед выпускными экзаменами. Новые средние пишут не словами, а готовыми представлениями, готовыми блоками. Их произведения слеплены из того, что уже не однажды было в употреблении: из готовых типов, готовых психологических решений, готовых сюжетных ходов. А главное — из готовых идей. «Между тем, всерьез анализируя роман В. Маканина, обсуждая прозу О. Павлова или награждая А. Дмитриева, М. Вишневецкую, критик занимается медленным самоубийством».

Есть разные мнения о прозе Юрия Мамлеева. **Михаил Золотоносов («Подполье вышло наружу»**: «Московские новости», № 10) усматривает пророчество в том, что в философском романе 60-х гг. «Шатуны» русский мир изображен как бессмысленный и беспощадный мир монстров. Каков мир, таков и этот философский роман: мрачен, безнадежен, психиатричен и местами рвотен.

А **Леонид Костюков** в журнале «Знамя» (№ 3; **«Форма пустоты»**) изложил свои впечатления нелицеприятно. «Вот угораздило же человека родиться в России с умом и талантом. Талантом, разумеется, отчетливо литературным. И, что делает ситуацию трагической, с пониженным нравственным чувством <...> Получается экспортный вариант ужаса русской обыденности — такой же лубочный, как весь наш экспорт с арбатской отдушкой. Получается: пошло, гнусно, гадко». Ограниченный арсенал достоинств ведет к ограниченности (нравственной, жанровой, интонационной) самой прозы. Эстетика Мамлеева ущербна тем, что никак не связана с его внутренним миром. А с дольним миром связана крайне слабо. Через жест подглядывания. «Мамлеев востребован. Теми, кто предпочитает так — отсюда — понимать европейскую традицию. Теми, кто предпочитает так — не только оттуда — видеть вырождение русской литературы».

Дмитрий Бавильский в сетевом «Топосе» 28 февраля в статье **«Записки покойника»** избирает совсем другую тональность в разговоре о романе Ильи Масодова «Черти». Объективизм на грани обморожения. Примечательность книжки Бавильский связывает с тем, что в ней скрещиваются несколько модных дискурсов. С одной стороны, все тот же Мамлеев и Сорокин с ходячими покойниками, зомби, со всяческой нечистью («люди с песьими головами, полусъеденные труппы, полусгнившие старухи, монстры всех мастей, копрофаги, насильники и каннибалы. Ленин, опять же, таки»). Все едят друг друга поедом,

насильничают самыми извращенными способами, бьются за свою мертвую жизнь, нагнетая буквенные ужасы до самой последней стадии. С другой стороны, в сцепке с трупаками Мамлеева и извращенцами Сорокина встают писатели, экспериментировавшие с альтернативной историей, — Владимир Шаров или Павел Крусанов. «Не за горами, видимо, ситуация, когда весь школьный курс новой и новейшей истории, обрастет такими вот текстами, описывающими разные периоды истории России в таком вот фантасмагорическом ключе», — констатирует критик. Значительность же роману в конце концов придает «ненависть Масодова к большевизму». Она «делает этот, далекий от политики и общественной надобы, текст, настоящим публицистическим произведением, яростным памфлетом, изобличающем системные пороки нашего коммунистического прошлого. Кто бы мог подумать, что извращенцы, получающие за свой тексты предупреждения от минпечати РФ, тоже, оказывается, думают о судьбах Отечества», — ехидничает Бавильский. Масодов реконструирует оптику ненависти, градус неприятия всех этих чудовищных социальных экспериментов.

Другая статья **Бавильского** на «Топосе» (Знаки препинания №38: **«Приключения дискурса»**; 19 февраля) посвящена роману Павла Пепперштейна «Мифогенная любовь каст», которыой он считает «самой культовой из нечитаемых книг». Текст этого романа есть насквозь рассудочная конструкция, придать ему хоть какую-то глубину можно только путем привлечения модного контекста. Тем более, что и сам роман претендует на то, чтоб стать модной прозой, и становится, по Бавильскому, «Сначала появился первый том «Мифогенки», написанный Павлом Пепперштейном в соавторстве с Сергеем Ануфриевым — уникальная «Война и мир» начала нового века. История Великой Отечественной войны была описана там как метафизический поединок сказочных персонажей. За Россию здесь выступают фольклорные персонажи, за фашистов — авторизованные, типа Карлсона. ...«Мифогенка» так и построена — шаг за шагом, битва за битвой — всё, как и было в исторической действительности, но только здесь все это показано с точки зрения метафизической изнанки, где узелки да схема вышивки». По аналогии Бавильскому опять приходит на память имя почитаемого им Сорокина, новаторство всех названных авторов критику видится в том, что у них «становятся возможными... пустотные высказывания, когда совершенно неважно, что происходит в книге на уровне сюжета, главным событием здесь всегда является письмо <...> совершенно неважно, что происходит в книгах такого рода. Здесь нет ничего, кроме самодостаточного процесса чтения, единого и неделимого, кроме одной только этой голой процессуальности, отделённой от катарсиса и смысла». «...Главная тема романа «Мифогенная любовь каст» — формирование какого-то конкретного дискурса, его рождение и отмирание, его функционирование и распадение. Это тональность, настроение, особость только лишь одного текста, в рамках которого, на сочленении и перепадах внутреннего стилистического давления, и возникает нечто, которое иначе как мифогенным дискурсом обозначить невозможно», — щеголяет ученостью критик.

Ольга Рычкова в «Литературной России» (№ 6) в статье **«Одиночество в раме, или Культура как духовное испражнение»** копается в этаких, прости Господи, испражнениях писателя Андрея Белозерова и похваливает его за бесстыдную откровенность. «Мир испражняется!» — вот правда жизни.

Андрей Немзер 16 января откликнулся на выход в свет первого изданного в России сборника рассказов Евгения Попова, «Веселие Руси» (**«И никакой не памятник»**). И хотя в давних рассказах весьма важна атмосфера семидесятых, сводить их к «историческому свидетельству» не стоит. И к ностальгии по собственной молодости тоже. Потому, что настоящая проза, как бы ни была укоренена она в своей эпохе, со временем не стареет, а крепчает. «Потому что не перевелся покамест еще русский народ и продолжается наше веселье. Сами знаете какое».

С еще более принципиальным посылом **Немзер** 12 марта пишет о новом романе Б. Акунина «Пелагия и красный петух» (**«Совсем не благая весть»**). Пробил час, получили мы Евангелие от Бориса (Акунина). Там важно, что Воскресения не было, а апостолы и наследовавшие им «попы» две тысячи лет добрым людям голову морочили и тем самым земное зло умножали. Немзер реконструирует мотивации автора романа. Ну, нравится кому-то тешить себя сказками — что с детишек возьмешь. Вот и расскажем им сказку — но не про Бога и Христа Распятого (слишком много из этой апостольско-поповской выдумки зла произошло — хотя грезилось-то им хорошее), а про тихого, доброго, проницательного мудреца и созданную для любви деву. Увлекательную и информативную сказку можно принять за «правду». Ну и пусть думают, будто знают, «как все это было на самом деле». Было-то всегда, в сущности, одно и то же — хождение на поводке, страх, злоба, глупость, мнимые спасители человечества — либо корыстные, либо (того хуже) приверженные какой-нибудь идиотской Идее. А приди к этим настоящий мудрец — опять напортачат. Как апостолы в Иерусалиме. А спасать-то никого не надо. Разве что, если уж очень захочется. Надо жить, как живется. По своей доброй воле и без всякой там «божественной» («поповской») чуши. Чать, взрослые — неужто без вселенского городового враз освинеем?.. По поводу этакой логики Немзер вспоминает аж «Краткую повесть об Антихристе» Соловьева. «Евангелие есть Евангелие, Благая Весть. Весть «от Пелагии», «от Митрофания», «от Бориса», «от Григория», да хоть «от Михаила» или даже «от Льва» — не благая. В конечном счете это всегда злая ложь от того, кого Булгаков назвал Воландом. Если я не прав, а автор проекта «Борис Акунин» просто в игрушки играет (в великие писатели рвется, деньги зарабатывает, гусей дразнит), то и слава Богу. Господь романов не читает (оклеветанный в «Красном петухе» апостол Петр тоже), судить литератора за сказки — глупо и пошло, потребители метрошного чтива о душах своих сами заботиться должны... Но почему-то грустно. Очень».

Вообще, новый роман Б. Акунина — популярный предмет критического анализа. В «Русском журнале» **Алексей Данилевский («Б. Акунин и Благая Весть»**: http://www.russ.ru/krug/kniga/20030320_dan.html) акцентирует факт явления в романе Акунина Мессии — собственной персоной в Россию конца XIX века, чтобы рассказать о случившемся 1900 лет назад. Постепенно увлечение автора новой Благой Вестью приводит к тому, что он забывает о своих героях, и они выходят за рамки отведенных им ролей. По сути, роман о Красном петухе является как Евангелием, так и историей любви, которой Пелагии так не хватало. Но любви особой — к Нему. Ведь как-никак, монахиня — Его невеста. А Он тут как тут: я, говорит, Эммануил, и все в вашем Евангелии перепутано.

Дмитрий Бавильский в статье **«Двести лет вместе-2»** (http://www.russ.ru/krug/20030328_bav.html) полагает, что этот автор мечется, подобно своей героине-инокине, между сугубым серьезом традиции и беллетристической развлекухой. Акунин только все время прикидывается, что развлекает. На самом деле задачи у него куда более существенные, серьезные: приучить русскую литературу к беспафосному существованию. И в этом, наряду с Владимиром Сорокиным и Виктором Пелевиным, он — один из самых важных современных литераторов. Беспафосное бытование художественных текстов между тем совершенно не отрицает наличия общественной позиции — и у Сорокина, и у Пелевина, и, тем более, у Акунина ее более чем достаточно. Нынешняя реальность, жгучая, как чилийский перец, вот что ставится им во главу угла, вот что более всего интересно в его книгах. Роман можно прочитать как акунинский ответ Солженицыну, его монографии о совместном существовании двух народов.

Сергей Кузнецов (**«Господин Зло»**: http://www.russ.ru/krug/20030320_kuz.html) замечает, что Чхартишвили, вероятно, с самого начала знал, что делает: он выбрал в героини монашку не для того, чтобы поддержать институт ухода от мира, а чтобы решительно его осудить. Чтобы, построив роман вокруг православного христианства, предложить пересмотреть Новый Завет в пользу новейшего. Кузнецов, впрочем, не собирается защищать православие, христианство и Новый Завет («и потому, что не считаю себя православным христианином»). Он просто полагает, что и Акунин — не православный писатель. Трудно быть православным, когда твоя фамилия по-японски значит «злодей». «Так что да, возможно, правы ревнители истинной веры — без сатанизма здесь не обошлось. Впрочем, даже если и так — мало ли писателей заигрывали с Князем Мира Сего? Акунин все ж таки не Мальдорор и не де Сад: дурному не учит».

См. также: **Андрей Ранчин «Четыре заметки о «Приключениях Эраста Фандорина» Бориса Акунина»** (http://www.russ.ru/krug/20030319_ran.html и др.).

Квазисакральные контексты всплывают и у **Андрея Урицкого**, рассуждающего о прозе Олега Юрьева. В статье **«Переодевания, размышления, приключения...»** («Знамя» № 3) критик разбирает роман Юрьева «Новый Голем, или Война стариков и детей». С прозаиком критик солидаризируется в неприязни к Америке, ввиду ее чрезмерных, как кажется Урицкому, амбиций. В романе же он видит мениппею. И бежит перечитывать Бахтина, который загодя заготовил ключ к новейшей прозе. В романе Юрьева под вопросом оказываются такие фундаментальные понятия, как пол и национальность. Современный человек отделен, беспочвен, одинок. Человеку, рассуждает Урицкий, не на что опереться, это — кризис человека как такового, происходящий на переломе эпох. И Юрьев пишет о наступлении конца света, пишет о приближении мессианского времени. Человек кончается, кончается мир. Художники (Уэльбек, Костюков и Месяц, а также Пелевин с Сорокиным — шерочка с машерочкой продвинутой критической мысли), чуткие к веяниям времени, ощущающие запах, аромат, сомнительное благоухание современности, пишут о том же... То ли Урицкий нас пугает, то ли сам боится.

Никита Елисеев находит в романе «(голово) ломка» Гарроса-Евдокимова («Знамя», № 3: **«Трели триллера»**) важную и актуальную социальную ноту. Гейне сформулировал: «Коммунизм — непобедим, покуда есть в мире — голод и

зависть». Собственно, о том и написана «(голово) ломка». Тем она и написана. Не голодом, разумеется, а завистью. Жгучей, ломящей виски завистью. Основная, осевая, позвоночная тема книги — зависть слуг к своим хозяевам; ненависть не пролетариата, не люмпен-пролетариата, но обслуживающего персонала к тем, кого приходится обслуживать. Ненависть эта обоюдоостра, поскольку обращена не только на того, кто наверху, но и на того, кто внизу. Главный герой ненавидит не только хозяина банка, в котором служит, но и охранника, который может не пропустить его, бедолагу, если ксиву забудет; пролетария, глушащего дешевое пиво; хулигана, могущего ударить, унизить, обидеть. Главный герой состоит из ненависти и зависти. Очень интересный тип. Смердяков — для тех, кто понимает. «Они же Бодлера с борделем перепутают, но ведь, сволочи, знают... что-то такое, что позволяет им скользить мимо тебя на шикарных тачках с шикарными телками. ...Обидно же... Человек может такие философемы выстраивать — мороз по коже от таких философем, — и не он, а щенки в алых пиджаках водят по кафе «тонких брюнеток»...» Гаррос-Евдокимов скверное это самоощущение передает с почти социологической точностью. Как жить с ним знатоку Брехта и Бодлера? Чтобы избавиться от комплекса, Олеша написал «Зависть», Набоков — «Король. Дама. Валет». Гаррос-Евдокимов вместе с героем изобрели иной выход, виртуальный, онанистический, наркотический. В реальности ты им всем служишь, а в воображении — мочишь, расчленяешь, убиваешь, насилуешь! Но «лекарство от зависти оказывается посильнее самой болезни. Воображение, в котором ты — царь и бог, возвращает тебе удары с силой бумеранга», — заключает Елисеев.

Другой вариант критики зиждется на оценках этического плана. С этой точки зрения симпатична критикам проза Андрея Геласимова. **Артем Каратеев** («Знамя», № 3) поделился своими весьма комплиментарными соображениями о ней (**«Добро перевесит?»**). Сочинения Геласимова объединены поднимаемыми в них «исконно бытийными вопросами». Так, в «Жажде», считает критик, «этический вопрос Ивана Карамазова — оправданно ли существование мира, пока в нем есть хоть одна детская слеза — трансформируется в другой: оправдывает ли улыбка ребенка все слезы мира?» Положены на весы добро и зло... Присутствует в статье и анализ поэтики Геласимова (впрочем, вполне ученически-схоластичный).

Еще два суждения о творчестве Андрея Геласимова публикует № 1 «Нового мира».

Марии Ремизовой (**«Гармонический диссонанс»**) достается задача более неблагодарная: критик Геласимова хвалит. Отдавая себе отчет в том, что апологет всегда уязвимее отрицателя, Ремизова сознательно идет на то, чтобы «на взгляд искушенных оппонентов <...> выглядеть дураком, которого провели на мякине и обвели вокруг пальца». Жизнь, как указывает критик, не всегда отвечает правилам хорошего тона: она настолько сложна, что в ней находится место и положительным явлениям.

Негативному мнению всегда почему-то верят больше. И **Дмитрий Быков** оказывается в выигрышном положении — в положении того, кого на мякине не проведешь. Обыгрывая название книги Геласимова «Фокс Малдер похож на свинью», он и статью свою называет **«Андрей Геласимов похож на писателя»**. Возражая Ремизовой, Быков роняет несколько хлестких фраз: у Геласимо-

ва, оказывается, «пьют больше, чем у Хемингуэя. Что вы хотите, потерянное поколение», «Дети всегда трогательно сопят во сне. Геласимов вообще любит детей, и дети у него всегда хорошие, чувствительные — только сопят многовато»... В целом же Быков отзывается об этом «приятном писателе» так: «Геласимов, замысливший писать совсем-как-настоящую прозу в духе Виктории Токаревой, производит в результате сладкую вату, которая по объему <...> очень внушительна, по вкусу довольно приторна, а по сути совершенно пуста». Оценке можно было, наверное, и поверить, но вот Виктория Токарева в качестве эталона даже всего лишь «совсем-как-настоящей прозы» все-таки смущает.

Афанасий Мамедов с восхищением рецензирует рассказ Марины Вишневецкой «Опыт принадлежания» («Дружба народов», № 3: **«Еще раз о "Да" и "Нет"»**). Автор видит в этом рассказе пронзительное предупреждение (сродни провидческому предупреждению Эренбурга в «Хулио Хуренито») о возможности наступления очередной эпохи национального террора и геноцида. И это обязательно произойдет, если оставаться глухими к трагедии еврейского народа (имеется в виду не только Холокост).

Михаил Денисов и **Виктор Милитарев** посвятили обширную статью-исследование теме, вынесенной в название: **«Русскоязычная фантастика как теневой духовный лидер»** (http://www.russ.ru/krug/20030212_fant.html).

ПОЭЗИЯ

Мужественную попытку систематизирующего взгляда на современный поэтический авангард — с многоходовыми теоретическими выкладками, ретроспекциями и осторожными прогнозами предприняла **Анна Кузнецова** в пространной статье **«Неостановимый авангард»** («Дружба народов», № 3). Собственно, заявленная тема — повод для автора выяснить существо и задачи поэзии как таковой (пусть и на определенном временном отрезке). Автор выступает, скорее, как литературовед, поэтому столь обилен материал привлекаемых ссылок на чужие труды и исследования. (Отсюда главный недостаток статьи — она слишком наукообразна, обращена к очень подготовленному читателю, выполняет функцию не «проводника к материалу», а «послания к коллеге».) Формально Кузнецова привязывается к авторам поэтической серии изд-ва «НЛО», лауреатам премии Андрея Белого. В качестве персоналий выступают Айзенберг, Стратановский, Александра Петрова, Елена Фанайлова, Григорий Дашевский, Николай Кононов и др. Основные выводы: «"символическая" премия Андрея Белого, кажущаяся альтернативой всем "денежным" премиям, развивается в той же логике — другой логики у развития успеха, по-видимому, быть не может». Но на самом деле важно другое — «Где же настоящий авангард?». Острота этого вопроса, по мнению автора, отразилась в выборе последнего лауреата — им (неожиданно для многих) стал петербургский поэт Василий Филиппов, «с 1980 года живущий в психиатрической клинике». Аргумент, прямо сказать, впечатляет. Автор, впрочем, этим не довольствуется, фиксируя, что ни «"*стихия авангарда*", ни стихия "*неоклассики*...", сегодня не доминируют. В эклектическом равноправии самых разнородных проявлений доминирует... вообще **литературность**: книжное бытование слова с одной стороны, описательность опыта в разных культурных контекстах — с другой». Что касается перспектив, Кузнецова ожидает нечто почти

эсхатологическое: «полное освобождение вещества поэзии от техники в очищающем огне». Звучит чрезвычайно заманчиво. Но чем-то неудержимо напоминает переход в состояние небытия...

Та же **Кузнецова** в «Дружбе народов», № 2 разбирает книгу поэтов-концептуалистов (Пригов, Рубинштейн, Кибиров), вышедшую в изд-ве «МК-Периодика» (**«Лукианы двадцатого века»**). Критик подмечает идейную направленность серии «Современная библиотека для чтения»: имеет место нарочитое отрицание какого бы то ни было исторического контекста, «есть только современность — вот она». Однако критик, вчитываясь в собственно тексты, подмечает как раз обратное: «авангарадисты временного мелководья», сами о том, кажется, не подозревая, благодаря своей бесконечной игре со знаками, фиксирующими «контекст эпохи», создали некий «дискурс» для потомков. Поэт здесь «стал в нишу определенной «литературной ситуации», создавая репрезентативные тексты. И — что трагично для живого художника, чья жизнь продолжается за пределами ситуации, которую он теперь будет всегда и везде олицетворять, — стал намертво».

В этом же номере **Александр Уланов** классифицирует поэтов-метареалистов — из той же серии того же издательства (**«Ожидающий дар»**). Если концептуалистов у нас без счета, то, метареалистов, как известно, всегда трое — Жданов, Еременко, Парщиков. Сославшись на определение направления по Эпштейну, критик, однако же, находит у всех троих много от отступлений от принципов. И задается неожиданным вопросом — почему составители обошли вниманием Драгомощенко и Седакову, не испугались ли их сложности? «Метареализм, — делает вывод критик, — остается во многом скорее предположением, будущим, указанием на возможности, которыми, к сожалению, мало кто пользуется».

Весьма эмоциональный отзыв на книгу стихов Дмитрия Веденяпина дает **Георгий Ефремов** в рецензии **«Все зеркала расставить по местам: оттиск бессмертия»** («Дружба народов», № 3). Главный образ для поэта — стекло, зеркало. Даже вода выступает символом зеркала и стекла. Отсюда — важность понятий прозрачности/непрозрачности, бесцветности и цвета. Из этих образов поэт строит свои отражения-снимки окружающего мира, в которых очень много «предметности» и «вещественности». Этот мир-отражение наполнен философичностью: поэт таким образом говорит о времени и судьбе. Время для него проницаемо, судьба — пунктирна. Здесь часто бывает слишком холодно. Веденяпин как бы смотрит на свой мир откуда-то снаружи, тоскуя о неслиянности с ним. Одна из целей его поэзии — запечатлеть все хрупкое для памяти. Материализованное таким образом, оно уже не исчезнет.

Анастасия Отрощенко («Не верю»: http://www.russ.ru/krug/kniga/20030228_ao.html) пишет об «итоговой» книге Татьяны Щербины «Лазурная скрижаль». Книга мировоззренческая, но при этом мировоззрение автора интересно небольшой горстке «своих» (количество их издательство «О.Г.И.» оценивает в 2000), потому что всех остальных потенциальных читателей Татьяна Щербина не любит и в диалог с ними вступать не хочет. Эта «салонность» писательницы особенно бросается в глаза, когда она начинает говорить о России, которую не понимает и не хочет понять. «Скрижаль» оставляет впечатление дешевого «экспортного» варианта. Бедная Татьяна Щербина, путешествуя по России, беспрерывно

замерзает, недосыпает, голодает и мучается жаждой, поскольку никаких напитков, кроме водки, в России не сыщешь.

Анджей Иконников-Галицкий в статье **«Между невинностью и опытом»** («Нева», № 2) отмечает, что нынешние поэтические вечера, даже уютные и интересные, обычно заканчиваются ощущением какого-то холодка. Из литературной жизни, делает вывод автор, пропала искренность. Полуподпольный микросоциум талантов и поклонников поэзии, бытовавший в 70 — 80-е гг., распался. Автор рассказывает о судьбах трех, быть может, не самых заметных, однако оригинальных поэтов — Дм. Голынко-Вольфсона, Л. Бахтинова и Ю. Свенцицкой.

О «геологической» поэзии (имеются в виду авторы, которые вышли из геологов) рассказывает **Вл. Британишский** в статье **«Похищение Прозерпины Плутоном»** («Нева», № 2). В первую очередь речь идет об Александре Городницком, Олеге Тарутине и Леониде Агееве. Автор не забывает и о руководителе тогдашнего Лито при Горном институте Глебе Семенове, питомцев которого называли «ГЛЕБгвардии СЕМЕНовским полком».

Редкий случай: сразу два обращения к современной **ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ** вне отраслевого критического отсека. Автора статьи в «Русском журнале» **«Литература начинается с детской»** (http://www.russ.ru/krug/20030116_anast.html) **Анастасию Отрощенко** радует возрастающее количество новых детских книг. В подтверждение критик называет хорошие, на ее взгляд, книжки Людмилы Петрушевской о поросенке Петре, Тамары Крюковой (сказки про животных, история про автомобильчик и др.), и подробно разбирает романы Владимира Сотникова. Он, в частности, хорош тем, что культивирует нормальные отношения — между родителями и детьми, между девочками и мальчиками. Есть дружба, есть подростковая влюбленность, есть увлечение модным певцом, обо всем этом можно написать не пошло, и автору это удается. Сотников с видимым удовольствием описывает норму, а не отклонение. Книги Сотникова — Акунин для тинов: развлекательное чтиво для читателя-«интеллигента». С одной стороны, не напрягает, с другой — тут тебе и Волошин с Шаляпиным, и Марина Мнишек с Тушинским вором, и многочисленные сравнения типа: их звали «Иван Сергеевич и Лев Николаевич — как Тургенев и Толстой».

А **Ирина Репьева** озабочена в статье **«Отвлечение от жизни»** («Москва», № 1) тем, что литераторы выдумывают сказки, не соотносясь с традицией русского фольклора, как им только в голову придет. Сама Репьева и пропагандирует идею «национальной сказки», и, кажется, пробует ее осуществить.

КРИТИКИ О КРИТИКЕ И СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЯХ

В Сети довольно активно обсуждаются проблемы и методы критики, разбираются по косточкам отдельные фигуранты из своего же цеха.

Сергей Князев, к примеру, памфлетно спортретировал Владимира Бонаренко **(«Владимир Бондаренко как Борис Моисеев»**: http://www.russ.ru/krug/20030214_kn.html). Бондаренко размножается километрами статей, твердит на каждом углу, что он критик-патриот, патриот и критик, патриотический кри-

тик, критический патриот, клинический, безнадежный патриот. В общем, человек об одной мысли. Как и у Моисеева, вся деятельность Бондаренко — бесстыдный, назойливый self-promotion, только более бездарный и никак не замаскированный. Promotion не только, впрочем, self. Как и Моисеев, Бондаренко, паразитируя на том, что называют, допустим, искусством, пытается решить задачи, лежащие вне его пределов, собственно к предмету искусства не имеющие никакого отношения. Каков мессидж Моисеева? Геи — тоже люди, более того, это сверхлюди, гомосексуализм — это cool. Какова весть, которую несет человечеству Бондаренко? Среди патриотов тоже есть хорошие писатели, более того, только среди патриотов они и есть, поскольку настоящее искусство — патриотично. Для компрометации почвенничества как идеологии Бондаренко сделал больше, чем все так называемые либералы вместе взятые — он работает патриотом, как Борис Моисеев, допустим, работает гомосексуалистом. Как бы Бондаренко ни жаловался на нынешнюю эпоху, он отлично устроился, конвертируя свои убеждения в деньги и положение, торгуя убеждениями (а больше-то ему торговать нечем, он же более ничего не умеет, только обличать и постоянно говорить о своем патриотите — видать, сильно беспокоит).

В том же «Русском журнале» состоялась полемика, в центре которой оказался активно работающий там **Михаил Эдельштейн** . Эдельштейн однажды (**«О ежах и сусликах»**: http://www.russ.ru/krug/20030220_edel.html) объявил: литературная критика как экспертный институт хронически не справляется со своей основной задачей — задачей отбора. Последние лет 10 критика наша (повторю — речь идет не о конкретных критиках, а о критике как институте) занимается по преимуществу игрой на понижение. На понижение критериев оценки, прежде всего. Из статьи в статью, из обзора в обзор кочуют формулировки вроде «крепкая проза», «профессионально написанный роман», «качественный текст». Да еще «грамотная вещь»... Добрый критик — это оксюморон. Критик должен быть злым. Профессия обязывает. Если критик хвалит больше десятой части всего прочитанного — он обманывает читателей и развращает писателей.

По этой теме затем высказались **Анна Кузнецова** (**«О конях и слонах»**: http://www.russ.ru/krug/20030226_kuz.html), **Владимир Губайловский** (**«О критике»**: http://www.russ.ru/krug/20030226_gub.html), еще раз **Эдельштейн** (**«Конь vs. Суслик»**: http://www.russ.ru/krug/20030306_edel.html) и, наконец, **Петра Аретина** (**«Как поссорились...»**:http://www.russ.ru/krug/20030313_aret.html).

В «Топосе» меж зимой и весной произошла полемика **Дмитрия Бавильского** и **Льва Пирогова**. Бавильский — в его рубрике **«Знаки препинания»** — учиняет суровый разбор своему писучему коллеге, так что тому нечего и ответить по существу. Как можно понять, Бавильский недоумевает, почему это отказывается Пирогов, замеченный в рядах литературных критиков, разбирать литературные тексты и заниматься самой что ни на есть черновой, неблагодарной работой по текущему процессу. Потому что ему одна голая процессуальность важна — текст должен литься, о чем, о ком — уже не существенно. «Текстуальная невнятица, постоянно возникающая у Пирогова, рваная, дискретная форма в стиле «клади рядом», круги расходящихся ассоциаций, призванных поразить читателя многозначительностью, переход на личности, все это происходит из-за невнятицы («непрописанности») внутренней, концептуальной. Чёт-

ких предпочтений и правил у «критика» Пирогова нет, обычно Пирогов работает стихийно, ситуационно: подул ветер в сторону «Господина Гексогена», вот Пирогов и начинает гнать волну, ветер утих, и Лев пишет о чём-то ином. Забывчивый, что ребенок». «Типичный такой постмодернизм». Но и сам Бавильский обнаруживает свою зараженность РМ, когда отказывается принимать всерьез идеологическую эволюцию своих закадычных приятелей. «Когда Митя Ольшанский заявляет о том, что он — черносотенец, когда Пирогов предлагает выводить на снег и расстреливать, они же прекрасно отдают себе отчет, что никто не воспринимает их заявления всерьез, как взвешенные политические декларации. Они же понимают, что мы (ты, я, он) воспринимаем это как простое сотрясение воздуха, как игру, как пустые, ничем не наполненные, означающие, за которыми ничего нет — ни позиции, ни реальной истории, ни-че-го».

Другой сюжет критических дискуссий образовался по итогу появления в «Знамени» (№ 3) статьи Евгения Ермолина «Критик в Сети». Она посвящена литературной критике в русском Интернете.

Наиболее обстоятельно откликнулся на эту статью **Владимир Губайловский** в «Русском журнале» (**«Игры формального мира»**: http://www.russ.ru/krug/20030327_gub.html). На «Топосе» появились также отклики раздосадованного недооценкой Ермолиным его сетевого журнала **Дмитрия Бавильского** (**«Заметки постороннего. Полемика с Евгением Ермолиным»**; 20 марта) и **Льва Пирогова** (**«Обратная сторона мишени. Коровы Важенина и Ермолин обыкновенный»**; 25 марта).

А вот **Наталья Анико** в жанрово неопределимом сочинении **«Сны о критике»** («Урал», № 3) выносит приговор всей критике — и как профессии (не нужно, мол, мешать непосредственному общению писателя и читателя), и как отдельным ее представителям (в негативном ключе помянуты — Славникова, Марина Адамович, Александр Агеев, но более всего упреков досталось Ремизовой). Пишут или слишком наукообразно (Адамович), или развязно, бездоказательно, с пренебрежением к читателю, пользуются «блатным жаргоном»... В финале автор прямо-таки требует суда — над критикой и критиками (полагаем, все-таки шутит).

Возражает ей **Сергей Беляков** (**«После снов»**). Объясняет, что критика — дело необходимое. Критик, мол, лоцман в литературном море. Приводит примеры критиков достойных — Немзер и Никита Елисеев. Но возражения длятся не долго. Потому что больше критиков, конечно же, скверных. В скверных числятся, например, Чупринин (предлагает вернуться к принципам реальной критики — вот уж, не удержимся от комментария, *серьезное* прегрешение!), Ермолин (пишет общие фразы, которые можно отнести к доброму десятку других произведений) и Бавильский (своей небрежностью дезориентирует читателя), но больше всех опять достается Ремизовой. Больше всего профессионального *историка* взволновали ее печатные отзывы на роман Проханова (непечатных, он, по счастью, не слышал). По этому поводу он уже в «Урале» высказывался (см. БСК в прошлом номере «Континента»). Но, видно, человека задело по-настоящему. Основные претензии — Ремизова ничего не доказывает, а голословно опускает выдающееся произведение XX века, впрочем, и другие тексты этого автора оценивает столь же несправедливо. Отметим, что ме-

тод «анализа» Белякова — это выдергивание цитат из контекста, а затем недоуменное восклицание: почему? где доказательства? Так доказательства-то рядом — или *перед* цитатой или *после*... Неужели нынешних *историков* обучают именно таким методам работы с материалом? Хорошенькая же будет у нас *история*... Впрочем, может быть, это и требуется?..

Книгу эссеистики Игоря Клеха обсуждают в «Дружбе народов», № 3 **Андрей Урицкий** (**«Тексты, окна, двери»**) и **Александр Уланов** (**«Несладкий пряник»**).

Против нападок на академическое литературоведение выступает в «Неве», № 1 профессор Института русской литературы **Вадим Рак**. По его мнению, сейчас настало время псевдолитературоведения — публицистического, субъективно-импрессионистического, эзотерического и т. д. Современной «коммерческой» пушкинистике нужен не Пушкин, а «клубничка». Младому племени старая школа только мешает, ее представители опасны тем, что хранят факты и сведения, которые не хочется замечать, задают неудобные вопросы, а главное — не торопятся признавать каждую свеженькую концепцию бесспорно верной. Впрочем, академическую пушкинистику советская власть тоже не любила. Автор укоряет тех, кто упрямо твердит о конце науки после смерти выдающегося пушкиниста В. Вацуро. Поле пушкиноведения обширно, считает он, и на каждом отдельном участке можно выращивать пусть скромные, но питательные корешки, а можно — роскошные, но недолговечные вершки.

Статье **Вадима Перельмутера** предпослан эпиграф: «"Средь шумного бала"... Пушкин». Статья так и называется **«После бала»** («Октябрь», № 1), и посвящена она разного рода курьезам, нелепицам и образцам пушкинистской безграмотности. Веселая статья, желчная, хотя и грустная, разумеется. Автор нанизывает примеры — один другого хлеще — и поражает читателя блеском интеллекта. Но далеко не все блестящее безопасно, ненароком и порезаться можно. Так и вышло. Пушкин ли сыграл с Перельмутером злую шутку, корректор ли самоуправил, редактор ли, — а только вдруг приводит наш автор следующую пушкинскую цитату: *«Так не доставайся же ты никому!»*. Трудно себе представить в стилистике пушкинской прозы эдакую Кармен-Огудалову, которой можно бросить подобную фразу! Впрочем, не поручимся, что где-нибудь в сочинениях Александра Сергеича этой самой реплики и не обнаружится. Не будем забывать все же: Пушкин — наше всё.

Весьма загадочная статья **Владимира Гандельсмана «Поэт и чернь»** («Октябрь», № 1) посвящена некоторому шестидесятнику Щ. Достается этому Щ. — не позавидуешь. Вот только не совсем ясно, о ком же идет речь. Мы, например, знаем одного поэта на Щ. — и по описаниям подходит: тощий, носатый, да в придачу с волосами, заглаженными наверх, чтобы лоб казался выше. Был такой поэт. Но не шестидесятник и стихи писал попроще процитированных — короче, точно не он. А статья между тем дразнит намеками на мерзкие тайны некоего весьма и весьма известного литератора. Может, это вовсе такая фигура умолчания в кармане — дескать, кто знает, о ком речь, тот поймет, а мы, в свою очередь, «попросим, чтоб его куда-нибудь на Ща!». Или, может, описываемая личность — собирательный образ (даром что ли избиваемый Щ. печалится: никогда, де, «не был на Босфоре, ты меня не спрашивай о нем»)? Но в обоих случаях непонятно, почему данное сочинение помещено в рубрике «ли-

тературная критика»? Хотя с другой стороны, раскритикован-то этот неведомый Щ. на славу — живого места не найдешь.

Эссеистика в критическом зеркале. **Сергей Боровиков** в журнале «Знамя» (№ 3; **«Татьянин день»**) пишет о прозе Татьяны Толстой, собранной в книжке «День: Личное». Эссе и фельетоны, собранные в новой книге, объединяют несколько для их автора равновеликих свойств: злость, талант, отчужденность от «местной» жизни. «Не думаю, что последнее можно объяснить лишь тем, что большую часть года Т. Толстая жила в США. И в СССР она жила и выросла в специфическом закрытом мире старой ленинградской интеллигенции, обладавшей особым, отличным и от провинциального и от московского, сознанием собственной кастовой исключительности. Хочет Толстая того или нет, но о чем бы она ни писала — об американском судопроизводстве, журнале для мужчин или путевых впечатлениях, — суждения ее хоть немного, но свысока». Боровиков полагает, что достоинства фельетонов и эссе писательницы проистекают из свойств ее художественной прозы. «Излишняя, точнее — заметная выстроенность <...>, насмешка над читателем вместо любви и доверия к нему и прочие раздражающие в рассказах и романе свойства Татьяны Толстой в ее «публицистике» оказываются уместны и желанны».

В «Русском переплете» житель Германии **Валерий Куклин** делится впечатлениями о книге Владимира Карпова «Генералиссимус», посвященной Сталину. **«Очень своевременная книга»** — так называется статья. Куклин жалуется, что книгу эту в Германии купить просто невозможно, боятся с нею связываться торгаши. А местные евреи того и гляди поразят ее читателей остракизмом, так что, читая, нужно держать ухо востро. К этим евреям у автора вообще большой счет: почему не борются с агрессивным Бушем? То ли хвалится, то ли печалится Куклин, что и его занесли в какие-то таинственные «черные списки синагоги» вместе с Пушкиным и Гоголем, Достоевским и Толстым — ну и, конечно, с Карповым... И много еще чего забавного рассказывает про себя и про иракцев Куклин. После такой рекламы нужно просто бежать в ближайший книжный ларек и Богом молить продавца добыть вам эту ценнейшую книжицу. Подвигом Карпова, считает автор, является печатное утверждение о том, что всему виной — «еврейский джихад», что в течение полутораста уже лет главные стратегические силы находятся в руках основного противника России — сторонников экспансии еврейских лавочников и ростовщиков против остальных народов страны. Еще цитата из воинственного Куклина: «Бывший пехотный лейтенант, презрев все условности, взял на себя полномочия Верховного Главнокомандующего и дал приказ всем нам сказать, на чьей мы стороне: за Россию ли, за Израиль ли, за США, власовцы ли мы, дезертиры ли? <...> Если книга В. Карпова нас к этому не подвинет, то уж и смысла нет существовать и России, и русской интеллигенции, и русским писателям. Остается только кричать: "Хайль Буш!"».

Обзор подготовили Ирина Дугина («Новый мир», «Октябрь»), Евгений Ермолин («Время новостей», «Знамя», Литературная Россия», «Москва», «Московские новости», Сеть), Мария Ремизова («Дружба народов», «Урал») и Евгения Щеглова («Звезда», «Нева»).

Ирина ДУГИНА

«ЗДЕСЬ НАХОЖУ Я ГРЕЧЕСКИЕ ИГРЫ...»

Цирк в художественной литературе

Лет десять назад мне заказали для детской цирковой энциклопедии большую статью — «Цирк в художественной литературе».Статью я написала — помню, даже гранки выправила. Но то ли энциклопедия не вышла, то ли вышла, но без моего участия... Короче, с тех пор статья спокойно лежала все это время у меня в столе — а с нею и большая коллекция специально собранных цитат из разного рода литературных произведений. И на десятую долю не использованные, естественно, в энциклопедической статье, они вместе с нею так же бесполезно и невостребованно пролежали в столе, пока, наконец, я на них не наткнулась. И вдруг захотелось перебрать эту коллекцию, заново прочесть эти кусочки хорошей и не слишком хорошей литературы — вновь вглядеться в эти картинки цирковой жизни, запечатленной в слове... А перебрав и снова переболев ими, я подумала — а почему бы и не поделиться этим собранным мною, уникальным в своем роде сокровищем с другими?..

Зачем?

Ну, хотя бы для того, чтобы попытаться как-то объяснить читающей публике, что же это такое — цирк. Конечно-конечно, художественная литература занимается цирком вовсе не ради него самого, — у нее достаточно собственных забот, чтобы брать на себя еще и популяризацию циркового зрелища. Просто мир арены, кулис и конюшни предоставляет писателям идеальное поле, на котором можно вырастить самые разные всходы.

Но ведь эти всходы, в свою очередь, могут дать возможность всем желающим поразмыслить и о цирке в том числе? Так почему бы не воспользоваться ими? Правда, я и понятия не имею, что из этого выйдет — цирковые картинки моей коллекции и разнородны, и разножанровы, и разнохарактерны, по какому принципу их объединять?

Но, с другой стороны, и само цирковое представление — это тоже ведь достаточно свободное соединение очень и очень разных элементов. Неоднородность и пестрота совершенно органичны для цирка, путаница — его стихия. Цирковая программа состоит из десятка номеров, относящихся, как правило, к разным жанрам. Номера легко взаимозаменяются, изымаются и до-

---

Ирина ДУГИНА — родилась в 1960 г. в Калининграде, окончила театроведческий факультет ГИТИС'а им. А.В.Луначарского. В 1985–2000 гг. — сотрудник газеты «Советский цирк» — «Цирк» — «Арена», журнала «Мир цирка», цирковой рецензент, сценарист, художник. С 2000 г. — сотрудник «Континента». Живет в Москве.

бавляются, убрано или вставлено может быть что угодно — от художника-моменталиста до джигитов на белых верблюдах. Представление как эстетическое целое от этого нисколько не страдает — потому что оно не есть эстетическое целое. Это просто целое представление. Просто оно — есть. Словом, это, может быть, и не самый лучший, но все же хороший принцип, который не грех и опробовать, пусть даже он и страдает некоторой неопределенностью. Но ведь я потому, собственно, и люблю цирк, что он для меня загадка! Целое, в котором нет целостности; единое, в котором нет единства; праздник, который всегда — сегодня и ежедневно... Тот неуловимый балаганный дух, который дает цирку и целостность, и единство, который будоражит сердца и простаков, и снобов, трудно разъять на части и пришпилить к чистому листу. Мне, скажем, не известно ни одной приличной работы по теории цирка, а вот прекрасные описания циркового представления — попадаются.

С одного из них, компактного и праздничного, и начнем.

...Еще клоуны почесывались и острили, как наездник с наездницей, на белых астурийских конях, вылетели и понеслись вокруг арены. То были Вакх и вакханка — в шкурах барса, венках и гирляндах роз; они, мчась с силой ветра, разыграли мимическую сцену балетного и акробатического характера, затем скрылись, оставив в воздухе блеск и трепет грациозно-шальных тел, одержимых живописным движением. После них, предшествуемые звуком трубы, вышли и расселись львы, ревом заглушая оркестр; человек в черном фраке, стреляя бичом, унизил их, как хотел; пена валилась из их пастей, но они вальсировали и прыгали в обруч. Четыре гимнаста, раскачиваясь под куполом, перебрасывались с одной трапеции на другую жуткими вольтами. Японец-фокусник вытащил из-за ворота трико тяжеловесную стеклянную вазу, полную воды и живых рыб. Жонглер доказал, что нет предметов, которыми нельзя было бы играть, подбрасывая их на воздух и ловя, как ласточка мух, без ушибов и промаха; семь зажженных ламп взлетали из его рук с легкостью фонтанной струи. Концом второго отделения был наездник Ришлей, скакавший на пяти рыжих белогривых лошадях и переходя, стоя, с одной на другую так просто, как мы пересаживаемся на стульях.*

А вот и еще картинка, почти шагаловская, только написанная словами. Собственно, даже не картинка, а раз и навсегда выведенная формула циркового действа. О цирке — по крайней мере, о цирковом представлении — сказано, на мой взгляд так, что лучше и не скажешь. Николай Заболоцкий — стихотворение «Цирк»:

Цирк сияет, словно щит,
Цирк на пальцах верещит,
Цирк на дудке завывает,
Душу в душу ударяет!..

Сразу же, с первой строчки здесь говорится о самом главном — о жизни, о масляных ее сгустках, аляповато намазанных на тринадцатиметровом круге манежа...

* Александр Грин. Блистающий мир.

...Над ними небо было рыто
Веселой руганью двойной,
И жизнь трещала, как корыто,
Летая книзу головой.

Впрочем, мы еще не раз вернемся к Заболоцкому, а пока немного именно о жизни.

Жизнь

Таких, как я, — детей из «интеллигентных» семей — в цирк не водили. И не то чтобы каждую неделю таскали в консерваторию или в музей — никуда особенно и не таскали. Но посещение цирка считалось дурным тоном. Тем более, что соседские хулиганы, если где и бывали кроме ближайшей киношки, так это в цирке.

Может быть, это только теперь так кажется, но, помнится, мы тогда все что-то читали («мы» — то есть и «интеллигентные» дети, и соседские хулиганы рубежа 60-х—70-х). Родителям было некогда, и нас воспитывали книги. Разница была только в том, что́ именно читали — «Повести Белкина» или «Декамерон». Некоторые поглощали книги не целиком, а только определенные места, ради абзаца-другого, — гнусно хихикали и, озираясь, прятали в портфель и передавали друг другу какую-нибудь целомудреннейшую классику....

Так вот — читали, по-моему, все, даже самая заядлая шпана, даже отпетые двоечники. Не знаю, правда, что лежало под подушкой у отпетых, но я, например, обожала забытую сегодня повесть «Девочка и птицелет» Владимира Киселева. Героиня там *думала* — и это было самое потрясающее: она обо всем думала совершенно не так, как ее принуждали взрослые. Эта героиня, эта Оля Алексеева, несколько долгих месяцев (а может быть, и лет?) была мне вместо няни, подружки и любимой учительницы.

И вот какими глазами мы с ней видели цирковое представление:

Мне совсем неприятно, если кто-то рискует собой, чтобы развлечь меня. И если мы отрицательно относимся к таким развлечениям, как сражения гладиаторов, так почему мы одобряем гимнастов, которые перелетают с трапеции на трапецию, и достаточно им ошибиться на один сантиметр, чтобы разбиться? Но хуже всего, по-моему, была женщина-змея. Смотреть, по-моему, на это стыдно и унизительно. Ну как это можно допускать, чтобы женщина просовывала голову между собственными ногами и смотрела назад в этой уродливой позе, а потом прыгала на руках, шлепая, как большая жаба!

(Опять невольно вспоминается Заболоцкий:

На последний страшный номер
Вышла женщина-змея.
Она усердно ползала в соломе,
Ноги в кольца завия.
Проползав несколько минут,
Она совсем лишилась тела.

Кругом служители бегут:
— Где? Где?
Красотка улетела!

В скобках заодно сообщаю, что «женщина-змея» — древнейший вид пластической акробатики, так называемый *каучу́к* (представитель того же жанра — печально памятный «Гуттаперчевый мальчик»). Забавно, кстати, что ударение на последнем слоге — «каучу́к» — принято исключительно в цирковой среде и служит одной из примет, позволяющей профессионалам манежа узнавать друг друга, а между тем норма русского языка предполагает именно такое ударение)..

Но вернемся к Оле Алексеевой и ее суждениям о цирке. По-моему, они прелестны. Героиня этой замечательной книжки — и вправду как живая. Тринадцать лет, полная самостоятельность — и ни одной самостоятельной мысли, одни банальности. Зато бесспорные:

Мне больше всего понравились жонглеры. Это, по-моему, настоящее искусство, и оно учит нас, как много может достичь человек, если будет постоянно работать над собой...

Замечу, что такого рода суждений в детской литературе 70-х годов было предостаточно. Но кто теперь помнит те книжки? Они свое дело сделали — были нами в свое время прочитаны, и ни к чему их сегодня разыскивать и цитировать. Достаточно «Девочки и птицелета» — тут о цирке сказано почти всё, что внушали нам наши родители, разве что не присутствует тема измученных задрессированных животных. И всё — истинная, хотя и скучная, правда. Грубость, жестокость и бессмыслица — полноправные составляющие циркового действа. Необходимые составляющие.

Но — не достаточные.

К счастью, у нас были и другие книги.

Возможно, мы поступаем опрометчиво, придерживаясь обычая водить детей в цирк. И прежде всего потому, что в детстве зрелище помпезное и таинственное, вульгарное и преисполненное грубой силы может уже на всю жизнь заронить в душу маленького зрителя желание постичь его тайну, проникнуть за красный занавес, отделяющий арену от недр артистических уборных. Потом мы долго не можем отделаться от неясного ощущения таинственности того, что для взрослых вздор и мишура. А если годы спустя вновь приблизимся к цирку, то не найдем там ни глубины, ни таинственности, а зачастую увидим эксплуатацию, жестокость и заурядные человеческие страсти.

Впрочем, не стоит углубляться в так называемую философию цирка...*

Детство

Что ж, не будем углубляться в «философию цирка». Но я недаром начала с рассказа о том, что в детстве в цирк не ходила. И недаром вспомнила о специфически детской литературе. Понятия «цирк» и «дети» — одного корня. Уже третьекурсницей, впервые попав на цирковое представление, я отчетливо ощу-

* Ярослав Ивашкевич. Зигфрид, перевод К.Старосельской

тила — вместе с запахом грима и конюшни — щемящую тоску по старому доброму цирку, которого не знала в детстве, но который в здоровом детстве быть непременно должен...

> Всех нас с ранней юности цирк восхищал, волновал и радовал. Кто из нас избежал его чудесной, здоровой, крепящей магии? Кто из нас забыл этот яркий свет, этот приятный запах конюшни, духов, пудры и лайковых перчаток, этого шелка и атласа блестящих цирковых костюмов, щелканья бича, холеных, рослых, прекрасных лошадей, выпуклые мускулы артистов? Тогда ведь видали мы гораздо зорче и совсем другими глазами, чем теперь. И возвращались мы из цирка домой широкими упругими шагами, круто выпятив грудь, напрягая все мускулы. Легкие бывали у нас расширены от беззаботного, громкого, доброго хохота, и как ловко мы перепрыгивали через лужи!*

Мне кажется, цирк действуют на ребенка примерно так же, как народная сказка. Кстати, абсолютное большинство детей именно в виде сказок получает, как правило, и первые порции литературы. И какая-то волшебная сила превращает языческие сюжеты, нередко довольно сомнительные с точки зрения нравственности, в свидетельство надежности и доброты мира!

Цирк тоже поклоняется языческим богам и тоже близок детству. По ассоциации нелишне вспомнить, что и детство человечества было языческим. Цирк обращается к ребенку в человеке — не к идеальному выдуманному образу, а к тому реальному ребенку, которого можно разглядеть в каждом человеке — если, правда, смотреть на него как бы через увеличительное стекло...

В самом деле — в детстве всё огромней, обнаженней и мучительней. Ребенок одновременно эгоистичен и бескорыстен, робок и бесстрашен, добр и жесток. Но таков и цирк. Он тоже вечный ребенок, в котором доброты и жестокости, отваги и трусости, красивого и безобразного — переизбыток. Переизбыток жизни. Добро и Зло кажутся здесь поэтому крупнее, рельефнее и подлинней, чем в обыденности.

Неисчислимо количество добрых циркачей детской библиотеки. С ходу вспоминаются «Белый пудель», «Каштанка», «Рыжик», «Три толстяка», рассказы Драгунского... И — Николай Носов, еще один кумир нашего детства, еще один наш воспитатель. Герой его повести «Витя Малеев в школе и дома» родился до войны, происходит из рабочей семьи и цирком восхищается искренне и самозабвенно: «Когда вырасту, буду каждый день ходить в цирк. Ну, если не каждый день, то хотя бы раз в неделю». Костя Шишкин, другой герой той же книги, и вовсе бросает школу, чтобы стать цирковым артистом...

Но посмотрим текст. Что интересно: описаны цирковые номера, реально существовавшие к началу 50-х, — собачья «Школа» Николая Ермакова, клоунские репризы, «Шар смелости» Петра Маяцкого...

> Сначала внизу собрали из отдельных частей верхнюю половину шара. Она была такая громадная, что под ней свободно могло бы поместиться человек двадцать и еще, наверное, место осталось бы. Потом верхнюю половину шара подняли кверху, под купол цирка, а внизу собрали такую же огромную ниж-

---

* Александр Куприн. Дурной каламбур.

нюю половину шара. В нее положили два мотоцикла и два велосипеда и все это подняли вверх, где нижняя половина соединилась с верхней. Внизу шара имелся люк, из люка вниз спускалась веревочная лестница.

...Снова зажегся свет и на арену вышли мотоциклисты. Они были одеты в голубые комбинезоны, на головах у них были надеты круглые шлемы, как у летчиков. Их было твое: двое мужчин и одна женщина. Они остановились у края арены, и публика приветствовала их громкими аплодисментами. Заиграла музыка, и вот они, гордые и смелые, с высоко поднятыми головами, стали подниматься по лестнице вверх. Один за другим они пролезли в люк и очутились внутри шара. Потом они закрыли люк изнутри крышкой...

Потом один мотоциклист завел мотоцикл. Раздался грохот, будто пулеметная пальба. Мотоциклист понесся внутри шара с огромной скоростью. Он перелетал со своим мотоциклом то внизу, то вверху, причем мотоцикл становился почти вверх ногами, и мы все время боялись, что мотоциклист вывалится из своего сиденья, но он не вывалился. Другой мотоциклист тоже завел свой мотоцикл и помчался вдогонку за первым мотоциклистом. Шум, грохот, пальба! Второй мотоциклист опустился на дно шара и остановился, а первый мотоциклист продолжал ездить в верхней половине шара.

И вот нижняя половина шара отделилась и стала медленно опускаться вниз, а мотоциклист <...> всё ездил и ездил в верхней половине шара. Если бы он остановился, центробежная сила пропала бы — и он упал бы вниз. Теперь для него единственным спасением было все мчаться и мчаться с прежней скоростью. Затаив дыхание, мы смотрели на него. Вдруг я подумал: «А что, если мотор испортится или остановится хотя бы на минуту? Скорость сейчас же уменьшится, и мотоцикл со страшной силой вылетит из шара и полетит вниз».

По временам мне казалось, что мотор начинает делать перебои, но все обошлось благополучно. Нижнюю половину шара снова подняли вверх. Мотоциклист замедлил скорость и стал кружиться в нижней половине шара. Круги становились все меньше и меньше. Наконец он остановился, вылез из люка и стал спускаться по лестнице вниз. Тысячи зрителей приветствовали его аплодисментами...

Как выгодно рассказчиком делать ребенка — сколько деталей можно описать, как подробно, не стесняясь восторженной интонации, передать увиденное! У рецензентов так не получается. Да и вообще не очень понятно, как писать о цирке, — эстетически он неоднороден, этически сомнителен, сюжетно не выстраивается. Так что журналисты чаще всего создают в очередной раз какую-нибудь «повесть о настоящем человеке», в красках описывая, например, историю падения из-под купола, медицинского приговора к полной неподвижности и конечной победы человеческого духа. Беда ведь, если артист ниоткуда не падал, — тогда приходится пересказывать, какие он исполняет трюки, а кто их там разберет, эти трюки? Самое понятие требует уточнения: у музыкального эксцентрика — одни трюки, у силового жонглера — совершенно другие, у дрессировщика собачек — третьи, у дрессировщика удавов... К тому же если ты и знаешь случайно, чем стрекасированное тройное сальто с

переднего отхода отличается от переднего сальто бланш, то читатель этого точно не знает и эрудицию твою оценить все равно не сможет....

Так что лучше всего о цирке удается говорить именно художественной литературе.

Интересно, кстати, что в своем почти документальном описании «Шара смелости» Носов опускает одну очень важную деталь — на плечах у Петра Маяцкого стоял мальчик-акробат. Аттракцион был выпущен в пятидесятом году, книга — в пятьдесят первом. Носов видел этого мальчика, не мог не видеть. А его герои Витя Малеев с Костей Шишкиным, выходит, не видели. И понятно почему. Иначе, чего доброго, Косте захотелось бы стать не дрессировщиком, а мотоциклистом — как тот бесстрашный мальчишка. И прахом пошла бы вся история о воспитании собаки Лобзика.

...Кстати, мальчик этот, ныне известный дрессировщик, народный артист Мстислав Запашный, по сей день любит вспоминать, как однажды во время представления в цирке выключили электричество. Обычное, казалось бы, дело. Но только механизм, позволяющий соединить половины шара, работал на электрической тяге. И пришлось двум смертникам носиться под куполом до полного головокружения с одной только мыслью: хватит бензина до той поры, пока дадут электричество, или не хватит?..

Хватило.

Зрители

Вот еще одна картинка — кусочек из «Моих скитаний» Владимира Гиляровского.

Это было на страстной неделе, перед причастием. Один, в передней гимназии, я делал сальто-мортале. Только что, перевернувшись, встал на ноги, — передо мной законоучитель, стоит и крестит меня.

— Окаянный, как это они тебя переворачивают? А ну-ка еще!..

— Я не буду, отец Николай, простите.

— Вот и не будешь теперь!.. Вчера только исповедовались, а они уже вселились!

А сам крестит.

— Нет, ты мне скажи, отчего нечистая сила тебя этак крутит?

Я сделал двойное. Батя совсем растерялся...

— Свят, свят... Да это ты никак сам...

— Сам.

— А ну-ка!

Я еще сделал.

— Премудрость... Вот что, Гиляровский, на Пасхе заходи ко мне, матушка да ребята пусть посмотрят... Ишь ты, окаянный! Сам дошел... А я думал уж — они в тебя, нечистые, вселились да поворачивают...

А и в самом деле — куда еще ходить за чертовщиной (а заодно и за чудом) как не в цирк?! В практике цирка чудо встречается не чаще и не реже, чем в обыденной жизни, но самый дух арены — это, конечно, все оттенки нео-

быкновенного, чудесного, волшебного, колдовского. Цирковой публике иной раз доводится испытать и самое настоящее потрясение.

«Блистающий мир» Александра Грина открывается цирковым эпизодом. Герой романа Друд — человек, способный летать. Такая вот символическая фигура художника, которому вполне достаточно высот собственного духа, но все же время от времени приходится показывать себя толпе — чтобы оживить невероятную эту способность. Еще одна реплика на тему «поэт и чернь».

Публика, собравшаяся в цирк посмотреть чудесный полет Друда (по афише — «Двойной Звезды»), голосит «браво!», лишь пока выступающий держится в границах привычного циркового трюка. Но вдруг

...ликующий детский крик звонко разлетелся по цирку: «Мама, мама! Он летит... Смотри, он не задевает ногами!

Все взгляды разом упали на только теперь замеченное. <...>

«Двойная Звезда» несся по воздуху на фут от земли, поднимаясь всё круче и выше.

Тогда внезапно <...> зрелище вышло из пределов фокуса, став чудом, то есть тем, чего втайне ожидаем мы всю жизнь, но когда оно наконец блеснет, готовы закричать или спрятаться. Покинув арену, Друд всплыл в воздухе к люстрам, обернув руками затылок<...> И все увидели, что выше галерей, под трапециями, мчится, закинув голову, человек, пересекая <...> пространство с плавной быстротой птицы, — теперь он был страшен. И его тень, ныряя по рядам, металась внизу.

<...> Вопли «Пожар!» не сделали бы того, что поднялось в цирке. Галерея завыла; крики «Сатана! Дьявол!» подхлестнули волну паники; повальное безумие овладело людьми; не стало публики; она <...> превратилась в дикое скопище, по головам которого, сорвавшись с мощных цепей рассудка, бешено гудя и скаля зубы, скакал Страх...

Перебьем на минуту Грина, с тем чтобы опять дать слово Заболоцкому. Просто хочется поставить рядом два эти кусочка текста — полюбоваться.

Тут пошел в народе ужас,
Все свои хватают шапки
И бросаются наружу,
Имея девок полные охапки...

Но продолжим прерванную цитату из «Блистающего мира»:

... Женщины теряли сознание; иные, задыхаясь, рвались к выходам; дети рыдали. Всюду слышался треск балюстрад. Беглецы, запрудив арену, сталкивались у выходов, сбивая друг друга с ног, хватая и отталкивая передних. Иногда резкий визг покрывал весь этот кромешный гвалт; слышались стоны, ругательства, грохот опрокинутых кресел. А над цирком, выше трапеций и блоков, скрестив руки, стоял в воздухе «Двойная Звезда».

Вот такое торжество художника над алчной и трусливой толпой. Но впереди нас ждет еще одна картинка из того же Грина, где сборище зевак превратится во властную немую силу, жаждущую низвергнуть смельчака, швыр-

нуть его под ноги толпе. Ибо есть, конечно же — есть, конечно же — существует эта роковая связь между актером и публикой, между знатоком и профанами, между героем и толпой...

Разумеется, от реального цирка Грин нас уводит довольно далеко. Но не уводит от жизни. А цирк, как я пытаюсь показать, — это и есть жизнь.

Смерть

...Потом они, смеясь опасно,
Ползут наверх единогласно
И там, обнявшись наугад,
На толстом воздухе стоят.
Они дыханьем укрепляют
Двойного тела равновесье,
Но через миг опять летают,
Себя по воздуху развеся...

«Мне совсем неприятно, если кто-то рискует собой, чтобы развлечь меня. И <...> почему мы одобряем гимнастов, которые перелетают с трапеции на трапецию, и достаточно им ошибиться на один сантиметр, чтобы разбиться?» — говорит Оля Алексеева.

Витя Малеев никогда не поставит вопрос таким образом: вместе со всей страной он готовит себя к труду и обороне — и для него подвиг это подвиг. Даже если (а, может быть, в особенности *если*) это подвиг бессмысленный. Может статься, именно Вите Малееву или какому-нибудь Ваську Трубачеву (хотя, кажется, этот в цирке не бывал) наши родители и обязаны стойким отвращением к цирку. Цирк — возлюбленное зрелище толпы, самое народное, доступное и простое, а потому тоталитаризм показан ему, как воздух. В тридцатые — сороковые — пятидесятые при государственной поддержке цирк приобрел устрашающий размах и щедро плодил народных героев. Бугримову и Буслаева, Карандаша и Кио знала вся страна.

...В детстве меня восхищал гуманизм героини «Птицелета», сегодня как-то ближе позиция сталинского подростка — и не только потому, что цирк однажды и надолго стал частью моей жизни, но и потому, что говоря о красоте и бессмысленности подвига, мы близко-близко подходим к эстетической категории трагического.

Нет, Боже упаси, конечно, всерьез говорить о трагическом применительно к цирку. Хотя бы потому, что эстетические категории относятся к эстетическим же объектам. Искусство заставляет публику лить настоящие слезы по поводу выдуманных несчастий. Цирк же ежевечерне (а в выходные и в праздники трижды на дню) имеет дело с самой что ни на есть *реальной* смертью. И живое сопереживание — иллюзия, что ты собственным вниманием удерживаешь артиста, рискующего жизнью под куполом, — самое захватывающее из впечатлений цирка.

Но когда смельчак, на жуткой высоте идущий по канату, совершает свою работу слишком уверенно, у зрителя перестает захватывать дух. Публика вспоминает, что эквилибрист вот эдак-то ходит поди уже лет десять-пятнадцать,

привык, навострился — так и любой научится, эка невидаль! И когда такое происходит, можно прощаться не только с ужасом, состраданием и катарсисом, но и с простым интересом к происходящему. Поразительная вещь: человек, в самом деле рискующий жизнью — под куполом ли, в клетке ли с хищниками или под брюхом летящей лошади, — должен постоянно напоминать о том, что труд его опасен и умение уникально. Расчетливо играя со смертью, цирковой артист держит зал в напряжении.

...И там, обнявшись наугад,
На толстом воздухе стоят...

Вот именно — «наугад»... Мы завороженно следим за безумцем, наугад бредущим по толстому воздуху... А он вдруг оступается, шагает ногой мимо каната — в головокружительную пустоту, и коллективное сердце на мгновение обрывается, звучит слитное «ах!». В этот миг публика становится единым существом — человеческим существом, потрясенным до глубины души. И каждый убежден, что происшествие, которому он только что стал свидетелем (почти со-участником), — уникально. И — вся палитра человеческих эмоций — от облегчения до разочарования — в дружном вздохе, когда артист под куполом благополучно находит ногой опору. А как разочарован бывает зритель, если ему случается узнать, что артист оступается вот так из года в год на каждом представлении, что тигр на каждом представлении точно так же бросается на дрессировщика, а гимнаст не долетает до трапеции и падает в сетку — всякий раз!..

Но таков цирковой закон: не завалишь трюк — не сорвешь аплодисментов...

Однако повторю еще раз: цирковой артист ежедневно играет со смертью всерьез и на равных — хотя заодно играет и со зрителем, показывая ему, что играет со смертью.

И иногда проигрывает. И тогда сама смерть — реальная смерть — вторгается в представление. Это тоже случается, хоть, по счастью, и редко. Цирковой зритель и боится этого и ждет. «...Чувство трусливой безопасности сообщает еще большую остроту зрелищу, обещанному толпе», — такое наблюдение делает Томас Манн*. *Тяга к зрелищу смерти* — есть у публики и такой инстинкт. От этого тоже никуда не деться.

Вот и картинка на случай:

> Бросив взгляд в зрительный зал, я понял, что очутился лицом к лицу с многоголовым похотливым чудовищем, которое, казалось, напряглось в мерцавшем полумраке и приготовилось к прыжку. <...> Юпп был прав, когда говорил о кровожадности толпы. Дрожь нетерпения, казалось, заполняла затхлый, сладковатый воздух. Тревожная дробь барабанов в оркестре перемежалась приглушенной сентиментально-блудливой мелодией, и этот дешевый эффект лишь усиливал впечатление отвратительной трагикомедии, в которой должна была пролиться настоящая кровь, оплаченная кровь актера...**

---

* Признания авантюриста Феликса Круля, перевод С.Апта.

** Генрих Белль. Человек с ножами, перевод Н.Португалова.

Ну, это-то как раз известно всем не-поклонникам арены: цирк сплошь и рядом обращается к нашим низменным инстинктам. Герой Александра Грина, волей случая оказавшийся в роли ярмарочного канатоходца, хорошо это чувствует:

> Давно уже настойчивый холод<...> отвратительного желания, разлитого в толпе, осенял меня убийственными посылами. <...> Меня попросту желали видеть убитым. Началось это глухо и спрятанно... Желающие не хотели желать. Они рассматривали свои черные мысли, как неответственную игру ума. <...> Почему ты не падаешь? Мы все очень хотим этого. Мы, в сущности, явились сюда затем, чтобы посмотреть, не упадешь ли ты с каната <...> Ты становишься против всех. Мы хотим тебя на земле, в крови, без дыхания... Мы желаем волнения, вызванного твоим падением...*

...Чем интереснее писатель, тем меньше хочется говорить о цирке, тем больше тянет о литературе. Попробуем все же удержаться в границах поставленной задачи и оставим поэтому в стороне точное замечание о том, что «желающие не хотели желать». Объясним лучше, почему цитата не продолжена. Объяснение простое: дальше о цирке написана неправда. Герой Грина слышит властный приказ площадных зевак и готов подчиниться. Он начинает качаться на канате, роняет балансир, еще секунда — и рухнет сам... Цирковой профессионал от воли толпы, конечно же, не зависит — ни уронить его, ни поддержать на канате зрители не способны.

> Представьте себе канатоходца, висящего между небом и землей; со всех сторон — старые сморщенные рожи, тощие и бледные призраки, ловкие кредиторы, родственники и куртизанки, целая толпа чудовищ цепляется за его плащ, чтобы заставить его потерять равновесие; напыщенные фразы, громкие слова в роскошной оправе так и скачут вокруг него; рой зловещих предсказаний своими черными крыльями застилает свет в его глазах. Он легкой поступью продолжает свой путь с востока на запад. Если он посмотрит вниз — закружится голова, посмотрит вверх — оступится. Он движется быстрее ветра, и руки, тянущиеся к нему со всех сторон, не заставят его пролить ни одной капли из чаши, которую он несет в руке. Вот моя жизнь, дорогой друг; перед тобой — мой верный портрет**.

Это говорит романтический герой, к цирку отношения не имеющий. Но к психологии циркового профессионала, играющего со смертью, монолог его, безусловно, отношение имеет самое прямое. Хотя вряд ли все-таки можно поручиться за то, что иначе вообще не бывает и что Грин, заставивший своего героя поддаться настроению толпы, написал такую уж безусловную, на все случаи жизни и на все характеры, неправду. Как знать... Все-таки и применительно к цирку модель «герой и толпа», «художник и толпа» может, наверное, поворачиваться ракурсами самыми неожиданными — так же, как и в жизни вообще.

Что же до толпы, то у ее бесспорной кровожадности есть и оборотная сторона — жалостливость, сентиментальность. Толпа — сила, которой можно ма-

---

* Александр Грин. Канат.

** Альфред де Мюссе. Прихоти Марианны, перевод А.Федорова.

нипулировать. И цирк делает это с успехом. Литература зачастую — тоже. Так что если литератору угодно играть на простейших инстинктах и выжимать из читателя недорогие слезы, цирк для этого вполне годится. Так, любимый в детстве рассказ Григоровича о гуттаперчевом мальчике до отказа начинен ужасами циркового быта. Даже ни в чем не повинное трико акробата здесь «имеет вид содранной человеческой кожи». И эта поэтическая деталь открывает череду эпизодов столь кошмарных, столь чудовищных, что все вместе на взрослого человека они уже не производят никакого впечатления — разве что скуки и фальши. А весь рассказ, лишь многословно иллюстрирующий собственный эпиграф — «Когда я родился — я заплакал; впоследствии каждый прожитый день объяснял мне, почему я заплакал, когда родился...», — не имеет никакого отношения ни к правде цирка, ни к правде жизни. Между тем цирк тем как раз и интересен, что в нем смерть ходит рядом с праздником не понарошку, не эстетически, не аллегорически, а реально; именно поэтому цирк — не искусство. Не вполне искусство. В известном же смысле он больше чем искусство. Рискну высокопарно заявить, что цирк — это жизнь сквозь увеличительное стекло. Во всяком случае это жизнь в ежеминутном присутствии смерти. (Совпадение, должно быть, но все же символично, что в «Приключениях Геккельбери Финна» цирк появляется именно в главе «Почему сорвалось линчевание» — в той главе, где наличествуют и убийство, и разъяренная, а после усмиренная толпа...)

Вероятно, именно будничная близость смерти и делает людей цирка столь суеверными. В цирке много чего нельзя: нельзя сидеть на барьере спиной к манежу, нельзя произносить слово «последний», нельзя в сценическом костюме садится на кровать... Суеверия передаются из поколения в поколение и прекрасно уживаются с набожностью большинства цирковых артистов. О бесовской, скоморошьей, языческой природе цирка никто из них, по счастью, не задумывается, но все знают легенду о жонглере и Богоматери* и все уверены, что своим искусством служат Богу.

Разумеется, они правы.

Вероятно.

Чтобы покончить с канатоходцами**, процитирую еще одно любимое место. Строго говоря «Книга ликований» Волынского — это не образец художественной литературы, а трактат о балете. Но по мне — применительно к Серебряному веку о любом явлении можно говорить как о факте искусства. Судите сами:

> Если через Ниагару переброшен канат, то пройти по нему через водопад значит совершить акробатический подвиг <...> Нельзя представить себе

---

* Средневековая легенда — вероятно, французская. Жонглерами во Франции назывались бродячие актеры — и даже далеко не обязательно цирковые. Ремесло их считалось греховным, чуть ли не языческим. Легенда рассказывает, что один жонглер ушел под конец жизни в монастырь и, не умея ничего другого, стал, чтобы порадовать Богоматерь, кувыркаться перед Ее изваянием. Когда он закончил, статуя ожила, и Богоматерь отерла пот со лба старого артиста.

** В жанре эквилибристики используются многие снаряды, «канатоходцами» же можно назвать тех, кто работает на канате или на проволоке (это, кстати, разные вещи).

большего самообладания, большего властвования собою: покрывши бездны своим светоносным воздействием, дух господствует тут надо всем...

Подвиг кажется свободным от этического содержания. Он совершенно пуст, лишен практической цены. Но<...> от простого созерцания такого ослепительно красивого зрелища, как безбоязненное хождение по веревке поверх зияющей бездны, у человека начинают трепетать те точки, из которых растут его внутренние крылья.

«У художника смерть всегда при нем, как псалтырь у добросовестного патера», — скажет герой романа Генриха Белля «Глазами клоуна». Цирк близок к этой тематике как никакой другой вид искусства. Цирк имеет дело со смертью (почти плагиат — Эрик Бентли: «трагедия имеет дело со смертью»*, но мы договорились применительно к цирку не касаться темы трагического). Цирк обслуживает толпу, ее низменные и возвышенные инстинкты. Именно в этом, собственно, и коренятся истоки и величия цирка, и его цинизма. В цирке всё чересчур, всё — сквозь увеличительное стекло. Тем он хорош. Тем и плох. Тем и привлекателен для литераторов. Посмеиваясь над «классическими» цирковыми историями в духе Кармен Сильвы (под таким почти цирковым псевдонимом в конце XIX — начале XX вв. творила румынская королева Елизавета), Я. Ивашкевич называет родовые приметы цирковой литературы — ...с «добрым» клоуном, сентиментальным жонглером, «злым» директором и неизбежной катастрофой в финале**. А рассказ Куприна «В цирке» исследует роковую тему с неожиданной для цирковой литературы стороны. В день ответственного выступления врач объясняет заболевшему борцу, что в его недуге нет ничего страшного, но сегодня от поединка следует воздержаться. И весь рассказ построен на том, как тысяча ничтожных причин делают невозможным отказ от борьбы — деньги, будущие претензии публики, рассеянность директора, занятого своим, да и простое «авось»... И вся эта ерунда приводит героя на манеж — к смерти...

Жестокость

Напрасно в публике и в цирковых романах ходит ошибочное мнение, что у нас будто бы учителя истязают учеников<...> В цирковых номерах бывает порою и жутковато, и страшновато<...> Момент нерешимости, колебания<...> и вдруг тебя ожгло по задушке<...> Боль моментально заглушает трусость. Остается только приказание и желание ему повиноваться. Номер сделан так легко, точно ты раскусил орех. А учитель гладит всей пятерней твое мокрое лицо и говорит сразу на трех языках: Bravo, schön, bambino!***

Говоря о цирке, никак не обойдешь тему жестокости. В художественной литературе эта тема возникает особенно часто. Если уж пишут о животных, то не дай Бог четвероногому герою оказаться в цирке: там его забьют, замучат или уморят голодом (не привожу картинок только потому, что в моей коллек-

---

* Бентли, Э. Жизни драмы. М., 1978, с. 254

** Ярослав Ивашкевич. Зигфрид.

*** Александр Куприн. Ольга Сур.

ции их нет; но в памяти любого человека, я думаю, отыщется такой пример — и не один). Если же речь заходит о ребенке, ужасы циркового быта достигают гомерических размеров. И здесь мне хочется процитировать довольно большой фрагмент из трилогии Юхана Боргена*.

Это была итальянская труппа, состоявшая, как видно одну огромную семью, члены которой с разных сторон стекались на солнечную лужайку. Маленький чернокудрый бамбино должен был оттолкнуться от трапеции и, перелетев по воздуху, схватиться за руки отца. Мальчонке было лет шесть, его маленькое тело хранило еще какое-то незрелое младенческое очарование. Отец, высокий, мускулистый, висел на своей трапеции, зацепившись за нее согнутыми в коленях ногами, и взлетал высоко над сеткой, расставив руки, чтобы подхватить малыша в самом поднебесье. На всех лицах было написано такое напряженное ожидание, словно предстояло нечто из ряда вон выходящее<...>

Тех, чьи родители работают в цирке, традиционно называют «рожденными в опилках». Хотя никаких опилок уже нет и в помине: на манежах давным-давно — синтетическое покрытие. С детьми, «рожденными в опилках» и предназначенными цирку, всерьез начинают работать с пяти-шести лет — раньше бессмысленно, позже — тело теряет гибкость, тяжелее дается ремесло. Чем жестче муштра, тем ощутимей результат, тем меньше риск, тем надежней кусок циркового хлеба. Потом еще и «спасибо» скажет! Родители знают это твердо: когда-то точно так же дрессировали их самих. Но для стороннего наблюдателя видеть изнемогающего от усилий малыша почти невыносимо.

Вернемся к Боргену.

Мальчика подкинули на трапецию, освещенную рассеянным светом солнца, он выпустил ее, на мгновение одиноко повис в пространстве, но не сумел ухватиться за руки отца. На всех артистах были грязные тренировочные костюмы в темных пятнах пота. Маленький Джузеппе снова прыгнул с трапеции, перевернулся в воздухе и — упал в сетку. Отец, проплывший на своей трапеции назад, бранился. Бранилась мать, стоявшая на лужайке, бранились дяди и тетки<...> Джузеппе снова прыгнул с трапеции, снова мимо отцовских рук и — упал в сетку. Жесткие петли сетки в клочья порвали его тренировочный костюм. Проступившая кровь стекала по освещенному солнцем костюму. Мальчик беззвучно плакал, возвращаясь к трапеции, из носа у него текло. Он снова прыгнул и снова очутился в сетке.

Казалось в стане артистов бушует буря, мускулы под их тонкой одеждой вспухли могучими узлами. Маленького Джузеппе перед каждым прыжком воодушевляли криками. Они желали ему добра. Но он промазывал. И падал в сетку. Разъяренные родственники бранились и кричали, честь семьи была под угрозой, ближайшее представление сулило крах. Кровь Джузеппе смешивалась со слезами, из носа лило ручьем. Под глазами залегли мертвенные тени, лоб был изодран сеткой. Черные кудри повисли, как мокрые водоросли.

Вилфред, сам побледнев как полотно, приподнялся с железного стульчика, стоявшего у стола.

---

* Юхан Борген. Темные источники, перевод Ю.Яхниной

— У вас, кажется, есть общества защиты животных... — Он чувствовал, как в нем закипает праведный гнев <...>

Адель властно усадила его на стул.

— Оставь их, — сказала она.

В нем бушевала самая настоящая злость, злость против нее, против циркачей, против безжалостных требований ремесла.

Джузеппе поднялся вверх по блестящей стремянке, к нему качнули трапецию. Он казался совершенно прозрачным, голубые жилки вздулись на бледных висках, страдание было написано в каждой черточке его лица, во всех округлых чертах детского лица, которые словно окаменели. С улиц за оградой парка доносился непрерывный звон трамваев.

— Погоди, — шепнула Адель, схватив Вильфреда за руку. — В следующий раз у него получится.

— Ничего у него не получится. Ты что, не видишь...

Маленький Джузеппе примерился. Он примерялся и прежде, но падал в сетку. Теперь он стоял высоко вверху и мерил расстояние с отчаянной решимостью на детском лице. До сих пор он плакал беззвучно, теперь с его дрожащих губ сорвался жалобный писк. Семья в мертвом молчании застыла на лужайке. Откуда-то из парка пришли два сторожа и садовник, они бросили работу и затаив дыхание подошли поближе. Отец снова устроился на своей трапеции, зажав ее коленями, и приготовил руки, чтобы поймать сына.

Отец раскачался на трапеции — она описала мощную дугу <...> В следующую секунду Джузеппе тоже раскачался на трапеции, оторвался от нее, перевернулся в воздухе и — ухватился за руки отца.

Тех, кто рано хлебнул цирковой славы, ждет популярность, не сравнимая даже с популярностью эстрадных звезд. Цирк — массовое зрелище, и за месяц-другой гастролей в каком-нибудь небольшом городке тебя знают уже все — о тебе пишут, тебя приглашают на телевидение, узнают на улицах... Такой маленький — а вон чего умеет!

Потом артист взрослеет. Умеет всё то же самое — и даже больше, но уже не маленький. Иногда травмированный ранней славой человек становится нравственным калекой на всю жизнь. Впрочем, это бывает не только в цирке...

Но мы забыли о Боргене.

Ликующий вопль огласил лужайку. Все хлынули к стремянке, с которой спускался Джузеппе. Могучая мамаша заключила сына в объятия, едва его не задушив. Братья, тетки, дядья — вся труппа тискала его, мяла, подбрасывала в воздух и ловила с восторженными возгласами. Артисты плакали, смеялись, называя его какими-то звучными именами.

Адель смотрела на эту сцену горящими глазами. В ней появилось что-то незнакомое, что сбило Вильфреда с толку.

— Ну да, конечно, — с досадой заметил он, — ты угадала. Но это получилось один раз. А в следующий раз, и потом — сколько они будут его мучить?

— Глупыш, — спокойно возразила она. — Разве ты не понимаешь, теперь он научился!

И снова — сверкающий взгляд из другого мира, смутивший и встревоживший его.

А Джузеппе уже поднимался по переносной лесенке <...> Проворный отец был уже на месте в противоположном конце лужайки. Он снова раскачался на своей трапеции. Мальчик раскачался тоже, прыгнул, перевернулся в воздухе и — ухватился за отцовские руки. И снова ликующий вопль огласил залитую солнцем лужайку, воздетые кверху руки словно воссылали благодарность небу. Те двое снова взобрались на трапецию. Снова качнулись, оттолкнулись — встретились.

И вдруг лужайка опустела. Все семейство отправилось завтракать. Маленький мирок вступил в новую жизненную фазу. Отец с сыном замыкали шествие, отец шел, положив руку на голову сына. Джузеппе больше не плакал. Он улыбался сквозь слезы и сочащуюся кровь. Последнее, что они увидели, была рука отца на голове сына. <...>

— Откуда ты знала, что у него получится? — спросил Вилфред.

Она ответила не сразу. Она шла, вскинув голову к трепещущему свету, упругой, победительной походкой.

— *Мы* знали это, — сказала она. — Отец... Он не упустил бы его.

— Вот как... Вилфреду был не совсем ясен смысл ее слов.

— Не упустил бы его. Разве ты не видел — все это знали. Вся семья, садовник, который перестал копать. Никто не упустил бы его — ни один из них.

Я даже не прошу прощения за такую длинную цитату. И надеюсь, что читателю не нужно объяснять — почему.

Кстати, разве это о цирке? Разумеется, нет. Это — о жизни. О ее жестокой мудрости. Но одновременно и о цирке — о мире, где жестокая мудрость жизни словно выведена крупными буквами — опять как сквозь увеличительное стекло. Вот чем заканчивается диалог Вильфреда и Адели:

— Ты что, была артисткой?

Она засмеялась своим грудным смехом.

— Пожалуй, можно сказать и так.

И если вернуться к собственно цирковой тематике, придется признать, что то безжалостное, темно-спокойное, что встает за этим эпизодом романа, — такая же правда о цирке, как добрый клоун у Кармен Сильвы.

Артист

Цирк архаичен. Один из секретов его притягательности заключается именно в этом. Романтика таборного быта, какая-то особая наивная подлинность мишуры и преувеличенных жестов, всё понарошку и все всерьез... Цирк открывает безграничные возможности для писателей — настоящий Клондайк для любителей happy end'ов и любителей трагических финалов, для фантастов и мастеров детектива. Цирк — это такая модель жизни, которая органично принимает в себя любой сюжет.

Братья Джани и Нелло беззаветно служили искусству акробатики, но когда с одним из них случилась беда, другой оставил манеж, отказавшись от творчества во имя человечности... Примерно такая история рассказана в «Братьях Земгано» — история, в сущности, автобиографическая: похоронивший брата-соавтора

Жюля, Эдмон Гонкур ушел из литературы. Только через девять лет появился его первый в одиночку написанный роман — роман о судьбе братьев-акробатов, автобиографическая повесть, действие которой разворачивается в цирке!

Герои Гонкура — акробаты, представители самой массовой цирковой профессии. Да, собственно, акробатика — это не только занятие акробатов, это азбука, это алфавит цирка. Она необходима в любом жанре, и редкий цирковой не владеет ее основами. Именно акробатические навыки (независимо от способностей и личных склонностей) прививаются цирковым детям едва не с колыбели. В цирковой среде безусловно почитаются представители династий — те, кто воспринял мастерство от родителей. Опытный глаз отличает таких сразу же: никакое училище не даст постороннему человеку того, что «рожденный в опилках» получает с молоком матери. Это трудно определимое свойство лучше всего выражается словом «артист». Цирковые не переносят названия «циркач», считая его оскорбительным (в старом цирке бытовало словечко «циркист»), не понимают они и что такое «актер» (в художественной литературе применительно к цирку оба слова встречаются, как правило, только в переводах). Что до «циркача», — мне за него обидно, слово, по-моему, очень хорошее. А что до «актера», — тут все правильно: цирковых артистов многие тысячи, а *актеров* среди них — по пальцам пересчитать. Кто же все эти акробаты, гимнасты, эквилибристы, жонглеры? Спортсмены? Нет. Профессиональных спортсменов (а их среди цирковых великое множество) тоже отличаешь сразу: они не актеры и не артисты, они — спортсмены. Бог его знает, владеют люди определенным набором трюков, умеют выйти на манеж, сделать «комплимент», улыбнуться, повернуться, раскланяться как надо — а все-таки что-то в них не так, не хватает чего-то неуловимого, какой-то родовой черты, присущей цирку и только ему. В слове «артист» мне слышатся два оттенка значения. Первое (предполагающее только мужской род) — Артист, человек искусства, художник вообще. И второе — как бы уменьшительное от «актер», словно выдающее второсортность, неполноценность циркового исполнителя сравнительно с мастером драматической сцены. Прошу прощения за домашнюю этимологию, но мне кажется, что оба оттенка заложены в исходном латинском ars, которое можно перевести и как «искусство», и как «ремесло». Справедливы оба значения, потому что артист цирка в чем-то и хуже и лучше драматического актера (actor — действующее лицо, исполнитель, декламатор), в чем-то он совершенно другой.

Цирковые теоретики время от времени затевают споры о том, что есть трюк, что — образ, а что — трюкачество. Безрезультатные, разумеется, споры. А поэт, ничего специально не анализируя, просто создает собственный образ — совершенно адекватное явление в другом виде творчества. Вот моментальный портрет цирковой *артистки* — разумеется, работы Николая Заболоцкого:

...Прелестный образ и почти что нагишом...

По-моему, это определение гениально точно. Здесь поймана эфемерная суть той, которую легко себе представить, но так же легко спутать с любой другой, в которую легко влюбиться на всю жизнь и ничего не стоит забыть через полчаса...

Здесь, впрочем, я подхожу уже к совсем иной — очень важной и очень щекотливой теме. К тому, что цирковой профессионал — не личность. Не имеет

права быть личностью. Во всяком случае, я подбираюсь к литературным примерам, в которых именно таким предстает исполнитель цирковых трюков.

«Зигфрид» Ярослава Ивашкевича, цитировавшийся здесь уже дважды. Герой этого небольшого перенасыщенного символами рассказа недаром назван «вагнеровским» именем — для Ивашкевича важно принципиальное простодушие циркового артиста.

Итак, Зигфрид — молодой артист, работающий на предельной высоте, —

> ...старый акробат, лежа на деревянном снаряде, удерживал на подошвах ног длинную лестницу. Юный акробат взбирался по ней, устанавливал наверху две бутылки и, встав на них кончиками пальцев, несколько секунд жонглировал стеклянными шарами. Это происходило под самым куполом цирка, так как лестница была длинная... —

не ведает, как и герой «Кольца нибелунга», что́ есть страх, страсть, золото. Персонаж Ивашкевича — человек абсолютно девственного интеллекта: работая в цирке с шести лет, он едва умеет читать и совсем не отдает себе отчета в том, что рафинированным зрителям кажется «ангелом с картины Джотто», ангелом «на лестнице Иакова с искрящимся стеклом под ногами и пламенем разноцветных шаров в руках».

И вот простодушный циркач попадает в дом тонкого ценителя и знатока искусства, человека разностороннего и образованного. Пораженный увиденным и услышанным, Зигфрид начинает запоем читать. Учитель счастлив, наблюдая, как герой утрачивает свое мифическое простодушие. А юноша тем временем забрасывает репетиции, на представлениях роняет предметы, с трудом удерживает равновесие на своей лестнице. Зато «тупое баранье выражение», присущее лицу акробата во время работы, понемногу сменяется блеском мысли, тенью задумчивой грусти.

> Простая крестьянская душа юноши, пробудившись и открыв для себя огромный и страшный мир, жаждала как можно скорее отыскать в этом мире надежный путевой компас, нить Ариадны, которая провела бы его сквозь запутанный лабиринт жизни.

И пока старый эстет с гордостью наблюдает процесс «рождения человека в молодом акробате», Зигфрид терзается поисками ответов на все «зачем?», внезапно разбуженные в его бесхитростной душе. Духовная красота Зигфрида — красота мыслящего человека — делает его сходство с ангелом почти пугающим. На какое-то мгновение артисту удается совместить автоматизм трюкача и высоты пробудившегося духа, и тогда «жонглерство оборачивается молебствием». Но мгновение коротко, и вот уже мы видим, как забывшийся в своих мыслях «юный ангел, обретя весомость, тяжело рухнул вниз, задев головой барьер ложи»... В тот же миг останавливается и сердце старого эстета в зрительном зале...

— Что должно быть в моей голове, когда я работаю на проволоке? — спрашивает маленькая артистка из рассказа англичанки Ф.Боттом «Кусочек тюля»*.

— Ничего! — отвечает ее отец. — В голове не должно быть ничего, кроме смелости.

---

* См.: Любимый цирк. Рассказы зарубежных писателей. М., «Искусство», 1974.

Будь я министром, я совсем бы запретил артистам читать книги: пусть читают афиши и больше ничего! Теперь твоя Консуэлла превосходная артистка, а когда ты ее научишь мифологии и она станет читать, она сделается дрянью, развратной девчонкой, а потом отравится...*

Схожих утверждений немало у самых разных авторов. Мысль не должна занимать того, кто работает под куполом. Ремесло заставляет поступиться всем. Ремесло не прощает любви.

Персонаж Томаса Манна задается вопросом: а что если восхитившая его гимнастка и укротитель любят друг друга? И тут же отвечает себе:

Товарищи по игре со смертью, но не любовники, нет, нет, это бы для них добром не кончилось! Львы, прознав о его прелюбодействе, отказали бы ему в повиновении. А она упустила бы трапецию — я был уверен, если б ангел отваги вдруг унизился до того, чтобы стать женщиной, упустила бы — и постыдно мертвой рухнула бы на землю.**

В цирковой литературе не однажды повторяется мысль о том, что жестокое ремесло забирает целиком, забирает мысли, чувства, душу, жизнь. «Я родился человеком — я жил клоуном — я продал свое сердце — я умер нищим» — такова автоэпитафия героя в романе Яльмара Бергмана***. В пьесе Куприна «Клоун» герой оставляет умирающего сына и спешит на арену веселить публику. Что взамен? Аплодисменты, цветы, мастерство и таинственная связь между партнерами — единство большее, чем любовь...

Актер

Одним из последних я хочу показать маленький язвительный рассказ Генрика Сенкевича «Сахем». Может быть, это будет самой длинной цитатой, но не хочется пересказывать****.

В городе Антилопе, расположенном у реки того же названия, в штате Техас, все от мала до велика спешили на цирковое представление. <...> Со времени основания города сюда впервые приехал цирк с танцовщицами, акробатами и музыкантами. Город возник недавно. Еще пятнадцать лет тому назад здесь не только не было ни одного дома, но и во всей ближайшей округе не было белых. <...> Как раз на том месте, где находится Антилопа стояло индейское селение под названием Чиавата. Это была столица племени Черных Змей <...> Однажды в лунную ночь четыреста переселенцев из Берлина <...> напали на спящую Чиаватту. Успех правого дела был полный. Чиаватта была сожжена, а все ее жители, не исключая женщин и детей, поголовно вырезаны. <...> и вот в мгновение ока на месте дикой Чиаватты возникла цивилизованная Антилопа. <...> На площади, где были повешены последние воины племени Черных

---

* Леонид Андреев. Тот, кто получает пощечины.

** Томас Манн. Признания авантюриста Феликса Круля, перевод С.Апта.

*** Яльмар Бергман. Клоун Як, перевод В.Мамоновой.

**** Перевод И.Добровольской

Змей, построили благотворительное заведение; пасторы каждое воскресенье проповедовали с церковных кафедр любовь к ближнему...

Таково — с краткими купюрами — положение дел в городе к моменту приезда цирка. И вот весь городишко валом валит в балаган — и потому, в частности, что гвоздем программы обещан единственный выживший из племени Черных Змей — сын вождя, сахем.

...второй номер программы возвещал: «Прогулку по проволоке, натянутой на высоте пятнадцати метров от земли, совершит в сопровождении музыки знаменитый гимнаст Красный Ястреб, сахем (вождь) Черный Змей, последний потомок царского рода и единственный оставшийся в живых из всего племени<...>.

Когда-то директор труппы мистер Дан подобрал чудом уцелевшего десятилетнего мальчика, и со временем тот стал премьером труппы.

...Мистер Дан только здесь <...> узнал, что некогда Антилопа была Чиаваттой и что знаменитый канатоходец будет подвизаться на могиле своего племени. Известие это привело директора в великолепное настроение, ибо теперь можно было наверняка рассчитывать на great attraction, только суметь как можно лучше использовать эффект. Разумеется, добродетельные антилоповцы помчались в цирк, чтобы показать вывезенным из Германии женам и сыновьям, никогда в жизни не видевшим индейцев, последнего из племени Черных Змей...

Здание балагана только что выстроено, газовое освещение еще не успели провести и

огромная люстра, состоящая из пятидесяти керосиновых ламп, заливает арену и зрителей потоками света. В ее сиянии видны раскормленные, с жирными подбородками головы любителей пива, молодые женские лица и прелестные мордашки детей с вытаращенными от любопытства глазами.

И вот под мрачную арию командора директор труппы объявляет выход сахема и просит публику

вести себя с чрезвычайным спокойствием, не аплодировать и сохранять полную тишину, так как вождь находится сегодня в крайне раздраженном состоянии и более обыкновенного дик и злобен.

Я продолжаю цитировать:

... странное дело! — те самые почтенные граждане Антилопы, которые пятнадцать лет тому назад вырезали население Чиаватты, испытывают теперь чрезвычайно неприятное чувство. Минуту назад <...> они радовались, что сидят близко, почти возле самого барьера, откуда все так прекрасно видно, а теперь они посматривают с явной тоской на верхние ряды и в противовес всем законам физики находят, что внизу куда более душно, чем наверху.

И вот появляется сахем.

Плащ из белых горностаев — атрибут вождя — покрывает его высокую и столь дикую фигуру, что он напоминает плохо приручennого ягуара. <...> На голове его развеваются перья, у пояса висят томагавк и нож для скальпирования, и только в руке вместо лука он держит длинный шест, который

служит ему для сохранения равновесия. Остановившись на середины арены, он неожиданно издает военный клич. Herr Gott! — это же клич Черных Змей! Кто уничтожил Чиаватту, тот хорошо запомнил это страшное завывание. <...> Устремив взгляд на люстру, он продвигается вперед. Проволока сильно прогибается под ним, иногда ее совсем не видно, и тогда кажется, что индеец повис в воздухе. <...> Лицо вождя делается все более грозным. В его глазах, устремленных на люстру, загорается зловещий огонь.

Кто знает, что будет дальше, пусть не подсказывает! Пока же вместе с цирковой публикой читатель медленно наслаждается ощущением ужаса. А сахем? — он подходит все ближе к пятидесяти керосиновым лампам, полыхающим под смолистым свежесколоченным куполом, и уже давно поет в гробовой тишине цирка страшную песню:

«От целого племени осталось только одно дитя. Было оно маленьким и слабым, но поклялось, что отомстит, что увидит трупы бледнолицых мужчин, женщин и детей, увидит пожар, кровь!» <...>

Вдруг нечеловеческий вопль вырвался из груди вождя, он закачался еще сильнее, вскочил на деревянные козлы, стоящие под люстрой, и поднял шест. Страшная мысль молнией пронеслась в головах: он разобьет люстру и зальет цирк потоками горящего керосина. Из груди зрителей вырвался общий крик»...

Да, такого момента стоило подождать пятнадцать лет! Такое представление бывает лишь раз в жизни.

Но что это?!

...Вождя уже нет. Он соскочил и исчез в проходе. Не сжег цирк? Куда же он девался? Но вот он выходит снова, запыхавшийся, измученный, страшный. В руках он несет жестяную миску и, протягивая ее зрителям, говорит умоляющим голосом: Was gefällig für den letzten der Schwarzen Schlangen!

Замечательно трогательно, что «последний из Черных Змей» просит подаяния по-немецки. Он давно уже немец, этот актер...

У зрителей отлегло от сердца. <...> Сыплются доллары и другие монеты. Как же отказать последнему из племени Черных Змей — в Антилопе, на пепелище прежней Чиаватты. У людей есть сердце...

После окончания представления сахем пил пиво и ел клецки в пивной «Под золотым солнцем». <...> Он пользовался в Антилопе огромной популярностью, особенно у женщин...

Полагаю, комментарии тут излишни. Разве что предположу, что у поляков это в крови — высказываться на тему «всё на продажу»...

Художник и толпа, цинизм и святость ремесла ... В сущности, к этой теме обращается любое произведение о человеке искусства. И здесь литераторов больше всего привлекает фигура клоуна.

И недаром. Ибо говорить о собственно актерском искусстве в цирке приходится по преимуществу лишь в связи с особым жанром — жанром клоунады.

В цирке достаточно великолепных акробатов, жонглеров, гимнастов, эквилибристов. А клоунов? Ну хотя бы не великолепных, а просто хороших? Увы,

нет. Гениальные клоуны рождаются гораздо реже, чем гениальные акробаты и даже — чем гениальные драматические актеры. Зато чем меньше мы сталкиваемся с ними в цирке, тем больше — в литературе. Вспомним: Бальтазар Гирль в «Успехе» Леона Фейхтвангера, клоун Тот в пьесе Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины», Як Трабак из романа Яльмара Бергмана «Клоун Як», герой рассказа Горького «Клоун»... Список, разумеется, может быть продолжен.

От шута, вечно лгущего и вечно говорящего убийственную правду, литературная традиция приводит к клоуну и к актеру вообще. Клоун — это актер опять сквозь увеличительное стекло; это вечный никогда не взрослеющий ребенок. Загадка клоунского ремесла — загадка человека, который смешит. В литературе портрет клоуна — почти всякий раз портрет мудреца. Почему клоун такой? Потому что он так много понимает в страшной путанице жизни, что уже не способен принимать ее всерьез? Потому что только клоун сохраняет детскую ясность души и один остается нормальным в ненормальном мире? Потому что он так много получил пощечин и пинков, что научился хохотать там, где другой разрыдался бы?.. «Клоун — единственная норма человечности» — один за другим утверждают писатели. Почитаешь, почитаешь — и начнешь патетически выкрикивать: клоун — это распятый толпой и по капле истекающий смехом человек; клоун — это жертва публики и ее властелин, ее судья и подсудимый; это беспристрастное зеркало мира. «Я одинок, как вошь на великанском теле публики», — так говорит герой Я.Бергмана, — говорит, понимая в то же время, что эта жестокая, сентиментальная, жадная до дешевых ужасов публика — единственный смысл его существования.

* * *

Цирк непоследователен и многообразен, как сама жизнь. И, как и в любой другой жизни, очень многое зависит здесь от того, кто и какими глазами смотрит на цирковое представление, на цыганский уклад, на наивную фальшь и банальную правду цирка. Мы перебрали картинки, которые, может быть, помогли кому-то приблизиться к нему и лучше увидеть какие-то его черты. Но, конечно, — не исчерпали их. За занавесом осталось еще очень многое, даже и не упомянутое. Вот даже и меня лично, например, привело когда в цирк не что иное, как *поиски античного театра*. Скажете — это уж слишком? Но вот вам опять Заболоцкий:

Один старик интеллигентный
Сказал, другому говоря:
«Этот праздник разноцветный
Посещаю я не зря.
Здесь нахожу я греческие игры,
Красоток розовые икры,
Научных замечаю лошадей, —
Это не цирк, а прямо чародей!»

Помните, что ему ответил собеседник?

...Другой, плешивый, как колено,
Сказал, что это несомненно.

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ» РЕДАКЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

Новые стихи

Елены Аксельрод
Анатолия Богатых
Натальи Горбаневской
Виталия Дмитриева
Зинаиды Палвановой
Игоря Петрова
Виталия Пуханова
Евгения Рейна

Новые романы, повести и рассказы

Алексея Домбровского
Юрия Екишева
Алексея Иванникова
Юлия Кима
Александра Кузнецова
Евгения Попова
Вячеслава Пьецуха
Евгения Федорова

В разделах

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ, РЕЛИГИЯ, ГНОЗИС

- Статьи и очерки **Сергея Аверинцева, Фазиля Искандера, Юрия Карамановa, Михаила Копелиовича, Наума Коржавина, Александра Кырлежева, Ольги Седаковой, Ильи Смирнова, Валерия Сойфера, Виктора Тополянского, Виктора Шендеровича**

В разделах

ПРОЧТЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ, ИСКУССТВО

- Статьи, очерки и интервью **Евгения Ермолина, Валентины Лихачевой, Маргариты Микаэлян, Марии Ремизовой, Дмитрия Сарабьянова, Петра Фоменко, Владимира Цивунина**

ЛР № 066469
Подписано в печать 16.06.2003. Формат 60x84/16. Бумага типографская.
Гарнитура «Таймс». Печ. л. 31,00. Усл. печ. л. . Тираж 3500 экз.
Заказ № 8250

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета в ППП «Типография «Наука» 121099, Москва, Шубинский пер., 6

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

«КОНТИНЕНТ»

принимается во всех отделениях связи России.
Наши подписные индексы

73218 и 71682

(годовая подписка)
в красно-бело-синем каталоге «Роспечати», а также

15706

в зеленом Объединенном каталоге «Пресса России»
(адресная система подписки)

В помещении редакции «Континента» (ул. Мясницкая, 22, 3-й этаж, офис 114) ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 14.00 до 16.00 можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок – при условии получения выходящих номеров в редакции.

В редакции «Континента» можно приобрести также отдельные номера журнала прошлых выпусков.

В Москве журнал «Континент» продается в книжных магазинах:

"AD MARGINEM" – 1-й Новокузнецкий пер., 5/7; тел. 951.93.60
"ГРАФОМАН" – 1-й Крутицкий пер., 3; тел. 276.31.18
"КНИГА" – Нижняя Радищевская, 2; тел. 915.27.97
"ЛЕТНИЙ САД" – Б.Никитская ул., 46; тел. 203.77.83
"ПИРОГИ" – Пятницкая ул., 29/8; тел. 927.55.22
"ПРОЕКТ ОГИ" -- Потаповский пер., 8/12 стр. 2; 951.75.96
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА (Ленинка) –
1 читательский подъезд, книжный киоск
СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ книжный киоск –
ул. Покровка, 29, офис 38; тел. 923.03.80
"СОГЛАСИЕ" — ул. Бахрушина, 28
"ФАЛАНСТЕР" – Б. Козихинский пер., 10; тел. 504.47.95
ХРАМ КОСМЫ И ДАМИАНА – Столешников пер., 2; тел. 229.52.62

В Санкт-Петербурге
Магазины "ЛЕТНИЙ САД":

Большой Проспект ПС, 82
Невский проспект, 3
ВО, Менделеевская линия, 5
Фонтанка, 15

«КОНТИНЕНТ» № 116, 496 стр., подписные индексы 73218 и 71682 (каталог Роспечати)
и 15706 (Объединенный каталог «Пресса России»)